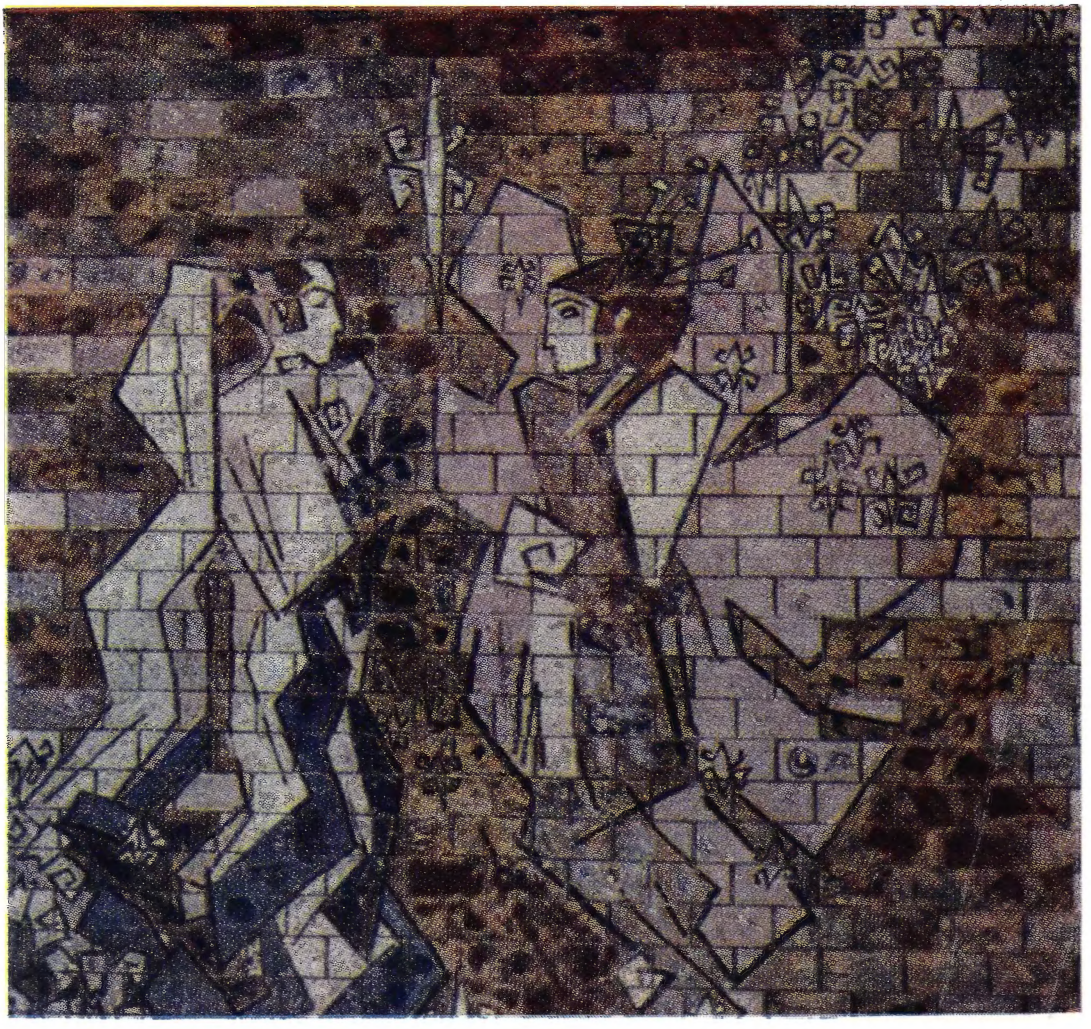
10.1972

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА



ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

Издательство «Известия» Москва

10 ОКТЯБРЬ 1972

СОДЕРЖАНИЕ

АНДРЕЙ ПЛАВКА — Влюбленный в жизнь *(Перевод Л. Лерер и С. Пархомовской)* 3

ДЕНИЗА ЛЕВЕРТОВ — Стихи *(Переводы Андрея Сергеева, Петра Вегина, Валерия Минушина. Вступление А. Зверева)* 57

ДЖОН О'ХАРА — Дело Локвудов *(Роман. Окончание. Перевод К. Чугунова. Послесловие Г. Злобина)* 64

МАРК-ЖИЛЬБЕР СОВАЖОН — Чао! *(Комедия в двух актах, восьми картинах. Перевод Тамары Ерофеевой)* 150

Из монгольской народной поэзии *(Перевод Н. Гребнева. Вступление Г. Михайлова)* 188

Критика

Н. ПАВЛОВА — Театр и история (Заметки о современной западногерманской драме) 195

Писатель и время

ИВО АНДРИЧ — Знаки вдоль дороги *(Составление, предисловие и перевод Александра Романенко)* 203

Культура и современность

Заметки на полях

Е. Рашковский — Язык, культура и парадоксы романтического сознания. Ф. Бурлацкий — Интеллектуализм, интеллигентность и «массовая культура». О. Тимашова — Действительность воспитания и воспитание действительностью 218

Публицистика

К 50-летию СССР

СИМОНА ТЕРИ — Француженка в Советском Союзе *(Перевод Юрия Стефанова)* 227

Памяти героев Сопротивления. (Документы и письма). Расстреляны у форта Мон-Валерьен *(Публикация, комментарии и перевод Риты Райт).* Письма из Моабита *(Вступление и перевод С. Ларина)* 233

Изобразительное искусство за рубежом

СЕРГЕЙ ЮТКЕВИЧ — Художник с пристальной кистью 257

Среди книг

Издано в СССР

Ю. Лебедева — Глашатаи грядущего. А. Петриковская — История австралийских Форсайтов. Н. Дьяконова — Письма поэта. А. Тишков — Новое издание произведений Лу Синя 262

Издано за рубежом

М. Ульрих — Счастье открытия. Д. Калныня — Знакомство с писателем — знакомство с критиком. М. Канторович — Снова отцы и дети 268

Из месяца в месяц

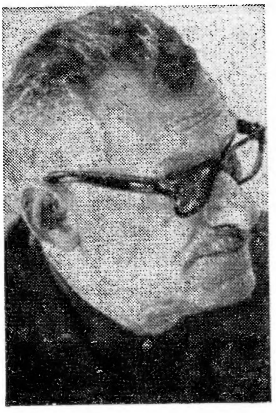
274

Авторы этого номера

288

На цветной вкладке: из работ ЖОРЖА БОКЬЕ

На обложке: стенная роспись румынского художника ТРАЙЯНА БРЭДЯНА на темы народной баллады «Миорица».



АНДРЕЙ ПЛАВКА

Влюбленный в жизнь

Перевод со словацкого
Л. ЛЕРЕР и С. ПАРХОМОВСКОЙ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

В тот год в Липтовском крае, говорят, стояла мокрая осень. Бабьего лета не было, дождь как полил на Покров, так и лил весь октябрь почти до самого святого Мартина, пока в начале ноября не выпал первый снег. Счастье еще, что люди успели выкопать картошку, выдергать свеклу и снести все в погреба, кладовые, чуланы, чтобы было чем кормиться зимой самим, скотине и птице. Листья уже опали с деревьев, и на голых ветвях, как намокшее тряпье, висели только клочья тумана. Из садов и огородов тянуло промозглой сыростью, запах гниющих листьев проникал даже в сени; когда же приоткрывались двери домов, оттуда вываливались наружу клубы теплого пара и смешивались с туманом. Все это создавало неповторимое очарование сельской осени. Суета постепенно стихала, шаги людей становились медленнее, движения мягче, спокойнее, как будто умиротворенная природа вдохнула и в них свое настроение.

В ту самую осень в домике Адамов на самом краю Сельницы раздался крик новорожденного. Было темно, день, еще не вынырнувший из густого ноябрьского тумана, не мог заглянуть в оконца тесного домика. Появление нового жителя села пришлось приветствовать при свете керосиновой лампы. Ветер завывал, бился в окна, в дверь, за которую повивальная бабка выставила семилетнего братишку новорожденного — больше детей в доме не было. Из хозяйской горницы ей пришла помочь тетушка Марка. Ходики пробили пять утра. Числа пробить они не могли, его вполголоса прошептал отец новорожденного, которого женщины тоже выставили за дверь. В комнате между горницей и кухней он налил себе рюмку паленки и, сев на стул, закурил трубку. «Восемнадцатое ноября тысяча девятьсот седьмого года»,— прошептал он.

В этот вот день у кожевника Ондрея Плавки родился второй сын — Ондрей.

■

Мама вспоминала, что я с первых же дней орал во все горло, был упрямым, своенравным, плохо ел, не слушался. Я даже крестины свои испортил семье, потому что все время визжал, не хотел спать, а

устроить меня в тесном домике так, чтобы я никому не мешал, не было никакой возможности. Отец из-за меня так и не услышал, что говорил священник. На мои крестины наш корчмарь Штерн раздобыл бочонок настоящего токая, которым отец хотел похвалиться перед маминой родней, приехавшей из Старой Любовни. Вот меня и «обмывали» токаем. Может быть, поэтому я и люблю его по сей день.

Наш новый дом, построенный в 1911 году на нижнем конце села у самой реки, был, можно сказать, совсем «господским» домом. Обычно сельский дом состоял из горницы, задней комнаты и сеней, одновременно служивших кухней. В нашем же доме горниц, окна которых выходили в сад, было две, посредине шел длинный коридор, выложенный узорчатой плиткой, с парадной дверью на улицу и задней — во двор и в сад; кроме большой просторной кухни была такая же большая столовая и еще маленькая комната, где отец сперва складывал кожи и которую я позже выпросил у него для себя. Дому кожевника полагалось стоять у реки — для полоскания кож необходима вода. Правда, отец, как сельский ремесленник, владел небольшим полем и участком леса, поэтому он поставил на заднем дворе под одной крышей гумно, хлев, сарай, дровяник и свинарник, а над ними еще соорудил и курятник. Посреди двора он — истый славянофил,— конечно, первым делом посадил липу, которая с годами разрослась в великолепное развесистое дерево. Мастерскую выстроил задолго до того, как построил дом, и часто говаривал: «Дом на мастерскую никогда не заработает, а мастерская на дом — всегда». Эти слова он особенно часто повторял маминой родне, которая вечно сетовала и выговаривала ему за то, что мы живем как нищие, в чужом доме и что такому мастеру, как он, это не к лицу. Но отец не сдался, не уступил, он выделывал кожи, шил постолы, продавал их на ярмарках и, лишь скопив нужную сумму, принялся строить дом, да такой, чтобы и мамины родичи позавидовали. Он завел большой сад — высадил много фруктовых деревьев, все больше яблонь, а также крыжовник, смородину, малину, чтобы, мол, «детям моим не приходилось лазить по чужим садам». Но его дети все равно туда лазили — ведь, как известно, чужое яблоко всегда вкуснее. Меня, например, с Дюрко Ценгошем сам священник Цимрак, большой друг отца, поймал однажды в церковном саду. Мы вдвоем обирали его самую лучшую грушу — медовку. За пазухой у нас уже было полным-полно сладких плодов, как вдруг снизу послышался голос священника: «Эй, сорванцы, как же вы теперь вниз-то слезете?» Это нас, по правде говоря, мало беспокоило, страшнее всего был позор, и какой позор! Пана священника Цимрака очень уважали и всячески почитали не только наши родители, но, как ни удивительно, и мы — дети. Я тогда долго мучился, как бы об этой нашей проделке не узнал отец, но он так ничего и не узнал. Уже за одно это дети не могли не уважать нашего пана священника.

С тем же Дюрко мы обирали груши и у Кострошей. Как-то раз забрались на самую высокую ветку, нависавшую над хлевом. Именно на ней были спелые, крупные, желтые груши. Но под нашей тяжестью ветка затрещала, обломилась — и мы упали на крышу хлева. Ветхая крыша провалилась под нами, и мы оказались в навозной куче. И все же нам, видно, сопутствовал архангел Гавриил, вера в которого укрепилась у нас после этого случая: мы остались целыми и невредимыми. Выбравшись из навоза, мы побежали задами к реке, теряя по дороге наворованные груши, и бултыхнулись в воду. Отмокнув, кое-как отмыли друг друга, потом разделись догола и стали ждать, пока высохнет наша одежка, развешанная на кустах тамариска. Но как мы ни мылись, от нас все равно разило навозом. Когда я пришел домой,

все отворачивали от меня носы, а мама так долго приставала с расспросами, что я наконец признался.

Наказание у нас всегда походило на обряд. Отец медленными движениями снимал с брюк ремень, подходил ко мне. Глаза у него горели, усы топорщились. Он наклонялся, хватал меня за шиворот, да так, что мне никак не удавалось вырваться, и принимался стегать. На этот раз, так как штаны мои еще не совсем просохли, мне было вдвое больнее. Вопли также входили в процедуру экзекуции и продолжались до тех пор, пока маме не становилось меня жаль и она не произносила свое обычное «Ну хватит, отец». Так проходили все порки — которые, надо сказать, я вполне заслуживал,— с той только разницей, что если они совершались во дворе, мне иногда удавалось вырваться и я принимался бегать вокруг мастерской, пока отец не догонял меня запыхавшись — ведь я, конечно, был резвее, чем он. Ну и потеха же начиналась тогда! На мой душераздирающий визг из дома выбегали мама и служанка, из мастерской — подмастерье с учеником. Сначала они только следили за нашим марафоном, потом им становилось смешно, но все глядели на маму — ждали, чтобы она рассмеялась,— только тогда могли начать смеяться остальные. И это был знак того, что я выиграл. Отец, ворча, уходил в мастерскую, подтягивая сползающие штаны и надевая ремень. Вечером наказание продолжалось: меня ставили в угол голыми коленками на полено, но это уже был более высокий класс, дававший мне блаженное ощущение мученичества. В это время принято было сохранять в доме полнейшую тишину, что придавало наказанию даже какую-то торжественность. После непременного отцовского «А теперь ни звука» мне приходилось действительно «уходить в себя», то есть размышлять о том, что же я такое натворил. Амнистию я получал обычно, лишь когда к нам кто-нибудь являлся или на кухне что-то выкипало, в противном случае наказание затягивалось до самого ужина. В те времена на моей спине бывало немало следов отцовского ремня. Когда же я стал старше, мой строгий, но справедливый отец нередко замечал, что меня следовало пороть чаще и больше. И я ни разу в этом не усомнился.

В 1916 году, когда восточный фронт приблизился к нашим местам и тихими вечерами мы даже слышали далекий гул орудий, к нам в село пришла австро-венгерская воинская часть. Офицеров разместили в домах, солдат — в хлевах и сараях имения Штейна, находившегося по соседству — в Парижовце. Нашим постояльцем был капитан; его ординарца поселили у соседей. На вешалке в коридоре появилась офицерская сабля, которую я разглядывал с благоговением. Однажды, когда дома никого не было, я притащил из кухни табуретку, взобрался на нее и снял эту, поразившую мое воображение, саблю. Я долго любовался ею, гладил ее, а затем попытался прикрепить к поясу. Это мне сначала никак не удавалось — сабля падала и звякала, ударяясь об пол. Наконец, я все же как-то прицепил ее на боку и выбежал на улицу. Сабля была длинная и волочилась по земле. Я стал звать Дюрко Ценгоша и других мальчишек — какое же это удовольствие, если тебя никто не видит? Но как назло возле нашего дома никого не было, и я побрел вверх по улице. Вдруг откуда ни возьмись — наш капитан. Он вырос передо мной как из-под земли. Я до смерти испугался и кинулся бежать, но споткнулся о саблю и, как лягушонок, плюхнулся на землю. Капитан поднял меня, отцепил саблю, взял за руку и повел домой. Реветь во весь голос я не решался и только жалобно всхлипывал, с ужасом представляя, что меня ждет. Конечно, меня расстреляют... Но за самовольное ношение оружия я расстрелян не был, а сама эта история послужила поводом для сближения нашей

семьи с капитаном. Как командира части его все побаивались, и мои родители также, хотя и относились к нему учтиво. Но в тот вечер отец решился позвать капитана на чай, а поскольку и отец, и мама знали немецкий, то после этого капитан стал заходить к нам почти каждый вечер. Они рассуждали о политике, о войне. Как рассказывал потом отец, капитан — человек очень образованный и порядочный — уже тогда утверждал, что Австро-Венгрия войну проиграла. От нас он ушел со своей ротой прямо на фронт, где погиб в первый же день. Я помню, как отец и мама, узнав об этом, даже заплакали. Не помню, плакал ли я, но вполне возможно, что плакал. Ведь после того случая капитан разрешил мне играть с обеими своими саблями и приказал ординарцу сделать для меня пояс, чтобы я эти сабли мог надевать. Он даже брал меня с собой на учения, которые проводились за селом, и я пользовался исключительной привилегией смотреть на эти чудеса вблизи, в то время как остальным мальчишкам приходилось довольствоваться наблюдением издалека. Я слушал собственными ушами разные приказы и команды: «Nieder — auf, links um, rechts um»[1] и тому подобное. Солдаты с винтовками ложились, вставали, поворачивались, маршировали, и у меня было ощущение, будто команды подаю я сам. Какое это было наслаждение! Шагая после учений вслед за солдатами, я чувствовал себя героем. Солдаты пели, а я старался идти с ними в ногу. Правда, домой приходил усталый и измученный.

По селу в те дни разлетелась весть, что в имение Штейна привезли русских пленных. Увидеть русского! В это верилось с трудом. Но так оно и было — русских привезли работать на скотном дворе, и они — их было около двадцати — пели там по вечерам свои протяжные песни. Мы ходили их слушать. Собиралось довольно много народа, а они пели каждый вечер, пока эти концерты кто-то не запретил. Пленные были в грязной, рваной одежде, небритые, но своим многоголосым грустным пением покорили наши сердца. Их песни трогали меня до слез, я никогда не слышал, чтоб так красиво пели.

В том же, 1916 году мне пришлось получить и более сильные впечатления, непосредственно связанные с первой мировой войной. Вместе с мамой я ездил к ее родителям в Старую Любовню. Мой дед Штефан Длуголинский — тоже кожевник — был тяжко болен. Если бы не это, отец не отпустил бы нас тогда в далекий путь. Мы с трудом добрались до Любовни и застали деда при смерти. Правда, он был в сознании и после нашего приезда прожил еще около двух недель. Несмотря на болезнь дедушки, я чувствовал себя в Любовне превосходно. У стариков были лошади и большой пес — сенбернар, а внуку, как всегда, конечно, все позволялось. Бабушке даже пришлось отдать соседке свою самую лучшую курицу, потому что я стрелял в соседских кур из рогатки и мне удалось угодить одной из них в голову. Дома я получил бы за это изрядную порку, а здесь все сошло с рук. Андришко все разрешалось, даже убивать кур. «Андришко у нас ловкий малый»,— с гордостью говорили старики. К тому же в Любовне была куча двоюродных братцев и сестриц, детей маминых братьев. У одного только дяди Адольфа душ десять. Поэтому жилось мне здесь как в раю.

Похороны деда были пышными. Был он одним из самых уважаемых граждан города Любовни. От Верхней улицы, где он жил, до самого кладбища двигалась длинная процессия. В конце процессии, последним, одиноко плелся дедов сенбернар. Это была огромная лохматая желто-белая псина, с которой мы, детвора, вытворяли все что угодно, но которая не впускала во двор ни одного чужого человека. Когда все ушли с кладбища, сенбернар лег на свежую могилу и остал-

[1] Лечь — встать, налево, направо *(нем.)*.

ся там лежать. В суете похорон никто не обратил на него внимания — хватало других забот, ведь надо было устроить поминки для большой родни. О собаке позабыли, и только через несколько дней кто-то из кладбищенских пришел в дом и сказал, что никак не может согнать ее с могилы. Пролежав несколько дней без пищи, сенбернар так и сдох на могиле своего хозяина. Я бы и сам не поверил в эту историю, похожую на сказку Уайльда, если бы не был ее свидетелем. Пса оплакивала вся семья, я тоже плакал.

Вскоре из Сельницы от отца пришла телеграмма, состоявшая всего из трех венгерских слов: «Rögtön gyere haza». Отец венгерского языка вообще-то не знал, но так, видно, было надежнее. Слова эти значили: «Торопитесь домой». И, правда, было уже самое время уезжать: дядя Дюла, старший мамин брат, принес слух, что на следующий день со станции Подолинец отходит последний поезд. Генерал Брусилов, прорвавший фронт в Карпатах, находился со штабом в Бардейове, а его передовые посты уже якобы видели в Новой Любовне. Сомневаться в этом не приходилось: грохот орудий мы слышали и в самое шумное время дня. Мама быстро собрала вещи, мы сели в повозку и дядя Дюла тоже, чтобы проводить нас на станцию. Всю дорогу мама плакала, как ни утешал ее дядя Дюла. По пути нам то и дело встречались войска, военные обозы. Видели мы и несколько повозок с беженцами. На станции была ужасная давка, и мы вряд ли сели бы в поезд, если бы дядя Дюла не заплатил кондуктору классного вагона и тот не впустил нас к себе.

Наконец, после всех дорожных волнений нам удалось добраться домой. Отца мы застали не грустным, а наоборот, веселым. Маму это рассердило, и не только потому, что она скорбела по умершему дедушке, но еще и потому, что наш отец, по ее мнению, недостаточно осознал тот ужас, который нас ожидает. Отец, однако, все прекрасно сознавал и именно потому был весел. Я помню, как он радостно засмеялся и, стукнув кулаком по столу, крикнул: «Ну и всыпал же им Брусилов!»

Русским, правда, дальше продвинуться не удалось. В последующие дни эшелон за эшелоном проносились через Парижовце — ближайшую к нам железнодорожную станцию,— везя немецкие войска в Татры. Маршал Гинденбург бросил большие силы, чтобы заделать опасную брешь на восточном фронте. И отец со дня на день становился все грустнее. По вечерам он зажигал керосиновую лампу, склонялся над картой, наносил изменения линии фронта и качал головой. В такие минуты к нему и подступиться было нельзя, тем более обращаться с какими-нибудь ребячьими пустяками,— все, кроме положения на фронте, казалось ему ерундой.

■

Мы, ребятишки, были уверены, что святому Петру очень нравятся учения пожарных, потому что в день Петра и Павла, когда эти учения проводились, всегда стояла хорошая погода. Обычно еще дня за два до него лил дождь, и поскольку был конец июня, то есть начало гроз, ни один метеоролог, особенно здесь, в горах, не мог бы с уверенностью предсказать хорошую погоду. Зато горнист пожарных был в ней уверен. Великолепным праздничным утром его труба звучала на все село. Хотя ее пронзительный медный звук предназначался только для пожарных, все жители поднимались на ноги, выходили из домов, высовывались из окон, чтобы увидеть, как бегут они к месту сбора в своих сверкающих касках. Волновался даже скот в хлевах, привыкший к дудке пастуха, ежедневно созывавшей его на пастбище.

Потом с горы Дел, так душевно воспетой поэтом-штуровцем Само Богданом Гробонем[1], нашим односельчанином, раздавалась стрельба из мортир, возвещавшая о начале праздника пожарных. Мы, детвора, не смели даже приблизиться к заветному месту и считались с этим запретом вплоть до юношеских лет — ведь там стреляли настоящим порохом, и нам твердили, что уже убило троих, хотя это было неправдой. На склоне горы Дел росла прекрасная сосновая роща. Здесь на Петра и Павла после учения пожарных собирались и веселились всем селом, это был большой летний праздник с угощением, с играми, в которых участвовали все сельничане — от мала до велика. Видимо, это празднество пожарных было продолжением древнего праздника солнцестояния, который люди приспособили к новым временам, модернизировали и наполнили новым очарованием. Все село пекло пироги, жарило, варило уже накануне торжественного дня. Угощенья доставлялись наверх в рощу. Наш сельницкий корчмарь Штерн устраивал там «выездной» филиал — подвозил на телеге бочонки с вином и пивом, конфеты, печенье и разные другие лакомства. Молодежь украшала сосны яркими гирляндами, лампионами, площадку для танцев посыпали сухой хвоей, по которой подошвы скользили как по маслу.

И когда раздавались первые звуки знаменитого у нас оркестра Койша, в роще уже все ели, пили и пели. Хриплые голоса веселящихся сельничан взлетали выше самых высоких сосен. Звуки скрипки, кларнета, цимбал и контрабаса, пройдя сквозь строй розоватых сосновых стволов, тонули в густых зарослях. Наступал разгар праздника.

И вот однажды в такой момент произошла история, о которой я хочу рассказать. Наш сосед Ценгош, уже изрядно на взводе, подошел к нам — а с нами сидели учитель Сайтак, его жена и дочка Вильмушка — и обратился к отцу как самый лучший друг:

— Эй, Ондришка, соседушка разлюбезный, давай-ка чокнемся!

Отец поднялся, губы его задрожали, глаза гневно вспыхнули, и мы все почувствовали, что дело плохо.

— Убирайся, предатель! — процедил сквозь зубы отец.

Ценгош сперва окаменел, потом издал какой-то невнятный звук и, уходя, злобно крикнул:

— Ну, ладно, в суде поговорим!

— Я тебе это и в суде докажу! — бросил ему вдогонку отец и сел.

Мама и жена учителя пытались успокоить его, но это им плохо удавалось. Все знали, за что отец сердится на Ценгоша: в свое время тот уговаривал сельскую управу не разрешать отцу строить кожевню даже на самом нижнем краю села, потому что, мол, смрад будет от нее на всю округу. И хотя с ним не посчитались и мастерскую разрешили построить, отец его не очень-то жаловал.

На этот раз нам так и не довелось повеселиться на празднике. Вскоре отец предложил пойти домой, и мы ушли.

Некоторое время спустя отца вызвали в суд. Ценгош действительно обвинил его в оскорблении личности. Оба петуха в указанное время отправились в Микулаш. Сперва, правда, каждый к своему адвокату. Адвокатом отца был доктор Йозеф Каллай, адвокатом Ценго-

---

[1] Штур, Людовит (1815—1856) — крупнейший словацкий общественно-политический деятель, поэт и публицист. Основоположник романтического направления в словацкой литературе, получившего название штуровского.

Гробонь, Само Богдан (1820—1894) — словацкий поэт-романтик, выражавший в своем творчестве мечту об обществе без социального и национального гнета. *(Здесь и далее примечания переводчиков.)*

ша — доктор Ян Руман. Оба были словацкими патриотами, а при республике стали жупанами[1].

Отец все подробно рассказал доктору Каллаю, тот его внимательно выслушал и сказал улыбнувшись:

— Послушайте, пан Плавка, неужели мы, словаки, будем судиться из-за таких пустяков? Помиритесь.

— Я не возражаю,— смущенно сказал отец, готовый выполнить совет своего адвоката, которого очень уважал.

В конце концов дело до суда не дошло, адвокаты помирили их.

■

В 1914 году я начал посещать народную, или, как тогда говорили, элементарную, школу. Трудно поверить, но меня, сына лютеранина, отдали в школу, где учителем был еврей. В те времена в селах были разрешены частные школы, и, если находился подходящий учитель, обеспечивавший себе поддержку уважаемых и имущих семей в селе, он мог такую школу открыть. Так в моей родной Сельнице появился учитель Клейн. Он снял у одного крестьянина горницу и набрал учеников. Молва о нем шла очень хорошая, и даже наш священник Цимрак отдал своего сына Владо к нему в учение.

Школа его была, правда, одноклассная, как почти все народные школы в те времена, и занятия велись на венгерском языке. В небольшой комнате занималось около сорока ребят. Учитель Клейн был превосходным педагогом. Своим благородным характером он сумел за короткое время завоевать привязанность и любовь учеников, тем более что применял для тех времен действительно прогрессивные методы обучения. Мы выучили таблицу умножения с помощью длинной мелодичной песенки, которая так врезалась в память, что я не забыл ее до сих пор. Конечно, он и наказывал, ведь мы были деревенские мальчишки, все как один проказники, поэтому и мне не однажды доводилось стоять на коленках на полене, но несмотря на это мы все его любили, потому что в свободное время он охотно с нами играл и шутил.

Но против этого превосходного учителя велись непрерывные интриги, и те, для кого он был как бельмо на глазу, все же добились своего: вышестоящее ведомство отменило разрешение держать частную школу, и Клейн уехал неизвестно куда. Лишь много лет спустя я встретился с ним в Лученце, он преподавал там в еврейской школе. Я разыскал его, и он пригласил меня к себе домой, где я провел в кругу его семьи очень приятный вечер. Мы вспомнили прошлое, отцу он послал бутылку превосходного красного вина. Первый учитель остался в моей памяти как человек редкого благородства.

После отъезда Клейна из Сельницы мы стали учиться в лютеранской школе. Наш учитель Бабка был отличный органист и в некотором роде даже композитор. Проучился я у него меньше года, и отец отдал меня в католическую школу. Вместе со мной перешел туда и Владо Цимрак. Учеников в ней было чуть ли не вдвое меньше, чем в лютеранской, и учитель Сайтак мог уделять отдельным ученикам больше внимания. Правда, среди сельской «аристократии» из-за этого возникало немало осложнений. Но у меня — и, разумеется, у остальных учеников — об учителе Сайтаке, как о педагоге и человеке, сохранились наилучшие воспоминания.

Сайтак был тоже одаренным музыкантом: как католический регент, он играл на церковном органе (а дома на фисгармонии), скрипке и виолончели. Своей музыкой он буквально зачаровывал не одних

[1] Жупан — высшее должностное лицо жупы, административной единицы, существовавшей в буржуазной Чехословакии в 1920—1927 гг.

своих учеников, но и взрослых. Летом из открытых окон его скромного дома доносились певучие звуки скрипки и под окнами часто останавливались крестьяне, возвращавшиеся с поля. Слушать его игру было истинным наслаждением. Мы восхищались им, в особенности его нежными, белыми руками, так непохожими на натруженные, шершавые руки наших родителей.

Семью учителя Сайтака и моих родителей связывала прочная дружба. Они часто ходили друг к другу, вместе следили за развитием событий в мире, не раз склоняли головы над картой и охали по поводу изменения линии фронта, становясь при этом на сторону союзников, то есть французов, англичан и русских. Мама с женой учителя судачили тем временем о женах священника и нотариуса, а мы — Вильмушка и я — играли у печки, сплетая нити первой, еще не осознанной детской любви.

Учитель Сайтак порой, когда хотел сообщить что-нибудь важное отцу, настолько загруженному работой, что у него не было времени регулярно следить за политическими событиями, передавал это через меня. Однажды в ноябре 1916 года он отпустил учеников задолго до полудня и послал меня домой сообщить отцу, что умер император Франц-Иосиф. В тот день нам уже не надо было возвращаться в школу. Ура! Я прибежал домой запыхавшись, влетел в мастерскую и выпалил отцу эту весть одним духом. Он развел руками, воскликнул: «Ну и ну!» — снял кожаный передник и, бросив его в угол, побежал к маме.

Сайтака все знали и как большого шутника. Поскольку в те времена сельские учителя, нотариусы, священники, некоторые ремесленники и торговцы довольно часто играли в карты, охотились, кутили, учитель Сайтак нередко разыгрывал то одного, то другого. Разыгрывал он также и моего отца. Однажды, решив хоть ненадолго оторвать его от изнурительной работы, он велел мне передать отцу, что в Микулаше вечером состоится важное собрание ремесленников, на котором ему обязательно надо присутствовать. Он подговорил и нашего пекаря Прейса, чтобы тот в условленное время отправился в Парижовце на поезд и зашел по дороге за отцом. Отцу ехать не хотелось, у него было много работы, но когда его друг Прейс сказал, что это действительно важное собрание, он решил поехать в Микулаш. Мы все тогда помогали ему переодеться, чтобы он успел на поезд. Увидев в Парижовце Сайтака, он удивился, почему это учитель едет на собрание, а ремесленников из окрестных сел не видно. Когда же они в Микулаше вышли из вагона, Сайтак, подмигнув Прейсу, спросил отца: «Ондрей, а куда ты едешь?» — «На собрание».— «На какое?» — «Ремесленников».— «Наверно, к Фойресейнам?» — сказал Сайтак с ухмылкой, имея в виду известное в Микулаше кафе. Туда они в конце концов и отправились, так как до обратного поезда оставалась уйма времени. Вернулись домой они только к ночи. Отец ругался на чем свет стоит, ворчал на Сайтака, а через некоторое время сам отомстил ему. Так они друг друга и разыгрывали. Это было смешно и давало разрядку, а в итоге укрепляло дружбу.

Для меня учитель Сайтак как музыкант служил образцом. Я выискивал любую возможность, чтобы попасть к нему в дом, когда он играл на скрипке. Еще гимназистом, а потом уже студентом я и сам играл в нашем сельском оркестре на гуляньях и свадьбах. Отцу, правда, это не очень нравилось. Он всегда говорил, что сто музыкантов, сто охотников и сто рыбаков вместе — это триста нищих. Впоследствии я предпочел стихи, не осознавая, правда, что тем самым только увеличиваю число нищих.

В июне восемнадцатого года занятия в нашей школе кончились

точно так же, как и в предыдущие годы. Но для меня этот год остался памятным, потому что по решению родителей и по совету учителя я должен был поступить в Микулашскую гимназию. Я ужасно возгордился, особенно когда заметил, что остальные мальчишки мне завидуют.

Сентябрь подкрался внезапно и безжалостно. И хоть я вначале хвастался перед мальчишками, что поеду в гимназию, когда пришло время уезжать и мы с отцом и паном учителем Сайтаком сели в повозку, душа у меня ушла в пятки. Наш возница Плахи-Кучеравец бросил в повозку охапку сена для лошадей. Рядом с ним уселся отец, а сзади устроились мы с Сайтаком. Мама нас проводила, перекрестила, сказала что-то на прощанье отцу, возница стегнул коней — и мы покатили в Микулаш.

Выехали мы на рассвете, а сентябрьские утра у нас холодные. Но мне было холодно скорее от страха и волнения. Кони резво бежали по дороге, я смотрел по сторонам и, казалось, прощался со своим детством, с вербами и полями, будто уходил в чужой мир. Мы проехали Парижовце и Разтоки, а когда поднялись на Ондрашовецкую гору, увидели уже трубы микулашских фабрик. Так вот, значит, куда мы едем! Там где-то моя гимназия, притягивающая и пугающая, таинственная и неведомая. Что-то будет со мной?

Когда мы остановились перед новым огромным зданием гимназии, я весь извертелся, разглядывая его и гадая, чему в таком домище буду учиться. Мы вошли внутрь. Там было полным-полно учеников и их родителей. Хуже всего было то, что среди гимназистов я не увидел ни одного знакомого лица и всюду слышал лишь венгерскую речь, которую все еще понимал с трудом. Но через минуту сердце мое запрыгало от радости: я увидел Казо Безека, внука пана священника Цимрака,— моего сверстника, который довольно часто, особенно летом, приезжал в Сельницу. Я сразу подбежал к нему. С ним был его отец — священник Безек. Мой отец и учитель Сайтак тоже подошли к ним. Что было потом, уже не помню, знаю только, что мы оказались на одной парте с Казо — конечно, об этом наши отцы попросили учителей.

В класс вошел офицер в пенсне, который только что расхаживал по коридору, позвякивая шпорами. Похлопывая тростью по мягким голенищам сапог, наводя на нас страх, он вертел головой, которую подпирал высокий воротник с золотыми звездочками. Мы сидели перед ним, как мальчик с пальчик перед людоедом, уставившись на него полными ужаса глазами, и слушали его рубленую речь, почти ничего не понимая. Господи боже мой, что же с нами будет, зачем только я согласился сюда пойти, ведь я здесь погибну, проносилось в моем сознании.

Из этой пугающей нас речи мы поняли только то, что в гимназии мы не смеем разговаривать по-словацки не только на уроках, но и на перемене. Ну как же мне быть, если по-венгерски я двух слов связать не могу? Я должен побыстрей выучить венгерский, для этого я и приехал сюда, в такой красивый дом.

Встретившись с отцом и учителем Сайтаком у повозки, я горько заплакал и продолжал жалобно хныкать, даже приехав домой, потому что в маме нашел полное сочувствие. Она меня гладила, жалела, называла «бедняжкой», но ничего не могла изменить в моей судьбе. Да и сама она присоединилась к увещеваниям отца и учителя.

— Почему бедняжка? Лентяй он, а не бедняжка,— сердился на маму отец: он всегда на нее сердился, когда она нас защищала или

жалела.— Другие с радостью ходили бы в гимназию, да не на что. Ты думаешь, Юрко Бабка сразу попал в восьмой класс? И он начинал с первого класса, и ему приходилось учить венгерский. Ведь это только на пользу тебе пойдет, осел!

Я хотел было в свое оправдание напомнить ему, что он тоже не знает венгерского, но не решился, потому что рассердил бы его еще больше и началась бы порка.

— Покамест будешь ходить с Юрко Бабкой, а как погода испортится, начнутся дожди и снег, снимем тебе жилье в Микулаше. Ты привыкнешь. Виктор поможет тебе делать уроки и учить венгерский. Разве ты хуже других? Если другие научились и привыкли, ты тоже сумеешь!

Старший брат Виктор к тому времени уже закончил микулашское городское училище.

И я каждый день отправлялся с Юрко в Микулаш. Он заходил за мной еще затемно, и мы вдвоем шагали через поля и луга напрямик, сокращая тем самым долгий путь, но все равно получалось больше семи километров. Юрко Бабку, сына учителя нашей лютеранской школы, я очень полюбил. Он был моей защитой и опорой, воплощая в себе все благородные качества старшего товарища. И встречаясь много лет спустя, мы оба испытывали эту давнюю привязанность друг к другу.

Тропинка в Микулаш уводила меня в чужой мир. Уже тогда я почувствовал горечь и печаль от разлуки с домом, пусть даже краткой. С годами ранняя разлука с родным гнездом привела к постепенному отчуждению от него, сделала его предметом воспоминаний и снов.

Эта печаль возникла во мне с особенной силой позже, когда меня поселили в Микулаше в семье учителя-еврея Фишера.

Жизнь в этой примерной и набожной семье была патриархальной; перед каждой едой вся семья молилась, а учитель — высокий, представительный, с длинной черной бородой и пейсами — благословлял ее. Еда у них была прекрасная, уход тоже, но я почему-то совсем потерял аппетит и страдал перед каждым приемом пищи, перед каждым обедом и ужином. Мне было невыразимо тоскливо, я никак не мог привыкнуть к жизни среди чужих людей.

Однажды, когда в доме никого не было, во мне созрело решение: я надел пальто, шарф, прислушался к тишине и, аккуратно закрыв входную дверь, выскочил на улицу. Мчался я изо всех сил, чтобы меня не встретил кто-нибудь из Фишеров и не вернул назад. Я оставил там все — книжки, одежду — и убежал домой. И только когда Микулаш остался позади, замедлил шаг, считая, что здесь меня уже никто не остановит. Я возвращался той же тропинкой, по которой раньше пешком ходил в гимназию. А когда, запыхавшись, вошел в наш дом, мама едва не лишилась чувств. Она прижала меня к себе, приласкала и, узнав, что ничего страшного не случилось, что я просто убежал, успокоилась.

Отец сразу все понял, ему ничего не пришлось объяснять. Он был вне себя от гнева и накричал даже на маму, которая уговаривала его не сердиться.

— Ничего хорошего из этого осла не выйдет, дерьмо из него получится.— Он ходил взад-вперед по комнате, все время раскуривая трубку, которая тут же гасла, потому что от злости он не затягивался.— Ну, погоди, я научу тебя уму-разуму,— и он погрозил кулаком перед самым моим носом.— В ученики отдам, но не надейся, не в Микулаш и не в Ружомберок. Подальше, как можно дальше — в чужие места. Там тебя отучат нюни распускать.

Я рискнул подойти к двери, надеясь укрыться от грозы, но мне

это не удалось. Отец, поняв мой замысел, схватил меня за шиворот и швырнул на диван. Пришлось испить и эту горькую чашу до дна.

Относительный покой в доме наступил только вечером, когда отец стал зажигать над столом керосиновую лампу. Он священнодействовал. Эта лампа была как бы божком нашего семейного очага. Она висела под потолком, нарядная, похожая на люстру. Ее можно было опустить низко над столом, когда отец читал или мама вышивала, и поднять под самый потолок, если нужно было осветить всю комнату. К этой лампе, кроме отца, никто не имел права прикасаться, следить за ней было привилегией главы семьи. Отец снимал стекло и фарфоровый абажур, счищал с фитиля нагар, прикручивал его немного и зажигал, потом аккуратно надевал стекло и абажур, выкручивал фитиль до такого уровня, что лампа начинала светить круглым желтым пламенем с зубчиками, и после этого обычно произносил свое обязательное «добрый вечер», даже если в комнате никого не было. Так было и на этот раз. Ну, а поскольку не произнести «добрый вечер» отец не мог, после этих слов уже и сердиться было нельзя. Он вышел, а я вздохнул с облегчением.

Мы с младшим братом Юлко спали в углу у окна на детской кровати, сделанной специально для нас. Ее изготовили из лиственницы «по мерке», чтобы она поместилась вдоль стены между дверью и окном. Кровать была довольно широкая, и мы могли на ней кувыркаться, драться, хотя это сердило отца, потому что нам полагалось уже спать, а он после ужина, устав от дневных трудов, хотел спокойно почитать газеты. Обычно это кончалось тем — если мы после нескольких напоминаний не переставали безобразничать,— что отец снимал пояс и стегал нас обоих по голым задам. Только тогда мы утихомиривались и засыпали, и он, бедняга, наконец, мог вздохнуть с облегчением. В тот вечер мы, правда, вели себя тихо как мыши, я только хныкал под периной, пока не уснул.

Старший брат Виктор жил как у Христа за пазухой — он спал рядом, в «салоне», то есть вне досягаемости карающей отцовской руки. Только в сильные морозы ему приходилось переселяться в нашу комнату на диван с продавленными пружинами (наша работа!), но и то только на ночь — все его вещи оставались на прежнем месте. Наш «салон» был, собственно, комнатой для гостей. Здесь чаще всего помещали родственников из Любовни, когда они к нам приезжали. В этой комнате были мягкие кресла, на полу лежали красные плюшевые коврики, на овальном столе — плюшевая же скатерть. У стены стоял диван с исправными пружинами. За шкафами, в углах, обычно укрывали от реквизиции муку в мешках, о чем знала вся Сельница, хотя отец с мамой считали, что об этом не знает никто. В шкафах мама прятала пироги и разное печенье, всегда на верхних полках, чтобы мы, лакомки, не добрались до них и чтобы ей было чем угощать гостей. Конечно, случалось и так, что приходили гости, мама направлялась к шкафу за печеньем и не находила там ничего. Ну что нам стоило забраться на кресло и достать все эти лакомства! В углу между окном в сад и дверью стояла медная кровать с ночным столиком. На ней обычно и спал Виктор, если не приезжали гости. Эту кровать с ночным столиком не реже раза в месяц чистили асидолом, и она блестела, как золотая. Чистили также и дверные ручки. Даже много лет спустя, почувствовав запах асидола, я тут же вспоминал нашу медную кровать и дверные ручки и, конечно, где бы ни находился и что бы ни делал, меня одолевали грустные мысли. Я не знаю, кто окрестил эту комнату «салоном», но судя по всему — мама, считавшая, что семья такого уважаемого человека должна иметь «салон». Единственный, кто осмелился раскритиковать наш «салон»,

был дядя Штефан, мамин брат, который приехал в гости из Америки. Он сказал, что кровати в «салоне» не место. Маму это очень обидело, и она, кажется, впервые в жизни рассердилась на свою родню.

Часто по вечерам мы всей семьей, дружно сидя за столом, разучивали с отцом песни. Иногда в зимние вечера помогали на кухне щипать перья — тогда обычно собиралось много женщин и девушек, они рассказывали новости и пели. В те времена в селах любили петь. И отец, как истый патриот, хотел, чтобы мы знали словацкие патриотические песни, которые учить в школе не разрешалось. Он разучил с нами «Гей, словаки»[1], «Над Татрой молния сверкает», «Кто правду любит» и несколько травниц [2]. Особенно он любил песню «Я бы не жалела» и не раз вспоминал, что слышал ее в исполнении самого Пити во Врбицком трактире. В таких случаях он обычно становился разговорчивее и мягче, вспоминал, как был учеником и подмастерьем в Микулаше, и хвалил цыгана Питю.

Иногда отец читал нам стихи. Он любил Само Халупку, Ботто и Сладковича[3]. Любовь к этим поэтам сохранилась у него со школьных лет. Особенно он любил декламировать стихотворение Сладковича «Не хулите народ мой». В буфете стояло несколько его книг, я помню «Песни» Само Халупки и Яна Ботто в красивом белом переплете, которые потом достались мне в наследство. Отец постоянно выписывал газету «Народни новины», прилежно ее читал и хранил. Патриотические чувства не раз приводили его к ссорам с сельским нотариусом Суторисом, и тот даже грозил ему отправкой на фронт.

И действительно, в том же восемнадцатом году, хотя отцу уже исполнилось пятьдесят лет и ему выдали свидетельство, что он освобожден от воинской повинности, он вдруг получил предписание явиться на призывной пункт. Свидетельство он со злости порвал при всем народе и заявил, что этому «мадьярону» Суторису еще покажет, а на фронт не пойдет. Но фронты к тому времени уже разваливались, и ему не пришлось особенно стараться. Первую отсрочку он как-то раздобыл, а во второй надобность отпала — войне пришел конец. Мама все время урезонивала отца, уговаривала взяться за ум, потому что из-за своей политики он всех нас пустит по миру, но он ее не слушал.

— Я свободный человек,— отвечал он,— а не какой-нибудь лизоблюд. Не государство меня кормит, а я кормлю государство!

Тогда я еще не очень-то понимал эту его глубокую мысль, она казалась нам всем неслыханным предательством родины, и мама лишь робко молила его, чтобы он нигде этого не повторял, иначе его просто посадят. Но отец в таких делах был тверд.

В том же году Виктор закончил городское училище и отец решил приспособить его к своему ремеслу как простого ученика, считая, что Виктор, как самый старший, должен стать его преемником. Мы, младшие, должны были учиться. Мне тогда это очень пришлось по душе, потому что прежде я завидовал Виктору, пользовавшемуся до тех пор кое-какой свободой, и злорадно ухмылялся, когда отец наказывал его в мастерской. Там он не прощал Виктору ничего: сын был для него самым обычным учеником.

---

[1] «Гей, словаки» — патриотический гимн на текст словацкого поэта-романтика Само Томашика (1813—1887). Был написан в 1838 году, а затем распространился по всем славянским землям, где стал известен как гимн «Гей, славяне».

[2] Травницы — народные словацкие песни, которые обычно поют во время сенокоса.

[3] Халупка, Само (1812—1883), Ботто, Ян (1829—1881), Сладкович, Андрей (1820—1872) — словацкие поэты-романтики штуровского направления, авторы баллад, поэм и песен, проникнутых патриотическими чувствами и гражданскими мотивами.

Как всякий младший брат завидует старшему, его свободе, так и я завидовал Виктору, в особенности потому, что он хорошо знал венгерский. Венгерский язык Виктора сослужил нашим родителям хорошую службу, когда отец в последние два года войны выделывал кожи для армии и надо было «вести книги» и переписываться по-венгерски. Мама немного говорила, но, как она сама признавалась, на «кухонном» венгерском, а отец и вовсе не знал его. Он хорошо объяснялся по-немецки, но писать не мог. Если нужно было от нас, детей, что-нибудь скрыть, отец с мамой говорили по-немецки; мама, уроженка Спишского края, знала немецкий с детства и даже старалась выделиться этим перед нашей сельской «аристократией», чего и не скрывала. Отец выучился немецкому во время странствий по Германии, где одно время работал на кожевенных заводах.

Большим событием для нас бывал приезд военной комиссии, принимавшей выделанные кожи. Обычно комиссия состояла из специалиста — гражданского — и двух интендантских офицеров. Перед прибытием комиссии, о которой друзья отца из Микулаша сообщали за несколько часов, чтобы он успел подготовиться, мы все дрожали от страха, как будто от нее зависела вся наша жизнь. Подготовка состояла в том, что мы лихорадочно прятали кожу, выделанную для продажи сапожникам, чтобы «высокая комиссия» не догадалась, что отец работает не только для армии. Дело в том, что невыделанные шкуры мясники обязаны были отвозить на государственные заготовительные пункты, которые распределяли шкуры только среди кожевников, работавших для военного ведомства. Выделанные кожи государственные комиссии принимали прямо на фабриках и в мастерских, где их оценивали, проверяли количество полученных и выделанных кож, и если хоть одной не хватало, приходилось худо. Но мелкие ремесленники покупали шкуры и у крестьян, когда дохла скотина или резали дома теленка. Такие шкуры они выделывали тайком и тайком продавали. Выручка за них, конечно, была значительно выше, чем при продаже государству, но это было связано с большим риском, и родители всегда боялись, что кто-нибудь на них донесет.

Спрятав как следует «тайную» кожу, отец с мамой и мы, дети, стояли у забора, ожидая, когда на шоссе покажется экипаж с «высокой комиссией». Служанка тем временем гонялась за цыпленком, а поймав его, тут же резала, ошпаривала, ощипывала. Мама убегала на кухню жарить цыпленка, потом шла в «салон» за печеньем, если оно еще там оставалось, ученик Матьо мчался к Штерну за вином. К тому времени, когда прибывала комиссия, в «салоне» уже был накрыт стол, а отец с подмастерьем и Виктором еще раз отбирали самые лучшие кожи и клали их сверху, чтобы создать хорошее впечатление.

Я хорошо запомнил последнюю комиссию. Она состояла из штатского специалиста, майора и капитана. Проследовав в мастерскую, они достали из чемоданчика свой инструмент — три валика, как у маляров, и три штемпельные подушки с краской разного цвета. Каждую кожу они внимательно рассматривали, нет ли на ней надрезов, не ломается ли она, а потом, в зависимости от ее качества, штемпелевали. Все кожи они пометили штампом «сорт 1 А». Глаза отца сияли радостью. Комиссия составила акт, подписала его, поставила печать — и готово.

Затем последовало обязательное угощение в «салоне». Из мастерской все процессией направились в дом. В дверях «высокую комиссию» приветствовала мама как хозяйка дома. Беседа велась по-немецки. Все пришли в хорошее расположение духа, пили вино, ели печенье (ясно было, что мне уже ничего не останется), мама сварила

еще и кофе из свежесмолотых зерен, большой тогда редкости. Отец казался чрезвычайно довольным тем, что все кожи прошли первым сортом, это, несомненно, должно было отразиться на заработке.

Родители всегда избегали заводить с комиссией разговор о политике или о войне, боясь выдать свой образ мыслей, но на этот раз уклониться не удалось. Господа офицеры все время возвращались к войне, как отец ни старался перевести разговор на ремесло, на микулашских фабрикантов, на свои странствия и на разные веселые приключения. Майор прямо говорил, что война проиграна, что с этим обстоятельством надо смириться и сообразовать свои действия. Остальные двое поддакивали ему, и это крайне удивило родителей. Под конец господа очень ловко и осторожно попросили продать им кожу. Им лично. Отец растерялся: это могло быть и ловушкой. Он попытался было отвертеться, но путей к отступлению не было. Тем более что аргумент майора был весьма убедительным. Он объяснял, что после войны с кожей будет плохо, даже обуть себя и семью будет трудно, но просить об этом фабрикантов он не решается, а отец, человек небогатый, поймет его скорее.

Пока мама продолжала развлекать офицеров, отец с Виктором достали из тайников несколько кож. Каждому члену комиссии они отложили по куску хрома и широкой полосе подошвенной кожи пар на пять обуви. Обрадованные господа принялись щупать мягкий черный хром. Они восхищались мастером, который в маленькой кустарной мастерской изготовляет такие чудеса. Больше всех восторгался штатский. Отец завернул кожи в три пакета. Майор первый достал кошелек, чтобы уплатить. Но отец денег не взял и сказал с улыбкой:

— По крайней мере у вас останется добрая память о хорошем ремесленнике — обувь из нее будет отменная.

■

Из первых гимназических учителей больше других мне запомнились Бедьо Зига, учитель каллиграфии и рисования, и Банчик Мигали, учитель латыни.

Бедьо был приземистый, плечистый, с колючими, злыми глазами, с широким, всегда сердитым лицом, на котором торчал похожий на длинную картофелину нос. Он требовал от нас, своих несчастных учеников, чтобы мы приносили ему из дому всякие продукты и прочее— жизнь в конце войны стала действительно трудной,— в противном случае грозил провалить на экзамене. Открыто, перед всем классом, он кричал сыну пекаря, что тот осел и скотина, потому что не приносит ему хлеб. Однажды он обрушился и на меня. Вызвал и закричал: «Твой отец кожевник, так вот, принеси мне кожи на подметки!» Когда я дома сказал об этом отцу, он не хотел мне верить.

— Не болтай,— отмахнулся он,— разве может учитель гимназии сказать такое, да еще при всем классе!

С трудом убедил я отца, что это сущая правда, и он дал мне кусок кожи, но велел передать его учителю так, чтоб никто не видел. Дрожа от страха, поджидал я Бедьо возле учительской. Когда я подошел к нему со свертком, он рассмеялся и громко сказал:

— Давай сюда!

На следующем уроке он вызвал меня к доске, дал написать что-то из прописей, а когда я закончил, заявил перед всем классом:

— Плавка пишет замечательно!

Пятерка была обеспечена, и я уже не был ни ослом, ни скотиной, наоборот, он ставил меня в пример остальным.

Хуже было с учителем латыни Банчиком. Этот носил офицерский мундир и не расставался с тростью, которой хлестал не только по го-

ленищам своих сапог, но и по спинам учеников — просто так, для развлечения. Латинские слова он выкрикивал, как команды солдатам, а значение их отчеканивал по слогам часто прямо в ухо кому-нибудь из учеников и так неожиданно, что мы вздрагивали, как от взрыва гранаты. Конечно, я мало что понимал не то что по-латыни, но и по-венгерски и чувствовал себя совершенно потерянным. Впоследствии я даже перестал слушать и сидел, как в застенке, оглушенный и прибитый. Когда он вызывал меня, я тупо смотрел перед собой, не в состоянии издать ни звука.

— Садись! Дураком был, дураком и останешься! — произносил он и впридачу проезжался тростью по моей спине.

Хотя дома я старательно готовился к латыни, усердно выписывал все слова и их венгерский перевод и тут же карандашом, едва заметно, писал словацкий текст, выше тройки с минусом мне получить не удавалось. Потом он даже и вызывать меня перестал. У меня была твердая, обеспеченная и на будущее тройка с минусом, и уроки латыни просто перестали меня волновать. Я чувствовал себя на них как приведенный на бойню телок.

В конце первой четверти педагогический совет выставлял ученикам оценки. Если кто-либо получал неудовлетворительную оценку, об этом письменно сообщали родителям. Педагогический совет состоялся, но уже при особых, даже исключительных обстоятельствах. Это было в ноябре 1918 года, когда солдаты возвращались с фронта, многие в полном полевом снаряжении. Кого интересовали тогда отметки по латыни!

Возвращаясь домой, я увидел на станции Микулаш солдат-словаков, которые прикладами винтовок срывали венгерские надписи. Толпа людей бежала к железнодорожному складу, вход в который загородил, раскинув руки и расставив ноги, кладовщик Щетина, отец моих соучеников. Я хорошо знал его — он был приятелем моего отца. Я подбежал поближе к складу. Толпа поглотила Щетину, а его призывы заглушил крик и визг людей, окруживших здание со всех сторон. Через минуту из распахнутых ворот склада уже вылетали маленькие и большие посылки, ящики, выкатывались бочки, часто пустые, с грохотом подскакивавшие на неровной площадке. Выбегали люди, лица которых казались мне окровавленными, но они с хохотом размазывали «кровь» руками по лицу, засовывали красные пальцы в рот, вели себя как дикари. Только потом я сообразил, что это джем. Они ногами разбивали бочонки, и десятки рук погружались в красную желеобразную массу, подносили ее горстями ко рту, к десяткам ртов. Некоторым удавалось завладеть целым бочонком, и тогда они отбегали подальше, в сторону, как куры, ухватившие лакомый кусок. Каждый что-то тащил: железные шесты, доски, мотки проволоки, какая-то женщина — детскую коляску, кто-то — мешок с горохом, который сыпался из дыр и хрустел под ногами. Люди толкались, падали, ругали друг друга. Женщины, потеряв стыд, бегали с задранными подолами, унося в них муку, горох и еще бог весть что.

Когда склад был опустошен, пришли наводить порядок шестеро бойцов «Национальной охраны» с винтовками и бело-сине-красными повязками на рукавах. Все тут же разбежались, спрятались за вагонами на путях, забрались в товарные составы. Только когда прибыл пассажирский поезд, которого ждали, люди стали сбегаться к нему и, отталкивая друг друга, протискиваться в вагоны. С огромным трудом я тоже прорвался к поезду и стоял, зажатый между двумя вагонами, как буфера подо мной.

Домой я добрался уже затемно. Все окна у нас светились, в доме была суета. На меня никто не обратил внимания. Даже отец, который

обычно никогда не суетился, тоже бегал то и дело в кухню и заглядывал в две кастрюли на кухонной плите. Я робко спросил, что случилось, отец весь как-то подтянулся и, подняв руку, торжественно произнес:

— Мы шьем словацкий флаг!

Только тогда я заметил, что мамина швейная машинка открыта, а на кроватях разложено полотно — белое, синее, красное. Отец подошел к кровати, где лежало синее и красное. Поглядел и разразился криком:

— Ну как можно такое свинство вывешивать? На позор, что ли! Простое полотно покрасить не могут — все в пятнах! Я же говорил: помешивайте, все время помешивайте, черт вас возьми, ведь это же анилин! А вы что наделали — испаскудили все!

Мама топталась у плиты, помешивая краску в двух больших кастрюлях, и ворчала:

— Опять ему вожжа под хвост попала! Всегда у него пожар! Разве нельзя было до завтра подождать? Я бы купила в городе приличного синего и красного полотна, и все было бы как следует.

— На моем доме флаг должен висеть утром! И никаких разговоров! — послышался из горницы голос отца.

Слова «мой дом» символизировали у него семью, ее жизнь, обычаи, они охватывали все. Они включали и маму, и нас, детей, и нашего подмастерья Турзу, и Матьо, и служанку, и наше гумно, и хлев с двумя коровами и телкой, и свинарник с поросятами, и кур, и все, все, что находилось в пределах нашего забора от речки до овражка и от дома до последнего тополя в конце сада.

Пока женщины заново красили полотно, Виктор с подмастерьем Турзой и Матьо сделали в мастерской шест для флага. Я забежал к ним, чтобы посмотреть на хорошо обструганную длинную жердь, которую они окрашивали в красный цвет.

В тот вечер мы легли спать очень поздно. Заново окрашенное полотно как будто удалось. Его высушили, и мама сшила из него флаг, а мужчины прикрепили его к шесту. Из белой и красной шерсти мама сделала кисточки и пришила их на уголках флага. Уже глубокой ночью мы забрались на чердак. Высунули флаг из окошка и прикрепили его двумя скобами к балке. Служанка Марка осветила его фонарем. Нас всех охватило вдруг незнакомое прежде, еще неясное, но волнующее чувство, на глаза навернулись слезы радости. Отцовский «мой дом», осененный бело-сине-красным флагом, пробудил в нас в ту минуту особую гордость. А отец, как бы сраженный этим волнующим чувством, запел дрожащим голосом «Гей, словаки...». Мы присоединились к нему.

■

Итак, словацкий флаг на нашем доме приветствовал то знаменательное для нашего народа сырое осеннее утро[1]. Едва рассвело, я выбежал, горя нетерпением, в сад посмотреть, как он выглядит при свете дня. Бело-сине-красное полотнище висело, слегка колеблемое ветерком, и мамины кисточки из шерстяных ниток по углам его казались мне цветными колокольчиками, разносящими вширь и вдаль весть о рождении нашего словацкого флага.

Следом за мной пришел отец, потом Турза и Матьо. Из дома

[1] 30 октября 1918 года на основе решения Словацкого национального совета, принятого в городе Турчански-Свети-Мартин, Словакия вошла в состав Чехословацкой республики.

выскочила Марка с подойником, отец остановил ее и послал за мамой. Мама вышла с Виктором и еще сонным пятилетним Юлко.

Мы стояли среди яблонь и, подняв головы, любовались яркими красками флага, так контрастирующими с серым ноябрьским утром. Отец оглядел нас лукаво и спросил:

— А вы знаете, почему у нашего флага такие цвета?

Мы переглянулись, Виктор собрался было открыть рот и что-то сказать, но отец ответил сам:

— Белый — цвет невинности и спокойствия,— торжественно сказал он и поднял руку к флагу.— Синий — цвет неба над нами, а красный — цвет нашей крови и любви к роду нашему. Вот так-то. У каждого народа есть свой флаг, свои цвета, и так во всем мире. Сколько народов, столько и флагов. В них каждый народ выражает свои мечты, свою волю, по ним различают страны. У венгров, например, флаг зеленый, потому что у них широкие зеленые поля и равнины.— Он снова посмотрел на флаг, покачал головой и добавил: — А все-таки краску надо было размешивать получше — смотрите, синяя полоса в пятнах.

— А вы разве не сказали, что синий—это цвет неба? Вот и хорошо, разве на небе нет пятен?—воскликнула Марка и озорно засмеялась.

— У, шельма, я тебе покажу пятна! — И отец шутливо замахнулся на нее.

Но Марки и след простыл.

Разве мог тогда я, одиннадцатилетний мальчик, полностью осознать чрезвычайную важность тех осенних дней восемнадцатого года! Каждый из них обязательно приносил что-то новое, волнующее и оглушал мою детскую душу непрерывным грохотом событий, набегавших одно на другое и оставлявших в моем сознании впечатление скорее увлекательных приключений, чем важных исторических перемен. Так было и дома, в Сельнице, и в Микулаше. Слово с в о б о д а, которое не сходило у всех с уст, казалось неожиданно найденным драгоценным камнем. Могущественное и заклинающее, жизнетворное и разрушающее, оно придавало людям силу, электризовало их, побуждало к действиям, о которых они прежде и не помышляли, рождало в них решимость и невиданную смелость, гнало прочь их вековые страхи, униженность и покорность. Люди смеялись и плакали, суетились и опускали в растерянности руки, проклинали и молились, крестились и богохульствовали.

По селу слонялись вооруженные солдаты, голодные, заросшие. Они пели, орали, искали, на ком и на чем бы сорвать свою злость, потому что хотели есть. Им надо было излить свой гнев — все равно на кого — за все несправедливости, которые совершались над ними долгие годы, за страдания, горе, боль, смерть близких. В толпе, собравшейся перед церковью, кто-то выкрикнул, что только из Сельницы на войне погибло сорок семь человек! А за что? Смерть вошла здесь в каждый третий дом, в каждом третьем доме недоставало самых сильных рук для работы, без которой нет ни хлеба, ни спокойной жизни. Что же дальше? Надо расквитаться, дать выход чувствам, успокоить изболевшуюся душу.

Но в Сельнице было мало таких, на ком солдаты и сельская беднота могли бы сорвать свою злость. Единственный «магазин», принадлежавший дядюшке Костольному — добрейшему, тихому и любезному человеку, похожему скорее на проповедника, чем на торговца,— казался мне тогда волшебной сокровищницей, хотя был самой заурядной сельской лавчонкой. Казалось, дядюшка Костольный, наш дальний родственник со стороны отца, высокий, благообразный, с груст-

ными темными глазами, не продает товар, а раздает дары господни. Попробуйте-ка ограбить его — вас тут же, на месте, покарает рука всевышнего.

Я ходил к нему за «постным сахаром» — красивыми, сладкими плитками всех цветов радуги, за карамелью в липких бумажных обертках, за леденцами, за турецким медом. Не раз мечтал я стать обладателем таких сокровищ. Подумать только: что ни захочешь — протянешь руку и возьмешь! А у него действительно было все. Косы, хлысты, кнуты с красными кисточками, бочонок с коломазью, рядом керосин в железной бочке, на полках кастрюли, сковородки, медные ступки, бумажные красные маки с огромными листьями, бессмертник и даже первоцвет. С балок свисали керосиновые лампы с фарфоровыми абажурами, фонари, жестяные и деревянные, и даже одна почти такая же, как у нас, керосиновая люстра, висевшая там уже долгие годы, потому что ее никто не покупал. На самом верху под потолком виднелось несколько оправленных в красивые рамки цветных литографий, изображающих Христа в Гефсиманском саду, деву Марию в светящемся голубом одеянии, и одна картинка с надписью «Мой дом — домом молитвы наречется». Под этим благочестивым потолком по другую сторону прилавка висела широкая полка с множеством отделений для перца, пряностей, лаврового листа, а в застекленной ее части лежали пуговицы, катушки ниток, шелковые ленты, намотанные на картон, английские булавки и бог знает что еще. Позади в углу стояли сахарные головы в черной блестящей бумаге, от которых дядюшка Костольный откалывал секачом куски и мелкие осколки давал детишкам, когда они приходили с матерями за покупками. Иногда на прилавке у него стояли узкие деревянные ящики со смальцем, который покупали только самые бедные, не имевшие земли и свиней. В углу за дверью возле бочки с коломазью лежала куча колокольчиков для коров и овец, а самые красивые, медные, колокольчики хранились над этой кучей наверху на полке. Один такой колокольчик дядюшка Костольный прикрепил на внутренней стороне двери на пружине, и он мелодично звенел, когда дверь открывалась и закрывалась.

Никто из сельничан даже тогда не решился бы напасть на дядюшкин магазин. И все же такая дьявольская мысль после обильного возлияния в корчме возникла в чьем-то помутившемся сознании, и родилась она в голове возвращавшегося с фронта солдата из соседнего села.

Корчмарь Штерн, человек разумный и порядочный, снискавший себе уважение сельничанских женщин тем, что не продавал паленку их подвыпившим мужьям и не приобретал обманным путем земельных участков, как многие другие корчмари, оказался в эти революционные дни предусмотрительным. Он понимал, что корчме его не избежать атаки алчущих. Сначала он сопротивлялся, убеждал, что у него решительно ничего нет, вынимал из-под стойки полупустые бутылки, урезонивал, и любители горькой расходились по домам. Но однажды, когда в корчме собралось очень много солдат из окрестных сел и Штерну стало уже ясно, что дело принимает плохой оборот, он решил сдаться добровольно, не дожидаясь штурма.

Основные запасы напитков он, правда, припрятал и оставил под стойкой и на складе лишь то количество, которое счел достаточным.

Увидев, что корчма набита до отказа и ее спертый, прокуренный воздух сотрясается от криков, угроз и звона разбитых стаканов, Штерн забежал домой и отправил все свое семейство к каким-то знакомым. Вернувшись, он шепнул что-то своему хромому прислужнику Гамбатому и подошел к тем, кто стоял ближе к стойке. Среди них

был и Яно Файчик — очень уважаемый в селе человек. Штерн отвел его в сторонку и сообщил свой план. Файчик закивал в знак согласия, потом подошел к стойке и громко крикнул:

— Послушайте, люди, что я вам скажу!

Шум прекратился только после того, как Файчик еще раз повторил свои слова. Все повернулись к стойке.

— Мы все хорошо знаем пана Штерна,— тихо заговорил Файчик.— Человек он порядочный, никогда никого не обижал. Сейчас ему надо ехать к родне на похороны. Он просит нас разойтись, но не с пустыми руками. Каждому он даст с собой выпивку, причем бесплатно. Бесплатно — слышите? Потому что кончилась эта проклятая война. Но каждый, кто получит свое, должен тут же уйти, иначе будет путаница и кому-то не хватит. Гамбатый поможет наливать. Да, еще одно: и за то, что вы уже выпили, платить не надо. Все это за счет пана Штерна. Итак, подходите по одному к стойке.

За решетчатым барьерчиком стойки пан Штерн заранее приготовил бочонок паленки и пустые бутылки. Сначала казалось, что все пройдет гладко: все по очереди подходили друг за другом к стойке, где Штерн собственноручно давал каждому по пол-литра, каждому улыбался и разговаривал со знакомыми. Людей в корчме стало заметно меньше. Но слух, что у Штерна дают паленку даром, молниеносно распространился по селу. Первыми пришли мужики из ближайших домов, потом те, кто жил подальше, так что корчма не только не опустела, но снова угрожающе наполнялась подвыпившими людьми. Яно Файчик понял, что затея не удалась. Бочонок быстро опорожнили, и Гамбатый уставился водянистыми испуганными глазами на пана Штерна с немым вопросом. Штерн вздрогнул, а потом попросил Яно Файчика запереть дверь корчмы. Но было уже поздно. Увидев, что дело плохо, Штерн начал раздавать все, что осталось под стойкой, а потом уже только разводил руками, кричал и умолял, совершенно потеряв голову. Кто-то отодрал боковину стойки, и все кинулись смотреть, действительно ли там ничего нет. Убедившись в этом, мужики ринулись на склад.

Штерн передал Файчику ключи от склада и попросил открыть его. Тяжелые железные двери распахнулись, но все были разочарованы: кроме нескольких бутылок рому, вина, ликера да небольшого количества продуктов ничего больше там не было. Пристыженные и отрезвленные, все разошлись по домам.

В тот же день, когда уже начало темнеть, шестеро солдат ворвались в лавку дядюшки Костольного. Дверь была не заперта, взламывать ее не пришлось. Колокольчик зазвенел, как всегда, но только один раз — когда дверь открывали, потому что ее так и не закрыли. Пьяные солдаты прикладами винтовок стали колотить по прилавку и полкам, захрустело под тяжелыми сапогами стекло, а дядюшка Костольный взирал на все это из темного угла, оцепеневший, отрешенный. Солдаты набили свои сумки всякой всячиной, намотали на шеи ленты, потом побросали винтовки, чтобы унести побольше товару. Они толкали друг друга, хрипели и ругались, а кто-то из них выскочил на улицу и начал орать:

— Люди, идите сюда, и тут даром дают!

Но люди не откликнулись на его призыв, а те, что пришли к магазину, сначала робко, а потом все смелее начали кричать: «Вон отсюда, разбойники!» — и грозили кулаками.

Трое мужчин посмелее вошли внутрь и стали наводить порядок. Солдат с позором выгнали из магазина. Они ушли с пустыми руками, растерянные, перепачканные.

А когда наступила полная темнота, полетели камни в окна нотариуса Суториса. Но это было уже делом рук сельничан, мстивших ему за все доносы и обиды.

■

Волнующий день мы пережили и в микулашской гимназии. Это было примерно в середине ноября. В то утро некоторые ребята, главным образом те, кто жил в городе, пришли с бело-сине-красными ленточками на куртках. Я им ужасно завидовал и выпытывал, где они их достали. Они не хотели говорить и только хвастались перед нами. Но потом Казо Безек сказал, что они купили их в книжном магазине «Траносциус» и что он достанет такие же для себя и для меня. Действительно Казо принес мне такую ленточку, и я приколол ее к куртке.

Как забыть первый урок в то ноябрьское утро, когда в класс вошел директор Габан и с ним два незнакомых нам господина, которых он представил по-венгерски, а они с кафедры, откуда всегда раздавалась только венгерская речь, заговорили с нами на нашем родном словацком языке! Один из них был лютеранский епископ Юр Яношка, депутат Временного национального собрания, а второй, уже пожилой господин с бородой,— учитель и поэт Регор Урам-Подтатранский.

— Дорогие ученики,— обратился к нам епископ тихим, немного дрожащим голосом,— начиная с сегодняшнего дня, в этой гимназии будут преподавать только по-словацки. Первый урок у вас будет вести пан учитель Урам.

Что он говорил дальше, я не помню — у меня от радости и волнения закружилась голова. Но в памяти сохранилось звучание его речи, мягкой и прекрасной, она проникала прямо в душу.

На большой перемене в гимназии поднялась кутерьма: старшеклассники-словаки начали выбрасывать через открытые окна на улицу пальто гимназистов, которые носили венгерские цвета. Новые, еще не знакомые нам учителя — словаки и чехи, по большей части тихие, деликатные господа, не могли сладить со старшими учениками. Мы, первоклассники, со страху сначала прятались по углам, а потом, когда началась драка, разбежались кто куда.

Регулярные занятия стали совершенно невозможными: на улицах часто раздавалась стрельба, учителя-венгры сбежали, словаков было прискорбно мало. Примерно в начале декабря гимназия закрылась. В классе нам объявили, что о дне возобновления занятий нам сообщат письменно. Таким образом, у нас получились длиннейшие рождественские каникулы, самые длинные за все мои гимназические годы. Начались занятия только в феврале.

Этот день был для нас по-настоящему торжественным. Все мы, празднично одетые, дрожа от любопытства, смотрели на новых учителей-чехов, прислушивались к звучанию чешской речи, которой никогда до тех пор не слышали. Нам, лютеранам, было легче, мы знали старочешский — язык Кралицкой библии. Хуже было католикам и евреям, которые тогда по-чешски не понимали почти ничего.

■

Весной, кажется в начале мая, я заболел. Сначала у меня появились галлюцинации, которые мучили меня часами. Родители никак не могли меня успокоить. Я кричал, вскакивал с постели, весь дрожа, пытаясь спрятаться от терзавших меня призраков.

К этой болезни потом прибавилось и воспаление легких. Родители встревожились не на шутку. Они испугались еще и потому, что их первый ребенок, моя сестра Илонка, умерла в одиннадцатилетнем

возрасте от воспаления легких. Я ее не знал. Она родилась в Америке, где мои родители познакомились и поженились, а умерла уже в Сельнице, но до моего рождения. Я долго не ходил в гимназию и потерял целый учебный год. Летом я более или менее поправился, бегал с мальчишками, доктор Земплени объяснил родителям, что мне полезны дальние прогулки и походы, что было, конечно, очень разумно. К сентябрю девятнадцатого года, когда я снова начал ходить в первый класс гимназии, ко мне уже вернулось прежнее озорство, а вместе с ним и свежий цвет лица и блеск в глазах.

■

С детства я относился к горе Хоч с уважением; она была хорошо видна из нашего сада. Не только для сельничан, но, пожалуй, для всего Среднего Липтова гора эта была естественным барометром. Если Хоч «курился», значит обязательно будет дождь, а от этого зависела работа на поле. Если его седая грива и кривой острый «зуб» вырисовывались четко, особенно после заката солнца, которое заходило где-то за ним, все знали, что следующий день будет ясным. Мы, детвора, тоже считались с Хочем, потому что и наши шалости зависели от его поведения. Если мы вечером приходили в мокрых башмаках и отцы нас драли за вихры, выговаривая, что мы в непогоду не думаем о своем здоровье и одежде, мы мысленно радовались завтрашнему дню, потому что перед приходом домой успевали поглядеть на макушку Хоча, выплывавшую из-за дождевых туч. Позже мы узнали, что за Хочем лежит Орава — край, где люди говорят на другом наречии и одеваются по-иному. Они приходили к нам, в Липтов, только на ярмарки и покупали у отца кожу на постолы.

В Ораве, в Дольном-Кубине, тоже бывали ярмарки, и отец каждый год отправлялся туда — там у него торговля всегда шла бойко. Он надеялся, что так будет и после войны — кожи ведь нигде не было, а отец успел выделать ее изрядно и рассчитывал продать оравчанам. Он стал готовиться к пасхальной ярмарке в Ораве, а у меня возникло тайное желание, глубоко завладевшее моей детской душой и, наконец, вылившееся в просьбе: «Отец, возьми меня с собой!» В первый момент он удивился и хотел было решительно отказать, но вдруг задумался и сказал:

— А почему бы и нет! Будешь следить, чтобы у нас ничего не стащили.

Холодной ночью накануне пасхи мы сели с отцом в повозку, мама и Марка светили фонарем, проверяя, хорошо ли я укутан в шерстяной платок. Старик Плахи-Кучеравец хлестнул кнутом, и мы двинулись к шоссе, а там покатили в сторону Лучанской долины.

Ночь стояла темная, безлунная, но звездная. Села, через которые мы проезжали, еще спали. Только в Лучках начали зажигаться первые огоньки да лаяли собаки. Отец стал рассказывать о лучанцах-плотогонах. Они сплавляют лес по Вагу, а на хозяйство оставляют одних женщин. Сплав хуже кабалы, кто им займется, тому с ним уж не расстаться. Так вот они, Лучки. Я рассматриваю контуры домов, пока еще едва различимые. А на востоке, в Липтовских горах, небо уже начинает бледнеть и слегка вырисовываются вершины — предвестье наступающего дня. Но когда мы въехали в долину, тьма снова сгустилась. Лошади пошли медленнее: дорога, петляя, поднималась вверх к границе Липтова и Оравы. Долгим показался мне путь по Лучанской долине, но наконец мы добрались до перевала. Тем временем рассвело. Хоч мы увидели с другой стороны, и я не узнал его. По еще не проснувшемуся лесу стелился прозрачный утренний туман, от верхушек елей он поднимался по обеим сторонам дороги

сплошной пеленой вверх, к скалам, врезающимся в серебристое небо. Когда мы подъехали к первому оравскому селу Осадке, отец затянул песню «Ой вы, Осадка, Лещины, два села — одна долина...», а мне показалось, что я попал на другой край света.

В Кубин мы приехали около шести утра, поставили на ярмарочной площади деревянный навес, но прежде, чем распаковать товар, пошли в церковь помолиться. Когда вернулись, площадь начала заполняться людьми. Торговцы разложили свой товар. Рядом с нами расположились еще двое кожевников, с которыми отец тут же разговорился, подальше — сапожники, сукновалы, пряничники, и так ряд за рядом, прилавок к прилавку во всю длину кубинской площади от библиотеки Чапловича до корчмы «Орава». Люди шумно разговаривали, разглядывали товар, здоровались со знакомыми, с которыми давно, всю войну, не виделись, торговались, ударяли по рукам. Крепкие оравские мужики с самоуверенным видом стояли возле своих прилавков, широко расставив ноги, лихо сдвинув на затылок шапки с кисточками. Я слышал их громкую речь с типично оравскими протяжными «а» и «е», вдыхал запах их кожушков — запах костров и хлева. Со многими стариками отец был знаком, они подходили к нам и, если даже ничего не покупали, разговаривали с отцом о войне, о трудных нынешних временах. Покупателей было много, и возле нас образовалась толчея. Отец велел мне продавать обрезки второсортной кожи, которая шла на заплаты. Он объяснил мне, как торговаться — нельзя, мол, продавать дешевле цены, помеченной на куске, и как держать себя с покупателями. Я заработал немало насмешек, мне в глаза говорили, что я еще дите и ничего в таких делах не смыслю. Конечно, некоторые разбирались в кожах получше меня. Но все же к полудню мне удалось продать все обрезки.

Когда людей на ярмарке поубавилось, вдоль рядов прошел Гвездослав[1] в своем необычном плаще, который я потом не раз узнавал на фотографиях. Он со многими здоровался за руку, разговаривал. Подошел Гвездослав и к нам. Он узнал отца, обратился к нему по имени, подал ему руку и спросил, как идет товар. Отец показал на несколько пар постолов — все, что у него осталось непроданным. Позднее отец мне рассказывал, что Гвездослав бывал на каждой ярмарке, хорошо знал оравских, липтовских и даже турцовских ремесленников. Увидев меня, Гвездослав спросил отца, его ли я сын.

— Да, это мой сын, пан адвокат,— ответил отец.— Знаете, он у нас тоже стишки сочиняет.

Гвездослав заметил мое смущение, подошел ко мне, взял за подбородок и что-то сказал, а что — не помню, уж очень оробел. Я не отваживался даже взглянуть ему в глаза и смотрел лишь на его руку, сжимавшую сверкающий набалдашник трости.

Стишки, вот именно — стишки. Отец, значит, знает и выдал меня, а я так скрывал это, никому ни звука, ни Виктору, ни даже маме. И вот на тебе — отец рассказывает об этом самому Гвездославу. Как же мне было не покраснеть?

Весь обратный путь я ни о чем другом и думать не мог, кроме этой встречи: сам Гвездослав разговаривал с нами!

Возвращаясь домой, мы остановились в Лещинах, чтоб перекусить в небольшом трактирчике. Отец взял провизию, приготовленную Маркой, и они с Кучеравцем выпили понемногу паленки, потому что удачную ярмарку полагалось спрыснуть. Я же вынул мамин кренделек и через маленькую щелочку в нем смотрел на лошадей, которые, вытянув шеи, лакомились клевером.

[1] Гвездослав (Орсаг), Павол (1849—1921) — выдающийся словацкий поэт, ведущий представитель реализма, чье творчество составило эпоху в словацкой поэзии.

Мы поднялись до перевала, где стояло распятье,— здесь под лучами весеннего солнышка ярко зеленела трава, на кустах орешника набухли почки, от молодых елочек ложились на залитом солнцем лугу длинные темные тени, а отсюда уже поехали вниз, по Лучанской долине. Отец с Кучеравцем пели, а я сидел, погруженный в свои мысли о Гвездославе.

Два года спустя, 8 ноября 1921 года, мы с отцом снова проезжали по Лучанской долине. И, кажется, на той же самой повозке, потому что нас снова вез старик Плахи-Кучеравец. Был пасмурный, холодный день, временами шел дождь. На этот раз мы ехали на похороны Гвездослава. Когда добрались до Кубина, площадь была запружена народом. Кучеравцу пришлось остаться с повозкой в каком-то переулочке, а мы с отцом никак не могли пробиться сквозь толпу поближе к гробу, чтобы в последний раз увидеть скончавшегося поэта. Но все-таки и мы провожали его на кладбище, и я, тогда уже четырнадцатилетний парнишка, начинал понимать, кого мы потеряли.

Стишки, вот именно — стишки! Даже не знаю, как и когда это началось. Все, что я видел с малых лет, все, что меня с той поры окружало — первые ручьи, струящиеся из-под камней по мягкой черной земле в Сухой или Просецкой долине, таинственные барсучьи норы и пойманная в капкан куница, гул воды у Тесного моста и молчание Белой скалы, груши, дозревающие в пахучем сене в углу сарая, уют зимних вечеров с бесконечными сказками, посиделки, где одна за другой льются песни, и, конечно, отцовские книги о подвигах наших стародавних героев, которым хотелось подражать,— все это и породило во мне неукротимое желание писать стихи. С годами стремление следовать героизму наших славных предков крепло, а в последние дни войны, когда в гимназии все бурлило, а над нашим домом впервые взвился словацкий национальный флаг, стало еще сильнее. И когда я складывал свои стихи, мне казалось, будто я раздуваю искорку, тлевшую после Ботто и Халупки, будто я подкладываю в костер нашей поэзии и свою хворостинку, чтобы она загорелась хоть робким огоньком. Из всех этих эмоций и впечатлений, окутавших туманной неопределенностью мир мыслей и чувств одиннадцатилетнего мальчика, начали проклевываться первые рифмы, еще слепые и беспомощные, как желторотые птенцы в гнезде за водосточной трубой нашего дома. Эти рифмы и слова выпадали из гнезда моего детского сознания, бессильные, неоперившиеся, не умеющие постоять за себя в этом мире. Еще бескрылые и глухие, они неуклюже ложились на бумагу, лишенные цвета и запаха. Вечером я заносил их в тетрадь, а утром спешил посмотреть, живы ли они еще. Иногда гибли некоторые из них, иногда погибали все — видно, дал я им мало жизненных соков. Очень немногие из них выжили, но тем, что остались, уже хватало сил подавать свой собственный голос, самый звук которого неодолимо увлекал вперед. И уже не было пути назад. Слова и рифмы рождали свой мир, свои звуки и цвет, свои запахи, свою радость и муки.

Наверно, это началось в конце войны или даже немного раньше. В Сельнице, как и повсюду, по приказу властей снимали церковные колокола. Самый большой из них никак не удавалось спустить с колокольни. Тогда расширили на ней проемы и столкнули его. Падая, он еще несколько раз зазвенел в воздухе. Казалось, душа его звала на помощь. Но в печальной толпе, стоявшей у ограды костела, никто даже не шелохнулся. Колокол грузно упал, с глухим тяжким вздохом, на древнее, заросшее травой кладбище и раскололся. Из него отольют

пушку, но у нее уже не будет души. Я побежал домой и на последней странице тетрадки написал про это стихи. Они не звенели, как колокол, но в них уже слышалось биение сердца.

Это было, пожалуй, мое первое настоящее стихотворение. Жаль, что оно не сохранилось, подобно другим моим первым опытам. Я скрывал их как большую тайну, завел для них особую тетрадку и прятал ее на гумне за доской. Однажды ее обнаружила служанка и, конечно, отнесла маме, мама — отцу, отец прочитал все и велел положить тетрадку на прежнее место. Об этом я узнал много времени спустя после встречи с Гвездославом.

В этой тетрадке были еще стихи о пещере в Сухой долине, о пожаре, когда сгорел нижний конец нашего села, о моем учителе Сайтаке. Было еще большое стихотворение о Яношике[1], навеянное, конечно, «Смертью Яношика» Ботто, которое отец любил читать вслух. Но в девятнадцатом году, снова пойдя в первый класс теперь уже словацкой гимназии, я писал стихи во всех тетрадях и даже в тетрадке по арифметике.

Первым сохранившимся и увидевшим свет было стихотворение «Свободная Словакия», напечатанное в журнале «Новый род». Когда оно вышло в свет, я с нежностью гладил журнал, сто раз открывал страницу, где оно было напечатано, прятал его по углам, перекладывал с места на место, дрожал от радости и набирался смелости для новых попыток. Через несколько недель я чуть не остолбенел перед «будкой» нашего школьного сторожа Скачани. За стеклом у него была выставлена почта для учеников, и среди нее я увидел открытку, адресованную «пану Подгорскому» — это был мой псевдоним. Чтобы не выдать себя, я «выкрал» ее. Это был первый читательский отклик на мои стихи, и пришел он из Америки!

Звучал он так:

«Уважаемому пану Мартину Подгорскому, учащемуся Государственной реальной гимназии, Липтовски Св. Микулаш, Чехословакия, Европа.

Уважаемый пан! Я с большой радостью прочитал ваше стихотворение «Свободная Словакия» в журнале «Новый род» № 5. Пишите еще такие стихи. С приветом. Ваш В. Регнемер, Минджо Джанкшер, Огайо, США».

После такого поощрения я, конечно, осмелел и стал прилежно посылать свои стишки не только в «Новый род», но и в кошицкий «Словенский люд», и в местный еженедельник «Республикан», основанный Иваном Стодолой, тогдашним городским врачом. И не только стишки — я брался и за небольшие зарисовки и очерки, пытаясь рассказать об интересных событиях и окружавшей меня жизни. Позднее я много печатался в пражском «Студентском часописе» — очень хорошем журнале для учащихся средних школ.

Мы, гимназисты, увлекались не только литературой, но также живописью и музыкой.

В тайны музыки нас посвящал наш же соученик Душан Палка, сын известного микулашского фабриканта, с которым мы впоследствии близко подружились и в старших классах сидели за одной партой. Он был музыкально одаренным и уже в пятом классе виртуозно

---

[1] Яношик, Юро (1688—1713) — словацкий национальный герой. В 1703—1708 гг. вместе со многими другими словаками участвовал в аугсбургском восстании Ференца Ракоци II. После поражения восстания ушел в горы и возглавил группу «лесных разбойников» — повстанческий отряд, боровшийся против феодального гнета. Отобранное у феодалов добро Яношик отдавал бедным крестьянам. Имя Яношика стало символом борьбы против всякого угнетения, а образ его — легендарным. Он вошел в словацкий фольклор и в словацкую литературу.

играл на рояле. Выступал он не только на наших гимназических, но и на различных городских вечерах. Уже тогда я очень полюбил Рахманинова, которого Душан раскрыл для меня своим мастерским исполнением. Великие композиторы, с их бурной жизнью и часто трагической судьбой, покорили мою восприимчивую и легко воспламеняющуюся душу.

Однажды Душан исполнил мне свое сочинение, и я ошалел от радости, узнав в этой песне свои слова, слова своего стихотворения! Он скрывал от меня, что пишет песню на мои стихи, а когда она была готова, позвал к себе домой, долго вел со мной разговор на отвлеченные темы, а потом сел за рояль и сказал:

— Ондрей, угадай, чья это песня.

Позднее он положил на музыку многие мои стихи. Популярными стали «Скажи мне, девушка», «Еще раз приду к тебе...» и другие.

Искусство укрепило нашу дружбу. Ради него мы подчас пускались на авантюры. Одной из них была наша поездка в Моравскую Остраву. Мы учились тогда в пятом классе, и заниматься нам приходилось очень много. Пятый считался одним из самых трудных классов: в шестой нас тогда перешло из тридцати четырех только шестнадцать. Но мы с Душаном настолько были поглощены искусством, что мало заботились о своих успехах и наверстывали упущенное перед самым концом четверти.

Однажды Душан сказал мне:

— Хочешь послушать настоящего виртуоза?

Еще бы, подумал я и ответил утвердительно.

— Тогда едем в Моравскую Остраву,— сказал он так, будто туда рукой подать.

Я опешил: дальше Кубина, Ружомберока и Старой Любовни мне еще нигде не приходилось бывать! И то ездил я не сам, а с отцом или с мамой.

— Послезавтра в Моравской Остраве выступает мировая знаменитость — пианист Мориц Розенталь,— гордо сказал Душан.

Дело было перед концом четверти, и надо было заниматься вовсю, особенно по математике. Но решение было принято. Сама мысль о такой авантюре будоражила мое воображение и заслоняла все. Эту нашу «экспедицию» мы, конечно, скрыли и от родителей, и от соучеников. Заранее узнали расписание поездов и решили, что затея удастся, если нужный нам поезд не опоздает. Это был пассажирский, отправлявшийся из Микулаша утром и прибывавший в Остраву около шести вечера. Из Остравы он отходил примерно в полночь и должен был прибыть в Микулаш около семи утра. Значит, на занятия не опоздаем.

Деньги на дорогу я выпросил у отца, якобы на книги,— к этому он привык, на книги я постоянно клянчил. У мамы взял еды немного больше, чем обычно, надел выходной костюм, объясняя это тем, что в гимназии собираются устроить вечеринку, и, снаряженный таким образом, отправился утром в Микулащ. В гимназии после большой перемены я отпросился у классного наставника, сославшись на какое-то важное семейное событие (ведь я был празднично одет), и — бегом на станцию. Душан уже поджидал меня там, он в тот день вообще не приходил в гимназию.

И мы поехали. Далеко-далеко, в Остраву. Поглядывая на «мои» станции — Трновец, Парижовце — и на сельницкую колокольню, которая видна была из поезда, я с теплым чувством думал: «Если бы вы только знали, куда я еду!»

Всю дорогу мы говорили только о музыке. Поэтому даже не за-

метили, что поезд опаздывает, и, только подъехав к Остраве, увидели, что уже половина восьмого. Душан разволновался — он решил, что мы вообще теперь не попадем на концерт. Ведь билетов у нас не было, и мы даже не знали, где находится зал, в котором концерт состоится. С темного неба падал снежок, поблескивая в свете уличных фонарей, над городом стояло розоватое зарево от доменных печей. Шум большого вечернего города оглушил нас и привел в полное смятение. Мне сразу стало тоскливо, я почувствовал себя маленьким перепуганным муравьем. Возле вокзала стояли два извозчика, и Душан направился к ним. Мы сели в пролетку, как господа, и поехали на концерт. Прибыли мы вовремя. Зал уже наполнялся публикой, Душан поспешил к кассе, я за ним. Однако тучная дама в окошке, которое она полностью закрывала своим лицом, несколько раз повторила нам: «Все билеты проданы». Душан позеленел, у него задрожали руки, он растерянно смотрел по сторонам, но, кроме круглой физиономии кассирши, не было видно никого и ничего. Тогда он принялся объяснять ей, кто мы и откуда приехали, умоляя помочь нам в беде. И она помогла. Вышла из своего гнезда, заперла дверь и сказала: «Подождите здесь минутку». Эта минутка показалась нам вечностью, но все закончилось хорошо. Кассирша вернулась с администратором и указала на нас: «Вот эти мальчики — они из Липтовского Микулаша». Администратор оглядел нас, повел в зал и поставил в самом конце зала два стула. «Ну вот, садитесь, хоть далеко, но зато бесплатно!»

Зал был довольно обшарпанный и мало подходящий для такого концерта. Он был набит битком, и мы сидели в углу, тесно прижавшись друг к другу. Старый темно-красный занавес с потускневшими золотыми кистями раздвинулся, и мы увидели на сцене черное крыло концертного рояля. Затем медленно и торжественно к роялю подошел пожилой господин во фраке и низко поклонился. Он был скорее маленького, чем среднего, роста, сутулый, с некрасивым и, как мне показалось, рябоватым лицом.

И вот он начал играть. Возможно ли описать произведенное им впечатление? Долгие годы я сравнивал любого пианиста с Морицем Розенталем, и сравнение всегда было в его пользу. Он исполнял Шопена и Листа, о которых Душан на обратном пути много мне рассказывал. Тогда я был особенно поражен тем, что он играл без нот. Как можно столько запомнить?

После концерта Душан каким-то образом протиснулся к нему и попросил автограф. Вернулся он радостный, счастливый: на чистом листе в его блокноте я увидел пять нотных линеек со скрипичным ключом и на них размашистую подпись Морица Розенталя.

В поезде Душан все время возвращался к концерту, восторгался, разглагольствовал, пока нас не одолела усталость и мы не уснули как убитые. Если бы нас не разбудил кондуктор, мы, конечно, заехали бы далеко за Микулаш. К счастью, поезд не опоздал, и мы успели на занятия.

Так никто и не узнал о нашей поездке. И только на вечеринке незадолго до выпускных экзаменов мы рассказали о ней учителям.

■

Минули октябрь и ноябрь. Дождливые, промозглые дни ушли вместе с туманами в долины, в самом начале декабря грязь на дорогах сковало морозами. Они не ослабевали и в ясные солнечные дни, а розоватыми вечерами даже усиливались, и Хоч, сверкавший холодной белизной, возвещал суровую зиму.

Рождество уже стучалось в дверь. Я не знаю лучшего рождества, чем в нашем краю — среди гор и лесов. Оно как будто в самом деле

спускается к людям с неба. Когда я был совсем маленьким и верил, что елочку приносит в наш согретый праздничным теплом дом младенец Иисус, я был, пожалуй, самым счастливым человеком. Многие мудрецы уже не раз высказывали святую истину, что познание жизни само по себе не сделало человека счастливым. И меня даже теперь, когда жизнь уже, собственно, прожита, согревают воспоминания о рождественских днях моего детства, согревают настолько, что с этим воспоминанием я могу выдержать любые зимы — и реальные, когда мерзнет тело, и те, что замораживают душу порою больше, чем самый трескучий мороз где-нибудь под Острой горой.

Но в то рождество я уже не верил в младенца Иисуса. Мне исполнилось пятнадцать лет, и я снисходительно смотрел на младшего братишку Юлко, который все еще верил, что елочку принесет младенец Иисус, а не я с Матьо. Но все мы — и родители, и я, и Виктор — поддерживали в нем эту сладкую веру. Первое детское разочарование приходило медленно и постепенно, само собой. Во всех сельских семьях тут испокон веков соблюдался такт и понимание детской души, питаемые, видимо, легендами, освящавшими, наряду с религией, нравственные устои крестьянской жизни. На селе легенды и повседневная жизнь не были полярными мирами, они пронизывали друг друга. И это одна из причин того, что выросшие в селе «мальчишки» так любят возвращаться к своим детским годам, даже если стали учеными-атомщиками.

Итак, мы отправились с Матьо за елочкой, и не куда-нибудь, а к его отцу, леснику. Мы хотели принести самое красивое деревце, а такие умел находить только старый Юрига.

У сторожки первым встретил нас звонким лаем пес Заграй. С заметенной снегом крыши свисали, сверкая на солнце, длинные сосульки, и с них стекали капли, продалбливая в снегу темные ямки. Из дома выбежала мама Матьо в коричневом овчинном кожушке-безрукавке, в домотканом фартуке. Платок съехал у нее на затылок, она всплеснула руками, не выпуская кухонного ножа, и воскликнула:

— Ой, дети, вы что, за елочкой? Значит, теперь уже твой черед, Ондришко?! Раньше приходил Викторко. Как же ты вырос, как вытянулся! Видать, отца своего перерос. Ну, заходите, погрейтесь.

Из сторожки мы пошли по склону к Квачанским лугам. Впереди шел лесник, протаптывая нам тропку в глубоком снегу, за ним Матьо, замыкал шествие я. Мы долго продирались сквозь заросли орешника. Наконец, лесник остановился и указал на несколько елочек.

— Может, какую-нибудь из этих?

До чего ж они были хороши! Их стояло штук десять, больших и маленьких, запорошенных снегом.

Мы срубили две елки — одну для нас, другую для семьи Юриги. Если бы на них сохранить снежок, тогда бы и украшать не надо было, подумал я.

Когда мы возвращались домой, уже темнело, но нам это было кстати — мы должны были спрятать елку в соломе на гумне, чтобы ее не увидел Юлко. Там она будет дожидаться сочельника. Пока мы, лютеранская часть семьи, то есть отец, Виктор, Юлко и я, были в церкви, католическая часть — мама с Маркой — украшала елку.

Наступил сочельник. У нас соблюдали рождественский пост и целый день либо ничего не ели, либо ели мало — постный суп с хлебом, и все. Зато вечером садились за уставленный яствами стол. Недаром говорится: «Наелся, как мужик на рождество». С самого утра в доме чувствовалось приближение праздника — и не только в доме, а и в саду, на гумне, в хлеву, в сарае можно было заметить следы праздничных приготовлений. Казалось, что и голые ветви тополей

вздрагивают в морозном небе от праздничного волнения и что первая большая звезда на небе — это вифлеемская звезда.

Уже стемнело, время приближалось к пяти. Богослужение в лютеранской церкви начиналось в пять, а в католической — в полночь. Мы оделись по-праздничному, но потеплее, отец взял под мышку старый «Траносциус»[1], Виктор — новый, и мы пошли. Под ногами скрипел снег, на небе мерцали звезды, светились оконца приземистых домиков. Высокие окна церкви сияли яркими огнями, и далеко разносились звуки органа. Церковь, как всегда в особо торжественных случаях, была переполнена. Пришло много народу и из соседних сел. Склонив головы, мы сели на «свою» скамью, перекрестились. Обычно мы приходили ко второму песнопению и присоединялись к общему хору. Так было и на этот раз.

После богослужения, выйдя из церкви, люди расходились не сразу — они беседовали, решали неотложные дела, соединяя таким образом выполнение религиозного обряда с практической стороной своей жизни. Когда отец останавливался с кем-то поговорить, мы тоже останавливались и ждали его — домой возвращаться надо было всем вместе.

Мы пришли замерзшие, топоча уже на крыльце ногами, веселые и довольные. Отец по дороге в шутку пугал Юлко, что нам в этом году младенец Иисус елки не принесет, ведь мы весь год плохо себя вели. Наш топот на крыльце был для мамы сигналом, что надо открывать дверь в горницу, чтобы, войдя в коридор, сразу можно было увидеть елочку.

Юлко, вытаращив глаза, стоял в дверях, взволнованный, счастливый, и мы все радовались его восторгу, его детской невинной вере. Потом он маленькими шажками подошел к елочке, к той самой нашей красавице елочке, которую срубил отец Матьо на заснеженном склоне. Он робко прикасался к каждой яркой игрушке, к каждому блестящему шарику и поднимал глаза вверх, глядя на верхушку, где сверкала звезда, от которой по веткам во все стороны тянулись золотые и серебряные нити. Отец зажег свечи и бенгальский огонь. От него разлетались шипящие искры, вызвавшие у Юлко бесконечную радость.

Раздвинутый стол посредине комнаты был уже накрыт. На ослепительно-белой скатерти стояло семь тарелок, а в центре стола — толстая свеча в серебряном подсвечнике.

— Ну вот, а теперь, женщины, дайте нам поесть! — сказал отец, когда бенгальский огонь догорел.

Мы все стали вокруг стола. Женщины, хотя и были католичками, тоже должны были перед трапезой выслушать молитву отца.

— «Отец всего сущего, чей разум неизмерим, благослови и нас и эти дары, которые по твоей милости мы будем вкушать...» — стоя начал отец молитву, а закончив ее, перекрестил стол, на котором уже лежали просфоры, стояла большая фарфоровая миска с дымящимся капустняком, блюдо с колбасой, а вокруг пироги, яблоки, орехи. Мы сели — отец во главе стола, на другом конце — мама, а мы по обе стороны от них. Рядом с отцом — Виктор, как самый старший, и я. Потом Юлко, Матьо и Марка, которая всегда сидела рядом с мамой, чтобы помогать ей приносить и уносить блюда.

---

[1] Сборник духовных песен (полное название «Cithara Sanktorum — псалмы и песни духовные старые и новые»), изданный в 1636 в Левоче (Словакия) лютеранским священником Юраем Трановским (Траносциусом) (1592—1637). Сборник этот дополнялся и переиздавался более ста раз, и им до сих пор пользуются словаки-лютеране. В довоенной Словакии было издательство «Траносциус» и книжные магазины, которые также упоминаются в тексте.

Рождественская вечеря началась. Этот час всегда был исполнен необычайного очарования, согревал наши сердца, отгоняя все недоброе, наносное, сближал всех, возвращал к древней человеческой общности.

В изразцовой печи потрескивали буковые поленья, отдавая дому свое тепло. Мама подала отцу просфору, а потом мы все по старшинству отламывали от нее по кусочку в знак того, что принадлежим к одной семье. Свеча посредине стола, которую отец зажег перед началом молитвы, горела торжественным бледно-желтым пламенем, и фитилек ее поворачивался, словно указывая то на одного, то на другого, а то и вовсе ни на кого. И это последнее было хорошим предзнаменованием — значит, в этом году никто у нас не умрет.

После просфоры мы ели капустняк, густой и жирный, по нашему обычаю с лапшой из ячменной муки, которая проскальзывала в глотку, как по маслу. Потом наступил черед колбасы с солеными огурцами, за ней последовал жареный гусь и в заключение коржи с маком. На десерт был пирог с орехами и маком, мамины знаменитые «пусерлики» и разное другое печенье. Мама всегда очень много пекла в этот день, чтобы угощать колядников и нищих, особенно женщин, которые пели под окнами. Среди колядников было немало детей. Каждый праздник приходили и знакомые цыганки из Сестрчи, которых надо было одарить не только печеньем и пирогами, но и мукой и двумятремя пачками табаку для мужей. Сочельник — щедрый вечер — должен был быть действительно щедрым, и каждого, кто приходил к порогу нашего дома, одаривали.

После вечери отец нарезал большие ломти хлеба, очистил несколько головок чеснока и пошел в хлев. Хлеб с чесноком он дал обеим коровам и телке, чтобы и эти божьи твари знали, что сейчас сочельник. Марка светила отцу фонарем, а я удивлялся тому, что коровы ели хлеб с чесноком. Ведь обычно их кормили сечкой, сеном, кормовой репой. Они поворачивали головы нам вслед, и их большие печальные глаза блестели в свете фонаря. Казалось, им хотелось заговорить с нами. Старая симменталка ласково замычала, как будто благодарила отца за уважение. Отец ее погладил и сказал:

— Хорошая ты моя...

Когда мы возвращались в дом, в калитку вошли колядники и запели под окнами. Небо было чистое, над вершиной Салатина мерцали яркие звезды Ориона, который я тогда уже отличал.

— Посмотри, отец, вон то созвездие Ориона,— сказал я гордо.

Отец повернулся, посмотрел на небо и заметил:

— К утру такой мороз ударит, что держись!

В доме мы сели у печки. Виктор налил в рюмки хорошего вина, мы чокнулись, выпили за общее здоровье, и каждый друг другу что-нибудь пожелал.

— Чтобы вы были нам на радость крепкий и здоровый,— пожелала Марка отцу.— Бог вам в помощь.

— И тебе, Марка, и тебе бог в помощь. И чтоб ты еще хоть годик замуж не выходила,— отвечал ей отец, выражая тем самым желание, чтобы она нас не покидала.

Только после этого мы принялись рассматривать подарки.

■

На святого Штефана в нашей корчме обычно устраивали танцы. В этом празднестве принимал участие и наш новый нотариус пан Штефан Кабзан. Правда, большую часть времени он проводил в «боковой» комнате с Густавом Касаницким, небогатым помещиком из Брниц. Тот был хорошим охотником и большим шутником. Охота их

объединяла, и раз уж они встречались на вечере, как было не вспомнить охотничьи истории и не разыграть кого-нибудь, чтобы мужичье увидело, как господа умеют развлекаться. Пан нотариус, уже в приподнятом настроении, выходил из боковой комнаты к оркестру, бросал на цимбалы крон двадцать и заказывал музыкантам песню «Я — дворянин...». Оба они — и нотариус и помещик — были дворянского происхождения и на вечеринках не отказывали себе в удовольствии подчеркнуть это.

На одно из таких празднеств пришли и отец с Виктором, которому было уже двадцать лет. Виктор ухаживал за Аранкой Штерновой, худенькой черноволосой девушкой, милой и хорошо воспитанной, что очень нравилось отцу, но он все-таки следил, чтобы влюбленные не заходили слишком далеко. Виктор с Аранкой вышли тогда на улицу, разгоряченные и вспотевшие после танцев, а мороз был лютый. Говорят, влюбленные не чувствуют холода. Но случилось так, что с этого вечера как раз и началась трагедия Виктора. Он сильно простудился, заболел испанкой, которая в то время свирепствовала, и у него вскоре открылся туберкулез.

Он учился тогда в коммерческой академии в Дольном Кубине, куда поступил уже двадцатилетним. Отец, предвидя, что его ремесло будет недолговечным, что фабрикант Батя неминуемо проглотит мелких ремесленников, особенно кожевников, изменил прежнее решение сделать Виктора своим преемником и послал его учиться.

— Батя всех нас задушит,— говорил он.— Я уж как-нибудь дотяну, пока хватит сил, а потом закрою мастерскую. А вы оба, чтоб иметь кусок хлеба, должны учиться.

■

С поры моего отрочества остались для меня два самых дорогих имени: Штефан Крчмеры[1] и мой учитель Людовит Шеншел. Первый привел меня в литературу, второй — обучил родному языку и латыни. Оба они уже покоятся в словацкой земле, которую любили больше всего на свете. Но я знаю, что они останутся не только в моем сердце, пока оно будет биться, но и в сердцах всего нашего поколения, с которым эти замечательные люди соприкасались, на которое оказывали влияние чистотой своей натуры, умом и благородством. Как это обычно бывает, пока ты еще молод, не остепенился, ты себе не представляешь толком, с кем имел счастье общаться. И лишь потом, много лет спустя, когда прожитые годы посеребрят твои волосы и лягут морщинами на твое лицо, начинаешь не только понимать, но и оценивать поступки и поведение людей, которые тебя учили, воспитывали, да и не раз наказывали. И не ведаешь, как незаметно для себя самого твое скромное духовное достояние впитало в себя и частицу их свойств, потому что они были для тебя примером, были мастерами, а ты — их учеником. Возможно, что когда-то ты, шалопай, насмехался над ними точно так же, как ученик подсмеивается над мастером, но время и жизненный опыт вправляют тебе мозги и приводят к горькому познанию истины, которая сразу же озаряет все и потрясает тебя неожиданной ясностью. Так мы часто относимся к нашим родителям, учителям, а порой и к старшим друзьям, раскрывающим перед нами таинственный занавес жизни, в которую мы только впервые заглядываем, пока не погрузимся в нее. А вхождение в жизнь, умение жить как раз и есть величайшее искусство. Одни вхо-

[1] Крчмеры, Штефан (1892—1955)— словацкий поэт и литературный критик, активный организатор культурной жизни Словакии двадцатых годов. С 1919 года был секретарем Матицы Словацкой, а с 1922 года — также редактором журнала «Словенске погляды».

дили в нее через черный ход, другие через увенчанный цветами парадный портал, а кое-кто с трудом протискивался через щель.

О Штефане Крчмеры мы много слышали еще в младших классах гимназии, и потому совсем не удивительно, что когда в начале марта 1922 года он приехал к нам, в Микулаш, читать лекцию о словацкой литературе, все мы, кто уже занимался бумагомаранием, сочиняя стишки, пришли его послушать, исполненные жадного любопытства прежде всего к особе самого лектора.

Штефан Крчмеры нас буквально очаровал. Своей внешностью, манерами, культурой речи. От него, казалось, всегда исходили какие-то флюиды, покорявшие всё и вся. Особенно поражала его манера говорить — хотелось подражать ему. Штефан Крчмеры отвечал всем требованиям, которые мы могли предъявить словацкому интеллигенту того времени, да и более позднего.

Ведь для нас имело значение — и немаловажное — не только что говорят, но также, кто и как говорит. Он был для нас образцом. Мне довелось слышать и видеть на своем веку много ораторов — менее или более образованных, только умных и только обаятельных, эрудитов и невежд, болтунов и волшебников слова, но с ораторским искусством Штефана Крчмеры ничто не могло сравниться.

Я долго колебался — посылать или не посылать Штефану Крчмеры несколько своих стихотворений, которые считал наиболее удачными, и все же послал. Было это, однако, двумя годами позже, когда я уже достаточно помучил редакторов различных журналов. Я опасался, что он мне просто не ответит, а мои недоношенные стишки бросит в корзину,— и тогда моим уделом будет печаль, насмешки и самоистязание. Ох, и тряслись же у меня руки, когда я опускал конверт в почтовый ящик! Лишь когда он оказался на дне и извлечь его было уже невозможно, я полностью осознал, что все кончено. Оставалось только ждать, терпеливо, но с нетерпением высчитывать, сколько дней и ночей понадобится на то, чтобы мое послание дошло до него, сколько уйдет времени на то, чтобы все прочитать,— ведь он так занят, так много разъезжает, выступает, читает лекции, пишет, редактирует,— господи, да когда же ему найти время на чтение этой чепухи! Я подсчитал, что должно пройти самое меньшее месяц, а то и два, пока будет получен ответ, если он вообще будет получен!

Но не прошло и двух недель, и солнышко засияло — не на небе, а на столе в нашей столовой, и было это солнышко большим желтым конвертом с надписью «Правление Матицы Словацкой в Турч.-Св.-Мартине»[1]. Я только пришел домой из гимназии — прямо с поезда из Парижовце,— мама, как обычно, накрыла для меня половину стола и тут же возле прибора положила конверт, ярким солнцем сверкнувший мне в глаза. Дрожащими пальцами я вскрыл его, сердце бешено колотилось, а я читал: «Дорогой друг! Ваши работы мы еще не можем напечатать, однако у Вас есть природный талант, и его необходимо развивать. Читайте побольше хороших произведений, особенно словацких. Надеюсь, мы еще с Вами встретимся. С приветом, Ваш Штефан Крчмеры».

Я чуть не сошел с ума от счастья. Штефан Крчмеры мне ответил, собственноручно, не на пишущей машинке! Он пишет, что у меня природный талант! Я даже не мог как следует поесть и помчался к отцу, в мастерскую, чтобы дать и ему прочитать письмо. От радости

[1] Матица Словацкая — культурная, научная и общественная организация, основанная в 1863 году в гор. Мартине. Внесла большой вклад в словацкую историографию, демографию, этнографию, издавала произведения писателей и ученых Словакии. Существовала до 1875 года, в 1919 году, после образования Чехословацкой республики, была возрождена.

я готов был выпрыгнуть из собственной кожи. Весь окружающий мир показался мне бесконечно прекрасным и словно бы слился со мной, а я с ним. Это были минуты высшего человеческого счастья.

Штефан Крчмеры был прав — мы встретились с ним снова через год, когда он напечатал меня, еще шестиклассника, в журнале «Словенске погляды». Это было стихотворение «У двери старого дома». Потом мы с ним уже не порывали связи. На каждое мое послание он отвечал — советовал, наставлял, а иногда печатал стихи. Познакомился я с ним лично в Микулаше на торжествах по поводу семидесятилетия Элены Мароти-Шолтесовой[1] в марте 1925 года. Блистательный доклад Крчмеры о жизни и творчестве писательницы произвел на всех глубокое впечатление.

Как я уже упоминал, другим человеком, который оказал на меня сильное влияние в отроческие годы, был Людовит Шеншел. С третьего до шестого класса он преподавал нам словацкий и латынь. Это был во всех отношениях красивый человек. Приятной внешности, крепкий, хорошо сложенный, с темными волосами, в которых уже тогда кое-где проглядывала седина. В 1922 году он издал «Словацкую стилистику», и хотя школьный отдел министерства не утвердил ее, мы все усердно штудировали эту книгу — в то время такого учебника не было, а мы в нем нуждались как в хлебе насущном. Шеншел вел решительную борьбу за чистоту родного языка. Он был бескомпромиссен, строг, неуступчив, и мы, право, побаивались его порой. Таким проказникам, как мы, просто была необходима сильная рука — и если она у кого из наших учителей и была, то прежде всего у Шеншела. Он не только не делал никаких скидок тем, кто писал стихи, но, наоборот, был к ним еще более строг.

Однажды, когда после рождественских каникул я пришел на занятия, первым уроком по расписанию оказался словацкий язык. Стояли трескучие морозы, поезда опаздывали, поэтому я тоже опоздал, и Шеншел был уже в классе. Замерзший, запыхавшийся, я поклонился ему и поспешно направился к парте. Только я сел, как Шеншел вызвал меня к доске. По глазам его я видел, что ничего хорошего меня не ждет. Он медленно подошел ко мне и — бац! — дал мне оплеуху.

— Искупай свои грехи, а не наши! Так вот как ты знаешь возвратные местоимения! Какой же из тебя будет поэт? Садись!

Мне все стало ясно. В последнем номере «Нового рода» было опубликовано мое стихотворение «Новый год» — назидательное, высоконравственное и благочестивое, которое начиналось словами: «Грехи искупим наши в преддверье новогодья...» Значит, он его прочитал, а то, что сейчас произошло, и было его критикой!

Много лет спустя, встречаясь уже как друзья в Братиславе, мы не раз вспоминали гимназические годы, и он хорошо помнил этот случай.

— Надеюсь, вы на меня за это не сердитесь? — как-то раз спросил он с улыбкой.

Я поглядел ему в глаза, строгие, наставнические, немного прищуренные, но, боже мой, какие ласковые и теплые!

— Следовало всыпать мне покрепче,— ответил я.— Тогда мой первый сборник стихов был бы лучше.

— Вот именно — был бы,— сказал он, не изменяя и на этот раз своей взыскательности, кивая белой, словно цветущая яблоня, головой.

---

[1] Мароти-Шолтесова, Элена (1855—1939)— словацкая писательница. Центральная тема ее творчества — роль женщины в общественной жизни и общественной борьбе своего времени.

К сожалению, мы поздно поняли, что строгость Шеншела была отеческой, вызванной благородными мотивами, потому что он хотел воспитать из нас хороших словаков, гордящихся родным языком, своей культурой и историей. А ведь тогда часто и много говорили, что истории у нас нет, что она есть только у «исторических земель»— Чехии, Моравии. Профессор Халоупецкий из Братиславского университета выступил как раз в это время с теорией, что в прошлом, мол, на словацкой земле не было ничего, одни лишь горы да дремучие леса, почти как в начале сотворения мира. Шеншел незаметно прививал нам на своих уроках национальное самосознание и гордость как раз на примере того, что наш народ, вопреки превратностям судьбы и неслыханному угнетению на протяжении веков, не утратил, а сберег свою самобытную культуру в бесчисленном множестве народных песен, сказаний, пословиц, в бесценных произведениях народного изобразительного искусства, в народной архитектуре и во всей своей многообразной духовной жизни.

В те самые годы, когда Шеншел учил нас словацкому и латыни, математику преподавал Карол Клонга. Он пришел в нашу гимназию из городского училища — не хватало учителей. Преподавать он мог почти все предметы, кроме разве пения и гимнастики, и то только потому, что петь он просто не умел и был калекой. Но если требовалось кого-нибудь заменить, Клонга, уверенно владевший каждым предметом, был всегда к этому готов. Он никогда не отлынивал, никогда не болел, не кутил, не прогуливал после праздников. У него не было ни жены, ни детей, но зато была гимназия, которой он принадлежал душой и телом в буквальном смысле этих слов.

Кроме математики он какое-то время преподавал и физику. К математике у меня никогда не лежала душа и, как говорится, ни на грош не было способностей; я с трудом одолевал ее только благодаря шпаргалкам. Да и не было у меня никакой охоты слушать объяснения, обычно я читал в это время под партой детективы, «Графа Монте-Кристо» или даже «Белую рабыню» Элизабет Шоэн [1]. Тщетно Клонга дергал меня за волосы, ругал и предупреждал, по математике я еле-еле «переползал» из класса в класс. Однажды чаша его терпения переполнилась, и он аккуратно вывел мне в табеле кол.

Дома отец, конечно, надавал мне изрядное количество оплеух — к ремню он не прибегал с тех пор, как я стал старше, но придумал новое, более действенное наказание: у меня отбирали скрипочку.

— Из этого оболтуса ничего путного не получится,— говаривал он маме нарочно в моем присутствии,— видно, придется его из гимназии забрать и отдать в ученики. Уж мастера вправят ему мозги!

Отец все же зашел к Клонге, которого хорошо знал лично, и, выразив опасения относительно моих успехов, спросил его:

— Пан учитель, а не взять ли ему репетитора?

Клонга, как рассказывал потом отец, вскочил и ответил сердито:

— Что вы, пан Плавка, ему — репетитора? Да он сам может быть репетитором! Он просто лодырь, лодырь, сто раз лодырь! И если не исправится, больше двойки в конце года я ему не поставлю.

После этого домашний режим стал у меня еще строже.

Я был совершенно убит: как раз в это время я влюбился. Впервые по уши влюбился, а до конца учебного года мне с трудом удавалось вырываться на свидания, которые тогда составляли единственный смысл моей жизни. Я невероятно страдал, возненавидел Клонгу и отца. Стал молчаливым, обидчивым, мрачным, а когда отец начи-

[1] Шоэн, Элизабет — норвежская писательница XIX века.

нал развивать свои политические теории, назло ему быстренько вытаскивал учебник и заявлял, что он мешает мне учить математику.

К концу учебного года стало ясно, что я все-таки перейду в следующий класс — отметка по математике была удовлетворительная. Ура! Свобода! Но лучшей отметки по математике я до окончания гимназии так и не получал.

Интересным и своеобразным человеком был преподаватель природоведения Ян Волько-Старогорский. Когда в 1918 году наша гимназия стала словацкой, он был единственным квалифицированным преподавателем-словаком. И теперь, когда я пишу эти строки, Волько живет в том же Микулаше. Ему восемьдесят семь лет, но он по-прежнему боек и бодр, быть может, гораздо бодрее, чем мы, его ученики, которым только шестьдесят. Во время нашей последней встречи, когда мы отмечали сорокалетие нашего выпуска, он поднимался наверх в обсерваторию куда быстрее, чем мы. Казалось, его поддерживал свойственный ему энтузиазм и восторженное отношение к естественным наукам, которые он за долгие годы своей деятельности старался привить ученикам. Я никогда не встречал человека, который так любил бы словацкую природу, как Ян Волько.

Но мы не были бы озорниками-гимназистами, если бы не сердили своих учителей. Так повелось с давних времен, так будет и впредь, покуда будут учителя и ученики. Волько обычно вызывал учеников строго по алфавиту. Поэтому каждый знал наперед, когда его вызовут, и мог как следует подготовиться. Но если какое-нибудь происшествие портило Волько настроение, он сразу нарушал свою систему опроса и произносил зловещую фразу: «А теперь мы кого-нибудь вызовем»,— и тогда кое-кто «горел». Тот, кого он вызывал, стоял как пень — ведь он не имел ни малейшего представления о том, что должен был отвечать.

■

Лето моего деревенского детства, пожалуй, пора самого радостного и чистого человеческого счастья. Беззаботные июльские и августовские дни, напоенные теплым ароматным воздухом, мы проводили у речки в тени верб и тамарисков над прозрачными заводями. Как манили к себе эти заводи голые тела ребятишек — юрких, шаловливых, озорных, наслаждавшихся расточительной природой, которая и сама подбивала их к озорству и беззаботности, полными пригоршнями одаривала всех летней благодатью — теплым воздухом и водой, яркими солнечными лучами, мягкой муравой. Мы бросали в реку плоские нагретые камешки, и они, отскакивая от поверхности воды, прыгали, как лягушата, разбивая купы белоснежных облаков на лазури неба, отраженного в тихой воде. Ребячий гомон и смех не заглушить было ракитам и вербам, простершим свои ветви над замшелыми камнями и сыпучими откосами берегов, над затоками и отмелями.

Босые ноги ребятишек шлепают по траве, по гусиному луку и тимьяну, наполняющим своим пряным запахом летний воздух. Летают пчелы. Вот села одна на цветок, не догадываясь об опасности, которой грозит ей босая детская нога — вонзив в нее жало, пчела погибнет. Вокруг вскрикнувшего от боли ребенка столпятся остальные ребятишки, и самый сообразительный вытащит жало. А ужаленный тут же снова побежит в воду, чтобы ослабить жжение и показать свое геройство,— мол, все это чепуха, ему вовсе не больно.

Ребятишки, что придут попозже, быстро скинут одежку и, прикрывая руками «стыд», несмело зашагают по камням к воде. Те, кто уже в ней, брызгают на них, чтоб «подбодрить», прежде чем они окунутся. Но мальчишки и девчонки еще не стыдятся по-настоящему своей на-

готы, в их глазах еще нет того любопытства, которое появится позже, в пору созревания,— они еще невинны. И только, когда у девчушек начнут набухать почки грудей, они станут купаться в рубашонках, которые, намокнув, облепят их тело, смутно обрисовывая первые признаки женственности и пробуждая первые приливы чувственности у мальчишек, которые тоже вынуждены будут уже купаться в подштанниках. Так наши купанья в заводях Сиготи среди верб и тамарисков становились свидетелями нашего взросления — от нагих детских тел до стыдливых первых прикосновений, сначала случайных, неумышленных, и до тех вожделенных, пробуждающих в созревшем человеке все чувства, которыми его наделила природа, чтобы сохранить свою вечность.

А в стороне от Сиготи, пониже нашего села, среди копен пахучего сена, за гумнами, в сосновой роще рождалась наша первая любовь — сначала несмело, тишком, крадучись. Эта любовь взрослеющих молодых людей словно бы сливалась с вечерним шелестом листвы, робко нашептывала нам тайно выстраданные слова. Пришла и ко мне моя первая любовь.

Нет более счастливого ожидания, чем ожидание встречи с любимой. И так повелось, пожалуй, с незапамятных времен всюду и везде — на окраине ли столицы, неподалеку от свалки, у сосновой ли рощи среди деревенской тишины. Все, что бы ты тогда ни делал, отмечено этим ожиданием. Даже самый облик окружающего мира становится иным — люди и все предметы вокруг будто излучают радость. Влюбленному каждый человек симпатичен, а вещь, которая его прежде раздражала, вдруг становится приятной и милой.

Не мила мне была одна только математика, этот двенадцатиглавый дракон с двенадцатью неизвестными, с которыми я никак не мог совладать. У каждого из нас есть своя ахиллесова пята... Правда, я меньше всего думал тогда о математике. Я думал только о летнем вечере, о шатком мостике над речкой, по которому придет ко мне моя Милка. Как ни заставляли меня отец с Виктором решать задачи на каникулах, чтобы я, наконец, выбрался из тупика, в который попал, я жульничал самым изощренным образом и жадно хотел одного — наступления сумерек.

...Была пора жатвы, но я не пошел в поле помогать, ссылаясь на необходимость заниматься. Отец согласился: перед математикой отступало все. Я остался дома с мамой, которая на поле ходила редко, а в такое время, когда все уходили из дому и из мастерской (тогда все помогали в поле), наводила порядок в шкафах и буфетах.

Я взял учебник и вышел в сад. Тут я был наедине со своим миром, со своим ожиданием, со своим счастьем...

Когда наши вернулись с поля, было уже почти темно. Марка сразу же убежала на кухню помочь маме с ужином — я-то, правда, поужинал раньше, не дожидаясь наших. Доложив отцу, как усиленно я все это время занимался (что мама тут же подтвердила), я достал свою скрипку и принялся пиликать — до встречи с Милкой оставалось еще немного времени. Расхаживая по комнате, я импровизировал, выливая в звуках свое томление, и мне казалось, что играю я замечательно, просто виртуозно. Увлекся игрой я настолько, что не заметил, как стемнело. Взглянул на часы — они показывали уже почти восемь. Быстро спрятав скрипку в футляр, я сунул нос в кухню, бросил мимоходом, что иду немного прогуляться,— и был таков.

Подойдя к реке, я заметил силуэт Милки. Она неслышно, как привидение, крадучись, шла по мосточку. Я подбежал к берегу, протянул ей руку, и мои губы тихонько произнесли, пожалуй, самое дорогое тогда мне слово:

— Милка!

Она была в светлой блузке, на плечи был наброшен темный платок. Я стал гладить ее волосы, погружаясь в них лицом, целовал ее затылок, темя, вдыхал их щекочущий терпкий аромат. Она не промолвила ни слова, только дыхание ее стало прерывистей и глубже, и это еще больше взволновало меня. Я обнял ее за талию. Мы шли по темной лужайке, как слепые, не глядя под ноги, подальше от тропы, чтобы нас никто не видел. Темнота сгущалась, и кроны верб превращались в чудовищные черные призраки, тянущиеся к звездам. Небо было ясным и таинственным в своем безмолвии. Я показывал Милке Большую и Малую Медведицу, Полярную звезду, слабо мерцающую светло-голубым сиянием как раз над вершиной Просечны, которая своей широкой спиной заслоняла большую часть горизонта. Мой любимый Орион не был виден — его скрывал от нас могучий склон Дела.

— Ты все знаешь! — восхищенно прошептала Милка, прижавшись головой к моему плечу.

— Пойдем в рощу,— предложил я.

— А не поздно?

Но вопрос ее прозвучал скорее как согласие.

Когда мы, запыхавшись, взобрались, наконец, по крутому склону Дела высоко вверх — в сосновую рощу,— перед нами открылась ширь августовского неба во всем его великолепии. И мой Орион горел над едва вырисовывающимся контуром Хоча. Внизу темнели первые крестцы скошенных хлебов, и ветерок доносил до нас их свежий сладкий запах.

Мы прошлись по верхнему краю рощи, поглощенные друг другом и всем, что окружало нас. Потом немного спустились по склону, поросшему молодыми сосенками, и сели на траву, сраженные чарами августовского вечера, ароматами трав и хвои. Темнота и мохнатые игольчатые ветви скрыли нас от всего. Мы даже не видели лица друг друга, один только шепот выдавал, где ее губы. Я снял с Милки платок, расстелил на земле, и мы легли на него. Мы лежали, прижавшись друг к другу — двое взрослых детей, охваченных непонятным нам трепетом, и вместе с ним в нас словно бы вливалась таинственная зрелость. Она уводила нас из мира детских мечтаний и забав, наполняла новым смыслом, рождала новые ощущения, давала волю фантазии...

Когда мы встали, я привлек ее к себе, дрожащую, бессильную. Под моими пальцами зашуршала на ее спине тоненькая блузка, и я снова окунул лицо в ее пышные волосы. Милка, наклонив голову, прижалась лбом к моей шее, руки положила на плечи, прильнула всем телом. Мне показалось, что она плачет.

— Я очень люблю тебя,— шептали ее губы где-то у моего плеча.

Невинными мы пришли сюда, невинными и уходили, но нам обоим показалось, что в эту августовскую ночь мы сразу стали взрослыми. Я проводил Милку до мостика и по дороге домой думал о том, что человек по-настоящему взрослеет только ночью...

Милка приходила ко мне еще много раз. Лужайка с трухлявыми вербами, тропа, уводившая в рощу, окаймленная молодыми сосенками, и все остальные места наших встреч и прогулок остались для меня, несмотря на прошедшие с тех пор десятилетия, местом рождения больших и драгоценных чувств — самого главного моего богатства, которое с годами не убывает, а растет, укрепляется воспоминаниями. И в старости, как это всегда бывает, вдруг возникает ощущение, что ты напрасно утратил это самое большое свое счастье. Но таков уж удел почти каждой первой любви.

Много, очень много лет спустя, вспоминая свою первую любовь, я написал стихотворение об этих днях и назвал его «Поздно...»:

Вот сюда, где ждал я, узенькой тропою
поцелуи в рощу ты несла не раз.
Мы тогда таились от людей с тобою —
лишь закат да сосны знали все про нас.

Был порыв тот первый, жаркий и не робкий...
В мыслях мчалась прочь ты, страстью смущена...
Но не обернуться не смогла на тропке —
так же, как когда-то Лотова жена.

Тек пожар по соснам — заревой, бесшумный.
Это пыл наш юный все кругом зажег.
О, как ты старалась быть благоразумной,
отогнать то пламя от горячих щек!

Ты была безгрешна. Видно, потому-то
и не смела кануть в огненный закат...
Грех лишь зарождаться начал в ту минуту,
хоть уж поздно было повернуть назад [1].

■

Сельницкие луга у руин липтовского Старграда (в старинных документах он назывался «Каструм магнум де Липтов») находились в полутора часах ходу от села. Отправлялись мы туда каждый год в июле, незадолго до жатвы. Тогда вся наша Сельница жила под знаком сенокоса. Трудиться предстояло много, но много было и песен, игр, озорства, угощений. Стар и млад с нетерпением ждали этой поры уже с ранней весны. А как же иначе? Сенокос — пора безудержного веселья. Не только молодежь, но и старики, опьяненные свежим воздухом и чудесной летней природой, расходились вовсю. Они распевали песни, тут же, за работой, складывали новые травницы, разливающиеся по широкому косогору под руинами старинного замка. Каждый год эти несколько июльских дней вносили в нашу жизнь частицу старой, прекрасной романтики, которая с течением времени постепенно утрачивалась, а ныне ее, пожалуй, уже и вовсе не сыщешь. У нас — тех, кто ее тогда познал и пережил — что-то от нее еще сохранилось не только в воспоминаниях, но и в характере, в речи, песне, даже в движениях. И этого вовсе не следует стыдиться.

За день до ухода на луга по всему селу разносился звон отбиваемых кос. Мальчуганом я сперва ходил на луга просто так — смотрел, резвился, мастерил из прутьев лещины тележки, совсем как настоящие, но позже, когда мне было лет тринадцать-четырнадцать, вместе с Маркой уже подгребал и ворошил сено, помогал укладывать его в копны, в стога. Когда же мне минуло восемнадцать, отец отбил мне косу и я стал косить вместе с остальными мужчинами. Мы так и шли втроем: отец, подмастерье или ученик и я. Уходили всем селом под вечер, ночевали на лугу под лещинами или елочками, а на заре, часа в три, начинали косить. Все луга под крепостью принадлежали общине и потому косили, подгребали, сушили сено сообща. А уже готовое, сухое сено делили в соответствии с долей, отмеряя длиной грабель.

Первыми принимались за работу мужчины. Выстраивались в ряды по десять — двадцать человек. Впереди ставили всегда самого проворного и опытного косца, чтобы он задавал темп. Я тогда стоял где-то в конце ряда, но позади меня, правда, было еще трое, и я вынужден был все время нажимать, потому что они шли за мной по пятам. Завтракали часов в шесть. К этому времени косцы уже добирались до долинки. Там и садились в кружок, выкладывали свой провиант —

[1] Перевод Валентина Корчагина.

сало, хлеб, паленку — и поглощали все это. А когда подсыхала роса, часов в восемь-девять, уже валились с ног и усталые засыпали в тени лещин и ельничка. Вот тогда на луг выходили женщины — подгребали скошенную траву. Далеко-далеко разносились их песни и веселый смех, мелькали среди кустов пестрые платочки. Они шли ве́рхом, вдоль речки, щебетали, перекликались. Потом начинали подъезжать возы и телеги — сперва они подвозили только провизию, но не было недостатка и в напитках. Лошадьми правили старики, которые не могли уже косить. На сбруе развевалась разноцветная бумажная бахрома — такой обычно украшают лошадей и хомуты на свадьбах. Решетчатые боковины телег облепляла детвора. Почти вся деревня перекочевывала на эти несколько июльских дней к подножию липтовского Старграда, который и в пору своей наивысшей славы не знавал такого стечения народа и такого веселья.

Солнышко грело жарко, и скошенная трава быстро подсыхала. Грабельщицы сразу же принимались сгребать и ворошить сено. Лучи поднимавшегося все выше и выше солнца будили спящих мужчин. Одна за другой неслись задорные частушки.

Ой, и будет дело!
Тучка углядела
Желю вместе с Яном,
да к тому же с пьяным...

И каждая заканчивалась долгим озорным двухголосым «уюканьем», да таким звонким, что в ушах закладывало. Пели главным образом девчата и женщины. Молодые парни изредка отвечали им. Вариации одной и той же мелодии неслись со всех концов. Складывались и новые частушки, в которых звучали все новые имена парней и девчат, раскрывались их любовные тайны, но было немало и таких, в которых высмеивались нравы и обычаи односельчан.

Однажды, к своему великому смущению, я услышал, как три звонких девичьих голоса прошлись и по моему адресу:

Ондриш Плавка, слышь-ка?
Есть у нас Маришка:
горяча, вертлява...
Враз окрутит, право!
Уй-юй-юй!..

В сумерках старики и детишки собирались под лещинами, деды курили трубки, а мальчишки кувыркались, резвились, наполняя вечерний воздух веселым визгом. На макушке косогора молодежь раскладывала огромный костер, пламя его сверкающими языками поднималось высоко к небу. Вокруг костра парни долго плясали вприсядку. Потом косари с семьями располагались на отдых, и по всему склону загорались маленькие костры. Поев и выпив немного, мы долго пели. Когда же ночной мрак окончательно сгущался, парни и девчата потихоньку отходили от семейных костров и из чащи то тут, то там доносился приглушенный смех — это потянулись парочки, о которых пелось сегодня в озорных частушках. Любовные свидания на сенокосе имели свои особые чары.

■

С детских лет слышал я наши словацкие песни — и на сенокосе, и во время жатвы. Они вошли в мою плоть и кровь, ими отмечено все мое творчество. Штефан Крчмеры в одном из своих писем ко мне пи-

сал еще в декабре 1925 года: «Ваши вариации на струнах народной песни мне нравятся. Жаль, что интонации эти в нашей поэзии умолкают. И вы как поэт служите доказательством того, что ими можно извлечь из души что-то свежее. Можно, я думаю, в этом направлении сделать еще шаг вперед».

Я пытался его сделать. Писал стихи о сенокосе, о жатве, о нашей роще, писал и о заросшей травой могиле поэта Само Богдана Гробоня под старой липой. Не было на этой могиле никакого памятника, что очень удручало меня. Позже, через много лет, я предпринял все возможное, чтобы памятник ему был поставлен.

Романтика Само Богдана Гробоня — не только его стихов, но и его жизни — никогда не давала покоя мне, тоже романтически настроенному юноше, хотя и нового времени. Я постоянно возвращался к Гробоню, читал о нем все, что только мог раздобыть, собирал рассказы старых людей, лично знавших его, общавшихся с ним, бродивших с ним по лесам, а под конец о нем и заботившихся. К этим людям принадлежала и моя бабушка со стороны отца, урожденная Костольная, которая ухаживала за ним до самой его смерти. Снимала она у Адамов половину их маленького домика, где спустя тринадцать лет родился я. Здесь поселились мои родители вернувшись из Америки, когда им еще приходилось туго. Сам я ни бабушки, ни этих времен не помню, но отцу моему она не раз рассказывала всякие истории из жизни Гробоня. Сельничане звали его Самко, считали в последние годы жизни чудаком — он произносил непонятные им слова, в одиночестве бродил по лесам и горам, не терпел ничьего присутствия и почти все лето жил в сельницком пастушьем шалаше в Сухой долине, читал подпаскам свои стихи, заставлял их хоть несколько слов выучить наизусть, и это доставляло ему большую радость — он улыбался, поглаживая свою длинную седую бороду. Осенью и зимой Гробонь часто приходил к моей бабушке. На руках ее он и умер в 1894 году.

Слушая рассказы о Гробоне нашего священника Цимрака и моего отца, я еще больше увлекся им. Думаю, что священник, с детских лет близкий друг Мартина Кукучина [1], натолкнул его на мысль написать о Гробоне роман «Лукаш Благосей Красонь». Мартин Кукучин довольно продолжительное время гостил в доме Цимраков — собирал для своего романа материалы и даже кое-что здесь написал. К сожалению, я тогда еще был слишком молод, чтобы запомнить и тем более понять ценность рассказов Цимрака. Однако фигура Гробоня постоянно влекла меня к себе своей романтичностью, своеобразием да и чудачеством.

В «Истории словацкой литературы» Ярослава Влчека говорится, что Гробонь первым, еще до узаконения литературного словацкого языка, начал писать стихи по-словацки. Когда я юношей впервые прочитал об этом, Гробонь вырос в моих глазах еще больше. И вполне естественно, что мне хотелось подражать ему. Наряду с другими классиками, и прежде всего Сладковичем, Янко Кралем и Ботто, Само Богдан Гробонь был одним из главных моих вдохновителей и властителей дум.

Однажды, в самом начале осени, возможно в том же 1925 году, священник Цимрак передал мне со своей служанкой просьбу зайти к нему. У пана священника в последнее время было худо с сердцем, и он предпочитал сидеть в качалке, опираясь на подушки — так ему легче было дышать. В такой позе нашел его я и в этот раз. Он сказал, чтобы я сел к нему поближе, потому что ему трудно говорить, взял мою руку и, глядя на меня, долго не отпускал ее. Его пристальный

[1] Кукучин, Мартин (Бенцур Матей) (1860—1928)— классик словацкой литературы, способствовавший утверждению в ней реализма.

взгляд привел меня в смущение, я оробел и старался не смотреть на его бледное лицо.

Он похвалил мои стихи, которые прочитал в «Новом роде» и «Поглядах», сказал, что если я буду прилежным и впредь, то из меня выйдет толк. Потом заговорил о своей жизни, о детстве, которое прошло в Оравском крае, о годах учения и о том, как его исключали с волчьим билетом из школы за панславизм. Он сожалел, что его сын Владко, мой соученик по гимназии, совсем не увлекается поэзией, а проявляет интерес исключительно к практической стороне жизни. Радовало его, что мы, молодые, можем свободно учиться, совершенствовать знания родного языка, живой речи и литературы и беспрепятственно вносить свою лепту в возвышение словацкой нации.

Я тогда не сразу заметил стопку книг, стоявшую на нижней полке его большого шкафа. Но под конец, дав мне немало поистине отеческих советов и наставлений, он указал на нее и сказал:

— Вот что, Ондрейко, возьми на память обо мне эти книги. Мне они были дороги, и я верю, что дороги будут они и тебе. Ну, иди, сын мой, и да благословит тебя господь...

Я встал, охваченный волнением, и, хотя у лютеран это не было принято, поцеловал его руку. Выходя из комнаты, я еще раз поклонился и увидел, что он меня перекрестил.

Книги мне помогла унести домой служанка Цимраков — так много их оказалось. Большей частью это были произведения наших классиков, причем несколько очень редких, первых изданий, как, например, сочинения Андрея Сладковича, Мартина Кукучина, Само Халупки, Яна Ботто и других. Дома я разложил книги, похвастался подарком перед родными, и мы с отцом до поздней ночи листали их, пока мама не заставила нас лечь спать.

— Сельничане просто не представляют, что за человек наш священник,— возмущался отец: он был заместителем церковного инспектора в нашем приходе.— Десятилетиями Цимрак живет в старой, сырой хибарке и по скромности своей не очень-то и настаивает на постройке нового дома. Мы вот уже второй общинный лес продали. На деньги, вырученные за первый лес, построили электростанцию, а то, что выручили за второй,— отложили, но и постройку дома для священника тоже пока все откладываем.

Сельницкая лютеранская церковь не имела ни колокольни, ни колоколов, сооружена она была еще в конце восемнадцатого века после эдикта Йосифа II о свободе вероисповедания, и Цимрак почти все время своей деятельности в Сельнице добивался главным образом того, чтобы построили колокольню и раздобыли колокола. «Мне бы так хотелось, чтоб в последний путь меня провожали под звон наших колоколов»,— говаривал он. А пока лютеранам приходилось при надобности пользоваться колокольней католического костела, и потому сосуществование лютеран и католиков, которые в нашей общине составляли едва ли пятую часть, было всегда примерным. Совершенно таким же, как в нашей семье.

Цимрак умер в начале лета следующего года, и после его смерти достроили наконец колокольню, раздобыли колокола и выстроили дом для нового священника.

Раз уж я упомянул про сельницкую электростанцию, расскажу о ней подробнее. Идея построить такую станцию возникла прежде всего у инженера Амброза, сельничанина родом, возглавлявшего тогда электрификацию Словакии. Было это в начале двадцатых годов. Сельничане поддержали его идею. Инженер Амброз собирал несколько раз своих земляков и рассказывал о тех больших выгодах, которые дает применение электрической энергии. Он говорил, что возьмет на себя

все хлопоты по строительству. И действительно, подготовил проект, составил смету. Сельская же община должна была дать деньги, рабочую силу, тягло и частично строительные материалы — лес, камень, щебень, песок. Амброз в ту пору больше находился в Сельнице, чем в Братиславе. В Сухой долине был продан участок леса на корню, и на эти средства у мельницы на верхнем краю села построили электростанцию. Тянулось это года три. Зато уж и гордились сельничане своей электростанцией и электрическим освещением, которых тогда еще не было ни в одной деревне по всей округе.

Это было огромным событием для нашего села. Мы, мальчишки, неотрывно следили за ходом работ — рытьем ям для столбов, натягиванием проводов, проводкой электричества в каждый дом. Ну и, конечно, само строительство у мельницы — бетонирование водосброса, где должна была быть установлена турбина и над нею генератор, бетонный водослив, заканчивавшийся железными граблями, которые должны были задерживать щепки и всякий хлам,— тоже не обходилось без нашего участия. Когда же привезли турбину, а затем и генератор, уже вся деревня была на ногах. Электрики, приехавшие устанавливать все эти чудеса, были в наших — и не только в наших — глазах подлинными героями. В корчме по вечерам их буквально на руках носили, не знали уж чем и как угостить, напоить и все выпытывали, как же это электричество получается, откуда оно берется, как идет по проводам и какую имеет силу. Мужики качали головами, слушали объяснения, заглядывали в бумажку, на которой кто-то из электриков чертил лопасти турбины и разъяснял принцип ее действия. Вся деревня жила под знаком электростанции.

Когда же, наконец, настал торжественный день пуска, у мельницы собралась вся деревенская знать во главе со старостой, нотариусом и представителями власти из Микулаша. Инженер Амброз включил главный рубильник, ток побежал по проводам, и во всей деревне вспыхнул электрический свет. Приурочили это к сумеркам, чтобы было эффектней. Люди не могли оторвать глаз от лампочек. Гомонили, кричали от радости, разводили руками, а кто по собственному почину кое-что об электричестве разузнал, заводил серьезный разговор, поучал, объяснял. Были и такие предприимчивые люди, что сразу же провели электричество и на гумна, и в хлевы, и в сараи. «Сгорите!» — уверяли их скептики. «Не пугайте,— отвечали они,— мы еще и навоз будем разбрасывать электричеством. Вот увидите!»

Вечером торжественно отмечали это событие в корчме. За столами произносили речи, а потом начались танцы, игры. Веселью не было конца. Фарфоровые плафоны над лампочками украсили разноцветными бумажными лентами, а с электрификаторами плясали самые красивые девушки села. Вся Сельница веселилась до поздней ночи.

Но когда наступили первые морозы, вольфрамовые нити в лампочках накалялись лишь до красноты, а при сильном морозе угасали вовсе. «Грабли» на водосливе покрывались толстым слоем льда, воду вытесняло выше водослива, и тогда мужикам хватало работы — очищать водослив ото льда. Жители окрестных деревень стали посмеиваться над сельничанами, конечно, тут не обошлось и без зависти.

Неприятность это была, конечно, большая, а все оттого, что в нашу речку не впадало ни одного теплого источника и она каждую зиму замерзала. Как только ударяли морозы, нашим мужчинам приходилось по очереди дежурить у турбинного водослива, отгонять лед и обеспечивать достаточное количество воды. Но и этим мало чего достигали. Редко-редко наша электростанция вырабатывала зимой положенное ей количество вольт, а то и вовсе выбывала из строя. И все же она так продержалась более двадцати лет, до тех пор пока наше

село не присоединили к стационарной электрической сети северословацких электростанций.

В те времена в нашей деревне вообще произошло много перемен. Наша сельская «Беседа», основанная сразу же после образования Чехословацкой республики, развернула в двадцатых годах большую просветительную работу. Нашлись энтузиасты, которые основали местные отделения «Сокола», «Скаута», Объединения молодых ремесленников,— можно сказать, что в нашей маленькой деревне разные кружки и объединения стали расти как грибы после дождя. Правда, росли они и по всей республике. И не только кружки, но и политические партии, которых в конце концов стало более тридцати.

Отец мой, с молодых лет горячий патриот, сторонник, а потом и член Словацкой национальной партии, после того как из национальной партии выделилась крестьянская, по-прежнему остался ее верным приверженцем, не присоединился к аграрникам, которые позднее присвоили себе пышное название «Республиканская партия земледельцев и малоземельного крестьянства». Национальную партию называли у нас партией Разуса[1], а крестьянскую — партией Годжи[2], по именам их руководителей. Политическая борьба, особенно перед выборами, развертывалась и в селах. Вчерашние патриоты, которые до того дружно боролись против национального и социального угнетения, рассеялись по различным партиям и принялись унижать и чернить друг друга.

Двадцатые годы изменили весь облик не только нашей деревни, но и Микулаша, и всего Липтовского края. Возвратились из России легионеры. Они быстро попрятали свои мундиры в сундуки и занялись шинкарством, табачной торговлей, различными сделками. Остались здесь кое-где и русские военнопленные, которые женились на словачках и занялись хозяйством. В Микулаш да и в некоторые села стали перебираться чехи — умелые коммерсанты. Они открывали новые торговые предприятия, например, аптекарские магазины на американский лад.

На городской площади в Микулаше открылся современный большой магазин обуви фирмы «Батя», который медленно, но верно начал вытеснять и душить все небольшие кожевенные и обувные предприятия в округе — они не могли с ним конкурировать. Цены, всегда кончавшиеся цифрой 9, были на удивление низкими, и весь простой рабочий люд начал носить «батевки» — от тяжелых солдатских башмаков и сапог до модных ботинок и туфель, от валенок до шлепанцев. Когда же Батя оборудовал повсюду и свои починочные мастерские, участь наших сапожников была решена. Во всем Микулаше остался, пожалуй, один только Янек, устоявший перед Батей, да и то лишь потому, что у него по-прежнему продолжала заказывать обувь местная знать во главе с микулашскими фабрикантами-кожевниками. Носить «батевки» им претило — не могли же они поддерживать своего главного конкурента.

На место мелких торговцев-евреев, которые при Австро-Венгерской монархии ходили по деревням со свистками, продавали свой товар и скупали тряпье, шкурки и кожи, пришли настоящие коммерсанты, открывавшие один за другим новые, современные магазины, о каких сельский люд и представления не имел. Начали наезжать и коммивояжеры с образцами товаров в чемоданчиках. Это были боль-

[1] Разус, Мартин (1888—1937)— словацкий поэт и прозаик, выступал против войны, восторженно встретил создание Чехословацкой республики, но затем проявил себя как националист, стал лидером реакционной Национальной партии. Незадолго до смерти пересмотрел свои реакционные и националистические взгляды.

[2] Годжа, Милан (1878—1944) — словацкий реакционный политик. С 1935 года — премьер-министр Чехословацкой республики. Его правительство приняло в 1938 году предложенные фашистской Германией условия капитуляции Чехии.

шей частью представители моравских и северочешских фирм. Но еще появлялись и так называемые «дешевые Йожки» — коробейники из Боснии. В их плетеных коробах было полно всякого ярмарочного товара: щеток, подтяжек, гребней, поясов, зеркалец, ножей с рукоятками из рога серны — предмета наших мальчишеских вожделений. В фургонах с брезентовым верхом приезжали точильщики, циркачи, кукольники и всякие другие «чудодеи», ставившие вблизи сел и местечек свои приманчивые шатры, где за умеренную плату нам показывали таинственный мир чудес. Как-то в нашу деревню добралась даже кинопередвижка. «Оркестр» из трех музыкантов с барабаном и трубами прошествовал по селу, сзывая народ смотреть кинофильм. А однажды перед корчмой остановились три фургона. Их сразу же облепила детвора. Мальчишки заглядывали внутрь, стараясь рассмотреть, что там находится. Приехавшие в фургонах люди установили на лужайке тир и карусель, украсили их пестрыми гирляндами и непрерывно заводили граммофон. Все это было уже началом новых времен и создавало ту особую атмосферу двадцатых годов, когда приезжавшие из далеких краев новые люди раскрывали перед нами иной, неизвестный нам уклад жизни, совсем не похожий на наш, деревенский, установившийся и неизменный испокон веков.

Отец, которому вот-вот должно было исполниться шестьдесят, кажется, году в 1927 окончательно оставил свое ремесло. Еще рабочим кожевенных заводов сперва в Микулаше, потом во время своих скитаний по Германии и, наконец, в Америке он хорошо узнал силу и беспощадные методы крупного капитала. И потому принял решение сдать свой многолетний ремесленный патент. Он открыл окованный медью сундучок, где среди прочих документов хранился его патент. Дрожащими руками достал его, чтобы навсегда с ним расстаться.

— Вот так, дети мои,— торжественно сказал он,— откожемятничал я свое! На то воля божья — ничего не поделаешь. Иначе я всех вас довел бы до сумы. Ведь лопнули фирмы и покрупнее. Что я — мелкая сошка!

Голос у него слегка дрожал, лицо от волнения пылало. И не удивительно, ведь он прощался с ремеслом, которое любил и которым занимался всю жизнь. Его шевро и подошвенная кожа славились в нашем крае. Это было ему хорошо известно, но гордость — главная черта его характера — никогда не превращалась у него в спесь или самомнение. Даже добившись сравнительно хорошего материального положения, он никогда не чурался самой трудной и черной работы, и деревенская беднота не имела лучшего заступника, чем он. «Нет такого труда, который унижал бы человека, кроме того, который служит его уничтожению»,— часто говорил он. И через много лет я не раз вспоминал эти его мудрые слова.

Отправился он тогда в Микулаш выбритый, принаряженный, словно на торжество. Смотрели мы все на него из сада, как шагает он по ту сторону речки, опираясь на палку, как кивает нам и улыбается, хотя все знали, что эта его улыбка скорее выражение горечи, чем радости. У мамы на глазах выступили слезы. Уголком передника она утерла их и, повернувшись, долго смотрела на мастерскую. Потом сказала упавшим голосом одно-единственное слово: «Бедняха». И это мамино «х», как никогда прежде, усилило в эту горькую минуту чувство тоски и печали.

Когда все разошлись, я остался бродить по саду и заглянул в мастерскую, где Матью Юрига еще чистил длинные ножи из нержавеющей стали, которыми они с отцом обрабатывали кожи; он дышал на них и натирал до блеска лоскутом фланели.

— А ты тоже от нас уйдешь? — спросил я его.

— Не знаю. Я делу уже выучился, пойду куда-нибудь на фабрику, может и к Бате. Только хозяин меня еще не отпустил.

Подошел я к так называемому «мокрому стану», где очищенные и отполосканные во многих водах кожи вымачивают в специальном дубильном растворе до тех пор, пока они не станут коричневыми, пройдя тройное дубление, а затем пойдут на «сухую» обработку, которая придаст им мягкость, эластичность. Все три помещения мастерской были пусты. Белела глубокая яма, полная жженой извести. Обложенная деревом, она смахивала на гигантскую раскрытую пасть, и все, все вокруг показалось мне сразу таким печальным и безутешным...

Я направился к речке, встал под молодыми тополями, которые посадил отец, чтобы укрепить берег, и долго смотрел в бочаг, постоянно углубляемый им для вымачивания кож, но и он уже был пуст и таким останется навсегда. «Теперь все это уйдет в прошлое. Конец кожемяцкой романтике»,— подумал я, только сейчас отдавая себе отчет в том, что это за ремесло; до сих пор я воспринимал его как само собой разумеющуюся часть моей, нашей жизни и никогда даже не испытывал потребности им заняться. Но вот, когда с ним было покончено, оно предстало перед моим мысленным взором во всем своем волшебстве, во всей своей необычности. Отец уже давно предвидел гибель не только своего ремесла, задавленного Батей, но и постепенное умирание всех ремесел с их своеобразным индивидуалистическим мирком, который смела техническая революция и крупное промышленное производство. С умиранием ремесел ловкие пальцы мастеров почти перестали передавать свое умение ученикам и подмастерьям, преемникам их искусства.

Перестал заходить к нам и сапожник Плахи в зеленом фартуке, уносивший после каждого своего посещения полосу подошвенной кожи и несколько хромовых кож; да и кожаные фартуки из нашей мастерской постигла унизительная участь: висели они вместе с рогожами у дровяного сарая, или же ими покрывали клетки с цыплятами, чтобы туда не забрались хорьки. Постепенно отцовский «мой дом» утратил все приметы недавно процветавшего в нем ремесла. Когда год или два спустя мы разобрали мастерскую и засыпали землей все канавки и ямы, от отцовского ремесла не осталось уже и следа. На месте мастерской отец насадил молодые яблоньки, которые родят и поныне.

■

Гимназический самообразовательный кружок, основанный первыми выпускниками, в двадцатых годах широко развернул свою деятельность. В 1924 году мы начали издавать даже собственный журнал «Озвена» и к концу года выпустили шесть номеров. Мы делали его от начала до конца своими руками, размножали на ротаторе и с нетерпением ждали каждый новый номер. На его страницах печатались стихи, короткие рассказы, заметки, критические статьи, аннотации, и принимали в нем участие главным образом ученики старших классов. Вполне понятно, что в этих наших литературных опытах было немало наивности, иллюзий, но больше — искренней восторженности, молодого идеализма и стремления к самовыражению. Все это было как бы тренировкой — мы критиковали друг друга, выискивали все новое, что говорилось о литературе и искусстве, с жадностью пополняли свои знания из истории родного народа, родной литературы, потому что в ту пору гимназический курс давал их слишком мало. Мы усиленно изучали творчество Иржи Волькера[1]. Он умер в начале 1924

[1] Волькер, Иржи (1900—1924)— чешский поэт, зачинатель литературы социалистического реализма в Чехословакии.

года, и первое собрание его сочинений многие из нас приобрели в лавке «Траносциус» либо у книготорговца Климеша. У того же Климеша, будучи в седьмом классе, я купил сочинения Байрона, Шелли, Гюго, Гёте, Пушкина, Мицкевича, Словацкого, Петефи, а также Врхлицкого, Гейдука, Галека и других классиков чешской литературы, переплел их и предложил отцу почитать. При виде такого количества книг он, бедняга, пришел в ужас и даже рассердился. Он напомнил мне известную притчу про монаха, у которого было много книг, но он ничего не узнал из них... В конце концов он смирился — что поделаешь, если я поставил его перед свершившимся фактом. Приобретенные у Климеша книги я храню поныне, и, хотя впоследствии были изданы куда более совершенные переводы, они остались живыми свидетелями моей юности, старыми знакомыми по первым путешествиям в мир прекрасного, первым встречам с Мефистофелем, с гамлетовским вопросом, с огнем Прометея, с космическими песнями и прелестными галековскими напевами. Я очень много читал тогда, часто до поздней ночи, особенно когда отец отдал мне маленькую комнатку. Здесь я уж никому не мешал. Зимой электричество у нас светило очень слабо или не светило вовсе, приходилось зажигать керосиновую лампу. Мама приходила гасить лампу и заставляла спать, чтобы я не испортил себе зрение. Но я все же испортил его. Кажется, уже в шестом или седьмом классе я стал плохо видеть написанное на доске, и врач велел мне носить пенсне. Я стыдился этого, и моя близорукость постепенно усиливалась.

Мы увлекались тогда не только Волькером, но и Есениным. А позже — Бодлером и другими французскими поэтами, с которыми нас познакомили преподаватели французского языка. Кроме того, мы выписывали журнал «Эроп сентраль», слушали лекции о французской литературе мосье Аллеона, слепого учителя-француза, время от времени наезжавшего в Микулаш. Из словацких поэтов нам тогда больше всего нравились Краско и Рой[1], их влияние ощутимо сказалось на наших первых пробах пера. Мой друг и однокашник Душан Палка открыл для меня тогда Генриха Гейне, «Книга песен» которого была в их домашней библиотеке, и мы с ним вдвоем многое прочитали тогда в оригинале, а я даже перевел несколько стихотворений. Позже я приобрел в букинистическом магазине собрание сочинений Гейне в оригинале, а открыв этот источник дешевого приобретения книг, купил там впоследствии и многих других любимых мною авторов. Так моя библиотечка, в основе которой был «книжный фонд», подаренный священником Цимраком, постепенно росла, пополнялась новыми томами и становилась предметом моей гордости. Когда же я том за томом раздобыл собрание сочинений Гвездослава, радости моей не было границ, а пятый том — «Лира» — стал для меня на долгие годы поэтической библией.

В 1924 году я послал Лацо Новомескому[2] в «Младе Словенско» несколько стихотворений, он мне ответил, что если я не буду отдавать все, что пишу, лютеранским попам в «Новый род», он кое-что опубликует в своем журнале. Кажется, в том же году он напечатал мое стихотворение «Я плыву в своей яхте». Впрочем, я печатался тогда еще в нескольких журналах — «Младе пруды», «Студентски часопис», «Словенски люд», в микулашском «Републикане» и других.

В 1926 году во время летних вакаций я и еще несколько членов нашего кружка принимали участие в августовских торжествах Мати-

[1] Краско, Иван (1876—1958) и Рой, Владимир (1885—1936) — словацкие поэты, творчество которых было отмечено чертами модернизма.

[2] Новомеский, Ладислав (род. в 1904 г.) — один из виднейших современных словацких писателей, поэт, публицист, литературный критик, общественный деятель.

цы Словацкой в Мартине. Для нас это было событие огромного значения. На открытие нового здания Матицы Словацкой прибыл сам президент республики Томаш Г. Масарик. В мартинском Народном доме Союз словацкого студенчества устроил по этому случаю торжественный вечер. Я был очень взволнован, когда мне сообщили, что на этом вечере я должен буду прочитать одно из своих стихотворений. Но чуть ли не историческим событием для некоторых из нас стал прием, устроенный Штефаном Крчмеры в его секретарском кабинете в новом здании Матицы, и личное знакомство с председателем Матицы Словацкой Йозефом Шкультеты. Штефан Крчмеры посвятил нам, начинающим авторам, целый час, чтобы с каждым из нас познакомиться, поговорить, дать добрый совет и поощрить к дальнейшему труду. Когда мы вошли в украшенное гирляндами и флагами новое здание Матицы, еще пахнувшее свежей краской, нас охватило чувство благоговейного восторга. Оно не покидало нас до тех пор, пока Крчмеры не ввел нас в свой кабинет. Он усадил всех и стал говорить о значении литературы для нации. Он призывал нас не только к прилежанию, но и к взыскательности к себе. Советовал изучать не только родную литературу, но и все лучшее, что создали другие народы. Он подчеркивал, как важно, чтобы каждый развивал в себе то, что более всего ему свойственно, к чему у него проявляются наибольшие способности, дарование, чтобы не подражал, не обезьянничал, не угождал моде, ему самому чуждой. Путь к достижению собственного творческого лица, говорил он, будет долгим, очень долгим, много воды утечет, пока мы сумеем взлететь на собственных крыльях. Он призывал нас больше уделять внимания культуре языка, доказывал, что словацкий язык достаточно богат и способен выразить все наши мысли и чувства.

Советы Крчмеры и поныне служат добрую службу начинающим авторам. Я сам не раз повторял его мысли молодым, но его личное обаяние, покоряющая манера держаться — увы! — неповторимы. Крчмеры был единственным в своем роде. Еще долго мы будем у него учиться.

Когда мы выходили из его кабинета, с верхнего этажа спускался по лестнице Йожеф Шкультеты. Крчмеры представил ему каждого из нас. Андрей Костольный не растерялся, как все мы, и выразил Шкультеты от нашего имени восхищение его деятельностью. Происходило это утром. Потом президент Масарик произнес с балкона нового здания Матицы речь.

Как и в более далекие времена, когда словацкие деятели знакомились друг с другом на традиционных августовских торжествах прежней Матицы, так и мы тогда в Мартине перезнакомились со многими выдающимися людьми старшего поколения и с нашими сверстниками. Я на себе ощутил тогда, что Мартин — подлинная словацкая Мекка, как об этом нам часто твердил отец. Побывали мы тогда впервые и на мартинском кладбище, поглядели на старую Матицу и все достопримечательные дома, где жили и работали наши деятели. Огромное впечатление произвела на нас многотысячная толпа участников торжества, прибывших сюда со всех концов Словакии. Это были делегаты местных комитетов Матицы, развернувших тогда широкую деятельность. Многие были в национальных костюмах. Но, признаться, нам, молодым, больше всего нравились яркие наряды девушек, смеющихся, веселых, которых мы потом на гулянье без устали кружили в танце.

Осенью, когда снова начался учебный год, мы хвастали перед остальными соучениками тем, что побывали в Мартине. В нашем кружке мы, как и прежде, слушали лекции, спорили и мечтали. В то время мы уже пытались разрушать сложившиеся условности, начали

усваивать либеральные идеи, а некоторые даже пропагандировали социализм и пролеткульт. Наш новый преподаватель д-р Мирослав Галлер посвящал нас в тайны философской пропедевтики. Я был поистине счастлив, прочитав недавно прекрасные «Живые воспоминания», написанные Галлером по случаю пятидесятилетия микулашской гимназии и опубликованные в юбилейном сборнике. Они заслуживают того, чтобы привести из них хоть небольшой отрывок:

«Мы, выпускники Карлова университета, с сожалением покидали Прагу — столицу только что родившегося после падения Австро-Венгерской монархии государства, когда начинали обновляться и укрепляться прерванные связи с Европой, и она принимала в своих стенах первых послов держав Запада и Востока. Нас волновал приезд Ромена Роллана, Вильдрака, Дюамеля, Маяковского и Эренбурга. Особенно сильно нас привязывал к себе сам университет, его почва, и мы боялись, что расстояние прервет благотворное воздействие Ф. К. Шальды, Вацлава Тилле, Отакара Фишера[1]. А после года преподавания в столице Словакии мне трудно было покинуть Братиславу — я был восхищен ее стремительным взлетом и ее расцветом, казавшимся еще недавно недосягаемой мечтой. Переезд в Липтовский Микулаш был переходом от оживленной и волнующей жизни к жизни, полной раздумий, творческой рабочей тишины...

Центром нашей жизни в Липтовском Микулаше была государственная реальная гимназия имени Михала Годжи[2]. Вспоминаю ее новое, светлое здание с просторным актовым залом, располагавшим нас к попыткам устраивать собственные театральные постановки, осуществлять которые нам удавалось лишь частично... В памяти, словно живые, возникают лица учеников и учениц, особенно восьмиклассников: Рудольфа Бртаня, Андрея Плавки, Душана Палки, Ольги Хорватовой и всех-всех Янов и Маринок — того нового поколения, которое отдало свою молодую энергию преображению лица родной земли, вдохнуло в нее свою уверенность и волю. Они выходили на свой жизненный путь в годы, которые предвещали новые тревоги в мире, и им пришлось довершить незаконченную партитуру, последние такты которой дописала вторая мировая война. Я, мне кажется, никогда не связывал им крылья, а помогал им в меру моих молодых сил готовиться к первому полету...»

Да, дорогой наш учитель Мирослав Галлер, ты никогда не связывал нам крыльев, напротив, ты расправлял их, готовил нас к самому дальнему и самому высокому полету. Ты учил нас не только чувствовать и понимать литературу, но и философски мыслить. Я по сей день сожалею, что не послушал тебя тогда и не пошел после окончания гимназии на философский факультет, а поступил на юридический, который мне сразу же не пришелся по душе. Как забыть наш выпускной вечер, когда, подняв бокалы в честь вечной дружбы, мы разобрались, наконец, в том, что любили и к чему стремились. Не предполагал я тогда, что с того времени мы так и не увидимся ни разу. И вот прошло более сорока лет, жизнь резко отчеканила свой след на наших лицах,

[1] Шальда, Франтишек Ксавер (1867—1937) — чешский критик и писатель, профессор западной литературы в Карловом университете. Основоположник современной чешской критики. Тилле, Вацлав (1867—1937) — чешский литературовед, фольклорист, критик и теоретик кино и театра. Профессор сравнительной истории литературы в Карловом университете. Фишер, Отакар (1883—1938) — чешский литературовед, профессор немецкой литературы Карлова университета, литературный и театральный критик, переводчик, поэт и драматург.

[2] Годжа, Михал Милослав (1811—1870) — видный словацкий культурно-политический деятель, поэт и публицист, соратник Л. Штура, один из руководителей словацкого восстания 1848 года.

обозначилась на них и печать войны, Восстания да и мучительные жизненные просчеты. Многих из нас уже увела с собой костлявая. Как был бы я рад встретиться с тобой хоть раз, чтобы с благодарностью взглянуть тебе в глаза и пожать руку.

■

Экзамен на аттестат зрелости мы сдавали в июне 1927 года. Председателем экзаменационной комиссии был Михал Ондруш, директор гимназии в Лученце, с которым я впоследствии, когда работал там, очень сблизился. В те времена во всех гимназиях выпускные экзамены были исключительно строгими, знаний от нас требовали больших. Это не только мое мнение, но и мнение многих нынешних университетских профессоров, они утверждают, что тогдашние выпускники гимназий обладали высоким уровнем образованности.

Из шестнадцати выпускников не сдал экзамена только один. Мы, счастливые homines maturi [1], сразу же купили себе трости, которые тогда были в моде. Я приобрел бамбуковую трость и гордо вышагивал вместе с однокашниками по микулашским улицам. Мы зашли в кафе «Европа» — теперь нам было дозволено все. Как быстро промчались гимназические годы. Они утекли, как быстрые воды Вага. Ах, эти годы, порой трудные и горькие, незабываемые годы юношеских мечтаний, первых соприкосновений с вечными темами жизни, с любовью и печалью, с чудом взросления.

Вместе с волнами Вага ушли в бесконечное море времен и первые гимназические месяцы и годы, когда пониже палучанского моста мы, мальчишки, боязливые, но страстно жаждущие приключений, кричали плотогонам, чтоб они взяли нас с собой: «Дяденька, причальте к берегу! Дадим табаку!» И дяденька подруливал к берегу. Мы вскакивали на плот, иногда сваливаясь при этом в воду,— и вот уже неслись по колышащемуся гребню Вага до Парижовце, а кое-кто и дальше — до Влашек и Теплы, вкушая первую сладость молодецкой отваги. Тогда, едва выйдя из стен гимназии, мы не ощущали очарования тех лет, и только много времени спустя, когда жизнь разбросала нас во все стороны и заставляла не раз мириться с ее серостью, с ее муками и страстями, начали понемногу, и мысленно и физически, возвращаться к этим местам и к этому времени — времени начинающейся вечности и расцветающего древа познания.

Теперь, пожалуй, не увидишь на Ваге таких верениц плотов, с которыми виртуозно управляются сплавщики, гонящие лес по вспененным волнам. Они ушли безвозвратно вместе с временем задолго до середины века, вскоре после того, как мы с мальчишеской жадностью к приключениям рвались к ним, на плот, расплачиваясь за осуществление своей детской мечты табаком.

Восемь лет ученья, жизнь у чужих людей, большие и малые радости и невзгоды — все это, слава богу, позади, и я с аттестатом зрелости в руках предвкушаю, пожалуй, самые чудесные и самые беззаботные в моей жизни каникулы. Так думал тогда я и, полагаю, так думает и сегодня каждый выпускник.

С этими и подобными им мыслями возвращался я чудесным июньским днем домой, веселый, лихой, готовый сжать в своих объятьях весь мир.

С обеих сторон узкой проселочной дороги, сокращающей путь к Сельнице, на огромном пространстве волновалось море хлебов — это были поля поместья Штейна. По одну сторону — рожь, по другую —

[1] Homo maturus *(лат.)* — зрелый человек.

пшеница. Крупные усатые колосья уже начинали цвести, и крохотные желтоватые лепестки околоцветника вздрагивали от ветерка, который широкими пологими волнами колебал это желтовато-зеленое море, каждый раз меняя его цвет. На придорожных скатах, глядя на меня, ухмылялся дикий мак, подмигивал синий василек, а кое-где и фиолетовый куколь с зобиком под цветком. То тут, то там проклевывался белый цветок повилики, которая, обвиваясь, тянулась вверх по стеблям своих соседей. И цикорий склонял синеватые головки над пыреем и тысячелистником, а на буграх в конце поля липкая смолянка поднимала свои лиловые цветки над стебельками пряно пахнущего тимьяна. Воздух пьянил меня, и я снова, как девять лет назад, присел возле груды камней. Почему-то мне вспомнилось, как некогда меня, мальчонку, покорила красота июньского дня и я сидел именно тут, помотавшись несколько часов по полям, забыв начисто про гимназию. Вернувшись домой, я обманул родителей, сказал, что у нас было меньше уроков, и цепенел от страха: что-то будет, когда выяснится, что я пропустил занятия? И тогда взяли верх над гимназией июньское небо, хлеба, цветы. А жаворонок уносил высоко в небо мою невыразимую радость и тоску по чему-то прекрасному и неведомому. Он щебетал и, трепеща крылышками, взмывал все выше и выше, пока не исчез в прозрачной лазури. Буйство июньской природы околдовало меня и тогда, а теперь полностью завладело мной, и я отдавался ей во власть с наслаждением, исполненный радости, одурманенный ароматами трав и цветов. Я плутал среди полей, как муравей под моими ногами, который ушел так далеко от своего муравейника в бесконечный для него мир. Но родной дом был близко, всего в четверти часа ходьбы.

Среди тополей и верб высилась новая колокольня нашей лютеранской церкви с красной крышей и католическая с крышей из дранки, над ними сразу же влево зеленел вихор сосновой рощи, выше торчал зуб Белой скалы, а над ним вздымались вершины Сивой и Острой гор — это мой горизонт, мой мир, мое гнездо. Я много раз возвращался в него, но теперь вернулся не желторотым птенцом, а сильной птицей с окрепшими крыльями, готовой взлететь и умчаться в широкий мир.

Homo maturus с бамбуковой тросточкой!

■

Когда моя милая Милка уехала из Сельницы, я долго не мог ее забыть. Мы переписывались, и почтальон, наш приятель Крмеский, не отдавал обычно ее писем вместе с остальной почтой моим родителям, а украдкой совал их мне в руки, многозначительно при этом подмигивая. Когда разлучаешься с любимой, она кажется тебе еще милей и дороже, но только до той поры, пока другая не вытеснит ее из твоего сердца. Эту простую истину я хорошо познал сам.

Милка не ответила на два моих последних письма, и я, разочарованный, под впечатлением произведений Гейне и Стриндберга о несчастной любви, которых в то время начитался,— чем еще больше разбередил свою рану,— тосковал, писал грустные стихи. Весь мир, казалось мне, померк, приуныл. И тут как раз большая компания молодежи из Сельницы и Микулаша собралась на экскурсию в Просецкую долину, на вершину Просечны. Я, конечно, не мог не принять в ней участия.

Пока шли долиной, мы еще держались вместе, но дальше стали откалываться группки, сперва побольше, потом все меньшие и меньшие, пока, наконец, почти все не разделились на пары. Я сперва вертелся то возле одной, то возле другой группки, но когда мы расположились на макушке Просечны и уничтожили все дорожные запасы, «при-

швартовался» к хохотунье Марке. Веселая, озорная, с темными вьющимися волосами, которые ветер метал во все стороны, живая как ртуть, она все время была в движении, словно молоденький жеребенок, которого выпустили на этот высокогорный луг, и он, свободный от пут, буйный, носится, брыкается, ржет, подбиваемый на озорство вольностью природы. Щеки Марки краснели, как пионы, грудь под зеленоватой блузкой едва не разрывала свое тесное вместилище, дразня и возбуждая меня.

Мы не заметили, как остались одни на вершине — последние две парочки мелькнули внизу под нами. Дул резкий ветер. Мы встали. Ветер развевал ее широкую юбку, и Марка должна была все время придерживать ее, чем я тотчас воспользовался, потому что она могла защищаться только одной рукой. Я обнял ее, положил голову ей на плечо, и так, прижавшись, голова к голове, мы смотрели вдаль на серебристые ленты речек, теряющихся среди зелени лесов и садов, на деревни, прилепившиеся к горным склонам, на весь этот чудесный мир, который теперь снова принадлежал только нам.

А потом была внезапно вспыхнувшая молодая страсть. Но как раз в то самое мгновенье, когда могло свершиться главное, Марка вдруг резко приподнялась и тихонько выдохнула два слова: «Не надо, Ондрей!»

Я проводил Марку домой, расстались мы с ней на мостике. Все лето мы виделись почти ежедневно, я выходил к ней навстречу, мы сидели или стояли у их изгороди. Однажды темным августовским вечером нас застигла сильная гроза, мы спрятались на сеновале. И тут на пахучей отаве, под раскаты грома, разбушевалась и стихия наших чувств. Мы отдались ей во власть, забыв обо всем на свете.

■

Итак, мои самые долгие и самые беззаботные каникулы после окончания гимназии наполнились внезапно вспыхнувшей, бурной любовью, которая меня начисто изменила. Родители, конечно, скоро все поняли, и, откровенно говоря, это им не очень понравилось. Отец, хотя был человеком строгим, никогда не придерживался пуританских взглядов и с пониманием относился к молодежи. Но тут он проявил необычную настороженность.

— Хорошо, хорошо,— заговорил он вдруг, когда мы с ним косили овес,— каждый молодой человек влюбляется, но ты ведь совсем ошалел! Смотри, парень, не заходи слишком далеко!

Я слушал его и думал: «Дальше, чем зашли мы с Маркой, уже некуда! Будь что будет!» И мы все больше забывали об осторожности, Марка приходила тайком (так я думал) ко мне, я к ней.

Однажды, когда я вернулся ранним утром домой, отец сказал мне:

— Ступай туда, где ты провел ночь! — И ушел с братом Юлко в церковь.

«Попался»,— подумал я.

Но настоящая баня началась после обеда. Когда отец хотел когонибудь хорошенько отчитать, он готовился к этому как к священнодействию: вся семья обязана была быть в сборе — лишь когда дело доходило до слишком «скользких» вопросов, младшим приказывали покинуть горницу. Так было и в тот раз. Сначала кроме мамы присутствовал и Юлко. Ему пришлось выслушать все блестяще составленные отцовские фразы: «Мы, родители, вкладываем в вас все, делаем для вас все возможное, а вы вместо благодарности... Вместо радости вы доставляете нам одни огорчения... Ничего путного из вас не выйдет... Будете лодырями и голодранцами... Нет того, чтобы взять пример с... Вы считаете, что родители дураки, ничего не смыслят... Ну, что ты се-

бе думаешь, Ондрей? Юлко, ступай прочь!..» Начинается самое страшное! То, что было до сих пор, мы уже слышали не раз.

Отец встал из-за стола. Мама молча следила за каждым его движением.

— Ну, ладно,— снова начал он,— влюбился, глупостей натворил, с кем этого не бывало, на том свет стоит! Все парни так делают, но ты ведь совсем голову потерял — ничего не видишь, не слышишь... Забыл, что среди людей живешь, да еще в деревне...

— А что, в деревне парни не таскаются к девчатам? — вспыхнула во мне вышедшая из-под контроля стихия, и я был очень горд в этот момент, что бил отцову карту таким козырем.

Отец остановился, прищурил глаза и произнес, отчеканивая каждый слог:

— Но ведь это же хо-зяй-ски-е сын-ки, осел ты, им же-ни-ться на-до, а ты хочешь в у-ни-вер-си-тет поступать! Разве нет? А если ты ей ребенка сделаешь — вместе с ним поедешь на юридический учиться? Ну и умник!

— Не дай бог! — прошептала мама со слезами на глазах.

Отец закурил и продолжал:

— И вообще, что это за девушка, которая ночью забирается в чужой дом к своему ухажеру! Разве порядочная девушка так поступит?

Я хотел было ринуться, как рыцарь, на защиту Марки, но отец, поняв это, не дал мне раскрыть рта и продолжал свое:

— Если бы хоть ты не собирался дальше учиться — другое дело. Но ученье ведь требует свободной, не забитой всякой чепухой головы. Ты же еще и учиться не начал, а уже погряз по уши...

— Да он еще мальчишка совсем, что он понимает...— попыталась защитить меня мама, но и ей отец не дал досказать.

— А ты уж лучше молчи! Знаем твое воспитание! Сыночки твои всегда ни в чем не были виноваты — они ведь мальчики еще. А что из этого получилось? Один у тебя из-за девчонки лежит больной в Полянке, второй идет по той же дорожке, а может быть, еще и худшей... Вот они — твои мальчики!

Мама расплакалась и молча вышла. У отца сразу пропал весь пыл. Воцарилась тишина. Он стоял неподвижно на середине комнаты и, весь напрягшись, смотрел на дверь, в которую вышла мама. Скрип моего стула был первым звуком, нарушившим тишину. Отец как-то сразу обмяк, заходил по комнате.

— На этой неделе поедешь в Татры. Ты ведь знаешь, что Виктору стало хуже,— глухо заговорил он.— Никто во всем санатории не смог обнаружить вовремя, что у него костный туберкулез. Человеку уже и жизнь не мила! — добавил он.— К чему было мучиться, надрываться?! Хорошо делают те, что на все плюют, по крайней мере хоть жизнью наслаждаются...

Он взял трубку, сунул в карман кисет с табаком и тихо вышел из комнаты. Я остался один, словно на пожарище, и мне сразу стало тоскливо и грустно.

■

Виктор с отличием окончил Коммерческую академию в Дольном Кубине и по рекомендации друга отца д-ра Йозефа Каллая поступил в Управление банками министерства финансов в Праге, затем перешел в филиал Чехословацкого национального банка в Кошице, а оттуда году в 1925-м — в Братиславское отделение. Там мы с отцом навестили его.

В Братиславе я был тогда впервые. Мы остановились в отеле «Кох» на Штуровой улице — в отеле я тоже был тогда впервые в жиз-

ни. Братислава привела меня в восхищение, но и несколько разочаровала — я почти не слышал там родной словацкой речи. Учреждение Виктора находилось на той же Штуровой улице. Мы виделись с ним и на работе, и у него дома. Он жил в том же здании, в комнате, предоставленной ему управляющим банка Михалеком, который его очень полюбил. Служащих-словаков было в то время в банке мало, а те, что были, быстро подружились.

Но не успел Виктор обжиться как следует в Братиславе, как ему пришлось ехать лечиться в Татранскую Полянку — в то время лучший туберкулезный санаторий, которым руководил доктор Гур.

Когда я в один из сентябрьских дней 1927 года вышел из татранской электрички и зашагал вверх по берегу реки к санаторию доктора Гура, я думал об Иржи Волькере, который тоже лечился здесь незадолго до своей смерти. Мысленно я повторял слова его эпитафии:

Здесь Иржи Волькер погребен — любивший мир поэт.
Он жаждал справедливости служить,
Но, прежде чем успел он к бою сердце обнажить,
Умер двадцати четырех лет [1].

Когда я гимназистом читал эти и другие стихи Волькера, я не предполагал, что когда-нибудь пройду по тем же тропинкам и коридорам, по которым ходил он, буду слышать утешительные слова из тех же самых уст, из которых слышал их он. Теперь тут лежит мой брат, едва вошедший в самую цветущую пору жизни. Он не поэт, это диаметрально противоположная натура,— обыкновенный банковский служащий. Он не мыслит образами, не может ни усилить, ни ослабить свою печаль стихом, его печаль постоянна и неизменна, можно даже сказать — монотонна. И потому она мне показалась еще более страшной. Недавно ему исполнилось двадцать семь лет, мне в ноябре будет двадцать. Виктор, Виктор, ведь я тебя, собственно, еще и не узнал...

— Скажите, пожалуйста, где лежит пан Плавка?

— Двенадцатая палата.

И вот я вхожу в белую комнату, в нос ударяет особый — чистый и в то же время неприятный запах, который я потом часто ощущал во время посещений самых разных санаторных палат в течение целых шести лет.

Виктор лежал на закрытой веранде, укутанный пушистым белым одеялом; лицо его было обращено к елям, ветви которых почти касались деревянной, до желтизны отполированной балюстрады. Он читал и не сразу заметил меня, а может, подумал, что это вошла сестра. Я тихонько подошел к нему и остановился у изголовья. Только тогда он оглянулся.

Его серо-голубые глаза смотрели на меня словно из недосягаемой глубины, казалось, они были где-то очень далеко, но их взгляд как бы прожигал огромное расстояние в страстном желании быть как можно ближе, у самых моих глаз. Мы поцеловались.

— Ты не должен был со мной целоваться, Ондрей,— сказал он.

— Еще чего! — отверг я его предосторожность.— Как ты себя чувствуешь?

— Худо. Левое плечо у меня распухло, не могу двигать рукой. Коховы невидимки свили там себе гнездо. Температура 37,8. Легкие все так же, как прежде. Но чего ж еще желать? Ведь я в Татрах, такое могут позволить себе только важные господа.

Он приподнялся. Я поправил ему подушку. А сам присел на соседнюю, свободную постель.

— Ты просил книги — я кое-что привез тебе.

[1] Перевод Михаила Светлова.

— Как отец, мама? Знаешь, я не могу им написать, как все обстоит на самом деле.

— Понимаю. Отец и без того сердится на Гура.

— Напрасно. Мне, может быть, помогла бы Швейцария. Лейзен, доктор Ролье. Так сказал мне один молодой врач. Он читал о нем фантастические вещи, и мне показывал — о них писали в Цюрихе. Только...

— Что, дорого?

— Ну, конечно. Кто может позволить себе такое...

Мы оба умолкли. Я не знал, что сказать ему, чем утешить, приободрить, знал только, что, попытайся я это сделать, он мигом бы меня высмеял.

Но, к моему удивлению, первым заговорил он:

— Как поживает твоя Маренка? — И в его глазах вспыхнула веселая искорка.

Значит, отец ему обо всем написал. Наверно, просил отговорить меня от женитьбы и потому послал к нему, решил я. Только Виктору это сообщение, кажется, доставило удовольствие.

— Значит, и ты уже влип! — сказал он с улыбкой и лукаво поглядел на меня.— К каждому это приходит. Только все дело в том, как ты с этим справишься. Но ведь ты мне рассказывал про Милку. Так, кажется, ее звали? — добавил он.

— Да, но...

— Она была слишком сдержанна?

— Нет, дело в том, что она уехала из Сельницы...

— И надо было побыстрее найти замену, да?

— Нет, не надо так воспринимать это.

— А как?

Я немного поколебался, подыскивая нужные слова, чтобы он меня не высмеял, но был не способен придумать что-либо умнее и сказал:

— Совершенно серьезно, я страшно влюбился. Замечательно красивая девушка!

— И ты уже увяз по уши?

— Увяз!

— Конечно, ведь тебе уже двадцать лет. О том, что ты взрослый, у тебя даже есть бумага с печатью. Любить ты имеешь право, что называется, вовсю! Речь может идти только о каких-то мелочах, но ты-то сам хорошо обмозговал все?

— Что именно?

— Если ты пришел к этому сам, я вовсе не хочу касаться твоих эмоций, упаси бог! К тому же поэтам нужны музы, а как раз именно поэты последними замечают, что рядом с ними оказываются фурии. Но прошу простить меня, возможно, ты исключение.

— Виктор, если бы ты только ее знал...

— Да я ничего не имею против. Но учиться ты поедешь или нет?

— Конечно. В конце месяца еду в Прагу.

— Это разумно. Ого-го, сколько ты встретишь там прекрасных муз! Целые кипы стихов напишешь!

Он посмотрел на термометр, который незадолго до того поставил, и сказал вдруг радостно:

— А ты, пожалуй, принес мне счастье. Знаешь сколько? Всего 37,1. Пойдем прогуляемся. Мне уже давно не было так хорошо, как сегодня.

Я помог ему одеться. Первым делом он снял пижаму и остался совсем нагишом. Я уже тогда был немного выше его ростом, но всегда завидовал его прекрасной, плотной фигуре, без единого изъяна: никакого плоскостопия, сутуловатости, впалой груди, торчащих лопаток,

выпученного живота — одним словом, парень что татранская ель, о котором никто бы не подумал, что у него чахотка.

Подавая ему белье, я не смог удержаться от замечания:

— Говори что хочешь, но ты же крепкий орешек!

— Только червивый, очень червивый, дорогой Ондришко!

Он надел красивый пепельно-серый костюм, который очень любил, взял стоявшую в углу возле шкафа тросточку с серебряным набалдашником и, указав ею на дверь, сказал:

— Прошу вас, маэстро, я последую за вами — ведь вы мой гость!

Мы вышли и окунулись в сиянье яркого, солнечного дня, какие бывают в сентябре только в Татрах. Воздух был совершенно прозрачный, напоенный ароматом хвои. Вверху над Полянкой вгрызалась в чистое, лазурное небо вершина Герлаха. Он лежал перед нами словно на ладони.

(Окончание следует)

ДЕНИЗА ЛЕВЕРТОВ

С английского

Есть поэты, словно бы против собственной воли «заброшенные» в свою эпоху, вечно враждующие с ней и всю жизнь стремящиеся отгородиться от нее призрачной стеной. Таких очень много в сегодняшней Америке. «Бунт» против современной действительности принимает у них самое разное выражение: от нарочитой тематической и формальной изощренности, делающей их стихи недоступными даже искушенному читателю, до столь же нарочитой «антипоэзии» бессмыслицы, пустых страниц в книге — пусть эпоха получает то «искусство», какого она заслуживает.

Есть другие поэты: трагизм времени они чувствуют еще более обостренно, мучаются его бедами, рано узнают минуты отчаяния и тоски, но ничто не в силах ослабить их выстраданную и потому нерасторжимую связь со своей эпохой и страной. Они не «бунтуют» — они всматриваются, анализируют, упрямо пробиваются к сути. Они дают поэтическое свидетельство пережитого ими самими, людьми их времени и их мира, и в конечном счете это свидетельство оказывается неизменно весомее самых вызывающих деклараций неприятия и разрыва.

Таким поэтом с первых своих написанных в Америке стихотворений остается Дениза Левертов. Слитность ее лирического «я» с американской землей и национальными поэтическими традициями тем удивительнее, что детство и юность Левертов прошли на лондонской окраине, а в США она попала уже вполне сложившимся человеком. Но дело здесь, видимо, не в биографии, а в художественном вероисповедании, в тех мыслях о назначении поэзии, от которых никогда не отступалась Левертов.

«Я не верю в то, что задача поэзии — стремиться как можно подробнее воспроизвести ужасы нашей эпохи,— говорится в ее «Декларации о поэтике».— Ужасы очевидны. Хаос стал повседневностью. Все больше и больше такого рода явлений делается чем-то обыденным; барьеры все непреодолимее. Я хочу писать стихотворения, наделенные внутренней гармонией, резко контрастирующей с хаосом, в атмосфере которого существуют эти стихи. Поскольку и у поэзии есть своя социальная функция, она заключается в том, чтобы будить спящих, прибегая ко всем средствам, кроме шока».

Это написано в 1960 году; многое с тех пор переменилось и в общественной жизни Америки, и в жизни поэтессы. В ее творческой, да и личной судьбе наглядно сказалось нарастание гражданских, социально-критических настроений, характерных для лучшей части американской интеллигенции наших дней. Вместе со своим мужем, писателем Митчелом Гудмэном, оказавшимся на скамье подсудимых во время позорного процесса над доктором Споком и его единомышленниками, Левертов с самого начала антивоенного движения шла в его авангарде и разделила все испытания, выпавшие на долю его участников. Цикл Левертов «Жизнь во время войны» (1967) написан так, словно Вьетнам не отделен от Бруклина тысячами километров, а начинается сразу за порогом ее дома.

Вьетнамские стихи Левертов или ее цикл «На процессе Эйхмана» из книги «Лестница Иакова» (1961) обжигают кричащей злободневностью. Но поиск поэтической гармонии, провозглашенный Левертов как главная для нее задача, в таких стихах не менее интенсивен. Гармония в поэзии — не благостность, не умиленность; она создается единством поэтического восприятия мира, причастностью поэта к сегодняшнему дню с самыми наболевшими его проблемами.

У Левертов это единство и эта причастность — признаки настоящей поэзии — сплетаются в свойственном всем ее книгам ощущении «боли мира в воздухе, каким дышим». Она писала об этой боли еще в стихах военных лет, рождавшихся в лондонском автобусе по пути на ночное дежурство в госпитале. И в замечательном реквиеме памяти своей сестры Ольги — женщины, не выдержавшей всю жизнь окружавшей ее «белой пустыни» одиночества, этих нескончаемых лет «унижения и паранойи». И в разбросанных по ее книгам — «Через материк к островам» (1958), «Танец печали» (1967), «Заново учась алфавиту» (1970) — стихах, в которых отражены безысходность американских будней, надлом и отчаяние человека среди кричащих о мещанском рае витрин, мир бездуховности и отчужденности людей друг от друга и даже от самих себя. И — с особой проникновенностью — в стихах о Вьетнаме.

Как и многие современные американские поэты, Левертов испытала глубокое влияние Уильяма Карлоса Уильямса, у которого училась не только технике верлибра, основывающегося на повседневной лексике и разговорных интонациях, но и большему — умению схватывать самые прозаические и в то же время выразительные черточки американского быта, умению чувствовать и воссоздавать в емком, многозначном поэтическом слове течение жизни «на глубине». Свой первый сборник, вышедший в США, она назвала «Здесь и Сейчас», прямо подчеркнув тематическую и стиховую перекличку с Уильямсом, для которого эти слова — Here and Now — были девизом поэтической работы.

Как и для Уильямса, поэзия для Левертов «скорее **путешествие** (с целью открытия), чем **изложение** (того, что поэту уже известно)», и путешествие это неизменно продолжается в ее творчестве. И в каждом сборнике, на каждом новом этапе своего путешествия по современной Америке Левертов открывает в жизни не только трагические противоречия, но и все новые и новые источники красоты, человечности, надежды.

Каждая новая книга Левертов — это всегда еще одна попытка вместить в стихи всю многогранную и многосложную реальность американского Сегодня. Передать и красоту, и уродство современной жизни. Запечатлеть и величие, и гнетущую тоску большого города. Выразить прихотливую изменчивость всех явлений и понять смысл этих перемен.

И неудивительно, что форма стихов Левертов — это по большей части непринужденный разговор с читателем, свободная от строгостей любого канона запись увиденного и передуманного автором. Лишь вчитавшись в ее стихи, увидишь завершенность их организации, увидишь те непременно присутствующие в каждом стихотворении «опорные» слова, которые держат на себе весь сложный, построенный на тонких ассоциациях каркас стихотворения и, сменяя друг друга и вновь повторяясь, сообщают ему словно бы пульсирующий ритм. Движение стиха всегда подчинено здесь движению мысли.

Последняя книга Денизы Левертов, вышедшая осенью прошлого года, озаглавлена «Чтобы жить». Это своего рода хроника бурного десятилетия, через которое прошла Америка, летопись 60-х, когда пережила высокий взлет и завоевала широкую аудиторию передовая, демократическая американская поэзия нашего времени. Стихи Левертов — среди самых бесспорных завоеваний этой поэзии. Она верна своему кредо: писать, «чтобы будить спящих».

Чтобы остановить пожар, бушующий во Вьетнаме и готовый вспыхнуть в других уголках Земли.

Чтобы вернуть человеку его достоинство, мужество, цельность.

Чтобы жить.

А. ЗВЕРЕВ

Час ночи

Кухонный дворик в снегу
лунного света. Снежная
тишина, отдых,
снежная неподвижность.
Козлы для пилки дров,
корыто для стирки белья —
снежной голубизны. Веревка
прогнулась под грузом снега!

Луна заставила смолкнуть
сверчков, лягушки
затаили дыханье.
Летняя ночь, летняя ночь стоит
на одной ноге, как цапля
на снежном болоте, глядя
на заснеженную луну.

Перевод АНДРЕЯ СЕРГЕЕВА

Какими они были?

(Вопросы и ответы)

1. Пользовались ли вьетнамцы
каменными светильниками?

2. Сохранился ли у них обычай
почитания раскрывающихся бутонов?

3. Они смеялись журчащим смехом?

4. Украшали предметы быта
орнаментом из серебра, нефрита, слоновой кости?

5. Была ли у них эпическая поэзия?

6. Была ли разница между пением и речью?

1. Их светлые сердца окаменели, сэр.
Каменных светильников на дорожках
волшебных садов никто не помнит.

2. Когда-то они, может быть, наслаждались
цветением, но когда убили их детей,
не осталось бутонов.

3. Мучителен смех обожженных ртов.

4. Украшали, но так давно, что это стало сном.
Орнамент должен радовать. Что до костей,
то они превратились в золу.

5. Никто не помнит, сэр. Они в большинстве своем
были крестьянами. Жили бамбуком и рисом.
Когда облака отражались в водах рисовых полей
и неторопливо шагали буйволы, отцы сыновьям
рассказывали старые преданья. Когда зеркальные воды
вдребезги разлетелись от бомб,
они успели только вскрикнуть.

6. От их речей, говорят, только эхо осталось,
от речей, что песней звучали.
Рассказывают, что их пенье напоминало
полет мотыльков в лунном свете.
Но кто может это сказать? Их пение смолкло.

Из «Шести вариаций»

Когда я не в силах
высечь из вас искры,
когда вы не решаетесь
смотреть мне в глаза,
когда ваши ответы
приходят, едва волоча
ноги,
и морщины изменяют
ваше лицо,
когда небо подобно подвалу
с заляпанными стеклами,
когда мебель
мешает людям и люди
сами стали громоздкой мебелью под слоем,
пыли
оттого, что свинцово волочащееся время
накоротко замкнутый предел —
мера
омраченной души и
безразличного взгляда.

Перевод ПЕТРА ВЕГИНА

Ольге

1. Свинцовая с изумрудом
ладанка,
стучащая в мою грудь,

на шее моей,
на невидимой грубой веревке,
язвящей кожу.

Хотя я не помню тебя,
пылает в ней
алый уголек из твоего костра.

2. По тротуару Таймс-Сквер
мы идем. Плакаты —
ПРЕКРАТИТЕ ВОЙНУ —
у нас на груди.

Полицейские
торопятся к нам
сомкнутым строем.
Смешно.

Твой высокий голос
начинает песню
у меня за спиной:

МЫ ВСЁ — оглядываюсь,
ты не можешь, я знаю,
там быть,

но твой голос,
от напряжения хриплый,
подымается над толпой...

ПОБЕДИМ —
хрипло звучит
уже впереди,

зияют пасти
полицейских машин. Мне кажется,
это тебя выхватывают,
нежную и яростную,
из черного снега,
бросают внутрь, увозят.

Перевод ВАЛЕРИЯ МИНУШИНА

Одиночество

Слепой. Я могу на него глядеть
стыдясь, бесстыдно. Он чувствует взгляды?
Нет, велико его одиночество.

Странная прихоть —
досыта глядеть на чужое лицо.
Не досыта — хочется еще и еще.

В своем мире он сейчас говорит
почти вслух. Его губы шевелятся.
На них беспокойство. И какая-то

радость, почти улыбка.
Не ощущаемый мной ветерок
рябит его лицо, словно воду.

Поезд следует к центру, останавливаясь
на станциях. Внутри его громкой,
дребезжащей сутолоки покой,

покой молчащих людей —
некоторые смотрят на слепого,
мимоходом, а не жадно, как я,—

и внутри этого покоя — его
особый покой, не покой, а вихрь
образов — только какие они, его образы?

Он слепой! И ему все равно,
что он выглядит странно, потому что
обнаженные мысли играют на его лице,

как свет на воде,— он же не знает,
что значит «выглядеть».
Он слеп от рожденья.

И вот он встает и готовый стоит у дверей,
зная, что следующая — его. Он считал?
Нет, он знает и так.

Он выходит, и я за ним.
«Разрешите, я вам помогу».
«Пожалуйста». Безразличие.

Но в тот же миг, когда я
слышу его безразличный голос,
рука его поднимается, ищет,

и мы идем, взявшись за руки, словно дети.
Его рука теплая и не влажная,
крепкая — такую приятно пожать.

И когда он первым проходит
турникет, рука его сразу же
ждет мою.

«Осторожно, ступеньки. А здесь
направо. Опять ступеньки». Мы вышли
на солнечный свет. Он чувствует

ласковый воздух. «Славный день»,—
говорит слепой. Одиночество
шагает со мной, шагает

рядом со мной, не во мне: его мысли
одиноки, но его рука и моя
так сроднились, что кажется,

словно моя рука, отделившись,
идет сама по себе. Я перевожу
его через улицу, и слепой

говорит, что теперь сам найдет дорогу.
Он знает, куда идет: в никуда,
наполненное тенями. Он говорит: «Я».

Дождь пятый день

Стиранное платье на ветке лимона
под дождем,
а трава удлинилась и загрубела.

Мир непоследователен: лучи
горько-оранжевого солнца
пробились.

Уже под дождем
закачались пятна
света в желтой листве.

Оденься в красное! Сорви с дерева
зеленый лимон! Я не хочу
забывать о том, что горит во мне.
Не хочу быть безвольной и чистой,
как платье на ветке...

Фиоритура

Субботнее спокойствие, улица,
закрытые магазины и оптовая тишина,
полицейский обыскивает оборванца,

а тот вдруг подымает обе руки
и задирает усатую верхнюю губу, выставляя
для досмотра свои лошадиные зубы.

Ничто
на свете ему не ново, и он ничего не боится.
Таков мир. Как художник
привносит в свой мир
беспричинные украшения — светлый мазок
или глиссандо кларнета
над басами оркестра — так бродяга
украшает свой мир
бодрым презреньем.

Перевод АНДРЕЯ СЕРГЕЕВА

ДЖОН О'ХАРА

Дело Локвудов

РОМАН

Перевод с английского К. ЧУГУНОВА

КНИГА ВТОРАЯ

Первым побуждением Джорджа Локвуда было отказаться — разумеется, вежливо — от встречи с молодым человеком из школы св. Варфоломея. Это можно было сделать аргументированно, пристойно, разумно. Он мог бы сказать, что лишь недавно закончил строительство нового дома и еще не обосновался в нем; мог сослаться на финансовые затруднения, вызванные участием в новом предприятии (не говоря, что это за предприятие, поскольку «кондитерское дело» звучит не очень солидно), или еще на что-нибудь. Джордж был совершенно уверен, что названный молодой человек хочет приехать единственно для того, чтобы попросить крупную сумму для его бывшей школы. Аналогичное письмо получил и Пенроуз Локвуд. Оно было подписано так: Престон Хиббард, школа св. Варфоломея, 1917, Гарвард, 1921, М. Н. У.[1], Гарвард, 1923. В справочнике школы Хиббард значился как исполняющий обязанности казначея. Он учился в одном классе с Бингом Локвудом, но Джордж ни разу не слышал, чтобы его сын упоминал эту фамилию. В справочнике числилось одиннадцать Хиббардов, учившихся в школе в разные годы, и все они были родом из восточной части Массачусетса.

— Ты не получал письма от некоего Хиббарда из школы святого Варфоломея? — спросил Джордж брата.

— Да, он хочет приехать ко мне,— ответил Пенроуз.— Догадываешься, чего ему надо?

— Наверно, денег.

— Именно денег, и немалых. Мэррей Дикинсон сказал, что они поручили этому парню сначала объехать страну и провести разведку. Выяснить, на что можно рассчитывать, перед тем как объявлять о начале кампании.

— Неудачное он выбрал время,— сказал Джордж.— Все мои наличные деньги ушли в кондитерское дело.

— Но принять его все же надо. Он намерен побывать у всех бывших учеников. Этого парня я не знаю, но его отец учился в одно время

Окончание. Начало в №№ 8, 9.

[1] Магистр науки управления.

со мной. Джон Хиббард. Бостонский банкир. Если бы Хиббарды захотели, то могли бы выписать чек на всю требуемую сумму сами. Они богаты с незапамятных времен. Клуб «Сомерсет». «Портовые крысы». Стопроцентные аристократы. Повидайся с ним — и дело с концом, от этих людей так просто не отмахнешься.

— Сколько ты решил им дать? — спросил Джордж.

— Ты ведь знаешь, как такие дела делают. Сначала мы прощупаем друг друга, потом я постепенно выясню, на какую сумму они рассчитывают, сокращу ее вдвое, и наконец мы на чем-то сойдемся. Я встречаюсь с ним через неделю после следующего вторника — пригласил его позавтракать.

— В таком случае и мне нет смысла тянуть,— сказал Джордж.

— Да, тянуть бесполезно. В том, что касается денег, мы, Локвуды,— заурядные любители по сравнению с семьей Хиббардов.

— А зачем школе святого Варфоломея деньги?

— Ну, кто-нибудь пожертвовал школе Гротона большую сумму, и наши попечители решили воспользоваться прецедентом. Ради престижа. Знай, мол, наших.

Молодой Престон Хиббард приехал в Шведскую Гавань в черном двухместном «додже» с дисковыми колесами. Если бы не массачусетский номер, то эту машину никто не отличил бы от шести докторских лимузинов, что в любое время можно было увидеть у подъездов больниц. Джордж спустился в вестибюль как раз тогда, когда служанка в форменном платье, увидев чужого человека в очень старой коричневой шляпе и с войлочным мешком в руке, собиралась его выпроводить.

— Вы очень пунктуальны,— сказал Джордж.— Только что пробило половину первого. Входите. Не хотите ли освежиться? Что предложить вам выпить?

— Виски с водой или коктейль, если можно. Кстати, вы — четвертый Локвуд, с которым я имею удовольствие встретиться за последние пять недель.

— Четвертый? Я знаю, что вы собирались встретиться с моим братом.

— Да, на прошлой неделе мы завтракали с мистером Пенроузом Локвудом. Он приглашал меня в клуб «Уединение». А через день после этого я виделся с Фрэнсисом Локвудом, который, по-моему, к вам не имеет отношения.

— Никакого. Мы даже не знакомы. Он поступил в школу после меня и моего брата. Он живет в Чикаго?

— Лейк-Форест, недалеко от Чикаго,— уточнил Хиббард.

— Кто же был четвертый носитель этой выдающейся фамилии?

— Не кто иной, как мой старый приятель и однокашник, ваш сын Бинг. Будучи в Калифорнии, я ночевал у него и его жены. У них очень уютный дом — или ранчо, как там это называют. Дела у Бинга идут отлично. Не удивлюсь, если он окажется одним из самых преуспевающих в нашем классе.

— Что вы говорите? — удивился Джордж.

— По всем признакам — да. Я разговаривал с пятнадцатью из девятнадцати бывших учеников нашей школы, живущих в Калифорнии, и все они, словно сговорившись, расхваливают его. В Калифорнии его ждет большое будущее.

— Рад слышать,— сказал Джордж.

— Не стану притворяться, я знаю о вашей с ним размолвке, но я полагал, что вам будет приятно узнать о его успехах. Разумеется, я имею в виду финансовые успехи.

— Можно спросить, сколько он вам дал?

— Поскольку эти данные все равно будут обнародованы, то могу сказать: он обещал нам пятьдесят тысяч долларов.

— Пятьдесят тысяч? Впрочем, только обещал, как вы сказали.

— Да, но половину обещанной суммы он дает сразу, а об остальных двадцати пяти тысячах будет объявлено в начале учебного года. У него они безусловно есть — в этом можно не сомневаться. Насколько я знаю, такую же сумму он жертвует Принстону.

— Принстону?

— Да, то ли жертвует, то ли уже пожертвовал.

— У вас уйма новостей, мистер Хиббард. Рассказывайте дальше.

— Рад буду рассказать все, что знаю. Прибыв в Калифорнию, Бинг сразу же начал работать у этого Кинга и, видимо, с самого начала ему понравился. Не боялся пачкать руки, как они говорят. И теперь, выражаясь фигурально, эти руки — все в жидком черном золоте. У Кинга был сын, приятель Бинга, но он погиб в авиационной катастрофе, когда летал на собственном самолете, так что теперь Кинг стал для Бинга прямо отцом родным.

— Ну, это вряд ли,— сказал Джордж.

— Я имею в виду не буквально, но до известной степени это так. Знаете ли вы, что они там ставят буровые вышки прямо в океане? Это — нечто новое. Я сам видел. Просто удивительно: башни в сотне ярдов от берега, и насосы работают. Ловко у них это получается.

— Значит, мой сын нажил себе состояние, не достигнув еще и тридцати лет. Молодец,— сказал Джордж.

— С вашей помощью, насколько я понимаю.

— Нет. Он вкладывал деньги дедушки, моего отца. Скажу вам, что ни он, ни я не вложили бы в нефтяное дело и цента. Я и теперь не вложу.

— А вот я вложил. По совету Бинга купил несколько акций Сан-Марко. Для себя, не для школы святого Варфоломея.

— Но из того, что вы сказали, я понял, что он дает вам деньги, а не акции. Я имею в виду — школе.

— Ну, разумеется. Он взял с меня обещание не вкладывать школьные деньги в акции Сан-Марко. Сказал, что сейчас это рискованно, они ведут разведку на новом месте. Не сообщил где, но сказал, что дело может и лопнуть.

— И все же какие-то деньги вы вложили.

— Да, заразился энтузиазмом Бинга. Много я все равно не потеряю, а если повезет, это приносит деньги — Бинг-то ведь нажил состояние. Вы бы посмотрели на него: грубые сапоги, подбитые гвоздями, широкополая шляпа, старая вельветовая куртка, а разъезжает на «роллс-ройсе».

— На чем, на чем?

— У него серый «роллс-ройс», который, по-моему, не мыли со дня покупки. В кузове на полу валяются всевозможные инструменты и металлические футляры с чертежами и прочим. Я спросил, почему у него «роллс-ройс», а не простой фордик, и услышал ответ, типичный для тамошних людей: ему-де нужна машина, в которую он может залить бензин и масло и ездить, не разбирая дороги и не останавливаясь из-за такой мелочи, как сломанная спица колеса. Когда она износится, он свалит ее в овраг и купит себе новую. Не знаю, давно ли вы виделись с Бингом, но в нем не осталось ничего от того принстонского шалопая в норфолкском костюме, каким он сохранился в моей памяти. До сих пор играет в теннис — с женой. Она тоже сильна в этом виде спорта. У меня такое впечатление, что в Калифорнии все хорошо играют. Теннисный корт у них с каким-то особым покрытием, гораздо ровнее, чем те, на которых мне приходилось играть раньше. И знаете,

она меня обыграла. Мы сыграли партию один на один, и она победила со счетом 9:7 или 8:6. Совсем меня загоняла, а ведь прежде если я и терпел поражение, то лишь от чемпионок страны.

— Я вижу, она вам понравилась.

— Очень. Палец в рот не клади. Может показаться странным, что я так говорю о молодой женщине, но других слов просто не нахожу. При этом я вовсе не хочу сказать, что она не леди или не женственна. Но она не похожа на тех молодых особ, с которыми я рос, хотя они тоже неплохо играют в теннис и умеют грести. Начать хотя бы с того, как она говорит — низким голосом, на западный манер. Когда мы собрались играть в теннис, на ней были синие джинсы и сапоги на высоких каблуках. Она сбросила с ног сапоги, надела теннисные туфли — вот и все. При мне пристрелила змею. Сходила домой, взяла большой револьвер и убила в кустах, недалеко от корта, гремучую змею, которую я даже не заметил. Пусть, говорит, ползают среди холмов, а на их участке, где играют дети, им нечего делать. И просила меня не говорить Бингу, что она убила змею, иначе он схватит ружье и уйдет искать самца — и тогда будет стрелять до самого ужина.

— А детей вы видели?

— А как же. Стиви, которого назвали в честь сына Кинга, и Агнессу. Мальчику около четырех лет, а девочке — два. Мальчик все молчит, только смотрит на тебя. Ну, а девочка — та, естественно, еще не научилась как следует говорить. Оба очень рослые и крепкие. Должно быть, климат там какой-то особенный. Мои племянницы и племянники такого же возраста, а им далеко до этих детишек. Сами Бинг и Рита не такие уж гиганты, и вас я знаю, и мистера Пенроуза Локвуда, и покойную миссис Локвуд, мать Бинга, видел. Видел мельком также родителей Риты — если не ошибаюсь, мистера и миссис Коллинз?

— Кольер.

— Благодарю. Но дети Бинга — настоящие великаны. Мальчик светленький, но загар у него, по-моему, никогда не сходит. А девчушка ковыляет всюду, поэтому Рита и остерегается змей. Сама мне сказала. Лично я ни за что не стал бы там жить, но я не в счет, я даже отказываюсь ездить на озеро Скуэм, потому что в Нью-Гэмпшире водятся змеи.

Пока шел разговор, они выпили коктейли и покончили с мясом.

— Отличные отбивные, мистер Локвуд.

— Не хотите ли еще? Это отнимет всего несколько минут.

— Хотел бы, да тороплюсь: мне еще надо сегодня съездить в Скрантон.

— К Бобу Мэкки и Бейярду Дональдсону?

— Да. Меня предупреждали, чтобы на Бейярда Дональдсона я не очень надеялся.

— Я думаю, правильно предупреждали. У него шахтеры бастуют. Из-за этого и Боб Мэкки может оказаться не таким щедрым.

— Верно. Но у мистера Мэкки, как я полагаю, есть и другие источники дохода.

— А вы, я вижу, не теряли времени даром!

— О да. Ведь бывших учеников всего лишь около семисот, а точнее — шестьсот восемьдесят восемь.

— И с каждым из них вы будете встречаться?

— С каждым в отдельности? Нет. Некоторые, более пожилые, никого не принимают, и есть несколько чудаков, которые приходят в ярость, когда у них просят денег. От таких мы держимся подальше. В Бостоне и Нью-Йорке, где сосредоточена большая часть наших выпускников, мы устраиваем небольшие совместные завтраки, особенно когда речь идет о тех, кто недавно кончил колледж. Тем не менее та-

ких, с которыми я должен встретиться в отдельности, наберется человек четыреста. Очень это интересно — я столько узнал о стране, разъезжая на машине.

— Вы ездили на машине? И в Калифорнию тоже?

— Туда и обратно.

— Какую же сумму вы хотели бы от меня получить? — спросил Джордж.— Конечно, намерения моего брата мне известны, но вы не рассчитывайте, что я дам столько же.

— Нет? Вы, стало быть, не собираетесь следовать примеру Бинга?

— Боюсь, что нет, мистер Хиббард. У него есть сын, который через несколько лет, возможно, будет поступать в школу святого Варфоломея. А у меня этой проблемы нет.

— Но у вас есть дочь. Когда она выйдет замуж, то, наверно, захочет определить своих сыновей в старую школу. А может, и сама выйдет замуж за выпускника этой школы.

— Все может быть. Она может даже выйти замуж за итонца или за попа-расстригу. Об ее отпрысках я еще не думал.

— Могу ли я подписать вас предварительно... скажем, на двадцать тысяч?

— Можете подписать — окончательно и бесповоротно — на десять тысяч. Честно говоря, я не вижу надобности в этой кампании. Мне сказали, что ее затеяли после того, как кто-то из бывших гротонцев пожертвовал своей школе кругленькую сумму, и наши решили не отставать.

— Это правда, мистер Локвуд. Такие примеры заразительны. А вот то, что нам будто бы не нужно больше денег, как утверждают некоторые наши выпускники,— это неправда. Расходы растут. Питание, например, подорожало в три раза с тех пор, как вы оттуда уехали. Кроме того, мы стали платить учителям приличное жалованье. Мы не можем рассчитывать на то, что к нам пойдут в учителя люди, имеющие независимые источники дохода. Чтобы получить лучших педагогов, нам приходится иногда конкурировать с университетом, поскольку работа в университете надежнее и почетнее. Одну минуту.— Он встал из-за стола и взял с буфета свой зеленый войлочный мешок.

— Почему бы нам не перейти в мой кабинет? — предложил Джордж.— Кофе мы можем выпить и там. Если, конечно, вы не хотите еще лимонную меренгу.

— Хорошая мысль. Я имею в виду переход в кабинет, а не лимонную меренгу. За эту поездку я поправился на двенадцать фунтов. Должен признать, что наши ветераны весьма хлебосольны. Видимо, все еще помнят спартанский рацион школьных лет и теперь возмещают потери.— Они перешли в кабинет.— Так вот, в этом мешке — материалы, которые, мне кажется, могут дать ответы на все ваши вопросы. Например, на вопрос о том, что мы будем делать с деньгами, когда они поступят в наше распоряжение. Вот наши планы касательно капитала от миллиона и выше, если такой капитал нам удастся собрать; вот планы касательно капитала от полутора миллионов и выше; вот — от двух миллионов и выше и так далее до пяти миллионов. Если же мы соберем шесть миллионов, то это слегка нас затруднит, но только слегка и притом ненадолго, уверяю вас. Между прочим, ни одна из этих сумм не будет потрачена на приобретение материальных ценностей. Все деньги пойдут на увеличение жалованья, пенсии и разные виды страхования. Хотите взглянуть?

— Нет, благодарю. Мой скромный взнос не дает мне права проверять.

— Отчего же — дает, только читать все это скучно. А вот на эти фотографии, как мне кажется, вам не будет скучно смотреть. Взгля-

ните.— Он протянул Джорджу конверт.— Все снято камерой «брауни-2». И не бойтесь — это не виды Большого каньона.

Джордж вынул из конверта десятка два карточек, снятых на ранчо Бинга. Бинг. Его жена. Дети. «Роллс-ройс». Дом. Буровые вышки. Джордж молча изучил фотографии, потом вложил их снова в конверт и протянул Хиббарду.

— Это — вам,— сказал Хиббард.

— О! Спасибо. А вы свое дело знаете, мистер Хиббард!

— Я не потому их снимал.

— Тогда почему же?

— Потому что я в некотором роде выполняю роль миротворца.

— Поясните, пожалуйста.

— У меня есть брат Генри, порвавший с отцом. Артистическая натура, как выражаются в Бостоне. Не желает иметь дело ни с ним, ни с другими членами нашей семьи. Он бросил Гарвард и уехал в Париж. Сейчас живет в Мексике. Видимо, пишет неплохие картины. В прошлом году у него была в Бостоне выставка, и он приезжал с нею, но отцу с матерью не дал о себе знать и даже на выставку не пригласил, а жил у меня. Отец же любил Генри больше нас всех, уж и не знаю за что. Ему прощалось то, что нам никогда бы не сошло с рук. Избалован был до невозможности и до сего дня причиняет родителям уйму огорчений. У отца уже был один сердечный приступ, но он только и мечтает о том, чтобы Генри вернулся домой и вел себя пристойно. На вашу размолвку с Бингом эта история не похожа, и все же здесь есть что-то общее.

— Что же вы находите общего? — спросил Джордж.

— Я знаю, что Генри помирился бы с отцом, если бы знал как. Судя по тому, что говорил мне Бинг, у него нет на вас зуба.

— Зато у меня может быть.

— Нет, мне не кажется. Я видел, как вы смотрели на его фотографии. Но, разумеется, я не знаю, что в действительности послужило костью раздора между вами.

— Костью раздора? Никакой кости не было. Из-за кости могут драться собаки, у нас же была другая причина. Мы разошлись во взглядах, которые в то время были непримиримы. Ну, а теперь спор, кажется, решился в его пользу — и отлично. Если бы ему понадобилась моя помощь, ему достаточно было бы попросить. Но она не понадобилась и теперь уже не понадобится.

— Чем больше я вас слушаю, тем больше убеждаюсь, что у вас такая же ситуация, какая сложилась между моим братом и отцом.

— Безусловно. Подобные явления в общем-то относятся к одной категории. В обоих случаях перед нами разногласия между отцом и сыном. Разница, однако, в том, что успех моего сына в Калифорнии заставляет сомневаться в возможности примирения вообще.

— Почему?

— Это не ваше дело.

— Не мое, если я не сделаю его своим.

— Но оно все равно не ваше. Почему вы непременно должны делать его своим?

— Потому что, как я уже сказал, во мне сидит миротворец.

— Незнаком с этим термином. То же, что миссионер? Правильно я это понимаю? Среди моих знакомых был один неудавшийся миссионер. Должность не сулит большого будущего, мистер Хиббард.

— Карьера миссионера меня не привлекает, мистер Локвуд. Мои планы уже составлены. Я имею довольно ясное представление о том, где я буду и чем займусь через двадцать лет.

— Это хорошо.

— И даже через сорок лет.

— Вы возбудили во мне любопытство.

— Я удовлетворю его. Моя семья богата до неприличия. Капитал наш выражается восьмизначной цифрой. И продолжает расти. Это смущает моего брата, но не меня. В Гарварде он набрался социалистических идей и не хочет, чтобы о нем говорили как о богатом дилетанте. Я же не художник и не считаю грехом владеть обычными добротными акциями и другими ценными бумагами. Деньги я люблю и нисколько не стыжусь, что они у меня есть.

— Очень здравая мысль,— сказал Джордж.

— С другой стороны, я не жаден. Меня никуда, кроме Бостона, не тянет, я не стремлюсь жить на широкую ногу. Да что это я вдруг разболтался? Обычно я предпочитаю слушать.

— Я сказал вам о своем сыне больше, чем кому-либо со времени его отъезда,— сказал Джордж.— Какова бы ни была причина, я об этом не жалею. А сейчас с удовольствием вас слушаю. Вы начали рассказывать о своих планах.

— Да. Я предполагаю участвовать во многих советах и правлениях — в опекунских советах, советах инспекторов и так далее. В них участвует мой отец, участвовали оба деда, так что я последую их примеру. Некоторым бизнесменам — даже большинству — не хватает на это времени. Но есть люди — и я принадлежу к их числу,— которые в состоянии посвятить себя этой деятельности целиком. До сих пор я выполнял только обязанности казначея в школе. Это очень кропотливая, но и очень полезная работа в смысле накопления опыта А теперь я намерен принять от отца часть его опекунских обязанностей. Гарвард, две больницы, четыре-пять корпораций, два банка. Я намерен работать очень активно, занимаясь тем, что мне нравится, и общаясь с людьми, которые мне нравятся. Это совсем не скучная работа, она связана с оживленной и приятной общественной деятельностью. Завтраки. Обеды. Банкеты. И сознание того, что ты делаешь что-то полезное.

— Вы знаете, это очень интересно,— сказал Джордж.— В том, что вы сказали, есть нечто общее с планами, которые строил в отношении меня мой отец и которые строил я сам в отношении *своего* сына. Строил, пока он не умчался из дома — не из этого, а из того, в котором мы жили раньше. Мои планы, как и планы моего отца, носили более узкий характер и не были связаны с опекунством или чем-либо подобным. Мне до сих пор приходится думать о накоплении капитала. Совсем недавно я пустился в одно рискованное предприятие — наверно, столь же рискованное, как спекуляция на нефти, только не обещающее таких баснословных прибылей. Во многих предприятиях я участвую потому, что мне это интересно, и воздерживаюсь от участия в других, потому что они меня не интересуют. Когда не нужно зарабатывать на жизнь, нет смысла заниматься бизнесом, который не приносит ничего, кроме денег. По-моему, ваша мысль сводится именно к этому.

— В значительной мере.

— Однако благотворительность и общественная деятельность не привлекают меня так, как вас. Очевидно, это происходит потому, что мы не так уж давно разбогатели и у нас не столько денег, сколько у вас. Если бы мой план осуществился, то этот мой светловолосый внук, возможно, начал бы, в конце концов, рассуждать так, как рассуждаете сейчас вы. Это доставило бы мне много радости.— Джордж помолчал. — Однако весть, которую вы мне привезли, означает крушение моего плана и плана моего отца. К этому трудно будет привыкнуть.

— Очень сожалею, что оказался носителем дурных вестей.

— И все же лучше было узнать это от вас, чем окольным путем от совершенно постороннего человека. Видите ли, мистер Хиббард, мой план предусматривал присутствие здесь сына и его семьи. Они должны были жить в Шведской Гавани. Когда мой сын уезжал отсюда, то понятия не имел о бизнесе и финансах, поэтому я был уверен, что когда-нибудь он вынужден будет вернуться домой. Но он не вернется.

— Признаться, я тоже думаю, что не вернется. В сущности, он уже дал это понять. По-моему, Восток не привлекает его — тем более как место жительства. И Риту тоже. Они любят Калифорнию, и я сомневаюсь, чтобы в мире нашлась сила, которая побудила бы их покинуть ее. Разве что землетрясение, чуть было не сказал я. Но слабые землетрясения там уже бывали. Нет, он прочно там окопался.

— Сколько денег ушло на школу святого Варфоломея и на Принстон — и все кончилось тем, что он стал калифорнийцем.

— И мой брат учился в школе святого Варфоломея. А потом — в Гарварде. Наш род живет в восточной части Массачусетса с семнадцатого века, а он считает себя мексиканцем. Жаль, что будущие поколения Локвудов оставят этот дом пустовать,— сказал Хиббард.— Впрочем, может быть, я и ошибаюсь. Кто знает? А вдруг сын Бинга предпочтет жить на Востоке. Но об этом, конечно, рано еще говорить.

— Не очень-то я на это надеюсь,— возразил Джордж.— Придется подумать и решить, как поступить с домом. Мой младший брат откажется от него — он теперь стал нью-йоркским жителем. Кто же тогда остается?

— Я вас вполне понимаю. Добротное здание, долго простоит. И через двести лет будет таким же. Всякому, даже неопытному человеку видно, как здесь все продумано и сколько вложено средств.— Хиббард встал.

— Хотите посмотреть дом? — спросил Джордж.

— Мне уже давно пора бы ехать и все же — да, с удовольствием взгляну, как вы тут живете.— Хиббард улыбнулся.— Эти гаргульи на камине — чертовски зловещие бесенята, верно? Но смешные.

— Я все думаю, можно ли доверить вам одну тайну. Вероятно, можно. Вы ведь состоите в клубе фарфорщиков, не так ли?

— Состою.

— И, наверно, в других обществах, где не принято рассказывать о том, что в них происходит?

— Конечно.

— Хотите быть посвященным в тайну, которую будем знать только мы с вами?

— Если вы во мне уверены. Я умею хранить тайны, но вы-то об этом не можете знать.

— Инстинктом угадываю,— сказал Джордж Локвуд. Он подошел к входной двери в кабинет и повернул в замке ключ.— Теперь возьмитесь рукой за вторую фигурку справа.

— Вторую справа,— повторил Хиббард.

— Поверните ее так, как поворачивают дверную ручку.

— Очень легко поворачивается. Что дальше?

— Дальше — ничего, если вы не толкнете фигурку.

— Вы хотите, чтобы я толкнул ее?

— Да.

Хиббард сделал так, как ему сказали, и панель в стене поднялась, открыв доступ к потайной лестнице.

— Великолепно! — воскликнул Хиббард.— А куда она ведет?

— Наверх — в стенной шкаф моей спальни и вниз — в подвал.

— О, как забавно! И никто о ней не знает? А столяры?

— Столяры — итальянцы из Нью-Йорка. Первоклассные мастера. Они не могут не знать, но им нет никакого смысла рассказывать.

— В идеале, конечно, вам лучше было бы их прикончить, засунуть трупы в мешок и сбросить в Большой канал.

— В идеале — да, но наш канал для этой цели не пригоден.

— Есть и другие сложности. Какой цели должна служить эта лестница?

— Пока не знаю. Даже не могу сказать, зачем я велел ее построить.

— Ваши слуги, конечно, ничего о ней не знают?

— Даже жена не знает.

— Зато я теперь знаю,— сказал Хиббард.— А панель можно задвинуть изнутри?

— Да. И фигурка займет прежнее положение.

— Знаете, о чем я подумал, глядя на эту лестницу?

— О чем?

— О шкатулках, которые давали нам в школе святого Варфоломея.

— Они-то и натолкнули меня на мысль соорудить эту лестницу. В школе у меня тоже была шкатулка, только не совсем такая, как у других. По моей просьбе один столяр, старый немец из Пенсильвании, сделал в ней второе дно, и я прятал под фальшивым дном деньги.

— Вопреки правилам,— сказал Хиббард.

— Да. Зато пока я учился в школе, у меня всегда были при себе наличные деньги.

— Откровенность за откровенность, мистер Локвуд: я делал то же самое. То есть тоже хранил деньги в тайнике. Все время, пока учился в школе. Но не в шкатулке. В ваше время ученикам вообще не разрешалось иметь деньги. Нам же сделали некоторое послабление, но все равно мы имели право получать не больше полутора долларов в неделю. Мне это правило не нравилось, поэтому я нарушал его все шесть лет.

— Где же вы прятали свои деньги?

— В разных местах. Один год я держал двадцать долларовых бумажек в переплетенных старых «Протоколах конгресса». Потом я хранил их в скворечнике на дереве за старой котельной. Отверстие в скворечнике я закрыл металлической сеткой, чтобы там не поселились птицы. Однажды положил деньги в банку из-под табака «Принц Альберт» и спрятал ее за доской объявлений на лодочной станции, но там их кто-то обнаружил. Двадцать пять долларов. Потом я придумал ловкий ход. Это была самая остроумная мысль из всех, какие когда-либо приходили мне в голову. Я вложил деньги в конверт, на котором не было ничего написано, и сунул его в отделение на доске для корреспонденции, где лежала моя почта. Его мог взять любой человек, но никто не взял. Он ни у кого не вызывал любопытства. Простой, дешевенький конверт. Будь на нем моя фамилия или чья-нибудь еще, кто-то, может, и соблазнился бы. Но он был настолько невзрачен, что никто его не тронул. Так, по крайней мере, мне казалось.

— Очень остроумно,— сказал Джордж Локвуд.— Как вы думаете, зачем мы тратили на это столько энергии? Деньги-то мы все равно не могли израсходовать, не рискуя выдать себя,— даже в ваше время.

— Я, например, знаю, зачем я это делал. У вас, возможно, была

другая цель, я же задался целью перехитрить всех — и учителей, и товарищей по школе.

Джордж кивнул.

— И я этого хотел.

— Шкатулки удовлетворяли в нас потребность остаться наедине с собой. Правда, некоторым из нас хотелось еще большего.

— Чего же, например? Чего вам хотелось?

— Возможности быть совсем одному. Некоторые мальчики у нас в школе стеснялись ходить по малой нужде в присутствии других. Лично для меня это была не проблема, но мне всегда хотелось иметь что-нибудь сугубо свое, принадлежащее только мне. В школе это были спрятанные деньги.

— А в колледже?

— Собственная квартира — та, где я по сей день живу. Только в бытность мою студентом родители о ней ничего не знали. Теперь они, разумеется, знают, но она остается моей. В ней нет ни одной вещи, которая не принадлежала бы мне или которую бы мне кто-то дал. Переступив ее порог, я могу отгородиться от всего мира.

— Что вы далеко не всегда делаете,— сказал Джордж.

— Верно, не всегда. В ней побывало немало посетителей, но все они потом уходят. Около двух лет назад я купил весь дом, а со временем куплю и оба соседних дома.

— Таким образом, вы можете не сдавать квартиры тем, кого вы не знаете.

— Наоборот: тем, кого я знаю, я не сдаю квартир. То есть тем, с кем встречаюсь в обществе. Все мои жильцы — чужие люди, и, естественно, они не знают, что я — владелец дома. Так будет и впредь.

— Собственное королевство на Бикон-хилле[1],— заметил Джордж.

— Со временем я приобрету и дома, расположенные позади моего, и таким образом полностью избавлюсь от любопытных глаз,— сказал Хиббард.— Но у меня нет потайного хода. Вы подали мне мысль.

— Мой маленький секрет очень скромен по сравнению с вашим,— сказал Джордж.— Полагаю, со временем вы станете владельцем целого квартала.

— Возможно. Но дело не в том, мал или велик секрет. Ваш потайной ход доставляет вам такое же удовольствие, какое мои дома доставляют мне.

Джордж кивнул.

— Да. Я очень полюбил этот дом за короткое время. В нем уже сложилась та атмосфера, какая в других домах складывается в течение многих лет. Когда его строили, я неотступно следил за каждой мелочью. И вот когда мы уже были почти готовы к переезду, здесь произошло несчастье.— И Джордж коротко рассказал о мальчике, напоровшемся на пики, которыми утыкана ограда.

— Хорошо еще, что вы не суеверны,— сказал Хиббард.

— Нисколько,— сказал Джордж.— Если, конечно, не считать суеверием веру в дурное предзнаменование. Впрочем, это, пожалуй, и есть суеверие.

— Какое же было дурное предзнаменование?

— А вот какое: я построил стену для того, чтобы сюда не ходили люди; так же поступил в свое время мой дед, желая защитить себя от тех, кто угрожал его жизни. Это длинная история, долго сейчас рассказывать, но ему действительно угрожали. Таким образом, идея постройки стены вокруг дома Локвуда, моего дома, явилась как бы

[1] Аристократический район Бостона.

продолжением семейной традиции. Кстати говоря, эта стена столь же непопулярна у окрестных жителей, как и стена, воздвигнутая когда-то моим дедом. Да и все остальные мои начинания были встречены неодобрительно. Например, я купил ферму у человека, семья которого трудилась на этой земле более столетия, и снес все постройки — дом, сарай и прочее. Бывший ее владелец уехал из округа. Потом я воздвиг эту стену, которая в глазах моих соседей и городских жителей должна была являться символом неприкосновенности, и укрепил сверху пики. И первый же нарушитель этой неприкосновенности поплатился жизнью. Что вы как миротворец об этом думаете?

— Трудно сказать. Вы не имеете к гибели мальчика никакого отношения.

— Но пики-то поставили по моему указанию.

— Я не считаю себя вправе осуждать. Ведь и я стремлюсь сделать так, чтобы люди не вмешивались в мою жизнь, разве нет? Меня тоже всегда привлекала идея жить в замке, окруженном рвом с водой. Я знаю одного очень религиозного человека, владеющего маленьким островком в штате Мэн. Он наверняка сурово бы вас осудил за эти пики, но сам он отделился от людей Атлантическим океаном. Надо быть очень хорошим пловцом, чтобы доплыть до этого островка с большой земли. Туда даже и в лодке не всякий доберется. Нет, я не стану оценивать вашу стену с точки зрения нравственности — ведь и вы тоже, кажется, не осуждаете меня за мое королевство на Биконхилле.

— Может, вы отложите свою поездку к Бейярду Дональдсону и переночуете здесь? — спросил Джордж.

— Благодарю вас, сэр. С удовольствием бы, да не могу. Очень жаль, честное слово. Беда в том, что сегодня вечером меня ждет не мистер Дональдсон, а мистер Мэкки, который послезавтра отплывает в Европу. Сегодняшний вечер — самое позднее, когда он может меня принять.

— В таком случае, придется вам ехать.

— Долг превыше всего,— сказал Хиббард.— Ну что ж, мистер Локвуд, этот завтрак мизантропов доставил мне удовольствие. Одно из светлых пятен в моем путешествии.

— Надеюсь, вы говорите это не просто из вежливости,— сказал Джордж.

— О нет. Заметьте, что когда я говорю «благодарю вас», то именно это и имею в виду; но если я сказал «ваш завтрак доставил мне удовольствие», это уже больше, чем благодарность.

— Скажите это еще раз,— попросил Джордж.

— Зачем?

— Приятно слышать, как вы произносите «заметьте» с этим вашим бостонским акцентом. Так и кажется, что я снова в школе святого Варфоломея.

— Ну, раз уж вы вспомнили школу, то я подписываю вас на десять тысяч. Подписной бланк вы получите в свое время.

— Кстати, пока вы не ушли, я хочу представить вас своей жене,— сказал Джордж. Он подошел к внутреннему телефону на стене, нажал кнопку и сказал: — Дорогая, мистер Хиббард собирается уходить. Можешь спуститься и поздороваться с ним?.. Спасибо... Сейчас она придет.

Джеральдина тотчас сошла вниз.

— Я была уверена, господа, что вам надо побыть вдвоем,— сказала она.

— Никогда не прощу мистеру Локвуду, что он скрывал вас. Какое на вас красивое платье.

— Удобное для дома,— сказала Джеральдина.

— Жаль, что я прерываю ваш разговор, но если вы едете в Скрантон, то вам предстоит большой крюк между Хейзлтоном и Уилкс-Барре, а на это нужно время. Надеюсь, вы дадите о себе знать, если снова окажетесь где-нибудь по соседству; мы пригласим вас переночевать,— сказал Джордж.

— Непременно сообщу,— сказал Хиббард.

Джордж Локвуд помог ему надеть пальто. Они пожали друг другу руки. Хиббард взял свой зеленый войлочный мешок, Локвуды проводили его до машины, и он уехал.

— Очаровательный, очень приятный молодой человек,— сказал Джордж.— Ты не находишь?

— Я слишком мало его видела, чтобы составить какое-либо мнение,— сказала Джеральдина.

— Вот как? А я наблюдал за вами, и мне показалось, что я уловил какой-то контакт.

— Если он и был, то ты неверно это понял. С моей стороны, во всяком случае, не было ничего. И он вовсе не показался мне очаровательным. Скорее наоборот.

— Отталкивающим?

— Ну, не отталкивающим, но и не очаровательным.

— Почему?

— Он прохвост.

— *Прохвост?* Откуда ты знаешь? Это же абсурд! Как можно так говорить о человеке, с которым ты не пробыла и пяти минут?

— Я говорю тебе то, что подумала.

— Может, я чего-нибудь не заметил? Несколько секунд я стоял к вам спиной.

— Он не тискал меня, если ты это имеешь в виду. Но мог бы, судя по выражению его лица. Возможно, это выражение ты и принял за «контакт». Могу себе представить, как он танцует с дамами.

— Это чудовищно, Джеральдина! Я провел с ним два часа и чем больше его узнавал, тем больше убеждался, что́ у меня с ним много общего.

— Я же знаю, как ты танцуешь с дамами.

— Я танцую так, как нравится моей партнерше.

— На партнершу всегда можно все свалить. Ну, мне надо несколько писем написать.

— Кому?

— Что?

— Письма. Кому ты их собираешься писать? Ты всегда пользуешься этим предлогом — писать письма, но за целую неделю и двух писем не отправляешь.

— Откуда ты знаешь? Может, я украдкой беру их с собой в город и там отправляю.

— Что ж, может быть. Ты в самом деле так поступаешь?

— Об этом я предоставляю догадаться тебе самому. По крайней мере, будет чем занять себе голову, если других проблем нет.

По его лицу пробежала едва заметная улыбка.

— Что ж, именно этим я и займусь. Ладно, иди и пиши свои мифические письма. Я еду в город. Тебе ничего не надо?

— В городе? Нет. Разве что заехать к миссис Молер и узнать, не получила ли она мои пяльцы для вышивания.

— Пяльцы?

— Я решила заняться вышиванием.

— Неужели? И миссис Молер обучает тебя?

— Обещала.

— Я бы предпочел не заезжать, если можно. Ты делай как хочешь, но в мастерскую к миссис Молер я — ни ногой. Сплетница и любит совать нос в чужие дела. Во время болезни Агнессы она много о нас болтала.

— По-моему, да,— сказала Джеральдина.

— Значит, ты знала?

— Догадывалась.

— На чем же ты строила свои догадки?

— Разве тебе не все равно? Она — лучшая мастерица города и обещала обучить меня вышиванию. Надо же мне хоть что-то делать, а повода для сплетен я ей не дам.

— Сколько уже раз я слышу это от тебя,— сказал Джордж.

— И дальше будешь слышать, пока я не подыщу себе какое-нибудь занятие.

Он открыл стенной шкаф и достал шляпу и пальто. Потом сел, сложив пальто на коленях и держа шляпу на весу большим и указательным пальцами.

— Пока ты не отправилась писать свои неотложные письма, можешь уделить мне минутку?

Она молча опустилась на стул.

— Когда ты была замужем за Бакмастером, ты вела активный образ жизни. Путешествовала, навещала подруг, принимала их у себя. А выйдя за меня, свела общение с внешним миром к абсолютному минимуму. Допустим, в Шведской Гавани нет интересных людей. Но в Гиббсвилле они есть! Уж там-то светской жизни хватает. Ты пренебрегаешь гиббсвиллской публикой, считая ее слишком провинциальной, и словно нарочно водишь знакомство с такими провинциалами, которые только подтверждают твою оценку. Но ты прекрасно знаешь, что в этом городе больше чем достаточно мужчин и женщин, обучавшихся в лучших учебных заведениях и занимающих не менее высокое общественное положение, чем те, с кем когда-то встречались ты и твой Бакмастер. Конечно, это не Лонг-Айленд и не филадельфийская Главная линия, но я что-то не припоминаю, чтобы ты и твой Бакмастер занимали в этих кругах очень уж завидное положение. Вряд ли кто-либо из жителей Гиббсвилла ездит отдыхать в Палм-Бич[1], но зато они выезжают в Орландо, а летом — на Рыбацкий остров и на Горные пески — кому что нравится. В Лондоне они останавливаются в отеле Брауна — сообразно своим вкусам и привычке. Так что твое мнение о том, будто все они провинциалы, ни на чем не основано. Ты просто не хочешь утруждать себя.

— Вы с Агнессой тоже не утруждали себя.

— Да, не слишком. У Агнессы был необщительный характер. Но ее, в отличие от тебя, признавали как представительницу иерархии углепромышленников, в то время как ты здесь чужая. Надо было постараться сблизиться с людьми, а ты не желаешь. Не играешь ни в гольф, ни в бридж, а когда тебя зовут играть, то реагируешь так, словно тебя просят записаться в женскую пожарную дружину. Эти люди не заслуживают такого отношения к себе, потому что они не хуже тебя, Джеральдина. Кое у кого из них больше денег, чем у меня или Бакмастера, большинство происходит из семей, которые насчитывают двести и триста лет существования. Именами их предков названы старинные пенсильванские города и некоторые старинные города Новой Англии, потому что не все они коренные пенсильванцы. Ты не знаешь местной истории, потому что не интересуешься ею.

[1] Курорт во Флориде.

— История меня вообще не интересует,— сказала она.

— Тогда скажи, что тебя интересует. Если бы ты хоть к чему-то проявила интерес, я помог бы тебе. Ты купила две приглянувшиеся тебе дорогие вазы, и я надеялся, что наконец-то понял, что тебя интересует. Но нет. Ты проходишь мимо них по пятьдесят раз в день, даже не взглянув. С тех пор как их поставили, ты и слова о них не сказала. Между прочим, месяца два назад я поменял их местами. Они не совсем одинаковы на вид, и мне хотелось проверить, заметишь ли ты перемену. Не заметила.

— Мне говорили, что они одинаковые,— возразила она.

— Они парные, но на одной вазе дракон смотрит вправо, а на другой — влево.

— Господи! Да знала я это.

— Но ты не заметила, что я поменял их местами.

— Ну и что? Боже мой, как будто мне не о чем больше думать.

— О чем же ты думаешь?

— Я знала, что это сорвется у меня с языка,— с досадой сказала она.

— Ну, раз сорвалось, то договаривай. О чем же ты думаешь? И пожалуйста, не пробуй убедить меня, что ты думаешь об уроках вышивания у миссис Молер.

— И не собираюсь.

— Так о чем же?

— О тебе.

— С нежностью, конечно?

— Уже нет.— Джеральдина выпрямилась на стуле.— Я тебя боюсь.

— Боишься меня?

— Не в прямом смысле слова. Меня пугает то, как ты действуешь на мою психику. По уму я тебе не ровня, это мне всегда было известно. А вот Говарда я была умнее...

— У тебя интеллект, а у Говарда — только его видимость, поэтому ты и умнее.

— Ничто не влекло меня к тебе так, как твой ум. Ты с самого начала подавил меня своим интеллектом. Прежде я привлекала мужчин, а не они меня. Не умом, конечно. Чем угодно, только не умом. Но когда я встретила тебя, то получилось все наоборот. Физическое влечение тоже было, но оно отошло на второй план. До тебя ни один мужчина не извращал всего, что бы я ни сказала, вплоть до последней мелочи. Сначала я думала, что ты просто хочешь подразнить меня, превратить в шутку мои слова. Но потом почувствовала, что ты начал менять всю мою систему мышления.

— Позволь поправить тебя. Никакой системы мышления у тебя не было, хотя я мог бы помочь тебе разработать ее.

— Почему же не помог? — спросила она.

— Потому что ты привлекала меня физически.

— Это я знала. Но зачем же тебе понадобилось...

— Я *хотел* жениться на тебе и решил пойти на это, а не просто завести с тобой роман. В моем возрасте мужчине пора знать, чего он хочет от женщины. Если ты встретил женщину, физически привлекательную, зрелую, то сумей добиться от нее не просто возможности провести вместе несколько ночей в постели, а чего-то большего.

— Расскажи мне об Агнессе,— прервала его Джеральдина.

— Нет, я не стану рассказывать тебе об Агнессе... Впрочем, ладно. Но скажу лишь то, что относится к теме нашего разговора. У нее был острый ум, но она считала, что спать с мужчиной — грешно.

— Почему же ты с ней не развелся?

— Я не хотел развода. Зато ходил к другим женщинам.

— Ты при любых обстоятельствах ходил бы.

— Без сомнения. Но Агнесса, по крайней мере, избавляла меня от угрызений совести. Надо отдать ей должное.

— Теперь я начинаю кое-что понимать.

— Может быть, ты мне скажешь, что именно?

— Ты говоришь, что у Агнессы был острый ум?

— Да.

— Значит, ты хотел, чтобы у меня был такой интеллект, над которым можно было бы возвышаться. Тебе нужна была зрелая женщина с интеллектом ребенка.

— Ты слишком скромна, моя милая.

— Вот здесь-то ты и ошибся, Джордж. Я знаю, что не обладаю острым умом, но женщина я зрелая. И я хочу сказать тебе кое-что. Мой не слишком острый ум полностью тебя постиг. Я хорошо знаю мужчин. Они выдают себя в постели.

— Я выдаю себя в постели? Впрочем, конечно, выдаю.

— Во всем остальном твой ум ставит тебя выше меня. Но не тогда, когда ты раздет.

— Верно. Стало быть, ты уже не боишься меня?

— Нет, боюсь. Меня все еще пугает то, что ты хочешь сделать со мной, когда мы не в постели.

— Что же, по-твоему, я хочу с тобой сделать?

— Ты хочешь выместить на женщинах свою обиду на Агнессу.

— Великолепно, моя дорогая! Уж не начиталась ли ты книг о сексе?

— Мне не нужно читать книг о сексе. То, что я прочла, не прибавило ничего к тому, что я знаю по личному опыту. От мужчин. Выходя за Говарда, я еще была девушкой. Но я знала, что меня ждет.

— А он?

— Он был удивлен.

— И доволен?

— Конечно, доволен.

— Ну да, мы все бываем довольны,— сказал Джордж.— Только непонятно почему. Джентльмен, вернувшись из свадебного путешествия, вовсе не спешит объявить в клубе своим товарищам: «Знаете что? А Сюзи-то была девственница!»

— Так ведь то джентльмен,— сказала Джеральдина.

— А другие меня не интересуют. Теперь ты уже, конечно, поняла, что я — стопроцентный сноб. Вынужден им быть. Моему внуку не придется, а я вынужден.

— Твоему внуку, но не сыну?

— Мой сын умер.

— Что?

— Не понимай этого буквально. Он жив и здоров и уже миллионер, по словам молодого Хиббарда. Но он ушел из моей жизни и, видимо, никогда не вернется. Он nouveau riche [1], выбился в люди самостоятельно. Ездит на «роллс-ройсе» и носит сапоги, подбитые гвоздями, щенок проклятый. Ну и черт с ним!

— Что с тобой? Я никогда не видела тебя таким раздраженным.

— А, иди ты к черту! — выпалил Джордж Локвуд и, резко поднявшись со стула, вышел из дому.

Через минуту за окном раздался глухой рокот «паккарда», и она услышала, как кусочки шлака, вылетавшие из-под колес, забарабанили о стену. Джордж Локвуд был не в духе.

[1] Богач-выскочка *(франц.)*.

■

Джордж Локвуд считал, что умение извлекать из жизни максимум того, что она может дать, сводится к умению извлекать максимум выгоды из людей; секрет же извлечения максимума выгоды из людей состоит в том, чтобы не тратить на них слишком много времени. Ни один мужчина и ни одна женщина не могут подолгу возбуждать интерес к себе. Женщина способна дать мужчине величайшее наслаждение, но физиологическая природа мужчины такова, что не позволяет женщине сохранить над ним власть после того, как его страсть прошла. Мужчина вынужден отступить, пока его энергия не восстановлена, причем восстановительный период иногда сокращается, если на смену одной женщине приходит другая.

Как бы то ни было, на Джеральдину он потратил слишком много времени. Он покинул свой дом в Шведской Гавани уже в ином, более приподнятом настроении, что, однако, объяснялось его решением уехать на несколько дней, а вовсе не тем, что у него прошел приступ раздражения. Тем более что раздражение вызывалось не столько поведением Джеральдины, сколько мыслями о сыне. Однако и Джеральдина достаточно ему насолила, так что он решил, что не мешает отдохнуть от нее несколько дней в Нью-Йорке. Поэтому Джордж тотчас поехал на вокзал и связался с Пенроузом по междугородному телефону.

— У меня сейчас нет времени на разговоры, но я прошу тебя позвонить мне в семь часов вечера домой,— сказал он.

— Что-нибудь стряслось? — спросил Пенроуз.

— Нет, все в порядке. Просто поговорить надо. Позвони мне в семь, когда я буду свободнее.

Ровно в семь часов, когда Джордж и Джеральдина шли обедать, прислуга доложила Джорджу, что на проводе Пенроуз Локвуд, который хочет с ним поговорить.

— А, черт! — воскликнул Джордж.— Ты иди, Джеральдина, я сейчас.

— Твой суп остынет,— напомнила Джеральдина.

— Можно же что-нибудь сделать, чтоб он не остыл.

— Ну, ладно.

Джордж вошел к себе в кабинет, не закрыв двери. Пусть Джеральдина слышит его разговор с братом.

— Да, Пен. Мы только что собирались обедать.

— О чем ты хотел со мной поговорить? — спросил Пен.

— О кондитерском деле. Рекламная фирма, говоришь?

— Ты мелешь какой-то вздор,— сказал Пен.

— Это я сам знаю. Ну, хорошо. Выезжаю ночным поездом. Утром встретимся в конторе. Поцелуй от меня Уилму. Спасибо, что позвонил.

Он повесил трубку и пошел в столовую.

— Придется ехать сегодня в Нью-Йорк. Представители рекламной фирмы оставили в конторе массу разных материалов, а Пен... ты же его знаешь, он все делает по правилам. Не знает, важные это материалы или нет, а в данном случае они важные. Шлет тебе привет.

— Видимо, ему ничего больше не остается. С такой женой, как Уилма.

— Ты не могла бы отвезти меня на вокзал? — спросил он.— К десятичасовому поезду.

— Ну, что ты, право. Эндрю целый день сидел без дела.

— Я подумал, что тебе полезно подышать свежим воздухом.

— Не люблю ездить ночью одна. К тому же пришлось бы дважды

переодеваться — сначала для выезда, потом снова в домашнее платье. Да и радио хочется послушать — как раз в эти часы передают хорошую музыку. Зачем причинять мне столько неудобств?

— Хорошо, забудь об этом,— сказал Джордж.

Он был рад, что может уехать из дома с чувством справедливой обиды. Он уже знал, зачем едет в Нью-Йорк, и отказ Джеральдины проводить его на поезд служил ему оправданием. После ужина он ушел к себе и до самого отъезда на вокзал занимался своими делами, а когда Эндрю подал машину, то крикнул ей снизу «до свидания!» и уехал. Джеральдина в это время ловила по радио станцию Цинциннати и замешкалась с ответом. Если потом она что-нибудь и сказала, то Джордж уже не слышал ее.

Поезд шел только до Джерси-сити, так что через реку пришлось переправляться на пароме. Сойдя на берег, Джордж отправился прямо в контору. Пена еще не было, но служащие конторы уже начали прибывать. К удивлению Джорджа, одной из первых пришла Мэриан Стрейдмайер. Хотя в Нью-Йорк он ехал, в сущности, ради нее, он был уверен, что в силу своих отношений с Пеном она пользуется некоторыми поблажками, в частности, приходит позже других. Она выглядела свежей и бодрой, в меру деловитой и вместе с тем — чрезвычайно женственной; и это осознание ее женственности лишний раз убедило его в том, что он не случайно бежал из Шведской Гавани и не случайно приехал в Нью-Йорк. Она была в синем, похожем на саржевое платье, с белым воротничком и узким кожаным поясом на талии. Строгостью одежды она очень напоминала монахиню, для полного сходства не хватало лишь четок и накрахмаленного нагрудника. Но монахини никогда не казались Джорджу Локвуду бесполыми существами.

— А мы вас ждали не раньше двадцать девятого,— сказала Мэриан Стрейдмайер.

— Да вот, дело одно возникло, так что приехал ночным поездом.

— Вы завтракали? Если хотите, я пошлю кого-нибудь в «Саварин».

— Спасибо, позавтракал на вокзале. Поезд прибывает в такую ужасную рань. Как вы тут поживали?

— По-моему, ничего.

— Счастливы? Вид у вас жизнерадостный.

— Счастлива? Об этом я никогда не думаю, особенно в половине десятого утра.

— Но если в столь ранний час вы не теряете жизнерадостности, значит счастливы.

— Это оттого, по-моему, что я здорова.

— Здоровы и молоды.

— Да и вы — не восьмидесятилетний инвалид.

— Я только что из парикмахерской. Это наш мужской салон красоты. Когда вы ждете моего брата?

— Обычно он приходит в начале одиннадцатого. Вчера перед уходом ничего не говорил, так что минут через тридцать, я думаю, придет.

— Тогда я дождусь его. Сегодня весь день буду то появляться, то исчезать.

— Вам понадобится стенографистка? Я могу записать. Или, если она нужна вам на весь день, дать вам другую девушку? Мы не ждали вашего приезда до двадцать девятого.

— Сейчас прикинем. Завтра — да, будет нужна, а сегодня — вряд ли.

— Очень хорошо,— сказала Мэриан и вышла. Но в походке ее была какая-то неуверенность, словно она ждала чего-то.

Глядя ей вслед, Джордж решил, что их отношения восстановлены. Он правильно сделал, что приехал,— инстинкт не подвел его.

Время, оставшееся до прихода брата, он заполнил телефонными разговорами — с Чарли Боумом, с Рингуоллом из рекламной фирмы и с гостиницей «Карстейрс», где он заказал себе номер. Когда вошел Пен, он еще разговаривал с гостиницей.

— Привет, брат,— сказал Джордж.

— Доброе утро. К чему вся эта таинственность?

— Садись,— сказал Джордж.— Вот решил уехать от Джеральдины на несколько дней.

— Странное ты существо. Не мог просто уложить вещи и приехать в Нью-Йорк, как сделал бы любой нормальный человек.

— Тут есть тонкости, которых ты не понимаешь. Как Уилма?

— Все в порядке.

— Все, да не все. Как у тебя дела?

— У меня? Какие дела ты имеешь в виду?

— Судя по ответу, дела твои не очень хороши.

— Деньги мы зарабатываем. Хорошо, если бы и все остальное так же легко удавалось.

— У тебя нелады с твоей приятельницей.

— Об этом потом поговорим, если есть смысл говорить. Впрочем, наверно, есть.

— Чего там потом, говори сейчас, черт возьми.

— Погоди, дай схожу к аппарату, узнаю, что нового на бирже. Тут я дельце одно выбрал — для себя. Дня два назад мне подсказали кое-что.— Он перешел в большой кабинет, встал у биржевого аппарата и подержал в руках ленту. Джордж видел, как он кивнул головой и бросил ленту в высокую корзину для бумаг.

— Все нормально? — спросил Джордж.

Пен кивнул более энергично.

— Как я и предполагал. Ты не хочешь знать, что это такое? Я, конечно, могу сказать, только ты не лезь в это дело.

— Ты говоришь о бирже или о своей личной жизни?

— О бирже. Но я, наверно, мог бы подразумевать и то, и другое,— ответил Пен.

— Подразумевал-то ты, очевидно, одно, а получился двойной смысл. Нет, меня твои биржевые спекуляции не интересуют. А вот твоя любовная жизнь — да.

— Уилма завела кавалера. Зовут его Юджин Хайм. Это молодой еврей лет тридцати, состоящий в родстве с рядом влиятельных еврейских семейств. Любит музыку и прочее. Кроме того, служит в валютном отделе фирмы «Братья Глассман».

— Кажется, его появление на твоем горизонте не слишком тебя волнует,— сказал Джордж.

— И да и нет. С одной стороны, он выглядит таким тощим, что близость с женщиной ему, по-моему, не под силу. Возможно, я и в этом ошибаюсь, но не думаю, чтобы они с Уилмой жили. С другой стороны, через нее он добивается приглашений в дома, в которые иначе не попал бы. В этом отношении он похож на меня, хотя за эти двадцать лет ко мне здесь уже привыкли. Старые связи Уилмы в нью-йоркском обществе. Пробовал я говорить с Уилмой и пожалел, что не обладаю некоторыми твоими качествами. В таких делах ты опытней меня. Я пробовал зондировать почву насчет развода.

— О господи! — воскликнул Джордж.

— Нет, я не такой профан. Я не прямо говорил о разводе. Я ска-

зал ей, что она стала нервной и невеселой, и спросил, не завела ли она себе другого.

— Решил поумничать! Но это же было глупо, Пен.

— Знаю. Но мне надо было выяснить, как она отнесется к разводу, поскольку я хочу развода. Я возобновил связь с той молодой особой и хочу на ней жениться. Если бы я этого не хотел, то было бы несправедливо мешать ей выйти замуж за другого. Она заслуживает гораздо большего, чем эта связь. Она вправе рассчитывать на замужество, на то, чтобы стать моей женой. Уилма получает все и ничего не дает взамен, моя же приятельница впервые за многие годы дала мне счастье, не получая взамен фактически ничего. Во всяком случае, в материальном отношении. Поэтому мне хотелось выяснить, какой ценой я могу освободиться от Уилмы, чтобы жениться на этой женщине.

— И не выяснил,— сказал Джордж.

— Не угадал. Выяснил, что Уилма не намерена разводиться ни сейчас, ни вообще. Похоже, что после нашего первого разговора она все рассказала мистеру Хайму, и тот сразу же догадался, что я хочу развода, что я нервничаю и удручен своим положением. И что у меня есть замена. Вот какие дела.

— Тебе все это Уилма сказала?

— Да. Когда я поднял перед ней этот вопрос вторично, она вела себя так, точно мы разговариваем в присутствии адвоката. Она совсем не была похожа на Уилму, которую я знал. Пусть у меня будет роман, заявила она, сколько угодно романов, но она мне повода для развода не даст. Так напрямик и заявила. Деньги, говорит, тут ни при чем, а потом добавляет, что, если бы она взяла свою половину капитала, а я свою, оба мы стали бы беднее.

— И она совершенно права. По-моему, голова у мистера Хайма хорошо варит. Уверен, что это его слова. Сама Уилма никогда бы до этого не додумалась. Таким образом, возвращаясь к мистеру Хайму, ты задаешься вопросом: зачем ему нужно сохранять статус-кво? Я думаю, чтобы иметь — возможно до конца своих дней — хорошего друга в нью-йоркском обществе. Рано или поздно друзья Уилмы поймут, что именно мистер Хайм посоветовал ей сохранить брак. О нем будут говорить как о человеке серьезном, надежном, а не как о пройдохе, сумевшем уговорить женщину развестись и выйти за него. Мистер Хайм — опасный человек, тем более что на первый взгляд совсем не кажется опасным.

— Да,— согласился Пен.

— Что же теперь будет с тобой и твоей любовницей?

— Мне не хватает смелости сказать ей правду.

— Об этом я, в общем, догадался. Но почему она так терпелива? Сам ты не задавался этим вопросом?

— Нет, этот вопрос у меня не возникал.

— Не очень-то ты высокого мнения об ее интеллекте. Ты не пробовал представить себя на ее месте? Она, конечно, знает, почему ты тянешь с этим делом. И если не ошибаюсь, это уже во второй раз. Однажды ведь ты с ней уже порвал, но потом вернулся. Теперь она, должно быть, решила, что у тебя серьезные намерения.

— Да. Я сказал ей, что на это потребуется время.

— И сколько же? Год? Два года? Два месяца? Сколько времени ты уже протянул?

— По-моему, почти полгода.

— Если ты так дорожишь своей честью, черт побери, то должен отказаться от нее. Почему ты боишься?

— Кто сказал, что боюсь?

— Я сказал. Почему ты ее не уволишь?

— Значит, ты знаешь, о ком идет речь?

— Да, знаю. Давно знаю. Хочешь, я сам ее уволю?

— Конечно нет. Я не хочу, чтобы она знала, что тебе все известно. Если ей и придется оставить работу, то лишь по моему требованию.

— А потом что? Она останется твоей любовницей?

— Если захочет. Но я прошу тебя не вмешиваться. Если ты настаиваешь на увольнении, я придумаю какой-нибудь предлог. Но этот разговор я возьму на себя, ты ни во что не вмешивайся.

— А почему бы нам не позвать ее сейчас и не поговорить с ней обоим? Пора выложить наши карты на стол.

— Если ты это сделаешь, я не буду разговаривать с тобой до самой смерти. Я не представляю своей жизни иначе, как рядом с нею — здесь, в конторе, или вне ее, когда мы можем быть одни. Я понимаю, почему ты хочешь выдворить ее отсюда. Но я не потерплю с твоей стороны ничего, что помешало бы мне встречаться с ней вне работы.

— Пен! Когда ты будешь сыт ею по горло, то пожалеешь, что не позволил мне взять это дело в свои руки.

— Я не такой, как ты. Мы совсем непохожи друг на друга. Мне никогда бы не пришло в голову развести такую канитель только ради того, чтобы уехать на несколько дней от жены. Звонить мне по междугородному телефону, сочинять небылицы о какой-то рекламе, мчаться сюда ночным поездом... Боже милостивый! Ну и жизнь ты себе устроил.

— Докажи, что твоя лучше.

— Может, и не лучше, а все же не такая, как твоя. Ты даже ни разу внуков своих не видел, вот до чего ты дожил. И не увидишь, пока они не станут достаточно взрослыми и ты уже не сможешь на них повлиять.

— Это тебе молодой Хиббард сказал?

— Неважно, кто сказал, но это — правда. Твой собственный сын не хочет подпускать тебя близко к своим детям. За многое тебе придется ответить, мой друг.

— Перед кем?

— Возможно, перед богом.

— Надо же. Это ты тоже от Хиббарда слышал? Или сам придумал? Как видно, вы с Хиббардом нашли общий язык.

— Хиббарду нечего тебя бояться.

— А тебе?

— Я боюсь не за себя, а за ту, которую люблю. Но если ты ее обидишь, Джордж, то тебе самому придется бояться меня. Я не шучу.

Джордж сложил кончики пальцев и посмотрел в окно.

— То, что твой друг мистер Хайм сказал по поводу твоих брачных дел, относится и к нам с тобой. Если ты так убежден, что я — главный злодей, тогда нам следует обратиться к адвокатам. Но, как сказал мистер Хайм, если ты возьмешь свою половину капитала, а я свою, оба мы станем много беднее. Так что же ты намерен предпринять?

— Это я еще должен обдумать,— ответил Пен.

— Правильно. Не поддавайся импульсу. Меня привел сюда импульс, и полчаса назад я был уверен, что это благой импульс. А теперь вот не знаю. Тем не менее я здесь. Ты пока все обдумай. Большую часть дня я буду появляться и исчезать, а вечером меня можно найти в «Карстейрсе». А теперь извини, я спешу к Чарльзу Боуму. Да! Намерен ли ты рассказать мисс Стрейдмайер о нашем разгово-

ре? Она вызвалась мне постенографировать, но если ты проболтаешься, то может получиться весьма неловко.

— Я пощажу ее.

— Ты такой хороший человек, Пен. Не в пример твоему старшему брату.

— Иди ты к...

— Зачем же так.

Двуличие молодого Престона Хиббарда оказалось неожиданным и требовало ответных действий, но сначала надо было заняться Мэриан Стрейдмайер. Мэриан Стрейдмайер и тем обстоятельством, что ей не хотелось уходить из его кабинета. Джордж снял трубку и вызвал ее к себе.

— Я ехал в Нью-Йорк с одной-единственной целью,— объявил он.

— Вот как! С какой же?

— Потом скажу.

— Когда потом?

— Ну... в шесть часов, у вас дома.

Она покрутила головой.

— Нельзя.

— Что ж, очень плохо. Значит, я напрасно ехал.

— Надо было позвонить мне вчера.

— У меня это вышло неожиданно. Я не застал бы вас на работе.

Она помолчала.

— Попробую что-нибудь придумать. Вы будете здесь во второй половине дня?

— Да, после обеда.

— Я попробую,— повторила она.

Его подмывало сказать, что он знает, как она собирается выкрутиться, но он удержался. Важно было то, что внутреннее побуждение, заставившее его приехать, находило в ней отклик.

Значит, решил про себя Джордж, этот порыв, которому он поддался, обещает дать столь нужные ему плоды, хотя и может повлечь за собой некоторое ухудшение отношений с Джеральдиной и, возможно, серьезные осложнения с Пеном. То, что удается слишком легко, не приносит удовлетворения.

Он встретился с Чарли Боумом в ленч-клубе, помещавшемся в одном из старых небоскребов. Это было скучное место, да и Чарли Боум был человек скучный. Но он достаточно поволновался утром и теперь радовался, что в ближайшие полтора часа от него не потребуется затрат умственной энергии.

Когда они заказали обед, Чарли сказал:

— Ну, дела наши идут хорошо.

— О, я читал все ваши письма и, кроме того, разговаривал с Рингуоллом.

— Неглупый парень этот Рингуолл. Во всяком случае, понимает, что может значить для него это предприятие.

— Вот на это мы и должны сделать упор,— сказал Джордж.

— Я не совсем вас понимаю, Джордж,— сказал Чарли.

— На этой стадии игры нам нужен человек, способный отдаться нашему делу целиком. У нас с вами есть и другие дела, так сказать, другие утюги на других углях. Я, например, уже не испытываю того энтузиазма, что вначале. А вы?

— До некоторой степени и я тоже. Никто из нас не является специалистом по кондитерскому делу. Лично мне все равно, чем торговать — конфетами или удобрениями. Лишь бы прибыль была.

— Точно. Но нельзя допускать, чтобы эти предательские мысли

возникали у Рингуолла. Я все думаю: не помахать ли у него перед носом несколькими морковками? Ему нужен стимул.

— Я бы подождал немного. Пока нет надобности,— сказал Чарли.

— Возможно. Вы видитесь с ним гораздо чаще меня. Но не ждите, пока он почувствует потребность в стимуле. Постарайтесь предвидеть ослабление энтузиазма.

— Сколько бы вы ему предложили?

— Он сейчас сколько зарабатывает?

— Кажется, что-то около двадцати тысяч в год,— ответил Чарли.

— Когда у нас будет штатный заведующий отделом рекламы, конечно, положим ему двадцать пять тысяч, не считая премиальных за выпуск продукции, не так ли?

— Не знаю. Думаете, положим?

— Так ведь надо,— ответил Джордж.— На этого человека ляжет главная тяжесть. Конфеты-то всякий может делать. Намешайте помадки, добавьте немного изюма — вот вам и продукт. Но этому продукту надо дать название и заставить людей покупать его. Между прочим, неплохие конфеты получились бы из помадки с изюмом. Потом можно будет испробовать. Не исключено, что получится даже лучше, чем то, что у нас есть.

— Это вам сейчас пришло в голову?

— Сию минуту.

— Я уже почти ощущаю вкус этой конфеты.

— Неплохо, а? Кто знает, возможно, мы расширим наше предприятие еще до того, как продадим первую конфету. И тогда нам потребуется дополнительный капитал. Что вам известно о братьях Глассман?

— Вероятно, не больше, чем вам. Это одна из наиболее старых еврейских династий. Но зачем вам подпускать к этому делу евреев? Не замечал я, чтоб эти люди очень уж мечтали о нашем обогащении.

— Это верно, но я смотрю далеко вперед. Эту фамилию мне назвали сегодня утром. Вы знаете парня по имени Хайм?

— Я знаю Леонарда Хайма. Замечательный старик, но он два года назад удалился от дел и живет теперь в Европе. В Вене. Кажется, он там родился. А почему вы спрашиваете?

— Да так, в разговоре мне назвали эту фамилию. До тех пор я ничего о нем не слышал.

— У него в фирме два сына, но я с ними не знаком. Даже в лицо плохо знаю, хотя они и состоят в этом клубе. Нет, на нынешнем рынке раздобыть деньги — не проблема. Особенно если прилично пойдет дело. Сразу налетят и попытаются скупить все на корню, но если у нас будет в запасе второй сорт конфет, который даже еще в продажу не пущен, то мы с этого дела не слезем.

— Сколько вы сто́ите, Чарли?

Чарли захохотал.

— Вот это да! Знаете что? Вы первый человек, который задает мне этот вопрос. Сколько лет я занимаюсь бизнесом, а никто меня прямо об этом не спрашивал. Ну, хорошо. Сколько, по-вашему, я сто́ю?

— Три миллиона,— сказал Джордж.

— Больше.

— Десять миллионов,— сказал Джордж.

— Меньше.

— Между тремя и десятью.

— Точнее не скажу. Почему вас это заинтересовало?

— Такие вещи всегда интересны.

— Гм. Я знаю людей, которые за такие вопросы дают по физиономии. Это личный вопрос, Джордж.

— Только такие вопросы и заслуживают того, чтобы их задавать.

— Все равно, вы ведь считаетесь джентльменом,— сказал Чарли.

— До джентльмена я еще немножко не дорос, так что правила этикета меня не связывают.

— А я всегда считал вас джентльменом. И Пена — тоже.

— Пен, возможно, и есть джентльмен. Он на четыре года моложе меня, а это кое-что значит. Очень любопытно. Разница всего в четыре года, а как меняет дело. Да, Пен, по-моему, джентльмен. Первый в нашей семье.

Джордж вернулся в контору за чемоданом. Ни Пен, ни Мэриан Стрейдмайер после обеда еще не возвращались. Предупредив телефонистку, что он уехал в «Карстейрс», Джордж взял такси, получил в отеле заказанный номер и не спеша принял горячую ванну. В четыре часа он позвонил Мэриан в контору.

— Вы — у себя? — спросил он.

— Да, у себя.

— Хорошо. Значит, вас никто не подслушивает. Итак, в шесть часов у вас дома?

— Лучше в шесть тридцать.

— Тогда давайте в семь, если вы не против.

— Это еще лучше. Не так-то легко мне было отменить ранее назначенную встречу.

— Мне очень жаль, что я доставил вам столько хлопот,— сказал он.

— Я вам все потом расскажу.

— Пусть это вас не беспокоит. Значит, увидимся в семь.

Стало быть, ей нелегко было отменить ранее назначенную встречу. Вот почему они с Пеном долго не возвращались с обеда. Интересно, куда они ездят обедать, когда Пен приглашает ее. Впрочем, в городе такое множество баров и закусочных, что, встретившись где-нибудь на Челси-стрит, они могут сесть в такси и через пятнадцать минут оказаться вдали от финансового центра и от знакомых.

В запасе у Джорджа было три часа. Чтобы убить время, он медленно оделся и отправился пешком в клуб «Ракетка». Понаблюдал за игрой, потом сам сыграл несколько партий в боттл-пул[1] с какими-то людьми — по-видимому, завсегдатаями этого заведения. Потом заказал себе разбавленного шотландского виски и так, со стаканом в руке, скоротал время, пока не настала пора уходить. В пять минут восьмого он поднимался по лестнице дома на Меррей-хилле, где находилась квартира Мэриан Стрейдмайер.

Она сняла дверную цепочку и впустила его. Теперь на ней была уже не монашеская одежда, а платье из набивного ситца.

— Очень у вас все изменилось с тех пор, как я был здесь в последний раз,— удивился Джордж.

— Это верно, но и квартира сильно изменила меня.

— В какую сторону?

— В худшую. Она приучила меня к расточительности. Стоила уйму денег.

— Никто не вправе осуждать вас за это. Мне, например, ничто не может доставить большего удовольствия, чем строительство нового дома. Это не значит, что мне захочется когда-нибудь строиться снова, но я не жалею о том, что сделано.

---

[1] Разновидность биллиардной игры.

— Что будете пить? Коктейль?

— А вы сами что-нибудь пили? — спросил Джордж.

— Да. Мартини.

— Ну, тогда и мне мартини. У вас еще осталось?

— О, конечно. Я выпила всего один бокал. Больше не успела. Шейкер почти полон.

Они наполнили бокалы и сели в кресла возле камина лицом друг к другу.

— В любую минуту может зазвонить телефон, но я не подойду,— сказала она.

— Снимите трубку и так оставьте,— посоветовал он.

— Нет. Пусть он думает, что меня нет дома. Если я сниму трубку, то телефонистка скажет ему об этом, и он узнает, что я здесь. А то еще попросит включить гудок. Он очень сердит на меня.

— Он сейчас в расстроенных чувствах.— сказал Джордж.

— Ну и черт с ним. Что вы хотели мне сказать?

— Хотите знать истинную причину моего приезда в Нью-Йорк? Выпейте это и налейте себе еще.

— Неужели дело так плохо?

— Не думаю, что так уж плохо, но три мартини помогут вам лучше понять меня.

— Ладно.— Она снова наполнила свой бокал, налила ему и быстро выпила.— Ну вот, я готова. А вы?

— И я, конечно.— Он поднял свой бокал.

— Теперь я полна понимания,— пошутила она.

— Так вот. Вчера вечером, сидя у себя в кабинете, я вдруг почувствовал такое желание, какого давно не испытывал. И ничего не мог с этим поделать.

— А где была ваша жена? — спросила Мэриан.

— Дома, но к ней это желание не имело никакого отношения.

— Если бы вы сказали, что его вызвала мысль обо мне, я назвала бы вас обманщиком.

— Не торопись называть меня обманщиком.

— Прохвост. Как ты не похож на своего брата. Он любит меня, для тебя же я — всего лишь эпизод, приключение.

— Не только эпизод, Мэриан. Как ты уже сказала, я очень не похож на своего брата. Меня упрекают в отсутствии романтизма, но я проявляю к тебе уважение тем, что веду себя абсолютно честно. Ведь мы с тобой очень схожи.

— Ты так думаешь?

— Да. Будешь ли ты столь же откровенна?

— Не знаю.

— Сегодня утром ты была у меня в кабинете. Мы поболтали немного, потом ты повернулась и пошла.

— Да.

— Но уходить тебе не хотелось.

— Разве?

— Не помнишь?

— Помню только, что ты смотрел на меня. Просто пожирал глазами.

— Мысленно я обнимал тебя на протяжении последних двадцати пяти часов.

— А я тебя, наверно, на протяжении последних девяти часов.

— Что, если сейчас зазвонит телефон?

— Я закрою дверь спальни. Мы услышим звонок, но он будет не такой громкий.

Они разделись и сели на край кровати. В это время зазвонил телефон.

— Ну, вот тебе. Выбрал момент.

— Не обращай внимания.

Возвратившись в гостиницу «Карстейрс», он принял ванну, надел пижаму и поужинал у себя в номере. Потом прилег на кровать, прямо на покрывало, раскрыл роман «Эроусмит» — того же автора, что написал понравившиеся ему «Главную улицу» и «Бэббит»,— и сразу задремал. Проснулся с болью в шее. Часы показывали половину двенадцатого. Он встал, умылся. Заказал в комнату кофе. Мэриан обещала звонить в полночь. Интересно, был ли у нее Пенроуз и скоро ли она позвонит? Боль в шее прошла, кровь по жилам потекла свободнее. Сон придал ему бодрости. Жажда наслаждения, которое ждало его в квартире Мэриан, уступила место любопытству. Отпивая маленькими глотками кофе и чувствуя, как проходит сонливость, он старался представить себе, какие планы строит Мэриан на остаток ночи. Но он не отдавался этим размышлениям целиком, его занимала и другая мысль: какое положение может занять Мэриан в его будущей жизни? Он добьется ее ухода из конторы и из жизни брата, а потом — он был в этом уверен — уговорит ее стать его, Джорджа, любовницей. С такой женой, как Джеральдина, без любовницы ему не обойтись, а поскольку взгляды Мэриан на жизнь ему теперь хорошо известны, нетрудно будет прийти с ней к соглашению, основанному на деньгах и взаимной терпимости. Пен допустил ошибку, предъявив Мэриан слишком большие требования,— этого нельзя делать при односторонней любви. А между Мэриан и Джорджем любви вообще нет. Любовь? Интересно, подумал Джордж Локвуд, любил ли он кого-нибудь, кроме Элали Фенстермахер? Какое ужасное имя! А его самого кто-нибудь кроме нее любил? «Должно быть, я старею»,— пробормотал он. Впрочем, смешно было даже думать так после того, что было. Старею, конечно, но еще не состарился. Мужчины Локвуды в этом смысле не стареют.

Ночные звуки в восточной части Нью-Йорка начали затихать. Часы на стене и часы на его руке дружно показывали за полночь. Теперь надо ждать от нее звонка в любую минуту. Он надел нижнее белье, носки, ботинки, приготовил рубашку и галстук. Теперь между ним и безмолвным телефонным аппаратом установилась невидимая, хрупкая связь. Джордж почти зрительно представил себе, как ее голос вылетает из микрофона, хотя знал, что голос передается через наушник. Интересно, что же она скажет? Будет ли лаконична и настойчива, устало-иронична или зла на Пена, задержавшего ее так надолго? Джордж уже не сомневался в том, что Пен был у Мэриан и почти наверняка устроил ей сцену. Сцена, по всей вероятности, получилась драматичной и бурной, и с обеих сторон было сказано то, что неизбежно приводит к неприятным последствиям. Джордж представлял себе эту сцену в прошедшем времени, но вполне допускал, что она все еще продолжается. Ему хотелось позвонить Мэриан, но он знал, что это лишь усложнит дело. И зачем такой человек, как Пен, ставит себя в подобные ситуации?

Вся наличная литература в номере состояла из Библии (массовое издание «Гидеон») и романа Синклера Льюиса, но Джорджа Локвуда не интересовали ни изречения пророков, ни интриги медицинского мира. Вид утреннего гостиничного меню вызывал у него лишь раздражение, напоминая о том, что он рассчитывал на завтрак в квар-

тире на Меррей-хилле, приготовленный руками молодой чувственной женщины, жаждущей доставить ему удовольствие.

И тут зазвонила эта чертова штука.

Он взял трубку и, чтобы не выдать волнения, набрал побольше воздуха в легкие.

— Алло!

— Джордж? Слава богу, ты на месте! — Это был голос Джеральдины.

— Где же мне еще быть? Почему ты звонишь так поздно?

— Значит, ты еще не знаешь. Я была уверена, что не знаешь. О, Джордж! Случилось нечто ужасное. *Ужасное!* С Пеном, твоим братом Пеном, и с какой-то женщиной из вашей конторы.

— Говори толком, женщина. Ради бога.

— Я и пытаюсь. Пен убил ее, застрелил из пистолета, а потом застрелился сам. Твой милый брат. Это так ужасно, Джордж! Я сижу здесь одна.

— От кого ты узнала?

— От Уилмы. Она позвонила сюда минут... минут пятнадцать назад. У нее там полиция, так что поезжай к ней. Что мне делать? Ехать с Эндрю на машине в Нью-Йорк? Поезда сейчас не ходят.

— Никуда не езди. Давай уточним: Уилма позвонила тебе, то есть мне, а ты взяла трубку.

— Полиция пришла к ней и сообщила, что ее муж убил женщину и покончил с собой. Какую-то женщину из вашей конторы. Не свою секретаршу, а какую-то женщину с немецкой фамилией.

— Мисс Стрейдмайер?

— Да, ее.

— Когда это случилось? В котором часу?

— Наверно, около десяти вечера. Уилма не хотела со мной разговаривать, хотела говорить с тобой. Ты должен ехать к ней немедленно, Джордж. Я даже не представляю себе ее состояние.

— Они умерли сразу?

— Откуда мне знать? Когда пришла полиция, они были уже мертвы. Ты все узнаешь от Уилмы. Значит, Эндрю не будить?

— Оставайся дома, пока я тебе не позвоню. Где Эрнестина?

— Эрнестина? То ли в Риме, то ли на пути в Рим. В последнем письме она сообщала, что предполагает поехать в Рим. Кажется, как раз в это время. Найду письмо и еще раз проверю.

— Хорошо. Сделай это сейчас, пока не легла спать. Потом разыщи по телефону Артура Макгенри.

— Тоже сейчас?

— Можно утром — как можно раньше.

— А зачем нам адвокат?

— Он нам нужен не как адвокат, а как человек трезвого ума. Не предпринимай ничего и не говори ни с кем, не посоветовавшись с Артуром. Если его нет в городе, позвони Джо Чэпину, но сначала попытайся найти Артура. Вряд ли ты знаешь, куда отправили тело.

— Знаю, в морг. Оба тела. Уилма сказала.

— Как видно, у Уилмы больше самообладания, чем у тебя.

— Ничего не могу с этим поделать, Джордж. Когда она позвонила, я слушала радио. Я сразу испугалась, уж не с тобой ли что стряслось.

— Благодарю. Со мной ничего не стрясется.

— Кто мог думать, что такая ужасная вещь случится с Пеном? Не могу этому поверить. Ты что-нибудь знал? У него с этой женщиной была связь?

— А как ты думаешь? Стал бы он убивать и потом кончать с собою, если бы ничего не было?

— Пен мог так поступить. Если бы она ему отказала. Он выглядел очень подавленным. Мне всегда казалось, что он был слишком погружен в себя, никогда не выдавал своих чувств. Но я и мысли не допускала, что он может вести двойную жизнь.

— Двойной жизни никто не ведет. Каждый живет только одной жизнью — хорошей, плохой ли, но одной.

— Ну, хорошо. Ты никогда не перестаешь думать — голова у тебя вечно чем-то занята.

— А разве это не благо, что есть человек, способный думать в такие минуты? Так ты выясни, где сейчас Эрнестина, а утром как можно раньше позвони Артуру. Карандаш у тебя есть?

— Есть.

— Запиши фамилию: Солон Шисслер. Эс-о-эл-о-эн. Солон. Ша-и-эс-эс-эл-е-эр. Шисслер. Владелец похоронного бюро в Шведской Гавани. Попроси Артура позвонить ему — пусть ждет моего звонка.

— Ты собираешься устраивать похороны здесь?

— А где же еще? Очень сомневаюсь, чтобы в данных условиях Уилма пожелала предоставить ему место на своем фамильном участке, где бы он ни находился. Его место рядом с Локвудами. Так что попроси Артура известить Шисслера.

— Похороны будут торжественные? Народу будет много?

— Конечно нет. Когда нью-йоркские власти дадут разрешение, я велю перевезти Пена в Шведскую Гавань и отправить прямо на кладбище. На погребении будут только близкие.

— А к Уилме ты поедешь?

— Как только накину на себя что-нибудь. А ты лучше выпей брому и немного поспи.

— Хорошо, милый. Наверно, я так и сделаю. Доброй ночи. Я очень тебе сочувствую. Знаю, как ты любил Пена.

— Доброй ночи, Джеральдина.— Джордж повесил трубку.— Да, любил,— пробормотал он.— Очень любил. Только до сих пор, по-моему, не отдавал себе в этом отчета.

Когда такси проезжало мимо станции метро на Пятьдесят первой улице, Джордж велел шоферу остановиться. Не выходя из машины, он прочитал вверх ногами на первой полосе «Дейли ньюс»: «ДВОЕ УМЕРЛИ В ЛЮБОВНОМ ГНЕЗДЫШКЕ». Джордж купил «Таймс», «Уорлд», «Американ», «Ньюс» и «Миррор». Сообщения об этом случае содержались только в «Ньюс» и в «Миррор» — они были почти идентичны.

— Читаешь эти чертовы газеты и думаешь: у них там в любовных гнездышках больше стреляют, чем целуются,— сказал шофер.— Ну за каким дьяволом ему понадобилось стрелять в бабу? На мой взгляд, если ты ее застукал, дай ей на счастье по морде — и дело с концом. Какой смысл рисковать — потом ведь не расхлебаешь. Баба есть баба. Их только в этом городе два миллиона. Может, со мной не всякий согласится, но я так считаю. Я до них охоч, и у меня их много. По этой самой причине жена и не живет со мной. Завела, наверно, другого. И что же? Из-за этого я должен в нее стрелять? Эх, бабы! Скажу вам вот что, мистер: цена им сорок пять центов.

— Очень поучительно,— сказал Джордж.

— Еще как,— согласился шофер.

Газеты содержали не больше сведений, чем мог сообщить таксист: Джордж, во всяком случае, узнал из них мало нового. В скупых, торопливо составленных отчетах говорилось, что соседи слышали четыре выстрела: три раза Пен выстрелил в Мэриан, одетую

в домашний халатик, и один — себе в висок. Это произошло в начале одиннадцатого вечера. По описанию соседей, Стрейдмайер была женщина привлекательная, одевалась строго и играла на рояле классическую музыку. Несколько раз жильцы дома жаловались управляющему, что у нее на квартире бывают вечеринки, которые длятся всю ночь, но такое случалось не часто. Говорили, что она когда-то была замужем, но развелась. Пенроуз Локвуд числился в «Книге избранных» — миллионер, совладелец фирмы, занимающейся размещением капиталов, член фешенебельных клубов, выпускник аристократической школы св. Варфоломея и Принстонского университета.

В вестибюле дома Пена горел свет. Джордж нажал кнопку звонка. Дверь открыл дворецкий, уже много лет служивший у Пена.

— Добрый вечер, сэр,— сказал он.— Позвольте заметить, сэр, что я не нахожу слов.

— Благодарю, Норман,— сказал Джордж.— Ну, а как миссис Локвуд? Держится?

— Я бы сказал, хорошо держится, сэр. У нее там сейчас подруга. Миссис Шервуд Джеймс — жена двоюродного брата миссис Локвуд. Она живет недалеко, за углом. Пришла сюда более часа назад. И вообще у миссис Локвуд постоянно кто-нибудь находится.

— А кто еще?

— Сейчас никого, сэр. Приходил мистер Хайм, но он пробыл недолго. Очень многие звонят по телефону, что естественно.

Они поднялись по нескольким ступенькам в библиотеку. Уилма встала ему навстречу, и они молча обнялись. Дороти Джеймс поспешила сказать, что посидит в соседней комнате, и вышла, оставив их вдвоем.

— Я так рада, что ты оказался поблизости,— сказала Уилма.— Мне не хотелось беспокоить Джеральдину, но ты был первым, о ком я подумала. Ты что-нибудь знал об этой связи, Джордж?

— Нет. В такие дела Пен никого не посвящал, даже меня.

— Судя по всему, это началось давно.— Уилма в нерешительности помолчала.— И я об этом знала.

— Знала?

— Не упрекай меня, Джордж. Я была уверена, что это пройдет. Наши отношения не очень хорошо сложились, но ведь и самые счастливые браки порой дают трещину, а мы были уже немолоды. Скажу тебе правду, Джордж: я тоже завела любовника. Если Пен мог на это пойти, то почему не могла я? У каждого из нас могло быть что-то на стороне, пока мы не перебесимся. Но Пен слишком увяз, да и эта женщина не собиралась упускать случай. Пен просил у меня развода.

— Просил?

— Я ему отказала. Мне вдруг стало страшно. Я немолода, но лет на двадцать пять — тридцать, я думаю, меня еще хватит, и мысль о том, что мне придется прожить их в одиночестве, испугала меня. Выйти замуж за моего любовника я не могла по многим причинам. Во-первых, он намного моложе меня. По возрасту он мне в сыновья годится. Да и по многим другим причинам брака у нас не получилось бы. Пен и я могли бы продолжать жить, как жили, но он потребовал слишком многого. Или она потребовала, что одно и то же. Теперь благодаря ей все остались ни с чем. Осталась лишь грязь, о которой ты читал в бульварных газетах.

— Уилма, ты поразительная женщина,— сказал Джордж.— А я так боялся нашей встречи.

— Ты думал, я буду биться в истерике? Да, у меня была истери-

ка — до того, как ты пришел. Или почти истерика. Для меня, во всяком случае, это была истерика.

— К счастью, недалеко от тебя живет Дороти Джеймс.

Уилма замялась.

— Дороти — мое спасение. Но я нуждалась в мужской поддержке, а единственным мужчиной, к которому мне пришло в голову обратиться, был мой финансовый советник.

— Я даже не знал, что у тебя есть такой советник. Считал само собой разумеющимся, что твоими денежными делами занимается Пен.

— Он и занимался — в большинстве случаев. Но я, как и все, играла на бирже.

— А, тогда понятно.

Их взгляды встретились.

— Ты хочешь вогнать меня в краску, Джордж.

— Ну что ты, Уилма.

— Он мне не финансовый советник. Это мой любовник. Живет на углу Семьдесят седьмой и Парк-авеню. Он сразу приехал. Посоветовал мне позвонить тебе. И успокоил меня. А тебя избавил от лишних хлопот.

— Вижу. В твоем поведении нет и следа истерии.

— Пена отвезли в морг. Надеюсь, я не должна туда ехать для опознания.

— Думаю, что мы сумеем договориться с фирмой «Стрэтфорд Керси и Стрэтфорд». Они пошлют кого-нибудь.

— Он выстрелил себе в висок,— сказала Уилма.— А ей попал в сердце. Зачем он стрелял себе в голову?

— А что? О своей внешности он вообще никогда не думал, и я сомневаюсь, чтобы он слишком беспокоился по поводу того, как будет выглядеть после смерти,— сказал Джордж.— Ну, давай теперь обсудим кое-что, Уилма. Две бульварные газеты — «Дейли ньюс» и «Дейли миррор» — я видел. Третья — «Дейли грэфик» — появится только сегодня. Примерно в это же время выйдет херстовская «Нью-Йорк джорнэл». Газета «Пост энд сан» не станет делать сенсации, зато остальные — это-то я прекрасно знаю — развернутся вовсю.

— Дороти говорила то же самое.

— Вот мой совет: пусть Дороти увезет тебя отсюда. Тебе совсем ни к чему попадаться на глаза фотографам и репортерам.

— Дороти мне уже предлагала. У них в Манчестере, в штате Вермонт, есть дом. Я отказалась.

— Я договорюсь, чтобы тело Пена перевезли в Шведскую Гавань. Панихида, на которой будут присутствовать только близкие родственники, состоится прямо на кладбище, где похоронены все Локвуды, начиная с нашего деда.

— Я знаю это кладбище. Была там, когда хоронили Агнессу. Когда придет мой час, надеюсь, что и меня похоронят там. Мы с Пеном прожили вместе полжизни и, когда это случилось, все еще состояли с ним в браке. Я бы сама себя порицала, если бы не присутствовала на его похоронах. Он был хороший человек и почти двадцать пять лет хорошо ко мне относился. Настолько был хороший, что не умел противостоять злу. Я была бы мерзкой лицемеркой, если бы сейчас публично отказалась от него. Нет, Джордж. Спасибо тебе за добрые намерения, но Пен заслуживает уважения. И любви. Я любила его. Не всегда. Без страсти. Без романтики. Но это была любовь, которую испытываешь к таким, как он. Простодушному. Очень доброму. Мягкому. Да, именно мягкому. И, конечно, немного сумасшедшему, как все в вашей семье.

— Поэтому у вас и не было детей?

— О нет, детей я завела бы, несмотря на безумие и в моей, и в вашей семье. Я никогда не предохранялась. Мы хотели иметь детей, но у нас не получалось. Нет, я поеду на похороны Пена, так же как он поехал бы на мои. Если только...

— Что «если»?

— Если только это не поставит тебя в неловкое положение.

— Почему это может поставить меня в неловкое положение?

— Ну, лишний повод для разговоров... Кто тебя знает, Джордж. Ты так тщательно все продумываешь. По-моему, ты ничего не делаешь под влиянием импульса.

— Если когда что и делаю, то это не очень хорошо кончается,— ответил Джордж Локвуд.

— У бедного Пена все было не так.

— Мне кажется, мы слишком долго оставляем Дороти одну.

— Она будет у меня ночевать,— сказала Уилма.— Если хочешь, ночуй и ты, места здесь много.

— Благодарю, но в гостинице мне будет удобнее. Завтра, то есть сегодня, мне придется много разговаривать по телефону, а там есть коммутатор. И люди меня знают. Закажу себе еще один номер, и тогда у меня будет два телефона. Второй номер запишу на имя... Шервуда Джеймса. Тебе придется это запомнить, если захочешь мне позвонить.

— Шервуд Джеймс, Шервуд Джеймс,— повторила Уилма.— Кого они позовут, чтобы опознать эту женщину?

— Не знаю. Очевидно, кого-нибудь из родных. А почему ты об этом спрашиваешь?

— Да так, я подумала о том, как она там лежит. Когда женщина попадает в такую историю, это хуже, чем мужчина.

— Почему?

— Сама не знаю, но это так. Наверно, я так думаю потому, что я — тоже женщина. Другого объяснения нет. Или их держат, по-твоему, вместе?

— Нет, по-моему, каждый лежит в отдельном ящике, которые открываются, как ящики комода. Но не думай об этом, Уилма, и не пей больше кофе. Я скажу Дороти, чтобы она уложила тебя в постель.

— Как жаль, что ты — это ты, а не посторонний мужчина. Я не должна тебе этого говорить, правда? Но тут природа виновата. Жизнь есть жизнь и... тебе не надо ничего объяснять. Обними меня, Джордж.

— Это было бы большой ошибкой, Уилма. Дороти в соседней комнате.

— Тогда уходи, прошу тебя. Когда ты уйдешь, я успокоюсь.

— Доброй ночи,— сказал он.

■

Большие счета, которые он без звука оплачивал в гостинице «Карстейрс», щедрые чаевые — все это сейчас окупилось. Когда он вернулся от Уилмы в гостиницу, ночной администратор просто сказал:

— Мистер Локвуд, весь наш персонал желает выразить вам сочувствие.

Лифтер-ирландец, страдавший артритом, сказал:

— Мы сожалеем о вашей беде, сэр.

Он поднялся к себе в номер и не успел еще повесить пальто, как зазвонил телефон. Это был Деборио, управляющий отелем: видимо,

он приказал телефонистке немедленно сообщить ему, как только появится Локвуд.

— Если пресса узнает, что вы здесь, то нам не удастся помешать ей проникнуть в вестибюль,— сказал Деборио.— Но вы сможете уйти, воспользовавшись нашим служебным лифтом и служебным ходом. Это — через две двери от главного входа, так что корреспонденты не обратят на вас внимания. Или, если хотите, я позвоню своему приятелю в другую гостиницу, где вам обеспечат полное уединение. У нас есть связи и в политических кругах, мистер Локвуд. В Таммани-холле[1], если понадобится. Я лично знаком с мэром и знаю номер его телефона.

Джордж Локвуд никак не ожидал, что именно здесь он получит хотя бы обещание поддержки и утешения, в которых так нуждался. Не столь важна была ему помощь Деборио, сколько сознание, что в этот ранний час, когда почти весь город еще спит, он тоже может лечь и отдохнуть и расслабиться, не опасаясь непрошеных посетителей. Уилма и другие могут обратиться к нему, а к кому обратится он? И вот теперь он понял, что этот вопрос он подсознательно задавал себе с тех пор, как ему позвонила Джеральдина,— и ответ на него дал швейцарский итальянец, пожелавший выразить признательность за коробки сигар, которые он ежегодно получал от своего клиента.

Джордж Локвуд разделся и лег в постель, уверенный в том, что едва он погасит свет, как усталость, точно наркотик, сыграет свою роль. Но заснуло лишь его тело — мысль продолжала работать. Хотя он уже не молод, он еще ни разу по-настоящему не смотрел смерти в глаза. Всю войну он прослужил за одним и тем же письменным столом в штабе коменданта погрузки войск на суда. Он никогда не видел, как убивают, и никогда не стоял у одра умирающего естественной смертью. Самоубийство Энсона Чэтсуорта выглядело нелепой и страшной шуткой, одной из студенческих проказ. Мальчика, напоровшегося на пики, которыми была утыкана ограда, Джордж даже не знал в лицо. Агнесса Локвуд, умирая, не позвала его проститься, а он не захотел входить к ней без зова. И тем не менее смерть постоянно сопутствовала ему. Он никогда не осуждал дедушку за убийство тех двух человек, что угрожали его жизни. Будь он на его месте в той же ситуации, он поступил бы так же. При жизни Агнессы он желал ей смерти, и она это знала; тем самым он фактически обрек ее на смерть. Он никогда не умел притворяться, делать вид, что жалеет слабых, и тем более не намерен был притворяться теперь, когда его брат из-за слабоволия без надобности убил женщину, потому что она была его слабостью и его силой. Ведь это же так. Поступок Пена был крайним, конечным, неизбежным проявлением слабохарактерности человека, всю жизнь прикрывавшего свою слабость добротой, которую он предлагал миру, лишь бы мир не судил его слишком строго или же не судил вообще. Ничто в жизни Пена (как и вся его жизнь) не может вызвать искренней печали. Найдутся, конечно, люди, которым взгрустнется, но это будут те, кто, как и Пен, вступал в сделку с миром. А кто из людей, хорошо знавших Пена, будет скорбеть об его смерти? Мутноглазый дворецкий, воровавший у него вино? Уилма, его жена? Но разве она не выдала себя, заметив, что положение женщины в такой ситуации хуже, чем мужчины? Другую женщину она пожалела, а Пена — нет.

Спустя четыре часа Джордж Локвуд проснулся с ощущением свежести в голове. Завтракать было еще рано, но он заказал себе кофе. Ему принесли свежесваренный кофе, и старший посыльный отпер дверь смежной комнаты.

[1] Штаб демократической партии в Нью-Йорке.

— Вот вам вторая комната, сэр,— сказал он и ушел.

Джордж занялся составлением графика телефонных разговоров. Вот этим он *любил* заниматься. Он был дотошен: подсчитал время, необходимое для каждого разговора, и предусмотрел резерв времени на непредвиденные звонки. К его изумлению, первым человеком, позвонившим ему из города (это было в одну минуту девятого), оказалась Уилма.

— Я только что получила чудесную длинную телеграмму от Бинга, твоего сына. Прочитать? — спросила она.

— Если очень длинная, то не надо,— ответил он.— Я лучше потом прочту.

— Она заняла целую страницу. Но ты должен, я думаю, знать, что он едет сюда.

— Когда?

— По-моему, он уже в пути. У нас ведь разница во времени. Какая?

— В Калифорнии на три часа меньше, чем у нас. Когда здесь восемь, там — пять. Он едет в Нью-Йорк или еще куда-то? Мог бы сесть в Чикаго на поезд и доехать до Филадельфии, а оттуда — тоже поездом или в машине — добраться до Шведской Гавани.

— Он ничего об этом не пишет. Просто: «Сажусь первый поезд Восток».

— Наверно, пришлет еще телеграмму. Имей в виду, Уилма, что я пробуду здесь все утро, и не забудь про Шервуда Джеймса. В том номере у меня еще один телефон.

— Об этом я уже забыла, но теперь буду помнить,— сказала она.

Весь день, следуя графику и время от времени внося в него поправки, он разговаривал с адвокатами, похоронным бюро, чиновниками административных служб, друзьями Деборио и с Дэйзи Торп из своей конторы. Все служащие вышли на работу, но он отослал их домой, оставив только Дэйзи. Всякий раз, когда он чувствовал, что у него образуется короткая пауза, он придумывал себе какое-нибудь занятие: ему не хотелось оставаться без дела, ибо безделье возвратило бы его к мыслям о сыне. За всю истекшую ночь, начиная со звонка Джеральдины, он ни разу не подумал о Бинге и ни разу ему не пришло в голову известить его, установить с ним прямую или косвенную связь. Как будто Бинга вообще не существовало. Время от времени в памяти всплывали имена школьных товарищей Пена, его знакомых в деловом мире — мужчин и женщин, занимавших в жизни брата большее или меньшее место, но он как-то не подумал о том, что у него есть собственный сын, дядя которого убил женщину и покончил с собой и который имеет право знать подробности. Вероятно, его сын прочитал об этом скандальном происшествии в калифорнийских газетах. Мальчик любил дядю. Они редко виделись, но относились друг к другу добродушно-насмешливо и с непринужденной нежностью. Смерть Пена и то, как он ушел из жизни, должны были потрясти Бинга, и Джордж вдруг увидел в сыне человека, который будет искренне и глубоко опечален — так искренне и так глубоко, как никто другой.

Джордж Локвуд не видел своей вины в том, что не подумал о сыне,— в этом не было злого умысла, желания игнорировать или отомстить. Он просто забыл, хотя менее двух суток назад мысль о сыне неотступно преследовала его. А в результате положение затруднительное, поскольку его ничем не объяснишь. Но кому надо объяснять? Сыну? Объяснить, что отец о нем забыл? Джордж чувствовал себя не в своей тарелке, потому что его смущала скрытая, подспудная причина его забывчивости. Его начинала пугать мысль о возвращении

в Шведскую Гавань и встрече с сыном. Перед ним-то уж нельзя будет продолжать игру и удерживать на лице маску внешнего спокойствия. Он словно уже чувствовал на себе взгляд Бинга. Правда, с тех пор как того выгнали из Принстона, они ни разу не встречались, но Джордж ясно представлял себе, как выглядит его сын. Об его физическом облике свидетельствовали привезенные Хиббардом фотографии: из мальчика он превратился в рослого, крепкого мужчину, добившегося успеха тяжелым трудом и выковавшего властный характер. Слабый человек на нефти не разбогатеет, конкуренцию выдерживает прежде всего тот, кто начал простым рабочим, закаленным безжалостным трудом, безжалостной борьбой, безжалостными попойками, и в ком заложена жилка авантюриста.

Теперь Джордж Локвуд начинал понимать, откуда у него эта забывчивость. В сущности, это была совсем не забывчивость, это была ненависть. Она началась с приезда Престона Хиббарда, с его рассказа о Бинге, о жене Бинга, о детях Бинга, о «роллс-ройсе» Бинга и о положении Бинга на Дальнем Западе. Его мальчик материально независим, и достиг он этой независимости без помощи отца. Он сделал карьеру в таких условиях существования, которые его отцу были бы не под силу. Джордж Локвуд не забыл своего сына, но старался вычеркнуть его из памяти, а тот заставлял его лгать самому себе. Джордж Локвуд теперь понял: даже если бы его свидание с Мэриан Стрейдмайер и не повлекло за собой кровавых последствий, встреча с сыном все равно была бы неизбежной, потому что он сам не желал ее избегать. Фотографии Хиббарда сделали ее необходимой. Джордж Локвуд не мог не предпринять еще одной попытки возвыситься над сыном, даже если эта попытка и закончится сокрушительным провалом.

Ему необходимо было сохранить за собой хотя бы свою позицию. В глазах сына он всегда был сволочью. Пусть Бинг и останется при своем мнении. Он должен знать, что его успех в жизни был одновременно и победой над отцом.

Тут Джордж Локвуд вспомнил об Эрнестине и удивился, что она не дает о себе знать.

■

Шисслеру это дело не сулило больших денег. Тело бальзамировали в Нью-Йорке, гроб купили в Нью-Йорке. Останки везли поездом. Их надо было выгрузить из багажного вагона, перенести в катафалк Шисслера и доставить на кладбище. Раз Джордж Локвуд сказал «на похоронах будут только свои», значит так тому и быть. Весь кортеж состоял из катафалка и двух автомобилей. Оба автомобиля принадлежали Локвуду, так что даже за машины ничего не возьмешь. Никаких специальных церемоний. Никаких цветов. Бывшие соратники Пенроуза хотели поставить у гроба почетный караул, но Джордж Локвуд отклонил их предложение. Словом, обойдется все меньше чем в тысячу долларов, скорее всего даже в пятьсот, да и то с трудом.

Около половины одиннадцатого к вокзалу Рединга подкатили «пирс-эрроу» и «линкольн» Локвуда. Пассажиры не вышли из машин. Джордж Локвуд, его жена и еще одна дама сидели в «линкольне», остальные — в «пирс-эрроу». В «линкольне» за рулем сидел Эндрю; шофера «пирс-эрроу» Шисслер не узнал. Похож на Дигена, того парня из сыскного агентства, что работал одно время у Локвуда. Да, он. Значит, Диген, из Гиббсвилла. Даже шофер, и тот не из Шведской Гавани. Шисслер подошел к «линкольну», снял с головы цилиндр и открыл заднюю дверцу.

— Доброе утро, Джордж. Миссис Локвуд. Поезд номер восемь прибывает вовремя. Немного запаздывал, но по пути нагонит. До прибытия остается пять-шесть минут.

— Благодарю вас,— сказал Джордж Локвуд.

— Можно сказать об этом тем, кто сидит в «пирсе»? — спросил Шисслер.

— Скажите и им.

В «пирс-эрроу» сидели двое мужчин и две женщины. Две пары. Он открыл заднюю дверцу и увидел их. Все — незнакомые люди.

— Полагаю, вам интересно знать, когда прибывает поезд. По расписанию. Я — директор похоронного бюро Шисслер.

Мужчины невнятно пробормотали «спасибо». Шисслер, постояв немного в нерешительности, медленно закрыл дверцу. Высокомерная публика. Не к месту. Особенно если учесть случившееся с Пеном Локвудом и то, как он опозорил себя и город. Шведскую Гавань упоминали во всех нью-йоркских и филадельфийских газетах.

Шисслер отправился в северный конец платформы — туда, где всегда останавливался багажный вагон поезда номер восемь. К нему присоединился заведующий багажным отделением Айк Венер. На нем были форменная фуражка и полосатые рабочие штаны.

— Опаздывает? — спросил Шисслер.

— На две минуты. После Порт-Клинтона должен нагнать,— ответил Айк Венер.— А вот и он. Слышите свисток? К переезду Шмельцера подъезжает.— Айк Венер вынул из кармана часы.— Нагнал.

Как только поезд остановился, дверь багажного вагона открылась. Кондуктор с двумя помощниками подкатил гроб на валиках к краю вагона и погрузил на ручную станционную тележку. Шисслер и Венер помогали.

— Осторожно, осторожно,— повторял кондуктор.

Один из помощников — более молодой и шустрый — заметил:

— А женщину-то они, видно, в Нью-Йорке оставили, да, Венер?

— Заткнись ты,— сказал Венер.

Тот засмеялся.

Венер расписался за гроб, вернул квитанцию кондуктору и повез тележку с гробом по направлению к катафалку. Затем Шисслер, его помощник и Венер поставили гроб на катафалк.

— Спасибо, Айк,— сказал Шисслер.— До свидания.

— До свидания,— ответил Венер.

Шисслер низко поклонился шоферу Джорджа Локвуда, давая знак отправляться в путь, и кортеж тронулся.

У могилы их поджидал молодой человек по имени Фауст — помощник пастора лютеранской церкви. Панихида длилась меньше десяти минут, и ни один из семерых участников похорон не выказал ни малейшего волнения. Особенно внимательно Шисслер наблюдал за вдовой, но и она оставалась спокойной. Правда, если учесть обстоятельства смерти Пенроуза Локвуда, нельзя было ожидать от нее проявления особой скорби, но она не выказывала никаких эмоций вообще. Словно хоронили кошку.

Молодой Фауст кивнул Джорджу Локвуду, показывая, что служба окончена. Джордж и вдова поблагодарили его, и все направились к машинам. В эту минуту откуда-то вынырнули два незнакомца с фотоаппаратами в руках и, сверкнув блицлампами, сняли группу. Как они здесь оказались, Шисслер не знал. Раньше он их не видел. Сделав снимки, они тотчас ушли. Интересно, попал ли он в кадр. Он проводил Локвуда до автомобиля и спросил:

— Все в порядке, Джордж?

— Все, кроме фотографов. Но вас я за них не виню. Я думал, вы поставите тут полицейского.

— Так здесь же не город, Джордж. Мы выехали за городскую черту.

— Что делать,— сказал Джордж.

■

— Прямо домой, сэр? — спросил Эндрю.

— Прямо домой,— ответил Джордж.— Диген знает, как отсюда ехать?

— Да, сэр. Он все дороги знает лучше меня.

— Тогда поехали.— Джордж сел в «линкольн» между Уилмой и Джеральдиной.— Очень жаль, что фотографы все-таки прорвались.

— Не очень-то многого они добились,— сказала Уилма.— Сняли женщину под вуалью. По-твоему, они только ради этого ехали сюда из самого Нью-Йорка?

— Не знаю, но пусть лучше не появляются у нашего дома. Диген, шофер второй машины,— частный детектив. Фактически он мой сторож, но работает в сыскном агентстве. Достаточно одного моего слова, и он вдребезги разобьет их фотоаппараты. А заодно, может, и нос кое-кому расквасит.

— Господи, неужели нам грозит такая неприятность? — испугалась Джеральдина.— Не надо этого допускать.

— Что касается неприятностей, то у тебя их было в истекшую неделю, мне кажется, меньше всех,— сказал Джордж.

— Я имела в виду не только нас, но и Уилму.

— Ну, разумеется.

— Как здесь красиво,— сказала Уилма.— А эти огромные красные бараки — их строят прямо на земле, без фундамента?

— На это есть причина, даже несколько причин,— пояснил Джордж.— Внизу помещается скот: коровы, лошади. Наверху складывают зерно, сено, солому. Кукурузные початки, разумеется, хранят отдельно, но зерно, сено и солому — в том же бараке, только наверху, где сухо.

— Джордж может прочесть лекцию на любую тему, стоит только попросить,— сказала Джеральдина.— А я, например, понятия о таких вещах не имею.

— Потому что ты никогда ни о чем толковом не спрашиваешь,— сказал Джордж.— Я знаю много такого, о чем ты и не подозреваешь.

— О, в этом я уверена,— сказала Джеральдина.— Иногда я боюсь даже спрашивать.

— Это потому, что интересуешься не тем, чем нужно. Верно? Вот Уилму заинтересовали скотные дворы пенсильванских немцев, и я ей рассказываю, поскольку родился здесь, вырос и кое-что про них знаю.

— Но ты же сам сломал один такой двор, чтобы построить себе дом.

— Я не собирался заниматься сельским хозяйством, а строил загородный дом для нас с тобой, милая. Только для нас.

— Чепуха. Ты строил поместье для будущих поколений Локвудов.

— А что, если так? Сильно просчитался?

— Кстати, о Локвудах,— вмешалась Уилма.— Что случилось с Бингом? Он же собирался быть сегодня здесь.

— Может, опоздал на пересадку в Чикаго. Или вообще раздумал ехать, а тебе ничего не сказал. А что это за машина идет по на-

шей дороге? Если снова чертовы фотографы, то я от них живо избавлюсь.— Джордж нагнулся к слуховому отверстию в перегородке.— Эндрю, ты не знаешь, что это за машина? Она свернула в нашу сторону.

— Нет, сэр. Это «кадиллак» выпуска прошлого года, но я его не узнаю. Лимузин с четырьмя дверцами. В Гиббсвилле есть два таких автомобиля, но они другого цвета.

— К нашему дому едет,— сказал Джордж.— А ты, Уилма, не узнаешь этой машины?

— Нет.

— Вот кто-то вылезает. Один. И кто, вы думаете, этот человек? Мой сын!

— Ужасно хочется познакомиться с ним! — воскликнула Джеральдина.

— Только штанишки не намочи. Сейчас познакомишься,— сказал Джордж.

— Значит, это он? — спросила Уилма.— Как я рада, что он все-таки приехал.

Бинг Локвуд стоял у парадной двери и ждал, когда ему откроют. В это время подъехал «линкольн». На Бинге был синий саржевый костюм, белая сорочка с пуговками на воротничке и черный вязаный галстук. Лицо его так сильно загорело, что казалось почти черным рядом с белыми лицами людей, вылезших из «линкольна».

— Здравствуй, отец,— сказал он.— Я попал не в тот дом.

— Здравствуй, сын. Не в тот дом? А в какой же?

— В старый. Домой. Здравствуйте, тетя Уилма.— Он обнял ее и поцеловал в щеку.

— Знакомься — твоя мачеха,— сказал Джордж.

— Здравствуйте, пасынок,— сказала Джеральдина.— Наконец-то встретились. Я так рада.

— Конечно, ты этого дома еще не видел,— сказал Джордж.— Ну, будем ждать остальных? А, вот и они. Давайте здесь же и закончим взаимное представление. Мистер и миссис Шервуд Джеймс, родственники Уилмы.

— Мы уже давно знакомы,— сказал Бинг, пожимая руки Дороти и Шервуду Джеймсам.

— А это — мистер и миссис Десмонд Фарли, тоже родственники Уилмы.

Бинг Локвуд поздоровался и с ними.

— Джеральдина, проводи их в дом, пожалуйста. Мне надо сказать два слова Дигену. Эндрю, будь любезен, возьми чемодан моего сына. Откуда ты приехал, сын?

— Из Филадельфии. Прибыл я туда сегодня утром. Один приятель одолжил мне свой автомобиль, но я застрял на Стантон-авеню. Приехав же сюда...

— Стантон-авеню? — удивился Джордж.— Что ты делал на Стантон-авеню? Мы уже много лет туда не заглядываем.

— Ну, и я больше не загляну,— сказал Бинг. Он обнял Уилму за плечи, и та робко подняла на него печальные глаза. Джордж это заметил, и ее лицемерие сначала покоробило его. Но потом он понял, что это совсем не лицемерие: просто на нее подействовала искренняя печаль его сына.

Джордж сказал Дигену насчет газетных фотографов.

— Эндрю позаботится о том, чтобы они не прошли через главные ворота, а вы последите за задней дверью.

— В том, что они не полезут через стену, я вполне уверен,— сказал Диген.

Джордж подумал, что Диген мог бы и не напоминать ему о пиках на стене, но сказал только:

— Так я полагаюсь на вас,— и пошел в дом.

Все вернувшиеся с кладбища разошлись по туалетным комнатам. Распорядиться о завтраке должна была Джеральдина — точное его время не было назначено, потому что никто не знал, сколько продлятся похороны. На какое-то время Джордж остался в кабинете один. Супруги Фарли и Шервуд Джеймс отправлялись ближайшим дневным поездом в Нью-Йорк, а Дороти Джеймс и Уилма оставались на ночь. Уилме необходимо было подписать кое-какие бумаги, поэтому утром ей предстояла встреча с Артуром Макгенри. Джорджу были неизвестны только планы сына.

Пришла Джеральдина.

— Как ты думаешь, нести коктейли сюда или в парадный зал? — спросила она.

— Здесь будет тесновато,— ответил он.— Ты что-нибудь выяснила о планах Джорджа?

— Да. Он хочет остаться здесь до завтра. Повезет Уилму и Дороти в своей машине до Филадельфии. Оттуда они поедут поездом.

— Значит, он у нас переночует.

— Да. Видимо, он считает само собою разумеющимся, что и мы этого хотим. Он очень симпатичный. Между прочим, просил, чтобы я звала его Бингом. Говорит, что в Калифорнии Джорджем его никто не зовет.

— Разумеется, никто.

Завтрак прошел сообразно правилам этикета, действующим в подобных случаях: никто не упоминал имени покойника; Джордж Локвуд кратко рассказал историю своего поместья; Десмонд Фарли и Бинг Локвуд побеседовали о добыче нефти; и наконец хозяйка напомнила извиняющимся тоном, что если супруги Фарли и Шервуд еще не уложили свои вещи, то должны сделать это, так как до вокзала ехать пятнадцать-двадцать минут.

Вскоре супруги Фарли и Шервуд Джеймс уехали. Джеральдина, Уилма и Дороти Джеймс ушли наверх, в комнату Джеральдины, и Джордж Локвуд — впервые за шесть лет — остался вдвоем с сыном.

— Сигару, сын?

— Пожалуй. Спасибо. К сигарам я уже привык. У нас часто нельзя курить на работе. Достаточно одной спички — и все летит к черту. Так что я всегда ношу с собой сигары как жвачку. Не зажигаю, а только жую. Усвоил такую привычку.

— Говорят, ты здорово преуспел. У меня был Престон Хиббард и все рассказал. Привез даже несколько фотографий твоей жены и детей.

— Да, мы приятно провели с ним время. Отличный парень. В школе я был о нем не очень высокого мнения, но Гарвард, должно быть, сделал из него человека. По-моему, именно Гарвард. Во всяком случае, он поставил перед собой цель и стремится к ней. Этого как раз и не хватает ребятам нашего возраста. Они ни черта не знают — к чему стремиться, чем заняться. Если они не нуждаются в деньгах, то сидят сложа руки. Потом спохватываются, да уже поздно.

— Насколько я понимаю, сам ты не нуждаешься в деньгах,— сказал Джордж.

— Теперь — нет. Когда я заработал первую крупную сумму, я тут же ее положил на имя жены и детей. Этим капиталом никто не может воспользоваться — ни я, ни до поры до времени они. Ну, а подстраховавшись, я мог уже рисковать. И рисковал, и риск оправдывал себя.

— Пятьдесят тысяч — школе святого Варфоломея и пятьдесят — Принстону,— сказал Джордж.— Любопытно, что ты даешь деньги Принстону.

— Да. Я подумал: черт побери, ведь научили же меня там чему-то! Тому, зачем туда поступают. Но когда меня вышибли, я узнал и еще кое-что. Не насчет жульничества. Для того, чтобы узнать, что жульничать нехорошо, не обязательно поступать в Принстон. В этом отношении и мать, и ты всегда были строги ко мне. Но кое-кто в Принстоне научил меня, как справиться с бедой.

— Как?

— Надо закалить себя. Стать твердым. Ни у кого не возникало сомнения насчет того, что меня надо исключать. Но они могли сделать вид, будто я совершил мелкий проступок, а это было бы неправдой. То, что я совершил, было в их глазах не мелким проступком, а серьезным преступлением, заслуживающим строгого наказания. В то же время они заверили меня, что все хорошее, что я сделал, будет принято во внимание. Если кому-то придет в голову поинтересоваться, почему я ушел из Принстона, то, учитывая все это, они будут решать, насколько подробно обо мне рассказывать. К счастью, тот единственный человек, у которого мне пришлось работать, знал точно, за что меня выгнали; он многим помог выйти в люди.

— Ты считаешь, что я был слишком суров? — спросил Джордж.

— Тогда считал, теперь — уже нет.

— Что заставило тебя думать иначе?

— Что? По-моему, расстояние. И то, что я нашел подходящую девушку и женился на ней. Создал собственный дом. И добился финансового успеха.

— И все это — в дополнение к независимости,— сказал Джордж.

— Да. Когда я узнал о смерти мамы, я понял, что оказался совсем один. Конечно, была еще Эрнестина. Но сестра — это всего лишь сестра, что еще она может значить для мужчины?

— А отец?

— Видишь ли, я теперь сам отец двух детей и задаю себе тот же вопрос. Возможно, я не менее суров, чем ты, но моя суровость — иного рода. Вспоминая наши тогдашние отношения, я вижу, что у тебя были планы насчет меня, но они вовсе не обязательно были моими планами.

— Тогда у тебя не было своих планов. Собственно, ты уже был на пути к тому, кем я хотел тебя сделать.

— Верно. Я это знаю. Но, может быть, поэтому я и сжульничал. В сущности, мне не хотелось быть точной копией тебя или дедушки Локвуда. Шесть лет я проучился в школе святого Варфоломея и почти четыре — в Принстоне и начал понимать, что все это — ерунда. Кто мы, собственно, такие? Твой дед был убийцей, а кем был отец деда, никто не знает. Отец мамы ничего особенного собой не представлял, а что касается нашей рихтервиллской ветви, то не исключено, что где-нибудь в горах живут еще наши двоюродные братья и совокупляются с родными сестрами. Нет. Я никогда не считал, что мы так уж элегантны, черт меня дери.

— Слово «элегантный» употребляет только прислуга. Так же, как слово «шикарный»,— сказал Джордж Локвуд.— Я заметил, что ты и во время завтрака употребил это слово. Тебе, по-моему, ни разу не пришло в голову, что есть что-то стоящее в том, к чему стремился мой отец, к чему стремлюсь я и к чему, как я надеялся, будешь стремиться ты и твои дети.

— К чему?

— К тому, чтобы превратить род, начавшийся с убийцы, в нечто

значимое. А ты сноб. Ты, очевидно, сравнивал нас со старинными семействами Англии, получающими титулы и все прочее по наследству и уходящими своими корнями в трех-, четырехвековую историю. Но ты не знаешь, сколько в этих семьях убийц, насильников и воров. Или с американскими аристократами, которые привозили из Африки чернокожих и продавали их в рабство. Не одно такое семейство нажило в прошлом веке огромное состояние, а потом жертвовало крупные суммы Принстонскому и Гарвардскому университетам. Но это были грязные деньги.

— Верно, но как раз этими людьми ты, должно быть, и восхищаешься.

— Нет, не этими. Я хотел, чтобы мы были лучше них.

— Ну, ладно. Я буду лучше. Но это начнется с меня, а не с тебя, не с твоего отца и не с твоего деда.

— Что ты в этом понимаешь, невежда? Ты, может быть, думаешь, что тебя в капусте нашли? В жилах у тебя, как и у всех, течет отцовская кровь. В этом нет ни малейшего сомнения. Ты даже лицом похож на своего прадеда, который, кстати, был убийцей.

— Что ж, в его жилах действительно текла кровь. Это я скажу за него. И уж лучше быть похожим на прадеда, чем на тех, кто появился на свет потом.

— Ты имеешь в виду меня?

— Ну, раз уж мы так откровенны друг с другом, то... да, тебя,— ответил Бинг.

— Немного отклонюсь от темы. Что заставило тебя сюда приехать? Ты так сильно любил своего дядю Пена?

— Да, любил. Но ты прав. Были и другие причины. Мне хотелось взглянуть — единственный и последний раз — на могилу матери. Кроме того, меня интересовал этот дом.

— Ты сказал, что ездил в наш старый дом.

— Да. На похороны я все равно не успевал, так что заехал взглянуть на старый дом. Я думал, его превратили в больницу. А там обувная фабрика!

— Я продал его обувной фирме, а на больницу дал денег. Строительство больницы еще не начато, и если ты так уж щедр, они, я уверен, рады будут принять твое пожертвование.

— Извини, но этого не произойдет: я уже порвал все связи с Шведской Гаванью,— ответил Бинг.

— Тогда что же привело тебя к нам? Захотелось посмотреть на этот дом. Зачем?

— Ну, разумеется, я знал о нем со слов Эрнестины, но мне хотелось посмотреть своими глазами.

— Если ты скажешь, что он тебе понравился, то я сочту свой замысел неудавшимся.

— Он вполне в твоем вкусе. Твоя жена, кажется, неплохая женщина. Видимо, она принимала участие в строительстве.

— Критикуй, критикуй. Она не имела к строительству никакого отношения. Занималась лишь меблировкой. Все остальное — мое.

— Я был почти уверен в этом,— сказал Бинг.— Не хватает только рва с водой и porte coleïce[1].

— А ты знаешь, что значит porte coleïce?

— Мост, который перекидывают через ров. Да?

— Нет. Вернешься домой — посмотри в словаре. Может, когда-нибудь сам захочешь соорудить. Но ров с водой — неплохая идея. Насколько я понимаю, тебя беспокоят гремучие змеи, и ты каждый

---

[1] Подъемная решетка в крепостных воротах *(франц.)*.

день ходишь их убивать. Надеюсь, твою жену это не пугает, особенно в свете того, что случилось с твоим дядей.

— Что за чертовщина,— поморщился Бинг.

— Я лишь хочу напомнить тебе, сын, что переезд в Калифорнию не переменил твоего характера. У тебя прекрасный, здоровый загар, но внутри ты все такой же.

— Об этом мы говорили с женой. Она не боится.

— Дядю Пена тоже никто не боялся.

— Что ты хочешь этим сказать, черт побери?

— То, что уже сказал. Ты все тот же. Жизнь, которую я для тебя избрал, ты называешь ерундой. А какой автомобиль ты себе купил? «Роллс-ройс». Мог бы обойтись фордом или «доджем», но купил «роллс-ройс». И оправдание придумал. У меня вот «линкольн», «пирс» и «паккард». И форд-полутонка есть. Мог бы и «роллс-ройс» купить, чтобы подчеркнуть свою исключительность, но он мне не нужен. А уж если купил бы, то не стал бы придумывать оправданий. Что бы я ни сделал, я никогда ни перед кем не оправдываюсь.

— Это верно. Даже когда и следовало бы оправдаться,— сказал Бинг.— Ну что ж, отец. Жизнь, которую ты избрал, не так плоха, как я думал, но и не очень хороша. Извини, я хочу съездить на кладбище.

— Могила твоей матери — через две могилы от того места, где похоронен дядя Пен,— сказал Джордж.— Из нашего разговора следует, что ты не желаешь, чтобы я продолжал сохранять за тобой место на кладбище.

— Нет, благодарю. Я даже удивлен, что ты мне выделил какое-то место.

— Не то чтобы выделил. Я только не отдавал его никому.

— В котором часу обед? Я могу немного задержаться.

— Обычно — в семь. Проверь у своей мачехи. Вот этот телефон соединит тебя с ее гостиной. Нажми кнопку с надписью Г-2. Гостиная второго этажа.

— Я вернусь раньше,— сказал Бинг.— Не так уж много мне там смотреть.

Дамы тоже отправились на прогулку. Они сделали большой круг по часовой стрелке, показали Дороти Джеймс поля и фермы, леса, угольные копи, окружной центр Гиббсвилл и вернулись к дому Локвудов. Прогулка заняла у них около двух часов, но, когда они приехали, Бинга еще не было.

— Ну, что вы скажете? — спросил Джордж.

— Красиво и страшно,— ответила Дороти Джеймс.— А потому — очаровательно. Подумать только, как тщательно ухаживают фермеры за землей, какого труда им, должно быть, стоит содержать все в порядке. И совсем рядом, в нескольких милях отсюда — первобытный лес, где за каждым деревом чудится индеец. А потом — эти ужасные угольные шахты. Горы антрацитовой пыли. Бедные лачуги и овраги. Конечно, мне не следует так говорить — ведь дядя моего мужа служит директором в одной из угольных компаний. А потом мы проехались по Гиббсвиллу — по той улице, где растут такие чудесные каштаны.

— Лантененго-стрит,— сказал Джордж Локвуд.

— Мы проезжали мимо большого дома, откуда выходили какие-то дамы. Очевидно, после бриджа. По обеим сторонам улицы выстроились лимузины. Точь-в-точь как у нас дамы выходят из «Плазы» после музыкального утренника мистера Багби. Глядя на них, я невольно подумала: интересно, сколько времени прошло с тех пор, как кто-нибудь из них был в шахтерском поселке?

— Во всяком случае, немало,— сказал Джордж.— Там недавно бастовали, так что лимузины стараются объезжать шахтерские поселки.

— По-моему, кое-кто из них узнал наш автомобиль,— сказала Джеральдина.

— Ну и что? — сказал Джордж.— Когда мы обедаем?

— Уилма хотела прилечь на полчасика, поэтому я решила подождать до половины восьмого.

— Надеюсь, Бинг еще не уехал? — спросила Уилма.

— Нет. Он тоже поехал прогуляться.

— Такой интересный мальчик,— сказала Дороти Джеймс.— Уже мужчина. Приятно смотреть на такого после стольких лет разлуки... О, Уилма! Я мешаю тебе дремать. Иди наверх, а я посижу здесь и покурю с Джорджем.

Уилма и Джеральдина ушли.

— Я нарочно ее отослала,— сказала Дороти.— Хочу поговорить с вами об Уилме. Я знаю, что материально она будет хорошо обеспечена, но мы должны чем-то ее занять, иначе она наделает глупостей. В последние дни она превосходно держалась, но мне не понравились ее разговоры. Вы ведь знаете, что у нее есть любовник.

— Да, знаю,— ответил Джордж.

— Он для нее — посланец божий, его присутствие поможет ей пережить первые месяцы. Но она такого мне наговорила... Жаль, что я вас еще почти не знаю, Джордж.

— А вы сделайте вид, что знаете.

— Очевидно, придется, потому что ждать помощи от Шерри я не могу. Вы ведь знаете Шерри. Для него существуют только белый и черный цвета. Никаких оттенков. Я не могу ему сказать, что у нашей Уилмы есть любовник. Он тогда и в дом ее не пустит. Мало того, она сделала мне столько признаний, что, если Шерри узнает о них, он вообще запретит мне с ней встречаться. Скажу вам откровенно: из слов Уилмы мне стало ясно, что от нее чего угодно можно ждать.

— Чего угодно?

Дороти кивнула.

— Бóльшую часть жизни она провела в заботах о Пене и теперь обвиняет себя в том, что не усмотрела за ним. Думаю, что в этом она неправа. Все шло хорошо, пока он не попал в руки расчетливой женщины. Случилось в точности то же, что с Джаддом, торговцем корсетами, и Рут Снайдер.

— У той истории другой конец,— возразил Джордж.

— В сущности, нет. Все говорят, что их ждет электрический стул. Обоих. А это все равно что сначала убить ее, а потом покончить с собой.

— Ах, вы в этом смысле.

— А помните тот случай со священником Холлом и миссис Миллз? Его так и не распутали. Конечно, торговца корсетами нельзя ставить в один ряд с Пеном. Но в деле Холла и Миллз были замешаны очень известные люди. Этим я хочу сказать, что какое бы общественное положение ни занимал человек, как бы хорошо его ни воспитывали, в жизни его может настать момент, когда он забывает и о своем воспитании, и обо всем прочем. К несчастью, именно это случилось с Пеном и этой особой — не помню ее фамилии.

— Мэриан Стрейдмайер.

— Между прочим, я ничего в тот момент не сказала, но когда мы проезжали сегодня мимо одной фермы, на ее почтовом ящике значилась эта же фамилия. К счастью, Уилма не заметила.

— Это не родственники. По-моему, она была родом со Среднего Запада,— сказал Джордж.— Но совпадение удивительное.

— Верно, удивительное. Я так рада, что Уилма не заметила. Мы с Джеральдиной изо всех сил старались развлечь ее.

— Вы молодец, Дороти. Стало быть, вы считаете, что она переживает нечто вроде кризиса?

— Да, Джордж. Не могу повторить дословно все, что она мне сказала, но она действительно способна на все. Когда девушку воспитывают так, как воспитывали Уилму, ей нечем держаться в жизни. Я хочу сказать: она не способна легко переносить испытания.

— Хоть вы этого прямо и не сказали, но, видимо, вы опасаетесь, что отныне Уилме будет все равно, с кем спать,— сказал Джордж.

— Она способна на все. Это ее собственные слова.

— Ну, если так, тогда может возникнуть серьезная проблема,— сказал Джордж.— Но давайте подождем. Посмотрим. Если проблема и в самом деле возникнет, тогда подумаем, что можно предпринять. Уилме сейчас за сорок, но она все еще довольно привлекательна. Может найтись человек, за которого она захочет выйти замуж. Не сочтите, что мне это безразлично, Дороти, но едва ли она вздумает выйти за кого-либо замуж, если сначала не переспит с этим человеком, верно?

— Вероятно, да.

— Лишняя связь ей не повредит. Тем более если кончится браком.

Дороти задумчиво кивнула.

— Я была уверена, что вы рассудите лучше меня. Лично я такого образа мыслей не одобряю, но вы человек бывалый; к тому же она бездетна. Жаль только, что я не могу быть с вами более откровенна, но тут уж ничего не поделаешь.

— Это имеет отношение к тому, что она вам говорила?

— Да.

— Она же сказала, что способна на все. Нетрудно понять, что это может значить.

— В том, как она это сказала, есть нечто непристойное. По-моему, отношения между мужчиной и женщиной могут быть нежными и прекрасными. Я сама в этом убедилась. Уилма же рассуждает иначе. Это все, что я могу вам сказать, Джордж. Но я ценю ваше терпение.

Она встала, явно расстроенная. Странная маленькая женщина. В эту минуту она показалась Джорджу похожей на воробья, клюющего конский навоз, но для воробья это — естественное занятие.

Через несколько минут вернулся Бинг Локвуд.

— Значит, все-таки нашлось что посмотреть,— заметил отец.

— Не в этом дело. У меня осталось в запасе время, так что я заехал к Кену Стоуксу, моему товарищу по Принстону. Мы выпили вместе пива.

— Это твой дальний родственник. Чем он сейчас занимается?

— Чем *он* занимается? То, что он дальний родственник, ты знаешь, а то, что он слепой,— не знаешь?

— Я знал, что один из них ослеп. Все Стоуксы — наши родственники, но я никогда с ними не водился. Он, кажется, пострадал от взрыва?

— Когда еще учился на первом курсе. Это произошло в химической лаборатории компании «Рединг».

— Почему ты поехал именно к нему?

— Потому что я вдруг вспомнил, что, когда умерла мама, он

прислал мне замечательное письмо. Наверно, одно из последних в своей жизни.

— Он где-нибудь работает?

— У него музыкальный магазин на Рыночной улице, в западной части города. Он сочинил несколько песен для ансамбля «Треугольник». Когда-то он был отличным пианистом — играл легкую музыку, теперь же зарабатывает на жизнь продажей пластинок, проигрывателей, нот, музыкальных инструментов. Почти сразу узнал меня по голосу. «Погоди,— говорит.— Я узнаю этот голос. Давно я не видел этого человека». Странно, что слепые продолжают употреблять это слово — «видеть». Уже шесть лет, как он никого не видит. «Я знаю,— говорит,— это Бинг Локвуд».

— В последние дни фамилия Локвуд упоминалась в газетах,— сказал Джордж.— Полагаю, он от кого-нибудь об этом узнал.

— От жены. Он женат на девушке из богатой семьи. Очень миленькая ирландочка. У них четверо детей и скоро родится пятый. А может, и шестой, если получится двойня. Одна двойня у них уже есть. Ты когда-нибудь слушаешь пластинки?

— Джеральдина, твоя мачеха, слушает.

— Ну, так я купил вам в подарок несколько пластинок.

— Большое спасибо. Обед в половине восьмого, так что успеешь еще принять душ.

— Непременно это сделаю. Кстати, нельзя ли распорядиться, чтобы мне в комнату подали чего-нибудь выпить?

— Хорошо. Чего бы ты хотел?

— «Апельсиновый цветок». Ведь мы, калифорнийцы, апельсины выращиваем. Солнечный штат.

— Я вижу, у тебя неплохое настроение.

— А почему бы и нет, черт побери?

— Я полагал, что сегодня не очень подходящее время для веселья, но ты, кажется, думаешь иначе.

— Отец! Послезавтра у меня дела в Нью-Йорке, а потом я сяду в чикагский поезд «Двадцатый век» и, надеюсь, не увижу Востока еще лет десять. В сущности, я уже на пути домой, потому и радуюсь. Это настроение появилось у меня, как только я очутился за воротами кладбища. Это был поворотный пункт.

— Все ясно, мой мальчик. Иди принимай душ и не забудь вымыть за ушами.

— Все равно тебе не удастся меня разозлить. Я слишком благодушно настроен.

— Надеюсь, на обед тебе этого благодушия хватит. Мне приходилось видеть, как люди, пребывавшие в таком вот настроении, под конец становились безобразными.

— Так пришли мне «Апельсиновый цветок», пожалуйста. Только не слишком много сахарной пудры.

Когда четверо Локвудов и Дороти Джеймс собрались за коктейлем, душой компании стал Бинг. Днем, во время ленча Джордж Локвуд видел, что сын, его мальчик, держится так, как того требуют торжественность обстановки и присутствие старших. Это был хорошо воспитанный молодой человек, который своей энергией и здоровым, привлекательным видом производил на гостей приятное впечатление. Они говорили, что он красив, и это была правда. Но теперь атмосфера в доме переменилась: отсутствие Десмонда Фарли, его жены и Шервуда Джеймса — людей чрезвычайно взыскательных в отношении слов, поступков и внешности — оказало размягчающее действие на окружающих. Второй причиной расслабления служил алкоголь.

А Бинг Локвуд явно захмелел от своих «апельсиновых цветков». Он не был пьян, но достиг той степени развязности, которую можно было бы принять за глупость, если бы не выражение мужской нагловатости на его лице — выражение, которое привлекает женщин и которое показалось его отцу первым признаком безобразия.

В половине восьмого служанка объявила, что обед готов. Джеральдина сказала:

— Мы задержимся на десять минут, Мэй.

— Почему? — спросил Джордж.

— Потому что мне, например, хочется еще коктейля.

— Мне тоже,— поддержала Уилма.

— Вот это — деловой разговор,— сказал Бинг.— Отец, я с удовольствием выполню обязанности бармена.

— Ну и валяй,— ответил Джордж.— Но если мы собираемся устраивать здесь попойку, то не говори, что на десять минут, Джеральдина. Позови Мэй и скажи, что мы задерживаемся еще на полчаса — на час, если не на целых два. Но лучше бы нам не портить обеда.

— За десять минут обед не испортится,— возразила Джеральдина. Видя, что Уилма и Бинг на ее стороне, она стала смелее. Положение хозяйки дома явно ей нравилось.

Хотя стол не раздвигали, на пятерых он все равно был слишком велик.

— Джеральдина, ты уже придумала, кого с кем посадить? Если нет, то я предлагаю Дороти сесть справа от меня, а Уилме — слева. Ты, сын, сядешь слева от своей тети, а ты, Джеральдина,— справа от Дороти.

— Как на открытой трибуне Палмерского стадиона,— заметил Бинг.

— Палмерский стадион... А вы знаете, я ни разу не была в Принстоне,— сказала Дороти.— Шерри учился в Колумбийском. Но мне жаль, что отец не определил его в Гарвард.

— Почему? — спросил Джордж.

— В Гарвард пошли почти все его товарищи. Два моих брата и многие его близкие друзья.

— Но что же изменилось бы, если бы он оказался в Гарварде вместе со всеми своими друзьями? — заметил Бинг.

— Такой образ мыслей свойствен твоему отцу,— заметила Уилма.

— Поверьте, тетя Уилма, что у меня может быть и собственный образ мыслей.

— Поверю, если ты перестанешь звать меня тетей Уилмой. Ты достаточно взрослый, а я достаточно молода, чтобы мы могли звать друг друга по имени. То же и Джеральдина: не настолько она стара, чтобы быть тебе матерью. Впрочем, не будем говорить о возрасте. Не очень-то интересная тема. Жалею, что затронула ее.

— Как старший из присутствующих, я вполне согласен с вами,— сказал Джордж.— Давайте переключимся на другую тему. На какую же, Дороти?

— Лично я хотела бы послушать еще о Калифорнии,— ответила Дороти Джеймс.— Мы с мужем были там много лет назад, к тому же с коренными калифорнийцами общались мало.

— Их там не так уж много, правда? — спросила Джеральдина.— Большинство приехало из других мест.

— В этом-то вся и прелесть,— сказал Бинг.— Я живу там потому, что мне там нравится. Ни в каком другом месте я не хочу жить.

— Точно такой же ответ я получила и от Фрэнсиса Дэвиса, когда

мы там были,— сказала Дороти.— Вы все знаете, кто такой Фрэнсис Дэвис? Ты, Уилма, знаешь? А вы, Джордж?

— Я знаю *о нем*.

— Отец его не знает, но я знаю,— сказал Бинг.— Мы иногда видимся в Сан-Франциско.

— Кто он такой? — спросила Джеральдина.— Важная персона?

— Лишь в двух отношениях: в финансовом и общественном,— ответил Бинг.— У него на Востоке громадные связи. Не сомневаюсь, что при необходимости он может за несколько дней добыть сорокпятьдесят миллионов. Это — старый бостонец из Бикон-хилла. У него и суда, и недвижимость, и банки, и страховые компании, и бог знает что еще. И он же прескверно играет в покер. Худшего игрока я еще не встречал.

— Ты играешь с ним в покер? — спросил Джордж.

— Раз в месяц. Если бы мы играли чаще, мне не потребовалось бы зарабатывать себе на жизнь чем-то еще. Но мы играем только раз в месяц и никогда не делаем больших ставок. Самый крупный проигрыш не превышает трех-четырех сотен. Но для нас это развлечение.

— Где же вы играете? В клубе «Тихоокеанский Союз»?

— Нет, что ты. Я в нем не состою. Дай бог, чтобы меня приняли туда хотя бы к сорока годам. Нет, мы играем дома. Один раз у него, другой — у меня.

— Но ведь от твоего дома до Сан-Франциско далековато, не так ли?

— Да, но у Фрэнсиса поблизости от нас есть дом, так что когда он приезжает, то сочетает приятное с полезным. В сущности, мы все в таком положении. Мне приходится ездить и в Сан-Франциско, и в Лос-Анджелес. Для нас проехать триста-четыреста миль в машине — привычное дело. Я и в обычный-то день делаю по семьдесят пять — сто миль. От моей конторы до дома такое же расстояние, как отсюда до Рединга, и езжу я туда по пять-шесть раз в неделю. К счастью, езда в машине доставляет мне удовольствие.

— К тому же у тебя «роллс-ройс»,— сказала Джеральдина.

— О, так у тебя «ройс»! — воскликнула Уилма.— Если я приеду к тебе в гости, свозишь меня куда-нибудь подальше? Пен ни за что не хотел покупать такую машину. Я просила его не раз, но он отказывался.

Это первое за вечер упоминание имени Пена Локвуда, такое небрежное и спокойное, прозвучало для остальных как кощунство, но больнее всех это ощутила сама же Уилма.

— О господи,— произнесла она едва слышно и уставилась в тарелку.

Бинг обнял ее за плечи.

— Приезжайте, я покажу вам такие места, которых даже местные жители не знают.

— Спасибо,— сказала она и опустила голову ему на руку. Она была совсем пьяна.

— А я всегда мечтала объехать Новую Англию верхом,— сказала Дороти Джеймс.— И вы знаете, такое путешествие возможно.

Тема разговора переменилась, и о Пене Локвуде никто больше не упоминал. Обед кончился, и все стали подниматься со своих мест. Это была уже не та дружная компания, что усаживалась за стол.

— Выкуришь сигару? — спросил Джордж Локвуд сына.

— О, прошу вас не уединяться,— взмолилась Джеральдина.

— Что-то не хочется, благодарю,— сказал Бинг.

— И правильно,— одобрила Джеральдина.— Идемте пить кофе в малую гостиную. Ты, Дороти, ее еще не видела. И ты, Бинг.

— Кто будет пить коньяк? — спросил Джордж Локвуд.— Дороти?

— Я — нет, спасибо.

— Уилма?

— Конечно.

— Мне не надо, благодарю,— сказала Джеральдина.

— И мне не надо. Я вот виски себе налью,— сказал Бинг.

— Уютная комната,— сказала Дороти.

— Я тоже так считаю,— согласилась Джеральдина.

— Мне нравится, как вы обставили зал.

— Благодарю, и мне тоже нравится. Но мы не часто им пользуемся. Гости бывают редко, Джордж бóльшую часть времени проводит в своем кабинете, а я — либо здесь, либо у себя наверху. Я стала радиолюбительницей, и там у меня большой приемник. Джордж считает это бесполезной тратой времени, а мне нравится.

— Вы, должно быть, сговорились с Шерри,— сказала Дороти.

И так далее. Но когда в холле пробили дедушкины часы и все обнаружили, что уже не девять, а десять часов, Дороти встала.

— Понятия не имела, что так поздно, а ведь завтра нам с тобой, Уилма, предстоит трудный день.

— Я провожу вас наверх,— предложила Джеральдина.

— Я скоро приду,— сказала Уилма.— Вот только Бинг приготовит мне коктейль, хорошо, Бинг?

— Если хотите.

— Тогда желаю вам обоим спокойной ночи,— сказал Джордж.— Только не задерживай тетю Уилму слишком долго. Мы все изрядно устали. Доброй ночи, Уилма.— Он поцеловал ее в щеку.— Доброй ночи, сын. Надеюсь, никто не будет возражать, если мы назначим завтрак на восемь тридцать. Если хотите, вам принесут его в комнаты. Артур Макгенри будет здесь в десять утра, Уилма.

Он отправился наверх вместе с Дороти и Джеральдиной и на площадке второго этажа простился с ними. Войдя в гардеробную, он закрыл за собой дверь и разделся. Он чувствовал, что устал, но спать ему не хотелось. Ну и взбалмошная компания! Все, кроме Дороти Джеймс. На такое общество одного дня вполне достаточно. Даже больше, чем достаточно, если среди гостей — зазнавшийся сын и пьяная невестка. Джеральдина ему тоже надоела, но к ней он привык и может, когда захочет, уехать от нее на несколько дней. Неожиданно мысли его перескочили на брата: только сейчас он полностью осознал, что Пена нет в живых. До этого момента, до того, как он представил себе бездыханное тело Пена, лежащее в глубокой могиле, заваленное плотным слоем земли, смерть брата не была вполне осознанным фактом. Впервые Джордж Локвуд поверил в возможность собственной смерти. Впрочем, сейчас он почти желал умереть. И именно в этот миг он вспомнил об Эрнестине .Он и всегда любил ее отцовской любовью, однако теперь она вдруг стала для него чем-то очень значительным. Может быть, послать за нею — или это будет ошибкой, подумал он. И сам же ответил: это будет серьезной ошибкой, если она не приедет, найдя благовидный предлог.

Сквозь закрытую дверь до слуха Джорджа доносились звуки музыки — играло радио Джеральдины. Звуки были слабые, но они напоминали об ее присутствии, в котором он не нуждался. На коленях у него лежала книга «Жизнь на Миссисипи», которую он знал настолько хорошо, что мог открыть на любой странице и в любое время закрыть. Это была одна из десятка книг, которые он хранил в гар-

деробной: они не мешали думать и даже не заставляли бодрствовать. Потом тихие звуки радио в комнате Джеральдины умолкли, часы в холле пробили одиннадцать. Вполне возможно, что он задремал; но он не был в этом уверен. Потом он вышел в коридор; свет на обоих этажах все еще горел. Он подошел к двери Джеральдины и прислушался: все было тихо.

Он вернулся в гардеробную и запер изнутри дверь. Сбросил с ног домашние туфли, поднял панель, преграждавшую путь к потайной лестнице, и спустился, никем не замеченный, к себе в кабинет. Осторожно приоткрыл дверь и услышал голос Уилмы. Он не мог разобрать ее слова, но когда он вслушался, то понял, что она вовсе не говорит. Звуки, которые она издавала, не были словами — она просто мычала от удовольствия. Он подошел к двери малой гостиной и заглянул внутрь. Уилма полулежала на большом диване, и его сын целовал ей грудь. Джордж Локвуд быстро вернулся к себе в кабинет и оттуда — в гардеробную.

Их влекло друг к другу весь вечер, только Джордж Локвуд не был уверен, что они это сами сознавали. А вот Дороти Джеймс сознавала — в этом он был убежден. Смешная маленькая Дороти Джеймс. Она, видимо, предчувствовала это с того момента, как Бинг приехал в дом отца,— так ясно предчувствовала, что потеряла надежду этому помешать.

Джордж Локвуд надел домашние туфли и отправился в комнату Джеральдины. Та уже спала, но он не ушел.

Утром все завтракали в разное время, и каждый занимался собой, пока Артур Макгенри не покончил с делами и гости не приготовились к отъезду. «Кадиллак» Бинга стоял у парадного входа. Дороти Джеймс и Уилма Локвуд усаживались на заднем сиденье, а Джеральдина стояла у дверцы машины и напутствовала их, как положено хозяйке дома. Джордж Локвуд стоял на дороге по другую сторону машины. Бинг подошел к нему и протянул руку.

— Ну, отец, не знаю, когда мы еще увидимся.

Джордж Локвуд молчал и пристально смотрел на сына.

— Ты, должно быть, очень гордишься собой,— сказал он наконец.

Бинг нахмурился.

— Что?

— Я сказал: ты, должно быть, очень гордишься собой.

Бинг отвернулся.

— Я готов глотку себе перерезать.

— Но ты этого не сделаешь,— сказал отец.

— Не сделаю,— согласился Бинг и, сев в машину, захлопнул дверцу.

Джеральдина стояла рука об руку с мужем, и оба они махали вслед машине, пока она не скрылась за воротами.

— Ну, вот и все,— сказала Джеральдина.

КНИГА ТРЕТЬЯ

Теперь Джордж Локвуд готов был уделить своей дочери Эрнестине больше времени — этому, кстати, способствовало и завещание Пена Локвуда. Это был немудреный документ — столь же немудреный, как и сам Пен, однако два пункта этого завещания озадачивали Джорджа так же, как озадачило бы любое отступление брата от нормы. У человека, столь прямолинейного, как Пен, малейшее отклонение от общепринятого воспринималось как эксцентричность.

В своем завещании Пен оставлял Уилме неприкосновенный капитал, положенный на ее имя. Доходы с этого капитала она могла получать до конца жизни, сам же капитал после ее смерти делился так: две трети предназначались Принстонскому университету и одна треть — школе св. Варфоломея. Здесь все было как положено, все в манере Пена. Но удивление вызывали два следующих пункта, предусматривавшие выплату пятидесяти тысяч долларов племяннику, Джорджу Б. Локвуду-младшему, и такой же суммы — племяннице, Эрнестине Локвуд. Обе суммы надлежало выдать наличными после его смерти в кратчайший срок.

Все состояние Пена оценивалось приблизительно в миллион восемьсот тысяч долларов, так что изъятие сумм, завещанных племяннику и племяннице, вряд ли могло нанести заметный ущерб основному капиталу. Но Джордж не понимал самой идеи столь щедрых подарков. Пен любил племянника и племянницу, а они любили его, и эта взаимная привязанность могла найти в документе о наследстве какое-то скромное отражение. Десяти тысяч долларов каждому было бы вполне достаточно. Но когда человек оставляет и тому и другому по пятьдесят тысяч наличными, да еще с указанием выдать их до того, как будет определен капитал в пользу Уилмы, то это приобретает другую окраску. Особенно если учесть, что Бинг и Эрнестина получили — Пен это знал — в наследство от своего дедушки по четыреста тысяч долларов, да еще и от Джорджа когда-нибудь, по всей вероятности, получат. Что побудило Пена Локвуда оставить детям его брата столь крупные суммы, да еще наличными?

Дата, стоявшая на завещании, не облегчала разгадки. Завещание было подписано за восемь месяцев до смерти Пена, то есть в то время, когда Пен уже мог знать о финансовых успехах Бинга и когда безусловно знал, что Эрнестина предпочитает жить не в Шведской Гавани, а в Нью-Йорке или в Европе. Она не делала никакой тайны из своего желания жить, как она выражалась, собственной жизнью, а ее враждебное отношение к Джеральдине не прорывалось наружу только потому, что им не приходилось жить под одной крышей дольше недели. У Эрнестины в доме отца была своя комната, и Джеральдина старалась ничего в ней не трогать, но комнатой этой пользовались редко. Вероятно, Пен от кого-нибудь слышал о неприязни Эрнестины к мачехе, но если бы и не слышал, все равно мог догадаться — на это много ума не требовалось.

Собственно, эти пункты завещания не столько озадачивали Джорджа, сколько раздражали, ибо доказывали, до какой степени он заблуждался насчет своего брата. Пен Локвуд принадлежал к тому типу людей, которым становится смешно, когда им говорят «Не будь опрометчив». И в то же время газеты, публикуя отчеты о смерти Пена, употребили именно эти слова: «Опрометчивый шаг». А тут еще этот щедрый жест в отношении Эрнестины и Бинга, словно долженствовавший показать, что Пен Локвуд вовсе не так покорно смотрит в рот своему брату, как можно было думать. Вспомнив, под каким предлогом Пен отказался вступить в кондитерское дело, Джордж спросил себя: а не скрыта ли тут какая-то другая причина? Он решил мысленно проанализировать случаи, когда Пен отказывался подчиниться ему.

Из-за того, что опоздала телеграмма и возникли транспортные затруднения, Эрнестина не вернулась из Европы и не присутствовала при чтении завещания Пена. Его огласили в доме Уилмы, в библиотеке. Присутствовали только Уилма, Джордж и два адвоката. Вся процедура длилась меньше часа. Когда адвокаты ушли, Уилма спросила:

— Ну, что ты скажешь?

— Он был щедр к моим детям.

— И застраховал меня от глупых ошибок, — усмехнулась она.

— А разве ты не делаешь ошибок, Уилма?

— Что ты хочешь этим сказать, Джордж?

— Так, риторический вопрос. Все мы ошибаемся.

— Вероятно, ты имел в виду нечто гораздо большее, но я не буду допытываться. Нет настроения. Мне казалось, что Бинг и Эрнестина должны были сегодня присутствовать.

— Нет, присутствовать никто не обязан. Надумала ли ты, что будешь делать? — спросил Джордж.

— Более или менее. Хочу продать этот дом и снять небольшую квартиру. Потом, может быть, отправлюсь путешествовать.

— Мне кажется, это разумно. Берешь с собой Дороти?

— Она никогда не оставляет Шерри надолго. Нет, придется поискать кого-то другого. Где сейчас Эрнестина?

— В Лондоне, но я хочу, чтобы она вернулась домой.

— Зачем?

— Так надо. Ей давно пора вернуться. Когда в семье горе, нельзя допускать, чтобы кто-то делал вид, будто ничего не случилось. А она, кажется, именно так и поступает. От похорон она нашла предлог уклониться, но домой-то все-таки она должна была вернуться — и как можно скорее.

— Я на ее стороне. Какой смысл приезжать теперь?

— Не хочу ссориться с тобой, Уилма, но я могу с тобой не церемониться, да и не стану. Не вмешивайся в жизнь моих детей.

— Одну минуту, Джордж. Ты уже вторично заговариваешь со мной какими-то намеками. К чему ты клонишь?

— Если бы я *клонил* к чему-то, то ударил бы сильнее и довел бы тебя до слез.

— Сказал, что не хочешь ссориться, а сам уже почти поссорился.

— Надеюсь, мне не придется продолжать. Ну, с этим все. Ухожу. Завтра весь день буду у себя в конторе, а послезавтра пришлю тебе на подпись кое-какие бумаги. Тебе придется подписывать много всяких документов, так что советую нанять хорошего юриста, особенно если ты предполагаешь путешествовать. Возможно, ты решишь выдать доверенность на ведение дел. Но только не давай ее мистеру Хайму. По закону ты можешь это сделать, но если сделаешь, то допустишь большую ошибку. Между прочим, уже не первую в этом роде.

— Мистер Хайм меня больше не интересует.

— Я думаю. На этот раз найди себе советника постарше.

— Кажется, я ненавижу тебя, Джордж. Право.

— Но недостаточно сильно.

— Недостаточно для чего?

— Чтобы это стало интересно.

— Держу пари, что это может стать очень интересно.

Он кивнул.

— Несколько недель назад это уже почти случилось. Но с тех пор положение могло измениться. Мне пора, Уилма.

Придя в контору, Джордж написал Эрнестине строгое письмо, настойчиво прося ее без проволочек вернуться в Соединенные Штаты. Конечно, она может отказаться. Собственные деньги у нее есть, ей двадцать шесть лет. Поэтому он вынужден был мотивировать свое требование этическими соображениями и воздержаться от чересчур резких слов. Он писал:

> «Речь идет о простой семейной солидарности. Твой брат приезжал из самой Калифорнии, несмотря на то что мы с ним не ладим. Он уехал обратно, наши отношения не улучшились,

но я, по крайней мере, проникся к нему уважением за то, что он отдал последний долг дяде Пену. Скоро ты получишь извещение о том, что дядя Пен оставил тебе крупную сумму денег...»

Через две недели Эрнестина приехала. Джордж и Джеральдина встретили ее на перроне и усадили с собой в «паккард», а не отправили с шофером в «линкольне» или в «пирс-эрроу». Этот жест не остался незамеченным.

— А Эндрю разве нет? — спросила Эрнестина.

— Мы хотели встретить тебя сами,— сказал Джордж.

— Не надо было из-за меня беспокоиться.

— Мы так хотели.

После ужина Джеральдина отправилась наверх.

— Вам наверняка хочется поговорить, так что я пойду к себе.

Разговор между отцом и дочерью завязался не сразу. Едва коснувшись какой-нибудь обыденной темы, они тотчас умолкали. Наконец Эрнестина пересела на другой стул, закурила новую сигарету и сказала:

— Ты не просто так заставил меня вернуться сюда, папа, и я пытаюсь понять почему. Между прочим, я рассчитываю, что ты возместишь мне расходы на эту поездку, поскольку в мои планы не входило ехать сюда. Я намеревалась остаться за границей.

— Остаться за границей? А мне казалось, что ты поехала туда месяца на два, не больше. Не думай, что я хочу уклониться от возмещения расходов, но когда ты уезжала, то как будто не собиралась задерживаться там надолго.

— Значит, ты возместишь мне расходы?

— Я же сказал или дал понять, что возмещу.

— Отлично. Ну так вот: живя там, я передумала. Захотелось остаться по крайней мере на год, если не больше. А может, и много больше. В данную минуту меня подмывает даже сказать тебе, что я хочу жить за границей всегда.

— Господи, но почему? Разумеется, тут не обошлось без какого-то молодого человека.

Она покачала головой.

— Не так уж он молод, этот молодой человек. Ему около тридцати пяти.

— Типичный обаятельный француз?

— Типичный обаятельный американец. Но он уже женат и на мне жениться не собирается.

— Ты влюблена в него?

— Да.

— А он в тебя — нет?

— Нет. Он даже не притворяется влюбленным. В этих кругах слово «любовь» не в очень большом ходу. Для них говорить о любви — все равно что говорить о законном браке, а этого они стараются избегать. Они боятся этого слова, полагая, что оно наложит на них какие-то обязательства.

— Что же это за люди?

— В большинстве — американцы и, как правило,— состоятельные. У женщин есть мужья, живущие в Лондоне или Париже. У мужчин — жены, живущие в Штатах или где-то работающие. Есть среди них два писателя. Словом, не та публика, что посещает загородный клуб Лантененго, но и не богема. Эта группа сформировалась, по-моему, после войны. Все они при деньгах, но никого нельзя назвать очень богатым.

— А чем занимается твой приятель?

— Он имеет какое-то отношение к электрификации железных дорог. Не по инженерной, а по финансовой части. Словом, служит в какой-то уоллстритовской фирме. Точно не знаю, чем он там занимается. Называет себя путевым обходчиком, но ведь обходчик — это человек, который ходит с молотком и проверяет пути, так? Нет, он, видимо, имел в виду что-то другое.

— Как его фамилия?

Она покачала головой.

— Теперь это уже не имеет значения — ни для него, ни для меня. Дохлый номер.

— Для тебя — не дохлый,— возразил отец.

— Вот как плохо ты меня знаешь, папа. Раз я говорю «кончено», значит кончено.

— И никакого горького осадка?

— Есть и осадок, и обида, но все это я переживу.

— У тебя, конечно, была с ним связь? — спросил он.

— А ты думаешь, я стала бы так переживать, если бы ее не было? Время детской любви для меня уже прошло.— Эрнестина имела обыкновение смотреть в пол с таким видом, будто она на вершине горы и разглядывает, что происходит внизу, в долине. Эта манера обескураживала собеседника, ибо Эрнестина словно выбрасывала его из своих мыслей, хотя именно к этому она и стремилась.— Чего ты от меня хочешь, папа? — спросила она, наконец повернувшись к нему лицом.

— Чего бы я ни хотел от тебя, добиться этого я вряд ли смогу — при твоем нынешнем душевном состоянии.

— Но ты вызвал меня сюда, так что уж говори.

— Теперь я знаю, что ты очень несчастна.

— Да, я не буду этого отрицать.

— И мне хотелось бы помочь тебе, чем я могу.

— Благодарю, но как ты поможешь, если не знаешь, отчего я несчастна?

— И не узнаю, раз ты не собираешься мне говорить.

— Не собираюсь, потому что сама не знаю... Я несчастна оттого, что слишком мало получаю от жизни как раз в ту пору, когда должна была бы получать максимум.

— Кто это сказал? Только потому, что ты молода? Молодость не каждому приносит счастье. Кое-кому приносит, но далеко не всем.

— А у тебя когда было самое счастливое время?

Он наклонил голову.

— Я знал, что ты задашь мне этот вопрос.

— Ну все-таки?

— На это я отвечу так же, как ты. Я не знаю.

— Но ты же не можешь не знать,— настаивала она.— В студенческие годы? Когда женился на маме? Теперь?

Он задумался.

— Теперь. В эту самую минуту.

— По тебе это не очень-то видно.

— Знаю, что не видно,— согласился он.— И тем не менее именно сейчас, когда ты рядом, я приблизился к счастью больше, чем когда-либо в жизни.

— Больше, чем в то время, когда я родилась? Или когда родился Бинг?

— Да. Тогда это была для меня радость, но не счастье. Близость

счастья я испытываю сейчас, когда ты со мной. Более счастливых минут у меня еще не было. Я никогда не переставал размышлять о счастье. Теперь ты возродила во мне эти мысли, и я считаю, что едва ли был когда-либо счастлив. Нет. Радости были, но счастье — нет.

— Почему же ты считаешь себя счастливым или близким к счастью теперь?

— Пожалуй, мой ответ тебя смутит. Но я скажу все равно. Ты первый человек, которого я полюбил.

— Меня? Сейчас?

— Да.

— Неужели ты не любил ни одной женщины прежде?

Он в нерешительности помолчал.

— Одну любил.

— Но не маму. В этом я уверена.

— Нет, не маму.

— И, конечно, не Джеральдину.

— И не Джеральдину. Девушку, которая не отличалась ни умом, ни другими достоинствами. Но я любил ее так, как никого больше не любил да и не хотел бы любить. Это была чувственная туповатая немка, но лишь она одна заставляла меня забыть обо всем. Впрочем, ты — тоже, но только по другой причине. Та потрясла меня самозабвенностью своей любви, ты же заставила почувствовать, что я тебе нужен. Ты очень несчастна и нуждаешься в моей помощи. Быть может, поэтому и приехала домой, хоть и не хотела. Мы не можем этого знать и никогда, видимо, не узнаем. Слишком много в нас такого, что не поддается пониманию, Тина. Есть тонкости непостижимые. Сотни оттенков промелькнут в сознании, прежде чем сформулируется четкая мысль. А мысль должна быть четкой, иначе ее не поймаешь. И вот я снова стал самим собой и пытаюсь разумно рассуждать, анализировать, думать — словом, делать то, за что меня все ненавидят. Как я могу проследить за тысячами неясных мыслей, которые в конце концов выкристаллизовались в осознанное желание вернуть тебя домой? Ну как, будем продолжать наш разговор? — спросил он.

— Если хочешь.

— Думаю, надо. Я в долгу перед тобой за то, что ты приехала.

— Восемьсот с чем-то долларов.

— О деньгах тебе никогда не придется беспокоиться, Тина. Это ты должна знать. Я никогда не буду пользоваться деньгами, как дубинкой. Тем более в отношении тебя.

— А в отношении Бинга?

— Тоже нет, да и поздно уже. Есть основания думать, что сейчас он богаче меня. Молодец! Искренне говорю. Его финансовая независимость тоже мне приятна. Он хотел быть независимым от меня и стал независимым. Но тот, кому хочется избавиться от меня, заставляет и меня желать того же.

— Ну, так теперь вы избавлены друг от друга. Да, я знала, что Бинг разбогател. Он пишет мне, постоянно пишет. И последние два-три года рассказывает о своих финансовых успехах. Купил себе «роллс-ройс».

— Знаю,— сказал Джордж Локвуд.

— И знаком со всеми шишками.

— С шишками? Это еще что такое?

— Это жаргонное выражение. Так называют влиятельных людей, папа. Я вижу, ты не следишь за жаргоном.

— Мне казалось, что слежу, но «шишка» — это что-то новое. Я знал, что твой брат в хороших отношениях с такими людьми.

О да, он преуспевает. В нефтяном деле. Нефть всегда казалась мне рискованным предприятием, но Бинг не потерял головы. Пока не потерял. Отложил капитал на жену и детей, и теперь его ничто не остановит. Деньги, которые оставил ему и тебе дядя Пен, покажутся ему мелочью.

— Мне не покажутся,— сказала она.

— Нет. При желании ты могла бы всю жизнь прожить за границей на одни проценты с этой суммы. Не в парижском «Ритце» и не в «Клэридже», но с достаточным комфортом. С таким капиталом ты уже можешь считаться богатой американкой.

— Да.— Эрнестина снова уставилась в пол.

— Не думай, что я хочу отвлечься от темы.

— Знаю. Мы заговорили о Бинге, но это все та же тема, не так ли?

— Да. Как и твой дядя Пен. Его наследство. Твои доходы.

Она кивнула.

— И то, что в Европе я буду богатой американкой.

— Ты хорошо знаешь нашу семью? — спросил он.

— Нашу семью? Наверно, не так хорошо, как следовало бы. Я не предполагала, что о ней можно много знать. Я не права? Мне всегда казалось, что Локвуды умеют делать деньги, но не пользуются должным уважением. Это странно. Такой род, как наш, за сотню лет своего существования должен был бы снискать себе больше уважения. Некоторым семействам удается добиться этого на протяжении жизни одного поколения, а мы просуществовали три, не так ли? Три. Я представляю уже четвертое. Ты посмотри на Бинга: со временем он так разбогатеет, что другие в сравнении с ним покажутся бедняками.

— Ты попала в самую точку. Мы, пожалуй, действительно никогда не пользовались должным уважением. Знаешь почему?

— Мой прадед убил кого-то. Это я знала. Но остальные-то вели себя вполне прилично, пока бедный дядя Пен не...

— Извини, я перебью. У тебя с путевым обходчиком все кончилось из-за дяди Пена?

— Возможно, это лишь совпадение,— сказала она.

— Но ты в этом не уверена?

— Нет, не уверена. Он иначе стал ко мне относиться. Это я заметила по тому, как он смотрел на меня. Словно я проститутка, которая прикидывается порядочной девушкой. Он очень честолюбив и очень хитер.

— С этим тебе придется сталкиваться всю жизнь, по крайней мере до тех пор, пока ты не выйдешь замуж и не переменишь фамилию. Поэтому ты и захотела жить за границей?

— Вначале — не поэтому. Но после всего, что случилось с дядей Пеном, я представила себе, каково будет дома. В этом отношении мой хитрый дружок служил хорошей иллюстрацией. И тогда я подумала: господи, что же меня ждет в Шведской Гавани и в Гиббсвилле? Ведь именно гиббсвиллские дамы впервые заставили меня испытать чувство унижения, когда я посещала танцевальную школу и детские вечера. Опять они станут взирать на меня с неприязнью.

— Ты права,— согласился отец.— Так и вижу, как они сидят, сложив руки на коленях, и смотрят, выискивая, к чему бы придраться, и не находят ничего дурного ни в тебе, ни в том, как одела тебя мама. И молчат, потому что твоя мама — из семьи Уиннов, а Уинны — это деньги, нажитые на угле. И со Стоуксами мы связаны, только твоя фамилия не Уинн и не Стоукс, а Локвуд. Ах, как хорошо мне знакомы эти неприязненные взоры Гиббсвилла! А ведь я без труда мог бы избежать их, если бы женился на гиббсвиллской де-

вушке и поселился на Лантененго-стрит. Или если бы мой отец женился на гиббсвиллской девушке. Или твой дядя Пен обосновался там. Но этого не произошло, и потому мы не кажемся им порядочными людьми, и даже я беру на себя смелость утверждать, что мы сами не чувствовали себя достаточно порядочными. Локвуды овладели Шведской Гаванью с помощью грубой силы — той силы, которую именуют всемогущим долларом. В этом городе не нашлось никого, кто осмелился бы нам противостоять. Как-никак твой прадед убил двух человек, убил как раз в этом городе, а сколько он убил в гражданскую войну, мы и не знаем. Он всегда ходил с пистолетом, и половина города была должна ему деньги. Если бы кто-нибудь из твоих предков служил судьей и слыл честным человеком, тебе, возможно, не пришлось бы встречать неприязненные взоры Гиббсвилла. Но вышло так, что даже твой самый уважаемый родственник убил любовницу и убил себя.

— Ты слишком переутомился, папа.

Он бросил взгляд на нее и улыбнулся.

— Да, я переутомился. Впервые в этом признаюсь.

— Давай прекратим этот разговор.

— Тебе кажется, что я взвинчиваю себя, как выражалась твоя бабушка?

— Прежде с тобой этого не случалось,— сказала она.— Пойдем прогуляемся.

— Прогуляемся? Куда?

— Просто так. Всю прошлую неделю я каждый день по двадцать раз обходила пароходную палубу и всегда возвращалась в одно и то же место — в бар.

— Хорошо, погуляем,— сказал Джордж Локвуд.

— Можно, я надену твое пальто? Чтобы не ходить наверх?

— Конечно. На улице морозит.

Она достала его военную шинель, которая висела в стенном шкафу в холле, а он надел длинное с поясом пальто из верблюжьей шерсти и шапку.

— У тебя неплохой вкус, папа,— сказала она.

— Ты так считаешь? Благодарю. Я никогда не жалел денег на одежду и приучал к этому твоего брата. Важно не только то, как ты выглядишь в новой одежде, но и то, как себя чувствуешь в ней. Однако приходится признать, что твой брат экономил на одежде. Возможно, этим он хотел лишний раз подчеркнуть свою независимость. Хочешь взять с собой трость?

— Да.— Эрнестина улыбнулась.— Молодые люди опять стали ходить с тростями.

— Видел. Ротанговые. Я предпочитаю более тяжелые. Однажды, когда строился этот дом, я за один день убил двух ядовитых змей. С тех пор ни одной не встречал. Но если подняться на гору, то надо смотреть в оба. Вон там, где скалы, водятся гремучие змеи.

— Я думала, они уползают ночью в щели.

— Не очень-то на это рассчитывай.

Они вышли через калитку и стали спускаться по склону холма в направлении шоссе.

— По-моему, в кармане пальто есть перчатки,— сказал он.

— А ведь и правда холодно.

— Если устанешь, скажи. Для ходьбы твои туфли не очень-то приспособлены.

Дойдя до середины косогора, он остановился.

— У твоего деда был план скупить всю землю отсюда до Рихтервилла.

— До самого Рихтервилла?

— Когда-то и я об этом мечтал, но обстоятельства изменились, и теперь я рад, что он этого не сделал.

— Какие обстоятельства?

— Твой брат явно не намерен здесь жить, ты — тоже. Что бы я стал делать со всей этой землей?

— Ты стал бы помещиком. Это доставило бы тебе удовольствие.

— Верно. А где бы ты хотела обосноваться?

— Ты не считаешь, что я могла бы обосноваться в Европе?

— Нет. Быть может, ты не отдаешь себе в этом отчета, но ты связана с этими местами слишком крепкими узами. Твой брат закрепляется в Калифорнии, но он лишь повторяет то, что делал сто лет назад Мозес Локвуд.

— Я не считаю, что так уж это важно — где жить.

— А я считаю. В какой бы части Европы ты ни жила, в глазах европейцев ты всегда будешь иностранкой. Всегда. И это обстоятельство с возрастом будет приобретать для тебя все большее и большее значение. Ты — американка, и больше ничего.

— Какие у тебя планы в отношении меня, папа?

— Планов — никаких. Надежд — много. Надеюсь, что ты полюбишь американца, выйдешь за него замуж и останешься жить в Соединенных Штатах. Предпочтительно на Восточном побережье, но и Средний Запад не так уж далек — всего одна ночь в спальном вагоне.

— У тебя есть кто-нибудь на примете?

Он немного задумался.

— Конечно. Кто-нибудь из тех молодых людей, которых я встречаю в клубе «Ракетка» и в деловой части Нью-Йорка. Но ты ни за что не воспользуешься моей рекомендацией — да и не надо.

— Я должна перед тобой извиниться. Почему-то я решила, что ты выбрал мне партию где-нибудь по соседству, поэтому и стараешься убедить в том, как хорошо в этом районе Пенсильвании.

— Нет. К сожалению, никого из молодых людей по соседству я не знаю. Есть друзья твоего брата, но я с ними не встречаюсь. В загородном клубе не бываю, а когда приезжаю в Гиббсвилл, то вижусь не с молодыми людьми, а с Чэпином и Макгенри.

Они постояли молча. Потом он сказал:

— Видишь, как далеко простираются мои владения. При лунном свете — насколько хватает глаз. Думаю, этого с меня должно быть достаточно.

— Достаточно?

— По-моему, да. Но если я буду довольствоваться этим многим или этим *немногим,* то, значит, у меня нет того, чем обладал твой дед. Я не так дальнозорок, как он. Он и твой прадед видели на много миль дальше, чем я. Мой мир довольно узок, правда?

— Не знаю. Узок? — спросила она.

— Я начинаю думать, что да. Я. Ты. Моя жена. Мой дом. И мои владения — отсюда до леса за фермой Швайбахера. Которая, кстати, теперь тоже моя. В общем, это не совсем похоже на мечту об империи, верно?

— Слава богу, нет,— сказала она.

— Подожди славить бога. Твой дед Уинн хотел стать миссионером. Он им не стал, но это была его мечта. И если подумать, то главная задача миссионера состоит хоть и в не совсем обычных, но завоеваниях.

— В некотором роде — да.

— А его двоюродный брат Том Уинн был хозяином — извини за маленькое преувеличение — всего обозримого пространства. В Афри-

ке или Южной Америке он при той же затрате энергии приобрел бы несколько миллионов акров земли. Твоему брату не занимать энергии, и ты посмотри, какими делами он ворочает в Калифорнии. И в Мексике. Иными словами, Тина, это у тебя в крови. Тебе это передалось по обеим линиям.

— Что передалось?

— То, чего не хватает мне и чего не хватало твоему дяде Пену. Громадное честолюбие. Мое поколение лишено его, а твой брат — нет. Возможно, в тебе его тоже нет, но своим детям ты можешь его передать.

— Ты же накопил денег,— сказала она.

— Денег я накопил очень много и буду продолжать накапливать. Но знаешь ли ты, каким способом я собираюсь отныне зарабатывать большую их часть? Продажей пятицентовых конфет. Я не считаю это завоеванием или осуществлением честолюбивого замысла. Это — всего лишь пятицентовое кондитерское предприятие. Твой брат еще молодой человек, а уже затмил меня. Он бурит нефтяные скважины на дне океана. Играет с шишками в покер. Я же — маленький человек с мелкими страстишками, о чем узнал совсем недавно. Я очень рад, что ты порвала со своим путевым обходчиком.

— Но он очень честолюбив.

— Это он так думает. На самом же деле из того немногого, что ты о нем сообщила, я понял, что он во многом похож на меня.

— Слушай, папа, ты удивительный человек. Он действительно похож на тебя. Как ты догадался?

— Ты еще мало обо мне знаешь. Гораздо меньше, чем я мог бы рассказать о себе, если бы решил этим заняться. Скажу лишь одно: я узнал в нем себя. Он даже не перворазрядный негодяй.

— Но он им может стать. Так же, как, наверно, и ты.

— Нет. Ни твой приятель, ни я никогда не станем перворазрядными негодяями. Настоящему негодяю все равно, что о нем думают люди, а нам с ним не все равно. Мы можем делать пакости, но мы не хотим, чтобы о них знали другие. В этом смысле мой отец был больше похож на настоящего негодяя, чем я.

— А Бинг — негодяй?

— Ты застигла меня этим вопросом врасплох. Я к нему не подготовлен.

— Ну все-таки?

— То обстоятельство, что ты говоришь это в форме вопроса, а не заявляешь категорически, что твой брат не может быть негодяем, уже интересно само по себе. Ты немного тревожишься за него?

— Его письма говорят мне больше, чем он, наверно, предполагает,— ответила она.

— Я предпочитаю писать открытки, хотя и посылаю их в конвертах. Стараюсь говорить о себе как можно меньше. Что же в нем тебя беспокоит?

— Наверно, то, о чем говорил ты. Только я бы это выразила, конечно, иначе. Это связано с честолюбием. С тобой и дядей Пеном. С историей семьи Локвудов.

— А о *себе* он что говорит?

— Сознательно или невольно?

— И так и этак. Что в его письмах заставляет тебя тревожиться?

— Это не совсем тревога, папа. Пока нет ничего, что внушало бы тревогу. Во всяком случае, мне не внушает. Впрочем, что я болтаю? Я действительно тревожусь. Он огрубел, стал жестче.

— Ну, это можно понять. Нефтяники такой народ, что немного даже форсят своей грубостью.

— Ты думаешь, что Бинга сделала таким его работа? По-моему, нет. Да ты и сам так не считаешь.

— Нет, пожалуй, не считаю. Но тогда остается одно объяснение: это я его ожесточил. Разумеется, такое признание не доставляет мне удовольствия.

— Но я рада, что ты сделал его таким. Что ты приложил к этому руку.

— Конечно, приложил. Но если жесткость — это все, что тебя тревожит, то перестань тревожиться. Ему это качество еще пригодится. Иначе он потерпит фиаско, и вот тогда будет о чем тревожиться. Твой брат не настолько тверд, чтобы устоять на ногах в случае неудачи. Да ты и сама, по-моему, это знаешь, Тина. Твой брат — слабый человек.

— У тебя есть основания так говорить? — спросила она.— Или это лишь общее впечатление?

— И то, и другое.

— А точнее ты не хочешь мне сказать?

— Нет, не хочу.

— Он нечестен?

— Я бы не сказал. Уверен, что это не так. Люди, с которыми... шишки, с которыми он играет в покер... они не стали бы играть с ним в покер, если бы он был нечестен. В сделки вступали бы, а играть в покер — нет. И к нему домой не пошли бы, и к себе не позвали бы. Нет, он не бесчестен.

— Тогда я знаю, в чем его слабость,— сказала она.— Женщины.

— Ты произнесла это очень уверенно.

— Да, я уверена. Меня только интересовало, откуда это тебе известно. У него это началось лишь после женитьбы, ты же его с тех пор ни разу не видел.

— А у тебя откуда эта уверенность? — спросил он.— Ты ведь тоже почти с ним не видишься.

— Он разговаривает со мной по телефону и пишет письма. Что это делается с мужчинами, папа? Рита — хорошая, привлекательная женщина, я бы даже сказала, что она лучше Бинга. Но едва они поженились, как он начал куролесить.

— Кажется, я понимаю, что это значит.

— Наверно. У него связи с другими женщинами.

— Жена об этом знает?

— Не могу сказать. Я видела ее только дважды. Она не из тех, кто легко сходится с людьми. Очень любит Бинга. Наверно, какое-то время он сможет ее дурачить. Энергичен, всегда в движении, поэтому она может не догадаться.

— И не видеть того, чего не хочет видеть, как это часто бывает.

— Да. Но я совсем не уверена, что он сам так же терпим, как она. Должна тебе сказать, что Рита — женщина что надо, можешь в этом не сомневаться.

— Я и не сомневаюсь. Видел ее фотографию.

— Конечно, я могу и ошибаться на ее счет, поскольку мы почти два года с нею не виделись. Но не исключено, что ее терпение уже иссякло.

— Нет, я уверен, что не иссякло. Уверен в том, что твой брат до сих пор ее любит.

— Надеюсь,— сказала она.— Но ты не говоришь мне всего, что знаешь.

— Правильно. Никогда не говорю всего, что знаю. Скрытен по натуре.

— Это-то мне известно. Но сегодня ты откровенен, как никогда.

— Идем обратно? По-моему, мы уже надышались свежим воздухом.

— Как хорошо, что мы можем вот так разговаривать,— сказала она.— Почему сейчас можем, а раньше не могли?

— За это мы должны, видимо, быть благодарны твоему путевому обходчику и дяде Пену. И тому, что творится в последнее время у меня в душе.

На самом крутом отрезке пути они повернули обратно, и это заставило их замедлить шаг.

— Мне хочется, чтобы ты пожила у нас немного,— сказал он.— Конечно, я тебя не принуждаю. Деньги можно перечислить на твой счет в банк Моргана. Только подпиши кое-какие документы.

— Какие деньги? Ах да, дядя Пен. Я еще здесь побуду. А если мы с Джеральдиной надоедим друг другу, то я всегда могу уехать в Нью-Йорк.

■

Собственного автомобиля у нее не было, и Джордж разрешил ей пользоваться своим «паккардом», так что она могла уезжать и возвращаться домой в любое время. Джордж удивился, когда она предложила Джеральдине ездить вместе в Филадельфию за покупками и в Гиббсвилл — к парикмахеру. Он объяснял перемену в их отношениях тем, что существенно изменилась сама Тина: она стала женщиной, и его жена относилась к ней теперь иначе. Это очень умно со стороны Джеральдины, но, возможно, объяснялось все не столько умом, сколько женским инстинктом. Джордж никак не комментировал эту перемену, не задавал никаких вопросов и не допытывался, о чем они между собой говорят, но обе явно радовались тому, что их отношения изменились к лучшему.

Как-то так получилось, что пребывание Тины в доме отца затянулось на неопределенное время. Никакого разговора о том, что она может остаться навсегда, не было, поэтому она по-прежнему считалась гостьей. В частности, она отклонила предложение отца купить ей автомобиль.

— Когда я не смогу пользоваться твоей машиной, то буду ездить на «пирсе».

— Для девушки он тяжеловат,— сказал Джордж.

— Что ты! Знаешь, какой «рено» был у нас во Франции? Величиной с грузовик. И выглядел как грузовик — такой у него был радиатор. Нет, папа, благодарю. Купишь, а потом не будешь знать, что с этой машиной делать. Вдруг мне вздумается уехать в тот самый день, когда ее привезут.

— Ты не хочешь связывать себя,— сказал он.

— Не в том дело. Автомобилем меня не свяжешь.

Так прошел месяц. Погода стояла хорошая, и это тоже отвлекало Эрнестину от мысли об отъезде. В городе прошел слух, что она никуда не уезжает, и девушки и молодые люди, знавшие, что она хорошо играет в теннис, стали искать ее общества. Когда-то она обыгрывала всех своих сверстников в Гиббсвилле, часто играла и с братом, который дважды завоевывал первенство округа в одиночной игре. Весна была теплой, и Эрнестина могла бы играть ежедневно, если бы хотела сблизиться с этой публикой. Но она держала их на определенной дистанции и простодушно призналась отцу, что покой для нее — лучшее лекарство, поэтому она и откладывает свой отъезд.

Однажды, приехав из загородного клуба, она застала отца на террасе за ленчем.

— Пусть мне подадут то же, что и тебе,— попросила она.

— Играть ездишь всегда по утрам, а на ленч никогда там не остаешься,— удивился он.

— Не всегда по утрам. Но я действительно оттуда удираю, как только вижу, что собирается компания для выпивки. Меня интересует теннис, а не их общество. Их светская жизнь — это коктейли и сплетни. К черту это все. Господи, да они, наверно, дяде Пену все косточки перемыли. Воображаю, что они говорили бы, если б знали, что я связалась с женатым человеком и что он меня бросил.

— Я не знал, что он тебя бросил,— сказал отец.

— Это они бы так заключили. Нет. Спорт спортом, а все остальное — не для меня. Я ведь тоже переутомилась, папа. Но вот что странно: я думала, что пребывание здесь потребует от меня нервного напряжения, а этого не случилось. Я стала меньше курить — ограничиваюсь десятью сигаретами в день — и сплю как невинный младенец. Которым не являюсь. Скоро я поправлюсь настолько, что готова буду снова попытать счастья.

— В чем же?

— Странно это от меня слышать, да?

— Отчего же, возможно, это кое-что и проясняет,— сказал он.

— Не только тебе, но и мне.— Тина закурила сигарету.— Четвертая сегодня.

— Мы с Джеральдиной так и не решили, куда ехать на лето. Потом умер дядя Пен, и нам было не до того. Есть у тебя какие-нибудь идеи?

— Нет.

— Слишком отдаляться от Нью-Йорка я не хочу,— сказал он.— Очень много дел: имущество дяди Пена, моя кондитерская фирма и вдобавок обычные текущие дела. Словом, за границу мы ехать не можем. Придется учесть и то, что это скандальное происшествие бросило на нас тень. Так что лучше нам держаться подальше от так называемых фешенебельных курортов. Есть у меня на примете одно местечко на Кейп-Коде...

— А чем здесь плохо? Прохладно, дом стоит на горе, много зелени. Плавательный бассейн. Теннисный корт. Чего тебе не хватает?

— По правде говоря, это Джеральдине хочется куда-нибудь прокатиться. И она вправе на это рассчитывать. Хотя Пен не ее, а мой брат, неприятностей на ее долю выпало немало. Видишь ли, Тина, я ведь уже почти договорился об аренде дома на Кейп-Коде. Участок, правда, не ахти какой и не в черте города.

— Ты его видел?

— На фотографиях. Дом довольно старый, из светлого голыша. Есть небольшой катер. Теннисный корт с грунтовым покрытием. Ровная лужайка для любителей гольфа. И кусочек пляжа для тех, кто купается в океане. Могу добавить, что стоит он недешево, но зато нам не нужно вступать ни в какой клуб. Было бы замечательно, если бы ты согласилась поехать туда с нами. Джеральдина была бы просто счастлива. Не постараешься ли ты все-таки приехать к нам в июле? Попробуй. Если надоест — соберешь вещи и уедешь.

— Как тщательно ты все продумал,— сказала она.

— Я всегда все продумываю. Верно?

— Да. И все же я не перестаю удивляться твоей дотошности. Там будет так же тихо, как здесь?

— В этом как раз все и дело.

— Ну, тогда я приеду в июле. А вот пробуду ли я там до осени, сказать пока не могу.

— Значит, решено. Подписываю договор и сегодня же высылаю им чек. Джеральдина страшно обрадуется.

Все складывалось чудесно, так оно обычно и бывает, когда хорошо спланируешь. Тина, конечно, проницательна, но даже она не знала, а лишь смутно догадывалась, насколько тщательно — и во имя чего — он все продумал.

Дело было в том, что он решил выдать ее замуж за Престона Хиббарда. На этом строились и его планы, и его тактика. Он помнил оброненную Хиббардом фразу о том, что тот обычно проводит лето в штате Мэн, поэтому считал Кейп-Код самым подходящим местом: он достаточно отдален от штата Мэн, чтобы не вызвать у Хиббарда каких-либо подозрений (кстати, вполне обоснованных) насчет того, что ему навязывают соседство, и в то же время достаточно близок от Бостона, чтобы быстро доехать оттуда на автомобиле. Как-нибудь в июле, предпочтительно не в субботу и не в воскресенье, Джордж пригласит Хиббарда на Кейп-Код для неофициальной беседы об условиях передачи наследства, завещанного Пеном школе св. Варфоломея и Принстону. Джордж не пользовался правами душеприказчика брата, но он был лучше других осведомлен о его ценных бумагах и прочих инвестициях.

Жизнь с путевым обходчиком помогла Тине освободиться от иллюзий молодости, и это отчасти способствовало тому, что в ее взгляде появилась искушенность, которую Престон Хиббард, вероятно, уже привык видеть у бостонских девушек. В то же время она была исключительно хороша собой. Ничто не ускользнуло от придирчивых глаз отца, который повидал в своей жизни достаточно женщин разных возрастов. Рост у нее для девушки был высокий (но в двадцатом веке девушки вообще, кажется, отличаются высоким ростом), ноги длинные, но стройные, грудь высокая и упругая. Она носила модную прическу: свои светло-русые, почти белокурые волосы очень коротко стригла на затылке и по бокам, почти под мальчика, и только спереди оставляла большую волну. Эта прическа ей очень шла. Престона Хиббарда ждало нечто большее, чем он заслуживал; с другой стороны, должен же у него быть какой-то стимул, чтобы жениться не на девушке из Бостона. Тине или ее отцу предстояло столкнуться с сопротивлением двоюродных сестер Престона Хиббарда, поскольку местный обычай не возбранял родственных браков, поэтому ей, как иногородней, нужен весь арсенал достоинств. К тому же она была племянницей Пенроуза Локвуда, и это обязывало ее быть чем-то из ряда вон выходящим. Правда, ее положение облегчалось тем, что у Престона Хиббарда был экстравагантный брат, всегда готовый выкинуть что-нибудь очень скандальное, но его протест против условностей морали пока еще не стал объектом внимания полиции и прессы.

Джордж Локвуд счел своим долгом помочь дочери определить ее будущее. Несмотря на жизненный опыт, который она недавно обрела, Тина оказалась не способной решиться на шаг, отвечавший ее же интересам. А время шло. Без деликатного вмешательства отца ее могли проглядеть, и тогда она осталась бы незамужней и бездетной, а достигнув тридцатилетнего возраста, превратилась бы в женщину из тех, что в одиночестве ходят на симфонические концерты и заводят любовников, ничем не отличающихся от ее путевого обходчика.

За неделю пребывания на Кейп-Коде Тина не стала красавицей, но похорошела. Волосы ее от морского ветра и солнца выцвели, а кожа сделалась бронзовой.

Пришло время приглашать Престона Хиббарда, и многое зависело теперь от того, как это осуществить; но это уже был вопрос тактики, а искусством маневрирования Джордж Локвуд владел превосходно. Он знал, что Престона Хиббарда не так-то легко провести, и это придавало его предприятию еще большую прелесть.

«Если Вам будет удобно приехать в ближайшую среду,— писал он Хиббарду,— то мы сначала искупаемся и перекусим, а потом, во второй половине дня, займемся делами. Таким образом, Вы успеете еще засветло уехать в Бостон. Уверяю Вас, что нам никто не помешает, поскольку моя жена и дочь предполагают уехать на весь день в Эдгартаун».

Разумеется, отъезд Джеральдины и Тины он спланировал заранее.

— Я буду признателен, если вас, дамы, в среду здесь не будет. Из Бостона приезжает один молодой человек для переговоров об имуществе Пена, так что нам целый день придется разбираться в его акциях и других ценных бумагах. Мы вместе пообедаем, а часам к четырем я от него освобожусь.

— Мы можем поехать на весь день в Бостон,— предложила Джеральдина.

— Можно в Бостон, а можно и на винодельческий завод,— сказал Джордж.— Это гораздо ближе, да и прогулка на катере доставит вам удовольствие. Меня же сейчас интересует только одно: поскорее покончить с этим делом.

— Что это за страшилище, которое ты от нас скрываешь?— спросила Тина.

— Это не страшилище. Его зовут Престон Хиббард. Он исполняет обязанности казначея в школе святого Варфоломея и едет сюда исключительно по делу.

— Я знаю Престона Хиббарда,— сказала Тина.— Он учился вместе с Бингом. Мы с ним как-то раз виделись.

— И я его видела,— сказала Джеральдина.— Он приезжал в Шведскую Гавань. Ты не считаешь, что было бы хорошо предложить ему заночевать у нас?

— Нет. Я не хочу выходить за рамки деловых отношений. Уверен, что и он тоже.

— Поедем в Нантакет,— предложила Тина.— Я там никогда не была.

— Хорошо,— согласилась Джеральдина.— У меня там есть знакомые. Пойду выясню насчет катера. Мы можем так рассчитать время, чтобы к концу дня вернуться.

Престон Хиббард приехал на своем двухместном «додже» через полчаса после того, как Тина и Джеральдина отбыли на катере.

— Жена жалела, что не увидит вас,— сказал Джордж.— Но я объяснил ей, что вы человек занятой.

— Мне тоже жаль, что я не застал ни ее, ни вашу дочь.

— Как доехали? Полагаю, по этой дороге вы ездили уже не раз.

— Да, довольно часто. Мне тут каждый камень знаком.

— Тогда можем сразу же пойти купаться. Плавки взяли?

— Да. И знаю, где переодеться.

— Так вы здесь уже бывали?

— Бывал. Однажды мы с братом, когда еще были маленькими, гостили здесь, и Генри нечаянно устроил пожар в сарае для инструментов. Больше нас сюда уже не звали.

— Вот почему мистер Уайт не сдает свою дачу семьям с маленькими детьми,— сказал Джордж.

— С тех пор прошло почти двадцать лет, а мистер Уайт и сейчас еще не кланяется ни мне, ни брату.

— Ну что ж, давайте переоденемся,— предложил Джордж.— И смоем наши грехи холодной морской водой.

Вода оказалась действительно холодной, а для Джорджа — даже слишком. Он окунулся несколько раз и поспешил на берег. Сидя на солнцепеке, он смотрел, как Хиббард резвится на волнах прибоя.

— После штата Мэн здешняя вода кажется почти теплой,— сказал Хиббард.

— По-моему, вы бравируете,— сказал Джордж.

— Может быть.

— Конечно бравируете. Ну, накупались?

— Достаточно, чтобы проголодаться.

— Тогда пошли к столу.

Стол был накрыт на террасе, обнесенной металлической сеткой. Подали омара по-ньюбергски, рис, зеленую фасоль, землянику и кофе.

— Я знал, что у Локвудов меня хорошо покормят,— сказал Хиббард.— И, по-моему, я оценил это по достоинству.

— У нас в Пенсильвании любят поесть. Мой дед говорил: «Никто от нашего стола не уйдет голодным».

— Рад видеть, что вы продолжаете эту традицию.

— У нас их не так много. Ну, если вы готовы, то я велю убрать со стола. Работать мы можем здесь же. По-моему, это лучше, чем в доме. Извините, я схожу за бумагами брата.

Было два часа дня. Джордж знал, что подробный разбор финансовых дел Пена затянется далеко за четыре часа, а Тина и Джеральдина должны вернуться самое позднее в четыре тридцать. В течение последующих двух часов он рассказал Престону Хиббарду историю капиталовложений Пенроуза Локвуда, и не успел он кончить, как к парадной двери подкатил «паккард».

— Как хорошо, что вы еще не уехали,— обрадовалась Джеральдина.— По-моему, с нашей дочерью вы знакомы.

— Это было давно,— сказала Тина.— Не притворяйтесь, что помните меня.

— То, что мы знакомились с вами — помню, но с тех пор вы сильно изменились,— сказал Хиббард.

— Ну, не будем вам мешать,— сказала Джеральдина.— Продолжайте вашу работу.

— Пойду выкупаюсь,— объявила Тина.— Никто со мной не хочет?

— Опять в эту ледяную воду? Ни за какие деньги. Но если мистеру Хиббарду охота снова порисоваться, то пусть идет. Сегодня мы все равно не кончим, Хиббард. Боюсь, что придется вам приехать еще раз.

— Почему бы вам не заночевать? — спросила Джеральдина.

— Потому что у него есть другие дела.

— Не очень-то гостеприимно с твоей стороны,— упрекнула его жена.

— Я и так обязан мистеру Хиббарду за то, что он приехал, и не могу быть навязчивым. Тем более что весь завтрашний день, я уверен, он будет занят.

— Весь завтрашний день я буду занят, но это не значит, что я не могу у вас заночевать,— возразил Хиббард.— Если вы не против, то я останусь.

— Конечно не против. Значит, после ужина мы сможем продолжить работу?

— Да. Или, может быть, я приеду в другой раз. А сейчас выкупаться хочу. Вода теперь наверняка потеплела, мистер Локвуд.

— Но для меня — недостаточно. Я дам вам другие купальные трусы. Ваши, наверно, еще не высохли.

Весь фокус был в Эрнестине: это она мгновенно приковала к себе внимание Хиббарда, и, когда она предстала перед ним в купальном костюме, размахивая белой резиновой шапочкой и явно желая поскорее окунуться в воду, Хиббард покорно пошел за ней. А Хиббард был не из породы покладистых.

Они отсутствовали почти два часа. Не так уж было важно, о чем они говорили, но когда они вернулись, Джорджу показалось, что Тина держится с намеренным безразличием, в то время как Хиббард всячески старается ей угодить.

— Какого размера рубашки вы носите? — спросил Джордж.

— Пятнадцать с половиной.

— Значит, одного со мной размера,— сказал Джордж.— Я дам вам пару сорочек: одну для сегодняшнего вечера, другую — для утра. Моя пижама и нижнее белье будут вам впору. Ужин в семь тридцать. Сейчас покажу вам вашу комнату.

— Надеюсь, я не причиняю вам неудобств, мистер Локвуд,— сказал Хиббард.

— Нет. А что?

— Сказать вам по совести, Тина предупредила меня, что вы слишком перетрудились и приехали сюда отдохнуть. Она заставила меня обещать, что сегодня я больше не сяду с вами работать.

— Тина — большая умница. И очень мне помогла. Около семи мы собираемся на коктейль. На этой же террасе. Но вы приходите когда угодно.

Как до, так и во время ужина Престон Хиббард всячески старался расположить к себе Джеральдину. Ему явно хотелось перетянуть ее на свою сторону. Джордж догадывался, зачем ему это было нужно: он хотел продолжить знакомство с Тиной. Обращаясь к Джеральдине, он рассказывал смешные истории о своих прошлых посещениях этого дома и не забывал подносить зажженную спичку, когда та доставала очередную сигарету. Эти маленькие знаки внимания нравились Джеральдине, она чуть не мурлыкала от удовольствия.

— У нас есть билеты в летний сад на Ист-Сандвиче,— сказала Джеральдина.— Можете воспользоваться, если хотите. Не знаю, что там идет, но можно позвонить и узнать.

— Я знаю,— сказала Тина.— «Летучая мышь».

— Я знаю эту вещь,— сказал Хиббард.— Хотите посмотреть?

— Можно,— согласилась Тина.— Если не понравится, уйдем.

— Тогда быстрее допивайте кофе,— заторопила их Джеральдина.— Они начинают рано. Когда вы вернетесь, я, наверно, буду уже в постели, так что заранее желаю вам доброй ночи.

— А утром я вас увижу, миссис Локвуд? — спросил Хиббард.

— Боюсь, что нет. Так что заодно и попрощаемся. Но вы приезжайте снова, и скорее. Не ждите специальной оказии. Приезжайте — и все, в любое время.

Когда они уехали, Джеральдина сказала:

— Тебе следовало бы поощрить их дружбу, Джордж.

— Можно спросить почему?

— Потому что Тине нужен такой человек, как он. Возможно, он скучноват, но у него хорошие манеры и он *надежен*, если ты понимаешь, что я имею в виду. К тому же он увлечен Тиной.

— Увлечен Тиной? Ты слишком торопишься с выводами, должен тебе сказать.

— А разве это так уж невозможно? Сам-то ты всегда знал, когда тебя влекло к девушке.

— Не сравнивай меня с молодым Хиббардом.

— А почему нет? У тебя с ним есть что-то общее.

— Очень мало. Однако если ты считаешь, что Тине он подойдет хотя бы на время, мы можем пригласить его снова.

— Только не откладывай этого в долгий ящик. Она сейчас нуждается в друге. Смотри, как бы ей не подвернулся какой-нибудь тип. И не засиживайся допоздна. Уйди наверх хотя бы до того, как они вернутся. Не мешай им, Джордж.

Джордж ушел наверх, но, когда они вернулись, он еще не спал. Сначала ему послышался шум автомобиля — это был «додж» Хиббарда,— а потом он увидел, как они идут к террасе. Было без десяти минут двенадцать. Спустя два часа шум возобновился: они ходили по кухне, хлопали дверью холодильника, двигали по линолеуму стулья. Потом он услышал их шаги на лестнице. Интересно, насколько он «надежен», этот Хиббард. В эту ночь он спал скверно.

Утром Джордж Локвуд, единственный из всей семьи, спустился вниз позавтракать с отъезжающим гостем.

— В эту субботу вы меня опять увидите, мистер Локвуд,— объявил Хиббард.

— Да? Здесь?

Хиббард кивнул.

— Мы с друзьями поплывем из Марбл-Хед на яхте. Возьмем с собой Тину. Ночь с субботы на воскресенье проведем на Нантакете, а на следующий день прибудем на Вест-Чоп, где пообедаем. В воскресенье будем здесь, и я у вас переночую.

— Неплохо задумано,— заметил Джордж.

— Надеюсь уговорить ее через две недели приехать в штат Мэн. Может быть, вы замолвите словечко за штат Мэн?

— Нет. Но и препятствовать не буду. Тина вольна поступать так, как хочет, и в этом я ее поддерживаю.

— Она очень, очень хорошо про вас говорит. Считает своего отца замечательным человеком.

— Это я считаю ее замечательной девушкой.— Джорджу казалось, что он правильно выбрал момент для того, чтобы скромно выразить свою отеческую любовь.

— Если позволите, то я скажу, что и сам считаю ее такой,— признался Хиббард.

— Рад это слышать. Я хочу, чтобы у нее было побольше друзей по эту сторону океана. Европа — не место для нее, то есть не то место, где надо жить постоянно.

— Она хочет жить за границей?

— Да, так решила. Сюда приехала только из-за меня. Вы ведь знаете, в каких отношениях я с сыном.

— Да.

— Смерть брата подкосила меня сильнее, чем я вначале думал. И Тина это поняла. Я же сказал вам вчера, что она большая умница. Выпейте кофе.

— Нет, благодарю. А сорочку я верну вам в воскресенье.

— Смотрите не забудьте,— улыбнулся Джордж Локвуд.

В течение лета Тина встречалась с Хиббардом не реже одного раза в неделю. В ее непрошеных объяснениях по поводу отлучек из дома было столько недомолвок и умолчаний, что Джордж Локвуд распознал в них признаки завязавшегося романа. Приличия ради она все еще старалась давать ему какие-то объяснения, но когда они оставались вдвоем, уже не находила тем для разговора. Он и не ста-

рался ее разговорить, руководствуясь при этом не столько соображениями деликатности, сколько растущей уверенностью в том, что она еще не дает воли своему чувству. И это самоограничение озадачивало его.

Однажды утром — это было в конце августа — Тина, спустившись к завтраку, обнаружила у себя на тарелке поверх писем небольшой сверток. Это была заказная бандероль с обратным адресом бостонского ювелира.

— Надеюсь, твоя почта интереснее моей,— сказал Джордж.

— Думаю, что да.— Тина взяла с буфета фруктовый нож, взрезала оберточную бумагу, вынула из продолговатой коробочки, обтянутой искусственной кожей, золотые часики и повертела перед глазами отца.

— Впервые вижу у тебя эту вещь,— удивился он.

— Я и сама-то их всего один раз видела. Они были у гравера.

— Можно взглянуть?

— Конечно.

Он положил часики себе на ладонь: браслет из тонкой золотой сетки, циферблат окаймлен бриллиантиками, заводная головка из небольшого рубина.

— Прелестная вещь.— Он повернул часики и вслух прочитал: — «Тина, время уходит. П. Х.» Те же слова он мог написать тебе и на простой открытке,— сказал он, возвращая ей подарок.— А это — далеко не простая открытка.

— Верно, не простая,— согласилась она, разглядывая часики.

— Не хочу ни о чем тебя спрашивать, Тина. Будь я проклят, если спрошу.

— А есть о чем спросить?

— Да, есть. Но я не стану.

— Он хочет, чтобы мы поженились до начала учебного года,— сказала она.

— И ты согласна?

— Кажется, да.

Он засмеялся.

— Кажется, да. А учебный год начинается уже через две-три недели.

— Точнее, через три, если считать от ближайшего вторника.

— Где же состоится бракосочетание, если ты на него согласишься?

— У мирового судьи. Пышной свадьбы в этом году уже не получится, да я и не хотела.

— Могла бы сыграть скромную свадьбу в Шведской Гавани, в кругу двух семей.

Она покачала головой.

— Женятся-то не семьи, папа, а только Прес и я.

— Меня там тоже не будет?

— Боюсь, что нет. Я не пытаюсь скрывать что-нибудь. Просто я сама еще ничего не решила. Но когда решу — если решу,— то уеду отсюда. И в следующий раз, когда увижу тебя, буду уже замужем.

— И Престон тоже этого хочет?

— Он-то как раз и хочет.

— А его родители?

— Родителям он еще ничего не сказал. Я познакомилась с ними со всеми, кроме брата, который в Мексике. Они видели меня, так что, когда их известят о браке, смогут сказать, что знают меня, знают, что я белая, молодая и не чудовищно безобразная.

— Я обещал не спрашивать тебя, а сам только и делаю, что спра-

шиваю,— сказал Джордж.— Но вот единственный, в сущности, важный вопрос: почему ты никак не можешь решиться?

— На этот вопрос столько ответов, что я не знаю, какой из них правильный. Какой настоящий.

— Значит, я не так сформулировал свой вопрос. Ты его любишь?

— Нет.

— Потому что боишься полюбить?

— Возможно. Ты думаешь, меня смущает то, что случилось со мной за границей?

— Я этого не сказал, Тина. Я лишь спросил, боишься ли ты полюбить его.

— Я не боюсь любви, папа. Я просто его не люблю.

— Тогда на чем же будет основан ваш брак?

Она помолчала.

— На общности взглядов. Дружбе. Товариществе. Чувстве солидарности.

— Так я и думал. Этого я как раз и боялся.

— Чего боялся?

— Ты сама знаешь, Тина. Давай говорить честно, нас никто не подслушивает. Я целиком за этот брак, если ты его хочешь, но ты должна знать точно, на что идешь.

Она улыбнулась с довольным видом, чего отец никак от нее не ожидал.

— Молодец, папа.

— Я — молодец?

— А он все гадал, помнишь ли ты. Оказывается, помнишь. Он так и думал, но не был до конца уверен. Я была убеждена, что помнишь, потому что ты никогда ничего не забываешь.

— Не задавай мне загадок, барышня.

— В первый раз, когда Прес был здесь, он рассказал тебе о своей дружбе со школьным преподавателем физкультуры.

— Рассказал. Не мог же я этого забыть.

— И ты, естественно, решил, что это — не простая дружба.

— Да, решил.

— Ты был прав. И Прес не знает, излечит ли его наш брак.

— Я могу сказать тебе, Тина. Не излечит, если ты имеешь в виду гомосексуализм. Поэтому ты и боишься выходить за него? Или колеблешься?

— Нет. Наша дружба как раз на этом и зиждется. У него своя проблема, а у меня была своя. Была и осталась... Назову ее деликатно: неразборчивость в связях.

— Один-два романа в Европе,— сказал отец.

— Ха-ха.

— Тебе же всего двадцать шесть лет. Не понимаю, что еще может означать эта твоя «неразборчивость в связях».

— Не для разговора за завтраком, папа. За всю жизнь у меня был только один *настоящий* роман — с путевым обходчиком. Единственная связь, длившаяся достаточно долго, чтобы назвать ее романом. Вот почему я так расстроилась, когда она порвалась. Думала, что нашла человека, который не даст мне превратиться в шлюху, но я все равно стала шлюхой, и он меня бросил. В Соединенных Штатах, где меня, по всей вероятности, будут окружать люди иного сорта, я выгляжу как женщина с клеймом.

— Женщина с клеймом,— повторил отец.— К тому же не с одним.

— Да, не с одним. Три года назад мне сделали операцию, и теперь я не могу иметь детей.

— У тебя был аборт?

— О, это бы еще ничего. Я схватила дурную болезнь, поэтому меня и оперировали. Дядя Пен об этом знал и тетя Уилма знала. Дядя оплатил все расходы. Наверно, поэтому он и оставил мне эти деньги — наличными. Ты ошеломлен. Я по лицу вижу, что ошеломлен.— Она протянула руку через стол и коснулась его руки.— Отпусти меня за границу, папа.

Он покачал головой.

— Нет.

— Если скажешь «уезжай», то я уеду. Иначе выйду замуж за Преса.

— Он обо всем этом знает?

— Почти все. Самое худшее я ему сказала. Да ему и о себе было что рассказать.

— Я думаю,— согласился отец.

— Большинство людей вступает в брак в надежде на что-то хорошее, светлое. У нас же нет почти никаких надежд.

Он погладил ее по руке.

— Не заблуждайся насчет большинства. Бывают случаи и похуже.

— Ты уже не радуешься браку так, как несколько минут назад?

— Не знаю,— ответил он.— Не было времени подумать. Но *отправлять* тебя за границу я во всяком случае не собираюсь. И не пытайся перекладывать это на мои плечи, Тина. Будь твой дядя Пен сейчас жив, он бы знал, что ответить. А я не знаю.

— Не обижайся на меня за то, что я обратилась тогда к дяде Пену. Обратиться к тебе я не посмела. Полгода назад я бы сюда не приехала. Но теперь я здесь и спрашиваю, что мне делать.

— Что бы я тебе ни посоветовал, Тина, ничто не пойдет на пользу, если ты не захочешь серьезно пересмотреть свою жизнь. Можно, конечно, обратиться к психологам и специалистам по психоанализу, но я не знаю, велика ли от них может быть помощь. Зато я знаю, откуда все это взялось.— Он подпер рукой подбородок.— Знаю, откуда эти глаза. Эти скулы. Форма твоей головы.— Он опустил руку.— И совершенно точно знаю, откуда все остальное — и хорошее, и плохое. Сомневаюсь, чтобы кто-либо способен был изменить тебя. Да я и не хочу, чтобы менял.

Она вдруг разразилась слезами и выскочила из-за стола. Они сказали друг другу все, что в силах были сказать, и теперь она воспользовалась правом женщины отдаться чувству более сложному, чем все ее прежние чувства.

Заведенный в доме порядок заявил о своих правах и не дал Джорджу погрузиться в размышления о прошлом. Кухонная дверь распахнулась и впустила кухарку.

— Разве мисс Тина не будет завтракать? — спросила она.

Но он не собирался ей отвечать. Мэй почти такая же кухонная принадлежность, как посуда, только одушевленная. А наверху Тина, она страдает, и он ничем не может ей помочь. Сознание неспособности придумать что-то, найти средство вывести ее из состояния отчаяния угнетало его. В первый и единственный раз в жизни ему пришла в голову мысль увезти ее в какую-нибудь неведомую страну, где они могли бы начать жизнь заново. Но он знал, что такой страны нет, и сама мысль об этом лишь подтверждала его беспомощность.

Взяв с собой бостонские и нью-йоркские газеты, он перешел с террасы в комнату, которую супруги Уайт именовали салоном, и сел на диван. Он рассеянно смотрел в газету, сам же в это время терзался мыслью о дочери. Как она обнаружила, что заразилась венерической болезнью? По всей вероятности, со слов других: ей сказали, что она

заразила кого-то. Если так, то, значит, есть на свете мужчина, который презирает ее. И теперь она всю жизнь будет знать, что такой человек есть и что рано или поздно он может сказать кому-нибудь: «Тина Локвуд наградила меня триппером»; пусть даже не скажет, а только шепнет — все равно она узнает и всегда будет этого бояться. Придет время, найдется еще мужчина, который сделает ей предложение, а она вынуждена будет ответить: «Я не могу иметь детей». И при этом непременно объяснит, почему не может, иначе она не была бы Тиной.

Но для Престона Хиббарда это, кажется, не имеет значения...

Джордж Локвуд отложил в сторону газету и отправился наверх, к дочери. Постучав в дверь, он сказал:

— Это я. Отец.

— Не надо,— вяло откликнулась она, но уже в этой короткой фразе слышалась трагическая нотка.

Дверь была не заперта, и он вошел. Она сидела, понурив голову, в кресле-качалке. Он закрыл за собой дверь, подошел к ней и положил ей на голову руку.

— Я подумал, Тина.

— Не утруждай себя, папа. Я уже сама все обдумала. Мне надо уезжать.

— Я на твоем месте поступил бы иначе. «Время уходит».— Она подняла на него глаза, потом с трудом перевела взгляд на часики, лежавшие у нее на туалетном столике. Он кивнул.— Да, я имею в виду его. Я хочу, чтобы ты поехала к нему. Сегодня.

— А потом что?

— И вышла бы за него замуж.

Она выпрямилась в кресле.

— Ты, должно быть, не очень внимательно меня слушал.

— Напротив, я слышал каждое слово, и, что еще важнее, *он* слышал, когда ты *ему* все это рассказывала. Сейчас важно не то, что я думаю, а эти вот часики и слова, которые он на них написал. Ты знаешь, где он сегодня?

— Сегодня? В школе.

— Поезжай туда. Без предупреждения. Просто так. Даже если этот брак продержится всего несколько лет, Тина, все равно вам обоим это будет на пользу.

— Почему ты так считаешь?

— Потому, что вы этого хотите. Причина достаточно основательная. Или ты хочешь, чтобы я назвал более высокий мотив? Могу назвать.

— Таких мотивов я не знаю,— сказала она.

— Однако он есть. Даже два: он нуждается в тебе, а ты — в нем.

— Это и есть высокие мотивы? Здесь только эгоизм.

— Извести нас телеграммой,— сказал он.

— Он никогда не сможет сказать, что не знал, на что идет. Правда, папа? — Эти слова прозвучали как заклинание.

Они поженились на следующее утро в Сентрал-Фолс, штат Род-Айленд, где закон разрешал регистрировать браки сразу. Телеграмма гласила:

ВРЕМЯ НЕ УХОДИТ. ПОЖЕНИЛИСЬ СЕГОДНЯ В ДЕСЯТЬ УТРА. ЦЕЛУЕМ КРЕПКО. ПРЕС И ТИНА.

Когда ее принесли, Джордж и Джеральдина обедали.

— Конечно, ты об этом знал,— сказала Джеральдина.

— Это же я собирался тебе сказать.

— Но я сказала первая. Знал?

— Догадывался.

— Доволен? Ну конечно, доволен. Да?

— Еще бы. Более приятной вести не могу себе представить.

— Я с самого начала этого хотела.

— Верно. И я это видел.

— Интересно, где они будут жить. Ты думаешь, он останется в школе святого Варфоломея? Просто не представляю себе, каково это — жить в окружении сотен парней, наслушавшихся разговоров о сексе... Хорошо бы ей поскорее родить ребенка.

— Почему ты так думаешь? — спросил он, избегая ее взгляда.

— Ты не хуже меня знаешь, что она не девушка. Будь у меня дети, я бы чувствовала себя совсем иначе.

— Не сомневаюсь. Но согласись, что бывают женщины, которые ведут полезный образ жизни, не приумножая население.

— Полезный кому?

— Самим себе и мужчинам, с которыми они спят. Уилме, например, без детей лучше. Как и всему человечеству. Не говоря уж о детях, которые могли бы родиться.

— К твоему сведению, Уилма отнюдь не образец добродетели. Мне пришлось изменить свое мнение о ней.

— Оно никогда не было очень лестным.

— Верно. А теперь стало еще хуже. Не спрашивай почему.

— Почему?

— Не скажу. Вот видишь, сколько бы ты ни размышлял, ни анализировал, а многое еще остается для тебя незамеченным.

— Ничто не остается для меня незамеченным. Ничто.

— Я вижу, у тебя неплохое настроение. Ты, конечно, радуешься за Тину.

— Конечно. Тем более что я же все и устроил.

— Нет, ты невозможен, просто невозможен! Уж если кто устраивал, так это я.

— Я благодарен тебе. Твоя роль была небольшой, но ты сыграла ее хорошо. И очень мне помогла. Я должен наградить тебя достойным подарком.

— Не надо мне никаких подарков. Лучшей наградой мне служит твое хорошее настроение. Уж и не помню, когда видела тебя таким в последний раз.

— И все же подарок будет. Завтра в Нью-Йорке найду для тебя что-нибудь сногсшибательное.

— Ты едешь завтра в Нью-Йорк?

— Да. Заседание кондитерской фирмы. Хочешь со мной?

— Спасибо. Променять эту чудесную погоду на жаркий, душный Нью-Йорк? Нет уж. Я бы не прочь пробыть здесь до первого октября.

— Даже когда начнется сезон ураганов?

— Может, обойдется и без ураганов.

— Верно. Но если мы останемся до первого октября, кто-то из нас должен будет съездить в Шведскую Гавань и проверить.

— Что проверить?

— Все ли в порядке. Мы ведь хотели вернуться домой одиннадцатого сентября, но раз возвращение откладывается на три недели, то я съезжу туда и проверю, не случилось ли чего за лето. Заодно договорюсь со сторожем и садовником — пусть они продолжают за всем присматривать. Надо быть готовыми к первому визиту Тины и Хиббарда. Потом, разумеется, пригласим его родителей и к ним съездим. Хорошо бы устроить званый вечер. Сделаем обед и гостей побольше пригласим. В ноябре. Как ты думаешь?

— Или бал. В нашем доме еще не было ни одного бала. Не можем же мы без конца напоминать людям о Пене и Мэриан Стрейдмайер.

Устроим бал на рождество. Пригласим гостей из Бостона и оркестр Эмиля Коулмена.

— Хорошие вечера получаются либо экспромтом, под влиянием минуты, либо по заранее разработанному плану. Я предпочитаю план. Вот съезжу в Шведскую Гавань и вернусь с кучей идей.

■

Дэйзи Торп, преемница Мэриан Стрейдмайер в конторе фирмы «Локвуд», стояла у стола Джорджа с карандашом в руке и ставила галочки против записей в блокноте.

— И последний по счету, но не по значению,— мистер Эдмунд О'Берн. Звонил вам два раза вчера и два раза позавчера. Сказал, что будет звонить еще сегодня утром, но не позвонил. При желании вы можете связаться с ним по телефону Уоткинс-2044, но если он в том же состоянии, в каком пребывал во время разговора со мной, то вы ничего от него не добьетесь.

— В состоянии опьянения? — спросил Джордж.

— Мягко выражаясь. Я отказалась дать ему ваш дачный телефон.

— Благодарю вас. Если он будет звонить, скажите, что меня нет. Хотя подождите! Позвоните нашему маклеру и узнайте последнюю котировку акций под названием «Магико». На нью-йоркской фондовой бирже они не котируются.

— Сейчас?

— Пожалуйста.

Он ждал, пока она поговорит с маклером. Торп повесила трубку и сообщила:

— А вы знаете, они котируются на фондовой бирже. Вчера перед закрытием курс был девяносто два с половиной, а сегодня после открытия — девяносто три.

— Гм.— Джордж вспомнил о разговоре с Недом О'Берном во время их последней встречи. Название акций запомнить было легко: «Магико. Радиокомпания». Цифры, которые О'Берн называл, Джордж уже забыл, но он вспомнил, что тот намеревался выйти из игры, как только курс достигнет сорока-пятидесяти пунктов.

— Соедините меня с О'Берном,— распорядился он.

— Насколько я помню, это телефон бара, мистер Локвуд.

— Я знаю. Вы там бываете?

— Каждый воскресный вечер.

— Странно, что мы там ни разу с вами не встретились.

— Я совсем недавно стала туда ходить. С тех пор как переехала на новую квартиру.— Она назвала телефонистке номер и попросила О'Берна.

— Нед? Джордж Локвуд. Мне только что сообщили, что ты звонил. Как у тебя дела?

— Ты на даче или в городе?

— У себя в конторе. Ты звонил?

— Можешь ты со мной сегодня поужинать?

— Сегодня как раз свободен. Где и во сколько?

— Буду ждать тебя у дома сорок два на Сорок девятой западной в семь часов. Жена с тобой? Тогда я закажу столик.

— Я один. А ты?

— И я один,— ответил О'Берн.— Но это можно будет поправить, только сначала поговорим.

— Ну, там видно будет.

Весь остаток дня Джордж гадал, зачем он понадобился О'Берну. Голос Неда, когда тот говорил по телефону, звучал уверенно, что имело, по-видимому, прямое отношение к высокому курсу акций «Маги-

ко». Но лицо О'Берна, когда они встретились в семь часов на Сорок девятой улице, явно свидетельствовало о недавней попойке.

— Я не послал тебе соболезнования по поводу смерти брата, потому что не знал его. А еще потому, что ты не написал мне по поводу *моего* брата.

— А что стряслось с твоим братом? — спросил Джордж.— Я ничего не знаю.

— Ты не знаешь? Он упал в метро на рельсы, прямо под колеса поезда. Это случилось за несколько недель до смерти твоего брата. В газетах об этом писали. Всего несколько строк. Погибла звезда принстонского футбола.

— Извини, Нед. Возможно, это было как раз в тот день, когда нью-йоркские газеты опоздали к поезду. Тем не менее ты мог предположить, что я об этом потом узнал.

— Этого я не предполагал, так что прощаю тебе. Я не поэтому тебе звонил. И не для того, чтобы просить взаймы. С деньгами у меня, к счастью, все благополучно. Ты, наверно, уже не помнишь, но когда мы виделись с тобой в последний раз, я говорил тебе, что мне подсказали одну идейку. Так вот, дельце оказалось выгодным.

— Что-то припоминаю.

— Давай сядем, Джорджи. Можно за этот столик? Еще по стаканчику, пожалуйста.

Они сели.

— Буду с тобой откровенен, Джордж. Не сразу я на это решился, не знал, как и быть. Думал, думал, а потом пришел к выводу, что в общем-то мы ведь с тобой довольно близкие друзья. Были друзьями по колледжу, и хотя видимся теперь редко, но я все еще считаю тебя своим другом. Скажи мне, много ли ты знаешь о своем чаде?

— Ты имеешь в виду дочь или сына?

— Сына. Его, кажется, Бингом зовут?

— Да,— ответил Джордж.— Мы с ним не очень близки. Он живет в Калифорнии, и с тех пор, как он распростился с университетом, я видел его один-единственный раз. Он приезжал на похороны моего брата. Знаю только, что он зарабатывает уйму денег.

О'Берн кивнул.

— И ждет неприятностей.

— Какого рода?

— Я был там прошлой зимой. Провел в Калифорнии месяц, знакомился с людьми, связанными с нефтяными предприятиями. Помнишь, был в Принстоне парень по имени Джек Мэрфи?

— Что-то не припоминаю. Джек Мэрфи. Имя и фамилия довольно распространенные.

— На курс моложе нас с тобой. Мы с ним не были особенно дружны, но он ирландец, поэтому оба мы чувствовали себя в Принстоне так же, как ты и Харборд чувствовали бы себя в Фордхеме. Прошлой зимой я разыскал его, и он принял меня весьма любезно. Гостеприимно. Спросил о тебе и, конечно, интересовался твоим братом. Я не мог сообщить ему никаких подробностей, из чего он заключил, что мы с тобой не такие уж приятели, и поэтому говорил со мной откровенно. Он сказал, что у тебя там сын — чего я не знал — и что этот Локвуд дождется своей очереди: быть ему ославленным в газетах. Ты что-нибудь об этом знаешь, Джордж?

— О том, что его ждут неприятности, ничего не знаю. А что за неприятности?

— Мэрфи сказал, что если твой сын не получит пули в лоб от какого-нибудь ревнивого мужа, то может получить ее от одного из нефтяных дельцов.

— От ревнивого мужа — возможно. Это меня не удивит. А вот от дельца — это уже удивительно. Мне казалось, что в кругах нефтяников он завоевывает себе имя.

— Еще какое,— усмехнулся О'Берн.— Мэрфи и кое-кто из тех, с кем я познакомился, говорят, что в мире нефтяного бизнеса разного рода грязные махинации — далеко не редкость и твой сын овладел ими в совершенстве. Вначале кто-то, видимо, помог ему нажить на законных основаниях солидный капитал.

— Отец его приятеля,— сказал Джордж.

— Но этим он не удовольствовался. Да разве он исключение? В его возрасте...

— Не пытайся его оправдывать, Нед. Ты только запутываешь дело. Продолжай.

— А я, может, и себя оправдываю,— возразил О'Берн.— Одним словом, он пошел на мошенничество. Так мне сказал Мэрфи. Твой сын открыл собственную фирму по разведочному бурению скважин. Закупил или взял напрокат большое количество инструмента и стал предлагать свои услуги тем, кто арендовал земельные участки, но не мог оплатить бурильные работы. Подрядился пробурить скважину на участке некоего... предположим, Смита. Фамилия не имеет значения. Словом, прошло около двух месяцев. Является он к Смиту и говорит, что у него кончились деньги. У Смита, конечно, их тоже нет. Тогда твой сын заявляет, что вынужден свернуть работы, тем более что дело это вообще будто бы безнадежное. Смит, как водится, огорчился, но заявил, что махнет на это дело рукой и денег добывать не будет. Работы были прекращены, и Бинг начал убирать инструмент.

— И увез?

— Разобрал буровую вышку и все остальное и погрузил на машины. Скважина, мол, пустая. Издержки производства. Может, повезет в другой раз. Слыхал, говорит, об одном участке в Мексике, где можно поискать, а у Смита наверняка никакой нефти нет. А спустя немного времени пришел к этому Смиту другой человек и предложил продать ему этот участок под пастбище по цене несколько долларов за акр. И Смит согласился, так как ему нужны были деньги. А через неделю на этом же месте опять появилась вышка и бурение возобновилось. А через две недели забил нефтяной фонтан.

— И мой сын оказался владельцем нефтяного месторождения? Здорово придумано.

— Да, здорово, если человек согласен жить на положении приговоренного к смерти. Смит угрожает рассчитаться с ним, и тот, понимая серьезность положения, теперь постоянно носит оружие. Без пистолета — никуда. Если возвращается домой вечером, то обязательно проверяет, не подкарауливает ли его кто в кустах.

— Мне кажется, Смит не очень-то умен. Почему он поверил Бингу, когда тот сказал, что скважина пуста?

— Потому, наверно, что знал твоего сына как большого специалиста. До этого случая Бинг пользовался хорошей репутацией.

— Это, видимо, ему и помогло догадаться о наличии нефти,— сказал Джордж.— Я думаю, что если бы Смит нанял хорошего юриста, то мог бы привлечь его к суду за обман. Человек, перекупивший у Смита договор на аренду участка...

— Мелкий фермер. Ничего собой не представляет.

— Но его могут привлечь в качестве свидетеля. Поэтому он может шантажировать. Во всем остальном — блестящая комбинация, а? С точки зрения этики восхищаться тут нечем, но у нефтепромышленников, мне кажется, свои взгляды на этику.

— Я вижу, ты не очень-то этим шокирован,— удивился О'Берн.

— К чему притворяться? Нет, не шокирован. Конечно, хорошо, когда твои дети вырастают порядочными людьми и при этом преуспевают. Но если они не могут быть одновременно и порядочными и преуспевающими, то пусть уж лучше преуспевают. У тебя детей нет, поэтому тебе и не понять.

— Значит, зря я тревожился и все это тебе рассказывал?

— За то, что тревожился, спасибо, Нед. Но сам я не так уж расположен тревожиться. Эгоистично с моей стороны, но если бы он оказался не тем, за кого я его принимал, то я сам оказался бы подлецом. Видишь ли, я ведь фактически отрекся от него. Его выгнали из Принстона за жульничество, и я был очень зол тогда. А он взял да уехал в Калифорнию и занялся там нефтяным бизнесом. Сначала наживал деньги законным путем, а потом стал мошенничать. Значит, я был прав, осудив его так сурово. Честно говоря, Нед, твой рассказ вызвал у меня вздох облегчения.

— Ты всегда был довольно странный,— сказал О'Берн.

— Так же, как и ты. Когда-то мечтал об Ирландии, собирался удить там рыбу и нагружаться ирландским виски. Много было всяких фантазий, в Африку собирался. Что с тобой случилось, Нед? Деньги повлияли?

— Вероятно. Впервые в жизни у меня набралось достаточно денег, чтобы делать то, что хочется. Уехать в Ирландию, например. Но нажив миллион, я захотел иметь два миллиона. И теперь уже вряд ли смогу довольствоваться рыбной ловлей. Этот спорт увлекателен, но не настолько, чтобы променять на него биржевую игру. Я играю очень рискованно, Джордж, так что за какие-нибудь два дня могу спустить все. Возможно, в конце концов я и кончу Ирландией, хотя начинаю в этом сомневаться.

— А что твоя жена обо всем этом думает?

— Ты ведь знаком с Кэтлин,— сказал О'Берн.— Разве она производит впечатление женщины, которая пожелала бы жить в тридцати пяти милях от ближайшей парикмахерской?

— Конечно нет. Иными словами, рыбу удить она с тобой не поехала бы.

— В Дублин поехала бы, особенно если б папа произвел меня в князья. Она прирожденная горожанка и своим привычкам никогда не изменит.

— Ты и сам горожанин,— сказал Джордж.

— Поневоле. Сам-то я мечтаю о домике где-нибудь неподалеку от ирландской деревни и поближе к реке, богатой рыбой. Нанял бы себе глухую старуху, чтобы она стряпала для меня и убирала в доме.

— Почему глухую?

— Потому что предпочитаю как можно меньше разговаривать. Когда приучу ее к этому, то мы сможем молчать неделями.

— В этой идиллии не отводится никакой роли твоей жене,— заметил Джордж.

— Верно. Жена мне нужна в Нью-Йорке — как средство защиты от женщин, ищущих себе мужей. Для меня жена — это все равно что адвокат. Когда у тебя есть адвокат, то другие адвокаты уже не навязывают своих услуг. Да, в моей идиллии нет места для жены. Только для шлюх. Тебе не хочется сегодня встряхнуться?

— Не прочь бы. Но все зависит от того, какая будет женщина,— ответил Джордж.

— Обычная шлюха. Из тех, которые занимаются этим за деньги. Но не дешевая и выглядит соответственно. Здесь же можем и поужинать. С такими не совестно бывать на людях.

— Ужинать я предпочел бы не здесь. Тут я уже заметил двоих

из клуба «Ракетка», причем одного из них — с женой. Лучше уйдем с нашими дамами куда-нибудь в другое место.

Примерно через час все четверо собрались в баре на Пятьдесят пятой улице. Женщины оказались удивительно миловидными. Блондинка, предназначавшаяся для О'Берна, все время улыбалась. Ее звали Элейн, и, судя по всему, они с О'Берном встречались уже не раз. Вторая девица (и той, и другой не было и тридцати) выглядела довольно трагично в черном блестящем шелковом костюме с белой пикейной вставкой, не скрывавшей, впрочем, верхней части груди, в черных шелковых чулках и черных лакированных туфлях.

— Как, вы сказали, вас зовут? — спросил Джордж.

— Анджела Шульц,— ответила она.— А вы как зоветесь?

— Джордж Локвуд.

— Знакомая фамилия. Вы не с побережья?

— Нет, я из Пенсильвании. А что? Вы знаете кого-нибудь из Локвудов с побережья?

— Одного знаю. Он тоже Джордж Локвуд. Но гораздо моложе.

— Довольно распространенная фамилия,— сказал Локвуд.

— Верно. К тому же у вас она, может, и не настоящая.

— Нет, меня так зовут.

Подошел официант. Оказалось, что девицы и без меню знают все дорогие блюда. Блондинка помогла выбрать и вина.

Пока они ели, Джордж все время чувствовал на себе изучающий взгляд Анджелы. Если бы она собиралась купить его, то и тогда, наверно, не могла бы разглядывать внимательнее.

— Этот Локвуд с побережья немного напоминает вас. Или, вернее, наоборот. Вы чем занимаетесь?

— Я финансист.

— Финансист. А в нефтепромыслы вы деньги не вкладываете?

— Нет. Но говорят, что это выгодное дело,— ответил Джордж.

— Кое-кого из людей, связанных с этим бизнесом, я знаю и скряг среди них пока не встречала.

После ужина они побывали еще в двух барах. О'Берну захотелось поехать в Гарлем.

— Боюсь, что вам придется ехать без меня,— сказал Джордж.— Мне завтра рано вставать.

— И без меня,— поддержала Анджела.

— Поехали, посмотрим похабное ревю,— настаивала блондинка.

— Я все уже видела,— сказала Анджела.

— Видела? О да, еще бы,— усмехнулась блондинка.

— Так что просим прощения,— нетерпеливо сказал Джордж.

Мужчины попрощались за руку, а женщины даже не пожелали друг другу доброй ночи. Когда они сели в такси, Анджела назвала Джорджу свой адрес. Она снимала квартиру у Сентрал-парка.

— Я была уверена, что вы не захотите в гостиницу,— сказала она.— Я и сама их не люблю. Начинают узнавать коридорные. На днях одна моя подруга была в казино, и кто, вы думаете, начал к ней там приставать? Коридорный из какой-то гостиницы. Оказался гомиком. Она была там с одним режиссером, так этот гомик, видно, хотел с ним познакомиться. Терпеть не могу эту публику. Между прочим, в вашем клубе они тоже есть.

— В каком клубе?

— Разве ваш галстук не означает, что вы принадлежите к клубу «Теннис и ракетка»?

— Однако вы наблюдательны.

— Я и без галстука догадалась бы, что вы в нем состоите. Точно!

Тот Локвуд, с побережья,— из того же клуба. У него такой же галстук. Ну, открывайте вашу тайну.

— Это мой сын,— сказал Джордж.

— Вы подумайте! Как же тесен мир. В прошлом году был у меня один дружок, так он вызывал меня в самый Лондон. Две ночи в Лондоне — и обратно в Нью-Йорк. Это стоило ему кучу денег. Меньше чем за тысячу я не соглашалась. Я скрыла от него, что на пароходе, на обратном пути, тоже подрабатывала. Четырнадцать дней — четырнадцать сотен, представляешь? Сто долларов — моя такса. Не все же время я буду такой красивой, поэтому и стараюсь зарабатывать, пока могу.

— А потом что? — спросил Джордж.

— Потом, может быть, выйду замуж. Или открою косметический кабинет. Найду человека, который поможет мне с клиентурой. Парикмахеры отлично зарабатывают. Одна перманентная завивка — семь долларов. Видишь, я без перманента? Не потому, что жалко денег. Так больше к лицу. Вот и приехали.

Квартира была небольшая, гостиная обставлена с большим вкусом в колониальном американском стиле. Казалось, ее обставлял и оформлял профессиональный декоратор из фирмы «У. и Дж. Слоун». Единственной вещью, напоминавшей об Анджеле, был ее кабинетный портрет в серебряной раме. На фотографии Анджела была в черном шелковом платье с двумя полосами белой материи, прикрывавшими часть груди.

— У тебя склонность к черному с белым,— сказал Джордж.

— Черта с два. Потому я и не люблю ездить в Гарлем.

— Я имею в виду одежду.

— А, это другое дело.

Когда все кончилось, она угостила его сигаретой и спросила:

— Ты часто бываешь в Нью-Йорке?

— Довольно часто.

— С женой, конечно.

— Не всегда.

— Когда приедешь опять?

— Послезавтра. Буду здесь проездом. Пересадка на другой поезд. Когда приеду потом — не знаю. А что?

— Хочешь, встретимся между поездами? Я буду дома. Или это слишком рано для тебя?

— Пожалуй.

— Несколько часов сна, и ты опять войдешь в форму. Вот мой номер, только смотри не записывай фамилии. Мой телефон знают немногие, к тому же я его периодически меняю.

— Анджела, могу я задать тебе вопрос?

— Сколько угодно, это твое право.

— Тогда — два вопроса. Ты с самого начала старалась отвлечь меня от мыслей о сыне или это тебе пришло в голову уже потом?

— С самого начала. У нас вечер был бы испорчен, если бы ты продолжал раздумывать о сыне. Но так не случилось, верно? Ты сделал мне приятное, а я — тебе. Какой второй вопрос?

— В сущности, ты на него уже ответила. Я хотел спросить, доставляет ли тебе эта работа удовольствие.

— В большинстве случаев — да. Правда, встречаются иногда типы, на которых противно смотреть, но все мы — люди, а деньги не пахнут. Я кладу их в банк. У нашей сестры три заботы: полиция, воровская шайка и дурная болезнь. От болезни меня оберегают врачи — не проходит недели, чтобы я не сходила к доктору. Что касается полиции и воров, то тут мне на помощь приходит один политиче-

ский деятель. В нашем деле без политиканов не обойтись, иначе попадешь в лапы ворюг, а те делают с тобой что хотят. В таких случаях тебя хватает всего на два-три года, после этого ты уже ничего не заработаешь.

— Ты этому деятелю платишь?

— То есть берет ли он деньги себе? Нет. Он слишком важная персона. Деньги-то я ему даю, но они идут в партийную кассу. Для него это мелочь. Но я, конечно, оказываю ему услуги в иной форме.

— Например?

— Например, шпионю за другими политическими деятелями. И за теми, кто не связан с политикой.

— Стало быть, и за мной можешь шпионить?

Она покачала головой.

— О тебе я до сегодняшнего вечера вообще ничего не слыхала. Люди, к которым меня подставляют,— крупные шишки, их все знают. Например, тот человек, что вызывал меня на два дня в Лондон. В июне я ездила в Саратогу на съезд демократической партии. Мне оплатили только расходы, но с тех пор я считаю их своими должниками. Если какой-нибудь полицейский или ворюга начинает меня беспокоить, я сразу же звоню одному человеку — и все.

— А с теми, кто не занимается политикой, ты заключаешь контракты?

— То есть нанимаюсь ли я к кому-нибудь в шпионки?

— Я имел в виду сбор информации.

— Ты хочешь, чтобы я для тебя шпионила? За кем? За кем-нибудь из твоих приятелей?

— Не совсем так,— сказал Джордж.— Меня интересует молодой человек, только что женившийся на моей дочери.

— Какого черта тебе за ним-то шпионить? Раз твоя дочь вышла за него, то советую тебе оставить их в покое. Вдруг я узнаю про нее что-нибудь такое, что будет тебе неприятно. Следить за политиканами и шишками — пожалуйста. А молодых не трогай.

— Что ж, Анджела, спасибо тебе за приятный вечер. Никак не ожидал, что так получится. Далеко не всегда ужины с университетскими товарищами завершаются столь удачно.

— Ну, ладно. Так позвонишь мне, когда будешь здесь проездом? Номер телефона я тебе дала.

— Послезавтра в половине одиннадцатого, если это не слишком рано для тебя.

— А не можешь в половине двенадцатого?

— Очень хорошо. В половине двенадцатого.

— Впрочем, зачем откладывать на послезавтра? Давай встретимся завтра. Сейчас поеду в гостиницу, немного посплю, потом отправлюсь поездом в Пенсильванию. И сегодня же ночью в спальном вагоне обратно. Думаю, мне потребуется некоторый дополнительный отдых, но в половине двенадцатого я тебе позвоню. Итак, до завтра.

— Не забудь. Ты мне нравишься.

— Рад это слышать. Ты мне — тоже.

— О, я ни капельки тебе не верю. Наверно, ты ужасный пройдоха, но мне ты все равно нравишься. Не думай, что я говорю эти слова многим. Скажу тебе откровенно: твой сын мне не понравился.

— Он и мне не очень нравится, Анджела.

— Не удивляюсь. Ну, а теперь уходи, а то я сейчас опять за тебя возьмусь и тогда уж ты не поспишь сегодня совсем.

— Ты очень мила, Анджела. Надеюсь, мы еще не раз встретимся.

— Конечно. Жаль расставаться, но ведь уже без десяти четыре. Скоро рассветет.— Анджела обняла его, поцеловала и подала шля-

пу.— Ну, убирайся.— Она взяла его под руку, вывела в холл и заперла дверь.

Всю дорогу, пока Джордж ехал на такси в гостиницу, он пребывал в состоянии эйфории, истинной причины которой не знал. Он вспомнил, что такое же ощущение счастья он испытывал однажды после встречи с чувственной Элали Фенстермахер. И вот теперь, спустя тридцать лет, он влюбляется в настоящую проститутку. Ну, какой подвох может устроить ему проститутка?

И в Шведской Гавани, и в Гиббсвилле он занимался своими делами, следуя намеченному плану. Артур Макгенри был, по обыкновению, деловит — толково, кратко он дал своему клиенту необходимые объяснения относительно бумаг, которые тому надлежало подписать. И с делами, и с ленчем было покончено еще до половины третьего.

— Я позволил себе взять для вас напрокат автомобиль,— сказал Артур.— Великолепный двухместный «бьюик». Пять долларов в день. Вечером, когда он вам будет не нужен, можете его оставить здесь, а ключ передать любому дежурному. Если вам еще что-нибудь будет нужно, можете найти меня в конторе. Если захотите поговорить с Джо Чэпином, то он до четырех будет в суде, а около пяти тоже приедет в контору.

— Вряд ли что понадобится,— ответил Джордж.— Вы, как обычно, мастерски все провернули.

— Все это можно было бы поручить простому служащему, но я люблю сам проверить, чтобы не подкопались ваши нью-йоркские юристы. Допускаю, что мы с Джо провинциалы, но нам не хочется, чтобы об этом узнали в Нью-Йорке. Вы ведь разбираетесь в этих долговых обязательствах и знаете, что мы относим издержки за счет вдовы Пена?

— Спасибо, Артур. Недели через три увидимся.

Но через три недели ему уже не суждено было ни с кем увидеться.

■

Он поставил взятый напрокат «бьюик» у запертого гаража и заглянул в окно: внутри на подставках стоял покрытый брезентом «линкольн». Одетый в саван, на высоких чурбаках, автомобиль казался громадным. Джордж отметил про себя, что надо будет обменять его на новый лимузин. Брустер только что начал выпускать машину городского типа на фордовском шасси — шикарная штука, она должна понравиться Джеральдине. Подарки такого рода будут компенсировать ей перемену в его отношении к ней. Сколько времени потребуется, чтобы она убедилась в этой перемене? Конечно, немного. Но он не расторгнет брака, он останется таким же вежливым и щедрым и будет, вероятно, по-прежнему спать с ней, потому что о женитьбе на Анджеле не может быть и речи. Если Джеральдина начнет скандалить, устраивать хотя бы мелкие ссоры, он что-нибудь предпримет, а пока еще рано загадывать вперед. На очереди — подготовка к рождественскому балу в честь Тины и ее мужа. Пока что Анджела не догадывается о том, какая ее ждет перемена. Когда она узнает, что ей придется расстаться с профессией проститутки, то попытается устроить ему скандал, и на этот счет он не обманывается. Пройдет год, даже, может быть, меньше, и она в припадке раздражения спросит: «Чего ради я покончила с прежней жизнью?» Но эти припадки раздражения не застигнут его врасплох, он заставит Анджелу поверить в то, что она сама хотела стать его любовницей, только его лю-

бовницей, что эта идея от нее же исходила. Задача нелегкая, она потребует усилий, но если он не способен провести проститутку, то не заслуживает и права возвышаться над ней.

Джордж был доволен тем, как у него все складывается. Будь на его месте другой, менее стойкий человек, он не выдержал бы потрясений истекшего года. Да он и не выдержал: убив любовницу и убив себя, он стал главным виновником несчастья. Человек менее стойкий, выслушав грязную исповедь собственной дочери, поддался бы чувству гнева к себе, а узнав о том, что его сын — мошенник из мошенников, он испытал бы стыд, который не был бы таким жгучим, если бы этот человек не считал, что должен испытывать стыд. Личности ущербной непосильно несчастье. В условиях, когда все трое продемонстрировали неспособность осуществить мечту их предка о завоевании прочного места в истории своей родины, у Джорджа Локвуда были все основания просить о снисхождении. Менее стойкий человек, которому уже под шестьдесят, смиренно ждал бы милосердия и весь остаток жизни искал бы сочувствия у других. Но не таков Джордж Локвуд.

Он отвернулся от гаража и увидел шедшего в его сторону человека в рабочих штанах и соломенной шляпе. Человек подошел, снял шляпу и вытер синим носовым платком вспотевший лоб.

— Добрый день,— сказал Джордж.

— Привет, мистер Локвуд. Не помните меня? Сэм Кицмиллер, из Гавани. Я работаю у Честера Стенглера. Все лето ухаживал за вашим садом.

— Ну, и как идут дела? Ты каждый день сюда приходишь?

— Я вижу, вы меня не помните. Я работал у вас, когда вы еще строились.

— Ну-ка, давай пройдемся по саду. Бумага и карандаш есть? Если нет, то я дам.

— Только уж вы сами пишите. У меня практики мало.

— Но читать-то хоть умеешь?

— Читаю без труда, но писать редко приходится. А что будем писать?

— Все, что я попрошу тебя сделать. Печатными буквами. Но ты должен идти со мной.

— Зачем вам еще этот «бьюик»? А где те две машины?

— В Массачусетсе. Это не мой «бьюик». А что?

— Если вздумаете продавать свой «паккард», скажите мне, сколько вы за него хотите. Я мог бы купить долларов за четыреста-пятьсот.

— За эту цену не продам. Рассчитываю взять не меньше полутора тысяч, и то еще подумаю. Так что забудем про машины и займемся делом. Зачем здесь эти доски? Они лежали тут еще два месяца назад, когда мы уезжали.

— Плотники, наверно, оставили.

— Верно, плотники. Но они должны были убрать. Если Эд Мюллер полагает, что я ему за них заплачу, то его ждет жестокое разочарование. Увидишь его, скажи, что я взыщу с него за их хранение. Если к моему возвращению он их не уберет, я спалю их в печи.

— Я ему скажу,— пообещал Кицмиллер.

— Что за разгильдяйство, черт побери! — воскликнул Джордж.— Выкури ты это противное осиное гнездо на задней террасе.

— Хорошо, завтра сделаю.

— И в дальнейшем, если увидишь, сразу уничтожай. Шланг здесь со вчерашнего дня лежит?

— Кажется, да,— сказал Кицмиллер.

— А знаешь, сколько стоит один фут шланга?

— Центов десять, наверно.

— А в нем — шестьдесят футов. И отличный разбрызгиватель. А он наполовину полон воды и брошен здесь гнить. Не удивляюсь, что ты так низко ценишь мой «паккард». Думаешь, наверно, что я швыряюсь деньгами. Ошибаешься.

— Перед уходом домой просушу шланг.

— Попробуй этого не сделать. Тогда можешь завтра не приходить. Смотри, как хороши рододендроны! И не вянут.

— Из лейки поливаю. Вы посмотрите, какая сухая земля. Шланг для травы годится, а кусты и цветы приходится поливать вручную. Работаю тут ежедневно до восьми вечера. Пока не зайдет солнце, поливать бесполезно.

— Рад, что ты это знаешь,— сказал Джордж.— Большинство людей не знает. Пойдем сюда.

— У меня и земляничник какой ухоженный,— сказал Кицмиллер.

— Верно. Хвалю.

Они пошли по дорожке вдоль западной стены. Вдруг Джордж, сам не понимая почему, резко остановился. И понял, лишь когда взглянул на стену. Вся стена, из конца в конец, густо заросла плющом, и только в одном месте оставалась лысина во всю высоту и в три фута шириной.

— А это что? — спросил он.

— Как что?

— Ты разве не видишь? Садовником считаешься. Взгляни: везде плющ, кроме вот этого места. Почему? Объясни.

— Не знаю. Похоже, что здесь никто плюща не сажал.

— Не пробуй убеждать меня, что ты впервые заметил,— сказал Джордж.

— Почему я? Это вы впервые заметили.

— Меня здесь все лето не было. Да и вообще я довольно давно не заходил в эту часть сада.— Он машинально взглянул на самый верх стены и заметил краешком глаза, что Кицмиллер с наглой усмешкой наблюдает за ним.— Что ты на это скажешь, Кицмиллер?

— Я не знаю, о чем вы говорите.

— Ты дурак и лживая сволочь.

— Осторожней в выражениях, Локвуд. Если ты платишь мне, то это не значит, что можешь меня оскорблять. Я такой же человек.

— Это ты сделал или Стенглер? Вы эту лысину нарочно оставили.

— Стенглер оставил, но я сделал бы то же самое.

— Потому что в этом месте погиб тот парень.

— Тот парень был родственником Стенглера, и я тоже родственник Стенглера. Не подходи близко, не то полосну серпом.

— А ну, катись с моей территории. Вон!

Кицмиллер пятился, не спуская с Джорджа Локвуда глаз, до тех пор, пока не отошел на безопасное расстояние. Джордж Локвуд стоял на прежнем месте и дрожал от сдерживаемого желания убить этого человека. Он потерял счет времени и не знал, что прошло не более пяти минут, пока он услыхал рокот удалявшейся полуторки Стенглера. Ему вдруг захотелось спать — он готов был лечь прямо на землю и заснуть.

Он доплелся до дома, отпер парадную дверь и прошел к себе в кабинет. Он чувствовал такую усталость, что не мог даже включить свет. Единственным его желанием было упасть в кресло и заснуть. Когда он очнулся, то снова не мог понять, сколько с тех пор прошло времени, но странное дело: хотя в комнате с зашторенными окнами

было совершенно темно, он знал, где находится. Глубокое забытье вернуло ему силы. Сидя в сумрачной тишине, он почти осязал, как возвращается к нему жизнь и как работает сердце, нагнетая в сосуды кровь. Кажется, требуется одиннадцать секунд на полный цикл кровообращения? Если это так, то, значит, новый приток энергии поступает к нему приблизительно по пять раз в минуту. Светящийся циферблат часов притягивал к себе внимание, хотя время в эту минуту не интересовало его. Стрелки показывали без шестнадцати минут шесть. Кровь совершила еще пятнадцать циклов по его сосудам, и когда сознание прояснилось, едва ли не первой его мыслью была мысль об Анджеле. Он знал, что завтра, по прибытии в Нью-Йорк, ему предстоит прервать свое путешествие и начать переделку ее образа жизни в тот образ жизни, который более приемлем для него и, конечно, будет лучше для нее.

За все лето кабинет ни разу не проветривали (непозволительное упущение Джеральдины), и воздух в нем наполнился запахами отсыревшей кожи, дерева и муслиновых чехлов. Воздух был до того сперт, что курение только ухудшило бы дело. Но тут ему пришла в голову счастливая мысль: поскольку ужинать он собирается в Гиббсвиллском клубе, а запасы вин там давно уже кончились, то надо взять из собственного подвала бутылку шампанского. Он не очень разбирается в шампанских винах, но каким бы ни было его вино, оно поможет избавиться от ощущения затхлости во рту и в носу. Да, он возьмет с собой в клуб бутылку вина и, быть может, разопьет ее с кем-нибудь из тех скучных людей, что ходят в клуб поесть и подремать. Выпив полбутылки, он, пожалуй, лучше будет спать в вагоне. Он поздравил себя с этой идеей и уверенно потянул шнурок торшера. Потом встал с кресла и повернул на камине вторую фигурку справа. Панель поднялась, открыв доступ к потайной лестнице. Войдя туда, он привычным жестом опустил за собой панель и очутился снова в кромешной тьме. Дальше произошло нечто странное. Неизвестно, что на него подействовало — резкий ли переход от тьмы к свету и потом от света к тьме, тяжелый ли сон в удушливой атмосфере комнаты или то, что он еще не пришел в себя после стычки с садовником,— только он пошатнулся и упал.

Потайная лестница вилась спиралью вокруг вертикального столба. Ступеньки ее по краям были восьми дюймов ширины, а к центру сходили на нет. Он не попал ногой на первую ступеньку и рухнул вниз, в подвал, мотаясь из стороны в сторону. Еще до того, как удариться об пол, он знал, что сломал ногу. Боль в ноге заглушила сознание, и он не знал, когда долетел до конца. Уже лежа на полу, он еще не был уверен, что приземлился. В темноте он ничего не видел и не слышал. Глухота удивила его. Лишь потом, когда тишина вползла ему в уши, он понял, откуда она: он сам создал ее, вдруг перестав кричать. Нижняя часть его ноги как-то странно согнулась и казалась бы чужой, лишней, если бы не острая боль, которая исходила от нее. Не в силах побороть любопытство, он вытянул руку и повел пальцами вниз по брючине, пока не достиг того места, где была разорвана кожа. Дальше пальцы уже не доставали, и он впервые потерял сознание. Но это состояние длилось одно мгновение; боль была настолько сильной, что он снова попробовал кричать. Теперь к боли в ноге присоединилась другая, которой он прежде не замечал. Он приложил пальцы к правому виску и нащупал что-то липкое; он знал, что это кровь. Значит, разбил себе голову. Он услышал какой-то рев и догадался, что это, должно быть, его собственный голос. Как в пещере. Но ведь подвал — это все равно что пещера. Лежа в непроглядной тьме, он не мог сказать, действительно ли потерял сознание, он

лишь смутно помнил, что потеря зрения как-то связана с повреждением черепной коробки. Он поднес к глазам кисть левой руки и не увидел циферблата часов. Он был слеп.

Ему не требовалось зрения на то, чтобы увидеть, что произойдет дальше. Что-то потекло из его ноздрей, не причиняя боли, потекло как-то вдруг, словно прорвалась плотина. Текло по губам, вызывая тошноту, и теперь он понял, что умирает. Он снова потерял сознание и, когда очнулся, почувствовал, что тело его — а не он — пытается дышать. Где-то в его мозгу мелькнула мысль о том, что ему не пережить этой ночи. До утра, во всяком случае, никто не придет ему на помощь. А утром кто о нем спохватится? Ужина он себе не заказывал. Женщина (он забыл ее имя), которая завтра будет ждать его звонка, находится в Нью-Йорке. Последним из тех, кто его сегодня видел, был Кицмиллер, но его здесь завтра не будет. И кто знает о существовании потайной лестницы? Только Хиббард и те уехавшие неизвестно куда столяры, что ее строили. Вот как все кончилось. Теперь скорее бы умереть, потому что никакой надежды на спасение не было.

Он снова попробовал крикнуть, но крика не получилось — та самая жижа залепила горло. Прошло немного времени — его всегда немного, сколько бы ни прошло,— и настал тот миг, о котором никто никогда никому еще не рассказывал. И никогда не расскажет, потому что это тайна, которую уносят с собой.

В стране Джона О'Хары

Наверно, у каждого писателя есть своя «страна». У одного это страна детства, ранней поры человека, когда юноша, широко раскрыв глаза, безотчетно вбирает в себя мир со всеми его красками, звуками, запахами, с его радостями и горестями. У другого это страна внутренних переживаний, особенно в моменты наивысшего напряжения духа и творческих сил, моменты выбора жизненной позиции. Бывает «страна» иного рода — настойчивая приверженность к теме, кругу характеров, роду конфликтов. Иногда же это страна в более узком и точном смысле.

Страна Хемингуэя, к примеру,— Испания. Без его испанских статей, рассказов, драмы, романов мы несравненно хуже знали бы и народ, который первым принял натиск фашизма, и американцев, павших за Испанию, тех, «по ком звонил колокол». Есть страна Фолкнера — Миссисипи, округ Йокнапатофа, прошлое и настоящее медвежьих углов американского Юга, его «почвенные» нравы, страна Сноупсов и тех, кто пытается сохранить в себе человека среди бездны зла. На другом краю североамериканского континента раскинулась страна Стейнбека — Калифорния, Долгая долина, роскошные райские пастбища, где не только паслись люди с чудинкой, но и зрели гроздья народного гнева. Ни до, ни после эта страна не имела такого зоркого и пытливого исследователя, несмотря на то что свои поиски Америки Стейнбек кончил на чужих полях Вьетнама, «обрабатываемых» армией Соединенных Штатов. Если и дальше прокладывать маршруты по литературной карте Америки, то можно было бы заглянуть в Северную Каролину, в отчий дом Томаса Вулфа — Юджина Ганта, куда нет возврата ни автору, ни герою, проехать по главной улице заштатного городка Миннесоты Синклера Льюиса, познакомиться с гротескными людьми Шервуда Андерсона из Огайо.

А отсюда рукой подать до страны Джона О'Хары — Пенсильвании, точнее — восточной ее части, расположенной треугольником, одна вершина которого — Филадельфия, место «рождения нации», где два столетия назад была подписана Декларация независимости, другая, западная, упирается в Гаррисберг — административный центр штата, а третья, северная — Потсвилл (у О'Хары — Гиббсвилл); здесь в 1905 году родился будущий писатель. Он покинул родной город в возрасте двадцати двух лет и после бывал там только наездами. Пройдя обычную школу журнализма, в 1934 году О'Хара публикует первый (и лучший) роман раннего периода творчества — «Свидание в Самарре», в котором он анатомировал быт и нравы послекризисного Гиббсвилла, создал галерею типов местной элиты и среднего класса. Успех романа, работа в Голливуде, литературная карьера в Нью-Йорке, годы войны отвлекли писателя от исследования Пенсильвании. Однако полтора десятилетия спустя романом «Жажда жить» он возвратился в свою страну.

Если попытаться найти общий знаменатель для материала и темы двух уже названных «пенсильванских» романов О'Хары [1] и последующих — «Дом 10 по Северной Фредерик» (1955), «С террасы» (1958), «Познать себя» (1960), «Элизабет Эплтон» (1963), «Дело Локвудов» (1965), а также множества повестей и рассказов, то, с поправкой на неизбежное при попытках подобного рода упрощение, этот общий знаменатель можно определить так: атмосфера небольших городов Пенсильвании на протяжении первой половины века, отношения между различными слоями и группами провинциальной буржуазии, сложный механизм воздействия на человеческие характеры традиций и обычаев, строгих родственных связей и установлений и неукротимой жажды любовных наслаждений, социальных претензий и снобизма среды, неписаных табу и общепринятых понятий об Успехе.

Пенсильвания — одна из территорий, где стали селиться первые английские колонисты, и один из тринадцати штатов, входивших в первоначальную федерацию. У жителей этих мест сильно развилось чувство принадлежности к «отцам-пилигримам», к предкам-пионерам, заменявшее европейскую аристократическую родовитость. Со временем это чувство перерастало в сословную кастовость, высокомерие к пришлым и новичкам. Положение осложнялось пестрым этническим составом: в Пенсильвании помимо англичан издавна жили голландцы, немцы, шведы — отсюда, между прочим, название городка, в котором свили семейное гнездо Локвуды — Шведская Гавань. Поселенцы приносили свою религию, представления о жизни, нравы. К фамильной гордости добавлялась национальная, еще более запутывая отношения между разными группами населения. По мере развития страны эти национальные и сугубо американские сословные различия если не стирались, то, во всяком случае, уступали место расслоению иного рода — на состоятельных и малоимущих. Оттого, видимо, первостепенную роль в романах О'Хары играет происхождение героев, обстоятельства, при которых сколачивалось состояние, знаки и признаки общественного положения — от умело подобранных посредством браков родственников до выбора школы и колледжа для детей и внуков.

Читая романы О'Хары, ни на секунду не забываешь, что Пенсильвания принадлежит к числу наиболее развитых индустриальных штатов, что ряд районов располагает богатейшими залежами каменного угля, что уже в последней трети XIX века здесь возникло мощное рабочее движение, то и дело выливавшееся в стачки горняков, железнодорожников, металлургов. Особую остроту — если оставаться в хронологических рамках «пенсильванского» цикла О'Хары — забастовочное движение приобрело в 20-е годы.

Романист не обращается ни к политическим проблемам, ни к классовым конфликтам, ни к общественно-экономическим потрясениям, каким стал, например, кризис 1929 года, самый крупный в истории США. Все это остается на периферии его произведений в качестве более или менее отдаленного «фона», поскольку он принципиально предпочитает сферу частной жизни, но фона по существу необходимого, так как в противном случае О'Хара никак не мог бы претендовать на роль не то что летописца своей эпохи — а он претендовал на эту роль, о чем заявлял неоднократно и без лишней скромности,— но даже ее хроникера. Лучшие его романы «дышат» социально-экономической проблематикой то благодаря массе мимолетных упоминаний, то благодаря роду занятий многих его персонажей, а главное потому, что их побуждения и поступки (даже если они не вполне осознают это) во многом обусловлены определенными событиями, будь то последствия забастовки в городке или предкризисные явления в экономике страны. Детерминированность социально-бытового поведения характерна и для того общественного слоя, где писатель находит своих героев. «Я заворожен богатыми и их образом жизни. Думаю, что знаю Общество не хуже любого другого... Сам я не принадлежу к Обществу, но у меня достаточно там друзей, и эти люди нравятся мне, потому что они рассудительны, приятны в обхождении, добры, великодушны и у каждого есть свой собственный тайный ад» [2]. Бессмысленно гадать, чем вызван этот подчеркнутый интерес к сильным мира сего — честолюбием и неосуществленными амбициями автора или пониманием того, что именно эти люди, не создавая ни материальных, ни духовных ценностей, являются тем не менее хозяевами жизни. Главное в другом: финансисты, коммерсанты, промышленники О'Хары, несмотря на кажущуюся независимость, которую дает им положение, не вольны располагать собой, как и редкие персонажи из низших классов.

Сильнее семейных привязанностей и общественных обстоятельств, сильнее морали и соображений рассудка оказываются деньги и любовь, собственность и секс — две главные движущие силы в стране О'Хары.

Одна из центральных тем американской реалистической литературы XX века — тема успеха, его возможной достижимости и практической недосягаемости. Кажущаяся близость успеха исковеркала судьбы героев десятков американских романов.

---

[1] Другая группа произведений писателя связана с Голливудом и литературно-художественным Нью-Йорком, и я не буду здесь касаться их из-за недостатка места, отослав читателя к роману «Инструмент» из сборника «Жажда жить» (М., «Прогресс», 1970).

[2] Цит. по книге: Sheldon Norman Grebstein, John O'Hara. New York, 1966, p. 68.

Их авторы словно не в состоянии отвести взгляд от картин утраты человеком духовных качеств, краха надежд, жизненных неудач.

Серьезная литература по самой своей природе ищет конфликтные ситуации и драматические характеры. «У счастливого человека нет истории»,— как сказал Джеймс Т. Фаррел, один из ведущих американских прозаиков 30—40-х годов. Чисто литературные соображения, возможности, которые открывает тема несостоявшегося успеха, сами по себе достаточно весомы, чтобы объяснить, почему писатели охотно берутся за нее. Но дело, разумеется, не столько в этом. В силу определенных исторических условий американское общество с самого начала формировалось как общество предпринимательское. Ни одно занятие не почиталось так, как умение из всего извлекать прибыль. Любое занятие было достойным и нравственным, пока оно давало доход. Ускоренное развитие капиталистических отношений в стране повсеместно сеяло иллюзии возможности быстрого обогащения. Если ты не преуспел, как твои соседи, значит, ты неудачник, или тупица, или тряпка и должен пенять только на самого себя. Успех стал мифом и моральной нормой нации. И редкой жертве иллюзии успеха дано осознать, что обогащаться можно только за **чей-то** счет, что возвышаться можно только над **кем-то.**

Под пером О'Хары тема успеха поворачивается несколько иной гранью. Его персонажи заняты не столько погоней за материальными благами и положением, сколько погоней за счастьем. Обладая всем или почти всем, что, казалось бы, необходимо для счастья, они не испытывают ни удовлетворения, ни радости. И тут случай подкидывает мужчине женщину, а женщине — мужчину. Не слишком прочные семейные узы поддаются натиску чувственного влечения, буржуазная стабильность разбивается о желание, жажду наслаждений. Об О'Харе не скажешь, что он откровенен в описании интимнейших сцен. Таких сцен, как правило, нет, потому что нет ни подлинной влюбленности, ни трепетного лиризма, ни психологических переживаний. Любовный эпизод рисуется сухо и подробно, как яростная, но деловая встреча, цель которой — извлечение максимума удовольствия обоими партнерами. Некоторые книги О'Хары так насыщены сексом, что кое-кто из американских критиков считает их грязными. Писатель резко восставал против такого мнения: «Конечно, я пишу о сексе... Это — Жизненная Сила... Но никто не обвинит меня в непристойности... Да, секс занимает важное место в моих книгах, но это потому, что он занимает важное место в жизни»[1].

И все-таки, как ни парадоксально, О'Хара в глубине остается моралистом, даже моралистом, по-пуритански строгим. Любовные связи, создающие ощущение полноты жизни у его героев, приносят им только несчастья. Распущенность у О'Хары неизбежно — и в художественном отношении достаточно прямолинейно — сопровождается наказанием. «За боль мы платим всем, что радость может дать, и умираем лишь от жажды жить» — эти строки из Александра Попа стали эпиграфом к роману О'Хары «Жажда жить».

Стремление героев занять высокое, не по росту, положение, мелкие грешки и крупные прегрешения против буржуазной морали сплошь и рядом приводят их к физической гибели. Смерть — частый гость в стране О'Хары. Доходит до самоубийства Джулиан Инглиш, выплеснувший в лицо уважаемому горожанину стакан виски и вместе с ним — всю накипевшую злобу против скуки и тривиальности гиббсвиллского общества («Свидание в Самарре»). Не способна контролировать свои половые влечения прелестная и проклятая небом Грейс Колдуэлл, и как возмездие ей — смерть двух мужчин, которых она по-настоящему любила, мужа и сына («Жажда жить»). Спивается и кончает с собой Джо Чэйпин, за которым тянется цепь неправильных жизненных решений: неудачный брак, ошибка в выборе карьеры, обернувшаяся во зло помощь дочери, чересчур молодая возлюбленная («Дом 10 по Северной Фредерик»). Убивает неверную и унизившую его мужское достоинство жену Роберт Миллхаузер и теперь, выйдя на свободу, расплачивается долгими годами враждебности со стороны окружающих, раскаянием и самопознанием («Познать себя»). Длинным перечнем смертей сопровождается строительство Дела Локвудов.

Недостаточную глубину социально-психологического анализа в чисто романическом плане отчасти восполняет у О'Хары достоверность, которая достигается обилием подробностей и примет жизни определенного круга людей в определенное время. С упоением и тщанием, которому позавидовал бы любой приверженец натуральной школы, наш автор описывает вещный мир: обстановку в доме, марки автомобилей, кушанья. Книги О'Хары — каталоги повседневности.

Точность деталей — результат долгой журналистской практики — ось, на которой вертится художественная система романиста. Один критик заметил: если кто-то из его персонажей в середине 20-х годов заказывает хорошо сбитый мартини, то можно быть уверенным, что именно так было тогда принято. Если О'Хара говорит, что в конце 20-х годов выражение «большая шишка» только-только входило в речевой обиход, то пожелавший удостовериться в этом обнаружит, что первая цитация «big shot» в словаре американского сленга относится к 1930 году. Чуткости к «малым» приметам времени и места, к материальному миру соответствует чуткость к живому языку.

---

[1] Интервью 1960 года. Цит. по книге: Sheldon Norman Grebstein. John O'Hara, p. 159.

Когда в 1964 году писатель был отмечен премией Американской академии искусств и литературы, Джон Херси говорил в официальном выступлении: «В его диалогах — непревзойденная способность слышать американскую речь, его стиль — простой и безыскусный — является великолепным инструментом для описания небольшого пенсильванского городка, обитатели которого составляют большую часть его художественного мира. Его более всего интересуют люди, и он пишет о них с таким проникновением, которое достигнуто долгим знакомством с их жизнью и положением в обществе, их стремлениями и разочарованиями. У него, как у всех крупных романистов,— трагический взгляд на человечество, но это не узкий взгляд, и он не исключает ни бурных вспышек юмора, ни мельчайших подробностей характера и поведения человека»[1].

Лишь одну поправку стоит внести в характеристику О'Хары, данную его коллегой. «Трагический взгляд на человечество» предполагает, очевидно, со стороны писателя больший интерес к закономерностям скорее исторического бытия, чем быта, и устремленность к большим целям у его героев. Трагедия им попросту не по плечу, а всякая «философия» решительно противопоказана прозе О'Хары.

«Дело Локвудов» (журнал публикует его с сокращениями) оказалось последним его «пенсильванским» романом и вместе с первым, «Свиданием в Самарре», написанным тридцать лет назад,— лучшим в этом цикле. В этом произведении нашли свое выражение наиболее сильные стороны дарования О'Хары — зоркого бытописателя, умелого рассказчика, критика пороков американского нувориша.

Уверенный профессионализм начинается с названия романа. Русский перевод его вполне корреспондирует английскому «The Lockwood Concern» широким спектром значений, начиная с очевидного — «работа, занятие» (ибо в чем, в чем, а в пчелином трудолюбии Локвудам не отказать) и кончая столь же явным — «коммерческое предприятие, концерн». Где-то посредине этого смыслового веера в русском названии просвечивает значение — «происшествие, событие», не присутствующее в подлиннике, но удачно передающее фабульную остроту романа, который кое-какими чертами приближается к детективному жанру. Зато английское словосочетание «The Lockwood Concern» содержит и нечто гораздо большее, лишь частично покрываемое русским переводом в смысле главного, существенного в жизненной истории пенсильванского клана. Это большее — «беспокойство», «забота», а в данном случае даже «одержимость» Локвудов, приобретающая прямо-таки религиозно-фанатический оттенок. Само понятие «concern», содержащее немалую дозу иронии, заимствовано, как разъясняет писатель, из квакерского словаря и означает «внутреннее повеление».

Опытной писательской рукой на протяжении нескольких десятков страниц создав экспозицию и завязав ряд прочных, предвещающих катастрофы сюжетных узлов: гибель мальчика на стене, огораживающей новый, только что отстроенный дом Джорджа Локвуда, спешный отъезд героя в Нью-Йорк на время, пока стихнут пересуды, привычный пас бывшей любовнице, находящейся в связи с его братом и партнером,— О'Хара неожиданно, что называется на самом интересном месте, обрывает динамичный рассказ и переносит действие на пять лет назад, в 1921 год. Умысел автора прост: снять напряженность и одновременно показать читателю еще два драматических эпизода в жизни героя — ссору с сыном, исключенным из колледжа за жульничество (его Джордж практически выгоняет из дома), и смерть первой жены, впрочем не доставившую ему особых огорчений по причине давней отчужденности супругов.

После этого писатель надолго, почти на половину книги, оставляет настоящее и обращается к прошлому, к истории семьи Локвудов, постепенно доводя ее затем вновь до нынешних дней своих персонажей. Здесь О'Хара попадает в свою стихию. Со скрупулезностью историка он проходит по основным вехам жизненного пути представителей трех поколений Локвудов и заглядывает в четвертое, прослеживая их коммерческие начинания и матримониальные связи, их стычки и сделки с потомственной гиббсвиллской олигархией, их странные, на обывательский взгляд, поступки и дурные слухи вокруг.

История всякой коренной американской семьи восходит к двум истокам: к тому далекому и спорному предку, который в числе первых поселенцев ступил на обетованную землю Америки, и к первому члену фамильного клана, который **преуспел,** прежде всего в делании денег. Если первый предок Локвудов терялся в туманной дали времени и с неменьшим правом на него могли претендовать другие Локвуды, каковых немало было в Пенсильвании, то их прямую связь со старым Локвудом, который родился в захолустном округе в 1811 году, а умер самым богатым человеком в Шведской Гавани, где слово «бережливость» произносилось с таким же благоговением, как имя господне,— никто не мог взять под сомнение. Все двести тысяч, нажитые ростовщичеством, старый Мозес оставил своему единственному отпрыску Аврааму. Многие были убеждены в верности слухов, согласно которым Мозес до того, как подняться над простыми кузнецами и каменщиками, сапожниками и шорниками, прикончил двух ни в чем не повинных людей, да и вообще был нечист на руку, но почтение перед сильным перевешивало этические соображения.

В отличие от отца, который как-никак пожертвовал половиной уха в сражениях с южанами, Авраам войну провел адъютантом генерала интендантской службы, потом по-

[1] Цит. по книге: Sheldon Norman Grebstein, John O'Hara, p. 149.

пал — опять-таки в отличие от необразованного отца — по протекции в университет, слыл там «хорошим парнем» и благодаря искусству, проявленному за зеленым сукном, был принят в клуб «Козыри». Еще при жизни родителя Авраам обнаружил сугубый интерес к двум вещам: ему нравилось делать деньги и нравилось делать их быстро. После спекуляции с ценными бумагами он сумел жениться на дочери рихтервиллского богача Аделаиде, и в 1873 году от этого брака появился на свет Джордж Бингхем Локвуд.

Именно на него, а не на младшего, Пенроуза, возлагал надежды стареющий Авраам, и именно ему прочил продолжение начатого Дела.

Идея Дела вызревала в его сознании долго. То не была мелкая честолюбивая мечта. Она была сложна, многообразна и весома. С каким-то величественным чувством отрешенности от собственного смертного удела Авраам загадывал на четыре поколения вперед. Главным тут было не накопление денег, которое рассматривалось лишь как одно из средств достижения цели, не удачное помещение капитала, которое приносило дополнительный капитал, так что в конце концов владелец капитала переставал смотреть на него как на свою собственность. Главным было **строительство династии**, империи. Авраам мечтал о том времени, когда его внуки или правнуки станут хозяевами изрядного, «как настоящее княжество», куска Пенсильвании, и Локвуды будут править тут, как в Нью-Йорке Морганы, а в Филадельфии Дрексели, и имя Локвудов и семя Локвудов разнесется по всей стране.

К тому моменту, когда Джордж приобщился к Делу, Локвуды помимо фамильного банка владели и винокуренным заводом, и кое-какими угольными разработками, и объемистым портфелем акций разных предприятий. Джордж и не заметил, как вперемежку с утехами юности он бессознательно учился у отца использовать любую ситуацию в собственных интересах, как затягивало его Дело, которое начало развиваться в ускоренном темпе после смерти матери. Когда из семьи уходит единственная женщина, то ее место должна занять другая, и вскоре он с мастерством искусного стратега расставляет сети Агнессе Уинн, племяннице богатого гиббсвиллского угледобытчика, хотя любовь как таковая отнюдь не входит в его планы.

При всей своей трезвости Локвуды никак не аскеты и анахореты, хоть они и выбрали полем своей деятельности «окраину цивилизации» — Шведскую Гавань, тогда как могли бы вращаться и в более изысканном, филадельфийском, к примеру, обществе. Локвуды любят пожить в свое удовольствие. Им доставляет радость отдых после трудов праведных, хороший обед, комфорт — словом, все, что можно приобрести за деньги. Локвуды любят женщин. И женщины любят их — за размах, ум, за минуты близости. Любят, но и боятся. Боятся не охлаждения, не неверности — им внушает страх приходящее в конце концов сознание того, что настоящей любви нет, что их попросту используют. «Прохвост»,— бросает в лицо Джорджу любовница, восхищенная его умением извлекать максимум выгод из людей, равносильным в его глазах умению извлекать из жизни все, что она может дать.

Локвуды овладели Шведской Гаванью с помощью грубой силы, именуемой долларом. Но одного накопления капитала было уже недостаточно для Дела в глазах тех, кому благодаря родовитости и полученным по наследству возможностям не приходилось самим идти на сомнительнейшие сделки и на виду у всей честной компании нарушать неписаные нормы поведения. Их деньги сами делали деньги, отчуждаясь от владельца и освобождая его от необходимости пачкать руки. Что же до Локвудов, то в высших кругах финансовой олигархии их пока не могли принять за своих, так как хорошо помнили средства, какими Локвуды на первых порах достигали своих целей, им не могли простить неумения хранить фамильные грехи в тайне (хотя Джордж убежден, что у каждого, кто обладает пятью тысячами долларов, есть преступная тайна). Потомственные магнаты и миллионеры неукоснительно держались правил буржуазной порядочности, которые в силу происхождения и стечения обстоятельств роковым образом нарушались Локвудами, или достигали такого положения, которое позволяет пренебречь этими правилами.

Джордж цинично обронил однажды: я честен, пока не доказано обратное. Однако он не мог воздвигать здание Дела иначе как на двух краеугольных камнях — собственности и статусе, материальном преуспеянии и порядочности в глазах окружения. Эти противоположные устремления героя и создают некий центр в структуре его образа. Скупой на метафоры, О'Хара находит емкий предметный символ для передачи двойственности положения и поведения своего героя уже в юности — шкатулку с двойным дном. Ту же функцию выполняет потайная лестница в новом, построенном будто бы для второй жены доме. В буквальном смысле двойную игру ведет Джордж с братом из-за женщины. Два дна в шкатулке, в доме, в душе — не прихоть, даже не черта яркого, хотя и неглубокого характера героя. Они с неизбежностью вытекают из подчиненности интересам Дела. Независимость, которой так добивается Джордж, сознательное отчуждение, отгороженность от других себялюбием или стеной с пиками оказывается фикцией. Он несвободен, потому что судьба его Дела, всех его тщеславных замыслов сугубо личного и тайного свойства тем не менее «зависела от поступков, настроений и поведения других людей, а не только его самого». Попытайся герой выйти за рамки этого жесткого и в последнем счете экономического детерминизма, возникла бы трагедия.

Дело не терпит вторжения и посягательств посторонних, не терпит проявлений слабости. Поэтому гибнет любопытный мальчишка, решивший заглянуть за стену. Поэтому кончает самоубийством проигравшийся партнер Авраама, фактически подтолкнувшего друга к последней черте и вскорости после похорон ставшего любовником его вдовы. Поэтому убивает Мэриан и себя Пенроуз, миллионер, член фешенебельных клубов, выпускник Принстона. Дело превращается в огромное чудовищное предприятие, «где человеческая жизнь списывается, как издержки производства».

Дело — эта мания, этот миф, этот монстр — губит и своего создателя. Джордж Локвуд **оступился** — на той самой потайной винтовой лестнице, по ступеням которой он словно совершал, одержимо и одухотворенно, свое многотрудное извилистое восхождение.

О'Хара не принадлежит к тем писателям, в произведениях которых мы встречаем цельные художественные концепции, если иметь в виду именно концепцию, а не тезис. Ему равно чужды многозначность и подтекст. Что же в таком случае она значит, эта финальная патетическая — и несколько надуманная — сцена?

«За многое тебе придется ответить»,— предупреждает брата Пенроуз незадолго до своего отчаянного шага. Писатель, как уже говорилось, не скрывает своей морализаторской тенденции. Смерть Джорджа Локвуда можно рассматривать как расплату за маниакальную приверженность Делу, за крайний индивидуализм, бессердечие, за смерть других людей.

Не исключено и другое, почти противоположное толкование: гибель Джорджа вызвана трещинкой, которая появилась в нем после смерти Пенроуза и Мэриан, она есть следствие внезапно проявившейся человечности. А по самой идее Дела человечность непременно отождествляется с нетерпимой слабостью. Автор использует всевозможнейшие средства, чтобы доказать эти перемены — неожиданные и не вытекающие из логики развития характера. Тут и ощущение одиночества, и проснувшееся отцовское чувство к дочери, и попытка помочь ей решить проблемы, возникшие, деликатно выражаясь, из-за «неразборчивости в связях». Впервые в жизни он почувствовал, что кому-то нужен, и его охватило необыкновенное волнение. Но как бы то ни было, Джордж «изменил» Делу, и оно мстит ему.

А может быть, заключительный аккорд романа имеет переносное значение, знаменуя распад старого порядка и выход на авансцену нового поколения дельцов, людей типа Бинга Локвуда, никак не связанных старомодной этикой предпринимательства.

(Кстати сказать, появление такой фигуры на страницах романа О'Хары, принципиально не обращавшегося к Америке «атомной эры», весьма показательно. Бинг — делец новейшей формации, сфера его деятельности — калифорнийская нефть, которая стала сейчас мощным фактором в экономике и политике США.

В этом же смысле любопытна и последняя женщина в жизни Джорджа. Анджела — не просто дорогостоящая шлюха: пользуясь «преимуществами» своей профессии, она собирает у клиентов информацию для влиятельных нью-йоркских политиканов.)

Если же взять еще шире, то напрашивается истолкование смерти Локвуда и крушения Дела как предвестия вызванного кризисом 1929 года глубокого потрясения, которое вскоре после описываемых событий переживет Америка. Вряд ли случайно Джордж озабочен нездоровыми явлениями в экономике, бумом на бирже, не подкрепленным ростом производства, спадом в автомобильной промышленности, этом символе послевоенного просперити, вынужденными мерами Форда, которые он называет «прикрытым социализмом».

Какое бы впечатление ни вынес читатель из путешествия в страну Джона О'Хары, оно не будет простым и однозначным. Вряд ли кто возьмется оспаривать тот факт, что творчество писателя лежит — в основном — в русле американского критического реализма, примыкая к «Трилогии желания» Драйзера и «Великому Гэтсби» Фицджеральда.

Но будут правы и те, кто сочтет, что некоторыми своими сторонами книги О'Хары соприкасаются с той литературной продукцией, которая есть часть так называемой массовой культуры на Западе. Около тридцати томов прозы писателя, общий тираж которых приближается к двадцати миллионам экземпляров, свидетельствуют, что если О'Хара и не стал большим знатоком человеческих душ, то он вполне проник в психологию отечественного широкого читателя. Он показал ему картины «сладкой жизни» верхних слоев общества во вчерашней Америке, изобличил их пороки, воздал им по делам их, идя навстречу неискоренимой потребности «простого ума» в элементарной справедливости.

Г. ЗЛОБИН

МАРК-ЖИЛЬБЕР СОВАЖОН

Чао!

КОМЕДИЯ В ДВУХ АКТАХ, ВОСЬМИ КАРТИНАХ

Перевод с французского ТАМАРЫ ЕРОФЕЕВОЙ

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

КУФИСЕЛЬ.
АНТУАН МАРТИНЕ.
ГОСПОЖА МАРТИНЕ.
МИНУШОН.
ВЕНСАН.
СОФИ.

АКТ ПЕРВЫЙ

Картина первая

В ЗАОПМЭГе

Кабинет в помещении общества ЗАОПМЭГ (Западное акционерное общество по производству и монтажу электрогенераторов). Декорация, как и все декорации пьесы, простая, состоящая всего из нескольких предметов. Большой полированный стол красного дерева. На столе — аппарат внутренней связи с громкоговорителем. Перед столом — одно-два кресла. Вот и все. Стены затянуты однотонным бархатом.

При поднятии занавеса на сцене никого нет. Слышно, как стучат в невидимую дверь. Никакого ответа. Стучат сильнее.

Голос Куфиселя *(в громкоговорителе).* Войдите!

Робко входит Мартине. Это мужчина лет пятидесяти, с малоприметной, но симпатичной внешностью. Он удивленно оглядывается, не находя к кому обратиться, и внезапно вздрагивает при звуке голоса из громкоговорителя. Это голос шефа.

Голос Куфиселя. Это вы, Грамбуа?

На лице Мартине — выражение крайнего удивления. Он невольно делает едва уловимый жест отрицания.

Говорит Жером Куфисель, президент и генеральный директор!

Мартине икает.

Садитесь в кресло!

Мартине покорно садится.

И, если у вас есть что сказать — правда, меня бы это удивило,— извольте говорить на расстоянии сантиметров тридцати пяти от аппарата! Вы здесь?

Мартине. Да, я... гм... *(Прочищает горло.)* Извините, господин президент и генеральный директор, но я просто хотел бы сказать, что я не...

Голос Куфиселя *(резко).* Грамбуа, этой ночью я вернулся из утомительного путешествия. Я пролетел девять тысяч километров и простудился. Через три часа я снова должен вылететь в Берлин. У меня нет желания спорить по пустякам! Замолчите и перейдем к делу!

Мартине. Но, господин президент и генеральный директор...

Голос Куфиселя. Бесполезно отрицать вашу вину. Данные нашей разведывательной службы абсолютно точны! Вот они — у меня перед глазами.

Мартине. Но, господин през...

Голос Куфиселя *(повелительно).* И не приставайте ко мне с этим коротким замыканием.

Мартине таращит глаза.

Ответственность за нормальный ход конвейера лежит на вас. И за состояние электрической аппаратуры, обеспечивающей этот ход,— тоже! Сожалею, Грамбуа, но вы не можете больше работать в нашем Обществе!

Мартине *(собравшись с духом).* Но, господин президент и генеральный директор, я не Грамбуа, я Мартине.

Тут наступает пауза, выражающая теперь уже удивление господина Куфиселя.

Голос Куфиселя. Кто?

Мартине. Мартине... Антуан Мартине, заведующий отделом архивов ЗАОПМЭГа... э-э-э... я хочу сказать, Западного акционерного общества по производству и монтажу электрогенераторов.

Голос Куфиселя *(ворчливо)*. Мартине?! ...Эта чертова мадемуазель Вюрм перепутала все досье! Прошу вас, одну секунду, Мартине... Посмотрим... Мартине... Мартине...

Ясно, что он ищет досье Мартине.

Ах, вот оно! Мартине...

Мартине, съежившись, неотрывно смотрит на аппарат.

Мартине, Антуан-Этьен-Луи, сорок девять лет... родился в Семюр-ан-Оксуа, департамент Кот-д'Ор... Бакалавр первой и второй степени... университетских дипломов — нет; технических дипломов — нет...

Мартине огорченно качает головой.

Жена, один ребенок...

Мартине *(с улыбкой)*. Мальчик, господин през...

Голос Куфиселя *(продолжая)*. Шестнадцать лет работает в Обществе... ответственный работник в течение семи лет... Помощник заведующего, затем заместитель заведующего, затем заведующий отделом архивов, который он совершенно дезорганизовал...

Мартине вздрагивает.

Прошу прощения, реорганизовал! Который он полностью реорганизовал...

Мартине вздыхает с облегчением.

Коэффициент усердия: восемнадцать и три десятых... Поздравляю, Мартине!.. Коэффициент полезного действия: восемнадцать и восемь десятых... Здесь — снимаю шляпу. Замечательно! Поздравляю, мой друг, тысячу раз поздравляю, больше того — благодарю!

Приподнявшись с кресла, взволнованный Мартине кланяется и машинально протягивает руку к аппарату, как бы собираясь пожать руку Куфиселя.

Бесполезно говорить, как бы мне хотелось сказать вам все это лично, но я лишен этого удовольствия. У меня грипп, Мартине, и я говорю с вами, лежа в постели, по прямой линии внутренней связи, которую установило для меня наше Общество. Поверьте, мне очень жаль, что я лишен радости познакомиться с вами. Нам не приходилось в самом деле встречаться?

Мартине. Нет, господин президент и генеральный директор. Но однажды, два года назад, мне представился случай видеть вас в течение нескольких секунд из окна моего кабинета. Вы садились в ваш «роллс».

Голос Куфиселя. Ну что ж, очень жаль, Мартине! Лучший контакт между вами и мной, возможно, позволил бы смягчить удар от дурной вести, которую мне остается вам сообщить. Вы не можете больше быть сотрудником нашего Общества.

Мартине от изумления оторопел.

Мартине *(потрясенно)*. Я?

Голос Куфиселя. Увы!

Мартине *(заикаясь)*. Но это... это невозможно, господин пре... президент и генеральный директор! Тут, верно, какая-то... какая-то ошибка!

Голос Куфиселя *(важно)*. Долг, мой бедный друг. Техническая необходимость!

Мартине. Но вы ведь только что сказали, что... что...

Голос Куфиселя. Что вы исключительный работник — и это верно! Вы действительно исключительный работник. Но в то же время и бесполезный, точнее, непригодный.

Мартине *(оскорбленно)*. Это при коэффициенте усердия восемнадцать и три десятых и при коэффициенте полезного действия — восемнадцать и восемь десятых?

Голос Куфиселя *(примирительно)*. Мартине, выслушайте меня, и вы сразу все поймете. Вы знаете, что для процветания ЗАОПМЭГу необходимо быть впереди всех. Мы успешно проглотили САБИК, САВАК и САБЕК. Завтра мы проглотим СИКОМАТ!

Мартине *(пораженный, машинально)*. СИКОМАТ?

Голос Куфиселя. Да, Мартине, СИКОМАТ! А потом и других, многих других! Всех, если надо будет! К тому же у нас нет выбора. Либо мы поглощаем, либо нас поглотят! Итак, мы поглощаем!

Мартине *(с отчаянием, но пытаясь понять)*. Господин президент и генеральный директор, надеюсь, вы не собираетесь мне сказать, что я теряю свое место, потому что являюсь превосходным служащим в процветающем акционерном обществе!

Голос Куфиселя. Именно так, Мартине! Вы совершенно точно определили ситуацию!

Мартине. Если ЗАОПМЭГ приобретает такой размах, то ему придется создать поистине гигантский отдел архива.

Голос Куфиселя. Более чем гигантский, мой друг. Необъятный. Разорительный! Почти эквивалентный министерству.

Мартине. В таком случае?..

Голос Куфиселя. В таком случае отдела архива больше не будет. Мы купили электронную машину.

Несчастный Мартине воспринимает новость как удар палки.

Мартине *(убитым голосом)*. Электронную машину?!

Голос Куфиселя. ЭВМ триста один по имени Куки. Она одна за двадцать пять секунд делает ту же работу, что двадцать пять служащих за двадцать пять дней, и она не подлежит социальному страхованию. Во всяком случае, пока еще нет. Теперь вы понимаете, Мартине?

Мартине *(с горечью)*. Достаточно ясно! Меня вытряхнули вон — и все!

Голос Куфиселя. Не надо этого слова, мой друг, я его не переношу! Вы покинете ЗАОПМЭГ с высоко поднятой головой! Во время короткой, но волнующей це-

---

МАРК-ЖИЛЬБЕР СОВАЖОН
ЧАО!

ремонии, на которую соберутся все директора, мосье Жоливан в виде исключения собственноручно вручит вам золотую Медаль Труда. А я берусь на предстоящем административном совете добиться для вас такого выходного пособия, что вы получите вдвое больше той суммы, которая вам причитается!

Мартине. Спасибо, господин президент и генеральный директор. У меня будут пышные похороны!

Голос Куфиселя. Успокойтесь, мой друг, успокойтесь. У вас немного шалят нервы! Вы пока еще живы! А жизнь прекрасна!

Мартине молчит. Он, кажется, не так уж в этом убежден.

Мартине. Могу я... мм... кое о чем вас попросить, господин президент и генеральный директор?

Голос Куфиселя. К вашим услугам. Да поможет мне небо выполнить вашу просьбу.

Мартине. Так вот... гм... *(Прочищает горло.)* Вот уже семнадцать лет, как я работаю в ЗАОПМЭГе. Наше Общество является для меня как бы второй семьей... Когда, покинув свой дом, я прихожу на работу в свой кабинет, у меня такое ощущение, точно я попросту перешел из одной комнаты в другую... Это может показаться вам немного смешным, господин президент и генеральный директор, но...

Голос Куфиселя *(важно)*. Смешным? Это трогательно, мой друг! Итак?

Мартине *(ободренный)*. Итак, я подумал, что, может быть, вы могли бы оставить меня... *(быстро)* в другом качестве и с меньшим окладом, конечно... Если это не слишком сложно...

Голос Куфиселя *(важно)*. Это совсем не сложно, Мартине.

Лицо Мартине проясняется.

Это просто невозможно!

Мартине мрачнеет.

Я сразу же подумал об этом, но, к несчастью, у вас нет никакого диплома!

Мартине *(робко)*. У меня же две степени бакалавра... обе с отметками «хорошо»...

Голос Куфиселя. Мой бедный друг, все французы рождаются на свет с одной головой, двумя руками, двумя ногами и двумя степенями бакалавра. Мой шофер — бакалавр!

Мартине опускает голову.

Помимо всего прочего, вам сорок девять лет, тут уж ничего не поделаешь, согласитесь, что это неподходящий возраст!

Мартине делает жест бессильного отчаяния.

Пятнадцатью годами больше — и вас выгоняют на пенсию, пятнадцатью меньше — и можно еще подумать о переподготовке ускоренным методом. Но в сорок девять лет ничего нельзя сделать! Дело — труба!

Мартине опускает голову и больше уже ни на что не реагирует.

Глубоко сожалею, Мартине, но этого требует эпоха! За нею не угонишься, она движется слишком быстро! Посмотрите на меня — я старый директор, а обязан каждый год по три недели ухлопывать на переподготовку, чтобы не отстать! После тридцати лет работы я все еще хожу в школу, как мальчишка!...

Слышен приглушенный звонок телефона.

Извините, но мне звонят по другому телефону. Рад был поболтать с вами, Мартине, и еще раз — поздравляю! Желаю успехов, старина!

Выключает аппарат. Тишина. Мартине встает и медленно выходит. Одновременно гаснет свет.

Картина вторая

У МАРТИНЕ

На сцене — стулья, стол, несколько кресел, маленький круглый столик на одной ножке с двумя или тремя безделушками, телефонный аппарат. Все вещи, включая телефон, не безобразные, не жалкие, скорее наоборот. В вазе букет цветов. Г-жа Мартине (лет сорока) похожа на свою гостиную. Все женщины устраивают свои квартиры соответственно своему образу и подобию. Г-жа Мартине сидит в кресле и вяжет.

Сразу же после поднятия занавеса входит Минушон с подносом, на котором стоит аперитив — виски и портвейн — и соответствующие стаканы. Минушон — это ласковое прозвище одной из соседок Мартине. Она моложе г-жи Мартине (32—33 года), пухленькая, аппетитная, вся в ямочках, сияющая улыбкой — у нее всегда хорошее настроение.

Г-жа Мартине *(вяжет)*. Предоставляю вам хозяйничать, Минушон. Я должна закончить пройму — боюсь испортить. Мужские рукава всегда приводят меня в отчаяние! *(Приветливо улыбается.)* Вижу, вы великолепно справились...

Минушон. Просто идеально. *(Ставит поднос.)* Вы же знаете, у вас я чувствую себя как дома! *(Смеется.)* Откровенно говоря, даже лучше. Во всяком случае, Гийом без конца твердит об этом.

Г-жа Мартине *(продолжая вязать)*. Гийом говорит глупости, вот и все!

Минушон *(смеясь)*. Он меня еще вчера упрекал! «Ты, должно быть, надоела Мартине, все время торчишь у них!..» Портвейна или виски?

Г-жа Мартине. Портвейна, чуточку...

Минушон *(наливая)*. Лично я предпочитаю виски. Говорят, оно расширяет сосуды...

Отчетливо слышен стук двери в отдалении.

Ну вот, возвращается мосье Андриё!

Г-жа Мартине *(продолжает вязать)*. Разве это не мосье Жубер?

Минушон. О нет! Они приходят почти одновременно, но дверью стучат по-разному. У мосье Андриё звук получается похожий на «до», в то время как у мосье Жубера скорее на «фа»...

Г-жа Мартине *(улыбаясь)*. Ну, у вас и слух!

Минушон *(смеясь)*. Венсан обратил на это мое внимание однажды вечером...

(закашлявшись)... когда я случайно встретила его в лифте... Кстати, я давно его не видела... Как он поживает?

Г-жа Мартине. Великолепно!

Минушон *(восторженно)*. До чего же он похорошел, этот малыш! Хоть некоторые и против военной службы, но она все равно идет молодым людям на пользу, делает их мужественными. Одни плечи чего стоят! А бедра!

Г-жа Мартине *(забавляясь)*. Для меня все это давно уже не существует. Венсану было девять лет, когда он решил, что отныне его мать не имеет права видеть его голым! Так что я могу только предполагать...

Минушон *(быстро)*. И я тоже, само собой разумеется, но ведь в конце-то концов это же заметно...

Г-жа Мартине *(мягко)*. Ну, безусловно. Женская интуиция.

Пауза. Минушон отпивает виски, закуривает сигарету.

Минушон. Он все еще доволен своим маленьким оркестром?

Г-жа Мартине *(продолжая вязать)*. Оркестром? Вы ужасно отстали, моя бедная Минушон! Теперь, чтобы идти в ногу со временем, надо говорить «поп-группа».

Минушон. Скажите откровенно, Мадлен, вы находите, что это серьезно?

Г-жа Мартине. Что именно?

Минушон. Да то, чем занимается Венсан. Я хорошо знаю, что мы живем в чудно́е время, но все же надеяться на то, что ты сумеешь заработать себе на жизнь, барабаня по кастрюлям в компании трех лохматых человекообразных обезьян,— это же бред!

Г-жа Мартине *(мягко)*. Извините, он барабанит не на кастрюлях, а на супницах. Венсан утверждает, что в плане музыкальном кастрюли абсолютно непригодны.

Минушон. Ну хорошо. Возможно, вы скажете, что я вмешиваюсь не в свое дело, но мне кажется...

Отдаленный стук в дверь.

Ну вот, теперь это он.

Г-жа Мартине. Кто?

Минушон. Мосье Жубер. *(Возвращаясь к своей мысли.)* Я полагаю, что в двадцать два года барабанить на супницах — это глупо!

Г-жа Мартине *(снисходительно)*. Это свободная профессия!

Минушон. Откровенно говоря, Мадлен, есть и другие занятия! Вы знаете семейство Тренкэ?

Г-жа Мартине. Тренкэ? Кажется, нет...

Минушон. Как же! Шесть комнат с террасой на последнем этаже по лестнице «Ф».

Г-жа Мартине делает отрицательный жест.

Словом, они тоже не знали, что им делать со своим парнем. Малый неплохой, но звезд с неба не хватает. Так вот, сейчас он ходит в начальниках. Партизанит на Левом берегу.

Г-жа Мартине *(удивленно)*. А что это значит?

Минушон. Он делает революцию! Шагается все ночи напролет по Сен-Жерменде-Прэ, распевая «Мысли Мао» под аккомпанемент гитары!

Г-жа Мартине. Вот как! И этим зарабатывает себе на жизнь?

Минушон. Еще как! Он напал на одного шведского миллиардера с левыми взглядами, и тот подарил ему шикарный автомобиль «мазерати» — такой огромный, что не поместился бы в вашей гостиной!

Г-жа Мартине *(с ласковой укоризной)*. Минушон, но ведь это не совсем то, что мы называем свободной профессией?

Минушон. Нет. Но я хочу сказать, что Венсан в сто раз умнее Тренкэ и мог устроиться по крайней мере не хуже. В другом жанре, конечно!..

Г-жа Мартине *(покачав головой)*. Единственный экзамен, который он выдержал,— это когда получал водительские права! Не то что его отец, который в семнадцать лет был бакалавром первой и второй степени и оба раза с отметкой «хорошо»!

Минушон. Ну, и результат налицо! У Антуана прекрасное положение! Судя по всему, ЗАОПМЭГ становится чем-то грандиозным. Оплотом французской индустрии, как сказал мне Гийом!

Г-жа Мартине *(радостно)*. Вот как? Откуда он это знает?

Минушон. Главный метрдотель в шикарном ресторане всегда все знает. Слушать, не зевать у каждого стола — таков их девиз!

Шум поднимающегося лифта. Минушон прислушивается.

Кажется, это сюда... *(Лифт приближается, и Минушон машинально кладет руку на стаканы, чтобы они не вибрировали. Повышая голос.)* Может быть, это Антуан?

Г-жа Мартине *(тоже громко)*. Еще слишком рано!

Гул лифта, достигнув апогея, внезапно прекращается со стуком, напоминающим уличную аварию, близкую к катастрофе. Слышно, как очень сильно хлопает металлическая дверь.

(Г-жа Мартине слегка подпрыгивает.) Это Венсан! В один прекрасный день несчастная дверь останется у него в руках и домовладелец опять потребует возмещения убытков!

Открывается входная дверь квартиры, и раздается радостный голос Венсана.

Голос Венсана. Жена Мартине, вы дома? Отвечайте!

Г-жа Мартине. Венсан, не кричи!

Появляется Венсан. Это здоровый парень с обаятельной, открытой улыбкой. На нем поношенная куртка, свитер, джинсы, давно утратившие форму и цвет. Зато у него шевелюра Авессалома, каскадом ниспадающая на плечи.

МАРК-ЖИЛЬБЕР СОВАЖОН
ЧАО!

Венсан *(входя)*. Доб веч, ма! Доб веч, Минушон! Доб веч, все!

Г-жа Мартине *(сердито)*. Венсан, а твой парик?

Венсан. Ах да, извини! *(Снимает парик, как снимают шапку, и не глядя бросает в кресло. Но даже и без парика у него густые, довольно длинные волосы.)*

Г-жа Мартине. Ты же обещал никогда не носить его дома!

Венсан. Ты думаешь, так просто все время помнить об этом! Давай же поцелуемся! *(Быстро целует ее.)* А вы, Минушон, сама свежесть, от ожидания вы ничуть не подурнели. *(Приподнимает ее, вертит и, целуя, ставит на ноги.)*

Минушон *(полушутя, полусерьезно)*. Неотесанный верзила! У меня будут синяки! Что я скажу Гийому?

Венсан. То, что вы ему обычно говорите!

Г-жа Мартине *(миролюбиво)*. Перестань, Венсан!

Минушон. Послушать этого дуралея, такое можно подумать... Налить вам виски?

Венсан *(бросается в кресло)*. Еще бы! *(К матери.)* Па вернулся?

Г-жа Мартине. Нет еще.

Минушон. Он работает!

Венсан. Должен сознаться, что этот факт доставляет мне большое удовлетворение!

Минушон. Жаль, что он не может сказать того же о вас!

Г-жа Мартине. Кстати, мой дорогой, как прошла сегодня репетиция?

Венсан. Экстра!

Г-жа Мартине. Где вы репетировали?

Венсан. На авеню Жюно.

Минушон. Вы сняли помещение?

Венсан. Чего ради? На то есть тротуары!

Минушон *(возмущенно)*. Вы играете на тротуарах? Слышите, Мадлен?

Г-жа Мартине *(рассудительно)*. Не могут же все репетировать в зале Плейель.

Венсан. Минушон, вы очаровательная женщина и как никто можете приготовить цыпленка, но ваши музыкальные представления все еще на уровне пещерного жителя!

Г-жа Мартине *(продолжая вязать)*. Венсан!

Венсан. Слушая скрипку, рояль, виолончель, гобой и весь этот обычный хлам, вы теряете способность вообще что-либо понимать! Вы же сами себя грабите! Подождите, я сейчас кое-что вам покажу, отсталая вы личность!

Он быстро выходит. Минушон качает головой и отпивает виски.

Минушон. Надо же додуматься!

Г-жа Мартине *(с мягкой улыбкой)*. Но это забавно!

Возвращается Венсан. В вытянутой руке он держит желтую с цветочками крышку от фаянсовой супницы, к ручке которой привязан кусок веревки.

Венсан. Вы знаете, что это такое?

Минушон. Крышка от супницы.

Венсан. Вовсе нет. *(Согнутым указательным пальцем он стучит по крышке, которая издает приятный, как колокольчик, звон.)* Это фа-диез! Фа-диез в старом марсельском фаянсе или старый марсельский фаянс в фа-диезе, как хотите... У меня уже были отличные фа на мустьерском фарфоре и даже фа-диезы на люневильской или страсбургской керамике, но не такого качества! *(Стучит второй раз по крышке.)* Ты не находишь, ма?

Г-жа Мартине. В самом деле, мне кажется, здесь звучит как-то иначе, чем на других.

Венсан. Гениально — вот что это такое! Минушон, откройте ваши хорошенькие ушки и постарайтесь быть справедливой... *(Снова стучит по крышке.)* Разве это не музыка?

Минушон. Музыка для поваренка!

Венсан. Это просто невероятно, до чего вы отсталая! Сразу видно, что у вас абонемент на фортепьянные концерты.

Минушон. Вы знаете, время от времени и у них получаются неплохие фа-диезы...

Внезапно где-то с шумом заработал пущенный на полную мощность душ — такое впечатление, точно вы находитесь в душевой кабине. Минушон вздрогнула.

Душ госпожи Гранжан! Уже семь часов! *(Встает.)* Надо бежать к себе наверх, успеть одеться. Если я не буду готова к приходу Гийома, он сразу поднимет крик!

Г-жа Мартине. Вы куда-то идете сегодня вечером?

Минушон. Конечно. Когда он свободен, мы ходим ужинать в ресторан. Гийом считает, что лучший отдых — наблюдать за работой другого метрдотеля... Кстати, Мадлен, у меня со вчерашнего дня осталась добрая половина пиццы. Я приготовила слишком большую. Не соблазнитесь?

Г-жа Мартине. Мне бы не хотелось объедать Гийома!

Минушон. Он ненавидит пиццу. Я сейчас вам принесу... *(Пристально смотрит на Венсана.)* Подняться на два этажа — сущий пустяк для женщины!

Венсан не понимает намека.

Г-жа Мартине *(вставая)*. По-моему, Венсан немного устал. Я пойду с вами и заодно взгляну на ваш новый пылесос. *(Венсану.)* Пожалуйста, начинай накрывать на стол, а то скоро придет отец.

Венсан *(развалившись в кресле)*. Это не совсем отвечает моему идеалу жизни, но я все же попытаюсь чем-нибудь тебе помочь... Попутного ветра, Минушон, и наилучшие пожелания Гийому!

Минушон *(уязвленная)*. Ну что ж!.. Доброй ночи, маэстро!

Обе женщины выходят. И сразу же снова раздается голос Минушон.

Голос Минушон. Тьфу, я забыла сигареты! Сейчас догоню вас, Мадлен!

Возвращается Минушон. Она идет за сигаретами, которые нарочно забыла на столе, и исподлобья смотрит на Венсана.

Минушон *(быстро и тихо)*. Ну спасибо! Прямо скажем: лихо же ты использовал случай!

Венсан *(так же)*. Какой случай?

Минушон *(так же)*. Да пиццу. Я надрываюсь, готовлю огромную пиццу, чтобы дать тебе предлог подняться ко мне на десять минут, а ты отправляешь со мной свою мамочку!

Венсан. Ах, вот оно что! Извини, я не понял!

Минушон *(так же)*. Вот как! В прошлый понедельник, когда речь шла о паштете, ты очень хорошо понял!

Венсан *(так же)*. Паштет — это яснее!

Минушон *(так же)*. Скотина!

Венсан *(так же)*. Бедняжка Минушон! *(Целует ее в кончик носа.)* Обещаю тебе, что в следующий раз буду более сообразителен!

Минушон *(с нежностью)*. Я бы очень тебе это рекомендовала, скотинка!

Выходит. Через некоторое время слышен ее голос.

Голос Минушон. Они упали под стол! Извините, Мадлен...

Слышно, как закрывается входная дверь. Венсан потягивается и без особого энтузиазма начинает ставить стаканы на поднос. Звонит телефон.

Венсан. Алло?.. Да, совершенно верно. Вам нужен... Отец или сын? Из джаза Вуппи-бойз? Считайте, что это я!.. *(Удивленно.)* Свободны ли мы сегодня вечером? Да, конечно. Для чего?.. Безусловно хотим! А это где?.. У Сабины Кларьё-Манасье в Нейи улица Белькруа, двенадцать?.. Заметано! Какой этаж?.. Частный особняк? Так... В одиннадцать часов? Подходит. Кстати, вы, конечно, знаете наш жанр? Исключительно фа'янс, фарфор и чуть-чуть ударных... Отлично! Раз это то, что вы хотите, все в порядке!.. Наши условия?.. Э-э... Лучше скажите мне ваши, так пойдет быстрее... *(С радостным удивлением.)* Сто тысяч старыми? По рукам!.. Да, да, Нейи, улица Белькруа, двенадцать! Замечательно! Чао! *(Он кладет трубку и удовлетворенно насвистывает. Затем заканчивает то, что начал делать. Берет поднос. Шум поднимающегося лифта. Венсан прислушивается. Лифт с уже знакомым оглушительным грохотом останавливается. Щелкает металлическая дверь, которую на этот раз осторожно прикрывают. Услышав звук открывающейся входной двери, Венсан кричит.)* Это ты, па? Не закрывай дверь, ма у Минушон! Она сейчас вернется! *(Выходит с подносом.)*

Входит Мартине. Мрачный и подавленный, он потухшим взглядом окидывает комнату, затем тяжело садится в кресло и застывает, неподвижно глядя перед собой. Мартине молчит.

Голос Венсана. Выпьешь стаканчик?

Мартине молчит, словно и не слышал.

Выпьешь стаканчик?

Мартине *(вздрагивает)*. Что ты сказал?

Голос Венсана. Я спрашиваю, хочешь ли ты выпить?

Мартине Да, спасибо...

Голос Венсана. Шотландского виски?

Мартине. Все равно...

Короткая пауза. Появляется Венсан, неся наполовину свернутую и наброшенную на плечо скатерть и груду тарелок, поверх которых стоит стакан с виски. Ножи и вилки для удобства он засунул в карман. Продолжая держать тарелки, он протягивает отцу стакан с виски. Мартине машинально его берет.

Венсан. А еще говорят, что я ничего не делаю!.. *(Ставит тарелки на кресло и с неловкостью, свойственной мужчинам, расстилает скатерть.)* Все в порядке?.. День прошел хорошо?

Мартине молчит, потом залпом выпивает виски.

Ну вот, а со мной произошел забавный случай! Представь себе, как раз перед твоим приходом мне позвонила одна девица. Кларьё-Манасье. Ты такую знаешь?

Мартине *(с отсутствующим видом)*. Нет...

Венсан *(накрывая на стол)*. Во всяком случае, она, должно быть, не из тех, кто сморкается в руку! Знаешь, где она живет? В Нейи, в собственном особняке! Сегодня вечером она у себя устраивает маленький трам-тарарам и, чтобы создать атмосферу, решила пригласить Вуппи-бойз! А ведь мы ни разу не играли там. Здорово, правда? *(Заинтригованный молчанием отца, смотрит на него.)* Ты болен?

Мартине. Нет! А что?

Венсан. У тебя помятый вид...

Мартине. У меня мигрень.

Венсан *(сердечно)*. Послушай, па, я знаю тебя, как если бы сам тебя родил. Ты хоть не модель последнего образца, но и не отстаешь от времени. И сейчас вовсе не мигрень вывела тебя из равновесия.

Мартине молчит съежившись.

(Хлопая отца по плечу.) Ты не хочешь довериться своему старику-сыну?

Мартине *(нервно)*. Оставь меня в покое. Я тебе повторяю, что со мной ничего не случилось!

Венсан. Тогда почему же ты злишься?

Мартине *(раздраженно)*. Я не злюсь! Ты меня раздражаешь своими глупыми вопросами, вот и все! Бывают такие случаи, когда человеку надо побыть одному, правда? Ну так вот, это и есть такой случай. *(Внезапно с верхнего этажа раздается голос Марии Каллас, которая исполняет «На спокойном море». Радиола явно включена на полную мощность, и Мартине затыкает уши.)* Этого еще не хватало!

Сложив рупором руки, Венсан запрокидывает голову.

Венсан *(кричит)*. Эй там, наверху! Хватит! Уже слышали!

Звук тотчас приглушается. Пластинка еще играет, но тише, через некоторое время она совсем смолкает.

Ну вот, с этим улажено. Обычно она запускает Вагнера... Хочешь аспирину?

МАРК-ЖИЛЬБЕР СОВАЖОН
ЧАО!

Мартине. Нет, спасибо.

Венсан. Еще виски?

Мартине молчит.

Послушай, па, только три вещи могут вывести тебя из равновесия: ма, я и ЗАОПМЭГ... Ма чувствует себя хорошо, я не хуже, чем обычно, значит, это ЗАОПМЭГ.

Мартине опускает голову.

Так, да?

Мартине, не поднимая головы, утвердительно кивает.

Что там случилось? Ты спустил своего президента и генерального директора с лестницы?

Мартине не в силах больше молчать.

Мартине *(тихо)*. Они выгнали меня.

Венсан *(потрясенный)*. Тебя?

Мартине молча кивает.

Этого не может быть, тебе приснилось! Не сумасшедшие же они, чтобы бросаться такими, как ты! Ты ведь все делал, только что не подметал за собой перед тем, как уйти. Какая муха, черт побери, их укусила!

Мартине *(устало)*. Сокращение штатов... Они купили ЭВМ триста один.

Венсан *(не поняв)*. Что?

Мартине. Электронную машину. Она за двадцать пять секунд выполняет ту же работу, которую двадцать пять служащих делают за двадцать пять дней. Отныне она будет трудиться в архиве. А я им больше не нужен...

Венсан *(взбешенный)*. Вот как! В течение семнадцати лет ты вкалывал как вол, а теперь — до свиданья! Ну и мерзавцы же сидят в ЗАОПМЭГе!

Мартине. Они тут ни при чем. Никто в этом не виноват...

Венсан. Виноватый всегда есть. Если человек получил удар под зад, это значит, что кто-то дал ему пинка! И не пытайся меня переубедить!

Мартине. Так или иначе, а бранью ничего не изменишь.

Венсан. От нее хоть становится легче. Кто еще проводил столько времени в их коробке? Никто, кроме бюста дедушки-основателя, который торчит у них в холле. И, однако, это не помешало им выставить тебя, как будто ты ограбил у них кассу!

Мартине. Глупости ты говоришь. Я покину ЗАОПМЭГ с высоко поднятой головой. Обычное выходное пособие мне будет удвоено, и в порядке исключения мне вручат золотую Медаль Труда.

Венсан. Которая тоже будет удвоена, будь покоен! Позолоченная пилюля! Стоило им погладить тебя по шерстке, как ты замурлыкал!

Мартине *(вспылив)*. Венсан, если ты намерен продолжать в том же тоне, я лучше уйду! И когда только ты оставишь эту отвратительную привычку обо всем судить, ничего не понимая? Даже после того что произошло между Куфиселем и мной, я все равно считаю, что он не только большой промышленник, но и на редкость корректный человек. И добавлю, что сегодня в отношении меня он высказал особое понимание и даже дружелюбие!

Венсан. Хорошо. Скажем так: чтобы дать тебе пинок под зад, он надел домашние туфли! Что это меняет? Он все-таки тебя выгнал! Ты находишь это справедливым?

Короткая пауза. Мартине медленно качает головой.

Мартине. Нет... Но это нормально, вот и все... То, что нормально, не всегда бывает справедливо, Венсан. Есть еще сила обстоятельств, с которой мы должны считаться! Когда-нибудь ты тоже это узнаешь.

Венсан. Ну нет! Чтобы какой-то Куфисель дал мне пинка и я покорно собрал бы манатки и отправился бы плакать восвояси! Если я и разобьюсь, воздвигая пирамиду, то воздвигать я ее буду для себя, а не для кого-то еще...

Мартине. В твоем возрасте я тоже думал так!

Венсан. Ты? Ты верил только в розовые страницы «Ларусса», где содержались прописные истины: добродетель всегда вознаграждается; хороший поступок никогда не пропадет даром; труд преодолевает все! А в результате — на мели, не достигнув и пятидесяти! Бог мой, когда я вспоминаю, что последний раз мне не хватило всего девятнадцати баллов, чтобы получить степень бакалавра, у меня мороз по коже!

Мартине *(язвительно)*. Будь спокоен, в жизни будут ситуации почище, от которых тебя будет продирать мороз! Тем не менее я благодарен тебе за то, что ты с обычной своей любезностью оценил те жертвы, которые мы, твоя мать и я, приносили всю жизнь, чтобы содержать тебя в школе до призыва на военную службу!

Венсан *(развязно)*. Скажи, па, ты что — собираешься исполнить «Плач Мартине»?

Мартине смотрит на него.

Мартине. Ты меня пугаешь, Венсан. Ты всегда меня пугал, но еще ни разу так, как сегодня!

Венсан. А что у меня сегодня прибавилось?

Мартине *(серьезно)*. Не прибавилось, а убавилось. Моя работа. До сих пор она давала нам возможность существовать. Сейчас разом все изменилось. Придется потуже затянуть ремень...

Венсан. Я что же, значит,— лишний рот? Да? Ты хочешь, чтобы я нанялся в Иностранный легион?

Мартине *(гневно)*. Мне хотелось бы прежде всего, чтобы ты прекратил отпускать шутки по каждому поводу и по возможности быстрее подумал о том, как честно зарабатывать себе на жизнь! Давно пора!

Венсан. Но я же думаю! И, возможно, на этих днях я тебе сделаю приятный сюрприз...

Мартине *(холодно)*. Со своими супницами?

Венсан. С моими супницами!

Мартине *(удрученно)*. Самое печаль-

ное то, что ты в это веришь, бедный мой мальчик!.. *(Смотрит на часы. Уже другим тоном.)* Ну хорошо. Ты скажешь матери, что я в своем кабинете. Пишу письмо... И, главное, ни слова о нашем разговоре!

Венсан. О ЗАОПМЭГе. Но ты же должен сказать ей!

Мартине. Попозже. Послезавтра ее день рождения. Мне хочется, чтобы он, как всегда, прошел весело. Могу я рассчитывать на тебя?

Венсан. Да, шеф. *(Улыбнувшись.)* Ты стóишь не золотой медали, которую хотят тебе всучить, а нимба вокруг головы.

Мартине. Спасибо. *(Идет к выходу, останавливается при виде парика, который Венсан швырнул на кресло, и брезгливо берет его большим и указательным пальцами.)* В сотый раз говорю тебе, чтобы ты его держал в своей комнате! Отвратительно! Каждый раз, когда я его вижу, у меня такое чувство, точно какой-то индеец скальпировал твою мать!

Выходит, бросив парик Венсану, который ловит его на лету и засовывает в карман. И тотчас хлопает входная дверь.

Венсан. Это ты, ма?

Входит г-жа Мартине. Она несет на тарелке пиццу.

Па в своем кабинете.

Г-жа Мартине. Да, я знаю... *(Ставит тарелку на стол.)*

Венсан *(удивленно)*. Откуда ты это знаешь?

Г-жа Мартине. Я уже довольно давно вернулась от Минушон. И стояла в коридоре.

Венсан. Почему?

Г-жа Мартине. Я сразу все поняла, и мне показалось, что мое присутствие ничего не улучшит, скорее наоборот... В таких случаях у женщин обычно появляется никому не нужная слезливость... *(Улыбнувшись ему.)* И потом, ты был с ним и вел себя так, как надо Это меня успокоило...

Венсан *(удивленно)*. Как же я себя особенно вел?

Г-жа Мартине. Ты его разозлил. А когда человек злится, у него уже нет желания плакать... Я бы так не сумела...

Венсан. Так ведь это уже стало моей специальностью! Как только я открываю рот, он закипает!

Г-жа Мартине. Тем лучше, на сей раз!... *(Инстинктивно понижая голос.)* За что все-таки его уволили? Я не расслышала...

Венсан. Куфисель купил электронную машину, которая все делает сама. Вроде скороварки. Это позволило ему вышвырнуть порядочно народу...

Короткая пауза

Солидный удар, а?

Г-жа Мартине. Да... И не только из-за денег. Главным образом это удар по нему, по его гордости... по тому чувству справедливости, которое еще не угасло в нем... Бедный мой Антуан!..

Венсан *(качая головой)*. К этому надо прибавить, что он не создан для драки, твой Антуан! Нынче ведь все решается очень просто. Либо ты ударишь первым, либо тебя положат на лопатки! А он ждет, когда его ударят!

Г-жа Мартине. Ну, а что он мог сделать?

Венсан. В жизни у каждого есть свой час, надо только не прозевать. Был он и у отца десять лет тому назад. Когда ЗАОПМЭГ и гроша не стоило и когда случилась у них эта вонючая история с поливаленом. Кто, как не отец, нашел тогда выход из положения? Так вот, в тот момент он должен был нагнать на них страху и потребовать от Куфиселя гарантий, которые в будущем помешали бы тому делать подлости!

Г-жа Мартине. Венсан! Это же был бы шантаж!

Венсан. Быть предусмотрительным — разве это шантаж?

Г-жа Мартине. Даже если бы твоему отцу и пришла такая мысль в голову, он никогда не мог бы на это решиться.

Венсан. И даже если бы его осенила эта мысль, ты бы воспротивилась?

Г-жа Мартине. Конечно.

Венсан *(мирно)*. Два ангелочка с пасхальной открытки — вот вы кто.

Г-жа Мартине *(улыбаясь)*. Что поделаешь, раз нам нравится быть такими...

Венсан. Но вам это стоит довольно дорого!.. Итак, какие у тебя намерения относительно па?

Г-жа Мартине. Никаких.

Венсан. Ты не хочешь с ним поговорить?

Г-жа Мартине. Только если он сам заговорит... *(Улыбнувшись.)* Послезавтра день моего рождения. И я тоже хочу, чтобы он прошел весело, как обычно.

Венсан. Шампанское на льду, маленькие подарки, звонкие поцелуи, Минушон в своем цветастом платье и Гийом в своем репертуаре!.. Ты уверена, что выдержишь?

Г-жа Мартине. Об этом не беспокойся!

Венсан *(улыбаясь)*. А ты знаешь, в тебе что-то есть!.. Недаром ты мне понравилась, как только я тебя увидел!..

Г-жа Мартине. А ты мне чуточку раньше!

Венсан *(смеясь)*. Мы созданы друг для друга, верно? *(Целует ее.)* Ну хорошо, теперь я исчезаю!

Г-жа Мартине. Ты не будешь ужинать дома?

Венсан. Нет. Сегодня вечером я сам зарабатываю себе на жизнь. Одна девушка позвонила мне и попросила приехать к ней на вечеринку в Нейи, а мне еще надо собрать моих музыкантов.

Г-жа Мартине *(взволнованно)*. В Нейи? Надеюсь, она заплатит?

Венсан. Сто тысяч и вволю лимонаду.

МАРК-ЖИЛЬБЕР СОВАЖОН
ЧАО!

Г-жа Мартине. Совсем неплохо!

Венсан. Извинись за меня перед па, ладно? Мне надо мчаться. Приятного вам вечера!

Г-жа Мартине. И тебе тоже.

Венсан. Маловероятно, чтоб мне там понравилось, но я притворюсь, вот и все! Так же как па притворяется, что ему нечего тебе сказать, а ты — что ничего не знаешь! Семья героев эти Мартине!

Выходит. Г-жа Мартине спокойно продолжает накрывать на стол.
Сзади появляется Мартине. Он курит трубку, из кармана у него торчит сложенная газета, он делает вид, что у него превосходное настроение. Подходит к жене и целует ее в шею.

Г-жа Мартине. Добрый вечер, мой дорогой. Ужин будет готов только через четверть часа. У тебя будет время просмотреть газету.

Мартине с блаженным видом садится в кресло и достает из кармана газету.
С верхнего этажа доносятся первые аккорды «Венгерской рапсодии» Листа. Мартине поднимает голову.

Мартине. Что это такое на этот раз?

Г-жа Мартине. Лист, по-моему.

Мартине. Великолепно! *(Удобнее располагается в кресле, разворачивает газету.)* Ты хорошо провела день?

Г-жа Мартине. Очень спокойно. Я вязала. Ненадолго заходила Минушон. А у тебя все хорошо? Не очень устал?

Мартине. В полной форме!

Они смотрят друг на друга и улыбаются, в это время гаснет свет.

Картина третья

ГАРДЕРОБНАЯ

Небольшая гостиная у Кларьё-Манасье, превращенная в импровизированную гардеробную; чтобы обозначить декорацию, достаточно нескольких красивых стульев и кресел. Однако мебель эта погребена под невообразимой горой мужских и женских пальто (среди последних много меховых), сваленных как попало, друг на друга. Некоторые валяются прямо на полу.
Приглушенно звучит джазовая музыка. За сценой праздничный шум, слышно, что веселятся молодые люди. Венсан на сцене один, он в парике, ищет свой плащ, затерявшийся в общем беспорядке.
За его спиной открывается дверь, входит Софи. Это очень хорошенькая, совсем юная девушка, почти подросток. На ней ультрамодная одежда, стоимость которой исчисляется астрономическими цифрами.

Софи. О, простите! Я вам не помешаю?

Венсан через плечо мельком бросает на нее взгляд и продолжает свои поиски.

Венсан. Нисколько. Я ищу свою норку...

Софи. А я сигареты. В кармане моего манто должна быть пачка. *(Из кучи одежды она вытаскивает за рукав очень красивое манто из оцелота, осматривает карманы и бросает не глядя.)* Оказывается, ничего нет! *(Смотрит на Венсана, который не обращает на нее никакого внимания.)* А вы какие сигареты курите?

Венсан. «Малютки». *(Опустившись на колени, он тщательно изучает нижние слои высящейся перед ним кучи. И по-прежнему не смотрит на девушку.)*

Софи. Это приятно?

Венсан *(в том же духе)*. Чрезвычайно. Хотите попробовать? *(Он оборачивается, бросает ей пачку «Малюток», которую она ловит на лету, и продолжает свои поиски.)*

Софи *(заглядывая в пачку)*. Здесь только одна. Можно?

Венсан *(занятый поисками)*. Валяйте!

Софи берет сигарету, вынимает из кармана золотую зажигалку, затем, передумав, кладет ее обратно в карман.

Софи. Между прочим, я потеряла свою зажигалку!..

Венсан подходит к ней, ощупывая свои карманы.

(Делает шаг к нему, задирает голову, смеется.) Это ты такой большой или я такая маленькая?

Венсан. И то и другое...

Софи. А тебя не смущает, что я говорю тебе «ты»?

Венсан *(вытаскивая зажигалку)*. Если тебе так нравится...

Софи. Все дело в привычке. Я всем говорю «ты», за исключением своего жениха... *(Она приближает лицо к зажигалке — кстати, самой заурядной,— затягивается, медленно выпускает дым, пожимает плечами.)* Это приятно, а вовсе не противно... *(Смеется, глядя на Венсана.)* У тебя разочарованный вид. Ты надеялся, что я выплюну?

Венсан. В общем-то да.

Софи *(смеясь)*. Ерунда! Мой рекорд — гаванская сигара, вот такая толстая... *(Показывает жестом.)* Я выкурила ее на пари.

Венсан. И выиграла?

Софи. Еще бы! И знаешь, мне было всего пятнадцать лет!

Венсан. А сколько лет тебе сейчас?

Софи. Тебя это интересует?

Венсан. Надо же о чем-то говорить.

Софи. Мне восемнадцать лет, семь месяцев и пять дней. А тебе? *(Кончиком указательного пальца она поворачивает его голову вправо, затем влево.)* Двадцать три полных!

Венсан. Браво! Двадцать два, запятая, девять.

Короткая пауза.

Софи. Ты знаешь, как говорят китайцы?

Венсан. Нет, и мне на это наплевать.

Софи. Они говорят, что мужчина должен всегда выбирать женщину, чей возраст равен половине его возраста плюс семь лет... Половина от двадцати трех будет одиннадцать с половиной, а одиннадцать с половиной плюс семь равняется восемнадцати с половиной!.. Забавно, да?

Венсан *(холодно)*. Потрясающе. *(Внезапно взгляд его останавливается на предмете как раз за спиной Софи. Другим тоном.)* А, вот он! *(Направляется к кипе одежды, вытаскивает плащ и тотчас его отбрасывает.)* Осечка!

Софи. Ты так спешишь уйти?

Венсан. Уже три часа утра!

Софи. Саби сказала нам, что вы будете играть всю ночь...

Венсан. У нее богатое воображение, у вашей Саби! Мы бренчали на супницах с половины двенадцатого до без четверти три, все хорошо в меру! Закончите под пластинки. К тому же мои коллеги ведь еще работают.

Софи. А что они делают?

Венсан. Один из них на станции обслуживания у заставы Терн моет колымаги, другой моет посуду в ночном кабачке на улице Вавен, а третий, Эйнштейн, развозит газеты по киоскам. Это тот, который пел.

Софи. Его в самом деле зовут Эйнштейном?

Венсан. Нет, это мы его так окрестили. Он самый ученый среди нас, закончил четыре класса.

Софи. Как он, по-твоему, поет?

Венсан. Как шина на повороте, но у него есть чувство ритма... *(Вытирает лоб.)* Больше я не могу. Ну и топят же в этом квартале! *(Снимает свой парик и засовывает его в карман.)* Что ж, придется испортить вывеску.

Софи *(смотрит на него)*. Знаешь, а ты мне так больше нравишься! В этом своем парике ты похож на махровую хризантему!

Венсан улыбается и, не сдержавшись, зевает.

Вот так та́к! Я вижу, ты от меня в восторге. Хочешь, я принесу тебе чего-нибудь выпить?

Венсан. Ни в коем разе: будет еще хуже!

Софи. Тогда чего ты хочешь?

Венсан *(озирается вокруг)*. Мою хламиду!

Софи *(с улыбкой)*. Ты знаешь, твоя страсть к плащу становится обидной! Постой, у меня идея! Блеск! *(Бросает окурок в вазу, хватает охапку одежды и идет на середину комнаты.)* Давай устроим двухспальный диван! Помоги-ка мне!

Вдвоем они набрасывают гору одежды посреди комнаты; Софи выравнивает ее в виде четырехугольника.

Ну вот! *(Падает на одежду.)* Очень просто. Тысяча и одна ночь!.. Садись, ты сейчас увидишь...

Венсан садится около нее.

Ну как?

Венсан. Неплохо. *(Внезапно замечает рукав плаща, который торчит из кучи одежды, и испускает рев.)* На этот раз я его держу! *(Встает, хватает рукав и тащит.)*

Софи скатывается на пол.

Вот он, голубчик!

Софи *(с пола)*. Ну нет, это уже жульничество... *(Встает, идет к Венсану, отбирает у него плащ.)* Это было бы бессердечно! Если ты сейчас уйдешь, что я буду делать на своем диване? Я задержу тебя не более пяти минут, клянусь! *(Заставляет его сесть, садится сама возле него и улыбается.)* У тебя чертовски усталый вид, клянусь, можно подумать, что ты камни таскал. *(Искоса кидает на него взгляд.)* Тебя кто-нибудь ждет?

Венсан *(с улыбкой)*. Да, но этот кто-то уже привык ждать. А ты кого ждешь, жениха?

Софи. Он в Риме.

Венсан. Он что, итальянец?

Софи *(рассмеявшись)*. Почему? В Риме, знаешь ли, не так уж много итальянцев! И потом — тебе-то что?

Венсан. Ничего. *(Снова еле сдерживает зевоту.)* Так, для расширения кругозора...

Софи. Предупреждаю: если ты еще раз зевнешь, я задержу тебя еще на десять минут! *(Без всякого перехода.)* Тебе нравится имя Софи?

Венсан *(удивленно)*. Почему ты меня об этом спрашиваешь?

Софи. Потому что это мое имя, пора бы тебе уже знать.

Венсан. Мне?

Софи. Первое, о чем молодой человек спрашивает девушку, это как ее зовут. Затем выясняет ее номер телефона...

Пауза.

Пять-двадцать шесть-ноль-два-ноль-шесть... *(Со смехом.)* А ты? Вот уж кто не попадет на скамью подсудимых за подстрекательство горняков к беспорядкам! Ты всегда такой?

Венсан. Только менее блестящий!

Софи *(смеясь)*. Нет, просто уму непостижимо, до чего ты мне нравишься!

Венсан. Ах, вот как? Чем же?

Софи *(смеясь)*. Ты делаешь для этого все возможное, разве нет? И потом, ты так не похож на этих птенцов, которые вьются вокруг Саби!.. *(Вынимает из кармана пачку сигарет и свою зажигалку.)* Хочешь попробовать теперь мои?

Венсан берет одну сигарету и смотрит на нее.

Венсан. Эти курят или жуют?

Софи дает ему прикурить.

Кстати, ты же вроде говорила, что у тебя нет ни сигарет, ни зажигалки.

Софи. Это был предлог, чтобы завязать разговор... *(Закуривает.)* Мне хотелось поболтать с тобой, но я боялась, что ты пошлешь меня подальше... *(Смотрит на него.)* Знаешь, с первого взгляда ты производишь впечатление ледышки. В течение всего вечера ты смотрел на меня не больше, чем смотрел бы на накладную фабрики деревянных башмаков в Юре!

Венсан. Меня наняли, чтобы играть, а не смотреть на тебя.

Софи. Короче, я не знаю, как тебя приручить. Лучшее средство, конечно, это поговорить с тобой о твоей музыке, только вот...

Венсан. Что?

Софи. По-моему, она очень плохая.

Венсан. Вот как!

Софи. Правда, это понимаешь не сразу. Сначала все эти крышки от супниц довольно забавны. Потом, твои приятели и ты

МАРК-ЖИЛЬБЕР СОВАЖОН
ЧАО!

хорошо танцуете рок. У вас есть чувство ритма. Словом, все хорошо... Только очень быстро все надоедает. Во всяком случае, я прекрасно знаю, что вы сегодня дали жизни, а мне вот не нравилось!

Венсан. Что же я-то тут могу поделать? Может, ты из тех девиц, которые целыми днями лежат на медвежьей шкуре и смакуют Моцарта?

Софи *(с улыбкой).* Бывает, только не на медвежьей шкуре, а на шкуре пантеры. От медвежьей я чихаю... *(Смотрит на него.)* Почему ты не пишешь настоящую музыку? Я уверена, что ты мог бы... У тебя никогда не было желания попытаться сделать что-нибудь хорошее?

Венсан. Для кого?

Софи. Для всех!

Венсан. Кто это все? Ты знаешь многих, у кого есть слух? Настоящая музыка, как ты говоришь,— это устарело. Кабак и анархия — вот что идет! Ты знаешь, кем был бы Шопен, если бы он воскрес? Учителем музыки, дрожащим от холода в комнатушке для прислуги. Ты считаешь, что моя музыка плоха? Ты ошибаешься. Она омерзительна. Омерзительна, но идет! Во всяком случае, пойдет! Почему, ты думаешь, твоя подружка Саби, снобка с головы до пят, захотела сегодня пригласить к себе Вуппи-бойз, в то время как в Париже есть полсотни поп-групп лучше нашей? Да потому что Вуппи единственные, кто барабанит на супницах, и лучше нельзя пустить пыль в глаза! А такие, как Саби, есть повсюду. Больше того: только такие и есть. Для нее и ей подобных мы — джазовые психи. А сегодня, если ты не выдрючиваешься, то ты ничто.

Софи. И это все, чего ты ищешь в жизни? Лишь бы как-то выдрючиваться?

Венсан. Я ищу то, чего у меня нет и чего тебе не надо искать потому, что у тебя это есть. Деньги! И будь спокойна, не сегодня-завтра у меня их будет вот столько — выше головы. Надо только выдавать в день по идее! И плевать — хорошая она или плохая, лишь бы была новая. Назавтра ты ее выбрасываешь, потому что она уже протухла, и находишь что-то другое!

Софи. Ну что ж, будем считать, что дело в шляпе. Венсан Мартине, самый большой мастак по части выдрючивания,— миллиардер. Ну, а дальше что ты будешь делать?

Венсан. Все, что пожелаю. Может, закажу какому-нибудь типу написать концерт, какой захочу, и в придачу закуплю Плейель, чтоб его там исполнить.

Софи. Скажешь тоже! Зал Плейель — это не проблема, а вот концерт исполнить — другое дело... Этого ты уже не сможешь. Тогда как сейчас...

Венсан *(с улыбкой).* Старушка, если бы я следовал всем добрым советам, которые мне давали со дня моего рождения, я бы уже давно был продавцом в «Галери Лафайетт»!.. Кстати, сколько еще там осталось от моих пяти минут?

Софи *(смотрит на часы).* Время вышло. Ты свободен.

Венсан. Прекрасно. *(Ласково гладит ее по щеке.)* Чао, Софи, и всегда переходи улицу по пешеходной дорожке! *(Встает, берет свой плащ и надевает его.)*

Софи наблюдает за ним.

Софи. Мы еще увидимся?

Венсан. Кто знает? Мир тесен, а случайностей много!

Софи. А если их поискать нарочно, было бы надежнее... Это тебя не соблазняет?

Венсан *(холодно).* Конечно, но я сдерживаюсь.

Софи. Ну, как хочешь... У тебя есть карандаш и кусок бумаги?

Венсан *(ищет).* Карандаш — да, но вот бумаги...

Софи. Этого хватит. *(Высыпает сигареты из пачки прямо на «диван», расправляет ее и берет карандаш.)* Я запишу тебе свой адрес на тот случай, если ты изменишь свое решение...

Венсан. Маловероятно.

Софи *(пишет).* Я уже выиграла один забег. И теперь настроена оптимистичнее. *(Возвращает ему карандаш, складывает бумагу и сует в карман его плаща.)* Ну вот, если у тебя не будет ничего для чтения...

Венсан. Договорились.

Софи поправляет воротник его плаща, подтягивает пояс.

Софи. Хоть ты мне и обещаешь, но я знаю, что как только ты переступишь порог, сразу все это выбросишь... Да черт возьми, неужели я так уж безобразна, что со мной противно встретиться второй раз?

Венсан. Ты прекрасно знаешь, что ты настоящая ловушка!

Софи. Да ну? Завтра с трех до пяти у меня урок танцев. В половине шестого я могу быть, где ты захочешь.

Венсан *(с улыбкой).* Не пойдет. Какая у тебя колымага?

Софи. «Порш».

Венсан. Шикарная спортивная машина. А у меня пара гнедых. Так что, как видишь, не стоит даже и пробовать. Я прибуду слишком поздно.

Выходит. Софи кусает губы и бросается на «диван». Она берет сигарету, закуривает, затягивается и смотрит задумчиво на дым, поднимающийся к потолку.

Слышны приглушенные звуки музыки и шум вечеринки. Внезапно шум становится более отчетливым, как если бы кто-то открыл невидимую дверь.

Софи поворачивает голову. Появляется Венсан. В руках он держит пустую пачку из-под сигарет, которую ему дала Софи. Он смотрит на девушку с нескрываемым интересом, смешанным с изумлением. Очень короткая пауза.

Софи. Ты перепутал плащ или снова ищешь — уже по привычке?

Венсан. Ни то, ни другое... *(Смотрит на адрес, потом на Софи.)* Фамилия, которую ты здесь написала, в самом деле твоя?

Софи. Безусловно!

Венсан *(все еще недоверчиво).* Твоя фамилия Куфисель?

Софи. Моя фамилия Куфисель. Софи-Каролин-Элизабет Куфисель.

Короткая пауза.

Венсан. Чем занимается твой отец?

Софи. А в чем дело? Это изменит счет? Он промышленник.

Венсан. Это Куфисель из ЗАОПМЭГа? Великий Куфисель?

Софи. Да. А я маленькая Куфисель великого Куфиселя... Откуда ты знаешь о ЗАОПМЭГе?

Венсан колеблется, прежде чем ответить

Венсан. У меня там работает один знакомый. Сосед по дому. *(Все еще смотрит на нее, кладет бумагу в карман, улыбается.)* Вот умора..

Софи. Что умора?

Венсан. Не знаю.. Совпадение... То, что встретил тебя сегодня вечером... Мне это кажется уморительным.

Софи. Ну что ж, тем лучше. И ты вернулся, чтобы мне сказать это?

Венсан. Не только... *(Достает сигарету, Софи подносит к ней зажигалку; он садится около нее, смеется.)* По правде говоря, мне стало немного не по себе, что я отчалил вот так сухо. В некотором роде угрызения совести, понимаешь? Прежде всего, это не твоя вина, что я взвинчен... Короче, я искал повода, чтобы вернуться и при этом не выглядеть дураком, как и ты только что, когда решила со мной заговорить... и я нашел вот это...

Софи *(тихо)*. Тебе не нужен был повод. У тебя был пропуск...

Венсан *(рассмеявшись)*. А мужская гордость? Что ты с ней поделаешь?

Софи. Словом, если бы я не была Куфисель, ты не нашел бы повода вернуться и мне оставалось бы лишь надеть траур?

Венсан. Вот именно.

Софи. Ты прав, это уморительно. Не слишком лестно, но уморительно. *(Улыбается.)* Теперь тебе остается дать мне адрес этого человека, и я пошлю ему цветы.

Венсан. Какого человека?

Софи. Того самого, который живет в твоем доме и работает в ЗАОПМЭГе.

Венсан. Ах, да!

Пауза.

Софи. Поскольку ты решил сыграть продолжение, может быть, ты снимешь плащ? Его можно будет держать за хвост...

Венсан. Вот это да!.. *(Задумавшись.)* Разве что перекочевать куда-нибудь? Твои приятели славные ребята, но утомительны для нервной системы... *(Улыбается.)* И потом, мне никогда не приходилось ездить на «порше»... Ты знаешь Менкур в долине Шеврёз?

Софи. По-моему, да.

Венсан. Две девицы открыли там в амбаре маленький ресторанчик, довольно забавный. В индийском стиле, понимаешь? Одна из них бренчит на ситаре, как никто! На самой настоящей с девятнадцатью струнами! Ты когда-нибудь слышала?

Софи. У меня есть пластинка битлз «Love you to...»[1] с Джорджем Гаррисоном и другая, в исполнении «Роллинг-Стоунз».

Венсан. Тебе нравится?

Софи. Пожалуй, да.

Венсан. Поедем туда, выпьем по стаканчику. Не возражаешь?

Софи *(улыбаясь)*. А почему я должна возражать? *(Встает с места, берет свое манто из оцелота.)*

Венсан несколько озадаченно смотрит на нее.

Венсан. Но имей в виду, я тебя не тащу туда!.. Ведь уже больше трех часов ночи, а это настоящие дебри. Тебе не страшно?

Софи *(надевая манто)*. А мне должно быть страшно?

Венсан. Мне кажется, что да! Ты знаешь лишь мое имя. И видишь меня в первый раз. А может быть, тебя хочет умыкнуть какой-нибудь бродяга?

Софи *(улыбаясь)*. Очаровательный бродяга...

Венсан. Бывает и так.

Она смотрит на него. Короткая пауза.

Софи. Чего ты хочешь наконец? Предостеречь меня от чего-то? Успокойся: у меня иммунитет. И я знаю, что я девушка, а ты парень.

Венсан. А твой отец? Он не надерет тебе уши, если ты вернешься домой после молочника?

На ее лице появилось подобие улыбки с оттенком горечи.

Софи *(тихо)*. Моему отцу наплевать. Он это называет «доверять»... Ну как, идем? *(Смеется.)* Ночь в Менкуре. Ты думаешь, я упущу такое?

Выходит.

Венсан, словно колеблясь, стоит некоторое время неподвижно, засунув руки в карманы плаща

Затем пожимает плечами и тоже выходит. Свет гаснет, а праздничный шум вечеринки достигает своего апогея.

Картина четвертая

В НОМЕРЕ

Комната в одном из многочисленных «любовных гнездышек» в долине Шеврёз. Кровать с разбросанными на ней постельными принадлежностями, два кресла, круглый столик на одной ножке, ночной столик, на котором стоит телефон. Все это производит впечатление никоим образом не отталкивающее, а скорее приятное.

Венсан на сцене один. Он еще не надел свой свитер. На нем майка и брюки. В данный момент он в одном ботинке и, наполовину скрывшись под кроватью, пытается достать второй. Слышен голос Софи, она напевает в ванной комнате.

Голос Софи. Все в порядке?

Венсан не отвечает.

Эй, там, все в порядке?

Венсан *(приглушенным голосом)*. Все

[1] Люблю, когда ты... *(англ.)*.

МАРК-ЖИЛЬБЕР СОВАЖОН
ЧАО!

в порядке. *(Вылезает из-под кровати, украдкой вытирает ботинок одеялом, садится в кресло и надевает его.)*

Из ванной выходит Софи, закутанная в большую махровую простыню, кожа у нее блестит, как у людей, только что вышедших из воды. Это почти ребенок.

Софи. Подожди! *(Становится на колени и зашнуровывает ему ботинок.)* Голова все еще болит?

Венсан. Все еще болит.

Софи *(на коленях)*. Ты бы принял холодный душ.

Венсан. Мне следовало его принять, когда мы приехали. Возможно, это изменило бы траекторию!.. *(Качает головой.)* Да, уж я буду помнить эту твою долину Шеврёз!

Софи. Почему мою? Ведь это ты предложил поехать сюда послушать ситару.

Венсан. Да, но когда я после ситары попросил тебя вернуться в Париж, ты захотела побыть здесь еще!

Софи *(смеясь)*. Ну хорошо, поделим ошибки, вот и все! Во всяком случае, не из-за чего нервничать! *(Встает и ласково треплет ему волосы.)* Простое дорожное приключение! Через сто лет люди не будут даже думать о таких вещах!

Венсан. А я вот думаю.

Софи. И ничего толкового у тебя не получается. У тебя такой вид, будто ты только что сошел с картины «Плот «Медузы».[1] *(Продолжая говорить, она берет сигарету, раскуривает ее, дает Венсану и затем закуривает сама.)* Я вспоминаю один чешский фильм, который я видела в прошлом году... Парень и девушка просыпаются в объятиях друг друга, как только что мы... Сначала они удивленно смотрят друг на друга, а потом начинают смеяться... смеяться, как сумасшедшие... как дети, которые только что открыли нечто прекрасное.. И они смеются, смеются!.. *(Другим тоном.)* Надо сказать, что все это происходило тоже в амбаре. Может быть, в амбаре забавнее...

Венсан. Зачем ты мне это рассказываешь? Это не имеет к нам никакого отношения!..

Софи. Жаль.

Венсан. Мы, представь себе, не в фильме. И из-за наших спин не появится субъект, который в последний момент все уладит росчерком шариковой ручки!

Софи. Уладит — что именно? Что-нибудь разладилось?

Венсан. Кое-что — да!

Софи. Ты не женат, я тоже не замужем!

Венсан. Но ты невеста!

Софи. Понимаю! Помолвка в Пре-Кателане перед тремястами шестьюдесятью приглашенными, из которых четыре министра и два академика!

Венсан. Ну и что же теперь будет?

Софи. Это касается только меня.

Короткая пауза. Венсан качает головой.

Венсан. Чем он занимается, твой жених?

Софи. Строит танкеры для иракской нефтяной промышленности. У него к этому талант... Постой, ты мне напомнил... *(Идет, снимает телефонную трубку.)* Алло?.. Говорят из девятой комнаты. Мадам, вы заказывали для меня разговор с Римом?.. А, хорошо, спасибо. *(Вешает трубку.)*

Венсан удивленно смотрит на нее.

Венсан. Ты заказала Рим?

Софи. Только что, пока ты был в ванной.

Венсан. Вызываешь своего жениха?

Софи утвердительно кивает.

Тебе не кажется, что это странная мысль?

Софи. Мы звоним друг другу каждую неделю. Один раз он, один раз я. Сейчас моя очередь.

Венсан. И тебя нисколько не смущает, что ты будешь говорить с ним отсюда?

Софи. Тебя бы это смутило?

Венсан. Безусловно!

Софи *(усмехнувшись)*. Тебе надо бы родиться девушкой...

Стук в дверь.

Это завтрак.

Софи выходит. Венсан погружается в невеселые думы. Появляется Софи. Она несет поднос и ставит его на круглый столик.

Кофе с молоком или черный?

Венсан. С молоком. Нет, лучше черный.

Софи. Хлеб с маслом или не надо?

Венсан. Хлеб с маслом.

Софи. Сахару?

Венсан. Три куска.

Софи. Ну вот, в следующий раз я уже буду знать...

Венсан смотрит на нее.

(Рассмеявшись.) Ну, ну, без паники! Я пошутила!

Венсан *(нервно)*. Напрасно ты шутишь! Лучше бы задумалась над некоторыми проблемами.

Софи *(разливая кофе)*. Например?

Венсан. Послушай, ты напрасно делаешь вид, будто тебе на все наплевать и тебя это мало волнует. Как-никак, это все-таки проблема, разве нет?

Софи *(в том же тоне)*. Что именно — проблема?

Венсан *(окидывая взглядом комнату)*. Это!.. *(Встает, засовывает руки в карманы, начинает ходить.)* Для меня, во всяком случае, это проблема, и серьезная! Тебе нет еще и девятнадцати, а у тебя уже жених и любовник! Разве это тебя не поражает?

Софи. И да, и нет... Еще немного кофе?

Венсан. Одну каплю...

Софи наливает.

Достаточно. Спасибо... *(Снова принимается ходить по комнате.)* Ты могла бы возразить, что я тоже несу ответственность, и, заметь, ты была бы права. Я растерялся, как ребенок. Это я-то, я, считавший себя ловкачом!

Софи, старательно намазывая хлеб маслом, улыбается.

Софи. Да? Что же произошло?

---

[1] Картина французского художника Теодора Жерико (1791—1824), на которой изображены потерпевшие кораблекрушение.

Венсан. Ох, ну ладно!... *(Бросается на кровать.)* По правде говоря, мне ни в коем случае не следовало пить два последних виски! До этого все шло более или менее...

Софи. Видишь ли, вести «порш» в четыре руки не очень рекомендуется, как ты знаешь. Мы или кружились бы вокруг дерева, или наверняка нарвались бы на блюстителя порядка. Это была в общем-то хорошая идея — бросить якорь здесь.

Венсан. Ты находишь?

Софи. Я потеряла невинность, зато сохранила водительские права!

Венсан *(не находя слов, воздевает руки к потолку).* Мне уже попадались нахальные девицы, но ты!.

Софи. В этом и состоит твоя проблема?

Венсан. Частично — да.

Софи *(улыбаясь).* Ну вот видишь, и нет больше проблемы!.. *(Подает ему поднос.)* Ты проголодался?

Венсан. А ты — нет?

Софи. Мне больше нравится смотреть на тебя!.. *(Ложится на живот поперек кровати и упирается подбородком в руки.)* Ты понимаешь, это первый утренний завтрак, который я подаю парню. Вот что важно!..

Венсан откусывает хлеб с маслом.

Ну как, вкусно?

Венсан *(с полным ртом).* Есть можно!..

Софи радостно смеется.

Кстати, скажи мне, кому пришла идея выйти из колымаги, чтобы выпить стаканчик в этом заведении,— тебе или мне?

Софи. Тебе. Когда мы проезжали мимо и ты увидел, что горит свет, ты сказал мне: «Останови свою колесницу, Куфисель, пойдем выпьем по последней!»

Венсан *(мрачно).* И я выпил две.

Софи *(со смехом).* Ты взял также две комнаты!

Венсан смотрит на нее.

Ты объяснил хозяйке, что так будет корректнее!

Венсан *(пораженный).* Все как положено! *(Меланхолически пьет кофе. Внезапно останавливается, ставит чашку на поднос. Возмущенно.)* Настоящая сводница эта милейшая женщина! Она не имела права сдавать нам комнаты! Бог мой, ведь сразу же видно, что ты несовершеннолетняя.

Софи. Какое ей дело до этого...

Венсан *(огорченно).* Короче, никто меня не удержал...

Софи. Это не в традициях домов подобного рода...

Венсан качает головой, подносит чашку к губам, затем внезапно останавливается и подозрительно смотрит на Софи.

Венсан. Ну, а ты?

Софи. Я?

Венсан. Что делала ты? Весь вечер пила апельсиновый сок, значит, голова-то у тебя была трезвая! Ты что, не могла залепить мне пару хороших пощечин, чтобы поставить на рельсы?

Софи. Я об этом не подумала!

Венсан *(по-прежнему смотрит на нее).* Вот как? А ведь в том состоянии, в котором я находился, я, наверно, не был похож на бенгальского тигра! Ты же должна была понять, какие заходы я еще издали делал...

Софи. Даже очень издали...

Венсан. Ну и что же?

Софи. А то, что я смотрела, как ты ко мне подбирался... Довольно долго ты говорил мне всякие ласковые слова... Хотя принадлежат они Джонни Уокеру[1], но говорил-то мне их ты... А я слушала... *(Закрывает глаза.)* Время от времени я их повторяла, как заевшая пластинка.

Венсан. Был же, однако, какой-то момент, когда я замолчал!

Софи. Едва ли...

Венсан. И ты ничего не сделала, чтобы защитить себя?

Софи медленно качает головой, с застывшей улыбкой на губах.

Скажи уж прямо, что ты хотела, чтобы это произошло!

Софи. Не будь глупым. Конечно, я хотела, чтобы это произошло! Давно! С тех пор как увидела тебя вчера вечером у Саби, я решила. этот для меня навсегда... *(Смеется.)* Пока не воцарится мрак, как сказано в Библии!

Венсан. Стало быть, когда ты вошла в гардеробную там, у твоей подружки, в твоей глупой голове уже была эта идея?

Софи с улыбкой утвердительно кивает.

Но ты совсем сошла с ума!

Продолжая улыбаться, она снова кивает.

Как же так, ведь ты раньше никогда меня не видела.

Софи *(улыбаясь).* Зато потом я видела только тебя. Втюрилась...

Венсан. Этого еще не хватало!.. Я сразу увидел, что ты жмешь на все педали, но мне казалось, что ты из тех, которые уже все испробовали, только прикидываешься недотрогой!

Софи *(смеясь).* И вдруг оказывается, ты попал прямо на бал дебютанток! Представляю себе выражение лица Венсана Мартине!

Венсан. Есть от чего ошалеть, разве нет?.. *(Меняя тон.)* Послушай, Софи, я думаю, настал момент отбросить всю эту чепуху... Надо поговорить серьезно, и чем скорее, тем лучше!

Софи. Подожди! *(Встает, сняв поднос с колен Венсана, ставит его на круглый столик, затем возвращается и сворачивается клубочком в углу кровати.)* Невозможно говорить о вещах действительно серьезных с подносом на коленях! А теперь валяй...

Венсан *(смущенно).* Ну, хорошо... гм...

Софи. Помочь тебе? То, что ты хочешь мне сказать, я знаю наизусть. Я читаю мысли на расстоянии...

---

[1] «Джонни Уокер» — название шотландского виски.

МАРК-ЖИЛЬБЕР СОВАЖОН

ЧАО!

Очень короткая пауза.

Ты меня не любишь.

Венсан отворачивается. Ему явно не по себе.

И ты меня не только не любишь, но и ненавидишь! Ты ненавидел меня всю ночь.

Венсан. Ну знаешь ли, ты хватила через край! Я ненавижу тебя? Я? Бог мой, да если бы это была правда, то никогда бы не произошло ничего подобного!

Софи. Ты хочешь сказать, что мы не лежали бы в одной постели? Это ничего не значит!

Венсан. Ну все-таки!

Софи. Ничего! Есть множество мужчин и женщин, которые ненавидят друг друга и все же проводят всю жизнь в одной постели и предаются любви!

Он смотрит на нее, смущенный горечью ее слов, которой не могла скрыть судорожная улыбка.

Венсан *(ласково)*. А знаешь, Куфисель, нельзя сказать, что ты погрязла в иллюзиях!

Софи. Я? Я просто маленькая старушка! Возможно, я слишком рано прозрела... *(Без всякого перехода вдруг начинает смеяться.)* Мне нравится, когда ты называешь меня Куфисель!.. *(Смотрит на него, внезапно поворачивает голову.)* Знаешь, не надо ломать себе голову из-за такой малости! Это не имеет никакого значения!

Венсан. Что именно?

Софи *(беззаботно)*. Да мы. Произошла осечка, вот и все... Что теперь можно сделать? Каждый пойдет своим путем, и пути эти больше не пересекутся!

Венсан. Ты что, с ума сошла?

Софи *(со смехом)*. Не совсем, между прочим! Оставь мне два-три дня полутраура! *(Ласково гладит его по щеке.)* Мне было бы грустно забыть тебя слишком скоро... *(Медленно убирает руку, меняет тон)* Знаешь, что раздражает меня больше всего? Я не понимаю, почему ты так враждебно настроен? Когда расквасишь нос, всегда смотришь, обо что споткнулся. Что ты против меня имеешь?

Венсан *(замкнуто)*. Ничего. Просто мы очень разные, вот и все.

Софи. Ты считаешь меня дурочкой?

Венсан. Вовсе нет!

Софи. Слишком маленькой? Слишком худой? Плохо сложенной?

Венсан *(раздраженно.)* Нет!

Софи. Если бы ты даже сказал «да», я бы все равно тебе не поверила! Тебе не нравится, что у меня полно денег? Ты коммунист?

Венсан *(ошеломленно)*. Я? Я что, похож на человека, который платит членские взносы?

Софи (выходя из себя). Ну так в чем же дело?

Венсан. Ни в чем! Отстань! Будь человеком! *(Встает и начинает натягивать свитер.)*

Софи, застыв в той же позе, смотрит на него.

Софи. Короче, ты отчаливаешь!

Венсан *(еще не просунув голову в ворот свитера)*. Никуда я не отчаливаю! Бог мой, оставь ты меня немного в покое! *(В бешенстве натягивает свитер. Голова его, наконец, пролезает в ворот. Он смотрит на Софи, которая продолжает смотреть на него.)* Так ты в самом деле хочешь знать почему? Потому, что ты Куфисель!..

Софи *(ошеломленно)*. Потому что я Куфисель?

Венсан. Точно!

Софи. Ну хорошо, женись на мне, и я буду Мартине!

Венсан *(морщась)*. Ну вот еще!

Софи. Опять выдрючиваешься... Они что, что-нибудь сделали тебе, Куфисели?

Венсан. Не мне, а моему отцу! Твой вышвырнул моего за дверь!

Софи. Мой отец вышвырнул твоего отца за дверь? За какую дверь?

Венсан. За дверь ЗАОПМЭГа! Я вчера говорил тебе, что знаю одного из нашего дома, который там работает, так вот, это он! Мой отец работал там семнадцать лет! Всю жизнь гнул спину для этой лавочки. И что же, вчера утром его вызывают и выбрасывают, как старую тряпку!

Софи *(с облегчением)*. Ах, вот оно что! Значит, дело в отцах...

Венсан *(сухо)*. С этим я примириться не смогу!

Софи *(улыбаясь)*. Герой в жанре Сида?

Венсан *(зло)*. Я герой в моем собственном жанре! Это возмутительно — и точка! Это возмутительно, потому что несправедливо, а всякая несправедливость приводит меня в бешенство!.. К тому же я думаю не столько о своем отце. В конце концов это научит его не доверять людям. Но вот моя мать — это другое дело!

Софи. Так у тебя есть еще и мать? Ты ни в чем себе не отказываешь!.. Моя, например, сбежала в Калифорнию, когда мне было три года... Кажется, я слишком громко плакала, и от этого у нее начиналась мигрень...

Венсан. Так или иначе, но я полагаю, ее не волновало, как прожить до конца месяца!

Софи. Едва ли. Она очень нравилась крупным промышленникам. И чем дальше, тем они становились крупнее!

Венсан. Ну, а у моей все наоборот! Для нее начало света — мой отец и конец света — я! Все остальное — она даже не знает, существует ли что-нибудь еще... Так вот, могу сказать тебе, что она получила серьезный удар. При нас у нее, как всегда, праздничный вид, и она все принимает с улыбкой, но я совершенно уверен, что, как только она остается одна и никто ее не видит... *(Пожимает плечами.)* Я даже не знаю, к чему я все это тебе рассказываю! Такого рода вещи должны проходить мимо тебя!

Софи *(тихо)*. Ты думаешь? Однако я люблю людей, у которых всегда праздничное настроение... *(Закуривает сигарету.)* Пока ты еще здесь, может быть, скажешь мне кое-что...

Венсан. Что именно?

Софи *(смотрит на него)*. Какое я ко всему этому имею отношение?

Вопрос явно смутил Венсана. Он колеблется.

Венсан. То мне кажется, что я это знаю, а то я сам себя об этом спрашиваю... Во всяком случае, вчера вечером, когда я прочел твое имя на клочке бумаги, я это знал. Сначала, на какое-то мгновение, у меня даже дух захватило, мне казалось невероятным, что в тот же самый вечер я столкнулся с дочерью Куфиселя Потом я сказал себе, что не имею права не воспользоваться таким случаем... Если бы ты была безобразной, это бы, конечно, изменило дело, но все было как раз наоборот...

Софи. Короче, ты решил привезти меня в долину Шеврёз.

Венсан *(не слишком гордясь собой)*. Гм, да... Заметь, сегодня утром я уже не горжусь этим!

Софи. Почему? Испепелить Куфисель, когда ты сам — Мартине, это, должно быть, настоящее удовольствие, не так ли?

Венсан смущенно молчит.

Не забудь сделать зарубку на своей кровати, когда вернешься домой!

Венсан *(угрюмо)*. Не будь такой злюкой — мне и без того невесело!

Софи. Хочешь, чтобы я тебя утешила?

Венсан берет плащ и медленно натягивает его. Он молча смотрит на Софи.

Венсан. Я хочу сказать тебе другое. Даже если это ни к чему не приведет, надо, чтобы я тебе сказал... это так было... Когда мы вышли от индийцев, я даже спросил тебя, как мне могла прийти в голову такая дикая мысль. Единственно, чего мне хотелось — это вернуться в Париж и все забыть!... Мне было стыдно, да!.. А затем попалась эта проклятая гостиница, которая оказалась открытой, два стакана виски... и все остальное!

Софи. И ты себя осуждаешь?

Венсан. Надо думать... *(Слегка пожимает плечами, выражая сожаление.)* Если бы еще это хоть что-то изменило... Но нет. Я по-прежнему тебя не люблю. Я больше не испытываю к тебе ненависти, заметь, но я тебя не люблю!

Софи *(с улыбкой)*. Вот видишь, все-таки некоторый прогресс! Хотя и недостаточный для того, чтобы отложить похороны...

Короткая пауза.

Я полагаю, на этот раз мы кончили ворошить эту труху?

Венсан. Думаю, что да.

Софи. Я оставила ключи в машине. Будь любезен, спустись и включи зажигание в «порше». Я нагоню тебя, как только поговорю по телефону.

Венсан. Спасибо, но я предпочитаю вернуться поездом.

Софи. Хорошо. Ты что, боишься, как бы не попалась еще одна гостиница?

Венсан. Я предпочитаю поезд, вот и все.

Софи *(безразлично)*. Ну, как хочешь.

Венсан. К чему быть вместе еще целый час?.. Нам и говорить-то будет не о чем. Поверь мне, нам лучше вообще больше не встречаться...

Софи *(тихо)*. Даже на крестинах младенца?

Венсан *(вздрогнув)*. Какого?.. Что ты болтаешь?

Софи *(смотрит на него)*. Разве не от этого рождаются дети?

Венсан *(ошеломленно)*. Бог мой, еще чего не хватало! Смотри не накликай беды!

Софи *(тихо)*. Ребенок не может быть бедой... Сразу, во всяком случае. Надо, чтобы он сначала подрос...

Короткая пауза.

Венсан. Если это случится, что ты будешь делать?

Софи А ты?

Венсан *(уклончиво)*. Я... Я...

Софи. То есть ничего? *(Улыбнувшись.)* Ну, так успокойся — и я тоже ничего. Во всяком случае, я не подброшу его в корзинке под чужую дверь.

Венсан. Все же — что ты будешь делать?

Софи. Я посмотрю... Возможно, предприму маленькое путешествие в Швейцарию. Горный воздух — говорят, ему нет равного!.. Или можно выйти замуж немного раньше, чем было предусмотрено... Так многие делают.

Венсан *(успокоенный)*. Во всяком случае, знай: если тебе что-нибудь понадобится, я сделаю все, что смогу!

Софи *(холодно)*. Что ты сделаешь? Музыку?

Венсан. Послушай, Софи...

Софи *(жестко)*. Это касается только меня, и так или иначе, не из-за чего пропускать поезд. Чао!

Колеблясь, он некоторое время смотрит на нее. Затем пожимает плечами.

Венсан. Чао!

Выходит. Пауза.

Софи медленно, напевая, тушит сигарету в пепельнице. Затем внезапно закрывает лицо руками, бросается на кровать и рыдает. Короткая пауза. Звонит телефон. Она медленно, глотая слезы, снимает трубку.

Софи. Да?.. Это Рим? Спасибо, мадам... Алло, отель «Эксельсиор»? Соедините меня, пожалуйста, с номером мосье Виллардье. Дени Виллардье... Ну что ж, разбудите его, это очень важно... *(Ждет несколько секунд.)* Алло, это вы, Дени?.. А, извините... *(Снова ждет, вытирая слезы тыльной стороной руки.)* Алло, это вы, Дени? Это Софи. Я разбудила вас, дорогой мой, бедняжка, извините, пожалуйста! Нет, нет, ничего серьезного. Ничего особенно серьезного. Я не выйду за вас замуж, вот! *(По слогам)* Я-не-вый-ду-за-вас-за-муж!.. Да, это так!.. Конечно, это серьезно!.. Совершенно серьезно, уверяю вас!.. Да нет, вы мне ничего не сделали! Просто я не могу выйти за вас замуж, вот и все!.. Почему?.. *(Она улыбается в пространство и тихо говорит.)* Потому что я полюбила другого...

Свет гаснет, занавес опускается.

МАРК-ЖИЛЬБЕР СОВАЖОН

ЧАО!

Картина пятая

КАБИНЕТ КУФИСЕЛЯ

Немногочисленные предметы убранства свидетельствуют о строгой роскоши, которая должна вызывать почтение у клиентов фирмы. Обстановка не слишком оригинальная, но впечатляющая. Сразу же бросается в глаза портрет Куфиселя в позе «великого бизнесмена». На письменном столе два телефона: внутренней связи и городской. Маленькие настольные часы-будильник. Достаточно одного взгляда, чтобы понять, что Куфисель — крупный промышленник. Он прямолинеен, практичен, необычайно деятелен и с удовольствием повелевает.

К у ф и с е л ь *(диктует в диктофон).* Итак, с учетом заключения нашего исследовательского центра от седьмого апреля, ясно, что недостаточная миниатюризация индукторно-рото-статорного блока делает невозможным полное и немедленное — подчеркните «немедленное» — изменение проекта ФА-сто четырнадцать. Подпись: Жером Куфисель, президент и генеральный директор. Немедленно передать в Бюро технических изысканий...

Звонит внутренний телефон.

(Снимает трубку, устало.) Мадемуазель Вюрм, я буду спрашивать себя всю жизнь — какой рок заставил вас избрать карьеру моего секретаря? Вы понимаете решительно все языки, за исключением моего!.. Оставьте это «Но, мосье!» Я вас просил не беспокоить меня ни под каким предлогом. Мой самолет в Цюрих отлетает в двенадцать тридцать пять! Ну и что?.. Меня срочно вызывает Рим? Скажите, что сегодня вечером в восемнадцать тридцать я буду в Цюрихе в отеле «Бельльрив». *(Меняя тон.)* Кто? Виллардье?.. *(С досадой смотрит на часы.)* Ну хорошо, соедините меня с ним!.. *(Снова меняет тон. На этот раз с сердечностью.)* Алло, это вы, Дени? Можно сказать, вы попали прямо в цель, мой мальчик! Сегодня в восемь утра я прилетел из Берлина и в двенадцать тридцать пять снова улетаю в Цюрих! У меня даже не будет времени забежать домой! Итак, что случилось?.. Когда я в последний раз видел Софи? Подождите минутку... *(Задумывается.)* Нет, после возвращения из Стокгольма я ее не видел: я уехал, когда она спала. Вчера утром тоже не видел — по той же самой причине... Сегодня утром я прямо с аэродрома проехал к себе на работу; значит, это было в прошлом месяце! Вот! Сейчас вспомнил! Мы даже вместе обедали у Фуке! Она была в восторге от того, что вы хотите назвать ее именем ваш будущий танкер водоизмещением в пятьдесят четыре тысячи тонн! Будьте уверены, она вас обожает!.. *(Смеется. Внезапно смех его замирает. От изумления у него округляются глаза.)* Как? Она не выйдет за вас замуж? Это еще что за история? Она вам написала? *(Его изумление возрастает.)* Позвонила? Сегодня утром, без четверти восемь? Но это невозможно, она никогда не просыпается раньше часу дня!.. *(Вздрагивает.)* Что значит «она любит другого»? Она вам это сказала?.. Да нет, я не в курсе дела! Во всяком случае, в прошлом месяце она еще любила вас! В этом я совершенно уверен!.. Послушайте, Дени, не тревожьтесь, наверняка это блажь! Не может этого быть!.. Просто она хочет, чтобы вы ее поревновали, вот и все!

На столе звонит маленький будильник.

Одну секунду, сейчас мы продолжим... *(Кладет трубку, вынимает из кармана коробочку с пилюлями разных цветов, выбирает три и глотает. Снова берет трубку.)* Ну вот! Гомеопатия! Две розовые и одна черная каждые восемь минут, две черные и одна розовая каждые четверть часа! Очень приятное занятие! Так что я хотел вам сказать? Ах, да. Ни в коем случае не беспокойтесь, мой мальчик, сейчас я все улажу! Как только закончу разговор с вами, позвоню домой и попрошу Софи немедленно вам перезвонить и принести свои извинения!.. Вот именно, извинения! Непременно. Шутки такого рода я нахожу абсолютно глупыми, и, если бы у меня было время до отлета, поверьте, я бы заехал домой, чтобы залепить ей хорошую пощечину! Предоставьте это мне! Я ее поставлю на место, вашу Софи!.. До скорого, мой мальчик!.. *(Кладет трубку, придвигает к себе другой аппарат, набирает номер. Звонит внутренний телефон. Он снимает трубку другой рукой.)* Мадемуазель Вюрм, оставьте меня в покое! *(Вешает трубку внутреннего телефона.)* Это вы, Филип? Это мосье. Попросите Анриетт немедленно подняться к мадемуазель Софи и сказать ей, что я жду ее у телефона!.. *(Удивленно.)* Ее нет дома? Она уже ушла?.. *(Вздрагивает.)* Еще не возвращалась? Вы хотите сказать, что она провела ночь вне дома? В восемнадцать лет? Черт побери, так-то вы понимаете заботу о ней? Была приглашена на вечеринку? Ну и что же? Часто вам приходится видеть вечеринки, которые бы не заканчивались к девяти часам утра? *(Резко.)* Во-первых, куда она была приглашена? К кому? Кларьё-Манасье? Хорошо, позвоню! *(Вешает трубку, снимает трубку внутреннего телефона.)* Мадемуазель Вюрм, сейчас же соедините меня с Кларьё-Манасье! И быстрее! Это где-то в Нейи!.. Кто-то хочет меня видеть? Не может быть и речи!.. А?.. Моя дочь? Бог мой, и вы не могли сказать мне сразу?.. Вы пытались! Надо было добиться! Немедленно впустите ее! *(Вешает трубку, делает два или три шага с воинственным видом.)*

Входит С о ф и. Она одета так же, как у Кларьё-Манасье.

А, вот и ты, наконец! Можно узнать, откуда ты явилась?

С о ф и *(с улыбкой).* Ты мог бы сначала поздороваться со мной, не так ли? У меня такое чувство, что я тебя не видела с тех пор, когда ты был еще совсем маленьким! Здравствуй, папа...

К у ф и с е л ь *(сухо).* Здравствуй. Откуда ты явилась?

С о ф и. Может, поцелуемся?

К у ф и с е л ь. Сейчас посмотрим. Откуда ты явилась?

С о ф и. Из долины Шеврёз.

К у ф и с е л ь. В девять часов утра?

С о ф и. А почему бы и нет?

Куфисель *(натянуто).* Где ты провела ночь? Во всяком случае, вне дома. Врать бесполезно, я все знаю!

Софи. Ты опять мучил старика Филипа? Это очень гадко!

Куфисель. Софи, я не советую тебе говорить таким тоном! Где ты провела ночь? Вчера вечером ты ушла из дома на так называемую вечеринку к Кларьё-Манасье...

Софи. Почему «так называемую»? *(Садится в кресло и закуривает.)* Я на самом деле пошла к Кларьё-Манасье. Саби устроила маленький трам-тарарам.

Куфисель. Трам-тарарам? Я полагаю, что ты хочешь сказать «вечеринку» или нечто идиотское в том же роде?

Софи. Сейчас это называется трам-тарарам.

Куфисель. И до которого часу продолжался этот трам-тарарам?

Софи. Я не знаю. Я была там не до конца.

Куфисель. И куда же ты отправилась?

Софи. В долину Шеврёз. Точнее, в Менкур, в новый ресторанчик, чтобы послушать игру на ситаре.

Куфисель. На цитре?

Софи. На ситаре. Это разновидность девятнадцатиструнной индийской гитары. Ручка из тикового дерева, а корпус выдолблен из высушенной на солнце тыквы. Получается смешная музыка — одновременно терпкая и сладкая, как козье молоко...

Куфисель. Ну хорошо, хорошо! У меня нет намерения говорить об индийской музыке!

Софи *(улыбаясь).* Извини. Мне показалось, что ты горишь желанием получить информацию! *(Глядит на него.)* Ты не хочешь, чтобы остальное я рассказала тебе сама? Мы бы выиграли время, тем более что для этого я и пришла...

Куфисель. И напрасно. Дальнейшее мне известно. Оно было еще более глупо... *(Звонит внутренний телефон.)* Ах, нет. *(Берет трубку, в отчаянии.)* Мадемуазель Вюрм, если вы решили нарочно мне докучать, скажите это сразу!.. Кто там еще? Кларьё-Манасье? Ну, хорошо, пусть подождет! *(Резко вешает трубку.)* Так вот: продолжение было еще более глупо, чем начало! Ваша банда маленьких кретинов выпила по стакану лишнего, и к восьми утра ты сочла очень остроумным позвонить этому несчастному Дени и сообщить ему, что не выйдешь за него замуж! Только чтобы насмешить твою пьяную компанию, я полагаю. Так?

Софи. Почти... *(С задумчивой улыбкой смотрит на свою сигарету.)* Значит, он тебе сразу же позвонил! Милый Дени, впервые он сделал то, что надо было сделать! Так даже лучше, гораздо лучше... Даже если ты собираешься меня запугать, то все равно это ничего не изменит... *(Смотрит на него.)* Знаешь, ты человек действительно грозный! Когда говорят «Мосье Куфисель сказал...» — этим все исчерпано!.. Знаешь, кого ты мне напоминал, когда я была маленькой? Юпитера! Ты для меня был одновременно и громом и молнией.

Короткая пауза.

Куфисель *(холодно).* Ты закончила свою обвинительную речь? Могу я вставить слово?

Софи делает неопределенный жест, встает, гасит сигарету в пепельнице.

Жаль тебя разочаровывать, Софи, но я не пойду за тобой по той дорожке, на которую ты пытаешься меня толкнуть. Я никогда не ждал от тебя ни малейшей благодарности, да это и не имеет значения. Все сорванцы, как только кончают сосать соску, устраивают сюрпризы своим отцам. Однажды кто-то устроит это и тебе, будь покойна, и ты проиграешь дело прежде, чем оно будет начато! Так же, как я!

Пауза.

Итак, если не возражаешь, оставим пока твои замечания о моей персоне. Речь идет о глупостях, которые ты наговорила сегодня утром Дени!

Софи. Нет. Для меня это не глупости. Надеюсь, он не забыл самого главного...

Куфисель. Что же, по-твоему, «самое главное»?

Софи. А то, что я люблю другого. Он тебе этого не сказал?

Куфисель. Он мне это сказал.

Софи. И ты ему ответил, что этого не может быть!

Куфисель. Совершенно верно.

Софи *(улыбаясь).* Вот настоящий ответ Куфиселя! Как это может быть, если не ты это организовал. *(Перестает улыбаться.)* Ну так вот, тем не менее это так!.. Я люблю другого.

Куфисель *(холодно).* Ты влюбчива. Месяц назад это был Дени. Может быть, в следующем месяце будет кто-то другой!

Софи *(четко).* Нет! Не остри, папа, ты зря теряешь время.

Короткая пауза, во время которой Куфисель пытается совладать с собой.

Куфисель. И кто же этот счастливый избранник?

Софи. Его зовут Венсан.

Куфисель. Один из пижонов вашей компании, конечно? Волосы до плеч и пиджак с разрезом на заднице? Или, может быть, что-то вроде ковбоя? Ремень, штаны в обтяжку и рубашка в клетку?

Софи *(улыбаясь).* Нет. Куртка и свитер.

Куфисель *(поморщившись).* Мечта!.. И что он делает, твой свитер?

Софи. Он музыкант. Очень талантливый.

Куфисель *(холодно).* Новый Менухин?

Софи. Пока еще нет.

Куфисель *(холодно).* Тогда не стоит и разговаривать. *(Вытягивает руку, указывая на стол.)* Ты видишь телефон? Сейчас же позвони Дени и извинись перед ним за свои утренние дурачества.

Софи. Нет.

Куфисель *(спокойно).* Да! *(Снимает трубку внутреннего телефона.)* Мадемуазель Вюрм, соедините меня с отелем «Эк-

---

МАРК-ЖИЛЬБЕР СОВАЖОН
ЧАО!

сельсиор» в Риме. Попросите мосье Дени Виллардье от имени мадемуазель Куфисель! Даю вам пять минут!.. Этого недостаточно? Тогда даю вам три! *(Вешает трубку.)* Я ему сказал утром, что ты, конечно, пошутила, чтобы заставить его немного поревновать. Ты, безусловно, можешь придумать что-нибудь получше. Скажи ему что хочешь. Я доверяю тебе.

Софи. Я ему ничего решительно не скажу! Я с ним не буду разговаривать.

Куфисель. Софи, не забывай, с кем ты имеешь дело...

Софи. Не забывай, что я — твоя дочь.

Куфисель *(нервно)*. Клянусь, я заставлю тебя слушаться!

Софи *(четко)*. Нет, папа. В последний раз я тебя послушалась в Пре-Кателане. Ты созвал весь цвет своих блестящих связей, чтобы показать им свое последнее международное достижение: помолвку ЗАОПМЭГа с «Ирак петролеум»!..

Куфисель *(в бешенстве)*. Жалкая маленькая идиотка!

Софи. В том случае — да! Ты был настолько хитер, настолько терпелив, ты так ловко маневрировал в течение многих месяцев, что я чуть ли не поверила, будто сама выбрала Дени! В действительности это ты мне его выбрал! Он твой жених, не мой!

Куфисель *(в бешенстве)*. Все наследницы охотились за этим парнем! Я преподнес его тебе на блюдечке! Что в нем тебя не устраивает?

Софи. Ничего плохого я о нем сказать не могу. Я признаю, что ты меня всегда баловал. И надо отдать тебе должное: ты всегда берешь только самое лучшее. Он очарователен, Дени. Он молод и блестящ, богат и хорош собой...

Куфисель *(кричит)*. И он любит тебя!

Софи *(тихо)*. И он любит меня. Короче, я потратила бы половину жизни... лучшую... и только тогда, наконец, осознала бы, что сама не люблю его и что ты меня одурачил...

Куфисель слегка вздрагивает от ее слов и идет к ней.
Они близко стоят друг против друга.

Куфисель. Скажи мне, как давно я не давал тебе пощечин?

Софи. Очень давно. А теперь уже, наверно, слишком поздно.

Куфисель. Ты думаешь? *(Дает ей пощечину. Настоящую увесистую затрещину, как скверной девчонке, больше из чувства раздражения, чем от злости.)*

Софи, пораженная, отступает на шаг и, держась за щеку, смотрит на отца глазами, полными слез.

Софи. Ну что ж, ты щедро расплатился!

Куфисель *(спокойно)*. Надо бы по десять за каждый пропущенный год. Посчитай сама, сколько это будет. *(Звонит внутренний телефон. Он подходит, снимает трубку.)* Хорошо. Одну минуту, мадемуазель Вюрм. *(Протягивает трубку Софи.)* Твой ход.

Софи. Нет!

Куфисель *(спокойно)*. Ты будешь сейчас же говорить с Дени.

Софи. Нет!

Куфисель *(спокойно)*. Сейчас же! Или ты получишь самую внушительную взбучку за все время твоего существования. Такую взбучку, о которой ты даже понятия не имеешь... Итак?

Софи. Нет!.. *(Внезапно.)* Постой, да! Ты выиграл, я хочу говорить с ним! *(Протягивает руку.)* Дай мне!

Куфисель вдруг забеспокоился. Он прижимает трубку к себе.

Куфисель. Что ты собираешься ему сказать?

Софи. То, чего я не хотела говорить сегодня утром, чтобы не сделать ему слишком больно! Что я спала сегодня ночью с этим парнем!

Куфисель, пораженный, смотрит на нее. У него перехватило дыхание.

(Вырвав у него трубку.) Мадемуазель Вюрм, соедините меня.

Куфисель *(кричит)*. Оставь! *(После короткой борьбы он овладевает трубкой.)* Мадемуазель Вюрм, аннулируйте разговор! *(В ярости.)* Я не прошу вас понимать, я говорю: аннулируйте разговор! Вы что, оглохли? *(Кладет трубку, смотрит на Софи. Меняет тон. Очень четко.)* Посмотри на меня... Это неправда, да?

Софи *(мягко)*. Это правда, папа.

Куфисель *(морщась)*. Ты меня обманываешь...

Софи *(мягко)*. Нет.

Куфисель. А я говорю, что ты меня обманываешь! Это невозможно! Вся ваша банда была в этом ресторанчике? Вы...

Софи *(обрывая)*. Мы с ним были вдвоем. На обратном пути остановились у одной гостиницы, чтобы выпить виски. Сначала мы слушали пластинки, а потом... *(Заканчивает фразу легким пожатием плеч, улыбается в пустоту.)* А потом... Вот!..

Куфисель. Нечего сказать, гостиница! Какая гостиница?

Софи. «Бьющееся сердце». Между Базошем и Монфором.

Куфисель смотрит на нее с недоверием, ища повода усомниться. Но ничего не находит.

Куфисель *(тихо)*. Так это правда... Ты это сделала... Ты, моя дочь...

Софи *(примирительно)*. Послушай, папа...

Куфисель *(внезапно переходит на крик)*. Ты, Софи Куфисель, в объятиях проходимца, бродячего музыканта, грязного битника! А я тебе доверял!

Софи *(иронически улыбаясь)*. Доверие — на это требуется меньше всего времени! Чрезвычайно удобно — доверие! И позволяет путешествовать!

Куфисель *(в ярости)*. Что ты такое говоришь?

Софи *(четко)*. Я говорю, что доверие — это хороший повод, когда надо избавиться от людей, которые вам мешают! «Будь благоразумна, моя дорогая, я тебе доверяю!» А после этого садятся в самолет и улета-

ют... Ты знаешь, сколько раз я тебя видела в прошлом году? А в позапрошлом? А в другие годы? Ты хочешь, чтобы я тебе сказала? Я посчитала... *(Голос ее слегка дрожит.)* Мы так редко виделись, что я даже спрашивала себя, узнаешь ли ты меня при встрече. И каждый раз, когда мы встречались, ты говорил мне одно и то же: «Бог мой, с ума можно сойти, как ты выросла!» Но у тебя никогда не было времени, чтобы посмотреть, как я расту...

К у ф и с е л ь *(гневно).* Время! Время! Где прикажешь его взять? Мне надо было открыть два филиала — в Японии и Австралии! Ты думаешь, это можно сделать, нажав кнопку? Я должен работать, как тридцать шесть тысяч мулов! Пока не подохну! Потому что я подыхаю, ты слышишь? Подыхаю! У меня гипертония, больная печень и язва двенадцатиперстной кишки! И все это ради того, чтобы моя дочь... *(Слышен резкий и короткий звонок будильника. Куфисель не обращает на него внимания.)*

С о ф и *(спокойно).* Прими пилюли.

К у ф и с е л ь *(машинально достав из кармана коробочку, выбирает пилюли, глотает их и продолжает говорить с прежней горячностью).* И все это ради того, чтобы моя дочь ничего не опасалась в будущем! Чтобы у нее были деньги во всех странах мира! Чтобы она была свободна в выборе! А что она делает, моя дочь?! Она проводит ночь в кабачке с гитаристом!

С о ф и *(улыбаясь).* Я никогда тебе не говорила, что он гитарист. Ты ведь не собираешься играть в мелодраме «Нельская башня» на базарной площади. Послушай, папа, будь благоразумен. О чем ты беспокоишься? Ты же знаешь — то, что произошло со мной, происходит со всеми девушками в моем возрасте! Я еще запоздала!

К у ф и с е л ь *(в бешенстве).* Чего ты хочешь? Чтобы я тебя поздравил?

С о ф и. Хотя бы! По крайней мере, я по-настоящему полюбила. Такое не слишком часто бывает!

К у ф и с е л ь *(в ярости).* Короче, я должен быть благодарен этому великолепному джентльмену, который соблаговолил меня избавить от стыда за то, что у меня восемнадцатилетняя дочь девственница! *(Тихо, со сжатыми кулаками.)* Клянусь богом... *(Голосом человека, который плохо владеет собой.)* И где же обитает это чудо?

С о ф и. Я не знаю.

На какое-то время Куфисель лишается дара речи.

К у ф и с е л ь Ты не знаешь?.. Ты проводишь ночь в объятиях парня и не знаешь, где он живет?

С о ф и *(просто).* Нет. Он говорил мне о каком-то доме...

К у ф и с е л ь *(морщась).* Он говорил тебе о каком-то доме? Ну хорошо! Это, по крайней мере, адрес!.. Могу я высказать предположение: ты, видимо, знакома с ним не слишком давно?

С о ф и. Со вчерашнего вечера.

К у ф и с е л ь *(морщится все больше).* Это уже очень много!

С о ф и. Зато ты — ты знаком с его отцом.

К у ф и с е л ь *(внезапно повеселев).* Я знаком с его отцом? Это хорошо!

С о ф и. Его фамилия Мартине.

К у ф и с е л ь *(которому это ничего не говорит).* Мартине... *(Вспоминает.)* Мартине... *(Вздрогнув, смотрит на Софи.)* Мартине? Тот самый, которого...

С о ф и *(продолжая его мысль).* Которого ты вышвырнул за дверь, да!

К у ф и с е л ь *(все еще с недоверием).* Это он?

С о ф и. Его сын.

К у ф и с е л ь *(сраженный).* Еще счастье, что сын!.. *(С внезапным гневом.)* Мартине! Так, значит, это Мартине. Теперь все ясно! Я выставляю отца за дверь, а сын лезет в окно! Классический прием! Они поймали в ловушку дочь и шантажируют отца!

С о ф и. Глупости! Поверь мне, проблема совсем не в этом! Никто не поймал меня в ловушку, и Венсану наплевать на твои деньги!

К у ф и с е л ь *(в ярости).* Замолчи, дурочка! Никто в мире не может плевать на деньги! Эти люди поймали тебя, но меня они не поймают, клянусь! Устроить тайную свадьбу — этот прием я знаю наизусть! Я им дам понять, кто такой Жером Куфисель, эти Мартине меня попомнят!.. Канальи!.. *(Идет к своему столу, снимает трубку внутреннего телефона.)* Мадемуазель Вюрм, немедленно вызовите ко мне адвоката!.. Какого хотите!.. Мэтра Вожара, отлично! Передайте ему, что это срочно! *(Вешает трубку.)* Эти Мартине рано торжествуют победу, можешь мне поверить! Возвращайся домой, оденься прилично, уложи чемоданы и первым же поездом отправляйся к своей тетке в Ментон! Филип проводит тебя. Я не хочу, чтобы этот бродяга увидел тебя хотя бы еще раз!

С о ф и. Я не поеду в Ментон, даже если ты вызовешь полицию!

К у ф и с е л ь. Нет никакой необходимости в полиции! Не забывай, что ты еще несовершеннолетняя! Попробуй только шевельнуться или начать дискуссию, и я запихну тебя к сестрам Кларисс до твоего совершеннолетия!

С о ф и. Бедняги, они этого не заслужили!.. *(С внезапным раздражением.)* Но в конце-то концов, чего ты так боишься? Никто не думает взять с тебя и сантима! Ты можешь оставить их при себе, свои деньги... И меня тоже ты можешь оставить при себе!.. *(Несмотря на все усилия, ей не удается сдержать слезы.)* Под стеклянным колпаком, если тебе нравится! Всю мою жизнь! Никто не придет за мной, можешь быть спокоен! Он... он не хочет больше меня видеть!.. *(Сразу обессилев, падает в кресло, закрывает лицо руками и содрогается от рыданий.)* Он не любит меня, папа!.. Он меня не любит...

Тишина.

Куфисель, еще более пораженный этим по-

МАРК-ЖИЛЬБЕР СОВАЖОН
ЧАО!

следним признанием, чем предыдущим, смотрит на нее.

Куфисель *(задыхаясь).* Как?.. Ну, это уж слишком!.. Он не любит тебя?

Закрыв лицо руками, Софи отрицательно качает головой.

Он тебя... он тебя... *(Старается найти подходящее слово, но не находит.)* Он тебя не любит?

Та же попытка со стороны Софи.

Он тебе это сказал?

Софи кивает.

После?

Софи снова кивает.

Какой подлец! Какой мерзавец! *(Слышен звонок внутреннего телефона. Он снимает трубку. Неистово.)* Да что там еще такое? Вожар? Мне больше не нужен Вожар!.. Скажите ему что хотите, мне наплевать!.. *(Рычит.)* Можете убираться — мне тоже наплевать! *(Швыряет трубку.)* Не нужен мне Вожар. Я сам этим займусь. Вот как, он не хочет больше тебя видеть, да? Ну так вот, он тебя увидит, это говорю тебе я! И меня он тоже увидит! Настало время дать ему понять, что дочь Куфиселя не девка из бара, которую можно взять вечером и бросить наутро.

Она поднимает свое залитое слезами личико с внезапным беспокойством.

Софи. Что ты хочешь сделать? Не собираешься ли ты пойти к нему?

Куфисель. Конечно!

Софи. Я тебе запрещаю! Я запрещаю тебе идти к этим людям и запугивать их! Что это тебе даст? Венсан меня не любит, и ни криком, ни стуком кулака по столу ты ничего не сможешь изменить! Пойми, наконец, что недостаточно называться Куфиселями, чтобы все нас любили! Может быть, даже наоборот! Не вмешивайся в это! Это касается только меня, меня одной!

Куфисель *(с пеной у рта).* Ах, вот как? Ну а если у тебя будет ребенок?

Софи. Ну и что же? Пусть у меня будет ребенок! Что дальше?

Куфисель *(задыхаясь от гнева).* Дальше? Дальше ты будешь мать-одиночка, дура ты этакая!

Софи. Мать-одиночка! Мать-одиночка! Прежде всего, больше нет матерей-одиночек! Сейчас это матери-холостячки! И это тоже касается только меня!.. *(Четко.)* Выслушай меня внимательно, пап. Не желаю я быть девушкой из хорошей семьи, которую немного подпортили и которую теперь надо любой ценой пристроить! И я не хочу, чтобы Венсан согласился из страха перед твоими адвокатами полюбить меня! Никогда! Если ты пойдешь к нему, если ты нанесешь мне подобное оскорбление, я тебе этого не прощу! Я уйду из дома!

Куфисель *(сухо).* Когда я тебя выгоню! А теперь ты вернешься домой и шагу не сделаешь без моего разрешения!

Софи *(тихо).* Приказ... Я не этого пришла искать у тебя. Что ж, тем хуже... Умел ли ты когда-нибудь произносить что-либо, кроме приказов? Сядьте! Встаньте! Замолчите! Повинуйтесь! Мосье Куфисель приказал!.. *(Сжав руки, со слезами на глазах, кричит.)* Деспот, ты всегда был деспотом!

Выбегает. Куфисель стоит неподвижно. Затем подходит к столу, садится, снимает трубку внутреннего телефона.

Куфисель *(говорит мягко, вяловато, как бывает, когда человек очень устал).* Мадемуазель Вюрм, аннулируйте мой билет на самолет в Цюрих и номер в отеле «Бельрив». И раз вы еще здесь, аннулируйте, если не возражаете, и свою отставку... Да, это на самом деле... Благодарю вас. Вызовите мне мосье Жоливана из отдела персонала и спросите у него адрес Мартине из отдела архивов. Мартине — эн-е. Затем позвоните указанному Мартине и предупредите его, что после обеда я зайду к нему, так как мне совершенно необходимо его видеть... Нет, еще не все. Мне хотелось бы задать лично вам один вопрос, но сначала перестаньте хлюпать носом и высморкайтесь!.. Очень хорошо... А теперь скажите мне откровенно. Я, по-вашему, деспот?.. Не совсем? Спасибо, мадемуазель Вюрм... *(Вешает трубку — на этот раз спокойно — и глядит перед собой потерянным взглядом. Затем, ворча, достает из стола бутылку виски, наливает полный стакан, смотрит на свой портрет.)* Деспот! Ты всегда был деспотом!.. *(Пьет виски; свет на сцене гаснет.)*

АКТ ВТОРОЙ

Картина шестая

У МАРТИНЕ

Утреннее освещение. На столе стоят две чашки, приготовленные для завтрака, тарелка с поджаренным хлебом и масленка. На сцене никого нет.

Слышится продолжительный звонок и голос г-жи Мартине.

Голос г-жи Мартине. Сейчас иду!

Появляется из кухни. Держит сахарницу, которую на ходу ставит на стол, и идет открывать. Слышно, как хлопает входная дверь.

Голос Минушон *(весело).* Здравствуйте, Мадлен! Это опять я!

Голос г-жи Мартине. Я сразу узнала ваш звонок. Здравствуйте, Минушон. Входите же!

Они входят. Минушон в платочке, завязанном под подбородком, с пустой хозяйственной сумкой в руке, явно направляется за покупками.

Минушон *(говорит мимоходом).* Я ненадолго. Я и так слишком поздно иду за покупками. Зашла я просто спросить, не надо ли вам купить что-нибудь.

Г-жа Мартине. Вы почти каждый день делаете для меня покупки. Кончится тем, что мне станет стыдно!

Минушон. Мне это ничего не стоит! Торговый центр в двухстах метрах!

Г-жа Мартине. Тогда, будьте добры, возьмите для Антуана и для меня трески и хороший морской язык для Венсана.

Минушон. Трески для вас и морской язык для Венсана? Вот что значит быть любимым сыном!

Г-жа Мартине *(улыбаясь)*. А как же! Но надеюсь, вы сразу не исчезнете? Есть у вас время проглотить чашечку кофе? Садитесь, я сейчас принесу...

Идет на кухню. Минушон, продолжая говорить, снимает платок.

Минушон. Полчашки, не больше. Я и так слишком взбудоражена. Вчера Гийом устроил мне ужасную сцену, я всю ночь не сомкнула глаз!

Голос г-жи Мартине. Сцену? Из-за чего?

Минушон *(садясь)*. Из-за американцев, можете себе представить!

Голос г-жи Мартине. Каких американцев?

Минушон. Американцев вообще! Как будто это моя вина, что на свете существуют американцы! Я не Христофор Колумб! По правде говоря, он искал предлога, чтобы устроить мне сцену, вот и все! И поскольку он перед этим врезался в «кадиллак», то набросился на американцев!

Возвращается г-жа Мартине, неся на подносе чашку кофе, которую она ставит перед Минушон.

Г-жа Мартине. Как же это произошло?

Минушон. Да как обычно. Американец остановился на желтый свет, мой Гийом недостаточно быстро затормозил и врезался в него. Фара — на мелкие кусочки, крыло всмятку...

Г-жа Мартине. А «кадиллак»?

Минушон *(размешивая сахар)*. Ни единой царапины! Как огурчик! Вот это-то и разозлило Гийома... *(Отпивая глоток.)* Чего только я не выслушала! Кока-кола, негритянская проблема, Куба, семейство Кеннеди, джинсы, Мартин Лютер Кинг, жевательная резинка, Вьетнам — все было! Можно подумать, что во всем виновата я! Я от этого просто заболела! *(Снова отпивает глоток.)* Когда мы доехали до дома, он до того запыхался, что я подумала: ну вот, теперь остановится. Что же вы думаете? Он снова начал. С кошки!

Г-жа Мартине *(удивленно)*. С вашей кошки Мики?

Минушон. Конечно! Американское имя. Неужели вы думали, что он это упустит? Он схватил мою бедняжку, мое сокровище, за шиворот и заявил, что отныне она будет называться Мимиль! Тут уж меня взорвало, и я сказала ему пару теплых слов! Назвать Мимиль голубую персидскую красавицу, получившую в прошлом году в Версале вторую кошачью премию! Никогда в жизни! Скорее я потребую развода!

Г-жа Мартине *(успокаивающе)*. Подождите, Минушон, немного терпения! Вы ведь знаете, что счастье, большое оно или маленькое, всегда является компромиссом между тем, чего бы вам хотелось, и тем, что вы имеете!

Минушон. Так же, как квартира!

Внезапно раздается пронзительный крик младенца.

Вот вам доказательство!

Г-жа Мартине. Это последний из Пуатвэнов — он всегда требует соску в одиннадцать часов.

Минушон *(слегка вздрагивает)*. В одиннадцать часов? Надеюсь, сегодня он потребовал ее немного раньше? *(Быстро встает, надевает платок.)*

Входит Мартине в халате и домашних туфлях.

(Удивленно.) Вы еще дома, Антуан? А как же ЗАОПМЭГ?

Мартине. Я себя скверно чувствую, позвонил и попросил освобождения на два дня. *(Целуются.)* А как вы? Все хорошо?

Минушон. Более или менее. Мадлен вам расскажет обо всем, а я убегаю... *(Берет свою сумку.)* Кстати, Мадлен, я только что дочитала детектив, великолепный. Если это заинтересует Венсана, скажите ему, пусть зайдет сразу же после обеда, я буду дома...

Г-жа Мартине. Хорошо, я ему скажу.

Мартине. Если, конечно, мосье соблаговолит вернуться домой!

Минушон, собиравшаяся выйти, резко останавливается. Г-жа Мартине бросает на мужа предостерегающий взгляд.

Минушон *(напряженно)*. Разве его нет?.. Я думала, он еще в постели...

Мартине. Во всяком случае, не в своей!

Г-жа Мартине. Ну что ты говоришь ерунду!

Мартине. Как это «ерунду»? Я только что был в его комнате, постель даже не разобрана!

Минушон вздрагивает.
Г-жа Мартине снова бросает на мужа предостерегающий взгляд, но тщетно.

Я прекрасно знаю, что ты всю жизнь стараешься найти ему оправдание, тем не менее мне бы хотелось, чтобы ты время от времени называла вещи своими именами! Он опять не ночевал дома, вот и все!

Минушон нелегко дается эта новость.

Минушон. Почему «опять»? Это с ним часто бывает?

Г-жа Мартине *(решительно)*. Никогда!

Мартине *(к Минушон)*. Судите сами: это уже четвертый раз с начала месяца!

Минушон *(в сильном волнении)*. А сегодня всего лишь восемнадцатое!

Г-жа Мартине. Девятнадцатое!

Мартине. Восемнадцатое, дорогая!

Г-жа Мартине *(нервно)*. Ну хорошо, пусть восемнадцатое, если тебе так больше нравится. Что это доказывает? *(К Минушон.)* Венсану вчера вечером позвонили и предложили ему и его поп-группе поиграть на вечеринке в Нейи... Кажется, очень порядочные люди, очень чинные... Вечеринка немного затянулась, вот и все!

Мартине *(иронически)*. Весьма приглаженная версия!

МАРК-ЖИЛЬБЕР СОВАЖОН
ЧАО!

Минушон *(насупясь).* Ничего себе чинные люди, которые танцуют до одиннадцати часов утра. Право, стоило бы съездить в Нейи посмотреть на это!

Мартине *(жене).* Перестань рассказывать сказки. Все гораздо проще, и ты это очень хорошо знаешь.

Минушон *(сдавленным голосом).* Вы хотите сказать, что он провел ночь с девушкой?..

Мартине. Как обычно!

Минушон слегка вздрагивает.

Надо сказать, что за это я вовсе его не упрекаю. В сущности, тем лучше!

Минушон *(с судорожной усмешкой).* Надо, конечно, чтобы малыш немного развлекся!

Мартине. Меня возмущает то, что он проводит целые ночи вне дома, даже не дав себе труда позвонить нам!.. Родительский дом не гостиница. Пусть он не уважает девиц, но он должен уважать своих родителей! Возможно, я придерживаюсь весьма узких взглядов, зато вижу далеко!

Минушон *(с болью).* Короче, вы это одобряете! Он может таскаться где угодно, лишь бы позвонил!

Г-жа Мартине. Да нет же, полноте, Антуан вовсе не это хочет сказать!

Мартине. Именно это!

Г-жа Мартине *(махнув рукой).* Ну хорошо, в таком случае я лучше пойду за завтраком. Я предпочитаю... *(Выходит.)*

Мартине *(не замечая сгустившейся атмосферы, продолжает развивать свою мысль).* «Одобряю» — это не то слово, просто я нахожу это нормальным!

Минушон *(взрываясь).* Ну а я — нет! Я нахожу это отвратительным!

Мартине. Э-э, в его возрасте любовные интрижки никому не причинят вреда!

Минушон. Это вы так говорите. А женщины, которых он обманывает, как вы думаете — что они чувствуют?

Мартине *(смеясь).* Строго между нами, они многого не стоят!

Минушон. Спасибо!

Мартине *(забавляясь).* А вернее, они получают то, чего заслужили! Сознайтесь, надо быть набитой дурой, чтобы ждать серьезной любви от двадцатитрехлетнего парня, право!

Минушон *(уязвленная).* Дурой, чем же набитой, по-вашему?

Мартине *(с тонкой усмешкой).* Наивностью.

Минушон *(с внезапной яростью).* Значит, все женщины просто идиотки! Так и скажите!

Мартине поражен.

Повеса, который бесчестит весь квартал, рассказывает всякую всячину бедным беззащитным женщинам, а потом их надувает. И вам, его отцу, это смешно? Браво, хорошенький образец мышления!

Возвращается Мадлен. Она несет кофейник и молочник, слушает с покорным видом.

Сейчас я вам скажу, что я о нем думаю, о вашем знаменитом Венсане! Не великая персона, а просто ничтожество. *(В бешенстве хватает сумку.)* Значит, ему нужен морской язык? Помимо всего прочего, ему нужен еще и морской язык, этой жалкой личности! Так вот, языка он не получит! Будет, как и все, есть треску! *(Вылетает как ураган.)*

Входная дверь хлопает с грохотом пушечного выстрела. Ошеломленный Мартине поворачивается к жене.

Мартине. Что это с ней?

Г-жа Мартине *(раздраженно).* Это с тобой не все в порядке, мой бедный Антуан! Ты просто гений по части бестактности! *(Ставит на стол кофейник и молочник.)* И ничто не может тебя остановить! Разве ты не заметил, как я на тебя глядела?

Мартине. Да, конечно, заметил. Но я подумал, что это по поводу нового халата, который я надел, не спросив тебя...

Г-жа Мартине. Нет, я хотела, чтобы ты помолчал. Бедная Минушон чуть не взорвалась, как бомба!

Мартине. Но почему? Какое это имеет к ней отношение?

Г-жа Мартине. Венсан — ее любовник!

Мартине *(удивленно).* Кто? Венсан? Венсан — любовник Минушон?

Г-жа Мартине. Вот уже восемь месяцев. А все-таки *(улыбаясь)* приятно иметь с тобой дело: все новости для тебя — всегда свежие!

Мартине *(все еще не может прийти в себя).* Так вот оно что!.. Ты уверена? Откуда ты знаешь? Он тебе сказал?

Г-жа Мартине. Мне этого можно было не говорить, и так все видно! И не только видно, но и слышно!

Мартине *(ошеломленный).* Как это слышно?

Г-жа Мартине. От начала и до конца! Как только Венсан приходит к ней, она сразу ставит пластинку ансамбля песни и пляски. Возможно, из-за соседей. Я лично ничего не имею против ансамбля песни и пляски, но четыре-пять раз в неделю, в одно и то же время — согласись, что это многовато!

Мартине *(внезапно разозлившись).* Ах, вот как! Прекрасно! Теперь я понимаю, почему ты послала Минушон на Новый год пластинку с увертюрой к «Тангейзеру», которую я подарил тебе на рождество!

Г-жа Мартине. Она такая же громкая, а все-таки что-то другое. И к тому же я с удовольствием ее слушаю

Мартине *(сурово).* Короче, вместо того чтобы положить конец этой скандальной связи, ты ее маскируешь, поощряешь, ей покровительствуешь! И тебе не стыдно?

Г-жа Мартине. Я в восторге! Вспомни бессонные ночи, которые я проводила возле телефона, когда Венсан уходил к своей малютке маникюрше или к невестке кондитера в Мелюне! Теперь я, по крайней мере, сплю! Я знаю, что он здесь, около меня! Мое материнское спокойствие тоже что-то значит!

Мартине *(задыхаясь).* Материнское спокойствие!.. *(Возмущенно.)* Ну, а как насчет Гийома?

Г-жа Мартине. А что насчет Гийома?

Мартине *(трагически).* Он же рогоносец!

Г-жа Мартине *(самым естественным тоном).* Само собой!

Мартине. И по милости моего сына! С согласия моей жены! Он же мой друг!

Г-жа Мартине. Друг, друг! Ты ведь считаешь его болваном!

Мартине. Ну и что же — можно иметь друзей и болванов! У каждого есть по крайней мере один друг болван! Я лично люблю Гийома!

Г-жа Мартине *(спокойно).* Ну и люби себе на здоровье. Завтракай, кофе остынет.

Мартине. У меня нет больше желания завтракать! *(Серьезно.)* Послушай, Мадлен. К несчастью, ты не понимаешь, что мы живем в абсолютно аморальной атмосфере! Надо, чтобы Венсан немедленно порвал с Минушон, я рассчитываю на тебя!

Г-жа Мартине. Вот как? Она очаровательная женщина, целые дни проводит со мной, помогает мне мыть посуду, умеет, как никто, подшить юбку, у нее есть цветной телевизор, она делает за меня ставки на скачках, покупает для меня продукты, а в остальное время — составляет счастье моего сына. И ты рассчитываешь, что я пойду и глупейшим образом поссорюсь с ней?

Мартине *(сраженный).* Мадлен, но у тебя нет ни малейшего понятия о нравственности!

Гжа Мартине *(раздраженно).* Послушай, Антуан, никто не жалуется на эту ситуацию: ни Венсан, ни Минушон, ни я, ни даже Гийом! Знаешь, перестань брюзжать и позволь мне вести дом, как я умею!

Мартине *(пораженный).* И это ты называешь «вести дом»?

Г-жа Мартине. Совершенно верно! Что касается твоего друга Гийома, то не слишком порть себе кровь из-за него! Если бы Минушон была ему верна, она была бы невыносима. Она относится к тому сорту женщин, которые, чем больше чувствуют себя виноватыми, тем ласковее становятся. В конечном счете кто в выигрыше? Гийом!

Мартине. Другими словами, ему еще оказывают услугу!

Раздается телефонный звонок.

Г-жа Мартине. Это, наверно, Венсан. Он, должно быть, попал в аварию...

Мартине снимает трубку.

Мартине. Алло, да?.. Совершенно верно. Антуан Мартине у телефона... Мадемуазель Вюрм? Здравствуйте, мадемуазель Вюрм. Извините, я не узнал вашего голоса!.. *(Пораженный.)* Мосье Куфисель? Сюда, ко мне?.. Ну, конечно, с огромным удовольствием!.. Нет, нет, я не тронусь с места! Спасибо, мадемуазель Вюрм... *(Он вешает трубку и, сияя, поворачивается к жене.)* Ну вот, наконец хорошая новость! Мосье Куфисель срочно хочет меня видеть! Он будет здесь до полудня!

Г-жа Мартине. Зачем?

Мартине *(счастливый).* Это нетрудно угадать! Он хочет предложить мне другое место!.. *(Внезапно что-то вспомнив.)* Да, правда, ведь ты не в курсе дела! Надо сначала, чтобы я тебе признался, дорогая... Слава богу, теперь это будет менее мучительно!

Г-жа Мартине *(улыбаясь).* Не надо столько предосторожностей, я знаю, в чем ты хочешь мне признаться! Мосье Куфисель вчера сказал тебе, что ты больше не работаешь в ЗАОПМЭГе...

Мартине смотрит на нее с удивлением.

Я слышала, когда ты говорил об этом Венсану.

Мартине. Почему же ты мне не сказала?

Г-жа Мартине. Ты считаешь, что день моего рождения всегда должен быть веселым, и мне не хотелось разрушать твою иллюзию.

Некоторое время они взволнованно смотрят друг на друга. Затем г-жа Мартине бросается в объятия мужа.

Ну вот, видишь, и ты, и я, мы оба одинаково глупые!

Короткая пауза.

Ты в самом деле думаешь, что мосье Куфисель хочет предложить тебе другое место?

Мартине. Это очевидно! А какая другая причина могла бы его побудить прийти ко мне? Он, должно быть, снова просмотрел мой послужной список и понял, что не имеет права лишаться такого сотрудника! Восемнадцать и восемь — коэффициент полезного действия и восемнадцать и три — усердия. Это не валяется на улице, как ты понимаешь!

Г-жа Мартине *(восхищенно).* Из двадцати?

Мартине. Из двадцати! Поверь мне, трудолюбие и честность всегда вознаграждаются.

Слышен глухой шум поднимающегося лифта. Глядя друг на друга, оба прислушиваются, немного взволнованные.

Должно быть, это он...

Шум возрастает.

Может быть, мне пойти надеть пиджак? Так будет корректнее...

Г-жа Мартине. Корректнее, но менее внушительно. Дорогой халат — ты только подумай!

Прислушиваются.

Гул нарастает, затем с обычным грохотом лифт останавливается. Тотчас раздается пронзительный скрежет захлопнутой с размаху металлической двери.

Это Венсан! Пойду подогрею ему завтрак... *(Быстро хватает кофейник и молочник.)* Ни в коем случае не говори ему про Минушон, я возьму это на себя!

Мартине. Что ты собираешься сделать?

Г-жа Мартине. Ничего!

Уходит на кухню. Одновременно слышен звук открывающейся двери. Появляется Венсан. Вид у него довольно помятый.

МАРК-ЖИЛЬБЕР СОВАЖОН
ЧАО!

Венсан. Смотри-ка, ты здесь? Салют, па...

Мартине *(холодно).* Здравствуй. Ты имеешь представление о том, который сейчас час?

Венсан *(вяло).* Видишь ли, я в таком состоянии, что... *(Садится в кресло, вытягивает ноги, зевает.)* Устал как собака... Ма уже отправилась на охоту за бифштексами?

Мартине. Нет, она разогревает тебе завтрак! В этом отношении она достаточно глупа!

Венсан *(зевая, прикрывает глаза).* Home, sweet home...[1] *(Повышая голос.)* Жена Мартине, гордость ваших седин вернулась к домашнему очагу! Жизнь бежит?

Голос г-жи Мартине *(весело).* Бежит! А как ты, мой дорогой?

Венсан. Фейерверк! *(Зевает.)* На это стоит посмотреть поближе.

Голос г-жи Мартине. Через две минуты я приду. Я варю тебе свежий кофе.

Мартине *(ворчливо).* Свежий кофе! Попробуй воспитывать детей в подобных условиях! *(Венсану.)* Можно узнать, откуда ты пожаловал?

Венсан. О да! *(Неопределенный жест.)* Это очень просто — отовсюду! *(Зевает.)* Марко Поло из Западного предместья — это я!

Мартине. И это ты называешь вести разумную жизнь?

Венсан *(с гримасой).* Знаешь, по правде говоря, я начинаю в этом сильно сомневаться...

Мартине. И все же!

Венсан. Путешествия способствуют созреванию!

Голос г-жи Мартине *(прерывая их).* Венсан, ты будешь есть хлеб с маслом или с вареньем?

Венсан. Ничего не надо, я не голоден!

Голос г-жи Мартине *(не допускающий возражений).* Я не спрашиваю, голоден ты или нет, я спрашиваю, с чем ты будешь есть хлеб — с маслом или с вареньем!

Венсан. Ну тогда и с тем и с другим! *(Отцу.)* Надо доставить ей удовольствие! Но на самом деле у меня нет настроения!

Мартине *(раздраженно).* Тогда чего же ты ждешь? Иди ложись спать. Я вовсе не желаю, чтобы ты зевал перед носом мосье Куфиселя, когда он сюда придет!

Венсан, только что собравшийся зевнуть, остается с открытым ртом.

Венсан *(пораженный).* Что такое?.. Он придет сюда?

Мартине. Мне позвонила его секретарша и сказала, что он срочно хочет меня видеть.

Венсан *(взволнованный).* Зачем?

Мартине. Об этом нетрудно догадаться. Он явно жалеет о том, что произошло, и хочет предложить мне другое место!

Венсан. Другое место?.. *(Меланхолически качая головой.)* Ну, меня бы это крайне удивило... *(Поколебавшись, решается.)* Знаешь, па, хоть мы с тобой и цапаемся в течение дня, но как-никак мы все-таки друзья, верно?

Мартине *(пораженный).* Ты сделал какую-нибудь глупость?

Венсан. Похоже на то, во всяком случае...

Мартине *(настороженно).* Какого рода?

Венсан. Пожалуй,.. гм... сентиментального.

Мартине *(с облегчением).* Тогда я знаю, это Минушон!

Венсан *(изумленно).* Минушон? Почему Минушон?

Мартине. Разве это не Минушон?

Венсан. Да нет, послушай! События этой ночи совсем в другом жанре! То есть, если хочешь, было то же самое, только увеличенное в сто сорок раз! И Куфисель тут здорово затронут!

Мартине подпрыгивает.

Ты знал, что у него есть дочь?

Мартине. Что-то слышал...

Венсан. У него есть дочь. Очаровательное маленькое существо восемнадцати с половиной. Я встретил ее этой ночью в Нейи. Она принимала участие в трам-тарараме у Кларьё-Манасье. В три часа утра мне пришла в голову счастливая мысль поехать с нею в долину Шеврёз выпить по стаканчику. И вот на обратном пути мы споткнулись!

Мартине *(встревоженно).* Вы попали в катастрофу?

Венсан. Во всяком случае, это была катастрофа не с колымагой. Мы попали в гостиницу...

Мартине. Ну и дальше...

Венсан. Послушай, па, ты спрашиваешь нарочно? Что может произойти в загородной гостинице между парнем и девушкой?

На этот раз Мартине понял. На лице его отражается ужас, смешанный с недоверием.

Мартине. Как?.. Венсан, но это неправда!.. Ты не мог этого сделать!

Венсан. Тем не менее это так... И вот почему ее папаша спешит тебя повидать, можешь быть спокоен! Она, конечно, похныкала ему в жилетку. *(Презрительно.)* Девчонки этого сорта, как только теряют под ногами почву, сразу начинают кричать о помощи!

Мартине. Так это правда!.. Дочь самого мосье Куфиселя... Восемнадцатилетний ребенок... Ты затащил ее в номер, и ты... ты...

Венсан *(прерывая его).* Тише, тише! Никуда я ее не затаскивал, она вошла сама! И во всяком случае, не из-за чего сокрушаться! Если бы палили из пушки всякий раз, когда девица в восемнадцать лет поскользнется на повороте, мы бы оглохли! Печально, конечно, что ты знаком с ее семьей...

Мартине *(взрываясь).* Замолчи, ты, несчастный! Ничтожество!

Венсан *(со смирением).* Ну вот! Я пытаюсь культурно объяснить тебе, а ты...

Мартине *(в бешенстве).* Довольно! Знаешь, ты кто? Не только лентяй, не способный в двадцать три года зарабатывать себе на жизнь, но еще и развратник без стыда и совести.

[1] Кров, родной кров... *(англ.).*

Венсан. Давай, давай! Стреляй сколько угодно!

Мартине *(в ярости)*. Сначала это была Минушон, жена друга, которому я пожимал руку каждый день, приглашал к себе и который приглашал к себе меня. Теперь это дочь мосье Куфиселя! Но это же безумие, боже мой! Ты их что, коллекционируешь? *(Делает два шага, воздев руки к потолку.)*

С подносом в руках появляется г-жа Мартине. Она несет завтрак Венсану.

Г-жа Мартине *(улыбаясь)*. Вторая очередь — прямо как в пансионе!

Мартине *(в бешенстве)*. Ах, вот как? *(Подходит к ней, вырывает поднос из ее рук, делает два шага и швыряет в угол; слышен веселый звон разбившейся посуды. Мартине возвращается, под ошеломленным взглядом жены.)* Конец второй очереди!

Г-жа Мартине. Ты с ума сошел? Что с тобой?

Мартине. Что со мной? *(Драматическим жестом протягивает руку, указывая на Венсана.)* Спроси у него, у твоего превосходнейшего из сыновей, что со мной! Спроси у него, что он делал сегодня ночью!

Г-жа Мартине *(побледнев)*. Кого-нибудь задавил?

Мартине. Он изнасиловал дочь мосье Куфиселя в придорожной гостинице!

Г-жа Мартине. Дочь Куфиселя? Твоего Куфиселя?

Мартине *(трагическим тоном)*. Существует только один Куфисель! И у него была единственная дочь!

Венсан. Но она же не умерла, черт возьми! Я ее не задушил! Ты все преувеличиваешь, уверяю тебя! *(Матери.)* Я встретил эту девчонку в Нейи. Мы решили поехать на ее машине в долину Шеврёз, ну и потом... Вот так! Во всяком случае, не из-за чего собирать суд присяжных!

Мартине *(в ярости)*. Есть из-за чего собрать суд уголовный, слабоумный ты дурень, если только мосье Куфисель даст себе труд этим заняться!

Г-жа Мартине. Послушай, Антуан, я не собираюсь оправдывать Венсана, но у тебя в самом деле какая-то мания все драматизировать! При чем тут суд?

Мартине. Мадемуазель Куфисель несовершеннолетняя, представь себе! Ей восемнадцать лет!

Венсан. С половиной!

Мартине *(зло)*. Ты можешь помолчать? *(Жене.)* А Венсан совершеннолетний, и если ты полагаешь, что мосье Куфисель принадлежит к тому типу людей, которые могут все это простить, то ты глубоко ошибаешься!

Г-жа Мартине. В любом случае ему нет смысла рассказывать это адвокату! Да и Венсан вряд ли тащил мадемуазель Куфисель силой в номер!

Венсан. Честно говоря, она сама толкнула меня на это!

Г-жа Мартине *(мужу)*. Вот видишь!

Мартине *(с сарказмом)*. Это, конечно, меняет дело! Может быть, мы еще должны пожаловаться и потребовать возмещения убытков! *(Венсану.)* Она тебя побила?

Венсан. Знаешь, па, будет просто здорово, если ты отвяжешься! Я сказал тебе правду! Напрасно она меня соблазняла, я не нуждаюсь в малютке Куфисель!

Мартине. Она что же, принудила тебя силой?

Венсан *(безнадежно)*. Просто я растерялся! Это со всеми бывает, бог мой! Я тебе повторяю, что сыт по горло этой девчонкой Куфисель! И я ей об этом сказал!

Мартине *(в ярости)*. Ты, очевидно, думаешь, что это поможет уладить дело? Идиот! *(Воздев руки к небу.)* Нечего сказать, прекрасное поколеньице! Теперь они уже спят вместе, потому что не выносят друг друга!

Г-жа Мартине *(Венсану, мягко)*. Может быть, все же один из них любит другого, хотя бы немного?

Венсан. Пойди узнай! Возможно, чуточку... Девушки, ты же знаешь, легко воспламеняются! *(Развязно.)* Во всяком случае, ничего серьезного, она быстро утешится. Она помолвлена!

Мартине *(вздрогнув)*. Помолвлена? *(Жене.)* Самое лучшее ты приберег на конец! Помолвлена! Тот парень должен быть доволен, да и отца это приведет в отличное настроение! Вот тут уж я действительно получу двойное выходное пособие, которое он собирался мне выдать! И две золотые медали! *(С трудом сдерживая себя.)* Убирайся спать, я уже достаточно насмотрелся на тебя!

Венсан. Ты думаешь, что у меня есть желание спать!..

Г-жа Мартине. Твой отец прав, Венсан, иди к себе в комнату.

Венсан. Ну, конечно, и получится, что я спрятался под кровать!

Г-жа Мартине. Пойди пройдись, успокойся.

Венсан. Хорошо... *(Идет к выходу.)* Я и не думал, что это наделает столько шума. В долине Шеврёз все было так просто!

Он выходит. Мартине понуро садится к столу. Г-жа Мартине кладет ему руку на плечо.

Г-жа Мартине. Ты очень на него сердит?

Мартине пожимает плечами.

Я его знаю и уверена, что его по-настоящему мучают угрызения совести. Он не злой!

Мартине *(возмущенно)*. Тот тип, который сбросил атомную бомбу, тоже не был злой!

Г-жа Мартине *(с улыбкой)*. Ну, вот видишь, ты продолжаешь все драматизировать. Венсан совершил большую промашку с этой малюткой, согласна, но я нахожу, что во всей этой истории есть утешительная сторона...

Мартине *(мрачно)*. Это, должно быть, ускользнуло от меня.

Г-жа Мартине. Видишь ли, бедному парню вдруг подвернулась хорошенькая девушка, к тому же позолоченная, но он про-

---

МАРК-ЖИЛЬБЕР СОВАЖОН
ЧАО!

ходит мимо. Он ее не любит, говорит ей об этом и уходит. Это же красиво, не правда ли?

Мартине. Это глупо!

Г-жа Мартине. Глупо, но достойно!

Мартине. Да, если хочешь... *(Горько.)* Возраст: двадцать три года. Профессия: никакой. Особые приметы: дурак, но с достоинством! Вот ты и утешилась! *(Встает.)* Пойду надену пиджак. Я чувствую, что мне понадобится все мое достоинство. *(Раздается звонок, и он застывает. Они смотрят друг на друга. Мартине вздрагивает.)* Это он!

Г-жа Мартине. Он поднялся бы на лифте! Это, должно быть, мадам Пуатвэн принесла мне, наконец, овощерезку!

Выходит, чтобы открыть дверь. Мартине, съежившись, напрягает слух. Слышен шум открывающейся двери.

Голос Куфиселя *(громко)*. Очевидно, мадам Мартине? Я Жером Куфисель! Ваш муж дома?

Голос г-жи Мартине. Он вас ждет, мосье, входите, прошу вас...

Закрывается входная дверь.

Прямо.

Входит Куфисель в сопровождении г-жи Мартине. Он запыхался, говорит сухо, стараясь перевести дух. Смотрит на Мартине, который застыл по стойке «смирно».

Куфисель *(сухо)*. Мартине?

Мартине. Да, господин президент и генеральный...

Куфисель *(обрывает его)*. Мне надо сказать вам несколько слов! *(Быстро переводит дух.)* Сначала один вопрос. Имеете ли вы какое-нибудь представление о причине моего визита?

Мартине *(преодолевая спазму в горле)*. Да... Я думаю, что да, господин прези...

Куфисель *(обрывая его)*. Я для вас больше не президент и генеральный директор, и никогда им не буду. *(Переводит дух.)* Итак, вы знаете, что меня к вам привело!

Г-жа Мартине. Венсан нам все рассказал, мосье.

Куфисель. Венсан, да, так. Я забыл его имя... Где он, здесь?

Мартине. Он.. э... Он пошел прогуляться...

Куфисель *(свирепо)*. Совершает круг почета, я полагаю?

Г-жа Мартине. Мой муж хотел сказать, что Венсан пошел за покупками. Он скоро вернется.

Куфисель *(сухо)*. Рано или поздно я его увижу! *(Еще более сухо, тщетно пытаясь наладить дыхание.)* Вы меня знаете, мосье Мартине, я человек прямой. Со всеми проблемами, которые стоят передо мной, я расправляюсь быстро. Ваш сын мерзавец. Он совершенно недопустимым образом провел сегодняшнюю ночь с моей дочерью; которая... которая... *(Произнеся это слишком быстро, начинает задыхаться.)* Извините меня, но я должен сесть, я так больше не могу...

Мартине *(угодливо)*. Прошу вас, мосье Куфисель!

Подвигает ему кресло, в которое Куфисель с видимым облегчением опускается, вытаскивает платок и вытирает пот со лба.

Куфисель *(в изнеможении)*. Спасибо...

Г-жа Мартине. Хотите глоток воды, мосье? Подушечку?

Куфисель. Благодарю вас, мадам, не стоит беспокоиться. *(Вздыхает.)* По правде говоря, карабкаться шесть этажей — для меня слишком большая нагрузка! Такие перебои в сердце...

Мартине *(огорченно)*. Весьма сожалею, мосье. Надо было вам подняться на лифте!

Куфисель *(сухо)*. Он испорчен!

Г-жа Мартине. Его надо знать. Все дело в двери, которая плохо закрывается. Надо хорошенько подтянуть ее обеими руками и одновременно нажать локтем на кнопку. В общем-то довольно просто...

Куфисель. Особенно когда человек в курсе дела! Но этого я не знал! *(С горечью.)* В результате я появился у вас как-то смешно! Точно клоун!

Мартине *(любезно)*. Вовсе нет, мосье, уверяю вас! Наоборот, вы выглядите прекрасно, очень внушительно!

Куфисель *(сухо)*. Не надо елея, Мартине! Я уже многие годы живу в состоянии злости, так что порой я даже спрашиваю себя, не злость ли помогает мне жить. Когда она меня отпускает — это дурной признак! *(Встает.)* Вы бы посмотрели на меня в то время, когда моя идиотка-дочь рассказала мне эту идиотскую историю! О, она вела себя как настоящая Куфисель! *(Внезапно кладет руку на живот и морщится от боли.)* Ну вот.

Г-жа Мартине. Вам нездоровится, мосье?

Куфисель. Это язва напоминает о себе... И, конечно, я забыл свои пилюли!.. *(Почувствовав облегчение, переводит дух.)* Так что же я говорил?

Г-жа Мартине *(почтительно цитируя)*. «О, она вела себя как настоящая Куфисель».

Куфисель. Да! К несчастью, гнев должен быть израсходован на месте! Он не переносит путешествий! Вы счастливчик, Мартине!

Мартине меланхолически качает головой.

Словом, из-за заторов на улице мне понадобилось час двадцать минут, чтобы проделать меньше четырех километров до вашего дома, и, ко всему прочему, на меня составили протокол за превышение скорости. После этого я уже никуда не годился, а ваши шесть этажей и вовсе меня прикончили. *(Мрачно.)* Это моя тень позвонила у ваших дверей!

Мартине. Право, не знаю, что вам сказать, мосье, мне в самом деле очень неприятно!

Куфисель. Получилась осечка — не будем больше об этом говорить! И помимо всего прочего, вы безусловно очень славные люди, что помешает нам прийти к соглашению!

Мартине *(удивленно)*. Это упрек, мосье?

Куфисель. Сожаление. С подлецами всегда легко найти выход. Их покупают или загоняют в угол. Если бы вы были соучастниками этой истории, проблема была бы куда проще. Но и здесь мне не повезло!

Г-жа Мартине *(возмущенно)*. Мы? Соучастники? Мы даже не знали, что у вас есть дочь!

Куфисель *(с сарказмом)*. Об этом, мадам, я тоже не мог догадаться, как и насчет вашего лифта!

Мартине *(удивленно)*. Мне кажется, вам не надо было догадываться, что я честный человек, мосье Куфисель! Семнадцать лет я был у вас на глазах!

Куфисель *(решительно)*. Это еще ни о чем не говорит! Моя дочь была девственницей в течение восемнадцати лет! Поверьте мне, Мартине, нет ничего более хрупкого, чем невиновность! Поэтому я и вас не хочу ни в чем винить. Вы непричастны к этой катастрофе. Два молодых кретина... *(Пронзительный крик младенца прерывает его. Он удивленно смотрит на Мартине.)* Я не знал, что у вас есть еще...

Г-жа Мартине. Это у соседей.

Куфисель. Ах, вот что... *(Продолжает.)* Два молодых кретина застревают до рассвета в гостинице и по-кретински ложатся вместе в постель! Софи очаровательна, и я полагаю, ваш знаменитый Венсан тоже красивый парень?

Г-жа Мартине *(с нежной улыбкой)*. Само собой разумеется! Он похож на отца!

Куфисель поворачивается к Мартине и какое-то время молча смотрит на него.

Куфисель *(безразличным тоном)*. А...

Мартине смущенно покашливает.

Пусть будет похож на кого хочет, все равно он отъявленный наглец!

Мартине *(мягко)*. Зов молодости, мосье Куфисель!

Куфисель. Я не об этом говорю, Мартине! Во времена, когда пятнадцатилетние сопливые девчонки из солидных буржуазных семейств карабкаются на баррикады с черным знаменем анархии в руках, я не собираюсь хныкать оттого, что моя дочь завела себе любовника! Мне это неприятно, согласен, чрезвычайно неприятно — и только! Но вот чего я не могу допустить... *(Внезапно он морщится от боли и хватается за живот.)* Я не могу допустить, чтобы надо мной еще и смеялись! Вам известно, что этот мальчик, ваш сын, имел наглость заявить моей дочери после? Я подчеркиваю: «после».

Мартине *(смущенно)*. Да... э... он что-то такое нам говорил... он сказал, что... э... э... что... что он еще не слишком уверен в своих э... в своих чувствах и что в таких условиях он... он...

Г-жа Мартине *(доканчивая фразу)*. Хотел бы подумать.

Куфисель *(взрываясь)*. Ему надо было сначала подумать, черт возьми! *(В ярости.)* Скажите, Мартине, вы же не считаете, что я примирюсь с такой ситуацией... чтобы молодой человек переспал с моей дочерью, а наутро заявил ей, что с него хватит и он видеть ее больше не желает. Поскольку сейчас принято, чтобы люди отвечали за свои поступки, извольте отвечать и вы тоже, Мартине! Я требую свадьбы!

Мартине, ошеломленные, обмениваются взглядом.

Поймите меня правильно: я не спрашиваю вашего мнения и еще меньше — мнения вашего сына! Я требую!

Короткая пауза. Мартине прочищает горло.

Мартине. Мосье Куфисель... э... позвольте мне сначала сказать, как мы взволнованы, моя жена и я, взволнованы и польщены... э... при мысли об этом союзе... э... союзе между нашими семьями, который... э... который...

Куфисель *(холодно его обрывает)*. Не возлагайте особых надежд на союз между нашими семьями, Мартине!

Г-жа Мартине. Мы прекрасно понимаем вашу позицию, мосье, но все произошло так быстро, так неожиданно!.. Сначала нужно было бы проконсультироваться с Венсаном...

Куфисель *(в ярости)*. Проконсультироваться с Венсаном? Это я буду консультироваться с ним, мадам! И можете быть уверены: тянуть я не стану! Я только потребую от него, чтобы он был двадцать первого мая ровно в одиннадцать в мэрии шестнадцатого округа в воротничке и при галстуке!

Г-жа Мартине. Двадцать первого мая?

Куфисель *(резко)*. Да, мадам! Моя дочь была невестой, и, с общего согласия, свадьба была назначена на двадцать первое мая. Я хочу поменять зятя, раз ничего другого не остается, но отказываюсь изменить день, который я высвободил, потому что найти свободный день мне гораздо труднее.

Г-жа Мартине *(в растерянности)*. Но это меньше чем через два месяца!.. А как же другой молодой человек?

Куфисель *(мрачно)*. Софи порвала с ним сегодня утром по телефону. Так что никакого другого молодого человека больше нет!

Мартине обмениваются взглядами.

(Другим тоном.) Кстати, это навело меня на мысль вернуть ему кольцо... *(Достает из кармана записную книжку и записывает.)*

Мартине *(сокрушенно)*. Это, конечно, должна была быть прекрасная свадьба!

Куфисель *(кладя в карман записную книжку)*. Свадьба века, Мартине! Вы наверняка слышали о последнем филиале «Ирак петролеум» — консорциуме по строительству нефтяных танкеров! Так вот, это был он, жених моей дочери! *(Широкий жест рукой.)* И все было сметено в пять минут, да к тому же по телефону!

Мартине *(чистосердечно)*. Но это ужасно!

Куфисель *(с горечью)*. Решительно,

МАРК-ЖИЛЬБЕР СОВАЖОН
ЧАО!

мне на роду написано быть обманутым всю жизнь!

Мартине. Вам, мосье? Полноте!

Куфисель *(раздраженно)*. Моя первая жена сбежала с моим первым компаньоном, а вторая жена с моим вторым компаньоном! Чего же вам больше?

Мартине *(сдаваясь)*. В таких условиях, конечно...

Куфисель. Тогда я сразу решил не заводить больше ни жены, ни компаньона. И считал себя в безопасности. Так нет же! Теперь моя дочь обманывает меня так же, а может быть, еще хуже, чем ее мать!.. *(С гримасой боли хватается за живот.)* Но самое интересное: оказывается, виноват во всем я. Я ни в чем не отказывал этой девчонке, я сделал ее настоящей принцессой, а сегодня она обвиняет меня в том, что я ее бросил. Ей, видите ли, хотелось, говорит она, чтобы я смотрел, как она растет!

Г-жа Мартине *(мягко)*. А вы смотрели, как растет ЗАОПМЭГ.

Куфисель, точно ужаленный, поворачивается к ней.

Мартине *(в смятении)*. Мадлен!

Куфисель. Оставьте ее в покое... *(Более спокойно, к Мадлен.)* Это правда, мадам Мартине, но у меня не было выбора. Софи была еще ребенком, когда ее мать сбежала со своим любовником в Калифорнию. Я остался один с трехлетней девочкой на руках и к тому же накануне банкротства. Тогда с головой погрузился в работу. Я сказал себе, что, спасая дело, я спасу ее... Видите ли, я принадлежу к тем, кто верит в деньги А вы в них верите?

Г-жа Мартине *(улыбаясь)*. Верю, как верят в бога, хотя никогда его не видят...

Куфисель. А я, хотя они постоянно перед глазами, больше не верю в них. Деньги ничего не дают, кроме богатства!

Мартине *(меланхолически)*. Это уже кое-что...

Куфисель. Сегодня моя дочь упрекала меня в том, что я стремился заработать слишком много денег, а ваш сын, я полагаю, упрекает вас в том, что вы не знали, как заработать больше!

Мартине *(грустно)*. Это правда...

Куфисель. Следовательно, мы оба пришли к банкротству, только разными путями! Настоящая драма, Мартине... *(С гримасой боли поглаживая живот.)* Настоящая драма, Мартине, заключается в том, что мы не сумели воспитать поколение себе на смену, мы воспитали кукушек! Мы их вскормили в комфортабельных гнездах, а они только и мечтают о том, чтобы быстрее их покинуть! Дай им возможность, они бы загнали нас в резервации, как индейцев! Они не просто нетерпеливые, они жадные! Они не революционеры, а бунтовщики! Не энергичные, а необузданные! Знаете, что я вам скажу? Они даже не молоды!

Г-жа Мартине *(мягко)*. Должно быть, у вас действительно очень плохо с желудком, мосье Куфисель!

Куфисель снова быстро поворачивается к ней.

Мартине *(в смятении)*. Мадлен!

Куфисель. Ах, да оставьте ее в покое, черт возьми!.. И опять-таки вы правы, мадам. Тем не менее язва тут ни при чем. Я больше не понимаю своей дочери, а моя дочь не понимает меня! Это факт! Можно подумать, что я говорю с ней на древнегреческом языке, а она отвечает мне на марсианском! А вы понимаете своего сына?

Г-жа Мартине. Думаю, достаточно хорошо.

Куфисель. Как вам это удалось?

Г-жа Мартине *(с улыбкой)*. Я выучила марсианский, мосье Куфисель!

Куфисель. Кажется, я начинаю привыкать к мысли об этой свадьбе, Мартине. Ваша жена мне определенно нравится... *(От острой боли он резко сгибается в пояснице.)* Решительно не проходит... У вас, случайно, нет магнезии?

Мартине обмениваются взглядами, полными жалости.

Мартине *(огорченно)*. К несчастью, нет, мосье! Моя жена никогда не страдала желудком, а у меня только ревматизм!

Куфисель. Мне только этого не хватало!

Г-жа Мартине. В торговом центре есть аптека, но она закрыта до двух часов... Может быть, сварить вам чашечку липового цвета с флердоранжем?

Куфисель *(стонет)*. Ради бога, только не говорите мне о флердоранже... Сейчас пройдет само... *(Пауза. Он ждет конца приступа.)*

Звонит телефон — раз, другой, третий. Мартине не трогаются с места.

(Глядя на них.) Телефон!

Мартине. Это у соседей.

Куфисель. А, хорошо... *(Звонки прекращаются. Куфисель с облегчением выпрямляется.)* Немного лучше. Воспользуемся этим, чтобы... *(Глухой рокот лифта обрывает его слова. Он смотрит на Мартине.)* А это что такое?

Мартине. Лифт.

Г-жа Мартине *(озабоченно)*. Возможно, это Венсан... *(Куфиселю.)* Мне кажется, было бы лучше, если бы сначала отец повидался с ним с глазу на глаз, чтобы... чтобы его подготовить.

Куфисель *(повышая голос)*. Подготовить? Но меня-то никто не подготавливал, мадам! *(Смотрит на нее, пожимает плечами.)* Ну, хорошо. Готовьте его, раз вы считаете нужным...

Г-жа Мартине *(улыбаясь)*. Не хотите ли последовать за мной?

Куфисель идет за ней. Оборачивается перед тем, как выйти.

Куфисель *(повышая голос)*. Не забудьте, Мартине! Двадцать первого в мэрии шестнадцатого округа! При галстуке!

Выходит следом за г-жой Мартине. Во время этого диалога слышен нарастающий гул и грохот лифта, резко захлопывается металлическая дверь. Открывается входная дверь, которая затем захлопывается с грохотом пушечного выстрела. Сразу же появляется Венсан. У него весьма недовольный вид.

Венсан *(входя)*. А, это ты! Можно сказать, что ты наделен талантом поджигателя! Браво!

Мартине *(пораженный этой внезапной атакой)*. О чем ты говоришь?

Венсан. С чего это вдруг тебе пришло в голову рассказать о моих делах Минушон?

Мартине *(раздраженно)*. Нашел время говорить о Минушон!

Венсан. Я спокойно шатался по торговому центру, как вдруг увидел, что она маячит на горизонте. Я предстал перед ней с самой своей праздничной улыбкой и предложил поднести ей сумку и — бах! *(Кладет руку на щеку.)*

Мартине. Она дала тебе пощечину?

Венсан. Две. Устроила настоящую экзекуцию! И все это в торговом центре в час «пик»! Она меня не только побила, но еще и послала к черту. Теперь между нами все кончено!

Мартине *(спокойно)*. Вот это очень кстати!

Венсан. Потому что это случилось не с тобой. Минушон хорошая женщина, я ею дорожил. К тому же это было удобно. Дверь напротив или почти! А теперь вот я совсем один!

Мартине *(холодно)*. Не надолго. Двадцать первого мая ты женишься.

Венсан *(ошеломленный)*. Как?

Мартине. Ровно в одиннадцать в мэрии шестнадцатого округа, белая рубашка и строгий галстук.

Венсан смотрит на него в надежде, что это шутка, но лицо Мартине не подает ему такой надежды. Внезапно он понимает, что это серьезно, машинально озирается и инстинктивно понижает голос.

Венсан *(тихо)*. Куфисель здесь?

Мартине. В кабинете, с твоей матерью. Это она добилась, чтобы я сначала сам поговорил с тобой.

Короткая пауза. Во время этой сцены они говорят приглушенным голосом.

Венсан. Это его затея с липовой свадьбой?

Мартине *(сухо)*. Да, но я надеюсь, что свадьба будет настоящей, если в тебе есть хоть капля порядочности!

Венсан. Скажи, па, ты не собираешься запеть «Марсельезу»? Софи ни о чем меня не просила, я ей ничего не обещал, значит, и нет проблемы!

Мартине. Ты объяснишь все это мосье Куфиселю, он очень понятливый!

Венсан *(нервничая)*. Само собой, я ему объясню! В конце концов, что эта за мания запутывать дела. Все урегулировано между мной и Софи! Мы пришли к полному согласию!

Мартине. То есть?

Венсан *(нервничая)*. Карты были неверно сданы. Мы пересдали карты и продолжаем играть, вот и все! Что ты вообразил? Что она откроет газ? Неужели ты можешь быть таким наивным? Будь спокоен, это сорт небьющихся кукол! Ты ее разбиваешь, а она снова склеивается. Ты знаешь, что она сделала сегодня утром, как только открыла один глаз? Стала звонить в Рим своему жениху! Для этого надо быть весьма закаленной, не так ли?

Мартине. Она звонила при тебе?

Венсан. Когда я уходил, она еще ждала разговора. А что это меняет? Меня там не было, но кровать-то осталась! Она, должно быть, сидела на ней, когда нашептывала ему всякие нежности.

Мартине. Она разорвала помолвку, умник!

Венсан *(ошеломленный)*. Не может быть!.. Она дала поворот своему нефтянику?

Мартине *(не поняв)*. А? *(Понимая.)* Да, и после твоего ухода! После того, как ты ей сказал, без сомнения, с обычной твоей деликатностью, что ты ее не любишь! Знаешь, что это значит?

Венсан *(мрачно)*. Еще бы! Она смертельно ранена, как же... *(Все еще не может опомниться.)* А вот мне она повторяла, что плевать хотела на все с высокого дерева!

Мартине. В словаре таких древних старцев, как я, это называется гордостью!

Венсан. Ну ладно, нечего на меня нажимать! *(Все еще не может опомниться.)* Бог мой, я так и слышу: «Ты прав, так будет лучше... Не волнуйся, я выйду замуж раньше, чем было предусмотрено, вот и все!.. Чао!..» И после этого она прикрыла балаган!.. *(Совершенно сраженный)*. Я подозревал, что у нее есть запасная соломинка, но чтоб такая!..

Мартине *(серьезно)*. Она любит тебя, Венсан. Это совсем еще ребенок, и тем не менее она все принесла тебе в жертву. Неужели тебя это не трогает?

Венсан *(нервно)*. Послушай, па, поставь на место свою виолончель. Она мне все принесла в жертву, согласен! Точка! А пока что меня посылают на бойню!..

Мартине *(внезапно разозлившись)*. Ты начинаешь мне надоедать! Я не вижу трагедии в том, чтобы жениться на молодой девушке, богатой влюбленной и хорошенькой! Об этом мечтают миллионы парней, дурень!

Венсан *(тоже злясь)*. Ну что ж, давай зови их! Какое мне дело, что у нее все есть и еще сверх того, раз я не люблю ее! Это идет в счет или нет?

Мартине *(сухо)*. Нет! Вчера вечером с этим еще можно было считаться!

Венсан. Что же, мне до конца моей жизни будут напоминать про долину Шеврёз?!.. Ну, а мама? Она тоже согласна вручить меня Куфиселям?

Мартине. Твоя мать порядочная женщина. Такой ответ тебя устраивает?

Венсан *(с отвращением)*. С лихвой, спасибо! Я покинут предками, каково! *(Внезапно разозлившись.)* И все из-за двух стаканчиков виски!..

Их прерывает голос Куфиселя.

Голос Куфиселя *(агрессивно)*. Ну

МАРК-ЖИЛЬБЕР СОВАЖОН
ЧАО!

как, Мартине, скоро вы кончите ваши приготовления?

Мартине. Да, да, мосье Куфисель!

Входит Куфисель. Он встает перед Венсаном и некоторое время молча рассматривает его. Затем поворачивается к Мартине.

Куфисель *(холодно).* Я бы предпочел другого. *(Снова изучает Венсана.)* Молодой человек, вы бы все равно не поверили, если бы я сказал, что счастлив с вами познакомиться, но все-таки здравствуйте!

Венсан *(безразличным тоном).* Здравствуйте, мосье.

Куфисель продолжает рассматривать его.

Куфисель. Наступил момент сбить с вас спесь!.. Итак, ваш отец поставил вас в известность?

Венсан. Сделано.

Куфисель. Возражений нет?

Венсан. Одно.

Куфисель. Это уж слишком, но все же изложите его.

Венсан *(четко).* Я не люблю Софи! Но нахожу ее очень миленькой, заметьте, совсем не глупой и забавной...

Куфисель *(удивленно).* Вот как? Забавной?

Венсан. Даже очень забавной, но я не люблю ее!

Куфисель. К несчастью для вас, это не самая важная деталь. Софи вас любит, и придется вам этим удовлетвориться. Быть любимым — это уже много, мой мальчик, можете поверить мне на слово! Еще что-нибудь желаете сказать?

Венсан *(обескураженно).* Вы все равно не станете меня слушать!

Куфисель. Великолепно. *(Поворачивается к Мартине.)* А вы, Мартине?

Мартине. Э... *(Прочищает горло.)* Нет, мосье Куфисель, я не вижу... Конечно, было бы лучше...

Куфисель *(холодно).* Не будем говорить о том, что было бы лучше... *(Поворачивается к г-же Мартине.)* Мадам Мартине?

Г-жа Мартине. Для меня все ясно, я в восторге! *(Общее удивление.)* Все идет хорошо.

Куфисель. Да?.. Видно, вы действительно понимаете по-марсиански! *(Венсану.)* А теперь, молодой человек, поговорим немного о вас. Кажется, вы занимаетесь музыкой?

Венсан. Предположим...

Г-жа Мартине *(с гордостью).* У него своя поп-группа!

Куфисель. В консерватории?

Г-жа Мартине *(с досадой).* Видите ли... э... я неправильно выразилась, мосье Куфисель. Я хотела сказать, что у него есть оркестр... Нынче молодежь называет это поп-группой..

Венсан *(с презрением).* Знаете, консерватория — это слишком старо!

Г-жа Мартине. Конечно, речь идет о совсем маленьком оркестре! Их только четверо...

Мартине *(оптимистично).* Это только начало!

Куфисель *(Венсану).* И что вы делаете в вашем оркестре? Для меня музыкант — это человек, который либо барабанит, либо свистит, либо стучит.

Венсан *(покорно).* Тогда я стучу, мосье Куфисель.

Куфисель. На рояле?

Венсан *(презрительно).* Рояль — это анахронизм!

Куфисель. Тогда на чем же вы стучите? *(Хмурит брови.)* Надеюсь, не на барабане?

Г-жа Мартине *(авторитетно).* Мосье Куфисель, вы безусловно в курсе проблем нашего времени, и вы не можете не знать, что консерватизм—это смертельная болезнь всякого искусства! *(Всеобщее удивление.)* Как и все человеческие начинания, музыка должна постоянно изменяться, чтобы уцелеть! Ей нужны свои пионеры, свои кудесники, свои алхимики! Надеюсь, вы не собираетесь мне возражать?

Куфисель *(поспешно).* Но я ничего не сказал, мадам!

Г-жа Мартине *(категорически).* Отлично! Итак, теперь вы знаете, что такое Венсан! Искатель!

Куфисель *(Венсану).* А точнее, что же вы ищете?

Венсан *(смутившись).* Скажи ты, ма.

Г-жа Мартине *(серьезно).* Что он ищет? Новое в завтрашнем дне! Музыку спонтанную, априорную, глубинную, одним словом, вещественную! Венсан творит музыку вещей!

Венсан. Вот!

Куфисель *(ошеломленный).* Музыку вещей?

Г-жа Мартине. Именно вещей. Модулированная вибрация материи. Крик предметов!

Куфисель *(как эхо).* Крик предметов... *(К Мартине.)* Но, черт побери, на чем, наконец, он стучит?

Мартине *(стыдливо).* На супницах, мосье Куфисель.

Г-жа Мартине *(поправляя).* На крышках от супниц!

Полная тишина, во время которой последний из Пуатвэнов снова издает душераздирающий крик. Куфисель находится как бы в состоянии гипноза.

Куфисель. На крышках от супниц!

Г-жа Мартине. И о нем уже начинают говорить.

Куфисель *(сраженный).* Я понимаю. *(Внезапно взорвавшись от гнева.)* Ну нет, дочь Жерома Куфиселя не станет женой бесноватого, который бьет посуду! Никогда!

Мартине. Заметьте, что он ее не бьет!

Куфисель. Мне наплевать! Зато никто не сможет сказать, что я тридцать лет работал как вол и вот до чего докатился... *(Венсану.)* А вы, юный чудотворец, слушайте меня внимательно! С музыкой априорной и вещественной покончено! Понятно? У меня супницы служат для супа!

Венсан *(оскорбленно).* А как же с моим призванием?

Куфисель *(кричит).* Покончено тоже. Никаких призваний, нужна профессия!

Венсан. Но это же антикультурно!

Куфисель *(в ярости)*. Оставьте меня в покое!.. *(Немного поостыв.)* Чему вы учились?..

Все молчат.

В школу-то хоть ходили?

Мартине. Ходил, мосье Куфисель! До службы в армии!

Куфисель. И результат? *(Молчание. Он усмехается.)* Понимаю! Степень бакалавра, как у всех!

Венсан. Даже ее нет!

Куфисель *(ошеломленный)*. Как? У вас нет степени бакалавра? Но, черт возьми, это же проще простого!.. Что же вы, в таком случае, окончили? Начальную ступень? Четыре класса?

Г-жа Мартине. Он бы десять раз мог ее получить, бедный малыш, но ему попался экзаменатор, который не нашел к нему подхода!

Венсан. Он требовал, чтобы я решил пример на сокращение дробей!

Куфисель *(иронически)*. Я понимаю! Еще один тиран. *(Вскипая.)* Короче, у него нет ничего! Полный невежда! И такой осмелился соблазнить мою дочь?! *(К Мартине, в ярости.)* Да вы что, издеваетесь над людьми, Мартине?

Г-жа Мартине *(с достоинством)*. Во всяком случае, наш Венсан добрый мальчик, мосье Куфисель!

Куфисель *(снова вскипая)*. Кому в современном обществе нужен ваш добрый мальчик, мадам Мартине? Я отвечу: никому! Он только занимает пространство. *(Успокаивается; часто дыша, неодобрительно смотрит на Венсана.)* Очень хорошо, в таком случае вы поступите в ЗАОПМЭГ.

Венсан *(ошеломленный)*. Я?

Куфисель. Я попытаюсь найти вам какое-нибудь место!

Венсан *(оторопев)*. Какое место?

Куфисель *(кричит)*. Место зятя!

Внезапно раздается звонок. Все смотрят друг на друга.

Г-жа Мартине. Пойди открой, мой дорогой.

Мартине. И ни для кого нас нет дома!

На второй звонок Венсан выходит. Шум открывающейся двери.

Голос Венсана. Не хватает только тебя, чтобы открыть бутылку шампанского! Входи.

Голос Софи *(сухо)*. Мой отец здесь?

Голос Венсана. Дверь прямо.

Куфисель. Моя дочь! Праздник продолжается!

Почти сразу же появляется Софи. Она переоделась. Чувствуется, что она в страшном напряжении, хотя старается сохранить спокойствие.
Венсан, закрыв дверь, появляется следом за Софи, становится позади нее. Пауза. Софи не смотрит на своего отца. Она обращается к г-же Мартине.

Софи *(натянуто)*. Здравствуйте, мадам, здравствуйте, мосье. Вы, очевидно, родители Венсана? Я Софи Куфисель. Я полагаю, что вы уже достаточно поговорили обо мне!

Г-жа Мартине *(улыбаясь)*. Это верно. Здравствуйте, мадемуазель, мы очень рады с вами познакомиться.

Софи. Благодарю вас. *(Смотрит на отца. Голос ее становится еще более напряженным.)* Тебе необходимо было сюда прийти? Я ведь запретила тебе!

Куфисель *(холодно)*. Бывает, слава тебе господи, что я не принимаю в расчет ни твои запрещения, ни твои разрешения, когда собираюсь сделать то, что считаю нужным.

Софи *(в ярости)*. Я была уверена, что ты придешь. Стоило только увидеть выражение лица мадемуазель Вюрм, когда я спрашивала у нее адрес, и я сразу же поняла, что ты здесь!

Куфисель *(спокойно)*. Ты уже давно должна была бы знать, что я всегда нахожусь там, где мне положено быть!

Софи *(язвительно)*. Всегда? Тогда где же ты был три года назад, когда я упала с лошади? В Каире, если мне не изменяет память? И ты продолжал там оставаться!

Куфисель *(нервно)*. Ах, отстань ты, пожалуйста, с этой идиотской историей! Я тебе звонил по два раза в день!

Софи. Из Каира! Но на этот раз ты что-то уж слишком любезен!

Куфисель *(сухо)*. Это же совсем другое дело!

Софи *(в ярости)*. Совсем другое, ты прав! Три моих сломанных ребра не задевали твоего тщеславия! Но то, что произошло сегодня ночью, вот это да! Тут уж рушится империя Куфиселя! Все на крепостную стену!

Куфисель *(морщась)*. Софи, ты ошибаешься, если думаешь, что присутствие мадам и мосье Мартине помешает мне дать тебе шлепка, которого ты заслуживаешь! Ты кончила, да?

Софи. Почти! *(Поворачиваясь к отцу и матери Венсана.)* Я не спрашиваю вас, о чем мой отец говорил с вами. Я не хочу знать, чего он пытался добиться от вас и какими средствами. В любом случае я отказываюсь! Я говорю: нет!

Куфисель *(уверенным тоном)*. Тебе нечего говорить, ты не можешь сказать даже «да»! Все уже улажено!

Софи *(сжав кулаки)*. В таком случае я тебе напоминаю, что не являюсь ни твоей служанкой, ни филиалом твоего ЗАОПМЭГа!

Мартине. Позвольте вмешаться, мадемуазель. Прежде чем отказываться, может быть, было бы благоразумнее узнать, от чего вы отказываетесь?

Софи *(сухо)*. Это я уже знаю! *(Делает крутой поворот и становится лицом к Венсану)*. Давай выкладывай. Официальное сообщение, я полагаю, поручили тебе? Я тебя слушаю.

Венсан. Все очень просто. Двадцать

МАРК-ЖИЛЬБЕР СОВАЖОН
ЧАО!

первого мая на заре я выбираю самый красивый галстук моего отца и ровно в одиннадцать встречаюсь с тобой, трепещущей от волнения, в мэрии шестнадцатого округа. Все потрясены, так как никто еще не видел меня в галстуке. В полдень — дело уже в шляпе, навеки вместе ты и я. Я покупаю тебе жареную картошку на берегу Марны и на другой день поступаю в ЗАОПМЭГ в качестве стажера-подметальщика!

Куфисель. Учтите, чтобы быть подметальщиком, надо иметь свидетельство о профессиональной подготовке!

Венсан *(к Софи)*. Ну как, тебя это устраивает, Куфисель?

Мартине *(возмущенно)*. Венсан, я прошу тебя говорить о свадьбе и о мадемуазель в другом тоне!

Г-жа Мартине *(мягко)*. Антуан, не вмешивайся, ты ничего не понимаешь.

Куфисель *(которому снова стало плохо)*. Это по-марсиански, старина...

Софи неотрывно смотрит на Венсана.

Софи. А тебя это устраивает?

Венсан. Это любезно — узнать мое мнение. Ты первая об этом подумала!

Софи *(сухо)*. Я тебя прошу ответить на вопрос! Это тебя устраивает?

Венсан. Надо полагать, это результат референдума!

Софи. Ты хочешь сказать, что это идея моего отца?

Куфисель. Да, это идея твоего отца!

Венсан. Естественно, что я не мог бы сам до этого додуматься!

Софи *(морщась)*. Ты не додумался, но с этим согласился! Прежде всего я котируюсь на парижской бирже и на главных биржах за границей! Это утешительно! *(В ярости.)* На вид ты парень смелый, хоть куда, а на деле просто тряпка! Знаешь, кто ты? Половая тряпка!

Венсан *(зло)*. А если она тебе сейчас залепит пощечину, эта половая тряпка!

Куфисель *(из кресла)*. Вы не вещайте, а попробуйте это сделать!

Мартине *(в ужасе)*. Венсан!

Г-жа Мартине *(спокойно)*. Антуан, дай им самим разобраться.

Софи *(продолжая)*. Абсолютно точно, половая тряпка, изъеденная к тому же молью! Ты терпеть меня не можешь и все же собираешься на мне жениться только потому, что струсил перед моим отцом! Ты мне противен!

Венсан *(зло)*. Послушай, ты скоро кончишь заниматься литературой? Я женюсь на тебе не потому, что увлечен, согласен, но и не потому, что ты покрыта золотом, и не потому, что я боюсь твоего родителя! Я женюсь на тебе, потому что ты загнала меня в угол!

Софи *(озадаченно)*. Я? Я загнала тебя в угол?

Венсан. Вот что, нечего разводить здесь сантименты! Ты прекрасно знаешь, что, отвадив своего жениха, ты не оставила мне ни единого шанса уйти живым!

Короткая пауза. Софи смотрит на своего отца.

Софи *(отцу)*. Ты и об этом не забыл сказать! *(Венсану.)* Так вот оно что! Ты вообразил, что я это сделала, чтобы заставить тебя жениться на мне? Ошибаешься, голубчик, это тут совсем ни при чем! Я порвала с Дени, потому что давно хотела этого, вот и все! Не для тебя и не из-за тебя, будь спокоен! Ты что думал, я закачу истерику при мысли, что провела ночь с захудалым уличным музыкантом? Ты меня плохо знаешь!

Венсан *(жестко)*. И у меня нет желания узнать тебя лучше! Сойдет и так.

Софи *(со слезами гнева)*. Сойдет и так, верно! И не трудись надевать галстук двадцать первого мая, потому что двадцать первого мая я уже не буду помнить даже, как тебя зовут! Чао, Мартине! *(Поворачивается и убегает.)*

Куфисель *(встает)*. Софи, останься!

В ответ раздается лишь стук захлопнувшейся двери. Все молчат, г-жа Мартине смотрит на дверь, через которую ушла Софи. До сих пор спокойная, она вдруг начинает волноваться.

Мартине *(сокрушенно)*. Это просто страшно, что двое молодых людей могут наговорить друг другу столько мерзостей! Я положительно заболел!

Куфисель. Должен добавить, что Софи воспитывалась исключительно в частных пансионах!

Внезапно г-жа Мартине поворачивается к Венсану. Она явно нервничает.

Г-жа Мартине. Венсан, догони ее!

Венсан *(ошеломленный)*. Что? Может быть, ты считаешь, что она мне мало наговорила?

Г-жа Мартине *(четко)*. Догони ее, Венсан!

Венсан. Но зачем, черт возьми?

Г-жа Мартине *(властно)*. Потому что я тебя прошу! Догони, и быстро!

Венсан *(несколько ошарашенный)*. Хорошо, так и быть, я иду... *(По дороге к двери.)* Долго я буду помнить это сватовство! *(Выходит.)*

Слышно, как закрывается входная дверь.

Мартине *(жене)*. Если даже он ее догонит, ты же не думаешь, что это поможет все уладить? Теперь это уже невозможно!

Г-жа Мартине. Почему?

Мартине. Разве ты не слышала, что они наговорили друг другу?

Г-жа Мартине *(мягко)*. Конечно, я прекрасно слышала... *(Улыбается в пространство.)* Они говорили: «Я люблю тебя... Я люблю тебя... Я люблю тебя...»

Куфисель и ее муж смотрят на нее с удивлением. Свет гаснет.

Картина седьмая

ЗАДНЯЯ КОМНАТА В БИСТРО

На сцене Софи. Она завернута в простыню, голова ее завязана махровым полотенцем. Пьет маленькими глотками грог. Входит Венсан с большим пакетом.

Софи *(улыбается)*. Ты предупредил наши семьи? Как они реагировали?

Венсан. Мне повезло: трубку сняла ма. Вначале она чуть было не проглотила аппарат, но успокоилась, когда узнала, что утонула только машина.

Софи. Я полагаю, после этого ты уже имел право обратиться к великому Куфиселю!

Венсан. Ну, у меня было такое впечатление, что он сейчас взорвет дом! Я до сих пор глухой на одно ухо. Он категорически хотел знать, где это произошло. Так я ему это и сказал, сама понимаешь...

Софи. Что ты сделал?

Венсан. Повесил трубку! А потом пошел посмотреть на типов из спасательной команды и пожарных. Их было столько, что можно было подумать, будто они собрались вытаскивать из воды всю Францию! А сколько снаряжения!

Софи *(показывает на пакет, который он принес).* Что это такое?

Венсан. Это для тебя. Хозяйка бистро сказала, что твое платье не высохнет до скончания света. Тогда я купил это здесь рядом, в американском магазинчике, где продают остатки...

Софи *(разворачивает пакет).* Ты уже меня одеваешь? Ты можешь разориться!

Венсан. Уже разорился. У меня осталось, только чтобы заплатить за тебя в метро. Счастье еще, что ты не каждый день тонешь!

Софи открывает пакет.

Я не знал твоих размеров, поэтому попросил на «мальчика, который спустился с гор». Это должно подойти.

Софи вытаскивает из пакета голубые джинсы и черную рубашку.

Софи *(со смехом).* Папа будет в восторге от такого наряда.

Венсан. Конечно, это не от Диора...

Софи. Много лучше. От Венсана Мартине...

Короткая пауза.

Если я тебя поцелую, ты закричишь?

Венсан. Почему ты должна меня целовать?

Софи. Ты спас мне жизнь. Дама всегда целует господина, который спас ей жизнь...

Венсан *(пожимая плечами).* Я просто помог тебе, вот и все! Хотя, конечно, ты могла бы и сама спастись!

Софи *(тихо).* Ты хорошо знаешь, что нет. Я бы не сумела открыть дверь... Завтра меня бы нашли, зажатую между двумя баржами в Буживале или в Конфлан-Сент-Онорин.

Венсан. Знаешь, не пытайся вышибить из меня слезы. Я и так достаточно промок!

Софи *(серьезно).* Ты спас меня, не только вытащив из Сены. Вчера ты меня спас в Менкуре...

Венсан *(удивленно).* От чего?

Софи. От себя самой... Если бы не встреча с тобой, я бы пошла по следам моей матери. Я всегда думала, что меня ждет та же участь. Для начала — фальшивая свадьба, потом развод, шумная, оглушительная ярмарка до тех пор, пока остается хоть что-нибудь съедобное, и в конце всего — мальчики на содержании, которые, уходя, крадут наши кольца... Ты спас меня от всего этого, представь себе!

Венсан. Словом, будь у меня шерсть подлиннее и бочонок рома, привязанный к ошейнику, я мог бы изобразить великолепного сенбернара.

Софи смеется.

А тебе не кажется, что ты немного преувеличиваешь?

Софи *(снова серьезно).* Нет. *(Смотрит ему прямо в лицо).* Теперь я знаю, что никогда уже не влезу в старую шкуру, даже если больше тебя не увижу! И это будет только благодаря тебе... *(Рассмеявшись, другим тоном.)* Ну так как, ты разрешаешь поцеловать себя? *(Протягивает руку и кладет палец на уголок губ Венсана.)* Вот сюда, в самый уголок... Маленький родственный поцелуй!

Венсан *(настороженно).* С руками за спиной?

Софи. Конечно! *(Она благопристойно скрещивает руки за спиной, наклоняется к нему, нежно прикладывает губы к указанному месту.)*

Поцелуй затягивается, и Венсан вскакивает.

Что с тобой?

Венсан. А то, что ты жульничаешь!

Держа все так же руки за спиной, она смотрит на него с искренним удивлением.

Софи. Ах, вот как? В чем же?

Венсан *(стоя).* Во-первых, эта проклятая простыня, которая вот-вот с тебя свалится... *(Поправляет простыню у нее на плечах.)* И потом... и потом, все остальное!.. Эти твои фокусы, как в Менкуре!

Софи. Послушать тебя, можно подумать, что это я потащила тебя в Менкур!

Венсан. Иногда мне кажется, что так оно и было. Ну, хорошо, я обещал ма через час быть дома. Одевайся.

Софи *(послушно).* Как хочешь... *(Встает и собирается сбросить простыню с плеч.)*

Венсан, быстро шагнув к ней, не дает ей этого сделать.

Венсан. Не здесь! За шкафчиком с бутылками! *(Крепко берет ее за руку и толкает за шкаф.)* Алле гоп!

Софи *(повинуясь ему).* Отпусти!

Венсан. Вот так!

Софи исчезает за шкафом.

(Берет джинсы и рубашку и бросает ей через шкаф.) И предупреждаю тебя: если ты не будешь готова через две минуты...

Голос Софи *(со смехом).* Ты придешь мне помочь?

Венсан. Я уйду один! *(Короткая пауза. Он достает из кармана пачку сигарет.)* Я купил пачку «Голуаз». Хочешь одну?

МАРК-ЖИЛЬБЕР СОВАЖОН
ЧАО!

Голос Софи. Раскури ее для меня, и я узнаю, о чем ты думаешь!

Венсан. И не забудь мне сказать об этом, ты окажешь мне большую услугу... Держи! *(Протягивает ей сигарету поверх шкафа.)*

Голос Софи. Кстати, о мыслях. О чем ты думал, когда бросался в воду?

Венсан *(закуривая)*. О том, чтобы плыть, о чем же еще!

Голос Софи. Немного раньше... когда ты увидел, что «порш» опрокинулся в воду...

Венсан. Трудно сказать... Все произошло настолько быстро! Я только снял свитер и ботинки и сразу же бросился в воду. Мне даже кажется, что я очутился в воде раньше тебя.

Голос Софи. Знаешь, что ты кричал?

Венсан. Кроме шуток?

Голос Софи. Это последнее, что я услышала... Ты кричал: «Софи! Софи!»

Венсан. Что же я мог еще кричать? *(Другим тоном.)* Ну как, скоро кончится твой стриптиз?

Голос Софи. Ну вот. *(Появляется из-за шкафа, очаровательная и смешная, в слишком широкой мужской рубашке, рукава которой ей пришлось засучить, и в слишком длинных голубых джинсах, которые она подвернула внизу.)* Ну что? Должно быть, смешно?

Венсан с улыбкой смотрит на нее, подходит и снимает с головы махровое полотенце.

Я не очень безобразна?

Венсан *(настороженно)*. Ведь если я скажу «нет», ты бросишься мне на шею!

Софи. Не сдвинусь с места! Слово!

Венсан *(улыбаясь)*. Тогда нет, не очень безобразна... *(Перестает улыбаться.)* Садись, мне бы хотелось поговорить с тобой...

Софи. И не надо спешить?

Венсан. Сейчас уже нет.

Софи *(улыбаясь)*. О чем мы будем говорить? О моем наряде? *(Усаживается на стул.)* Ладно, давай.

Он останавливается перед ней.

Венсан. По поводу этого происшествия...

Софи. Ну и что?

Венсан. Мне бы очень хотелось знать, как это было на самом деле...

Софи смотрит не на него, а на сигарету, которую держит в пальцах.

Софи. Я тебе уже сказала. И полицейским тоже. Мои нервы были взвинчены, я увидела, как ты идешь, мне хотелось удрать от тебя, и вместо того чтобы включить первую скорость, я включила задний ход, вот и все! Круглая дура!

Венсан. Вот тут-то и не получается. Ты сумасбродная, но не дурочка...

Короткая пауза.

Пока ты давала объяснения полицейским, я говорил с механиком. По его мнению, на этой модели «порша» надо крепко постараться, чтобы спутать задний ход с первой скоростью. Он мне сказал: «Надо думать, дамочка сделала все нарочно...»

Короткая пауза.

Ты сделала это нарочно, Куфисель?

Она продолжает смотреть на сигарету.

Софи. Нарочно утопить машину стоимостью в три миллиона франков?

Венсан. Да, вместе с собой.

Софи. Ты на досуге, случайно, не страдаешь романтизмом? Ты думаешь, я покончу жизнь самоубийством — в моем-то возрасте и при моих-то деньгах?

Венсан. Запросто. Я думаю, что ты готова сделать что угодно, лишь бы отравить всем существование! Я просто тебя спрашиваю, хотела ты это сделать или нет, черт побери!

Софи. Это тебя интересует?

Венсан. Надо полагать... Итак?

Щелчком она отбрасывает сигарету в другой конец комнаты, затем в первый раз смотрит ему прямо в лицо.

Софи *(четко)*. Тогда угадай!

Венсан *(в ярости)*. Да?.. Каким образом?

Софи *(спокойно)*. Выкручивайся как знаешь! Может быть, я действительно хотела покончить жизнь самоубийством, может быть, нет. Тебе остается выбрать.

Венсан *(в ярости)*. Значит, ты не хочешь мне сказать?

Софи *(четко)*. Нет. Так, по крайней мере, ты будешь спрашивать себя всю жизнь!

Венсан *(в бешенстве)*. Всю свою жизнь, ты думаешь? Ребусы — это не мое призвание, знаешь ли! Они меня быстро утомляют, и я бросаю их еще быстрее!

Софи. Ну что ж, тогда брось! Чего же ты ждешь?

Венсан. Идиотское трюкачество! Если бы я знал правду, возможно, многое бы изменилось в наших отношениях...

Софи *(четко)*. Это ничего бы не изменило. Ты бы никогда не мог быть уверенным, что я сказала тебе правду! Ты бы мог всегда предполагать, что я оставила тебя в дураках!

Венсан *(торжествующе)*. Значит, ты сделала это нарочно!

Софи *(улыбаясь)*. Нет.

Венсан. Так ты это сделала ненарочно?

Софи *(улыбаясь)*. Нарочно.

Венсан на какое-то время закрывает глаза.

Венсан. Есть моменты, когда я понимаю твоего отца...

Софи *(улыбаясь)*. Во всяком случае, не утомляй себя, это может продолжаться бесконечно! *(Встает.)* Пойдем, а то твоя мать будет беспокоиться...

Венсан. Одну секунду! После всей этой передряги возникнут проблемы. Они могут снова заговорить о двадцать первом. Что им сказать?

Софи. Все что хочешь. Я уже утопленница!

Короткая пауза.

Венсан *(немного смущенный)*. Я это усвоил. Я хочу сделать тебе одно предложение...

Софи. Я тоже!

Венсан. Предупреждаю, что мое является приятным сюрпризом...

Софи *(улыбаясь)*. В таком случае, мое тоже! *(Протягивает руку, смеется.)* Идем, расскажем друг другу по дороге.

Выходят. Свет гаснет.

Интермедия.

Чтобы дать возможность исполнителям ролей Софи и Венсана вовремя перейти в декорацию следующей картины, их реплики звучат в темноте на фоне шума метро.

Голос Софи. Я все стараюсь представить себе, как они сейчас нас встретят.

Голос Венсана. Не утруждай себя. Я все вижу так, как будто это уже было! Я — в объятиях своей матери, ты — в объятиях своего отца, и папаша Мартине, готовый расплакаться в платок!

Голос Софи. Я — в объятиях своего отца? Ты думаешь? Не знаю, способен ли он еще на это...

Картина восьмая

У МАРТИНЕ

Когда на сцене зажигается свет, все пять человек находятся точно в таких позах, какие описал Венсан.
В течение двух-трех секунд они остаются в этом положении, словно на застывшем кадре из фильма. Затем оживают.

Г-жа Мартине *(взволнованно)*. Бедняжка, мой маленький, мой малыш, ты здесь!

Мартине *(взволнованно)*. Я горжусь тобой, мой сын. *(Тихо.)* Журналисты были?

Венсан. Куча!

Куфисель. Как ты себя чувствуешь, дорогая? Осмотрел тебя врач?

Софи *(смеется)*. Я видела столько народу, среди них, наверно, был и врач!

Венсан. Там был один, мосье Куфисель. Молоденький такой. Он проезжал по набережной на машине и любезно остановился.

Куфисель. И он не вызвал «скорую помощь»?

Венсан. Нет. Сначала он пощупал Софи как следует, а затем хлопнул меня по плечу и изрек: «Хорошенькая девушка, но утопленниц я видел получше!» И уехал.

Куфисель. И это, по-вашему, врач?

Венсан. У него был стетоскоп.

Куфисель. У любого может быть стетоскоп! *(К Софи.)* Я сейчас позвоню Делькруа, чтобы он немедленно тебя принял!

Софи. Ах нет, не надо! Говорю тебе, что чувствую себя прекрасно!

Венсан. Честно говоря, она всего лишь окунулась, мосье Куфисель.

Куфисель. Благодарю вас! *(Взволнованно.)* Спасибо, мой мальчик! Очевидно, вам больше подходит плавать, чем руководить поп-группами! *(К Софи.)* А теперь возвращайся домой и отдохни.

Софи. Это невозможно. Нас ждут в комиссариате, где мы должны дать показания.

Венсан. Еще проблема с «поршем», мосье Куфисель. По мнению пожарных, подъем его будет вам дорого стоить. Они говорят, что течением его прибьет к сваям моста.

Куфисель. Там он и останется.

Венсан. Дело не в этом! Там запрещена стоянка!

Софи. Кажется, они еще хотят заставить тебя заплатить за балюстраду, которую я свалила. Бедный папочка, ты должен переносить тяжелые удары судьбы! *(Целует его.)* И это еще не все!

Куфисель *(обеспокоенно)*. Еще не все?

Софи. Надо еще кое-что вам сказать... *(Быстрый взгляд в сторону Венсана.)* Это будет самым тяжелым!

Венсан. Не падайте в обморок!

Софи *(серьезно)*. Мы с Венсаном выходим из игры.

Куфисель *(не поняв)*. Извините?.. *(Г-же Мартине.)* Может быть, вы переведете...

Г-жа Мартине *(напряженно)*. Я думаю, они уходят, мосье Куфисель...

Венсан. Верно!

Куфисель *(вздрогнув)*. Они уходят? Куда они уходят?

Мартине. До свадьбы? Подумайте, дети мои, 21 мая не так уж далеко!

Софи. А 21 мая вообще не будет, мосье Мартине. По крайней мере, в том смысле, который вы имеете в виду.

Венсан. Сейчас мы не женимся, папа. А дальше видно будет!

Куфисель *(одновременно с Мартине)*. Что?

Мартине *(одновременно с Куфиселем)*. Именем бога!

Софи. Дату мы назначим сами, если таковая будет!

Куфисель. Если таковая будет? Она уже назначена, представь себе! И, поверь, я не позволю о ней забыть!

Софи *(четко)*. Мы с Венсаном раньше должны уяснить все для самих себя! А для этого надо побыть одним!

Куфисель *(решительно)*. Как и все, вы будете одни, когда поженитесь!

Мартине. Венсан, ты всегда был честным мальчиком! И я полагаю, ты не можешь вступить с мадемуазель Куфисель во внебрачную связь!

Венсан *(смеясь)*. Внебрачную? Это в наше время не имеет значения, папа.

Софи. Почему вы не скажете «жить вместе»? Это звучит гораздо красивее!

Мартине. Но это будет еще красивее, если вы поженитесь!

Софи. Возможно! Но вначале мы должны быть уверены! Венсан так хочет, а значит и я!

Куфисель *(в бешенстве)*. Ты так думаешь? Но есть еще вещи, которых не хочу я, твой отец!

Софи. Есть еще и то, чего я не хочу, твоя дочь!

Куфисель. Попробуй повтори еще раз, и я оттаскаю тебя за уши!

МАРК-ЖИЛЬБЕР СОВАЖОН
ЧАО!

Г-жа Мартине. У вас опять будет боль в желудке, мосье Куфисель!

Софи *(продолжая гневно)*. Есть еще то, чего я не хочу, да! Я не хочу, чтобы ты, как своим курьерам, диктовал нам нашу жизнь! Я хочу, чтобы Венсан выбрал меня добровольно!

Куфисель *(в ярости)*. Он уже тебя выбрал, бог мой! Разве ты забыла долину Шеврёз?

Софи *(улыбаясь Венсану)*. Мы решили, что это не в счет...

Куфисель *(задыхаясь)*. Решили, что это не идет в счет?

Венсан *(улыбается Софи)*. Все зачеркивается, и все начинается сначала.

Софи *(улыбается Венсану)*. И на этот раз, как у взрослых, а не как у детей!

Мартине. Но это же безумие! Куда вы пойдете? На что будете жить?

Куфисель *(к Софи)*. Предупреждаю тебя, что ты не вытянешь из меня ни одного сантима!

Венсан. Мы не нуждаемся в финансировании, мосье Куфисель. Мы отправимся в гастрольную поездку с моей поп-группой. Давно уже мои ребята хотели, вот и представился хороший случай!

Куфисель. Хороший случай подохнуть с голоду среди ваших супниц!

Венсан. Не уверен! Может быть, мы попадем в Антиб на фестиваль джаза.

Куфисель усмехается.

А по пути — ярмарки, праздники, свадебные вечера...

Софи *(мечтательно)*. Возьмем напрокат фургончик.

Куфисель *(задыхаясь)*. Фургончик?.. Нет, вы слышите, Мартине? Фургончик! Бог мой! И вы позволите им это сделать?

Мартине *(растерянно)*. Но, мосье Куфисель...

Куфисель *(в бешенстве)*. Ну нет! Если надо будет, я подам в суд! Я позвоню префекту! Я... *(Внезапно, застонав от боли, кладет руку на живот.)* Ну вот, опять началось.

Г-жа Мартине. Я же вам говорила!

Софи. Ты думаешь, папа, что это делается с единственной целью — досадить тебе. Но мы только хотим быть честными!

Куфисель *(возмущенно)*. Честными? Таскаться по дорогам со своим любовником — это ты называешь быть честной?

Венсан. Можно было уехать, не сказав никому ни слова. Но мы не хотели.

Софи. Ты не хотел!

Мартине. Браво, сын мой! Ты не хотел, потому что знал: это был бы дурной поступок.

Венсан *(вежливо)*. Послушай, па, кончай петь гимны.

Мартине *(с силой)*. И это в самом деле был бы дурной поступок. Ты всегда слушал свою мать больше, чем меня. Спроси у нее, ошибаюсь ли я.

Г-жа Мартине. Да, ты ошибаешься.

Куфисель дергается.

Я говорю, что они правы. Будущее принадлежит Софи и Венсану, а не нам! И они имеют право выбирать!

Венсан *(с энтузиазмом)*. Ма, ты потрясающая женщина!

Софи. Изумительная! Сказочная!

Куфисель *(возмущенно)*. Мадам Мартине, стыдно! Вы, мать семейства, осмеливаетесь провозглашать подобные идеи?!

Мартине *(возмущенно)*. И перед детьми?

Г-жа Мартине. Ах, Антуан, оставь меня в покое! Ты что, думаешь, что мне самой не хотелось бы сопровождать их двадцать первого мая в мэрию шестнадцатого округа?

Мартине. Так в чем же дело?

Г-жа Мартине. Они этого не хотят, вот в чем. Я не могу этому радоваться, но я понимаю их и поэтому поддерживаю! Я их поддерживаю, и для этого я здесь!

Куфисель. А я и не знал, что ваша жена защитница свободной любви! Браво, Мартине! Ваша семья поистине необычайно экстравагантна!

Мартине. Но, мосье Куфисель... *(Жене.)* Вспомни, как ты сама всегда отказывалась пойти со мной в кино одна во все время нашей помолвки, а вот сейчас ты...

Г-жа Мартине *(улыбаясь)*. Сейчас это сейчас, Антуан! *(Смотрит на Венсана и Софи.)* Это мы должны быть с ними одного возраста, а не они с нами!

Куфисель. Отлично! В таких условиях остается только молчать! Добрый вечер, мадам, или, скорее, прощайте! *(Идет к выходу, смотрит на Софи, колеблется.)* Сэкономьте хотя бы на фургончике! Возьмите «роллс»!

Софи. Ну нет! Фургончик куда колоритнее!

Венсан. Какие сейчас «роллсы», мосье Куфисель! Это уже история!

Куфисель *(ожесточенно)*. А вы оставьте меня в покое! *(К Софи.)* Иди хоть к самому дьяволу! Все равно скоро вернешься, в этом я совершенно уверен!

Софи *(улыбаясь)*. Конечно, я буду время от времени возвращаться, чтобы поцеловать тебя!

Куфисель *(в бешенстве)*. Бесполезно, меня здесь не будет! Никогда не будет! Я тоже бросаю все! В моем сердце тоже есть свои баррикады и черный флаг! Анархия доступна всем! Если кто-то считает, что это и есть порядок, пусть так и будет! Ты больше не хочешь? И я тоже! Какой смысл подохнуть, вращая механизм, на который всем наплевать! *(Внезапно поворачивается к Мартине.)* А вы, Мартине, вы бы этого не сделали на моем месте?

Мартине. О, я, я даже не знаю, что я должен делать на своем!

Куфисель *(в ярости)*. А я знаю! Настало время спустить на воду самую прекрасную яхту из всех существующих в мире и плыть прямо вперед до конца!

Софи. Ты уже везде побывал!

Куфисель. Я никогда нигде не бывал! Разве можно считать, что где-то бывал, когда всю жизнь, как сумасшедший, я пры-

гал с самолета в самолет? Путешествовать— это не сберегать время, это его расточать! Ну что ж, я буду его расточать, слово Куфиселя! Все, что мне остается!

Мартине *(в тревоге).* Мосье Куфисель, а ЗАОПМЭГ?

Куфисель. Пусть подождет!

Мартине *(в полной растерянности).* А СИКОМАТ? Я вас умоляю, мосье Куфисель, подумайте о СИКОМАТе! Если ЗАОПМЭГ не проглотит СИКОМАТ, то СИКОМАТ проглотит ЗАОПМЭГ, и они создадут ОПА!

Куфисель. Мартине, заткнитесь! Я решил воспользоваться всем, в чем себе отказывал до сих пор, и я свое возьму! Все отпуска, которые я никогда не брал, всех красивых женщин, которым я разрешал проходить мимо, все то, что делает жизнь мужчины такой прекрасной и такой безумной, все это, наконец, будет моим! Настал мой черед!

Г-жа Мартине. И вы совершенно правы, мосье Куфисель!

Куфисель *(гневно).* А я не хочу быть всегда правым! Я хочу быть неправым и совершать ошибки, как и все другие! Да здравствует жизнь!

Звонит телефон. Венсан снимает трубку.

Венсан. Да?.. Подождите, я сейчас его позову!.. *(Куфиселю.)* Некая мадемуазель Вюрм. Она говорит, что это очень срочно.

Куфисель. Нет больше ничего срочного! Передайте мадемуазель Вюрм, пусть пойдет сварит себе яйцо!

Венсан. А вы не хотите ей сказать это сами? Мы с ней не в таких приятельских отношениях...

Куфисель решительным жестом берет трубку.

Куфисель. Мадемуазель Вюрм, говорит Жером Куфисель, президент и генеральный директор! Я подаю в отставку!.. *(Внезапно меняет тон.)* Что?.. Что вы говорите?.. Но это невозможно, послушайте!.. *(Некоторое время ошеломленно слушает, затем поворачивается к остальным.)* Куки сошла с ума!

Г-жа Мартине. Кто это?

Куфисель. Вычислительная машина! Отвечает неизвестно что на непонятном языке! Полагают, что это сербо-хорватский!

Венсан. Нервная депрессия!

Куфисель *(совершенно сраженный).* На сербо-хорватском... *(Внезапно взрываясь.)* На сербо-хорватском, черт возьми! *(В аппарат.)* Мадемуазель Вюрм, телеграфируйте немедленно в Чикаго и передайте им, что если они немедленно не пришлют кого-нибудь вправить мозги своему кибернетическому ублюдку, то я причиню им столько неприятностей, что им придется до конца своих дней производить только точилки для карандашей! Дальше! Созовите на шесть тридцать всех начальников отделов в зал заседания! Я еду! Все! *(Вешает трубку.)* Мартине, надевайте шляпу, пальто — и в путь.

Мартине *(ошеломленно).* Я?

Куфисель. Я сказал: всех начальников отделов!

Мартине *(растерявшись).* Но, мосье Куфисель, вы вчера мне сказали...

Куфисель. А сегодня я вам говорю: быстрей пошевеливайтесь!

Мартине *(придя в себя).* Хорошо, господин президент и генеральный директор!

Он бежит за своим пальто.

Куфисель *(кричит).* И захватите свой последний доклад о реорганизации отдела архивов!

Мартине *(благоговейно).* Он здесь! *(Тут же появляется снова, на ходу надевая пальто и потрясая своим докладом.)* Я сейчас вызову лифт. *(Торжествующе.)* Ну, теперь держись, СИКОМАТ!

Софи. Ну вот и вернулись добрые старые времена истинного Куфиселя! Твои каникулы уже кончились, великий человек?

Куфисель. Да! В конце концов я нахожу, что океаны не так уж заманчивы!

Софи. Жаль! Мне больше нравится представлять тебя на прекрасной, белоснежной яхте в южных морях с одной или двумя вакханками на коленях!

Венсан. Это было бы совсем другое дело, чем возиться с вычислительной машиной, мосье Куфисель!

Куфисель. Безусловно, это другое дело, мой мальчик, но лучше ли оно? Ни вы, ни я — мы никогда этого не узнаем! *(Некоторое время смотрит на них.)* Вы оба собираетесь сделать большую глупость, но если посмотреть, куда ведет мудрость... Попутного ветра... Извините, чао! *(Идет к двери.)*

Слышен шум поднимающегося лифта.

Г-жа Мартине. Чао, мосье Куфисель, и не забудьте выучить марсианский!

Куфисель. Я иду учить сербо-хорватский!

Выходит. Лифт останавливается на этаже и...

Занавес опускается.

Из монгольской народной поэзии

Перевод Н. ГРЕБНЕВА

Произведения фольклора собирают в Монголии не только специалисты, но и любители поэзии, которых в Монгольской Народной Республике очень много. Хорошие исполнители из народной среды пользуются такой же популярностью, как и артисты-профессионалы. Интересно, что в Улан-Баторе наряду с различными современными театрами существует и так называемый «Улгэрийн танхим» («Палата сказок»), где с большим успехом выступают перед многочисленной и благодарной аудиторией былинники и сказочники, певцы и музыканты. Публика с напряженным вниманием слушает сказания о доблестных баатарах, сражающихся с мангасами, мифическими чудовищами, мешающими людям жить мирно и счастливо, истории о чудесных приключениях различных сказочных персонажей, о проделках Балансэнгээ, монгольского Насреддина, и бадарчина (странника), об умных домашних животных и поведении диких зверей и т. п.

Монголы очень музыкальны, песни их привлекают чудесным сочетанием поэзии и музыки. Только не всегда это сочетание бывает вполне гармоничным, ибо нередко встречаются песни, в которых музыка играет главную роль. Чаще всего монголы поют про любовь и влюбленных, есть песни, обращенные к родителям, колыбельные, шуточные, сатирические, песни-раздумья, песни протеста и т. п. В партизанских отрядах Сухэ-Батора зародился в 1921 году жанр революционных песен.

В обычной обстановке, на самодельной эстраде или в «Улгэрийн танхим» исполняются как старые, так и новые песни, хотя деление песен на старые и новые не лишено известной условности.

Ниже публикуются произведения дореволюционного монгольского фольклора. Социальный гнет и одурманивающие проповеди лам не могли убить живую душу народа. Как и много веков назад, монголы пели про сокровенные чувства человека и про свои повседневные дела, складывали песни, в которых звучал голос протеста против социальной несправедливости, прославлялся героизм Торой-бандь, мстившего феодалам и богачам за народные обиды.

В самом конце подборки приводятся триады и катрены, весьма своеобразный вид народной афористической поэзии. Внимание создателей их привлекали и явления природы, и быт народа, и социальная жизнь. Порой в триадах и катренах дело ограничивается простой констатацией каких-то фактов, в некоторых из них содержатся обычные наставления, местами они сатиричны, причем объектом сатиры становятся эксплуататоры и угнетатели.

Г. МИХАЙЛОВ

Сийлен-бор

На столе курительный прибор,
Во дворе телега на колесах.
Если бы я знал, что Сийлен-бор
Заберут и самое не спросят.

На столе серебряный прибор,
У телеги дышло из сандала.
Будет пир на свадьбе Сийлен-бор,
Хоть она того и не желала.

Нет тумана над грядою гор,
Хоть покуда солнце не всходило,
Говорят, что завтра Сийлен-бор
Увезут из нашего аила.

Нет тумана над снегами гор,
Завтра будет ясная погода.
Говорят, что завтра Сийлен-бор
Увезут на свадьбу до восхода.

Серый конь послушен мой и скор,
Чем у всех, мое ружье не хуже.
Поскачу за милой Сийлен-бор,
Чтоб не мучилась с постылым мужем.

Полетит мой конь во весь опор,
Догоню я милую до ночи.
Буду защищать я Сийлен-бор
Ото всех, кто разлучить нас хочет.

Был скакун мне верен до сих пор,
Крепок круп его и быстры ноги.
Отобью, спасу я Сийлен-бор,
Поцелую прямо на дороге.

Белая чашка

Если трещина на белой чашке,
Что же, чая нам совсем не пить?
Если люди злы, законы тяжки,
Что же, нам друг друга не любить?

Если треснул край зеленой чашки,
Что же, нам от жажды помирать?
Если люди злы, законы тяжки,
Что же, нам с тобой чужими стать?

Если на посудине щербина,
Что же, нам теперь не есть, не пить?
Если злобен нрав у господина,
Что ж, нам на свиданья не ходить?

Не говори

Ты не аркань в горах коня лихого,
Ни пегого коня, ни вороного.
Пошлет судьба попутчика плохого,
Ты откровенно с ним не говори.

Ты не аркань в кустах коня лихого,
Коня ни вороного, ни гнедого.
Пошлет судьба попутчика дурного,
Ты откровенно с ним не говори.

Тростниковая дудка

Я играл на дудке в тишине,
Что она сломается — не думал,
Что теперь ты по моей вине
Будешь плакать, маяться — не думал.

Дудка эта всех была звучней,
Что ее переломлю, не думал.
Что с тобою, с милою моей,
Так жестоко поступлю, не думал.

В пестром шерстяном платке сейчас
Ты стоишь — не говоришь ни слова.
Не печалься, время лечит нас,
Все пройдет, полюбишь ты другого.

Торой-банди

Был со мною Торой-банди,
Щеголяла я в шелках,
Без тебя, мой Торой-банди,
Тряпки на моих плечах.

Принесу я передачу,
Сыр сломаешь пополам.
Я внутри напильник спрячу,
Что с ним делать, знаешь сам.

Убежишь ты из острога,
И удача ждет тебя.
Троп в горах и в поле много,
Стража не найдет тебя.

Страже ты не сдашься, Торой,
Убежишь ты от стрелка,
Потому что шаг твой скорый,
Тяжела твоя рука.

Не замерзнешь ты во вьюгах,
Страже не поймать тебя,
Хоть и в тридцати округах
Будут год искать тебя.

Конь саврасый

Конь саврасый всех резвей бывает,
Он длиною сто локтей бывает.
Ой, бывает, ой, бывает, ой, бывает!

Жеребенок в беге обтрясется,
Скоро превратится в иноходца,
В иноходца, в иноходца, иноходца.

Приручится конь твой годовалый,
Выйдет из него скакун бывалый.
Ой, бывалый, ой, бывалый, ой, бывалый.

Если каждый из двоих как злато,
Почему же не позвать им свата.
Звать им надо свата, надо свата.

Если врозь что злато молодые,
То они и вместе золотые.
Золотые, золотые, золотые.

Тофгутские кочевья

Над горами тучи стлались
Многорядные,
Мне кочевья открывались
Неоглядные.

Плыли тучи и деревьев
Чуть касались,
Мне высокими кочевья
Те казались.

По полю в закатном свете
Кони мчались.
Мне всю жизнь кочевья эти
Вспоминались.

Ловля кобылицы

Двадцатисаженную веревку
Размотаем мы и жиром смажем,
Ею мы в углу загона ловко
Сосунка недельного привяжем.

Необъезженный табун кнутами
Мы в загон загоним и сейчас же
Кобылице с полными сосками
Сосунка недельного покажем.

Сосунка увидит кобылица,
Ржаньем огласит луга и склоны,
Встряхивая гривою, помчится
К сосунку она на край загона.

Мы кобылу дикую приманим,
Необъезженную мы поймаем,
Мы ее арканом заарканим
И уздой ременною взнуздаем.

Мы кобылу дойную поймаем,
Станем мы доить ее, покуда
Белым молоком ее до края
Наша не наполнится посуда.

После дело сделаем святое:
Во вместительный бурдюк отвислый
Мы кобылье молоко густое
Выльем из посуды кипарисной.

Молоко мы перельем, и сразу
Вздувшийся бурдюк положим наземь,
И собьем сбивалкою из вяза,
И закваской доброю заквасим.

Знает наш народ кумысу цену.
Бедные, мы им одним богаты.
Будто бы напиток этот пенный
Не кобылье молоко, а злато.

Дума сладкая

Нынче, прилетев издалека
К нам усталая,
По воде плывет у островка
Утка малая.

Кружит, вьется ласточка вдали
Быстрокрылая.
Прилетела из чужой земли
Птица милая.

Старого фарфора у окна
Чашки синие,
Там диковинные письмена —
Точки, линии.

На моей ладони письмена,
Слово краткое.
Дума в слове том заключена,
Дума сладкая.

Сердце

Сдержать верблюда, если в степь он рвется,
Порой уздою крепкой удается.
А если сердце бьется, бьется, бьется,
Чем наше сердце можем мы сдержать?

При ветре юрту, что вот-вот сорвется,
Сдержать веревкой крепкой удается.
А сердце, что волнуется и бьется,
Чем можем мы смирить или сдержать?

Три из того, что бело

Млад человек — зубы белы.
Стар человек — кудри белы.
Отжил свой век — кости белы.

Три гордящихся

На кобылу севший — час гордится.
Упряжь заимевший — день гордится.
В дом жену приведший — год гордится.

Три из того, что позорно

Плохие псы чернят хозяйский двор.
Плохие седла — для коней позор.
Плохие жены — для мужей позор.

Три глупца

Один глупец твердит: «Мой конь резвей чужих коней».
Тот, кто глупей, кричит: «Моя жена других милей».
А третий хвалит сам себя, он тех двоих дурней.

Три из того, чего много

Чем хороших, больше плохих на земле.
Чем сердечных, более злых на земле.
Мертвых более, чем живых, на земле.

Три из того, что мило

Мил богачам купец, когда раскроет он корзины.
Собака бедняку мила, коль нет другой скотины.
А лизоблюдам мил ноен, пред кем сгибают спины.

Четыре обыкновения

Бродить то тише, то быстрей — в обычае оленей.
Дружить — в обычае людей всех сущих поколений.
Арбу тянуть, людей возить — в обычье лошадей.
Дарить добром, жалеть, любить — в обычае людей.

Четыре из того, что легко

Взлетает сено на ветру легко.
Сутяжникам и трудное легко.
Копыта резвых скакунов легки.
Легки во рту у женщин языки.

Критика

Н. ПАВЛОВА

ТЕАТР И ИСТОРИЯ

(Заметки о современной западногерманской драме)

На протяжении долгих лет своего развития драматургия ФРГ лишь поверхностно задевала потрясения в жизни нации, на которых сразу в значительной мере сосредоточились поэзия и проза. В течение целого десятилетия после образования двух немецких государств, когда уже были широко известны рассказы Борхерта, когда один за другим появлялись романы Бёля и Кёппена и выходили первые сборники политической лирики Энценсбергера, западногерманская драма занималась осмыслением фашистского прошлого — этим роковым вопросом, без решения которого немыслимо было движение вперед—в гораздо более узком, «камерном» плане. По определению Эрвина Пискатора, крупнейшего немецкого режиссера, работавшего последние годы жизни в ФРГ, западногерманские пьесы тех лет «новеллистичны»: их сюжеты замкнуты в пределах одной судьбы, одного события. Личные судьбы героев, обрывавшиеся в последние годы существования фашистского рейха, вытесняли из поля зрения авторов судьбу народа и неостановимое движение истории. Драма В. Борхерта «Там, за дверью» (1947) — единственная, в которой настойчиво ставились вопросы немецкого настоящего,— не имела подобий. Примечательно, что ни одна другая пьеса тех лет не получила не только международного, но и широкого внутреннего резонанса.

В нашей критике много писали о переломе, происшедшем в развитии западногерманской драматургии в начале 60-х годов. После удивительной индифферентности предыдущего десятилетия постановки пьес Хохгута, Кипхардта и других произвели впечатление эмоционального взрыва.

Все знаменитые пьесы этого времени — «Дубы и ангорские кролики» М. Вальзера (1962), «Наместник» Р. Хохгута (1963), «Судебное разбирательство» П. Вейса принесли с собой новое восприятие прошлого. Из социальных, политических, экономических, психологических характеристик фашизма в этой драматургии особенно подчеркиваются те, которые были актуальны для критического осмысления современности. «Наш Освенцим» — называет в это время свою статью Мартин Вальзер.

Драматургия начала 60-х годов придавала принципиальное значение документальности. Точно зафиксированные конкретные обстоятельства документ переводил на язык всеобщего. Он говорил не только о фашизме, но и об ответственности современного человека за судьбы своей страны. Западногерманская драматургия начала 60-х годов выразила, а отчасти и предвосхитила те идеи, которые вскоре стали достоянием демократического движения в стране — так называемой «внепарламентской оппозиции», сформировавшейся в борьбе против введения чрезвычайного законодательства, запрещения КПГ, против правительства Большой коалиции, официальной внешней и внутренней политики Бонна.

Своей высшей точки оппозиционное движение достигло в 1967—1969 гг.— в период наиболее напряженной борьбы против чрезвычайного законодательства и мощного забастовочного движения рабочих в Руре (осень 1969 г.).

В непосредственно предшествовавшие годы именно драматургия и театр, как будто кристаллизуя получившие вскоре актуальное звучание вопросы, впервые подходят к проблеме революции, которая, раскрываясь

на историческом материале, предлагается сознанию современника, примеривается к действительности Федеративной Республики (П. Вейс, пьеса о Марате, 1964; пьеса Т. Дорста «Толлер», 1968). Тогда же появляются пьесы, в которых реальность ФРГ как социально-экономическая система отрицается в целом (М. Вальзер, «Господин Кротт больше натуральной величины», 1962).

Бросая сегодня ретроспективный взгляд на западногерманскую драму 60-х годов, можно сказать, что ни одна пьеса этого времени не содержала в себе признания безусловной необходимости социального переворота. Революция была предметом шедшего на сцене спора, столкновения pro и contra в защиту или в отрицание ее исторического смысла.

Немного позднее, к концу 60-х годов, утвержденное, несмотря на борьбу общественности, чрезвычайное законодательство и формирование правительства Большой коалиции вызвали депрессию в широких демократических слоях. В новых пьесах драматургов 60-х годов революция приобретает все более нереальные черты. Что же касается П. Вейса, то он публикует свою искусственно сконструированную пьесу «Троцкий в изгнании», грубо искажающую правду о революции.

В драме «Герилья» (1970) Р. Хохгут распространяет идеи «партизанской войны» на современную действительность США. Социальный переворот, правда закончившийся в пьесе неудачей, ставится в зависимость от политической авантюры, предпринятой сочувствующим кубинской революции американским сенатором-миллионером.

Уже здесь, в пьесе одного из ведущих драматургов 60-х годов, косвенно и в далеко не органической форме выразились некоторые черты сознания «новых левых», отнюдь не отличающегося в целом большей зрелостью, но, несомненно, типичного для конца 60-х—начала 70-х годов. Это сознание нашло свое отражение и в новом качестве молодой западногерманской драматургии, часто именуемой в западной критике «новым реализмом», «натурализмом», «последокументальной драмой». Ни одно из этих названий не является прежде всего точным и не охватывает предмета, тем более что с самого начала стала заметна внутренняя неоднородность новой драматургии. Говоря в настоящей статье о «молодой» драматургии, мы имеем в виду возрастную общность писателей, пришедших в литературу в конце 60-х — начале 70-х годов, а не только эстетическую оценку их творчества.

В конце 60-х годов театральная статистика фиксирует постепенное падение популярности документального политического театра. Отлив публики (прежде всего молодежи) связывают обычно с трагическим событием, имевшим как будто бы локальное значение, но воспринятым левой интеллигенцией и особенно студентами как рубеж, отметивший новый этап общественных умонастроений. 2 июня 1967 года во время одной из первых массовых демонстраций протеста выстрелом полицейского был убит студент Бенно Онезорг. Эта демонстрация, пожалуй, впервые показала размах оппозиционного студенческого движения. Однако то же событие — прямое и трагическое столкновение студентов с полицией — было понято как конец целой эпохи в истории страны, прошедшей под знаком «расчета с прошлым». Новые конфликты современности были настолько животрепещущи, что требовали своего непосредственного отражения в искусстве.

Не имеющим непосредственного отношения к драматургии, но, безусловно, показательным и для ее дальнейших путей был характерный факт из недавней истории западногерманского театра: в дни, непосредственно предшествовавшие утверждению чрезвычайного законодательства, актеры прерывали спектакли, обращаясь к зрительному залу с призывом поддержать акции протеста. Действительность вытесняла «выдумку».

Как это характерно для сознания «новых левых» во многих странах, «молодая» западногерманская драматургия начинала прежде всего с крайне настороженного отношения ко всякой, в том числе оппозиционной, культуре на том основании, что вплоть до последних лет она неизбежно и довольно безболезненно усваивается господствующей политической системой.

Новое поколение западногерманских драматургов — М. Шперр, П. Хандке, Й. Цим, В. Бауэр, Р. В. Фасбиндер, Б. Брок, В. Дейксель, Ф. К. Крёц — начинало с отрицания. Нет — традиционному «музейному» театру; нет — «классику» Брехту; нет — западногерманской политической документальной драматургии. Документ признавался «молодыми» только как точная информация о современности; в таком виде он использовался многочисленными уличными театральными труппами, организовавшимися к середине 60-х годов и считавшими себя продуктом студенческого движения.

На самом деле эта драматургия имела, конечно, аналогии и опору в прошлом (от натурализма 70—80-х годов XIX в. и авангарда начала 20-х годов до агитпропа и творчества Брехта, воспринимавшегося «молодыми» по частям — то в одном, то в другом его аспекте). Особенность нового отношения к театру прошлого и настоящего состояла, однако, в том, что связи с ним, за немногими исключениями, не осознавались: декларировалась необходимость перестройки всего театрального организма, и прежде всего драматургии.

Главной была «проблема рампы» — непреступимой границы, намертво отделявшей, по мнению «молодых», путаную сложность и прозу современной жизни от искусственной ясности, цельности, значительности происходящего на сцене. «Где можно увидеть в театре,— читаем в одном из критических выступлений на страницах журнала «Театер хойте»,— мою жизнь как съемщика квартиры, служащего, пассажира метро, лаборанта, человека, ушедшего в отпуск?... Социологи предоставили бы лучший материал». Ложью по отношению к жизни казалось неостановимое развитие фабулы в

«традиционной» пьесе и постепенно нараставшее от сцены к сцене напряжение. Ложью — то зерно истины, которое неизменно «прорастало» из заботливо возделанной «почвы» пьесы. Искусственным казался язык героев — не расплывчатый и неопределенный, как в повседневных разговорах, а выливавшийся в моменты наивысшего подъема в кристально отточенные формулы (те самые, о которых, как писал драматург Йохен Цим, на уроках литературы учитель говорит своим подопечным: смотрите, здесь как в капле воды отразилась главная идея произведения). Этим драматургам не нравилась значительность каждого предмета на сцене (непременно стреляющее ружье) и особенно значительность поступка, разительно не совпадающая с повторяющейся изо дня в день обыденностью. Неестественным казался, наконец, герой, говоривший в пьесе не только от себя, но и представлявший социальный тип или идею, концепцию автора. Отвергалась отнюдь не только «традиционная» драматургия: недоверие вызывала сама возможность цельной концепции жизни, ставившая писателя в положение демиурга по отношению к созданной им «модели мира» («Никакой картины мира!» — озаглавлен раздел из уже цитировавшейся статьи Цима); раздражал указующий перст автора, разъясняющего зрителю смысл пьесы, а вместе с тем смысл человеческой истории и т. д.

Эстетика «молодой» драматургии разительным образом перекликалась с идеями западногерманского студенческого движения тех же лет, отклонявшего как ложь и догму какую бы то ни было четкую политическую программу движения, бескомпромиссного в отрицании и часто беспомощного в поисках неслучайных и весомых духовных идеалов.

В 1966 г. на страницах театральной прессы впервые появляется имя Петера Хандке (род. в Австрии в 1942). Серьезная критика считала его успех преходящим. Премьера одной из самых показательных его пьес «Каспар» воспринимается демократической прессой еще в 1968 г.— момент наивысшей активности внепарламентской оппозиции — как несоответствующая духу времени и реакционная. Однако в том же сезоне 1968—1969 г. пьесы Хандке занимают (как свидетельствуют сводные таблицы прошедших за год спектаклей) лидирующее положение среди поставленных на сцене произведений современных немецкоязычных драматургов (29%). В этот и следующие годы именно Хандке, а за ним и вся плеяда «молодых» определяют движение современной западногерманской драмы. Так же как внешний облик Хандке — длинные, остриженные «под горшок» волосы, брюки-клеш, пестрые рубашки — соответствует некоторому внешнему стереотипу молодого парня конца 60-х — начала 70-х годов, стереотипу, распространившемуся по всему миру, так и выраженное им с несомненной талантливостью мироощущение — бунт без надежды на успех, экстремизм, анархическая жажда разрушения при подозрительности к каким бы то ни было общественным концепциям и программам — концентрирует исходные умонастроения западногерманской молодежи. «Молодая» драма обычно не описывает реалий студенческого движения — многотысячных демонстраций против агрессии США во Вьетнаме, против чрезвычайного законодательства и правительства Большой коалиции, против издательского концерна Шпрингера и реакционной системы образования; она не касается увлечения молодежи партизанской войной и Че Геварой; не рассматривает странной смеси из плохо усвоенного марксизма вперемежку с маоизмом, троцкизмом, фрейдизмом и концепциями новейших идеологов от Ч. Райха до Г. Маркузе. Драматургия фиксирует, не вдаваясь в анализ, социально-психологическое состояние своих сверстников, создающее предпосылки для таких увлечений. Хандке написал ряд разговорных пьес (Sprechstücke) — от театра в них не осталось ничего, кроме слова. Актеры на сцене (их нельзя считать персонажами) говорят, обращаясь в зрительный зал. Здесь нет ни иллюзии реальности происходящего на сцене, ни ее намеренного (со значением) разрушения. Так же как в трех опубликованных им до сих пор романах, Хандке передает в своих пьесах ощущение поколения, которому предоставили жизнь как раз навсегда утвержденное, как заезженную колею, не дав прикоснуться к ее первозданному смыслу. Пьесы Хандке — это театр, разлагающий жизнь на простейшие понятия и эту формализованную жизнь ниспровергающий. В отрывке «Самообвинение» (слово «пьеса» кажется здесь не совсем законным) актер и актриса «проговаривают» историю человека с момента его рождения. Какого человека? Ответ Хандке: любого, всякого. Перечисляются формулы жизни без их реального наполнения. Прочная сетка предписанного накладывается на человеческую судьбу. Для воплощения такой судьбы не надо фабулы, конфликтов, образов — для нее довольно словесных стереотипов: «Я стал совершеннолетним. Я стал способным действовать. Я стал способным заключать сделки. Я стал способным сказать свое последнее слово... С определенного момента я стал способен грешить. С другого момента я стал подлежать судебной ответственности. Я появился на свет. Я стал за что-то отвечать. Я стал в чем-то виноват... Я шел. Я шел бесцельно. Я шел, сознавая свою цель. Я шел по дорогам, ходить по которым запрещено. Я не ходил по дорогам, ходить по которым запрещено... Я ел... Я усваивал еду и питье... Я не вырывал зло с корнем»...

В пьесе «Каспар» слово дополняется игрой и зрелищно эффектной пантомимой. Пьеса, использующая реальную историю выросшего без соприкосновения с людьми «дикого» человека Каспара Гаузера, но лишенная какого бы то ни было сюжета, сосредоточена на мучительном процессе вхождения в язык, который позволяет аутсайдеру стать «как все» и подобно «всем» обозначить словами

(то есть «упорядочить») мир. Но слова, понятия, истины, правила, силлогизмы, заключения и штампы оказываются ловушкой, в которой человек теряет себя и жизнь. В ярком клоунском костюме, в смешной круглой шляпе и в маске, фиксирующей выражение застывшего удивления, Каспар движется по сцене, ощупывает предметы, как будто пробуя каждый жест и шаг, как пробует слова и развернутые с бесконечной изобретательностью ряды словесных конструкций. «Порядок предметов создает все предпосылки для счастья»,— сначала неуверенно повторяет Каспар. И дальше: «Маленькое, да мое», «у дверей — две створки, у правды — две стороны»; «все, что горит,— всегда лишь настольная лампа; все, что сопротивляется,— всего лишь упавшая метла». Каспары на сцене множатся, их уже четверо, пятеро. Хором скандируются «истины» («Все в порядке уже потому, что я говорю: все в порядке»), каждая из которых вызывает у вас порыв к яростному опровержению. «Клячи и обезьяны, клячи и обезьяны»,— с ненавистью бросает в зрительный зал свои последние слова Каспар.

В «Каспаре» героя калечит язык, впитавший чужое омертвевшее мышление, так же как — в более потаенном своем слое — штампы широко усвоенной идеологии. По указанию автора, над сценой должен быть вмонтирован зеленый глазок, обозначающий меняющейся силой своего свечения разную силу давления языка на человека.

Такое же внимание к функции языка в жизни современного «среднего человека» отмечает всю «молодую» драму.

Новой особенностью множества пьес последних лет стал чрезвычайный интерес к бытовой обиходной речи и даже диалекту. На диалектах с их различными местными оттенками пишут В. Дейксель, Ф. К. Крёц и др. Вкрапления диалекта и жаргона встречаются почти в каждой пьесе. Здесь проявляется все то же стремление прорваться к обыденным первоосновам жизни — показать «квартиросъемщика» и «человека, ушедшего в отпуск», без каких бы то ни было «театральных прикрас», ближайшим примером которых могла показаться теперь та ритмизованная проза, которой писал свои несущие «общий смысл» пьесы Рольф Хохгут. Стремясь приблизиться к деидеологизированной повседневности, целая ветвь «молодой» драматургии в отличие от Хандке стала исходить из напряженного внимания к быту. В театре утверждалась новая разновидность натурализма. На подмостках стали появляться персонажи, как будто положившие себе ничем не выделяться из своей среды. Язык, бесчисленные идиомы современной обиходной речи, с таким чутьем зафиксированные Хандке, должны были при этом стать своего рода регулятором, помогающим автору строго держаться жизнеподобия в фабуле, конфликтах, поведении персонажей на сцене. Разговорный язык, тяготеющий к застывшим стереотипам и в то же время аморфный, неизбежно должен был повлиять и на характер сценического действия. «Развитие действия не соответствует больше прямой линии,— пишет, например, драматург Йохен Цим (род. в 1932).—Оно образует выпуклости и вогнутости, совершенно бесцельно раздувается в одном месте, еле тянется там, где разговор затухает». Пьесы самого Цима («Приглашение», 1967 г., «Примирение», 1971) — художественно невыразительны. Но вот, например, серия небольших сценических отрывков Вольфганга Дейкселя (род. в 1939) «Оставить все как есть» (1971). В квартиру двух одиноких стариков приходит монтер, сын давнего знакомого, чтобы сменить испортившийся штепсель. Весь диалог состоит из повторяемых по забывчивости общих мест («какой стал большой!», «как здоровье отца»), ужаса по поводу замены привычного старого штепселя на неизвестный новый, озабоченных выспрашиваний о цене и длинных пауз. Момент наивысшего напряжения: новый штепсель, как оказалось, не подходит к старой розетке. Еще одна сценка — старуха поднимается в квартиру соседки, чтобы в кои-то веки поговорить по телефону с живущей в Соединенных Штатах дочерью. Напряженность, беспокойство, неспособность овладеть разбегающимися мыслями приводят к тому, что разговор сводится к бессмысленным фразам, которые произносит взявшая трубку соседка. Старуха панически следит по будильнику за истекающими минутами.

Хотя все это, очевидно, может напомнить нарочитую некоммуникабельность людей в «театре абсурда», степень правдоподобия здесь такова, что не остается сомнений в точном соответствии написанного жизни. Дейксель показывает людей, каких, очевидно, немало, но они почти незаметны из-за неподвижности, инертности, «глухоты» своего существования.

В небольшой пьесе Франца Ксавера Крёца (род. в 1946) «Скотный двор» (1971) сходная тема решена на деревенском материале. Та же глухая, замкнутая в себе жизнь. Столь же тривиальные происшествия, правда влияющие на судьбы людей. Сюжет укладывается в несколько слов: поденщик соблазняет несовершеннолетнюю дочь крестьянина и уходит затем в город. Эта нехитрая история должна обнажить жестокость нравов, потенциальную агрессивность, проявляющуюся не только в отношениях работника и хозяина, но также и в отношениях подчиненных людей друг к другу. «Малосодержательная», как и в случае Дейкселя, фабула позволяет фиксировать с одинаковой дотошностью как обязательные, так и вовсе не нужные для развития действия детали, тягучую гущу быта, с удивительной достоверностью передавая сосредоточенность людей на самих себе, разрыв связей, всеобщее одичание, ставшее заурядным и не привлекающее к себе особого внимания.

Звучащая со сцены необработанная, сырая, с недоговоренностями и запинаниями речь не только служит портретной выразительности персонажей, но и отражает определенную черту их сознания — затрудненность мышления, его тугую неповоротливость и связанную с этим «безъязыкость». Напряженное несоответствие между тем, что говорят герои, и тем, что они, по-види-

мому, чувствуют, ощущается в этих пьесах растянувшейся на все время действия катастрофой, как когда-то в драмах необычайно популярного теперь в ФРГ выдающегося австрийского драматурга Хорвата (1901—1938).

Об интересе к Эдону Хорвату писали в последнее время многие драматурги. Если Брехт, также постоянно находящийся в орбите внимания, привлекал своим умением показать привычную жизнь как нечто неестественное и недостойное, то у Хорвата «молодым» близко его стремление воссоздать на сцене жизнь в ее неупорядоченном или, как выражался Хандке, «нестилизованном» виде. По сравнению с брехтовской параболой, всегда выносившей на суд зрителей четкое суждение о действительности, по сравнению с документальной драмой, где реальный, точно зафиксированный в пространстве и времени факт поднят до значения общезначимого, драматургия Хорвата представлялась многим драматургам 70-х годов наиболее полно передающей запутанную сложность и ничем не примечательную банальность жизни. Отказ от выверенной замкнутости целого, от постоянно ощутимого в пьесе костяка концепции повышал, как казалось теперь, степень присутствия действительности на сцене. От Хорвата в этой драматургии намеренная простота сюжета, от Хорвата — тривиальность ситуаций и героев, как будто взятых из самой «середины», неподвижной и потому не поддающейся толкованиям. От Хорвата — интерес к стихии языка, не столько приоткрывающего, сколько скрывающего истинное состояние не способного к самостоятельному мышлению человека.

Всем сегодняшним западногерманским драматургам, несмотря на различное направление их творчества, свойственно это стремление показать или хотя бы намекнуть на существование не открывающегося в языке «внутреннего» человека, человека в человеке. Самое наглядное воплощение это стремление нашло на подмостках сцены. Не только в случае «молодой драмы», но и в постановках модернизированной классики, играющих заметную роль в кристаллизации стиля и «идеологии» нового театра (режиссеры П. Штейн, П. Цадек и др.), на сцене стало все чаще и чаще появляться обнаженное тело актера. Во многих экспериментальных спектаклях это имело причины более глубокие, чем погоня за сенсацией и коммерческим успехом.

На страницах ведущего театрального журнала «Театер хойте» прошла целая дискуссия о «голом театре». В статье известного польского режиссера Ежи Гротовского, осуществившего свои постановки в ряде европейских стран, нагота защищалась со ссылкой на современное молодежное движение как попытка отбросить все искусственное, стандартное, внешнее, как прием с гораздо более «идейными» целями, чем простое обнажение кожи («Нагота на театре — нравственно или непристойно?». 1971).

Как и у босоногих хиппи с их еле прикрытыми телами, обнажение стало вызывающим протестом против лжи общепризнанного социального порядка в защиту «просто человека». Хотели утвердить не столько обнаженность тела, сколько обнаженность души. Совершенно очевидно, что западногерманский театр далеко не одинок в этих своих экспериментах. Он повторяет «мятежные экстазы» американского «Ливинг тиэтр» и более ранние опыты английского «театра жестокостей». И как и в английской современной драматургии (Пинтер, Бонд, Радкин), не сходящей со сцен западногерманских театров, границы недозволенного все дальше отодвигаются уже в самой пьесе.

Служит все это разным целям. В пьесе Вольфганга Бауэра (род. в 1941) с английским названием «Change» («Поменяемся!»), 1969 г. (англицизмы—тоже принадлежность сегодняшнего городского жаргона), актриса раздевается на сцене, собираясь позировать художнику. Однако дело заходит гораздо дальше. Каскад самых откровенных сцен придает действию почти неправдоподобный, шутовской и вызывающий характер. С театральных подмостков демонстрируют освобождение инстинктов. Человек представлен не только как задавленное социальными отношениями, но прежде всего как асоциальное существо.

Но и в совершенно иной по тональности пьесе Крёца на сцене насилуют и испражняются. Подобное в столь же несмягченном варианте случается и в пьесах Мартина Шперра, наиболее заметных по глубине и социальной значительности. Здесь это подано с бесстрастностью и мрачной неторопливостью, за которой угадывается серьезное намерение показать «все как есть». (Как говорится в пьесе молодого драматурга Эгона Менца: «Всего, что есть на свете, большинство не знает. Но это по крайней мере я видел»).

Как и студенческое движение в Западной Германии, «молодая» драма придает, по всей очевидности, огромное значение «сексуальной революции». Больше того: в отличие от студенческого движения она почти забывает при этом о революции социальной. Как справедливо отмечено в примечательных тезисах о влиянии политики на эстетику современного западногерманского театра, опубликованных коллективом одной из бродячих театральных трупп: «Люди, вышедшие сегодня в Западной Германии на демонстрацию протеста, вряд ли могут думать всерьез, что они совершают революцию». Демократическая «внепарламентская оппозиция» и бунтующие студенты, несомненно, сыграли свою роль в тех сдвигах к реалистической внешней и внутренней политике, которую проводит сегодня по многим вопросам правительство Вилли Брандта. Однако если мерить деятельность молодежи масштабами больших всенародных движений, то придется констатировать, что ее активность, безусловно, оставалась активностью вне истории.

Насколько трагически смехотворными и политически вредными могли стать наивные

поползновения рассматривать сегодняшнюю Западную Германию как арену подпольной партизанской революционной войны, недавно продемонстрировала освещенная нашей прессой судьба немногочисленной группы Баадер-Майнхоф, ушедшей в подполье и начавшей борьбу против капитализма с ограбления банков и захвата заложников.

В условиях ФРГ оппозиционность молодежи в значительной мере неизбежно замирала в самой себе, распылялась впустую. Оппозиционность и бунтарство часто превращались в попытку самоутверждения во что бы то ни стало, в том числе и слишком доступными путями асоциального бунта, например, против буржуазной (и всякой вообще) культуры, путем умозрительного выключения личности из идущего несмотря ни на что исторического процесса. «Как сладостно быть революционером»,— пишет драматург П. Хандке в полном созвучии с настроениями множества своих сверстников.

Для большинства молодых западногерманских драматургов просторы истории почти всегда остаются где-то за пределами пьесы. Время не имеет настоящего и прошлого: оно ограничено одной точкой — здесь, сейчас и сегодня. В отмеренной действию кубатуре все двери закрыты: давит духота замкнутого пространства. Жизнь неуправляема и запутанна. Поступок имеет короткие следствия. Он отзывается только на ближайших окружающих и на самом человеке.

Во многих недавно появившихся пьесах герои в каком-то исступлении тратят немногие оставшиеся в их распоряжении ресурсы. Они неистовствуют, выворачивают наизнанку свою и чужую жизнь, пытаясь самым примитивным способом «показать себя». В пьесе В. Бауэра «Change» сюжет сводится к постоянной смене сексуальных партнеров. Процесс оказывается далеко не безобидным: на сцене стреляют, калечат, умирают, кончают с собой. В характерной пьесе Рейнера В. Фасбиндера (род. в 1946) «Бременская свобода» (1970) переосмысляется история известной преступницы XIX века, сумевшей отправить на тот свет пятнадцать человек и сохранить при этом личину благопристойности. Автора интересует не столько несоответствие видимого благообразия и скрывающегося за ним преступления, сколько частичное оправдание преступления и, во всяком случае, понимание приведшей к нему логики: без насилия для женщины оказывается невозможен путь к свободе от ненавистного брака, семьи и т. д. Напротив: совершая насилие, вы уже тем самым завоевываете свободу. (Вспомним лозунг 1968 г.: «Революция — это насилие!» — простой рецепт, выдающий маоистские увлечения в среде молодежи.)

В пьесах «молодых» драматургов перед нами усеченный человек, являющийся двойной жертвой — жертвой социальных обстоятельств и собственных инстинктов, человек, возвращенный к тому состоянию коллективно-бессознательного, о котором как об искомом идеале писал популярный среди молодежи канадский профессор Маклюэн.

В какой-то мере этот образ — фикция, ибо он был проекцией на всю действительность глубокой социальной разочарованности молодых. Однако одновременно он же фиксировал немаловажные черты современной ФРГ — механистичность жизни, «немоту» и «отчуждение» человека.

Художественная значительность этой драматургии во многом зависела от того, как интерпретировалась и оценивалась ее авторами рассмотренная ими реальность.

В последних пьесах Петера Хандке уже неощутим тот социальный подтекст, который все же невольно воспринимался читателем или зрителем, следившим за оглушающими ударами чужих слов и афоризмов, сыпавшихся на беззащитного Каспара. В пьесе «Поездка верхом по Боденскому озеру» (1971) опасность слов, сейчас же заводящих персонажей в искусственные ситуации, рассматривается как нечто настолько абсолютное и всегдашнее, что исключается возможность серьезного к ним отношения. Слова опасны независимо от того, кто говорит их человеку и какие это слова. Как замечает писатель старшего поколения Мартин Вальзер, критикуя асоциальность Хандке, герои последнего охотнее всего остались бы наедине сами с собой, то есть превратились бы в немых. Положительных возможностей для человеческого единения Хандке не видит. Его пьеса становится игрой в словесные стереотипы, в бездумное манипулирование «данностями жизни».

П. Хандке, В. Бауэр, Р. В. Фасбиндер пишут в последующие годы пьесы, плоские, как монета. Они лишь фиксируют явление, не пытаясь пробиться к его первооснове. Игра Хандке со словесными конструкциями находит полную аналогию в игре, которая происходит в пьесах В. Бауэра или Фасбиндера со стереотипными ситуациями. В пьесе В. Бауэра «Кино и женщина» (1971) затронут больной вопрос о неспособности множества современников к полноценной жизни: чтобы заполнить пустоту, им нужны искусственные заменители, переживания, заимствованные со стороны, из вторых рук — например, с экранов кино Но проблема, имеющая глубокие корни, демонстрируется здесь просто как доведенная до абсурда ситуация (пара, оставшаяся дома после того, как остальные отправились в кино, начинает воспроизводить все предполагаемые брутально-сексуальные перипетии фильма).

Звуки жизни (в том числе слова), ее шаблоны и трафареты — вот те бессодержательные элементы, из которых складывается для многих «молодых» существование. Недавно Хандке написал радиопьесу, которая состоит из одних шумов (звук при падении пальто на кровать; звук при падении пальто на мраморную доску — и т. д. в бесчисленных вариантах). «Молодая» драматургия соприкоснулась здесь с конкретной литературой, считающей одним из своих главных средств (и одновременно целей) звукопись. Образец чисто конкретной пьесы — «Пространственно-сценическое стихотворение для осветителей и шумовиков» Эрнста Яндля. Текста нет. Его заменяют ремарки, указывающие на изменение освещения и звуков. Бацон

Брок (род. в 1936), один из практиков и теоретиков «ненормативных форм» в искусстве, написал не менее конкретное произведение — «шоу» «Театр позиции» (1966), где уже начиная с фойе стремится заставить зрителей заново воспринять окружающий их «товарный мир». Делается это посредством демонстрации предметов широкого потребления в самых непривычных шокирующих сочетаниях, напоминающих о коллажах 20-х годов. В самом шоу демонстрируются более или менее значительные модели человеческого поведения: состояние паники, состояние беспричинно наступающего успокоения, любовный акт, драка и т. д. Цель автора не в отрицании, а во вживании в действительность, не в устранении, а в активном ее усвоении. «Театр Брока,— отмечала критика,— знает лишь радость согласия»[1].

Копирование поверхностей жизни, ее устоявшихся шаблонов привело «молодую» драматургию к формализму, лишив ее содержания. Драма в значительной мере повторила здесь судьбу романа из так называемой «кельнской школы реализма». Декларации о новой степени точности, о прорыве литературы к действительности остались неосуществленными.

Однако «молодая» драматургия дала в последние годы и иные варианты отношения к действительности.

Наиболее значительное ее достижение, безусловный положительный баланс — творчество М. Шперра, а также пьесы Г. Хенкеля, Г. Рейнсхаген, Г. Келлинга, связанные множеством нитей с уже упоминавшимися бытовыми сценами Дейкселя и Крёца. Тот же интерес к заурядной повседневности, рассмотренной с торжественной неторопливостью как нечто очень значительное. То же внимание к людям, ущемленным социальными обстоятельствами, а часто и неподвластной им игрой собственных темных страстей. Наконец то же явное намерение заставить задуматься над показанным на сцене. В отличие от бытовых зарисовок Крёца и Дейкселя, в пьесах Шперра, Хенкеля, Рейнсхаген гораздо заметнее, однако, широта замысла — та самая концептуальность, против которой часто с таким азартом протестовали «молодые».

От точно зафиксированного быта (вспомним еще раз декларации об отражении на сцене самой непримечательной повседневности) драматургия поднимается заново на основе еще раз и с самых азов просмотренной жизни к выводам о взаимодействии человека и истории. Бытовые сцены перестают быть точно выписанными, но замкнутыми в себе картинками. Они вырастают до значения социальной модели.

Один из самых талантливых молодых драматургов ФРГ Мартин Шперр (род. в 1944)— автор трилогии «Из баварской жизни». Уже само обращение к крупной форме говорит о намерении показать повседневность в ее соприкосновении с общим ходом истории. Сознание заурядного обывателя — его неразвитость и связанная с этим «немота», о которой писали и Крёц, и Дейксель, а кроме того звериный эгоизм собственничества, ненависть ко всему выходящему из ряда, выбивающемуся, не своему (как здесь не вспомнить мироощущение бунтующей молодежи, воспринимающей действительность как нескончаемый ряд предписанных жизнеустановлений и правил), поданы здесь как явление исторически значимое, небезразличное для судеб страны.

Время действия в объединенных в трилогию пьесах Шперра — 1949—1958 и 1969 годы. Меняется уровень материальной жизни в стране. Меняются герои и место действия в пьесах Шперра. Из нижнебаварской деревни оно переносится затем в столицу Баварии Мюнхен, а главными в списке действующих лиц оказываются бунтующие студенты. Но устремленность трилогии едина.

Первая пьеса — «Охотничьи сцены из Нижней Баварии» (1966). Охота ведется на человека. Хотя война уже четыре года как кончилась, почти ничего не изменилось. Как говорит крестьянский мальчик в пьесе: «Я знаю, что уже мир, но что же такое с людьми!» Баварские крестьяне в пьесе обсуждают свои дела, молятся, женятся, хоронят, занимаются любовью. Но вся их ничем не примечательная жизнь пронизана стихией темного себялюбия. Каждый урывает что-то себе. Ненависть обрушивается на «чужих», «не таких, как мы» — будь то переселенцы с восточных земель, не совсем нормальный мальчик, которого сживает со света собственная мать, или гомосексуалист. Все это лишь грубые проявления того, что таится в душах людей и в любой момент может по иным — политическим — поводам вырваться наружу. Пьеса написана, в сущности, о профашистском сознании — о той почве, на которой в других исторических обстоятельствах легко прорастает фашизм.

Вторая пьеса — «Ланшутские рассказы» (1967). Сюжет напоминает классическую историю Ромео и Джульетты. Враждуют главы двух строительных фирм на селе, но дети любят друг друга — и все кончается браком и объединением фирм в одну. Однако Шперр лишает эту историю всякой идилличности. Со злой достоверностью (и здесь тоже не только «совершают поступки», но моют на сцене ноги, едят, ложатся в постель) он показывает, как душат друг друга две фирмы, как отец не дает сыну жениться на дочери конкурента (еврейке по матери), как сын невзначай убивает отца и как устраивается пир на костях. Короткие, быстро чередующиеся сцены со скупым, затрудненным диалогом написаны с какой-то последней степенью неприятельности и простоты. Здесь нет «хитростей». В пьесе перед нами люди, послушные заведенному ходу существования и в то же время страшные, как только дело касается их интересов. Неслучайно в сценах, дотошно воспроизводящих западногерманскую провинцию середины нашего века, ощущается порой какая-то неуместная монументальность: люди добиваются собственной выгоды с той же абсо-

[1] "Theater heute" N 7, 1966, S. 11.

Н. ПАВЛОВА
ТЕАТР И ИСТОРИЯ

лютной одержимостью, как когда-то боролись за престол герои шекспировских трагедий.

Но и в написанной о действительности 60-х годов последней части трилогии «Мюнхенская свобода» (1971) как некая грозная константа опять обнаруживается зафиксированное на том же бытовом уровне озверение человека (жена не задумываясь способствует смерти мужа, если он мешает ее жизни с любовником,— это в личных отношениях; владелица пивоваренного завода подкупом добивается сноса целого городского квартала, чтобы занять его нужными ей постройками,— это в деловой, хозяйственной сфере). Даже молодежное движение (пьеса Шперра — редкий в этой драматургии случай его непосредственного изображения) оценено автором с точки зрения все той же главной для него проблемы: в бунте молодежи, сосредоточенной на собственной неудовлетворенности, он не видит духовного бескорыстия, дальних целей, способности глубоких контактов с массой людей и их интересами. (Борьба молодежи против сноса жилого квартала в пьесе Шперра — скорее повод для шумных эксцессов.)

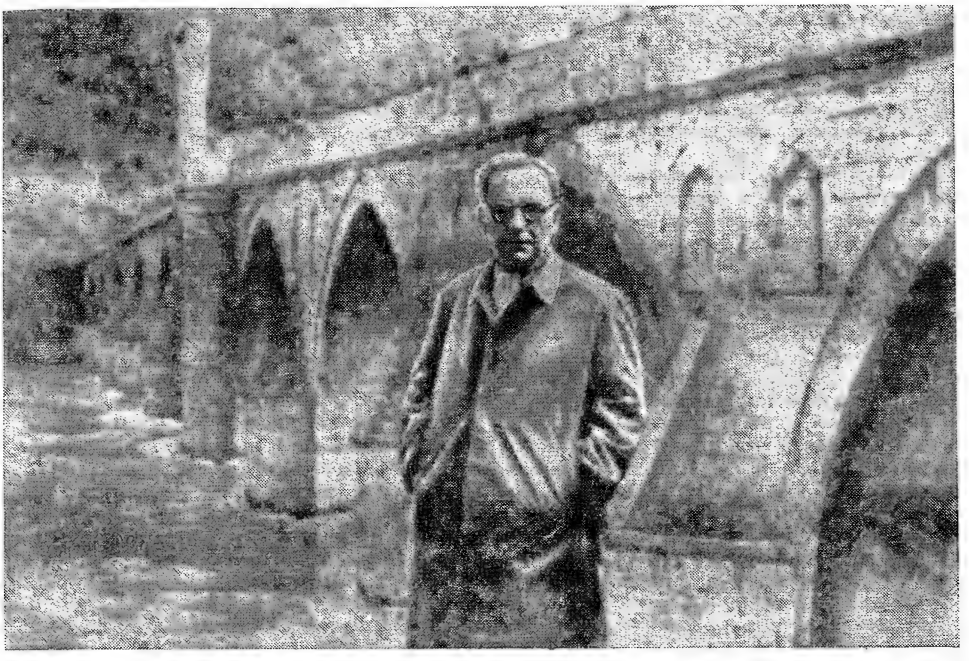
В пьесах Мартина Шперра общий смысл вытекает из видимого и обозримого, но имеющего глубоко уходящие корни и далеко в будущее простирающиеся последствия. Он против какой бы то ни было мистификации социальной «среды»: умонастроения людей могут быть объяснены, а следовательно, поддаются изменению. Шперр пишет резко, грубо, с большим нажимом подчеркивая свой замысел (школа философской, политической пьесы Брехта не прошла даром). Пьесы молодого драматурга — новая возможность и по сравнению с интеллектуальной параболой и по сравнению с документальным театром. Концепции Шперра сверены с «бытом». Он действительно открыл двери на сцену для «обыденной жизни».

С той же бытовой достоверностью решается в пьесах ряда «молодых» драматургов тема рабочего класса. Пьесы молодых авторов, написанные для профессионалов, часто дополняют здесь выступления уличного театра, продолжающего традиции революционного массового театра 20-х годов. Начиная с середины прошлого десятилетия, многочисленные труппы показывали по городам и селам Западной Германии обозрения и сценки, посвященные важнейшим событиям политической жизни страны — борьбе с чрезвычайным законодательством (Михаэль Харти, «Репетиция чрезвычайного положения», 1968), «дикой забастовке» рабочих 1969 года, прошедшей на многих предприятиях ФРГ вопреки профсоюзам (Й. Бюхсер, «Событие 1969 года»), волнениям рабочих Рура. Во время выборной кампании 1970 г. многие бродячие театральные коллективы агитировали за ГКП; со сцены цитировались партийные документы, излагалась необходимая информация.

Профессиональные драматурги показывают современного рабочего с другой стороны — в его будничной ситуации, в каждодневной (не всегда осознанной) неудовлетворенности своим положением, жизнью, трудом. Там, где агитационный уличный театр нетерпеливо спешит, порой выдвигая политические лозунги, не соответствующие положению в стране, пьесы профессиональных драматургов о рабочих чрезвычайно достоверны, и в этом их несомненная сила. Именно эта достоверность заставляет следить с неослабевающим интересом за лишенным драматического напряжения действием.

В 1970 г. по многим театрам ФРГ прошла пьеса Генриха Хенкеля (род. в 1937) «Чистильщики железа». Перед зрителями — двое рабочих, занятых окраской больших металлических труб (в постановках они обычно занимали все пространство сцены). Попутно обсуждаются каждодневные дела, вчерашняя телепередача, заработки. В конце пьесы пожилой рабочий, уверенно рассуждавший о соблюдении норм по охране труда, падает мертвым, отравленный красителями. В пьесе Герлинд Рейнсхаген «Доппелькопф» (1968) показан официальный майский праздник на предприятии с его пошлостью, ложью и скукой. На этом фоне разворачивается стремительная карьера двурушника, ставшего между правлением завода и рабочими. Подобно всем произведениям «молодой» драматургии о рабочих, пьеса позволяет многое узнать о сегодняшнем положении трудящихся в ФРГ, хотя в ней не происходит никаких хоть сколько-нибудь выделяющихся из обычного ряда событий. (В последней пьесе Хенкеля «Обеденный перерыв», 1971, вообще ничего не случается: все время занято неторопливой беседой людей, обсуждающих за едой свои дела.) Так, на этом, никак не выделенном из повседневности, уровне Г. Рейнсхаген поднимает обращенный к каждому вопрос — о выборе места в столкновениях между предпринимателями и рабочими. Как и в пьесах Г. Келлинга о предательстве профсоюзов («Столкновение», 1971), здесь ставится все та же важная для этой драматургии проблема о необходимости прервать «молчание» и насущности самостоятельного общественного мышления. Она отнесена на сей раз к рабочим и к задаче борьбы за свои права.

Путь, пройденный «молодой» драматургией ФРГ, не насчитывает и десятилетия. За этот срок определились принципиальные расхождения внутри нее. В творчестве Шперра, так же как в отрывках Крёца и Дейкселя, в пьесах Келлинга, Хенкеля, Рейнсхаген, она перестала быть только актом бурного самовыражения. Лихорадочное возбуждение улеглось. Драматурги стали пристально вглядываться в сегодняшнюю действительность, определеннее оценивать ее. В ряде случаев это привело к несомненным удачам. Драматургия стала ближе к жизни, она не уходит от задачи осветить не всегда заметные связи частного существования с историей.



ИВО АНДРИЧ

ЗНАКИ ВДОЛЬ ДОРОГИ

Составление, предисловие и перевод с сербо-хорватского АЛЕКСАНДРА РОМАНЕНКО

Пятнадцать лет назад состоялась первая встреча советского читателя с Иво Андричем — в Москве вышла книга его рассказов. В дальнейшем эти встречи стали частыми — издавались романы И. Андрича, публиковались статьи и заметки о его творчестве. Сегодня он стал одним из самых известных и самых читаемых в Советском Союзе югославских писателей.

Всемирную известность И. Андричу принес его роман «Мост на Дрине», раскрывший перед читателем причудливый мир средневековой Боснии. Мудрый и неторопливый рассказчик, многому в жизни знающий цену, главным героем этой своей обширной книги о жизни сделал прекрасный белокаменный мост над голубой Дриной, бурлящей в ущельях боснийских гор.

Образ моста, издавна присутствующий в творчестве И. Андрича, стал символом преемственности и связи поколений, веков, народов, символом незыблемости созданий рук человеческих и торжества человеческого разума. Ибо мосты, «воздвигнутые всегда осмысленно... указывают место, где человек наткнулся на препятствие и не остановился перед ним, но преодолел его и замостил как мог».

Как бы ни был сам по себе прекрасен и глубок символ покоряющего время, принадлежащего всем и каждому моста, для писателя этот образ — лишь своеобразный способ осмыслить прошлое и настоящее, место человека в жизни. Ведь «повествователь и его творчество не служат ничему, если тем или иным образом не служат человеку и человечности»,— так закончил Иво Андрич свою речь при вручении ему Нобелевской премии.

Уроженец вольнолюбивой Боснии, И. Андрич еще в юности принял участие в борьбе за ее освобождение, вступив в «Молодую Боснию» — организацию, членами которой были Гаврило Принцип и его товарищи, непосредственные исполнители акта, обрушившего лавину первой мировой войны. Но еще «будучи гимназистом в Сараеве, до балканских войн,— писал И. Андрич в своей недавно опубликованной автобиографии,— я был основателем и председателем тайной молодежной организации, поддерживавшей связь с подобными студенческими организациями в Белграде... Позже как студент университета в Загребе и Вене я участвовал во всех движениях молодежи...» Молодой И. Андрич был узником австро-венгерских тюрем в Сплите, Шибенике, Мариборе, Зенице, в своем родном городе — Травнике. Заветам молодости, идеалам «человека и человечности» И. Андрич оставался верен в течение всей своей полной напряженного труда жизни.

Мы хорошо знаем И. Андрича как романиста и новеллиста. Но почти совсем не знаком нам Андрич-эссеист, историк и теоретик литературы и искусства. Философские и лирические миниатюры И. Андрича, его путевые очерки и рецензии, его размышления о выдающихся деятелях культуры югославских народов представляют по существу еще одну большую книгу.

И. Андрич много писал по вопросам истории югославской литературы, неоднократно возвращаясь к одним и тем же личностям, рассматривая их наследие всякий раз под новым углом зрения. Вук Караджич — как писатель и как реформатор, Петар II Петрович Негош — как государь и как деятель культуры, Бранко Радичевич, Петар Кочич, Симо Матавуль, Гавро Вучкович, другие художники и патриоты, участники общественных движений разных эпох. Пристальное внимание И. Андрича издавна привлекали многие явления мировой культуры: Мерике и Гейне, Ремарк и Гойя (о котором написано великолепное эссе), Кьеркегор и Ленау, Гамсун и Петрарка (поэзию которого Андрич переводил), Уайльд и Уитмен, Байрон и Стриндберг наряду со многими другими. «Несколько чаще других здесь возникает имя Максима Горького»,— замечает один из исследователей эссеистики И. Андрича.

Следуя по дороге жизни — 10 октября 1972 года Иво Андричу исполняется 80 лет,— писатель многое повидал и многое успел заметить. Его тонкие, полные благожелательности и трезвой обстоятельности путевые очерки, странички своеобразного дневника, являются единственными в своем роде во всей югославской литературе: «Зеленая страна» Португалия, холодная Скандинавия, знойная Испания и «радостный город» Рим, «светлый» героический Ленинград, улицы которого «говорят на дружеском и понятном языке, языке разума и спокойной, непреходящей радости жизни». Стиль И. Андрича сдержан, скуп, чужд вычурности, и эта творческая манера подчеркивает внутреннюю страстность художника.

Публикуемые нами заметки — лишь небольшая часть этих работ писателя. Только две из них («Мосты», «Тропы») вошли в собрание сочинений И. Андрича, вышедшее на его родине, другие взяты составителем из периодики — газет и журналов последнего десятилетия. Эти заметки часто появляются под общим названием «Из книги «Знаки вдоль дороги». Это емкое название мы использовали для всей нашей публикации. Насколько нам известно, это первый перевод отдельных разделов книги, над которой писатель продолжает работать, на иностранный язык.

Мое окно в мир

Я не помню и вряд ли мог бы с уверенностью сказать, когда я начал писать; желание писать, потребность что-то выразить со временем смешались с первыми действительными пробами пера. Похоже, что с первыми книгами, которые я читал или только смотрел, связана и первая мысль написать что-нибудь и самому или, по крайней мере, сочинить что-то в голове. Книга же в юные годы была нашей великой страстью и великой мукой. Она была и осталась мечтой моего детства. В третьем классе гимназии я по-настоящему страдал неутолимой жаждой книги. Эта жажда была тем сильнее, чем трудней доставались книги. А в то время книга у нас была и редкой, и дорогой, почти недоступной.

В бедняцких квартирах наших водились лишь учебники да какой-нибудь календарь. Школа давала мало или вообще ничего, а о покупке книг не могло быть и речи. В Сараеве тогда насчитывалось три или четыре книжные лавки, и каждая из них, разумеется, торговала канцелярскими и школьными товарами. Собственно, правильнее было бы говорить об их ассортименте в обратном порядке,

потому что книги были побочным, а канцелярские товары основным предметом продажи. Одна из этих лавок — самая лучшая и самая крупная торговля «книгами и писчебумажными товарами» — принадлежала приезжему, и в ней продавалось немало иностранных книг на немецком языке, которые были выставлены в современно оборудованной и хорошо освещенной витрине. Большей частью это были венские и мюнхенские издания, преимущественно легкая, развлекательная литература, предназначавшаяся для обязательного чтения австрийских чиновников и офицеров, но, кроме того, там можно было найти кое-какие немецкие переводы из русской и скандинавских литератур, бывших тогда в большой моде. Впрочем, для меня все они были равны, поскольку ни об одной из них я не имел представления. Знал лишь, что это книги, что своим прекрасным оформлением, таинственными названиями и неведомым содержанием они неодолимо влекут меня и что я их страстно хочу. Перед этой витриной я провел много часов в первые годы моего ученичества.

Это было мое первое и на долгий срок единственное «окно в мир», моя связь с великой мировой литературой (так я думал!), о которой мне ничего не было известно, кроме того, что она должна где-то существовать, но о которой никто, в том числе и наш преподаватель литературы — он, правда, не был настоящим преподавателем и не имел никакого отношения к литературе — ни тогда, ни позже не мог мне ничего сказать.

В дождливые послеполуденные часы, когда ребята моего возраста тоскуют по чему-то новому, прекрасному и волнующему, ищут пищи для духа и фантазии, пищи, которая необходима им как воздух, но которую в наших тогдашних условиях ни семья, ни школа, ни общество не могли им дать, я частенько убегал из нашей невеселой комнаты и крутыми переулками спускался по размытой булыжной мостовой в ровную и красивую часть города. Я шел прямо к книжной лавке и долго стоял перед витриной, которую знал так хорошо, что сразу обнаруживал малейшую перемену в ней и радовался так, как будто в моей собственной жизни произошло что-то хорошее. Я по нескольку раз уходил от витрины и вновь возвращался, до тех пор пока не опускались осенние сумерки и в витрине не загорался свет, отражавшийся на мокром асфальте. Тут уж надо уходить окончательно и возвращаться восвояси к реальной жизни. Однако не так просто было забыть освещенную витрину! В ночных мальчишеских снах и полудреме она сверкала и кружилась, фантастически преображенная: это была уже не обыкновенная витрина книжной лавки, это было сияние вселенной, часть некоего созвездия, к которому я страстно стремился и в то же время с горечью сознавал, что оно для меня недостижимо.

И так было каждый день. Сотни раз читал я неведомые мне имена писателей и названия их книг. Не было рядом никого, кто бы просветил меня и направил, и я сам как-то осмыслял эти названия, питая к одним симпатии, к другим — антипатии. Каждое из этих названий давало толчок моей фантазии, я пытался разгадать, что скрывалось за ним, и после тщетных усилий сам выдумывал содержание этих недоступных мне книг. Тут-то и возникали и сразу исчезали мои первые замыслы рассказов и романов.

Тут я пришел и к осознанию иных вещей. Как и многие мои сверстники, я очень рано почувствовал и узнал, что такое бедность, что значит иметь и не иметь и что за непреодолимая стена отделяет людей от того, что они любят и чего хотят, однако острее и отчетливее всего я это осознал на книгах, на моем горячем и неосуществимом желании иметь их, перелистывать и читать.

С тех пор прошло много лет. Много книг я перевидал на своем веку, немало прочитал, несколько написал и сам, но книги в скромной витрине провинциальной лавки в Сараеве я никогда не мог позабыть. Память о них хранится в тех потаенных пределах сильных и неосуществленных детских желаний, которые даже тогда, когда все они уже как будто бы остынут и позабудутся, продолжают жить, затаившись где-то глубоко в нас, и возникают вдруг странно и неожиданно в ночных снах или в неосознанных поступках нашей дневной жизни.

(Из сборника «Поэзия Сараева», 1968 г.)

Мосты

Из всего, что воздвигает и строит человек, повинуясь жизненному инстинкту, на мой взгляд, нет ничего лучше и ценнее мостов. Они важнее, чем дома, священнее, ибо они более храмов общие. Они принадлежат всем и каждому, равные со всеми, нужные, воздвигнутые всегда осмысленно, на месте, где сходится максимальное число человеческих нужд, они более долговечны, чем прочие сооружения, и не служат ничему тайному и злому.

Большие каменные мосты — свидетели исчезнувших эпох, когда иначе жи-

ли, думали и строили, серые или побагровевшие от ветра и дождя, часто источенные на резко выведенных углах, в их швах и неприметных трещинах растет худосочная трава или гнездятся птицы. Ажурные стальные мосты, протянувшиеся от одного берега к другому, словно проволока, дрожат и звенят, когда по ним проносится поезд; они словно еще ждут своего последнего аккорда и своего завершения, совершенство их линий полностью откроется взгляду наших внуков. Деревянные мосты у въезда в боснийские местечки, изглоданные балки которых громыхают и пляшут под копытами деревенских лошадей, словно клавиши ксилофона. И, наконец, вовсе крохотные мостики в горах — вернее, поваленное дерево или два сбитых бревна, переброшенные через ручей, который без них оказался бы непроходимым. Дважды в год вздувшийся горный поток уносит эти бревна, а крестьяне со слепым упрямством муравьев валят, обтесывают и ставят новые. Вдоль бурных потоков, в складках между скалами, часто видны останки этих бывших мостов, они лежат и гниют подобно прочим деревьям, принесенным сюда случаем, но обтесанные бревна, приговоренные к огню или разложению, выделяются из прочего наноса и все еще напоминают о цели, которой они служили.

Все они по сути своей одинаковы и в равной мере заслуживают нашего внимания, ибо указывают место, где человек наткнулся на препятствие и не остановился перед ним, но преодолел его и замостил как мог, сообразно своим взглядам, вкусу и обстоятельствам, в которых он находился.

И когда я думаю о мостах, в памяти моей возникают не те, по которым я чаще ходил, а те, что в свое время особенно сильно поразили и восхитили меня.

Прежде всего это сараевские мосты. На Миляцке, русло которой является становым хребтом Сараева, они все равно что каменные перстни. Я вижу их отчетливо и перебираю один за другим. Я знаю их своды, помню ограды. Среди них тот, что носит роковое имя юноши [1], маленький, но прочный, погруженный в себя, как неприступная безмолвная крепость, не ведающая капитуляции и предательства. Потом те мосты, что я видел проездом, ночью из окна поезда, тонкие и белые, как привидения. Каменные мосты Испании, поросшие плющом и задумавшиеся над собственным отражением в темной воде. Деревянные, крытые из-за обильных снегов мосты Швейцарии, похожие на длинные амбары, украшенные изнутри, как часовни, изображениями святых или чудесных событий. Фантастические мосты Турции, поставленные абы как, поддерживаемые и оберегаемые судьбой. Белокаменные римские мосты в южной Италии, с которых время отбило все, что могло отбить, и рядом с которыми уже сотню лет действует какой-нибудь новый мост, но старые стоят по-прежнему, как скелеты, на страже.

И так всюду, куда бы ни двинулась моя мысль и где бы она ни остановилась, я нахожу верные и безмолвные мосты как неизбывное и неутолимое стремление людей связать, примирить, соединить все, что возникает перед нашим взглядом, разумом и ногами, дабы избежать раздела, противоречия и разлуки.

То же самое происходит с мечтами и причудливой игрой воображения. Слушая однажды самую печальную и самую прекрасную музыку, какую мне когда-либо приходилось слышать, я вдруг увидел каменный мост, рухнувший на середине, стороны свода с болезненной страстью тянутся друг к другу, в последнем усилии указывая единственно возможную линию уже не существующего свода. Такова преданность и высокая непримиримость красоты, которая допускает для себя лишь одну-единственную возможность — исчезновение.

В конце концов, все, в чем проявляется наша жизнь — усилия, мысли, взгляды, улыбки, слова, вздохи,— все устремлено к другому берегу как к единственной цели и на нем лишь приобретает свой истинный смысл. Все это должно что-то преодолеть и замостить: беспорядок, смерть и бессмыслицу. И разве вся наша жизнь не переход, не мост, концы которого уходят в бесконечность и в сравнении с которым все земные мосты — лишь детские игрушки, бледные символы? А вся наша надежда на той стороне.

(1932 г.)

[1] Имеется в виду Гаврило Принцип, именем которого назван один из сараевских мостов. *(Прим. перев.)*

Тропы

У начала всех троп и дорог, в основе самой мысли о них, стоит глубоко и навечно вбитая тропа, по которой я впервые начал свободно ходить.

Это было в Вишеграде, на твердых, неправильных, избитых дорогах, где все сухо и горестно, где нет красоты, нет радости, нет надежды на радость, нет права на надежду, где горький комок, который человек не в силах проглотить, на каждом шагу колом встает в горле, где сушь и ветер, снег и дождь пожирают землю и семя в земле, а все, что как-то выбивается и рождается, клеймят, сгибают и давят так, словно хотят вбить, будь это возможно, другим концом в

землю, лишь бы вернуть в бесформенность и тьму, из которой вырвались ростки и проросли.

Бесчисленные тропы, точно нити и тесьма, испещряют горы и склоны вокруг города, вливаются в белый проселок или исчезают у воды в зеленом ивняке. Инстинкт людей и животных проложил эти пути, а нужда утоптала их. Здесь трудно отправляться в путь, трудно идти и возвращаться. Здесь садятся на камень и укрываются под деревом, на сухом месте или в скудной тени, чтоб отдохнуть, помолиться или подсчитать выручку. На этих тропах, которые метет ветер и моет дождь, а солнце лечит и калечит, на которых можно встретить лишь измученную скотину и молчаливых с суровыми лицами людей, родилась у меня мысль о богатстве и красоте мира. Здесь я, невежественный, слабый, с пустыми руками, был счастлив хмельным счастьем, счастлив до бесчувствия от всего того, чего здесь нет, не может быть и никогда не будет.

И на всех дорогах и путях, по которым я позже проходил, я жил лишь этим убогим счастьем, этой своей вишеградской мыслью о богатстве и красоте мира. Ибо под всеми дорогами земного шара с того самого момента, когда я покинул ее, и по сей день неизменно пролегала мною одним видимая и мною одним осязаемая крутая вишеградская тропа. Собственно, по ней я отмерял свой шаг и с ней соразмерял свое движение. Всю жизнь она не оставляла меня.

Когда меня утомлял и отравлял мир, куда я попал по воле злого случая и где чудом удерживался на поверхности, когда затягивало горизонт и я терял направление, я набожно стелил перед собою, как верующий — молитвенный коврик, твердую, убогую, крутую вишеградскую тропу, что излечивала любую боль и облегчала любое страдание, ибо все их она содержала в себе и все превосходила. Так, по нескольку раз в день, пользуясь минутой затишья, каждой паузой в разговоре, я проходил часть того пути, с которого никогда не следовало сходить. Так до конца дней своих, невидимо и тайно, я все-таки пройду назначенный мне судьбой отрезок вишеградской тропы. А вместе с концом жизни оборвется и она. И затеряется там, где оканчиваются все тропы, где нет ни дороги, ни бездорожья, где нет ходьбы и усилий, где все земные пути спутаются в бессмысленном клубке и потухнут, подобно искре спасения в наших глазах, которые и сами потухают, приведя нас к цели и истине.

(1940 г.)

Предместье нашей молодости

Огромен диапазон страдания между неутолимым стремлением человека к чему-то, что похоже на чудо, и отчетливым пониманием, что чудес нет и быть не может.

Горьки или радостны поездки в предместье нашей молодости, а прогулка по нему временами невыносимо прекрасна, временами дьявольски ужасна. И всякий раз иначе, поочередно, произвольно, непредвиденно, неожиданно и неожидаемо.

По этому предместью мы всегда гуляем ночью. И если случается, что в город мы прибываем к вечеру, прогулка непременно начинается ночью. Ибо, пока мы разместимся, поужинаем, выйдем, пока мы минуем городские улицы и площади, разглядывая здания и витрины магазинов, опускается тьма. Невольно возникает мысль, что этот город и его предместье и существуют-то лишь ночью — во время сна и в пределах сна — и что в них каким-то чудом всегда не только одна пора дня, но и один климат, одно время года, май или июнь месяц, время года нашей молодости.

Предместье слабо освещено, длинная аллея перекрыта пышными кронами деревьев, парки достаточно густые; улицы поддерживаются в порядке лишь постольку поскольку, судя по всему, больше ради имен исторических личностей, по которым они названы, нежели ради тех, кто на них живет; дома, очевидно, усталые, терпеливо несут свои неизменные номера и смиренно принимают своих обитателей, ибо иначе поступить не могут.

Но, как я уже упомянул, встреча, которую нам оказывают, не всякий раз одинакова. Сегодня вас встречает живая атмосфера, в которой смешались прошлое, будущее и настоящее. Все знакомо и близко, по-прежнему то же, но новое и прекрасное. Старые улицы и буйные парки полны молодости. Повсюду пары, словно их рассыпали сверху и они случайно упали здесь. Они стоят в воротах домов или вдоль стен, за углами, повсюду, где можно найти тень и где хотя бы один из них может к чему-нибудь прислониться спиной. Иная пара так окутана тьмою, что на ходу вы чуть не налетаете на нее. Тогда слышится легкое покашливание мужчины, который дает вам знать, что здесь живые люди и что вам надо их обойти и шагать своей дорогой дальше. Попадаются и такие, что, замерев друг возле друга, вовсе не имеют понятия о том, что мир существует помимо них, не знают размеров своего собственного тела, но лишь без устали и ненасытно всматриваются в освещенные изнутри

зрачки или уголки губ или видят только прядь волос на лице существа, которое они держат в объятиях.

Другие, более, должно быть, находчивые и более терпеливые, приютились в длинной аллее или в одном из парков. Они сидят на скамьях или стоят под могучим деревом, словно вклинившись в его раздвоенный ствол. Даже приблизительно трудно назвать, сколько их и где они только не попадаются, но должно быть, их много, потому что в молодой листве уже стоит дух стеклянной оранжереи или теплицы. По временам под слабым светом редких и далеких лампочек вдруг вспыхнет силой солнечного луча какой-нибудь лист. Гравий на дорожках возле скамеек что-то громко шепчет. Время от времени слышится голос невидимой воды.

Вы проходите по слабо освещенному предместью своих юных лет, словно по тропам бессмертия, двигаясь навстречу радостному пробуждению от радостных снов.

Но случается и прямо противоположное. Мечта снова уводит вас в то же предместье того же города, но теперь все выглядит иначе. Полутьма пустынна и враждебна. Двери в большинстве заперты и немы, а если вам доведется увидеть какие-нибудь еще полуоткрытыми, то перед ними окажется недоверчивый и строгий обитатель этого дома — он останавливает вашу неспешную прогулку глухими и твердыми вопросами: «Кого вы ищете?» или «Что вам нужно?» И пока вы как лицо подозрительное пытаетесь найти какой-нибудь ответ, он поворачивается к вам спиной, но не уходит, оставаясь на месте и недвусмысленно ожидая, чтоб вы очистили пространство перед его жилищем. Вы уходите, оскорбленный и раздосадованный, неотрывно думая об этой нежеланной и неожиданной встрече. «Что вам нужно?», «Кого вы ищете?» — это ужасные вопросы в предместье вашей молодости, и есть ли человек, который может найти на них скорый и убедительный ответ?

В парках и в длинной аллее вас ожидает то же самое. Теперь здесь только вода, и травы, и деревья живут своей ночной жизнью, которая одинокому человеку непонятна и неприятна. Все время кажется, будто рассеянность или ваша память, ослабленная годами, по ошибке привели вас в какой-то иной город и чужой край. Тогда лучше всего сразу спокойно отступить. Ибо, если вы упрямо в тот вечер продолжите прогулку, с вами могут произойти, как показывает некоторый опыт, странные и неприятные вещи.

Когда все ворота затворятся и углы наполнятся глухим мраком и когда над парками воцарится тишина лесной ночи и пустоши, вы напрасно и долго станете утомлять ноги и напрягать зрение в поисках предместья своей молодости. В тот вечер вы его не найдете, а может случиться, что в иную пору ночи оно вам привидится.

Проходя мимо чьих-нибудь ворот, вы сунете наугад вытянутую руку туда, где самая густая тьма, и вдруг наткнетесь на груду пустых, разломанных коробок или на какие-нибудь выброшенные останки старых, изношенных платьев. А в парке, там, куда едва достигает свет, можно наступить на кучу истлевших досок или колючих и сухих веток. Что бы вам ни попалось и чего бы вы ни коснулись, все обдаст вас запахом ветхости, неряшливости, плесени и пыли.

А в конце все ваши пути переплетутся и запутаются, так что вы будете вынуждены все-таки возвратиться туда, откуда пришли, но в дурном настроении, с мокрыми ногами, встревоженный и отчаявшийся. И вам придется долго ждать нового, доброго сна, который уводит в живое предместье нашей молодости.

(«Књижевне новине», 1 янв. 1972 г.)

Север

Днями я передвигался самолетом, потом на машине, потом поездом, пока у дороги на опушке бледно-зеленого невысокого леса не увидел белую табличку с крупной черной надписью: «Полярный круг». Причем на нескольких языках. Эта надпись сообщала и о том, сколько километров отделяет нас от Северного полюса, сколько от Южного и сколько от экватора.

Люди в купе делаются оживленнее и разговорчивее, фотографируют белую табличку у дороги. Разговаривают о белых ночах, о полуночном солнце, которое нас ожидает. Прополаскивают рот крупными цифрами. Еще одна возможность наблюдать человеческую склонность рассуждать о необыкновенных и трудно доступных предметах, дабы и себе самим и другим показаться значительнее и глубже. Я тоже это делаю, механически, думая о том, как я напишу письмо о поездке на север, непосредственно и просто, без помощи печатных путеводителей, справочников и популярных брошюр, которые везу в багаже, напишу только по велению своих чувств, просто-напросто изображая внешние и внутренние события и перемены, подобно тому как так называемые художники-примитивисты рисуют части окружающего их мира.

Мы вступили, следовательно, в этот мир за полярным кругом. Мы двигаемся дальше на север, такие, какие есть, со своими органами чувств, своими мыслями, своим багажом и, должно быть, из-за этого воображаем, будто все вокруг

нас должно оставаться прежним и будто мы сами не меняемся. Но когда к вечеру мы достигаем места нашего «полярного» роздыха, то чувствуем, что эту стойкую иллюзию надо оставить позади и, как знаем и умеем, неподготовленные и невооруженные, мы должны войти в новый мир. (Я написал «к вечеру», хотя мог установить это лишь по большим часам, которые встретили нас в вестибюле отеля, потому что рассеянный солнечный свет, не изменяющийся и не проявляющий тенденции к изменению, не говорит об этом ничего.)

Здесь и без нашего признания ясно, что, пока мы двигались прямо и все дальше на север, условия жизни вокруг нас изменились настолько, что привычные для нас мышление и виды ощущений и восприятия впечатлений во многом перестали соответствовать среде, в которой мы теперь вращаемся, и не находят подтверждения в том, что наблюдается и происходит вокруг. Пока мы находимся в этом приятном отеле в окружении людей, которые подобно нам прибыли «снизу», и предметов, к которым мы более или менее привыкли там, на юге, иллюзия о себе как навеки определившемся и неизменном целом в незначительной степени сохраняется, но едва мы выходим наружу, переходим небольшой мост над шумящим потоком и вступаем на лесные дороги, она нас покидает.

Мы думаем одно, а все вокруг — воздух, вода, облака, лес, скалы — говорит нам об ином. Мы называем явления и окружающие предметы именами из нашего словарного фонда и круга понятий, а они не откликаются, и мы стоим перед ними смущенные, подобно человеку, стоящему перед дверьми, к которым у него неверный ключ. Не «журчит» вода, не «веет» ветер, не «пахнет» цветок, часы на руке не идут больше в соответствии с нашими укоренившимися привычками (движение дня и человеческих побуждений не управляется по ним). Небесные явления, подобно переменам и движениям на земле, мало или вовсе не отвечают понятиям и названиям покинутого нами мира; они лишь напоминают о них, да и то не всегда. Мы чувствуем себя так, словно вдруг надели никогда не ношенную одежду и натянули обувь не по размеру, но хотели бы ходить и передвигаться свободно и естественно, единственно свойственным нам образом, как можем и умеем. Отсюда какая-то суровая напряженность во всем. Нечто подобное происходит и с речью. Чудится, будто мы снова вдруг вступили в контакт с людьми, чью речь, даже когда они обращаются на языке, который нам знаком, мы должны слушать внимательно и сами говорить не спеша, если хотим понять их и сами быть поняты. Слова те же, но иные звуковые волны, что их несут, иное давление на органы, которые их передают или принимают.

Так раскрывается нам несложная истина, которая была закрыта от нас, пока мы жили там, на южной «нашей» части земли, а именно: с нами и через нас мыслит все, что подобно атмосфере нас окружает, ибо оно влияет на то, о чем мы думаем и что произносим, взимая с этого свою «дань» или добавляя немного своих красок и форм.

Мы, правда, всегда веровали, будто знаем, что это так, но теперь убеждаемся, что это наше «знание» по существу ничего не стоило и что следовало пройти такой путь, чтобы воочию убедиться, как обстоит дело. Вот где под тем же солнцем мы топчем землю, которую называем своею, и все-таки все изменилось так, что на мгновение замирает дыхание и земля уходит из-под ног. Мы зашли слишком далеко, дошли до края света и находимся на какой-то крутизне, на которой нет иного существования. С момента нашего прибытия кажется, будто мы живем какой-то замедленной жизнью, жизнью «в будущем». Возникает ощущение, точно все контакты выключены и что не стоит и пытаться их включить снова, поскольку они не отвечают напряжению местного тока, а новые контакты мы ищем осторожно и находим с трудом. С одной стороны, мы не можем подобрать имени для всего, что нас окружает, не говоря уж о том, чтобы со всем этим сродниться и связаться пониманием и близостью, без которых трудно жить, а с другой — мы опять-таки несем в себе целый арсенал чувств, стремлений, желаний и побуждений, с которыми не знаем, что делать, к чему их применить.

Инстинктивно и беспричинно рождается непонятное желание бежать и спасаться, а вместе с ним приходит древний восточный стих:

Когда человека покинет солнце его отчизны...

(Да, вся истина содержится в этой древней поэзии Востока, только у нас не хватает сил и упорства последовательно остаться при этом понимании, мы отодвигаем его и забываем, а потом, в мгновения, когда мир становится нам тесен, оно возникает тихим укором и слабой помощью.)

Но теперь мы здесь, и самое лучшее и единственное, что нам остается, это принять вид безмятежного гуляющего и углубиться дальше в этот прозрачный лес, который еле жив, и шагать между мученически искривленными, вышивкой украшенными, тонкими и трагично прекрасными березами. Тропы эти петляют, скрещиваются и по временам внезапно выскакивают на высокий обрыв, с которого видно озеро и вспененные устья рек и речушек, вливающихся в него. Поверхность озера — цвета отполиро-

---

ИВО АНДРИЧ
ЗНАКИ ВДОЛЬ ДОРОГИ

ванной стали; в ней отражаются вертикальные ленты снега с крутых берегов, здесь они превращаются в гигантские белые столбы, которые, касаясь череды спокойных, вытянутых облаков, рождают чудесную нордическую архитектуру, манящую взор и ускоряющую шаг, своего рода фантастическую декорацию для торжества, которое никогда не начнется.

Горизонт иногда очищается и ширится еще больше и, должно быть, что-то произносит и говорит нечто, но не нам, во всяком случае, не достаточно громко и внятно. А все, что находится здесь рядом с тобой, под рукою,— высохшее и истощенное. Все вещи обнаруживают тенденцию быть только тем, что они есть в своей основе, и все меньше у них возможностей, чтобы стать радостью или хотя бы ощущением радости для жаждущих чувств. Все, чего ни коснешься, холодное, но не от стужи минувшей зимы, а испокон веку и во веки веков. Все проходит, парит или протекает мимо тебя, поверх тебя, и ты не видишь возможности и не ощущаешь потребности к нему приблизиться. Все существует, но ничто не живет. Каждая былинка и каждый камешек могут стать мирами в себе, но все это вместе с небом и водами не может создать для нас определенный мир, хотя бы такой же, как тот, что, направляясь сюда, мы оставили позади. Земли, скудной и тонкой, нигде не видно, и она не хватает человека за ноги, и поэтому, видимо, мы и не воспринимаем ее как землю-мать, как субстанцию, из которой мы вышли и в которую возвращаемся. Вода и свет водят свои хороводы, но они подобны двум детям, которые не знакомы друг с другом. Это величественная картина, но для кого-то, кто смотрит на нее неведомо откуда с огромной высоты, над нами. В этих хороводах ничто никогда не будет зачато, не родится, они будут сверкать, трепетать, разливаться и, наконец, угаснут вне всего того, что мы называем нашим миром и чего больше нет. В этот миг ближе и непосредственнее воспринимаешь рои странных безголосых комаров, которые облаком сопровождают тебя, сменяясь вокруг твоей головы. А потом — мох. В деталях — разноцветный, в целом — лишенный цвета, повсюду, на всем, вокруг, рядом с тобою, впереди — мох как песок пустыни. Ты погружаешься в него по щиколотку, и он несет тебя и удерживает, незаметно цепляется за тело и за одежду, без силы и обиды, точно так же он охватил и накрыл все остальное в этом пространстве. Откуда-то возникает мысль, что можно незаметно, неощутимо исчезнуть во мху. Не было бы ничего легче и проще — так, по крайней мере, представляется,— чем раньше или позже опуститься на этот мох и исчезнуть в нем: без усилий, без воспоминаний, без тени сожаления, поскольку позабыто и самое слово, которым люди обозначают исчезновение человека.

Разумеется, такое не случалось и не случается, поскольку, пока у кого-то могут рождаться такие мысли, значит, еще далеко до их осуществления.

Подобно серому фланеру, по серому пределу вернулся я с первой своей прогулки в отель. Здесь, не дожидаясь тьмы, на приход которой нечего надеяться, я опустил плотные шторы и лег спать. Но и во сне я видел, будто опять прохожу по тому же вчерашнему пределу, только теперь все близко и ясно, залито богатыми красками с тысячью оттенков. Здесь, во сне, «в видении полночном», должно быть, раскрывается подлинное лицо природы и таинственная красота этих мест, которые в первый день своего пребывания я не сумел уловить и увидеть своими южными органами чувств. А когда я выспался и проснулся освеженный, то уже с нетерпением думал о том, как через несколько минут выйду наружу, где передо мною, вечным неофитом, вновь раскроются северные пределы, точно чужеземная рукописная книга, которую мне предстоит выучиться читать.

(Предисловие к книге Стевана Майсторовича «На родине саг». Белград, 1971 г.)

Из книги «Знаки вдоль дороги»

Ничто меня так не занимает, как слова, и ни о чем я реже и меньше не размышляю, как о них. Я всегда возле них, окруженный ими, как пасечник — пчелами, однако подсознательно чувствую, что думать о них — пустое и даже вредное времяпрепровождение. Но когда изредка я все же отдаюсь мыслям о звучании, формах и происхождении слов, не тех, которыми я пользуюсь, чтоб выразить что-то определенное, но самых простых, отдельно взятых слов, слов «как таковых», с их обнаженным, прочным, преходящим или исчезнувшим значением, тогда эти мысли уводят меня далеко, в какие-то темные леса и безводные пустыни. В увлечении погоней за смыслом и происхождением слов я забываю обо всем. Всяческих чудес нагляжусь я, но неизменно возвращаюсь с этой охоты изнуренным, с тяжелой головой и пустыми руками.

Потом мне нужно время и усилия, чтобы восстановить истинное отношение к взбаламученным и разбросанным словам, чтобы произвести из них то, что мне хотелось бы сказать и что никогда даже приблизительно не удается сделать.

◇

Перед сном. Книга падает из рук, буквы сливаются и путаются, исчезают, растут и превращаются в темные и серебристые слезы, скользящие по странице. Слова теряют смысл, точнее, меняют смысл, потому что вдруг перестают означать то, что они перед этим означали, и приобретают какое-то новое, неожиданное и неясное значение. Текст, растаявший на моих глазах и в них самих, повествовал о средних веках, а теперь вдруг я словно читаю что-то о Древнем Риме, причем вполне определенное: об аграрных волнениях во втором веке нашей эры. Однако я вижу, что не это основное и главное, о чем следует знать и размышлять. Есть что-то иное, более глубокое и более важное, что отвлекает мои мысли от чтения и не дает мне заснуть. Прежде Рима и прежде любого писаного слова и хранимой в памяти истории произошло что-то такое, что имело решающее значение для человека, какое-то огромное несчастье, какая-то роковая ошибка с необозримыми последствиями. Теперь все это вышло на свет дня (или ночи), и нужно выяснить все и осмыслить, дабы установить ответственность и исправить ошибку. Нужно найти слова, которые все это объяснят и осмыслят. И надо это сделать как можно скорее, так как до тех пор я не смогу ни крепко заснуть, ни спокойно читать. Это моя забота и мое дело, а я устал, беспомощен и способен лишь страдать от этой неопределенной и тяжкой мысли, камнем навалившейся на мою грудь. Я с трудом протягиваю руку и тушу свет, хотя знаю, что и тьма ничего не изменит и не принесет облегчения.

◇

Когда речь заходит о словах, трудно передать, как много с ними связано переживаний. Это случается обычно ночью, когда я не могу заснуть, или в минуты полудремы, когда я уже не бодрствую, но еще и не сплю, или во время медленного пробуждения, когда с трудом выбираешься из паутины сна, словно из вязкой смертоносной топи.

Слова вдруг заполняют мое сознание, открывают в нем костюмированный бал и танцуют свои танцы — от строгих менуэтов и призрачных кадрилей до простого бесстыдного кривляния, диких курбетов и шумного кутежа. Они надевают и срывают маски, выдают себя за других, разыгрывают меня, впрочем, и я танцую с ними, так что в конце концов уже трудно разобрать, кто — что и кто — кто, словно полностью исчезло в мире все, что звалось мерой и разумом, порядком и дисциплиной, и словно безумие (но какое-то задуманное и злонамеренное безумие!) стало всеобщим законом.

Через какое-то время я вздрагиваю и пробуждаюсь от этого кошмара. Зажигаю свет. Задыхаюсь, онемевшими пальцами, на ощупь, убеждаюсь в прочности стены и мягкости постели и ищу пути возвращения в свой мир.

Постепенно я прихожу в себя и с удивлением устанавливаю, что все предметы в комнате на своем месте и что ничего не перевернуто и не разбито. Медленно и осторожно я ищу слова, которые одно за другим возвращаются к своим старым, устоявшимся значениям и занимают линию моего горизонта. Кое-какие из этих ночных слов не желают появляться, словно навеки утонув в своем бессмыслии. Но я знаю, что рано или поздно вернутся и они, целые и невредимые, в своей знакомой форме, со своим подлинным смыслом. Разумеется, это не означает, что при первом же удобном случае они снова не подадутся на какой-нибудь ночной карнавал, словно гайдук в лес.

◇

Через некоторое время вновь наступает подобное же, недолгое, но тяжкое смятение и путаница. После отлично проведенной ночи — дурное пробуждение на рассвете. Мало-помалу, вместе с наступлением дня, во мне ширится сознание того, что ни одно слово не имеет больше освященного временем, дорогого и «вечного» смысла, который оно имело, что, пока я спал, все вдруг изменилось, вывернулось и переродилось, так что мне не на что опереться, нет больше ничего надежного и проверенного, перестаешь верить самому себе, не только другому, с полным основанием никто никому не верит.

И хоть бы совсем не стало слов! Но нет, они все здесь, выстроились длинными шеренгами, словно в словаре, и у каждого свое значение, правда столь произвольно и причудливо изменившееся, что его не угадаешь. Значения их даже не противоположны тому, что они некогда означали, потому что в этом был бы какой-то порядок и разгадка, а сейчас это полнейший хаос и подлинная мука. Тьма и гололед. Я теряюсь. Не за что ухватиться, а надо идти дальше, как в лучшие времена, когда шагал в погожий день по верной дороге.

◇

А прошлой ночью произошло настоящее чудо. Слова одно за другим стали превращаться в людей, животных и окружающие меня предметы, каждое — в то, что до сих пор оно только означало. До недавних пор тише теней и мимолетнее ветра, слова вдруг замерли, приобрели плоть, вес и объем и все прочие свойства живых существ и знакомых вещей и заняли свои места в моей комнате. «Слово стало телом». Да, это легко

ИВО АНДРИЧ
ЗНАКИ ВДОЛЬ ДОРОГИ

сказать, даже звучит неплохо, но никто не может себе представить, как это выглядит на самом деле. Я вдруг разбогател, причем так, как никогда, даже во сне, не мечтал и не желал. Завален богатствами. Надо бы мне владеть всем, а на самом деле все владеет мною. Тысячной доли этих богатств хватило бы на то, чтоб сбить меня с ног и засыпать, оборвать и удушить столь слабое и короткое дыхание, как у меня. Но налетают все новые и новые слова, падают вокруг и мгновенно превращаются в то, что они до тех пор означали.

И когда я уже думал, что мне наступил конец, внезапно произошло новое чудо, еще более удивительное. В мгновение ока все вокруг словно по волшебству превратилось снова в слова, которые — в неслышном танце звуков, легче теней невидимых птиц улетели далеко от меня, в тишину, в забвение, в небытие, туда, куда уходят слова, переставая быть таковыми, теряя свое значение и выходя из употребления.

А я остался один, вопрошая, кто я теперь и кем еще в этом бесконечном танце слов мне придется быть и что означать? Выдержу ли я?

Вокруг полная тишина, ни день, ни ночь, какая-то пустота, которой нет названия.

◇

Еще о словах.

Слова выглядят «красноречивыми», пока они стоят одинокие, невинные и неиспользованные; если то или другое из них слабеет, то третье говорит за них обоих и даже гораздо больше. Слова составляют магический хоровод, по которому передается ритм целого; если одно из них вяло, неловко или утомлено, его тянут остальные, так что отставание незаметно, и хоровод безошибочно идет дальше.

Труднее случай, когда словам нужно что-то сказать о самих себе и своей роли в повествовании. Тут они внезапно немеют, леденеют и лежат как безжизненные камни, точно они никогда не говорили, не танцевали, не пели. Когда речь заходит о словах, слова молчат, хотя обо всех прочих людских вещах и делах они — иногда больше, иногда меньше — говорят. Даже и о молчании.

◇

Когда пишешь — разумеется, в счастливые минуты! — слова текут сами собой, связываются и отталкиваются, движутся и перемешиваются или полностью уничтожаются, пока все не укладывается в подлинную и единственно возможную картину того, что человек хочет сказать. Это выглядит легким и бессознательным танцем, который слова исполняют по своей воле и в согласии со своей природой, сами собой и только для себя. Однако это не так, это не бесплодная игра прихоти или случая. В словах, как в деревьях и растениях и во всем живом, кружится невидимый жизненный сок, и это он, точно какое-то внутреннее солнце, движет и передвигает их, дает им окраску и форму, силу и образность. А человек, который пишет, лишь внимательно следует за этим непонятным и неуловимым танцем и более или менее умело, более или менее удачно использует отдельные его детали.

Таким образом, слова, в сущности, живут двойной жизнью: и сами по себе как таковые, и как выразительные знаки в рамках человеческой мысли, ищущей своего выражения.

◇

В языке есть выражения, которые сами по себе, выхваченные и пойманные на лету, пленяют и чаруют мой слух и мой ум, раскрывают передо мной какие-то новые, недоступные горизонты и дали, о которых даже тот, кто эти слова произносит, ничего не знает и не предполагает, что они могут существовать.

Эти выражения можно услышать от мужчин и еще чаще от женщин из народа, когда они в сильном волнении говорят о своих заботах или бедах, потрясениях, радостях или огорчениях.

Я ловлю эти слова, как невольно брошенные и благодаря счастливой случайности найденные драгоценности, я плыву некоторое время на каждом из них, как на свободном, быстром облаке, и оглядываю новые, невиданные миры.

Эта игра длится иногда дольше, иногда короче, и она дороже мне реальных переживаний, игр и удовольствий. А потом, потом наступает забвение.

◇

Южное приморье. Ласточки строят гнезда на стенах под кровлей высокого дома, причем три сразу. По непонятным для меня причинам вмешиваются другие ласточки, которые для чего-то прилетают и улетают вместе с теми, которые строят. Все это сопровождается оживленным щебетанием и возбужденными возгласами.

Окрестные дома, прилепившиеся к крутой скале, сжались и лезут друг на друга. И кажется, будто ласточки строят по тому же архитектурному проекту, принимая как образец расположение и вид этих домов, а своей оживленностью и щебетаньем они напоминают манеры и речь обитателей этих домов.

Вообще, бросается в глаза и поражает сходство форм и одинаковость методов во всем. Так вдоль всей скалы, с каждым местом и поселением повторяется тот же предел — по формам, краскам и запахам. Все то же — от маслин и кипарисов до птиц в небе и рыб в море, от домов и корабликов до легких на ногу крестьянок, до острого серпа у них в руках. Нет ни возможности, ни вероятности, что это сходство где-то нарушится, что форма измельчает. Во всем сво-

бодное, естественное равенство, но ни тени скучного однообразия. И местность и люди ежеминутно удивляют бесконечной изменчивостью и богатыми вариациями в основе своей всегда неизменных форм. Строят одинаково и живут похоже. Если хорошенько всмотреться — лишь запутанный сплав периодических рождений, старений и исчезновения всех степеней и форм, которые все сообща составляют единую могучую и последовательную жизнь. Кажется, будто здесь есть только молодые и только те, кто таковыми уже не является, будто существуют только рожденные и одни из них — в городе, а другие — на кладбище. И нигде ни жалоб, ни стенаний, нигде беспорядка или сопротивления неминуемым переменам, которых требует от них сама жизнь.

◇

Дождливые дни в полном одиночестве. Занимается солнечное утро, но вдруг все вздрогнет и потемнеет, и в одно мгновение весь залив с окружающими горами оказывается под колоколом облаков, из которого попеременно то сыплется густой дождь, то сияет солнце.

Так я играю в жмурки с безрассудными приморскими ливнями. То я их обману, то они меня. Удастся мне проскользнуть в минуту затишья между двумя безумными ливнями, я улыбнусь тихо и незаметно. А если ливень обманет меня, тогда повсюду вокруг начинается веселый перестук крупных капель по широким листьям и жестяным крышам. Тогда я бросаюсь в первые попавшиеся ворота или под густое дерево. И пока я бегу к укрытию, ливень смеется надо мною и делает это громко и беспощадно. Так мы обманываем и хитрим друг с другом целыми днями. И так, хотя я абсолютно один, я смеюсь, что доставляет мне огромное удовольствие, и сохраняю иллюзию, что я рассмешил другого, что радует еще больше. И волны нерастраченного и удовлетворенного смеха, скопившегося во мне, находят, пусть обходный, путь излиться и растратить себя. А я испытываю небольшое, но драгоценное облегчение и удовлетворение.

◇

Когда корабль пристает или отваливает от стенки, постоянно повторяется ряд мелких, но важных действий и поступков, приказов и распоряжений, определенных и освященных древним опытом и тысячелетними обычаями. И всякий раз между командой корабля и теми, кто помогает ему причалить, пришвартоваться и стать на якорь, разгорается оживленная, более или менее громогласная перебранка. С той и другой стороны летят предупреждения, сыплются упреки и ругань, которые от долгого употребления потеряли всякую остроту и более напоминают мелодию, что сопутствует работе и облегчает ее. Жесты и голоса извечны и стали привычны в поколениях. И тем не менее все течет так, словно сегодня впервые происходит прибытие сюда корабля и словно в этот миг и на этом месте надо найти самый лучший и самый легкий способ без ущерба и потери времени все исполнить.

Я слушаю эту вечно одинаковую и всегда чуть иную перебранку тех, кто стоит на корабле, с теми, кто находится на берегу, и она кажется мне столь же древней, как и сами плавания людей по морю, и кажется мне, что я слышу ее одновременно на всех языках, на которых говорили когда-либо в этом приморье, знакомую и волнующую, как извечный разговор берега с морем.

◇

Никому из нас не ведомо, что́ из того, что мы воспринимаем и наблюдаем, реально и постоянно, а что обманчиво и мимолетно, что бледнеет и навсегда исчезает, а что остается живым, хотя и позабытым и похороненным на дне нашего сознания. Разве если случится по необходимости, благодаря стечению обстоятельств остаться наедине с самим собой, покинутым людьми, обманутым вещами, которые мы любили, полным отвращения ко всему, или когда исключительные удары вышвырнут нас однажды из течения жизни на рубеж смерти, тогда наше осознание смерти становится для нас единственной реальностью и ее танцем, словно течением крови нашей, единственной жизнью, а ее успувшие и похороненные картины — единственными событиями.

Тогда из глубины мутных, безымянных вод этого нашего осознания возникают образы и начинают жить и действовать. В этих картинах, как во сне, каждая деталь логична и реальна, но все изображение смазано и неясно до бессмыслицы. Образы из нашей памяти, но жизнь и танец, которыми они живут и движутся перед нами, принадлежат им, и они возникают и развиваются независимо от нас. Появляются из тьмы и исчезают в тумане.

Много лет назад, восьми или девяти лет от роду, я гостил с родителями в деревне. По нашим понятиям, то было большое хозяйство, в плодородной теневой лощине, в изгибе, который складкой возникал на горном массиве над Дриной. Он тянулся от болотистой равнины у реки, мимо крутых садов и отличных полей на склонах к пестрому лесу, где последняя ограда завершалась живым сосняком. В густых садах чернели крыши домов и коптилен, над которыми в направлении равномерно окрашенного ясного неба исчезал ореол дыма. И по-

всюду была вода, которую скорее можно было услышать, чем увидеть.

Мы обедали на зеленой поляне, незапаханной и перерезанной речками; протоками и ямами. Здесь росли только ивы и тополя необыкновенных размеров. На траве вокруг нас и на колодах, на которых мы сидели, повсюду был густой мох, белый, точно иней. Я заметил тогда, что тополя, под которыми мы сидели, отцветали и что с них падали легкие белые хлопья, точно лишенный тяжести снег. Они опускались и падали беззвучно, но непрерывно на руки, на одежду и скатерть, на посуду, еду и питье. Для нас, не привыкших к этому, было нечто радостное и неудобное в этом постоянном падении почти бестелесных пушинок. Мы, собственно, не знали, укрываться ли от них или позволить им падать и вести себя так, будто мы их вовсе не замечаем. Хозяева время от времени защищали нас от них, как от мух, и накрывали кушанья в тарелках перед нами. Они жаловались на свои тополя, чей пух досаждал им всегда в это время года, ругали их, но без особого пыла, скорее из учтивости и внимания к нам, ласково и отечески, как родители сетуют на своих озорных детей. Устав от еды, игр и разговора, который вели старшие, я незаметно уснул на краешке какого-то огромного крестьянского плаща, от которого пахло дождем, шерстью и молоком.

Разбудил меня выстрел. Это кто-то бил гривастых голубей. Компания продолжала по-прежнему сидеть на том же месте, при кофе и выпивке, в разговорах, которые детям кажутся бесконечными и абсолютно бессмысленными и лишними. Меня, точно мелкий снег, накрывали хлопья тополиного пуха повсюду — одежду, руки и черный плащ, на котором я лежал. Я ощущал его во рту. Я видел его, увеличившийся, на своих ресницах. Я должен был протирать от него глаза. А надо мною, в воздухе, без ветерка и движения, равномерно опускался медленный дождь хлопьев, скорее паря, нежели падая.

Болезненным было это детское пробуждение в необыкновенном логу, в незнакомой компании. Я не вполне отчетливо осознавал, где я, как сюда попал, действительное ли это пробуждение или лишь часть какого-то долгого и запутанного сна, в котором мне привиделось пробуждение. Особенно необыкновенным и волнующим был этот странный, теплый иней на мне и вокруг меня. И неясно мне было, падает ли он с высоты на меня или лишь парит в воздухе, сквозь который я сам проваливаюсь в неведомую бездну. Иллюзия была такой полной, что у меня в груди возникло то болезненное и сладкое чувство, которое испытывает человек, падающий с высоты.

Потом мы стреляли по мишеням и ели тяжелые деревенские сладости, залитые жидким яблочным повидлом. Меня водили на мельницу и в сукновальню. Все это были сильные впечатления, под которыми мое пробуждение в снегу из хлопьев и недолгая иллюзия падения полностью исчезли и навсегда позабылись.

Спустя двадцать лет со мной случилась беда во время прогулки в Альпах. Я поскользнулся на подъеме и сорвался вниз; я падал от скалы к скале, от куста к кусту и в конце концов благополучно удержался на поляне, поросшей горной травой, тонкой, гладкой, стелющейся по земле.

Все это время я испытывал такое чувство, будто я не падаю, будто меня не швыряет на камни, но я неподвижно лежу на ударах, которые подменяют друг друга. Каким бы странным ни показалось это сравнение, оно полно для меня смысла и абсолютно точно, поскольку оно сохранилось от тех незабываемых мгновений. Да, я лежал на ударах, неподвижный, прикованный своей болью к своей боли, а на меня медленно, болезненно и волнующе падали, как иней, мелкие хлопья с невидимых огромных тополей в высоте. Те же самые, что и двадцать с лишним лет назад.

(«Политика», «Борба», «Израз», 1960—1968 гг.)

Художник и его творение

Rose et moi nous vieillissons, mais mes toiles restent toujours jeunes ei fraicher.

Corot[1]

Юбилейная выставка Йована Биелича [1] стала для многих из нас подлинным событием. Долго и взволнованно переходить от полотна к полотну в утренней тишине выставочных залов значило размышлять о художнике и его пути, начиная с неясных стремлений молодого человека и вплоть до зрелых созданий, которые венчают конец этого пути и допускают любой взгляд и толкование, кроме одного: отрицания и сомнения. Ибо подобные создания высятся перед нами как подлинные и неоспоримые, драгоценные и честно оплаченные, вырванные из хаоса естественного хода вещей, не-

[1] Йован Биелич (1886—1964) — известный югославский живописец и театральный художник. (Статья И. Андрича написана в 1957 г.)

[1] Мы оба с Розой стареем, но мои полотна остаются по-прежнему юными и свежими. Коро *(франц.)*.

преходящие и вечные, во всяком случае в сравнении с мерой человеческого существования и непреходящести.

Подобное наследие заставляет продолжить давнюю, никогда не додуманную до конца мысль о пути художника, о кризисах, которые неминуемо ему сопутствуют, и о его конечной цели. коль скоро она будет достигнута, как это имеет место в данном случае.

Всю землю не обойдешь, всех песен не услышишь, всех кушаний и напитков не попробуешь, всех рук не пожмешь, во все глаза не заглянешь. Невозможно понять и охватить все человеческие стремления и поступки, овладеть безграничным богатством форм.

Осознание этого рано или поздно приходит к художнику и представляется ему непроходимыми горными хребтами, которые нужно или перейти, или завязнуть в них вместе со своим творением.

В жизни каждого художника наступает пора, когда эта ограниченность ощущается сильно и болезненно, когда вдруг в полной мере открывается подлинная и столь малая мера своей личности, когда мир начинает казаться жалкой сферой или огороженным и запертым садом. Подобное ощущение может возникнуть в разные периоды жизни художника, но, что вполне естественно, обыкновенно это бывает в переходную пору, чаще всего на рубеже зрелых лет, когда сознание художника, его видение мира окончательно формируются, вбирая в себя всю сумму человеческого опыта.

Это критический момент в короткой жизни художника; радости и горести мира должны преобразоваться в понимание окружающего мира и себя в нем, как сказал где-то Якоб Бургхардт. Или, по крайней мере, перейти на высшую ступень понимания, на какую только способен человек. Процесс этот не проходит легко и быстро, его сопровождают мучительные поиски и падения, это всегда тяжелое и опасное время. У художника, да и у всякого мыслящего человека, колеблется под ногами почва, меркнут небесные светила, запутываются земные пути. Мир, который до сих пор казался ярко освещенным местом для игр и охоты, вдруг гаснет подобно искре, после чего остается тьма без пепла. Лучезарная иллюзия о величии и вечности мира и нашего в нем удела превращается тогда в новую, мрачную иллюзию о тленности и ничтожности всего сущего, а иллюзия о нашем всемогуществе, всеобъемлемости и всепроникаемости — в иную, смертоносную иллюзию о бессмысленности и мимолетности.

Счастлив тот художник, которому удается, сохранив жизнь и рассудок, преодолеть и миновать этот кризис, самый тяжелый и самый решающий из всех кризисов, что сопутствуют жизни творца. Счастлив, несмотря на все страдания, муки и блуждания, тот, кто не потонет в нем, но выберется на другой берег, достигнет нового и решающего этапа в своей работе и поисках. Счастлив и спасен. Потому что в художнике сейчас уже говорят не иллюзии, лучезарные или мрачные, а его творение — поскольку оно существует и в той мере, в какой оно существует. И в этом творении вдруг обнаруживаются все земли, не увиденные до тех пор, и все неуслышанные песни мира, все желанные плоды земли, все руки и все глаза, все силы и все формы, все, чего раньше невозможно было добиться и одолеть, теперь достигнуто, преодолено и подчинено полностью и навсегда.

Так выглядит суммарно изображенный и схематично намеченный путь художника от ничтожно мелкой исходной точки в молодые годы до последнего берега, на котором он, при благоприятном исходе, спасает свое творение и в нем свое имя, свою жизнь, причину своего бытия.

На этом берегу спасения, стоя на пороге старости, великий Коро с гордостью и достоинством мог сказать другу, посетившему его мастерскую: они со своей любимой женой действительно стареют, но его картины — нет. На этой точке жизни все жертвы художника, у которого хватило сил и счастья ее достигнуть, все его муки, ошибки и поражения становятся животворными и благословенными, интересными и близкими людям.

Об этом и говорит нам сегодня художественное творчество Йована Биелича, и точно так же оно будет говорить грядущим поколениям нашей страны и всего культурного мира.

Пусть эта короткая заметка послужит и моим вкладом в это осеннее торжество, слабым выражением моего восхищения творением Йована Биелича, сына суровой и мужественной Боснийской Крайны, великого югославского художника.

(«Израз» № 5, 1964 г.)

Мгновенья над перепиской Негоша[1]

Из девяти томов, которые в издании «Просветы» составляют собрание сочинений Негоша, три последних носят название «Письма».

Внимательней ознакомившись с этими

[1] Петар II Петрович Негош (1813—1851) — великий поэт и мыслитель, государь независимой Черногории. Философская поэма Негоша «Горный венец» (1846) несколько раз издавалась на русском и других языках СССР.

тремя томами, нетрудно заметить, что собственно настоящих-то писем здесь нет. Или, во всяком случае, их немного и не в том смысле, который мы вкладываем в слово «письма», когда имеем в виду иных людей и иные обстоятельства. Если судить по этой переписке, то можно прийти к выводу, что у самого крупного поэта, писавшего на нашем языке, вовсе не было личной жизни. Конечно, в переписке эта жизнь не видна, она лишь кое-где проглядывает. Причина этому, естественно, заключена не в переписке, которая в данном издании «Просветы» напечатана полностью и тщательно отредактирована, но в самой судьбе Негоша, когда жизнь человека-поэта целиком отождествилась с сообществом, в котором он родился, в котором он работал и умер.

Эта так называемая «переписка» Негоша за небольшими исключениями есть часть официального архива Черногории за двадцать лет, самых критических лет ее государственной, политической и культурной жизни.

Читая этот сборник, включающий свыше тысячи семисот писем, невольно хочется прежде найти те, в которых есть нечто значительное или особенное, или же те, что адресованы выдающимся людям; однако при дальнейшем чтении начинаешь читать все подряд и внимание привлекают даже те из них, которыми обычно он обменивался с русскими чиновниками, турецкими главарями или представителями австрийских властей в Которе и остальной Далмации. По сути дела это типичная официальная переписка, которая в качестве таковой чаще всего предназначалась для того, чтобы прикрыть подлинное лицо событий и придать им желаемый вид. Тем не менее сквозь строки этих писем можно увидеть новую, менее известную сторону жизни и работы Негоша. Подобные письма-акты, адресованные лично австрийскому начальнику в Которе, насчитываются сотнями. Это река жизни, которая у нас на глазах несет весь ужас и тягость будничных событий, так называемых маленьких людских судеб, это водоворот пограничных столкновений, столь незначительных и обыкновенных, если смотреть на них из дали минувшего, и столь тягостных и сложных, если они происходят изо дня в день, из года в год, когда они кружатся вокруг головы одного человека и когда этот человек молод и неопытен, чувствителен и горд, но не велик силою.

В самом деле, следует хорошо и твердо определить и постоянно иметь в виду то, что поэт, мы повторяем — самый крупный поэт нашего языка, нес ответственность и заботился о целом маленьком мире — тревожном, угрожаемом, убогом, необразованном, гордом и самовольном, что он поддерживал и за что боролся и со своими и с чужими. И полезно видеть, как он это выдержал и как при этом вел себя.

Многочисленны письма-ноты, которые адресованы австрийским властям и которые начинаются словами: «Жалуется мне Крцун Кралевич», «Сетует Ефто Ненезич», «Много печалится мне Маре, жена покойного Ивана Зеца» и тому подобное. Иногда речь идет о настоящих преступлениях, похищениях или мертвых телах, а иногда, и это чаще всего, о жалких мелочах жалких жизней на камне, близ границы. Например, 1 — буквами один — цехин, который некий Иво Йоков из Котора должен некой Стане, или несколько локтей сукна, или короткое ружье, которое отняли у какого-то черногорца в Которе. Но не перестает звенеть основная нота этой переписки: жалуется мне, сетует, жалуется — со всех сторон по самым разным поводам, пока все не превращается в одну большую жалобу и стенание, в однообразную, но по-своему величественную симфонию абсурдной и проклятой жизни на ветрометине. Все жалуются и обвиняют со всех сторон все и вся — и неизменно Негошу и только ему одному, а он должен за всех них просить или требовать, извиняться и оправдываться, объясняться или препираться. Ему самому некому пожаловаться, да и пользы от этого никакой.

Так началась эта черногорская симфония, и так она будет звенеть даже в течение последнего года жизни Негоша и в последних письмах его.

И все-таки нетрудно заметить, что существуют различия в тоне этой переписки, соответственно уже времени и обстоятельствам, когда писались письма.

В первые годы своего правления, пока он был еще молод и неопытен и пока его положение в самой стране было спорным и нетвердым, он осторожен в выражениях и скромен в своих требованиях, хотя уже тогда во многих местах между строк звучат и сила и самосознание того человека, который столь сдержанно пишет. Как правило, он не упускает сам первый подчеркнуть и обратить внимание на свою юность и свое тяжелое положение. Сразу же после принятия власти он пишет русскому консулу в Дубровнике Гагичу, что в Черногории положение тяжелое, «более же всего тяжело мне, скорбящему, ни дозревшему, ни готовому». «Вы знаете, что не имел я часов учения и ничуть мира не видел». Или опять Гагичу: «Я не сведущ в языках, равно как и в ином учении европейском, а помимо того молод я летами, как и просвещением». По отношению к черногорским вожакам занимает он ту же позицию. От них он требует, чтобы его, столь молодого, они поддержали, взывая к их патриотизму и к воле своего великого деда Петара I [1]. А соседям своим —

[1] Имеется в виду Петар I Петрович Негош (1780—1830), при котором Черногория добилась фактической самостоятельности.

и австрийцам, и туркам — он без устали повторяет одно: «Я со своей стороны не желаю смут никаких ни с кем, но добрососедского мира, покоя и тишины».

Сей необыкновенно юный государь мудр как старик — приспосабливается ко всему и кланяется каждому, но возвышает свой голос, едва речь заходит о том, что существенно, и о том, что он в поэзии, как и в жизни, называл — «Черногория и ее свобода». Так продолжается несколько первых лет. И за это время он находил способ противостоять своим многочисленным противникам и, будучи юным по возрасту и бессильным по положению, отбивал нападения и защищал права своей страны. Лишь спустя несколько лет, приблизительно после второй поездки Негоша в Россию, в переписке можно почувствовать определенную перемену. Соотношение сил и положение в его маленькой державе, лишенной внутренней организации и даже постоянной границы, по сути дела остаются прежними. По-прежнему, как он сам говорит, ему «всегда сопутствует противный ветер». И его положение всегда таково, что его можно лучше всего охарактеризовать его же неожиданно вырвавшимися необычными для него словами: «Тесно мне отовсюду». Скадарский паша есть паша, а представитель в Которе попрежнему олицетворяет могучую Австрию. Да и всемогущие начальники в русском министерстве иностранных дел не очень переменились. Пограничные районы для него по-прежнему «тесные края», «дикие углы». Он это хорошо знает. Да если б и позабыл, действительность бы ему напомнила. Все то же или подобное, но иным стал сам Негош. За первые шесть-семь лет своего правления ему с великими усилиями удалось сохранить страну и выстоять перед ее врагами и ее защитниками. Теперь он входит в пору зрелости, а в страдании скорее созревает. Путешествия, опыт, а особенно болезнь и размышления ускорили ритм этого созревания. И в его переписке заметны следы этой зрелости. Он попрежнему ищет, и принимает помощь, и не отказывается от советов, но очевидно, что он раз навсегда познал относительность всего и понял обусловленность чужой помощи, равно как и подлинную ценность самых добронамеренных советов. Ему ведомо теперь, что́ думать обо всех своих партнерах. И это его познание не является ни веселым, ни ободряющим. О своих черногорских вождях он говорит: «Трудно тому, кто у них первый», а о своих зарубежных соседях: «От всего они откажутся, и что сильной мышцей нельзя удержать, все то надобно ничем считать». Никакому договору верить нельзя.

Внимательный читатель в этой переписке — в личной, как и в официальной (а они остаются взаимосвязаны), — может отметить какую-то горькую решимость. Это сильная мужская горечь человека, лишившегося иллюзий, но полного решимости выстоять и исполнить свой долг до конца, человека, который воспринимает мир таким, каков он есть — ибо иначе нельзя, — но который не боится видеть в этом мире вещи такими, каковы они на самом деле, и называть их своими именами. Так он теперь и говорит тем, с кем вступает в контакт. Так им и пишет в частных письмах, да и в официальной переписке. Таковы письма Елачичу, Томазео, Гарашанину, Вразу[1] и другим. Таковы многие его суждения в официальных бумагах — твердые, реалистические, смелые, свободные от всех тех околичностей, которые нередко люди весь свой век, подобно цепям, волокут за собою, а в конце убеждаются, насколько это и недостойно, и ненужно.

Скадарскому везиру Осман-паше Скоплянцу он пишет в своем известном письме: «Это и иное ты можешь сказать тем, кто на мир сквозь трубку глядел, не мне».

Австрийскому представителю в Которе по случаю кровавой стычки на границе: «Пусть ничуть не удивляется Ваше Высокоблагородие, что для меня неприемлемо как по нынешним временам Вы поступаете с черногорцами. Но Вы говорите, что исполняете волю государеву. Ну ладно, раз воля государева на то, чтобы всякий день черногорцев избивали, пленили, грабили и прочими всякими способами бесчестили, пусть будет так; но я убежден, что и воля государева гнушалась бы подобных злодеяний, а не токмо бы вызывала их. Впрочем, Вы творите и знаете, что творите».

Этот стилистически и по содержанию блестящий отрывок в самом деле весь кипит от бессильного гнева и сдерживаемой досады. И такие встречаются часто.

Уже на пороге смерти, искушенный и ясный, он напишет следующие строки Кничанину: «Самообман убыточен и для людей, и для народов. Кому его подносят, пусть ему поддается, но я, прославив более тридцати восьми раз Пасху и оставив позади многие круги ада, не могу и не хочу обманывать себя. Я злу всяческому смотрю прямо в глаза».

Высказывания, подобные этому, очерчивают образ Негоша-человека, как пример подлинного величия. Им мы и завершаем наш краткий обзор, поскольку мы уже приближаемся к концу этой переписки, что означает одновременно и конец великой драмы жизни Негоша.

(«Стваране» № № 9—10, 1963 г.)

[1] Перечисляются государственные и общественные деятели Сербии и Хорватии, современники Негоша.

Заметки на полях

ЯЗЫК, КУЛЬТУРА И ПАРАДОКСЫ РОМАНТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ

За последние два-три года в общественном движении, известном под названием «новые левые», чрезвычайно усилило свои позиции направление, характерное ярко выраженным моралистическим складом (так называемые «новые новые левые»).

В отличие от «старых новых левых», возлагавших революционные надежды на разоблачительную силу своей критики американского общества и на эксцессы как основную форму социального протеста, «новые новые левые» поставили в центр своей программы идею преодоления современного социального кризиса с помощью усовершенствования личного и общественного сознания. (Правда, «ново-ново-левая» трактовка человеческого сознания весьма специфична, о чем речь впереди.) Среди наставников «новых новых левых» наиболее заметные фигуры — Чарльз Рейх (автор «Зазеленевшей Америки»), Теодор Розак и Поль Гудмен, который считается их основным идейным вдохновителем.

Поль Гудмен, весьма плодовитый поэт, прозаик, эссеист и публицист,— человек пожилой, разменявший уже седьмой десяток. Однако известность пришла к нему лишь в 60-е годы. Восхождением к славе он обязан помимо всего прочего острой парадоксальности своего литературного стиля, особенно выгодно отличавшегося от публицистической «неуклюжести» «старых новых левых». Будучи человеком либеральных убеждений (он противник репрессивной линии во внешней и внутренней политике, в частности вьетнамской войны и политических процессов), Гудмен называет себя «неолитическим консерватором». И эта чудаческая самоаттестация служит лишь вящей его популярности в американском обществе, которое складывалось в условиях парадоксального сочетания активизма в повседневной практике и морализующего консерватизма в сфере идеологии.

Одна из последних работ Гудмена — статья «Под-язык как социальный знак», опубликованная в американском журнале «Диссент», представляется, на наш взгляд, весьма характерной для воззрений социальных моралистов.

Что же такое «под-язык» и какую роль в развитии культуры и общества отводит ему автор?

По мнению П. Гудмена, важнейшим элементом речевого общения является сверхиндивидуальный, обязательный язык, предполагающий довольно строгую систему расстановки членов предложения и четкость произношения. Это общий код национального языка, скрепляющий все многообразие форм его конкретного повседневного употребления.

Несхожая с общеупотребительным языком, усеченная и упрощенная речь оказывается формою сцепления довольно узких групп — родственных, профессиональных, возрастных и т. д. Через этот условно упрощенный язык лицо отождествляет себя со своей группой. Это и есть, пишет Гудмен, под-язык, вырывающийся из лона языка общепринятого, чтобы стать групповым кодом и знаком принадлежности лица к данной группе.

Связанные с живым, спонтанным общением людей, с их повседневными нуждами, под-языки являются, по мысли Гудмена, неисчерпаемым источником пополнения

богатств общенационального кода в отличие от форм общения в группах уголовников или снобов, где национальный язык превращается в груду обломков.

> «...есть существенная разница между подобного рода арго и тем выборочным и интимным использованием общего кода, которое характерно для семьи, друзей, близких, товарищей по работе. Интимный язык развивается естественно; естественность его — в умении передать подлинные интересы человека с большей достоверностью, нежели это под силу общепринятому коду; он без всякой преднамеренности изменяет этот код. Что касается арго, то последний сознательно или бессознательно противополагает себя общему коду».

Гудмен пытается осмыслить социальные и культурологические стороны процесса непрерывного воспроизводства под-языков в системе единого национального языка.

> «Когда богатые становятся слишком привередливы, а бедняки превращаются в касту, общественные классы развивают свои под-языки. Покуда бедность возможна в пределах приличия, бедняки могут обладать исключительно добротным интимным языком, отличным от общего кода, конкретным, реалистическим, эмоциональным — не хуже, чем речь других членов общества. Известны слова Вордсворта, что «смиренная сельская жизнь» была источником его поэтического вдохновения: естественная эмоциональность, несвязанность внешними ограничениями, простота этого сельского языка делали его, по словам поэта, «более философским»...»

И у городских бедняков, продолжает Гудмен, был свой прекрасный язык — характерный, многоцветный, стремительный, убедительный. Нередко простые горожане описывались в литературе как живейшие собеседники. Но по-иному обстоит дело в разоренных сельских местностях или в трущобах больших городов, где бедняки бессильны, принижены, лишены возможности подключиться к системе раздувающейся в своем объеме экономики и высокоцентрализованной техники. Таковы, по мнению Гудмена, предпосылки утраты массами людей общепринятого кода языкового общения. Особая культура, «культура бедности», обособляет себя лингвистическим барьером. И хотя ребенок, живущий за этим барьером (скажем, ребенок негров-бедняков), наделен, если применить выражение американского лингвиста Ноума Хомского, не меньшей «врожденной алгеброй языка», чем другие дети, его лингвистическая одаренность работает лишь на закрепление этого барьера.

> «Представьте себе детей,— говорит Гудмен в этой связи,— посещающих казенную школу. Эти дети не могут пользоваться в полной мере ни господствующим кодом, ни своим собственным диалектом, и, естественно, у ребенка нет стимула улучшать свой диалект. Таким образом, детей заставляют чувствовать себя тупицами, как будто в самом деле у них нет никаких интеллектуальных данных. С человеческой точки зрения, у этих детей нет никакого другого выбора, кроме как упорствовать в своих языковых навыках и тем самым сокращать возможность своего доступа к сокровищнице общего языка. Это — взрывчатая ситуация».

Вполне в духе «ново-ново-левого» сознания П. Гудмен проводит мысль о существовании в каждом национальном языке классово предопределенных под-языков и о классовом характере языкового опыта человека в целом. Эту свою мысль Гудмен подкрепляет материалами английского исследователя Бэзила Бернстайна, изучавшего языковой опыт детей из бедной и буржуазной среды. Вот пример двух типичных диалогов на одну и ту же тему, который он приводит:

> «У бедняков:
>
> Мать. Сядь.
> Ребенок. Зачем?
> Мать. Сказала сядь, значит, сядь.
>
> В буржуазной семье:
>
> Мать. Сядь.
> Ребенок. Зачем?
> Мать. Затем, что ты уже большой и видишь, что другие тоже сидят.»

Такая социально-лингвистическая ситуация, по убеждению Гудмена, в одном ребенке почти фатально программирует маленького плебея, в другом — маленького буржуа. Комментируя эти крохотные диалоги, Гудмен исподволь сближает в своих построениях излишнюю «вербальность» языкового опыта буржуазного ребенка и буржуазность как стиль жизни. Но ведь еще один шаг — и такое сближение грозит обернуться отождествлением с буржуазностью всей сколько-нибудь разработанной культуры словесного общения.

В тех случаях, продолжает Гудмен, когда национальный язык дробится из-за слишком высоких барьеров между под-языками различных классов, на одних социальных полюсах культивируются под-языки с крайне обедненным словарным запасом и примитивными грамматическими конструкциями; при этом словесная бедность возмещается избытком жестикуляции, мимики, интонационных средств, а на противоположных полюсах языковой опыт оказывается излишне усложненным и рациональным. В одном случае — недостаточность словесного опыта, в другом — его болезненный и противоестественный переизбыток; в одном случае культивируется смешанный комплекс приниженности и агрессивности, в другом — эмоциональная ущербность, порождающая ханжеское отношение к слову, а через слово — ко всей действительности. А вместе это ведет к обеднению и общего языкового кода, и человека как такового. По Гудмену, через языковые структуры людям с детства задаются и их классовый опыт, и классовая ограниченность их миропонимания и взаимопонимания, и возможности разрушения ими общенационального языкового кода, и за всем этим угадывается призрак социальной катастрофы...

Итак, романтик и моралист Поль Гудмен усмотрел основной механизм воспроизводства социального зла, несправедливости и классовой разобщенности в раннем лингвистическом опыте человека. Волей-неволей сведя все к одному истоку, он пытается связать свои надежды на изменение этого положения с требованием изменений в методах школьного преподавания.

> «Целью образования должно быть обретение детьми свободной речи без классовых ограничений».

Гудмен с сочувствием пишет об экспериментах ряда американских учителей, которые в ходе учебного процесса позволяют детям высказывать в форме короткого стишка или лозунга те живые эмоции, которые обычно подавляются обстановкой в семье или школьными правилами. Однако, поставив в центр своей социальной программы важный вопрос о необходимости пробуждать в ребенке эмоции свободного и жизнерадостного человека (а не маленького функционера), Гудмен сам же ставит под сомнение свою утопическую идею преодолеть разобщенность нации с помощью педагогического эксперимента:

> «Заметьте, что такие усилия предпринимались лишь в работе с детьми из низших классов общества. Я ничего не слышал о попытках каким-либо образом освободить речь детей из среднего класса; но даже если бы такие попытки и предпринимались, они натолкнулись бы на сильное сопротивление и родителей, и школьных властей».

Нельзя не отдать должное озабоченности Гудмена будущим своего родного языка и неустроенностью судеб миллионов своих соотечественников. Гудмен бесспорно прав, полагая, что лингвистическая разобщенность народа несет с собою много зла. Но весь вопрос в том, является ли эта разобщенность важнейшим его первоисточником. А если так, то неужели единственной и почти неодолимой преградой для его искоренения оказывается злая воля буржуазных родителей и школьных властей?

Вчера Гудмен усматривал основной путь преодоления социального зла в интеллигентских коммунах, осваивающих наследие Кропоткина, сегодня — в изменении направленности школьного филологического образования. Небезынтересно будет узнать, какие рекомендации поступят от Поля Гудмена завтра...

Однако нас в данном случае более занимает общая культурологическая позиция этого мыслителя, для которой явно характерна недооценка серьезного словесного опыта человека — недооценка, столь эффектно облаченная в одежды «антибуржуазности». Вот почему апелляции к беднякам времен великого романтика Вордсворта или к эмоциональному и мыслительному миру ребенка (для раскрепощения которого от уз ханжества, кстати сказать, англоязычная литературная традиция со времен Твена и Кэролла сделала чрезвычайно много) не представляются нам убедительными. Попытаемся конкретизировать эту мысль.

Где только не искало романтико-утопическое сознание ту самую «праведную землю», которую сулил простодушным слушателям горьковский старец Лука! И в почитании наполеоноподобных «героев», возвышающихся над обезличенной «толпой», и в грезах об экзотических культурах, и в магическом «племенном духе», и в крестьянской общине. В XX веке романтики-утописты, вдохновленные открытиями в области психологии и лингвистики, принялись искать «праведную землю» в досознательных и автоматических пластах человеческой жизни... Искали где угодно, только не в том, что есть самое ценное из человеческих дарований,— в неуемном, вечно ищущем и диалектическом самосознании. Именно в самосознании Карл Маркс усматривал одну из важнейших родовых черт человека: познавая в ходе своей жизненной практики другого, человек осознает и взращивает человеческое в самом себе [1]. В стремлении противопоставить нелегкой действительности самосознания свои упования на скорое стихийное

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 23, стр. 62.

разрешение всех существеннейших проблем человеческой жизни романтики-утописты третировали самосознание как искусство комбинировать пресные силлогизмы, как расслабляющую рефлексию, рассудочность и т. д. Вот почему новейшие обличения в адрес «вербальности» как таковой — вещь не особенно новая. Справедливая реакция на недобросовестное оперирование словом (характерное для общества, культивирующего в себе социальную несправедливость) оборачивается у романтиков-утопистов враждой к самому Слову как основе человеческого самосознания. В превознесении стихийных аспектов человеческой действительности в ущерб самосознанию подчас сходятся консервативные и ультралевые версии американской идеологии. Так утопическая «праведная земля» парадоксальным образом обнаруживает себя в лоне американской традиции...

Е. РАШКОВСКИЙ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗМ, ИНТЕЛЛИГЕНТНОСТЬ И «МАССОВАЯ КУЛЬТУРА»

Видный польский социолог Анджей Сицинский опубликовал недавно в еженедельнике «Культура» статью, которая называется «Изменение роли писателя в современном мире» и уже самой постановкой вопроса дает пищу для обмена мнениями относительно социальной функции литературного творчества. Особенно интересны его размышления о таких проблемах, как массовая культура и творчество, писатель — участник коллективного труда и писатель-интеллектуал.

> «Общественная роль писателя и, следовательно, положение писателя претерпевают в настоящее время знаменательные превращения,— пишет А. Сицинский,— их не всегда принимают в расчет социологи литературы, хотя роль писателя во' второй половине нашего века нередко весьма существенно отличается от его роли в первой половине XX века, точнее, до второй мировой войны. Своеобразие роли писателя в наше время оформилось под влиянием комплекса общественно-культурных перемен, происходящих в современном мире».

К числу таких перемен автор относит быстрый рост производства и потребления, развитие техники и технологии, повышение среднего уровня образованности общества, бурное развитие средств массовой коммуникации, прежде всего массовой печати, радио, кино, телевидения.

> «Сформировался новый тип культуры: так называемая «массовая культура»,— пишет далее А. Сицинский,— а «массовая культура» — это не только невиданное ранее увеличение количества потребителей культуры. Это также влияние (особенно в условиях капиталистического рынка) вкусов этой публики...»

Изменение потребностей в пище духовной, связанное с повышением уровня образования и информированности различных слоев общества, действительно представляет собой едва ли не важнейший фактор, воздействующий на социальные функции писателя в современном обществе. Указание на «массовую культуру» как прямой ответ на запрос массового потребителя становится трюизмом: оно звучит иной раз как оправдание нивелировки и усредненности литературного творчества, кино- и телепродукции, а иной раз как сигнал тревоги, свидетельствующий о падении художественной ценности искусства. Однако сущность этого понятия и применимость его в различных социальных условиях остаются не разъясненными в названной статье, как, впрочем, и в других работах социологов-марксистов. Да и нелегко совместить требование «культуру — массам», представляющее одну из важнейших задач социализма, с понятием «массовая культура», имеющим, несомненно, негативный, даже презрительный оттенок. «Массовость» в одном случае — хорошо, в другом — плохо или, по крайней мере, не вполне удовлетворительно. От человека, едва усвоившего грамоту, нельзя требовать глубокого понимания Баха или Достоевского. Но вот от людей, которые пишут музыку, стихи и прозу для такого человека, можно и должно требовать достаточно высокой культуры и профессионализма. Основная проблема «массовой культуры», как мне кажется, связана не столько с характером запроса (здесь иной раз просто tabula rasa), сколько с уровнем ответа, с невысокой культурой самих создателей «массовых», ходовых ценностей.

Социологи литературы почему-то обращают значительно меньше внимания на другое неоспоримое явление — все более глубокую дифференциацию социального заказа, адресованного художественной литературе со стороны различных слоев общества. Для

нашего времени характерен не только рост массового потребителя духовных ценностей, но и чрезвычайное расширение того читательского слоя, который в прошлом называли «образованной публикой». Во времена Шекспира эта группа насчитывала, вероятно, не более нескольких тысяч, а во времена Толстого — несколько десятков тысяч человек. Сейчас миллионы читателей и зрителей, работающих в сферах интеллектуального труда (наука, образование, управление и т. п.), предъявляют писателю, драматургу, режиссеру требования ничуть не ниже требований, предъявлявшихся современниками Шекспира, Гёте или Толстого. Читательская аудитория инспектора Мегрэ, несомненно, в десятки раз превосходит число поклонников Шерлока Холмса и Рокамболя в начале века. Но так же несомненно, что во много раз увеличился слой читателей Достоевского, Хемингуэя, Фолкнера. Между тем «массовость» оказала влияние и на степень удовлетворенности интересов этой более культурной и образованной части общества: число Шекспиров и Толстых не возросло пропорционально росту и расширению слоя их почитателей. Иными словами, ключ к решению проблемы «массовой культуры», если уж пользоваться этим понятием, следовало бы искать не столько в «культуре масс», сколько в культуре, творимой для масс.

> «Расширение роли и сферы влияния средств массовой коммуникации, особенно телевидения и популярных журналов,— отмечает А. Сицинский,— явилось причиной двух существенных для положения современного писателя изменений. Во-первых, литература, или, говоря конкретнее, книга, утратила свое монопольное значение как источник информации о мире, как способ интерпретации мира и жизни... Во-вторых, эти «массовые средства» требуют значительного числа людей, профессионально пишущих. Среди «людей пера» быстро растет категория лиц, которые не являются писателями в традиционном смысле этого слова (то есть не являются авторами романов, стихов и т. п., в общем — книги). Но что еще важнее — с точки зрения профессии писателя,— функционирование средств массовой коммуникации тесно связано с деятельностью творческих коллективов, состоящих из многих соавторов: авторов текста, зрительного ряда, музыки, редакторов, режиссеров, операторов и т. д. Продукт массовой культуры в значительной степени лишен примет индивидуальности, а нередко анонимен».

Литературное творчество, к счастью, пока еще (а надеемся, и в перспективе) остается объектом индивидуального приложения сил. Коллективное писание романов или сочинение стихов в две, три или четыре руки не проникает, как правило, за границы жанра фельетона или детектива. Перевод литературы на рельсы индустриального труда и превращение ее в одно из средств информации о человеческом характере и человеческой душе означало бы смертный приговор этому виду творчества, который, как ни говорите, не только выдержал испытание временем, но оказался достаточно конкурентоспособным и тогда, когда кино и телевидение значительно упростили потребление пищи духовной.

А. Сицинский считает, что в настоящее время особо выделились две функции «людей пера»: с одной стороны, функция «писателя-интеллектуала», а с другой — «писателя в коллективе».

> «Первая из них,— пишет он,— отличается от традиционной роли писателя прежде всего тем, что престиж и возможности воздействия выходят далеко за пределы сферы литературы; а другая вытекает из своеобразия «средств выражения», из характера творческой мастерской.
>
> От быстро растущей категории «писателей в коллективе», то есть профессиональных, а очень часто — анонимных авторов текстов для радио и телевидения ожидают не столько новых идей, творческой изобретательности, сколько умения размножить определенные образцы с достаточно высокой четкостью и производительностью. Нередко, однако, случается, что при выполнении этой роли появляются выдающиеся творения, созданные на высоком художественном уровне (например, некоторые киносценарии и т. д.). Заметим также, что выполнение этой роли не является чем-то раз навсегда установленным, некоторые личности переходят из одной категории в другую, некоторые могут одновременно выступать и в той, и в другой роли...
>
> Впрочем,— заключает А. Сицинский,— каждая из ролей «людей пера» имеет свое место в развитии национальной культуры. Поэтому как практические, так и теоретические соображения говорят в пользу того, чтобы проблеме изменения роли писателя уделять больше внимания».

С этим выводом нельзя не согласиться. Проникновение социологического анализа в аудиторию читателя и зрителя, изучение ее запросов во всем разнообразии одновременно выдвигает задачу дифференцированного изучения не только различных жанров современного искусства и литературы, но и их различного уровня и функциональной роли. Мы бы, со своей стороны, предложили разграничение в рамках понятий «творческого» и «прикладного» труда, принятых для обозначения различий интеллектуальной деятельности в любой сфере (наука, образование, управление). Есть писатели — творцы

новых ценностей, новых идей, нового стиля, новых форм. И есть писатели — популяризаторы, исполнители, которые, идя путями, открытыми до них, выполняют полезную функцию в сфере массового потребления.

Представляет интерес размышление Анджея Сицинского о роли творцов высших культурных ценностей, которых он предлагает по аналогии с наукой называть «интеллектуалами».

> «Одним из следствий бурного развития современной науки и техники,— пишет А. Сицинский,— является формирование общественной категории так называемых «интеллектуалов», которые значительно отличаются от «интеллектуалов» предыдущих эпох и периодов. Представляется также весьма существенным то, что роль «интеллектуалов», как нам кажется, будет возрастать. Категория «интеллектуалов» охватывает не только выдающихся научных работников (в известном смысле тех, кого некогда называли «учеными»), мыслителей (выдающихся философов, идеологов), но также выдающихся писателей и представителей других сфер искусства... Для общественного положения писателей расширение категории «интеллектуалов» имеет принципиальное значение. Во-первых, писатель ныне разделяет свою функцию творца идей, «властителя дум», эксперта по проблемам морали с другими «интеллектуалами» — относительно широкой категорией представителей многих профессий и специальностей, тогда как ранее он разделял ее с узким кругом философов и идеологов. Во-вторых, лишь часть писателей может быть отнесена к категории «интеллектуалов». Хотя предметом наших размышлений являются вопросы изменения профессии писателя, а не изменение литературы, рискнем выдвинуть утверждение, что в настоящее время возрастает (а в будущем еще больше возрастет) синтезирующая функция литературы. Мы имеем в виду тот факт, что в период невероятного изобилия все более неупорядоченной информации, поставляемой средствами массовой коммуникации, особое значение приобретает ее «упорядочение», интерпретация. Сможет ли и будет ли литература справляться с этой ролью самостоятельно? С уверенностью можно сказать, что литература будет выполнять эту роль во взаимодействии с философией и наукой...
>
> Именно «интеллектуалы» (как мы понимаем этот термин) будут выполнять роль интерпретаторов мира. Начало этого процесса можно наблюдать уже сегодня (такова, например, роль определенного типа эссеистики, публицистики, научно-популярных произведений). Однако, с другой стороны, отнюдь не уменьшилась потребность в писателях как «интеллектуалах», проводниках в новом мире, дающих ключи к пониманию нового времени. Хотя как раз не писатель, а именно «интеллектуал» приобретает все более широкий общественный авторитет, помогает в понимании окружающего мира...»

Здесь хотелось бы лишь отчасти согласиться, а в большей мере — поспорить с автором. Верно, конечно, что интеллектуальный потенциал современного писателя, если он хочет быть на уровне тех представлений о мире, которые внесли А. Эйнштейн, Н. Бор, Л. Ландау, должен быть значительно выше, чем у его предшественников. Но видоизменилась ли существенно его социальная функция и умещается ли эта функция в понятие интеллектуализма — вот что остается неясным.

Прежде всего, беря термин «писатель-интеллектуал» в кавычки, автор невольно сам придает ему оттенок неясности, двусмысленности. Видимо, он не вполне уверен в адекватности этого термина описываемому явлению. И действительно, оно страдает неопределенностью с точки зрения моральной позиции и социального назначения литературного творчества. В нем отсутствует главное и специфичное для функций писателя — требование активного добра, человечности, справедливости, прогресса. В этом отношении бесспорное преимущество имеет слово «интеллигент» в том смысле, в каком оно существует в русском языке с середины XIX века, в трактовке передовой демократической и социалистической мысли. Оно имеет не только, так сказать, культурную, образовательную, но и большую морально-этическую и социальную нагрузку. Больше того, думается, что в сопоставлении этих двух понятий — «интеллектуализм» и «интеллигентность» — одна из коренных нравственных проблем нашего века. Научно-техническая революция сама по себе тяготеет в своих последствиях исключительно к интеллектуализации общественного труда. Но технический прогресс, как это предвосхитил еще Кафка, может в такой же мере быть носителем механической смерти, как и средством повышения культуры.

Писатель-«интеллектуал» едва ли сможет, по крайней мере в обозримой перспективе, конкурировать с интеллектуалом-ученым в отношении объема информации и глубины познания внешнего мира. Но вот мир внутренний, необозримый мир человеческой личности, мир Фауста, Гамлета и Раскольникова остается и, вероятно, останется в будущем — несмотря на все достижения социальной психологии, антропологии, социологии — объектом, в первую очередь, писательского наблюдения и исследования. И в отличие от науки, которая сама по себе не несет моральной нагрузки, художественное произведение концентрирует внимание на нравственных ценностях, понятиях совести, добра, зла, справедливости, смысла человеческого существования. Появление индустри-

ального производства «массовой культуры» ничего принципиально нового в этом отношении не вносит.

Я вовсе не за то, чтобы ограничиваться прежними характеристиками для обозначения новых явлений. Но, по-видимому, нужны еще серьезные усилия теоретической мысли, чтобы с максимальной полнотой отразить современные преобразования в области культурного творчества и его потребления.

Статья А. Сицинского интересна тем, что привлекает внимание к этим проблемам. Продолжение разговора и исследования необходимы...

Ф. БУРЛАЦКИЙ

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ВОСПИТАНИЯ И ВОСПИТАНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ

Проблема воспитания молодого поколения была актуальна во все времена и в любом обществе. Но бывают периоды, когда она приобретает особую остроту, и именно такой момент переживает сейчас капиталистический мир. «Бунт» молодежи, его политические, социальные, психологические причины продолжают занимать умы философов, социологов, педагогов, дают обильную пищу для всевозможных дискуссий, исследований, книг и статей, порождают сотни проектов изменений системы и целей образования.

> «Если школа есть прообраз меняющегося мира, то она и самое удобное место для осознания происходящих в нем изменений и возможностей воздействовать на него»,—

считает известный французский специалист в области школьного образования Ж. Шевалье. Это высказывание взято нами из его статьи «В средней школе», опубликованной недавно в журнале «Эколь э ля насьон». В той же статье он справедливо замечает, что

> «школа — это тот микромир, на основании которого можно судить о состоянии общества в целом, причем не только в настоящий момент, но и в будущем, если иметь в виду известный афоризм: «Наши дети — это наша старость».

Попробуем на основании газетных и журнальных выступлений представить себе этот «микромир» во Франции и посмотреть, как пытаются здесь найти выход из создавшегося кризисного положения.

Прежде всего бросается в глаза, что многие исследователи проблемы идут к ее решению от вторичных моментов: установление доверия между молодым и взрослым поколением, информация о профессиях, их разнообразии и выгодах, приспособление преподавателей к новой демократической аудитории и т. д.

Доменик Жаме в статье «Разрушители Родена» («Фигаро литтерер») считает, например, что многое зависит от преподавателей: в общей массе им, по мнению автора статьи, недостает демократизма, раскованности, простоты в общении с молодежью. Д. Жаме отмечает сверхобостренное восприятие лицеистами поведения преподавателей:

> «Их называют «ретроградами», если они требуют вежливости, «реакционерами», если они требуют тишины, «буржуа», если они придерживаются программы, «фашистами», если они отказываются от политических споров, «жандармами», если они требуют усидчивости и прилежания. А преподаватели не хотят быть ни реакционерами, ни фашистами, ни жандармами».

Желая овладеть аудиторией, они изо всех сил стараются развернуть свои интеллектуальные способности, видя в этом единственное спасение своего престижа. Ими исключаются всякого рода наказания и требования, так как большинство преподавателей убеждены, что «авторитет не завоевывается проявлениями власти». Даже если оставить в стороне такое абстрактное толкование власти, совершенно очевидно, считает Д. Жаме, что, начисто отказываясь от методов давления на учащихся, преподаватели тем самым отказываются от основной своей функции — быть педагогами. А эта функция, по его мнению, очень важна, в особенности для преподавателей средних учебных заведений, которые по призванию должны отвечать за формирование человеческой личности.

В вопросе о преподавателях французские журналисты мало внимания уделяют их воспитательной роли и еще меньше содержанию воспитательной работы. Их больше занимает внешняя сторона дела: личные качества педагогов, в том числе физические данные, умение одеваться, манера держаться и т. п. Жиль Лапуж в статье «С новыми мэтрами завтрашних факультетов» («Фигаро литтерер») пишет:

«Что касается преподавателей... фильмы, привозимые из Соединенных Штатов, просветили нас, какими им следует быть: высокие загорелые парни, беспечно-спокойные, в тенниских и тренировочных костюмах, едва отличимые от своих учеников, с ракеткой под мышкой, преподающие историю или кванты лучисто улыбающимся молодым девушкам в белых юбках».

Понятно, что Лапуж не призывает буквально следовать американской модели (об этом говорит его ироничный тон), но полагает необходимым существование и такого образца для подражания. Основными условиями авторитета, по его мнению, будут все же широкий кругозор преподавателя, умение организовать свой рабочий день, распределить усилия и не стать при этом чудаком не от мира сего, и главное — демократизм.

Демократичный преподаватель, демократические отношения, демократический порядок... Сколь различен, однако, смысл, вкладываемый в это слово. Вот что пишет в этой связи Люсьен Брюнель в статье «Педагогика «прогрессистская» или педагогика «демократическая» (журнал «Резон презант»):

«Можно дать определение выражению «демократическая педагогика», только уточнив формы, в которых она может выступать. Ставить на первое место содержание воспитания, а на второе — воспитательные отношения... значит подчинить средства целям, значит избрать иезуитскую традицию образования, значит довольствоваться тем, чтобы воспитать гражданина, послушного своему долгу, не заботясь о том, как отражается это на развитии его личности. Короче, это означает выступать в поддержку тоталитарной концепции педагогики».

Для Люсьена Брюнеля «демократическая педагогика» отличается первенствующей ролью воспитательных отношений, которые нужно понимать как установление определенных этических норм между учителями и учащимися, воспитателями и воспитуемыми.

Называя себя марксистом, он отрицает цель воспитания: воспитание не должно идти в том же направлении, что развитие общества, заявляет он. Оно может быть даже ему противопоставлено (!), и в этом случае оно обеспечит расцвет и развитие личности.

Точка зрения Л. Брюнеля не поражает новизной, и хотя его статья написана на более высоком теоретическом уровне, чем упомянутые выше, он по существу приходит к тем же выводам: то есть требует пересмотра этики отношений между преподавателем и учеником как основы возможных изменений в институте школы.

Но неудовлетворительные моральные нормы при каком бы то ни было конфликте не суть первопричина и источник конфликта. Обособляя мораль, выделяя ее как единственный способ качественного изменения ситуации, Л. Брюнель и ряд других исследователей вопроса о современной педагогике возлагают на мораль задачу, объективно для нее непосильную.

Много проектов и предложений связано с необходимостью привести систему образования в соответствие с требованиями научно-технической революции.

Сами по себе такие проекты содержат немало конструктивных идей. Есть они, в частности, и в статье Робера Брассанса «Проблемы молодежи», опубликованной в «Ревю де дефанс насьональ». Но в ней обращает на себя внимание и настораживает мысль автора, настойчиво проводимая на протяжении всей статьи,— о необходимости для учащихся осознать свое социальное положение. Эта же мысль, кстати сказать, часто встречается в проектах «технократического» характера.

«Нужно,— пишет Р. Брассанс,— предпринять усилие для проведения интеграции молодежи в самом общем высоком смысле этого слова, а также постараться заинтересовать молодых в жизни их социальных групп в рамках французской нации в целом».

Такая цель, поставленная в условиях буржуазного общества, фактически означает направленность на стабилизацию господствующих классов и развитие более утонченной системы эксплуатации человека человеком.

И еще один штрих. В определенных кругах настойчиво проповедуется идея привлечения церкви к воспитанию молодежи (это «может спасти детей от профессиональных занятий марксизмом»). Хотя еще со времен Великой Французской революции государственная школа была отделена от церкви, влияние церкви нельзя недооценивать. Неслучайно в учебных заведениях Франции избегают преподавать материалистическую философию.

Школьный вопрос во Франции достиг сейчас такой степени сложности, что когда в начале текущего года появился перевод нашумевшей в США книги мексиканского исследователя Ивана Иллича «Общество без школы», многие ухватились за нее как за спасительную соломинку. Ведь если нельзя прийти к сколько-нибудь устойчивому решению вопроса, не лучше ли его снять совсем? В связи с этим комиссия по образованию при ЦК Компартии Франции в документе, опубликованном в журнале «Эколь э ля насьон» заявила:

«Наивысшим выражением идеологического кризиса можно считать сомнение в необходимости существования школы как таковой. Представленный бур-

жуазной прессой и ОРТФ[1] как «потрясающий» гений, Иван Иллич проповедует общество без школы. Фактически этот старый евангелист отказывается от знаний и культуры и разворачивает нечто вроде ретроспективной или, скорее, регрессивной утопии, которая приведет к насаждению в обществе педагогики докапиталистического образца».

Позиция коммунистической партии в решении школьного вопроса отличается реальным взглядом на вещи, желанием отмежеваться от разного рода реформистских и технократических иллюзий, одной из которых стала книга Ивана Иллича.

«Эта кампания против науки и разума,— говорится далее в документе,— началась в тот момент, когда крупная буржуазия, оказавшись неспособной ответить требованиям научно-технической революции, стремится отделить образование от научных исследований. Она тормозит прогресс! Демократическая Франция не будет Францией без школ; в ней будет много школ по-настоящему демократических и современных».

Компартии Франции приходится вести ожесточенную борьбу за свой проект изменения школы — за национализацию образования. Французских коммунистов часто обвиняют в том, что они стремятся подчинить развитие культуры, и образования в том числе, государственной власти. (Такие нотки звучат и в статье Люсьена Брюнеля.) Прямой ответ на эти выпады содержится в том же документе:

«Мы не думаем, что всякая власть по природе своей предполагает произвол, что всякая школа насаждает официальную псевдокультуру. Новая школа будет способствовать развитию и распространению культуры во всю ее ширь».

Борьба коммунистов осложнена также и тем, что часть преподавателей совсем отказывается от каких-либо изменений, а другие ищут решение в педагогическом чуде или в административных заменах. На них и работает буржуазная идеология.

Одним словом, «проблема молодежи» и кризис образования остаются пока неразрешенными.

Испытывая серьезное беспокойство за судьбы молодежи, лидер французских социалистов, Франсуа Миттеран, выступая перед началом учебного года по телевидению, сказал (его речь была напечатана в журнале «Прёв»):

«Множество решений было предложено в течение последнего десятилетия. У меня на столе лежат две высокие стопки книг, журналов, докладов, исследующих вопрос до мелочей, со всевозможных точек зрения, казалось бы обо всем рассказавших читателю. И читатель не может не восхититься полетом фантазии, разгулом воображения в них, а также сугубо научным подходом к проблемам молодежи, которая тем не менее остается непонятой».

И хотя Ж. Бонно в статье «Больной лицей» (еженедельник «Экспресс») написал, что

«не стоит переносить изъяны и противоречия общества на школу: таким образом не преодолеешь трудностей, а только сделаешь задачу неразрешимой»,

думается, что этой оговоркой журналист не снял вины и ответственности общества перед своими молодыми членами.

С лета 1972 года Французская компартия борется за развитие системы национального образования во Франции в союзе с социалистической партией. Выражая надежду на эффективность союза прогрессивных и демократических сил, Пьер Жюкен в редакционной статье журнала «Эколь э ля насьон» «Есть ли будущее у национального образования во Франции?», в частности, пишет:

«Школа при капитализме настолько больна, что все демократы, все сторонники прогресса и культуры должны объединить свои усилия, чтобы максимально содействовать демократизации жизни, подготовить ее коренные изменения — не такие, при которых все остается по-прежнему, а такие, которые позволят изменить общество.

Дух науки, дух демократии — вот две основы национального образования в демократической Франции».

Отдавая себе отчет в широте и размахе поставленных проблем (ведь речь идет о людях завтрашней Франции), коммунисты последовательно проводят свою политику демократизации национального образования, требуя увеличения ассигнований на школьное дело, реформ в области профессионального обучения, занимаясь вопросами высшей школы (где больше всего трудностей), а также весьма важным вопросом подготовки преподавательских кадров. Мелкие и крупные победы, одержанные на этом пути,— залог дальнейших свершений.

О. ТИМАШОВА

---

[1] Объединение радио и телевидения Франции.

Публицистика

СИМОНА ТЕРИ

ФРАНЦУЖЕНКА В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ

Впервый раз я побывала в Москве в 1935 году и собственными глазами увидела, что такое советская действительность. Оттуда я послала свою первую статью в «Юманите». Она была посвящена памяти нашего дорогого Анри Барбюса, который до последнего дня призывал народы к борьбе за мир, хотя и чувствовал, что новая война стоит на пороге. В Москве я приняла решение вступить в коммунистическую партию.

Я намеревалась вернуться в Москву следующим летом. Но в 1936 году разразилась война в Испании, и я отправилась в Мадрид, где стала свидетельницей того, как силы реакции задушили Испанскую Республику. После падения Мадрида мировая война стала неизбежной...

С тех пор прошло шестнадцать лет, и вот я снова в Советском Союзе. Еще в самолете я спрашивала себя: «Узнаю ли я Москву после этой войны?» И я в самом деле ее не узнала.

Но не война, не бомбежки сделали Москву неузнаваемой: она преобразилась в результате довоенного и послевоенного мирного строительства. Ведь советский народ пользуется миром не для того, чтобы готовить агрессивные войны, а для того, чтобы сделать свою жизнь богаче и счастливее.

Первым делом я решила пойти на Красную площадь, посетить Мавзолей великого Ленина.

— Я хочу отнести Ленину букет цветов.

— К сожалению, это не разрешается,— ответили мне.— Если каждый принесет хотя бы по одному цветку, через полчаса в Мавзолей нельзя будет войти!

Но мне так не хотелось идти с пустыми руками, тем более что весь мой номер в «Национале» был полон цветов. Ни слова не говоря, я выбрала пару самых красивых алых гладиолусов. Там будет видно...

Мы выходим из «Националя». Что за чертовщина! Ведь я отлично помню, что для того, чтобы попасть на Красную площадь, нужно пересечь лабиринт узеньких улочек с двух-, трехэтажными домами. А теперь передо мной простирается огромная новая площадь, похожая на площадь Согласия!

— Старые улочки мешали движению,— объясняет мне переводчица,— поэтому их и решили снести. Теперь вы можете любоваться Красной площадью из окна гостиницы.

Я оглядываюсь по сторонам. Справа новую площадь замыкает прекрасное здание Манежа, налево высится огромное массивное строение в четырнадцать или пят-

надцать этажей. Это гостиница «Москва». В 1935 году я видела, как ее начинали возводить.

Мы огибаем площадь. Отсюда, как я помню, начинается улица Горького, самая оживленная, самая деловая магистраль города. Но где же она? Я застываю в недоумении. Моя переводчица заливается смехом.

— Улица Горького на месте! Вы на ней стоите!

Чтобы понять мое изумление, вообразите, что, придя, скажем, на улицу Риволи, вы обнаруживаете вместо нее проспект, похожий на Елисейские поля!

Вы помните сказку о Золушке, которая из замарашки превратилась в принцессу? Вот так же и старая Москва, с ее средневековыми улочками и грязными лачугами, словно по мановению волшебной палочки стала самой современной, самой просторной, самой грандиозной столицей мира, бережно сохранив при всем этом культурные ценности прошлого!

Вот мы и на Красной площади. Еще издалека я замечаю длинную процессию, которая змеится по брусчатке вдоль Исторического музея, вдоль кремлевских стен. Ей не видно конца, она теряется в садах, окружающих Кремль. Я приближаюсь к Мавзолею, любуясь его строгими и чистыми линиями. По сторонам небольшой двери застыли два юных бойца Красной Армии.

Люди входят в эту дверь медленно, в почтительном молчании. Это рабочие, интеллигенты, крестьяне, солдаты. Некоторые держат в руках чемоданы — они пришли сюда прямо с вокзала. Вот старая крестьянка с загорелым, изборожденным морщинами лицом, за ее юбку цепляется внук. Она украдкой смахивает набегающие слезы.

Уже двадцать шесть лет движется эта процессия. В июльскую жару, под осенними дождями, в январскую стужу люди часами ждут своей очереди, чтобы на несколько мгновений оказаться рядом с Лениным, чтобы взглянуть в лицо того, кто разбил цепи рабства и создал первое в мире социалистическое государство.

Я вхожу вместе со всеми, поворачиваю налево, спускаюсь по лестнице. Процессия затаила дыхание. Слышен только легкий шорох подошв по мраморным ступеням. Мы в сердце Мавзолея, в усыпальнице. Я устремляю взгляд на возвышение, по углам которого стоят четверо часовых. Там лежит товарищ Ленин.

Кажется, что он спит после рабочего дня, спокойно сложив натруженные руки. Ждешь, что вот-вот он вздохнет, проснется и заговорит с нами.

Я тихо кладу свои гладиолусы на край гроба. Спасибо тебе, товарищ Ленин, за то, что ты открыл всем нам великую дорогу к будущему!

■

Я в изумлении застываю перед огромной цветочной клумбой в форме звезды, подлинным шедевром садово-паркового искусства.

— Здесь 90 видов различных цветов,— с гордостью объясняет мне садовник.— Не верите? Можете пересчитать!

Эта клумба, похожая на драгоценный ковер, находится в центре прекрасного парка. Вручая мне пышный букет только что сорванных цветов, садовник продолжает:

— Да это же мелочь, пустяки! У нас тут триста тысяч деревьев и кустарников. Что же говорить о цветах!

Сколько цветов! Какие они красивые, какие ухоженные! Где я? В городском саду? В поместье какого-нибудь богача? Нет. Я на окраине Москвы, на заводе «Калибр», выпускающем точные измерительные приборы. Может быть, это образцово-показательное предприятие? Отнюдь. Это самый обычный завод, к тому же довольно старый: он был построен еще в 1932 году, во время первой пятилетки.

В Советском Союзе, где каждый месяц вступают в строй десятки новых заводов, 19 лет — это огромный возраст, так что «Калибр» называют теперь заводом-дедушкой. В 1932 году СССР только начинал создавать тяжелую промышленность, чтобы догнать развитые капиталистические страны. Теперь новые технические средства позволяют строить куда более мощные и современные предприятия.

Я не инженер по профессии и поэтому должна признаться, что больше всего меня поразили на этом заводе именно цветы. Вообразите себе завод, стоящий посреди парка! Выйдя из цеха, в котором грохочут машины, попадаешь на лужайку, усеянную кустами роз. Такие деревья, такие цветущие заросли обычно связываются в нашем сознании с днями юности, с весной, с порой отдыха, с прогулками по парку в воскресный день. Здесь же вся эта красота всегда перед глазами самого скромного труженика. Он может наслаждаться ею, едва покинув заводские корпуса, не успев еще вытереть ладоней, почерневших от мазута.

Здесь тоже зарабатывают свой хлеб в поте лица своего, но труд перестал быть проклятием, наказанием, наложенным на человека злобным богом. Здесь понятия «труд» и «красота» стали неразделимыми.

Новые условия труда породили новое отношение к труду. Советские рабочие знают, что трудятся не ради обогащения частных предпринимателей, а ради процве-

тания всего общества, ради самих себя. Отсюда их законная гордость своим трудом, их воодушевление, их благородное стремление к соревнованию.

Центральная аллея, ведущая к заводу «Калибр», аллея почета, украшена огромными портретами. Я решила, что они призваны увековечить память героев, погибших на войне. Но мне объяснили, что это портреты лучших рабочих и инженеров завода. У нас газеты полны статей о гангстерах, убийцах или королевах красоты. А в Советском Союзе самая большая честь воздается передовикам производства, известным артистам, крупным ученым. Их фотографии публикуют в газетах, о них пишут статьи, у них берут интервью. Это и есть подлинная слава!

■

Уровень жизни в Советском Союзе повышается из года в год. Советские люди все лучше питаются, все красивее одеваются, к их услугам все больше библиотек, театров, школ, стадионов, детских садов, дворцов культуры, кинотеатров, домов отдыха.

И однако, чем глубже знакомишься с их жизнью, тем больше убеждаешься, что все эти баснословные достижения — не самое главное из того, что принесла им Октябрьская революция.

Теперь даже самые оголтелые враги Советского Союза не в силах отрицать, что эта страна, которая всего каких-нибудь три десятка лет назад тащилась в хвосте большинства капиталистических государств, стала могучей мировой державой. Они уже не могут закрывать глаза на ее фантастические успехи, на все убыстряющиеся темпы ее производства, которые оставляют позади даже темпы развития Соединенных Штатов. Они уже не могут не считаться со всем тем, о чем свидетельствуют как статистические данные, так и рассказы очевидцев, побывавших в Советском Союзе.

Вот почему апостолам антисоветизма, всем этим добросердым «гуманистам» и «моралистам», остается лишь язвительно восклицать: «Допустим, что эти достижения, которыми нам прожужжали все уши,— правда. Но что они, в сущности, означают? Выходит, что советские люди только и думают о том, как бы им посытнее поесть, получше одеться. Все они превратились в низменных материалистов. При чем же тут Человек с большой буквы? Индивидуум? Душа? Человеческое сердце?»

Заметьте прежде всего их поразительное, чудовищное равнодушие к насущнейшим человеческим нуждам. Какое дело этим салонным моралистам, привыкшим сладко есть и мягко спать, до того, что миллионы людей вырвались наконец из нищеты, избавились от безработицы, от неуверенности в завтрашнем дне, какое им дело до того, что все советские граждане, многие из которых были до революции безграмотными крестьянами или полудикими кочевниками, могут теперь есть досыта, имеют возможность отдавать своих детей в школу, пользуются бесплатным медицинским обслуживанием, имеют право на обеспеченную старость? Ведь каждый человек нуждается прежде всего в удовлетворении своих материальных нужд: без этого он просто не смог бы существовать. Чтобы быть свободным, ему нужно сначала освободиться от голода. А что стоит «свобода» по-американски, когда одним предоставлена свобода накапливать миллиарды, а другим — ночевать под мостами и подыхать с голоду?

Теперь невозможно отрицать социальные и экономические победы советского строя. Потому-то клеветники всех мастей, припертые к стенке неопровержимыми данными, и пытаются отыграться, разглагольствуя о Человеке. Что может быть проще! Ведь Человека, с его моральными качествами, с его душой, с его сердцем, не втиснешь в статистические отчеты, не выразишь на языке цифр!

И тем не менее моим самым поразительным открытием в СССР было именно открытие советского человека. Новый человек, его моральные качества составляют самую необыкновенную, самую удивительную, самую высшую победу советского строя.

В конечном счете рождение нового человека не является ни чудом, ни случайностью. Вполне естественно, что, предоставив в распоряжение всех граждан накопленные совместным трудом богатства, открыв им доступ к сокровищам культуры, коренным образом изменив условия их жизни, преобразовав их отношения между собой, их отношение к труду, их отношение к правительству, ставшему подлинно народным, советский строй тем самым мало-помалу преобразил и самих людей.

Лишь благодаря этим социальным завоеваниям стало возможно рождение нового человека. Каждый советский гражданин получил возможность день ото дня развивать все лучшее, что в нем заложено, год от года становиться все более достойным благородного звания человека.

Какими словами определить этого нового человека, эти новые моральные качества? Здесь мы находимся в области, к которой неприложимы обычные мерки. Можно сфотографировать Дворец культуры, но не человеческую душу. Можно выразить в цифрах продукцию той или иной фабрики, но где отыщешь цифры, которыми измеряются доброта, отвага, благородство, бескорыстие? Говорить обо всем этом трудно еще и потому, что советские люди, так охотно показывающие гостям свои города, заводы, новостройки, предпочитают помалкивать, как только разговор переходит на эту тему.

Почему? Прежде всего, очевидно, потому, что не могут же они, в самом деле, сказать иностранцам: «А теперь поглядите на нас: видите, какие мы хорошие!» Но главным образом потому, что в подавляющем большинстве они даже не отдают себе в этом отчета. И в этом нет ничего удивительного. Ведь процесс перерождения свершался медленно, постепенно, незаметно для них самих. К тому же он охватил одновременно всех советских людей, так что у них не было никаких критериев для сравнения. Разве человек удивляется тому, что он таков, каков он есть?

Но путешественнику, прибывшему из-за границы, сразу же бросается в глаза разница между тем, что он видел у себя дома, и тем, что видит здесь.

Здесь все иначе, здесь совсем иная атмосфера. Как ее описать? Первое, что поражает вас на улице, это ощущение счастья. У прохожих открытые, довольные, приветливые лица.

Побывав в Советском Союзе, замечательный художник Жан Эффель остался в восторге от всего увиденного. Его не замедлили упрекнуть в том, что он позволил «заморочить себе голову», стали уверять, что он видел то, что было «угодно властям». На все это Эффель ответил с лукавой улыбкой: «Выходит, что ради меня власти приказали миллионам людей притворяться, будто они счастливы?»

■

Впервые в жизни я еду в Ленинград. Знаменитая «Красная стрела» отправляется из Москвы поздно вечером и прибывает в Ленинград утром. Как следует выспавшись на мягкой кушетке, я встаю и отдергиваю занавески, чтобы полюбоваться пейзажем. Поезд мчится сквозь сосновые рощи и березовые перелески, мимо полей, лугов, озер, мимо огородов с подсолнухами, которые весело тянут к солнцу свои золотые головки.

Здесь шли ожесточенные бои, все вокруг было разрушено захватчиками. А теперь вдоль всего полотна, во всех городках, городишках, деревнях идет стройка. Повсюду растут новые дома. Мимо окон то и дело проносятся надписи, старательно выложенные из камешков на покрытых травой откосах: «СССР — оплот мира во всем мире». Счастлива страна, где слово «мир» не звучит как издевательство, где железнодорожники могут в свое удовольствие выкладывать такие надписи, не опасаясь, что ими заинтересуется полиция.

Ленинград! Я вспоминаю Марию, переводчицу с французского, с которой мы подружились в доме отдыха имени Серафимовича, где она проводила свой отпуск. «Я из Ленинграда!» — с гордостью заявила мне она, едва мы успели познакомиться. Впрочем, кто из жителей Ленинграда не гордится своим городом? Между москвичами и ленинградцами издавна существует трогательное соперничество: они стараются убедить друг друга, что их город самый лучший на свете.

И ленинградцам есть чем гордиться. По пути в Ленинград я не уставала расспрашивать Марию про блокаду, про эти страшные девятьсот дней беспрерывных бомбежек. Целые кварталы были разрушены снарядами и бомбами. В городе не осталось ни одного дома, который не пострадал бы от обстрела. Канализация не работала, воды не было — приходилось продалбливать проруби в невском льду. Не было ни электричества, ни отопления. И самое главное — не было хлеба. Ужасной зимой 1941—1942 годов хлебный паек составлял всего 125 граммов в сутки на человека. 125 граммов! И больше ничего! По льду Ладожского озера — единственной дороге, связывавшей Ленинград с Большой землей, грузовики, преследуемые немецкими истребителями, доставляли в изнемогающий город муку. Дома рушились под градом снарядов. Бомбежки, пожары, голод, холод... Люди умирали тысячами...

— Но что же говорили люди, жившие в этом аду?

— Они стискивали зубы и умирали.

— Так ничего и не сказав?

— Говорили мало. Берегли силы, чтобы выжить, чтобы помочь выжить родным, соседям, чтобы выстоять, чтобы победить!

— А не было ли в городе беспорядков? Никто не говорил о сдаче?

Когда я задала Марии этот вопрос, мы прогуливались по коридору вдоль купе. Она остановилась и ошеломленно посмотрела на меня. Потом с возмущением воскликнула:

— Никто!

Таков Ленинград, город Ленина.

Все это может служить лишним доказательством того, какие высокие моральные качества, какое величие духа мог воспитать в своих гражданах советский строй. В какой еще стране отыщутся примеры такого единодушия и героизма? Разбить врага помогло не только оружие, не только мужество — ведь и немецкие солдаты не были трусами,— но прежде всего величие духа советского народа. Это оно сделало его непобедимым. И, если потребуется, оно вновь поможет ему одержать победу над любым захватчиком.

На следующий день по приезде в Ленинград я отправилась в Петергоф, загородную резиденцию Петра Великого.

Здесь проходила линия фронта. Немецкие окопы отделяло от советских укрепле-

ний всего несколько сот метров «ничейной земли». Но теперь уже почти не отыскать следов разыгравшейся здесь титанической битвы. Все было убрано, расчищено, приведено в порядок. Лишь изредка натыкаешься на куски колючей проволоки, торчащие из земли, словно стебли чертополоха.

А вот и сам Петродворец, жемчужина архитектуры XVIII века, приводившая в восхищение туристов всего мира. Я вхожу в парк и замираю на месте. Сердце разрывается на части от скорби, гнева и негодования. Как они осмелились на это? Подумать только, эти человекообразные чудовища, эти вандалы и дикари утверждали, что защищают европейскую цивилизацию от азиатского варварства! Чтобы понять мои чувства, представьте себе, что, приехав в Версаль, вы видите вместо дворца только обломки стен, почерневшие от пожара. Перед тем как уйти из Петергофа, фашисты тщательно, методично, аккуратно заминировали великолепный дворец Петра Великого и взорвали его. Потом облили развалины бензином и подожгли их.

Ленинградцы намереваются восстановить Петродворец таким, каким он был раньше. Это потребует огромных усилий, а сейчас есть задачи более неотложные. Но парк уже приведен в порядок, уже бьют знаменитые фонтаны, уже струится по прекрасным ступеням французского мрамора большой каскад.

Перед тем как покинуть Ленинград, я отправилась на Марсово поле. Здесь, в центре города, недалеко от Невы, похоронены участники Октябрьского переворота. Рядом с видными революционерами покоятся безымянные герои: петроградские рабочие, солдаты и матросы, под руководством Ленина сражавшиеся против юнкеров и белогвардейцев. Я пришла поклониться их праху, прочесть высеченные на камне надписи. Они были сделаны еще тогда, когда молодая Республика Советов отражала агрессию четырнадцати государств.

Вот одна из этих надписей:

«Со дна угнетения, нужды и невежества поднялся ты, пролетарий, себе добывая свободу и счастье; все человечество ты осчастливишь и вырвешь из рабства».

А вот другая:

«1917—1918 гг. вписали в анналы России великую славу — скорбные светлые годы. Посев ваш жатвой созреет для всех, населяющих землю».

■

Под крылом самолета, насколько хватает глаз, простирается бесконечная голая равнина, выгоревшая под солнцем. Кое-где, словно волны на море, на ней вздуваются пологие холмы. Это степь. Следы войны отпечатались на этой нагой земле отчетливей, чем следы босых ног на песчаной отмели. Мне уже приходилось пролетать над полями сражений, но никогда я не видела ничего подобного. Равнина изрыта бомбами, усеяна огромными воронками. Она похожа на покрытое оспинами лицо. Вдоль каждой складки рельефа, вдоль каждого бугорка тянутся запутанные лабиринты траншей. Кажется, что вся земля перепахана здесь исполинским плугом.

А ведь до Сталинграда еще далеко. Что же нас ждет в самом городе? Где взять мужество, чтобы без содрогания взглянуть на его священные руины?

Но едва очутившись на веселом зеленом аэродроме, я спросила себя: уж не ошиблась ли я? Неужели это и вправду цель нашего путешествия, а не какая-нибудь промежуточная посадка? Передо мной вставал не трагический Сталинград военных лет, а город, подобный тем, которые могут только пригрезиться в счастливом сне. И когда я вошла в этот сон, он не рассеялся. Это был город, каких мне еще не приходилось видеть: волшебный город белых дворцов, ослепительно сияющий под бледно-голубым небом. И, увидев этот Сталинград, наш Сталинград, за который отдали свою жизнь тысячи героев, я уже не смогла удержаться: слезы радости потекли по моим щекам...

Мне понадобилась бы целая книга, чтобы описать все, что я видела в этом лучезарном городе, описать встречи с его защитниками, с его строителями. Меня возили по городу, показывали то, что уже сделано, рассказывали о том, что еще предстоит сделать. Но в моем сердце слово «Сталинград» связано с иными образами, и поэтому я всякий раз просила, чтобы мне показали те места, где разыгрались эпизоды великой битвы, о которых я знала по книгам.

Я видела дом Павлова. Он знаменит вдвойне. Во-первых, потому, что здесь сержант Павлов с шестнадцатью бойцами отражал натиск целого немецкого батальона. Немцам так и не удалось прорваться к Волге, от которой их отделяла всего какая-нибудь сотня метров. Во-вторых, потому, что именно с этого дома началось восстановление Сталинграда. Однако в память о подвиге советских воинов этот дом не восстановлен до конца: он остался неоштукатуренным. На изрешеченной пулями стене сохранилась надпись, сделанная сержантом Павловым в одну из ночей битвы: «Мы защитим тебя, Сталинград!»

За домом Павлова высится скелет здания из красного кирпича, зияющий пробоинами, опаленный пожаром. Это все, что осталось от огромной мельницы, в которой находился штаб одного из полков. Эти развалины решено сохранить в неприкосновенности, чтобы, глядя на них, будущие поколения советских людей могли представить себе Сталинград, каким он был после войны. На мемориальной доске начер-

тано: «Здесь стояли насмерть герои-красногвардейцы. Пусть их подвиги послужат для вас примером».

В центральной части города разбит великолепный сад с цветочными клумбами. Здесь идет реставрация памятника героям Царицына. За ним — огромная братская могила, где покоятся защитники Сталинграда. А чуть подальше — еще одна могила, покрытая цветами. В ней погребены три Героя Советского Союза: испанец Рубен Ибаррури, сын Пассионарии, русский Каменщиков и татарин Фахтадинов. Этот могильный холм — символ братства народов всей земли с народами Советского Союза.

На Мамаев курган, самую высокую точку города, где разыгралась решающая битва, меня сопровождает Евгений Грушенков. До войны он работал токарем на Тракторном заводе, но его подлинным призванием была, как он мне сам сказал, история. Он окончил заочное отделение исторического факультета педагогического института, потом четыре года сражался. А теперь работает в Историческом музее. Его основное занятие — сбор и изучение документов, относящихся к Сталинградской битве.

Мамаев курган — это совершенно голый холм, перепаханный снарядами до такой степени, что кажется, на нем никогда больше не вырастет трава. Хотя основная масса искореженного железа уже убрана, здесь еще осталось почти столько же металла, сколько земли. Стоит лишь нагнуться, чтобы подобрать осколок или пустую гильзу. Я взяла на память несколько осколков, а также горсть священной сталинградской земли, пропитанной кровью героев, которые отдали свою жизнь за освобождение Европы и моей родины, Франции.

Отсюда открывается восхитительный вид на Волгу. Возле Сталинграда она достигает ширины двух с половиной километров. Это уже не река, а настоящее море. Вдалеке, на пологом противоположном берегу, золотится полоска пляжа. А за Волгой начинается Азия, Туркестан, песчаные пустыни.

На вершине Мамаева кургана высится обелиск, воздвигнутый самими бойцами в честь их павших товарищей. На нем начертано: «Вечная слава бессмертным героям».

Отсюда мы отправились во Дворец культуры Тракторного завода. Это и впрямь настоящий дворец. Ни одно казино для миллиардеров на Лазурном берегу не могло бы соперничать в роскоши с этим белоколонным зданием. А ведь это — всего-навсего заводской клуб, в котором отдыхают простые металлисты. Издалека он сияет под луной, как светильник, высеченный из алебастра. Когда я посмотрела вниз с высоты его террасы, мне показалось, что я на берегу Средиземного моря. Но это неподвижное водное пространство было, разумеется, Волгой, от которой нас отделял только разбитый вокруг дворца сад. На черной воде дрожали серебряные лунные блики. Дул теплый ветер, благоухали цветы, искрились фонтаны. Все вокруг дышало невыразимым миром...

Однако внутри этот дворец оказался совсем непохожим на казино. Здесь не было ни крупье, ни игроков с воспаленными глазами, ни богачей, просаживающих в одну ночь миллионы, добытые обманом, насилием и предательством.

Этот клуб оказался целой вселенной! В нем шесть тысяч квадратных метров площади, сорок шесть великолепных залов, в наименьшем из которых могла бы без труда поместиться добрая сотня человек. В одном из них, полном мольбертов, палитр и ящиков с красками, металлисты под руководством опытных преподавателей обучаются живописи. В другом — пению. В третьем — танцам. Музыкальный кружок с внушительной батареей духовых и струнных инструментов. Драмкружок для актеров-любителей. Шахматная секция. Библиотека в 50 тысяч томов. Курсы кройки и шитья. «Работу стоит только пожелать,— объясняет мой гид,— и он может заняться чем угодно». Вот еще один зал, где проходят занятия по технике безопасности. Их посещение обязательно для всех недавно пришедших на завод рабочих. Ведь человек — это самый драгоценный капитал...

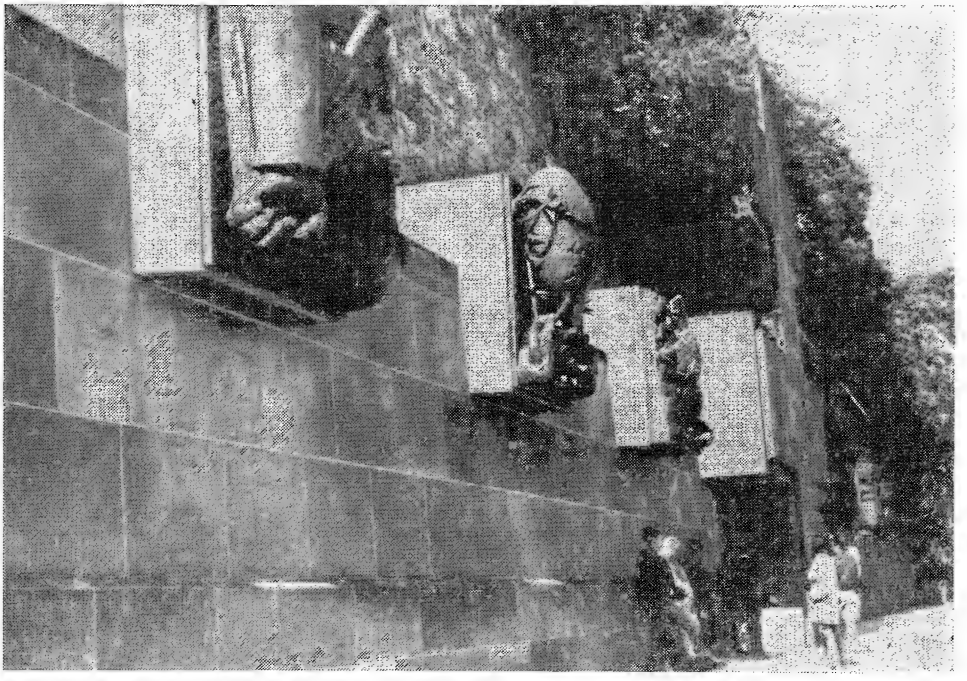
И все это, разумеется, предоставлено рабочим бесплатно, платит за все завод, отчисляя средства из фонда, предназначенного на культурные нужды.

Прежде чем покинуть Дворец культуры, я останавливаюсь перед копией репинских «Бурлаков», висящей в конце коридора, украшенного фотографиями лучших рабочих завода. Копия выполнена настолько мастерски, что ее трудно отличить от оригинала. Босые, одетые в лохмотья люди с измученными лицами тянут вверх по течению баржу. И я думаю о том, что теперь сыновья и внуки этих горемык изучают живопись, играют на скрипках и танцуют в этом дворце... Я смотрю на эту трагическую картину недавнего прошлого, и мне становится еще понятней порыв металлистов Сталинграда, которые своими телами останавливали фашистские танки. Они знали, за что сражаются, за что умирают: чтобы отстоять все то, что дала им социалистическая родина...

Перевод с французского ЮРИЯ СТЕФАНОВА

ПАМЯТИ ГЕРОЕВ СОПРОТИВЛЕНИЯ

(Документы и письма)



Мемориальная стена форта Мон-Валерьен, где был расстрелян Вильде и его товарищи.

РАССТРЕЛЯНЫ У ФОРТА МОН-ВАЛЕРЬЕН

Исполнилось тридцать лет со дня гибели одной из первых групп французского Сопротивления — группы «Музей человека».

Фашисты судили по этому делу 18 человек, десять из них приговорили к смертной казни, но трем женщинам заменили расстрел каторжными работами.

Семь человек расстреляли 23 февраля 1942 года у стены форта Мон-Валерьен.

Главой группы «Музей человека» был Борис Владимирович Вильде. Сын уроженца Прибалтики, петербуржца Владимира Иосифовича Вильде и Марии Васильевны Го-

лубевой, крестьянки из пограничной с Эстонией деревни Ястребино Ямбургского (ныне Кингисеппского) уезда, Борис Вильде родился 8 июля 1908 года в Петербурге, где его отец служил на железной дороге диспетчером.

Рано потеряв мужа, Мария Васильевна вернулась с шестилетней дочерью и четырехлетним сыном в родную деревню. В начале 1919 года семья переселилась в Тарту. В 1920 году мальчик поступил в тартускую русскую гимназию, а после окончания — в Тартуский университет, на химический факультет. Но проучился он там недолго: летом 1927 года он пытался переплыть в лодке по Чудскому озеру в СССР — на свою незнакомую родину. Он чуть не погиб в бурю на озере, попал на погранзаставу под Гдовом, откуда «по выяснении обстоятельств» был отправлен обратно в Тарту под надзор родных. За побег Бориса исключили из университета — в буржуазной Эстонии для такого студента места не нашлось... Он работал на лесопилке, давал уроки, но жизнь для него стала невыносимой: талантливый математик, признанный поэт тартуской гимназии, он решил уехать учиться на Запад. В 1930 году он — беспаспортный «апатрид» — кое-как добрался до Германии. Тогда там еще существовала Веймарская республика, и у Вильде была надежда уехать оттуда дальше — во Францию.

В Германии он сблизился с революционной молодежью, читал лекции о советской культуре и к осени 1932 года, скопив немного денег работой по каталогизации большой библиотеки, уехал во Францию.

Случай, который он сам называет «чудом», свел его с замечательными людьми — с семьей известного историка профессора Лота. Борис был принят в этот дом, его горячо полюбила вся семья, и он стал женихом старшей дочери профессора, Ирэн.

Через два года после знакомства, в июле 1934 года, Борис и Ирэн поженились, а еще через несколько лет Борис получил французское гражданство. Он стал выдающимся этнологом — одним из основателей знаменитого парижского музея — «Musée de l'Homme». Борис Владимирович изучил множество языков, в том числе финский, японский, санскрит, а уже в тюрьме овладел греческим. Эстонский, немецкий и французский он знал отлично: все его дневники и письма из тюрьмы, о которых пойдет речь впереди, а также знаменитый «Диалог в тюрьме» он написал по-французски. После того как он стал французским гражданином и отслужил в армии положенный срок, Борис побывал в Эстонии с научной экспедицией в 1937 году. Занимался он малоизвестной тогда народностью сэту, так называемыми полуверцами — православными эстонцами, сохранившими свой обособленный быт, материальную культуру и множество старинных обрядов.

Вернувшись из экспедиции, Вильде сделал несколько докладов, заинтересовавших виднейших этнологов. Он привез отличную коллекцию одежды, утвари, собрал бесценный фольклористический материал, завязал обмен с музеями Эстонии, сделал множество фотоснимков.

В руки Вильде перешел весь европейский отдел Музея человека, и его имя стало известно не только во Франции.

В 1939 году началась «странная война». Бригадир Вильде с первых дней — в армии, сначала — в тыловых частях, а после нападения гитлеровцев на Францию — в наземных частях французской авиации. Когда над аэродромом показался немецкий разведчик, Борис Вильде сбил его из пулемета с земли...

Но французская армия была разгромлена. Часть, где служил Вильде, попала в плен. Борис бежал из плена, раненый, с разбитым коленом, и в августе 1940 года вернулся в Париж.

«Когда... я увидел немецких солдат в Париже, я понял, по острой физической боли в сердце, как я люблю Париж, Францию»,— писал он в тюрьме.

С этого дня начинается новый этап жизни молодого этнолога. Он становится одним из руководителей первых групп французского Сопротивления.

Много славных имен насчитывает список участников Сопротивления во Франции. Но в самом начале, в первые месяцы, в полном разгроме, хаосе, в недоумении — как такое могло случиться с Францией? — люди искали друг друга во тьме. Не зря книги, написанные в те годы, так и называются: «Написано во тьме...», «Армия теней», не зря первое подпольное издательство назвали «полуночным» — «Edition de Minuit». В этой тьме один луч света привлек цвет французской интеллигенции уже с лета 1940 года. Этот свет шел из подвала Музея человека, где с первых месяцев оккупации работал ротатор, где печатали сначала листовки, отдельные воззвания, письма и где с декабря сорокового года стала выходить газета «Сопротивление».

Журналист Клод Авелин, которому принадлежит честь быть первым биографом Бориса Вильде и опубликовать его «Диалог в тюрьме» и последнее письмо, так рассказывал о своей встрече с Борисом: «В кафе ко мне подошел высокий молодой человек, настоящий викинг — голубоглазый, светловолосый — и сказал, что он — зять моего друга Манна, женатого на сестре Ирэн. Он отвел меня в сторону и спросил: «Говорят, вы что-то делаете...» «А вы?» — ответил я и улыбнулся». Авелин и его друзья уже объединились в небольшую группу и назвали себя «Друзья Алена Фурнье» (автора романа «Большой Мольн»). Эта группа — писатели и поэты — искала связей и, примкнув к груп-

пе Вильде, стала активно участвовать в подпольной работе. Помощниками Вильде были его коллеги по музею: очень тихий, спокойный и милый человек Анатоль Левицкий и невеста Левицкого Ивонн Оддон — библиотекарь музея.

О группе «Музей человека» прекрасно написала журналистка Аньес Эмбер в книге «Наша война»: с первых дней она тоже стала помощницей Вильде и, вернувшись из гитлеровского концлагеря, где выжила чудом, рассказала подробно обо всей группе.

Деятельность группы началась с выпуска листовок. Когда директор музея профессор Поль Ривэ написал отчаянное письмо маршалу Петэну о разрушении культуры, Аньес помогла распространить копии этого письма. Когда журналист Жан Тексье крошечным тиражом напечатал маленькую брошюрку «Тридцать три совета оккупированному» — «руководство к сохранению собственного достоинства», эту брошюрку тоже размножили в тайной типографии музея.

И наконец, вышел первый номер газеты «Сопротивление» в декабре 1940 года. Чем же замечателен этот номер?

В нем впервые говорится обо всем СОПРОТИВЛЕНИИ В ЦЕЛОМ. От названия газеты слово «сопротивление» (Résistance) приобрело свой новый, несловарный смысл. Название газете дал Борис Вильде. Передовицу писал он же.

ТЕКСТ ПЕРЕДОВИЦЫ ИЗ ГАЗЕТЫ «СОПРОТИВЛЕНИЕ»

15.12.1940 г.

Сопротивляться! Этот крик идет из глубины ваших сердец, из глубины отчаяния, в которое ввергло вас несчастье нашей Родины. Это голос всех, кто не смирился, всех, кто хочет выполнить свой долг.

Но вы чувствуете, что вы оторваны друг от друга, обезоружены, изолированы, и в хаосе мыслей, разнобое убеждений, путанице мнений вы ищете ответа — где и в чем ваш долг?

Сопротивляться — это уже значит не сдаваться ни умом, ни сердцем, сохранить себя. Но главное — действовать, делать что-то реальное, конкретное, действовать осмысленно и целесообразно. Многие из вас пытались что-то делать — и часто теряли надежду, поняв свою беспомощность. Другие создавали небольшие группы, но и эти группы оказывались изолированными, беспомощными.

Терпеливо, настойчиво мы отыскивали эти маленькие группы и объединяли их. Теперь их уже много — в одном Париже чуть ли не целая армия таких людей, пылких и решительных, которые поняли, что необходимо действовать организованно, что им нужна система, дисциплина, руководство.

Какая система? Прежде всего — объединить вокруг себя, у себя дома тех, кого вы хорошо знаете. Из своей среды выбрать руководителя. Ваши руководители найдут проверенных людей, и те направят вашу деятельность и сообщат о ней нам различными путями.

НАШ КОМИТЕТ ВОЗЬМЕТ РУКОВОДСТВО НА СЕБЯ.

Он будет координировать ваши действия с действиями других групп в неоккупированной зоне и с действиями тех, кто сражается в рядах наших союзников.

Ваша ближайшая задача — сорганизоваться так, чтобы в день, когда вы получите приказ вступить в борьбу, вы были готовы. Привлекайте — но с разбором! — решительных людей, окружайте их самыми верными, самыми лучшими из вас. Утешайте и ободряйте тех, кто сомневается, тех, кто потерял надежду.

Обнаруживайте тех, кто отрекся от Родины, кто предал ее, следите за ними. Ежедневно собирайте все полезные сведения и наблюдения и передавайте их вашим руководителям. Соблюдайте железную дисциплину, постоянную осторожность, абсолютную тайну. Не доверяйте людям нестойким, болтунам, предателям... Никогда не хвастайтесь, никому не исповедуйтесь!

Старайтесь заниматься своим обычным делом. Позже мы дадим вам

возможность включиться в действия, которые мы сейчас стремимся координировать.

Приняв на себя роль ваших руководителей, мы поклялись сурово и неуклонно идти на любые жертвы.

Вчера мы еще не знали друг друга.

Никто из нас не участвовал ни в давнишних спорах партий, ни во всяких съездах, ни в правительствах. Мы прежде всего — независимые, мы — французы, и, взяв на себя дело, которому мы поклялись служить, мы живем одной только волей, одним стремлением, одной задачей — возродить Францию, чистую и свободную.

КОМИТЕТ ОБЩЕСТВЕННОГО СПАСЕНИЯ

Пока в подвалах музея печаталась эта газета, Вильде уже развернул работу вовсю. В «Истории Сопротивления», вышедшей во Франции в 1968 году, говорится, что главной целью Вильде, его самой заветной мечтой было ОБЪЕДИНИТЬ все усилия, создать ЕДИНУЮ боевую организацию.

Его группа не только печатала листовки и газету.

Десятки, а может быть и сотни, людей переправлялись из оккупированной зоны в войска Свободной Франции.

Работали тайные радиопередатчики: одним из самых тяжких обвинений на суде было то, что группа музея достала засекреченные планы базы подводных лодок в Сен-Назере, передала эти сведения в Англию и английская авиация разбомбила базу.

Потом таким же образом был уничтожен один из подземных аэродромов гитлеровцев.

За что бы ни брался Вильде: была ли это разведка гитлеровских планов, переправка летчиков через Испанию в войска Свободной Франции, создание «десяток» или просто пропаганда — листовки, газета, встречи с новыми людьми,— во все он вкладывал необычайный энтузиазм и главное — умел внушить те же чувства своим соратникам, пишет один из историков Сопротивления.

Всего семь месяцев — семь коротких месяцев! — просуществовала группа «Музей человека» (с конца августа 1940 года по март 1941-го).

Группу предал некто Альбер Гаво — один из сотрудников Вильде, которому тот безоговорочно доверял. Гестапо купило этого человека. И он постепенно, очень хитро и ловко, поодиночке предавал участников группы.

Вильде был в неоккупированной зоне во время первого налета на музей, когда арестовали Левицкого, Ивонн Оддон и нескольких других членов редакции «Сопротивления».

К нему направили связного, умоляя его не возвращаться в Париж. Но он вернулся. Аньес Эмбер описывает, как он постучал к ней в двери, как она испугалась и как он сказал: «Я должен был вернуться — я нужен Левицкому. Надо продолжать выпуск газеты, чтобы снять с них подозрение».

Через некоторое время, в марте 1941 года, Бориса схватили на площади Пигаль и увезли в гестапо...

Что пришлось вытерпеть ему и его друзьям, мы рассказывать не станем...

После гестапо Бориса перевели в одиночку тюрьмы Фрэн. Там он провел послёдние месяцы жизни.

В тот год оккупанты еще иногда пытались «проявлять терпимость» и заключенным разрешали получать книги, передачи и изредка писать письма.

Борис Владимирович вел дневник, часть его уцелела.

Тогда же он написал «Диалог в тюрьме» — здесь этот документ впервые печатается с незначительными сокращениями в новом переводе, сделанном по материалам, опубликованным в 1946 году в журнале «Эроп», выходившем под редакцией Жан-Ришара Блока.

Мы также впервые полностью печатаем его статью из газеты «Сопротивление» и некоторые другие материалы.

РИТА РАЙТ

Борис Вильде. Париж (1934 г.)

БОРИС ВИЛЬДЕ

Диалог в тюрьме

(Начат 24 октября 1941 года, окончен 2 ноября 1941 года)

Прокурор пришел познакомиться со мной. Обещал, что потребует смертного приговора и своего добьется. На меня это не произвело никакого впечатления. И только потом, думая о его словах, я сам удивился своей невозмутимости. И вовсе не потому, что не поверил его угрозам. Совсем напротив. Но мне показалось, что все это никакого значения не имеет. А ведь я люблю жизнь. Господи, до чего я ее люблю! Но смерти я не боюсь. В каком-то отношении расстрел станет логическим завершением всей моей жизни. Кончить красиво. У каждого — свой способ самоубийства.

И. (Ирэн.— Р. Р.) пригласила для меня адвоката. Не верится, что это принесет пользу. Но все же будет занятно[1].

24.10.41.

Нынче ночью раздумывал о смерти. Что-то вроде внутреннего диалога между двумя моими «я». Определить их точно мне не удается, поэтому назову их просто «я-1» и «я-2».

1: Что ж, милый друг, придется всерьез подумать о возможности смертного приговора.

2: Нет, нет, не хочу! Все мое тело противится смерти, хочет жить. Выкрутимся, вырвемся, попробуем бежать — лишь бы не смерть!

1: Слушай, неужели ты серьезно? Неужто ты так дорожишь жизнью?

2: А ты? Только честно!

1: Инстинкт силен, но я умею мыслить и силой воли смирять свое животное естество, свою чувственную природу.

2: Животное естество? С каких пор ты относишься к своей плоти с таким пренебрежением? Скажи, неужели тебе не доставил бы удовольствие, например, хороший обед? Ну-ка, вообрази: на закуску — дюжина устриц с бутылкой хорошо замороженного «пуйи» — чудесное вино, сухое и терпкое, я бы сказал — точное вино. Потом — форель на сковородке, такая нежная и молодая. А может быть, тебе подать мерлана, золотистого, как солнечный луч, играющий на воде? Или, скажем, буйябесс, настоящий, знаешь, как тот, что ты ел в Марселе, в Старом порту — он пахнет морем, водорослями, лодкой и снова — морем, морем — колыбелью жизни. Ну как? А что вы изволите заказать потом, мсье? Кровавый бифштекс, кусок сырого мяса, сочный, красный, такой изысканный в своей грубости? Или честного буржуазного кролика с горчицей? Может быть, цыпленка под темным соусом — дежурное блюдо в Лионе: помнишь, их подавали у матушки Филу? А пить будем старый «шембертен» 1916 года и попросим его хорошенько подогреть, или возьмем «нюи-кай», или, наконец, классический «поммар» 1926 года, словом, одно из тех вин, что напоены кровью солнца,— они согревают тебя, подымают, уводят в блаженную солнечную высь, в ощущение безопасности и дружелюбия, и ты так благодарен жизни и всему миру. Мы допьем вино с каким-нибудь изысканным сыром — необычайно тонким, слегка с душком, как проза Оскара Уайльда (прошу прощения за эту банальность). Десерта не надо? Хорошо. Но зато пусть кофе будет крепким и горьким, его экзотический аромат так напоминает караваны бедуинов, стихи Гумилева и твою молодость в Берлине!.. Кофе... Единственная роскошь бедных интеллигентов, полных мечтаний, жадных до жизни, очень счастливых, несмотря на нищету и «вельтшмерцен»[1]. И уж конечно возьмем коньяк «Бисквит» 1870 (а может быть 78-го) года, и пить его надо из пузатых стаканчиков с широким дном и узким горлышком — подержать между ладоней, согреть, вдохнуть его аромат — и голова чуть закружится, посмотришь его на свет — а в нем сгустилось текучее солнце... Хочешь сигарету — египетскую «Абдулла» или, из утонченного снобизма, простую «голуазку»? Огня? Пожалуйста. Такая обыкновенная штука —

[1] Курсивом выделены отрывки из дневника.

[1] Правильно Weltschmerz *(нем.)* — мировая скорбь. *(Здесь и далее примечания переводчика.)*

спичка, а какое чудо... Ты любишь этот ритуал — закурить? И дым играючи уходит кольцами вверх, расплывается, исчезает без следа, мимолетный, как жизнь,— тебе нравилась эта фраза...

25.10.

1: Бедный мой друг, в каком поэтическом, хоть и довольно безвкусном стиле ты описываешь всю прелесть застолья! Да, семь месяцев лишений здорово исказили твой образ мыслей. Нет слов, все это очень приятно. Да и вовсе не обязательно было подавать мне такую роскошную жратву — даже тюремная похлебка доставляет огромное удовольствие, когда голоден. Конечно, приятно хорошо поесть и вышить. И все же не будем преувеличивать. Да, я любил благородные вина и вкусные блюда, но не настолько, чтобы сосредоточивать на них все помыслы. Думал о еде, садясь за стол, а потом сразу забывал. Нет, не о том я пожалею. Да я и получил свою долю. А если злоупотреблять едой, наживешь болезнь желудка или подагру. Только тут, в тюрьме, когда очень голодно, ты так настойчиво вспоминаешь о еде. Табаку мне тоже не хватает, но все же не надо из этого делать мировую проблему.

. . . . . : : .

Но неужели ты так же легко отказываешься и от радостей духовных? Подумай хотя бы о книгах, которые ты хотел прочесть и никогда не прочтешь; о путешествиях, которых ты больше никогда не предпримешь, о лингвистических открытиях — быть может, ты многое открыл бы,— о картинах, которые ты никогда больше не увидишь: а ты помнишь, каким откровением для тебя была живопись на выставке итальянского искусства? Но тебе уже никогда не видеть ни Венеры Ботичелли, ни солнца Гогена, ни человечности Родена...

26.10.

1: Да, все это прекрасно, и ты забыл еще о самом прекрасном — о музыке. Знаю, знаю, что я в ней совсем не разбираюсь, но это не мешает мне любить ее. И есть вещи, не все, конечно, которые меня волнуют, приводят в трепет, они открывают мне мир иррациональных реальностей. Я думаю сейчас о Моцарте, о Бетховене и особенно об увертюре Мусоргского к «Хованщине» — в ней такая бесконечная нежность, такая ясность, она все приемлет, все прощает — даже смерть — и без сожаления, торжествуя, уходит, растворяется в нирване. Музыка — самое нематериальное, самое неопределимое искусство, она создает не ощущения, а душевное состояние. В сущности, в музыке я люблю посвящение и смерть.

Но разве я еще недостаточно посвящен? О чем же ты?

Путешествия? Да, увидеть бы еще хоть раз необъятную ширь моря, услышать шум волн, лечь на траву в лесу и следить сквозь ветви за облаками, взобраться бы на высокую гору и увидеть из чистого ее одиночества снежные вершины и сумрак долин, а вдалеке — зеленые поля, где угадывается присутствие людей... Да, тяжко, очень тяжко отказаться от всего этого. Не от путешествий, нет — от самой природы. Но свою долю я получил. Помнишь, над Грассом — как я любовался веселым видом: прелестные мирные деревушки с черепичными крышами (и мимозы — в полном цвету!) и залив у Канна в теплой лиловатой синеве ранних сумерек. И я себе сказал: быть может, я никогда больше не увижу эту красоту, но я навсегда запомню и ее, и то, о чем я тогда думал. И я ничего не забыл. Не забыл я ни дюн дю Пила, ни розовых скал острова Бреа, ни утесов Дан д'Орлю, ни ветра в парусах на Чудском озере. И я надеюсь, что если меня расстреляют, то не в подвале, а на чистом воздухе, в широком поле, в розовых лучах рассвета. И я знаю, что эта последняя минута близости к природе по своей силе будет стоить долгих лет жизни и многих дальних странствий.

Книги, которые я мог бы прочитать? Давай говорить начистоту: чем старше становишься, тем больше суживается твой круг чтения, не считая нужных книг (я причисляю к ним и все научные работы)...

Конечно, есть немало книг, которые мне хотелось бы прочитать или перечесть, но зачем же осушать чашу до последней капли? Или ты всерьез думаешь, что я найду в них какое-то откровение? Неужто ты веришь, что моя истина скрыта в чьей-то чужой книге?

2: А книги, которые ты сам мог бы написать?

1: О чем говорить? Да, был у меня в молодости небольшой талант, но не хватало наивности, чтобы воссоздать сущий мир, и не хватало глубины, чтобы объяснить его. Но даже если бы у меня сейчас нашлось что сказать — зачем мне это? Я не честолюбив (может быть, оттого, что слишком горд) и славы не ищу. Да и что, по-твоему, я должен был бы сказать людям, ради какой истины стоило бы стараться? Моя правда людям не нужна.

2: Да, поговорим о людях. Неужто тебе до них нет дела? А твои друзья, твои родные? А Франция? Прости, если мой вопрос покажется тебе странным, но ведь непременно найдутся люди, которые к твоему имени добавят: «погиб за Францию».

27.10.

1: Ничего странного не вижу. Может быть, без всяких оснований, но я люблю Францию. Люблю эту прекрасную страну, люблю ее народ. Да, я знаю, как он мелочен, эгоистичен, развращен политиканством, как он стал жертвой своей былой славы, но при всех этих недостатках он остается беспредельно человечным и ни за какую цену не продаст ни свое величие, ни свой горький человеческий удел. Впрочем, не стоит искать объяснений, давай просто решим, что моя любовь к Франции и есть то, что Гёте называет «сродством душ» — Wahl-

verwandschaft. И я не верю в полное ее падение, хотя и предвижу долгие годы заблуждений, лжи, трусости. Для того чтобы могла возродиться настоящая Франция, нужны многие жертвы. И я тебя уверяю: напрасных жертв нет.

У меня есть родные, я люблю их от всей души, и у меня есть друзья. Вот почему я еще долго буду жить — в их памяти. А ты — неужели ты хотел бы пережить дорогих тебе людей, видеть, как они уходят один за другим? Ведь каждый раз с ними уходит и частица твоей жизни. Помнишь рассказ про собаку, у которой хозяин ежедневно отрубал хвост по кусочкам — из жалости?

Нет, мне вовсе не наплевать на людей. Правда, не скрою — я научился их любить. И теперь я часто их презираю — тут уж ничего не поделаешь, но и презирая их, я все же их люблю. И никогда мной не двигала ненависть (а жаль, этого человеческого опыта мне не хватает!), но на ненависть я не способен, и, быть может, тут виной именно презрение. Но, откровенно говоря, я и без людей отлично обхожусь. Никогда меня не тяготило одиночество. Да ты и сам знаешь: и рождаются, и умирают всегда в одиночку.

2: А твоя жена?

28.10.

1: Да, ты попал в самое сердце... Знаю, что мне от нее оторваться невозможно. Но не думаешь же ты, что эта любовь исчезнет вместе с жизнью? Если так, то и жить не стоило бы. Нет, не сомневайся: любовь и есть единственная реальность, постигнутая нами в этом мире, она реальнее и жизни и смерти.

2: Признаться, ты неплохо подбираешь ответы и остроумные аргументы. Значит, ты хочешь сказать, что без сожаления покинешь эту землю, хотя ты ее и очень любишь? Ты даже хочешь найти в смерти какое-то удовлетворение. Нет, сколько ни уговаривай, убедить меня ты не можешь. Я знаю, что я потеряю, но не знаю, что выиграю. Сомневаться в твоей искренности я не стану, но не кажется ли тебе, что ты хочешь выдать плохое за хорошее?

1: А если даже так? Надо уметь нести свою судьбу как венец. Нет, не заблуждайся. Настал мой черед перейти в наступление. Надо тебе напомнить о тебе самом. Слушай же меня внимательно.

29.10

...Становится холодно, сыро. Дни все короче, света нам не дают. Стараюсь спать часов по двенадцать, а то и больше. Во сне вижу не отдельных людей, а какие-то обобщенные образы. Вчера получил мемуары м-м де Лафайетт. Это меня отвлекло. Вот уже дня четыре как я с трудом пишу свой «Диалог». С трудом потому, что руки мерзнут, и бумагу надо экономить, и сигареты кончились, а главное — оттого, что так трудно не впасть в литературщину. Вначале я никак не мог воспротивиться этому искушению. Не надо писать подряд так много, не надо увлекаться. И все же я совершенно ясно вижу то, что хочется передать словами: это так просто, хотя в чувствах много противоречивого.

Все эти дни читал книгу папы[1] *«Франция от истоков до Столетней войны»*[2] *и восхищался его живостью и простотой. Но в описательной части он несколько злоупотребляет деталями и собственными именами (дух Ecole de Chartes*[3]*). Мне понятно, как можно увлечься изучением истории. Но трудно историку быть оптимистом.*

30.10.

Холодно, темно. Славный осенний ветер дует на воле, такие ветры я всегда любил. (Почему «любил»? И сейчас люблю. Говорю о себе как о покойнике и, пожалуй, преждевременно.) Где-то, как будто в нижней камере, кто-то рыдает долго, безнадежно. Кто-то совсем молодой, судя по голосу, но до меня все доносится очень глухо.

---

[1] Фердинан Лот, историк, отец Ирэн Вильде.
[2] Париж, Галлимар, 1937.
[3] Институт древних письмен.

Мемориальная доска на гимназии в Тарту, где учился Вильде.

ПАМЯТИ ГЕРОЕВ СОПРОТИВЛЕНИЯ

Странная штука — тюрьма (не для меня, но я это понимаю). Нет ей оправдания.

Сегодня окончил обе греческие книги (грамматику и упражнения). Какой прекрасный язык! И хотя запас слов у меня еще очень беден, но я как будто ухватил дух языка и смогу (со словарем) разобраться в любом тексте. Потратил я на это всего восемь недель (точно!), работал в среднем по два с половиной — три часа в день. Из самолюбия чувствую большое удовлетворение. Какое тщеславие! Но это же чувство заставляет меня решать шахматные задачи и задачи по бриджу из журнала «Жэрб» (только на кроссвордах я часто спотыкаюсь). Хочу увериться, что серые клеточки неплохо работают. Математический склад ума...

1: Тебе тридцать три года. Прекрасно умереть в таком возрасте. Христос умер тридцати трех лет, и Александр Македонский тоже. Пушкин был убит тридцати семи. Есенин покончил с собою в тридцать. Я вовсе не собираюсь сравнивать тебя с этими личностями, просто хочу тебе сказать, что другие в твои годы уже завершили свою жизнь, выполнили свое предназначение. Такого предназначения у тебя не было, но и тебе тоже предстояло как-то завершить жизнь, постичь ее смысл. И я считаю, что ты тоже все сделал и прибавить к жизни тебе уже нечего. Но постиг ли ты ее смысл? Оглянись на себя, и ты поймешь, что смысл твоего становления — в очеловечивании.[1]

Ты удивляешься? Что ж, давай хоть вкратце напомню тебе твое прошлое.

Мальчиком ты был слишком умен, слишком бесстрашен, слишком впечатлителен. Такие никогда не останавливаются на полпути. Ты бы мог покончить с собой, как твой друг Кютт или Орлов, пойти в монастырь, как Иртель; можно было бы и стать алкоголиком, как Кантус. Но ты нашел четвертый выход: стать монстром. К семнадцати годам ты научился отгораживаться от всего блистательным равнодушием. Да, ты еще сохранил любопытство к жизни, любовь к развлечениям, но все это очень поверхностно, ты никого не любишь, не любишь жизнь, не любишь даже самого себя, и ты ничего не принимаешь к сердцу. Для тебя весь мир, вся жизнь — только занятная игра, правда, игра всерьез, но не больше. И это не поза, ты искренне так думаешь. Помнишь 1927 год? Ты чуть не утонул в бурю на Чудском озере, один, ночью, на маленькой лодке. Ты считал себя погибшим и бурно веселился; борясь со шквалом, ты хохотал, чувствуя свою власть над бурей и бросая вызов смерти.

Ты поклялся сделать из жизни занятную игру — своенравную, опасную, трудную. Да, такое равнодушие превратило тебя почти в настоящего монстра, и ты стал если не счастливым, то по крайней мере неуязвимым.

31.10.

... Нынче ночью мне снилось, что я вернулся на поле боя, между Мэшем и Шарк-моном, туда, где мы похоронили Девайи, Гастина и Коля. И я нашел там только два креста, сколоченных из досок от снарядных ящиков. На одном я прочел: Михаил Деваль (странно, почему не Мишель Девайи?), а на другом — свое имя и, в общем, не очень удивился.

Мишелю было двадцать восемь лет. Он был красивый, веселый, жизнерадостный, очень хороший товарищ. Выпив, он пел, и очень неплохо, арии из опер и оперетт, чаще всего «Фигаро здесь, Фигаро там...». Мы вместе поехали в последний отпуск, вместе вернулись. Перед отъездом из Парижа я познакомился с его родителями — он был единственным сыном — и с его хорошенькой молодой женой: она пришла на вокзал, у нее на руках сидел их малыш. Она долго махала платочком — их столько было, покинутых на сером перроне вокзала. Помню, Мишель сказал, отрываясь от окна: «Что ж, запаслись счастьем еще на три месяца вперед?» Нет, не на три месяца, бедный мой Мишель, а навеки. Он умер счастливым и сразу. одна пуля — в сердце, другая — в лоб.

Сегодня получил стихи Поля Валери и «Сущность христианства» Харнака. И еще пару теплых перчаток, чуть потертых, но все еще крепких: проделали со мной всю кампанию 1939—1940 годов. Сколько воспоминаний. И еще шарф, я нашел его в пустом доме, в деревушке Соммет в четырех километрах от Пьерфонтэна. Тоже верный спутник, этот шарф. Вчера нам обменяли книги (уже недель шесть ничего не приносили). Я взял канадский роман «Белые дубы» Мазо де ля Рош. Это не шедевр, но мне доставляют большое удовольствие такие добротные англосаксонские романы. Опоэтизированная действительность, но в ней чувствуется плоть и кровь. Французская литература, за некоторым исключением, слишком литературна. Искусство блистательное, утонченное (например, Жироду, которым я всегда восхищаюсь), но простота утеряна. Для элиты.

А ведь я видел, как бывший колбасник плакал над смертью Манон Леско, я знаю, что «Война и мир» доступна простому мужику. Но ни Клодель, ни Мальро, ни Монтерлан, даже не Жионо...

Слишком темно, писать трудно...

1: Шли годы, и ты открыл для себя две новые вещи: вечность и дружбу. Те редкие и краткие — вспышка молнии! — мгновения, когда ты ощущал «жизнь вечную» — пользуясь твоей же терминологией, чтобы не искать новых слов,— только еще больше укрепили твое безразличие к «жизни земной». Даже игра отчасти потеряла свою бездумную прелесть. А дружба только усиливала одиночество: твои друзья (я думаю об Альфе, о Вернере) были только товарищами в пути — идешь с ними по дороге до ближайшего поворота, а потом опять остаешься совсем один. И к тому же ты был

[1] А. Блок ввел слово «воочеловечивание» *(см. письмо к Андрею Белому. Цит. по кн. А. Туркова «Александр Блок»).*

для них слишком «обтекаемым», слишком неуязвимым. Ведь нет ничего более четкого, более совершенного, чем равнодушие. Узнаешь ли ты себя в этом монстре?

2: Не нравится мне это слово «монстр». Не надо преувеличивать! А главное — почему бы не признать, что равнодушие тоже ценное качество. И если оно не приносило мне счастья, то по крайней мере избавляло от страданий. Я не придавал жизни особой ценности, потому и мог легко и бездумно наслаждаться многим. Подчас мне даже становится жаль этого состояния.

1: А мне ничуть не жаль. И вообще эти сожаления бесполезны. В один прекрасный день в великолепном бастионе твоего равнодушия открылась брешь. Все началось со встречи с твоей будущей женой. Сначала ты не отдавал себе отчета в опасности, потом пытался отступать, но уже было поздно — слишком велика была эта брешь. И все же ты боролся годами, прежде чем признать поражение. И только недавно ты понял, что это поражение и было победой.

2: Да... У меня было такое чувство, словно, соединяя наши жизни, я предаю самого себя: впредь я терял право на одиночество — суровое и дикое... Но это было сильнее меня: с той минуты я почувствовал в себе человеческую душу.

2.11.

1: Вот именно, в этом-то и была суть твоего превращения. Не буду останавливаться на деталях; ты сам знаешь, как постепенно все человеческие чувства проникали тебе в душу. Ты узнал, что значит стыд, раскаяние, самолюбие... А главное — ты узнал любовь. Ты даже не отдавал себе отчета, как постепенно все человеческие чувства проникали тебе в душу, как постепенно ты стал привязываться к людям, к жизни: ты полюбил их.

2: Верно, я не отдавал себе отчета. Часто я и сам себе удивлялся. Когда впервые после возвращения (из фашистского плена.— *Р. Р.*) я увидел немецких солдат в Париже, я понял, по острой физической боли в сердце, как я люблю Париж, Францию. Но именно сейчас, в тюрьме, я с еще большей ясностью вижу, что во мне творится. И открываю в себе ту любовь, о которой ты сейчас говорил.

1: Помнишь, что ты сказал, когда хоронили товарищей, убитых там, неподалеку от Мэша: «Быть может, когда-нибудь мы позавидуем их смерти». Что ж, завидуешь ли ты им теперь? Хотел бы ты умереть, как они, не успев узнать страданий, не испытав страха? Отвечай откровенно.

2: Нет, я ни за что не хотел бы этого лишиться. И я понял, чем может стать любовь. Правда, я страдал в тюрьме, но ведь я всегда норовил найти самое трудное. Зачем искать легкой смерти? У меня есть гордость.

1: Вот мы и договорились. Ты понял любовь, и ты любишь. О да, твоя любовь еще очень бедна, очень ничтожна, но все же в ней — та же божественная сущность, что и в любви совершенной, той, что можно найти только в смерти. И неужели ты думаешь, что сможешь еще чему-то научиться, проживи ты хоть пятьдесят лет? Никогда ты не станешь богаче и свободнее, чем сейчас. И дошел ли до тебя весь смысл того, что происходит? Сколько раз ты мог умереть — случай представлялся так часто. Но это была бы слишком легкая смерть. Равнодушный без сожаления покидает этот мир. Но ты, ты предпочитал бороться и побеждать или терпеть поражение. Вот и настала та самая минута — лучше не выберешь. Ты полон сил, и ты любишь эту жизнь со всем пылом новообращенного, со всей свежестью и жадностью молодости. Неужто ты думаешь, что сохранишь такую любовь в неприкосновенности навек? Неужели ты хотел бы стать свидетелем собственного своего обнищания, уходить из жизни медленно, ничего не чувствуя, ни о чем не жалея, и в последнюю минуту увидеть, что ты давно уже мертв?

2: Все же ты несколько парадоксален. Почему же ты хочешь уговорить меня легко принять смерть, если ты считаешь, что самое лучшее во мне — именно любовь к жизни? Неужели ты, сам того не ведая, хочешь облегчить мне смерть?

1: О нет, тут я спокоен. Если ты послушаешь меня и примешь смерть охотно, я первый буду бунтовать. Ведь я — это ты, а ты — это я. И чем больше доводов я привожу в пользу смерти, тем больше я привязываюсь к жизни, и в этом снова нахожу удовлетворение своей гордости, и снова иду навстречу смерти.

Если бы я был верующим христианином... Но это было бы слишком легко. Нет, я ничего не знаю о том свете... Одни сомнения...

И все же вечная жизнь существует. Или, может быть, страх небытия заставляет меня верить в вечность? Но ведь небытия нет? Что ты скажешь?

2: Знаю только одно: я люблю жизнь.

1: Значит, любовь существует. Остальное не имеет значения. И если существует смерть, она может быть только любовью.

4.11.41.

Позавчера окончил свой «Диалог». Даже не перечитывая, знаю, что написал не совсем то, что нужно. Слишком драматизировано. Но самое существенное там есть: что-то вроде моего кредо — моя духовная автобиография.

Из дневника Эвелины Лот

Суд над группой «Музей человека» закончился 17 февраля 1942 года. Был объявлен приговор: семерым — во главе с Вильде — грозил расстрел. О помиловании Вильде стало ходатайствовать множество научных учреждений. Трое «Бессмертных» членов французской Академии подали

петицию — под ней стоят подписи: Поль Валери, Франсуа Мориак, Жорж Дюамель. Семья Вильде все еще надеялась на амнистию; все знали: если помилуют Вильде — руководителя группы,— то помилуют остальных.

Утро, 24 февраля. Эвелина — сестра Ирэн Вильде и ученица Бориса — ждет отца: он спустился в аптеку позвонить адвокату. Ирэн с утра уехала в тюрьму, еще ничего не зная... (Р. Р.)

24 февраля.

Утром я была немного спокойней. Мне казалось, что отец прав: немцы не решатся расстрелять человека, у которого столько высоких защитников. Мы с папой решили пойти к адвокату, не дожидаясь возвращения Ирэн, и отец пошел договариваться с адвокатом по телефону.

Одиннадцать часов. Очень холодно. Мама у себя в комнате, а я стою у печки в гостиной и жду папу. Слышу — дверь отворилась. И вдруг страх пронзил меня предчувствием катастрофы. Но так уже бывало не раз, когда я ждала Ирэн или папу после их походов в разные инстанции. Всегда готовишься к самому худшему, словно заклиная судьбу, и всегда тревога оказывается ложной.

Но когда папа открыл дверь, я все поняла, на нем лица не было. Он сказал: «Позови маму». Но я оцепенела и только смотрела на него — я все поняла, но отказывалась понять до конца, я ненавидела его, как будто он виноват, я была готова крикнуть ему: «Это неправда!» — прежде чем он открыл рот. Вошла мама. Я не смотрела на нее. Она что-то начала говорить. Но я слышала только слова: «Ужас... Все расстреляны...»

У аптекаря папа дозвонился секретарше Крелинга (адвоката.— *Р. Р.*) — его самого не было. Он слышал, что она страшно растеряна: «Метр Крелинг будет позже. Мадам Вильде должна прийти сюда... Надо, чтобы вы пришли с ней. Кто-нибудь должен будет отвести ее домой...» — «Но что случилось?!» — «О, мсье, все очень страшно... как я могу... по телефону».— «Скажите мне всю правду». И она все сказала. Он вышел из аптеки шатаясь, бледный как смерть. Аптекарша хотела его проводить, но он отказался.

Теперь надо было идти к адвокату и там ждать Ирэн. И сказать ей все. Я не представляла себе, как она выдержит этот ужас — ведь она была полна энергии, оптимизма. Во всяком случае, надо было, чтобы рядом с ней были отец и сестра. Но в ту минуту, как я, уже в пальто, пошла за носовым платком, я услышала быстрые шаги по лестнице. Шаги Ирэн. Сердце у меня замерло. Я застыла на месте, трусливо предоставив родителям принять на себя первый удар...

В последний раз Ирэн видела мужа накануне, то есть 23 февраля утром. Немецкий прокурор Готтлоб настаивал, чтобы она пришла на свидание как можно раньше. Он несколько раз пытался с ней связаться. Но вышла какая-то задержка — и, может быть, казнь свершилась бы раньше, если бы Ирэн раньше пришла в тюрьму.

Потом Ирэн говорила, что она должна была бы все понять тогда же: эта странная торопливость со стороны Готтлоба, особое внимание к ней в тюрьме — у нее без разговоров приняли всю передачу. А после свидания ей не вернули пропуск, и, когда она попросила его отдать, ей сказали: «О, зачем он вам, мы и так хорошо вас знаем». И она удивлялась этим поблажкам, но думала: «Наверное, это из-за смертного приговора...»

А само свидание... Когда она вошла, у Бориса был прокурор Готтлоб. Он сказал Борису несколько слов по-немецки и вышел. Ирэн не поняла и спросила: «Что он вам сказал?» И Борис спокойно перевел: «Говорит, что каждый раз, когда я вас вижу, я должен знать, что это, может быть, в последний раз». Но Борис сказал это с улыбкой, шутливым тоном, и Ирэн ни на минуту не приняла слова прокурора всерьез. Она только подумала: «Эта скотина хочет нас напугать, да еще придать себе важности». Они пробыли вместе дольше обычного — почти три четверти часа. Борис уже что-то подозревал, но не был уверен. Например, он быстро взял бутылку рому или коньяку, которую принесла Ирэн с разрешения Готтлоба — тот, видно, считал, что теперь все можно,— и запрятал поглубже в карман, сказав, что это строго воспрещается. Он с надеждой говорил о помиловании Сенешаля. Он не верил, что Мальчугана [1] могут расстрелять. Да и никто не верил, даже сам несчастный мальчик до последней минуты не верил, но встретил смерть так же мужественно, как и остальные.

Когда Ирэн ушла от Бориса, она осталась внизу ждать, чтобы ей вернули чемоданчик, но тут подошел к ней солдат и сказал: «Мадам Вильде, мсье Вильде сам принесет вам чемодан». Обрадовавшись этой новой поблажке, она пошла навстречу Борису. Потом мы узнали, что в промежутке Готтлоб зашел к Борису и сказал: «Мсье Вильде, это будет сегодня. Теперь, если желаете еще раз повидаться с женой, я ее позову». Борис ничего ему не ответил, взял чемоданчик и пошел вниз. Ирэн очень обрадовалась, что видит его еще раз. Однако она чувствовала какое-то смутное беспокойство и спросила: «Ничего нового не случилось, ничего плохого?» И со своей спокойной улыбкой он ответил: «Нет, дорогая, просто я хотел еще раз вас поцеловать». И он поцеловал ее долгим, нежным поцелуем, но как-то рассеянно. Ирэн показалось, что у него на глазах были слезы, но наверное она сказать не может. «А ведь я должна была бы все понять — по всему, что происходило. Например, я предложила оставить ему чистую тетрадку. Сначала он от-

[1] Прозвище Рэнэ Сенешаля, 18-летнего связного группы.

казался, потом вырвал два листка и сказал: «Мне хватит». (На этих листках он написал последнее письмо.— *Р. Р.*) От книг он тоже отказался, просил оставить только «Мысли» Паскаля, «почитать на ночь». А когда Ирэн дома открыла чемодан, она нашла там книгу Паскаля, как будто Борис хотел ее подготовить...

Весь тот день, 23 февраля, Ирэн была спокойна. Даже счастлива. «Она вся сияла»,— говорила мне потом ее сослуживица, м-ль Сэген. Она вся была под впечатлением утреннего свидания, не вызвавшего в ней никакого беспокойства. Она сама позвонила адвокату, чтобы его успокоить: «Я видела утром мужа, все хорошо». «Нет, все очень плохо, мадам!..» — сказал Крелинг, хотя он еще ничего не знал, ему ничего не сообщили, но какие-то намеки, какие-то признаки вселили в него беспокойство, заставили предполагать самое худшее. Адвокат объяснил Ирэн, что приговор могут привести в исполнение в любую минуту, не рассматривая петиций о помиловании. Вся радость Ирэн сразу испарилась. Она передала нам слова адвоката... В этот час Борис был расстрелян...

На следующее утро, 24-го, Ирэн очень рано уехала в тюрьму. Она вдруг все поняла и все-таки надеялась еще раз увидеть его, сказать ему, что она все поняла. И все же до самого конца она не могла поверить. По дороге она встретила дочь полковника де ля Рошера, и та ей бросила на ходу: «А правда ли, что Ивонн Оддон вчера расстреляли?»—«Нет, что за глупости!» И Ирэн пошла дальше, но через несколько шагов подумала: «Эта женщина мне сообщила, что мой муж расстрелян». Если и в самом деле пошел слух, что даже женщин расстреляли...

В тюрьме ей сказали, что Борис уехал... Классическая фраза. Когда ее при вас говорили другим женщинам, вы с жалостью думали — как это они не понимают! А теперь, когда это сказали вам, вы не поверили. Ирэн отвела в сторону одного из немецких солдат: «Скажите мне правду, его расстреляли?» Но тот с совершенно непритворным видом сказал: «Да нет же, его увезли в трибунал. Поезжайте в трибунал».

Ирэн вернулась на станцию и поехала на метро в Париж. В трибунале ей растерянно ответили: «Обратитесь к прокурору». И Готтлоб сказал ей по-немецки: «Вашего мужа вчера расстреляли». Утром Ирэн нарочно посмотрела это слово в словаре, чтобы не ошибиться. И все же даже тогда она не поверила. Она подумала: «Он лжет, чтобы меня помучить». И она спросила: «Почему вы мне вчера не сказали?» Он только пожал плечами: «Запрещено...» Тогда она спросила — могут ли ей выдать тело мужа. Обычно немцы не выдают тела расстрелянных, но Готтлоб явно хотел от нее отделаться: «Идите справьтесь у вашего адвоката». И она ушла. Перед Готтлобом она ни за что не хотела плакать, боялась упасть в обморок, и она еще выдержала поездку к адвокату. Но когда она приехала туда, она упала без чувств на руки жены адвоката и секретарши, которые плакали навзрыд. «Эти женщины были ко мне бесконечно добры». Самого адвоката не было дома, и Ирэн не стала его ждать. Она решила вернуться домой и просила ее не провожать.

Она позволила мне пойти с ней вместе к Крелингу... Стоял страшный холод, воздух застыл, снег тяжело лежал на крышах и на земле.

Сначала нас ждало еще одно испытание: Крелинг усадил нас в кабинете и стал рассказывать о своих последних попытках спасти Бориса, о своих последних надеждах. Все это было впустую. Он явно хотел показать, что сделал все, что мог, но какое это имело значение сейчас, какой горькой насмешкой казались все его усилия, растраченные зря. Я даже перестала слушать — было слишком больно... Я ждала, Крелинг сказал, что он узнал о расстреле совершенно случайно в тот же вечер из постороннего разговора, к нему не относившегося.

Тут он остановился, потом сказал: «Но все последние сведения весьма утешительны, да, да, очень утешительны». Я вдруг вскочила, наклонилась к нему, Ирэн тоже встала. Он отвернулся, прокашлялся и, когда овладел голосом, сказал: «Не знаю — был ли ваш муж верующим, но его смерть была высоким примером, да, высоким примером...» Нет, кажется, он сказал это потом, сначала он нам сказал, что они не страдали; он очень на этом настаивал: «Им прикрепили белые знаки на грудь, на сердце, смерть была моментальной». Борис по просьбе тюремного священника перекрестился (мы с Ирэн ни на минуту не сомневались, что сделал он это совершенно безразлично, чтобы исполнить просьбу священника). С этим священником он имел долгий разговор в тюрьме. Потом он что-то писал. Возможно, что он передал письмо этому пастору Штоку.

От тюрьмы до Мон-Валерьен ехали долго — был сильный гололед. Но все держались с поразительным мужеством. Борис попросил, чтобы его расстреляли последним, вместе с Левицким. Он отказался от повязки. Наверное, Крелинг рассказывал нам еще какие-то подробности, но у меня они путаются с рассказом пастора Штока. Сам Крелинг посоветовал нам обратиться к этому Штоку, который присутствовал при казни и все нам может рассказать подробнее. Он позвонил ему при нас, спросил по-немецки, нельзя ли мадам Вильде зайти к нему. Это была удачная мысль — по крайней мере, будет еще одна цель в этот день.

Что же касается казни, то, очевидно, дело было решено так (возможно, что эти сведения и не совсем точны.— *Э. Л.*): сначала досье было передано не генералу Штюльп-

нагелю, а Шомбергу — коменданту Парижского района. Ознакомившись с делом, Шомберг будто бы позвонил в Берлин, чтобы там приняли решение. Говорят, что он сказал: «По всему видно, что за них ходатайствуют чрезвычайно высокие инстанции, и, мне кажется, трудно отказать в помиловании». И он спросил, не послать ли все дело в Берлин. Из Берлина ответили: «Немедленно расстреляйте всех». Значит, в Берлине даже отказались ознакомиться с делом, чтобы не пришлось думать о помиловании. Таким образом они потом могли отговориться. О петиции академиков Мориака, Валери, Дюамеля и о петиции института они даже не упомянули. Наше вмешательство, наши просьбы, очевидно, послужили только ускорению развязки. Им надо было отрезать все пути, прекратить всякие дополнительные просьбы о помиловании. Им надо было привести приговор в исполнение прежде, чем досье попадет в Берлин. Вот чем объясняется вся эта спешка, которая противоречила всем тогдашним установкам. Я не говорю о теперешних днях (весна 1942 года, когда Эвелина все записывала.— *Р. Р.*), когда расстреливают без суда, часто даже не сообщая близким и не указывая место могилы...

Прощаясь с нами, Крелинг выразил надежду, что наши отношения, начавшиеся столь трагически, будут продолжаться и после войны. И мы пошли к пастору Штоку.

Ожидание у Штока — для меня одно из самых тяжелых воспоминаний. Мы ожидали очень долго. Обстановка была просто неправдоподобная. Нам открыл старик с большой бородой и, проворчав что-то непонятное по-немецки, провел нас в комнату, похожую и на часовню, и на фойе кино, и на бистро. В центре была небольшая эстрада с занавесом, а слева — несколько столиков, похожих на столики кафе. Около камина, где горел огонь, вокруг стола, накрытого ковровой скатертью, сидело человек десять, словно собравшись на какую-то тризну. Сюда нас и подвел старик. Сначала мы с Ирэн подумали, что тут собрались семьи расстрелянных, которые, как и мы, решили повидать Штока. На самом деле это были родственники арестованных — они пришли справляться о них у тюремного священника. Вид у всех был мрачный, ведь сегодняшние арестанты могли завтра пойти на расстрел.

Мы с Ирэн наивно полагали, что этот Шток, предупрежденный о нашем приходе, примет нас тотчас же. Ничего подобного — нам пришлось ждать очереди. Началось долгое ожидание. Каждый посетитель сидел у Штока примерно минут пятнадцать. Нам пришлось ждать около двух часов. Мне кажется, что я никогда так не страдала. Тут нельзя было броситься на пол и дать волю слезам. Надо было сидеть спокойно. Когда мне становилось невмоготу, я смотрела на Ирэн — неподвижная, бледная, она глядела в одну точку перед собой, и это придавало мне хоть немного сил. Но вдруг я увидела, что по ее лицу медленно катятся слезы, и я тоже заплакала... Все молчали, только одна молодая особа визгливым голосом спрашивала что-то по-немецки у старика, а он отвечал ей невнятным ворчанием. Тут вошла дама с молоденькой девушкой — их лица показались мне знакомыми. Они сели поодаль, но смотрели на Ирэн — должно быть, они ее узнали. Перед нами оставалась еще одна женщина, но дама встала, подошла к ней и что-то сказала — очевидно, просила ее уступить нам очередь. Та кивнула, а дама, проходя мимо нас, остановилась, сказала Ирэн, что нас сейчас пропустят, поцеловала ее в лоб и отошла. Через несколько минут мы прошли наверх. Это была мадам де Бурдонне, сказала Ирэн, и то, что она сделала, для нее очень характерно [1].

В кабинете Штока нас встретил молодой человек, блондин с довольно приятным лицом. Он смотрел на нас с приветливой улыбкой. Имя Ирэн, объяснившее ему цель нашего визита, ничуть не омрачило его физиономию. Можно было подумать, что расстрел произошел не вчера, а очень давно и что ему даже затруднительно вспомнить, что же было. «Ах, да, да,— сказал он.— Мы все были очень-очень веселы. В автобусе пели песни, курили, ели шоколад. Когда проезжали по Парижу, каждый что-нибудь вспоминал... Особенно веселился Вальтер» [2]. Крелинг нам уже говорил, что Вальтер был «очень-очень веселый»... И все это Шток нам рассказывал с приятнейшей улыбкой. Я себя даже спрашивала: может быть, он так часто видел смерть, что она для него ничего не значит, может быть, он живет в другом мире, может быть, для его «высокого духа» земные дела — ничто перед истинной жизнью за гробом? Но тут же я поняла свою ошибку. Нет, этот человек тесно связан с земной жизнью, в его улыбке ничего светлого нет, ни разу он не пытался дать нам духовную помощь, утешение. Я спрашиваю: «А Левицкий?» «Ну, этот был скорее меланхолического склада...» И он снова ухмыляется. Но мы хотим вырвать у него все — все подробности, все факты. И он как-то неохотно говорит, как будто уже ничего не помнит (он просто боялся себя скомпрометировать, об этом мы узнали позже).

«А Бориса расстреляли последним?» — «Да. Он разговаривал с прокурором. Он сказал: «Я ничего не боюсь. Хочу смотреть смерти в лицо». Это были его последние слова».

Шток все время говорил с запинкой, все боялся сказать лишнее. Да, он хорошо знал Бориса, он часто видел его в тюрьме. Чело-

---

[1] М-м де Бурдонне тоже была привлечена по делу «Музея человека», но за отсутствием улик была отпущена на свободу. В гестапо не знали, что в тот же день она увезла из приюта нескольких еврейских детей, спрятала их у себя и впоследствии переправила дальше.

[2] Эльзасец, которому предложили помилование, если он откажется от французского подданства и назовет себя немцем.

век поразительный, с этим он согласен. «Мы с ним вполне ладили, но я его не понимал... Он был настолько... настолько ДУХОВНЫМ человеком... Я его не всегда понимал... Он мне сказал: «Смерть—это любовь...» А я ему говорю: «Послушайте, мсье Вильде, что это вы говорите?» А он только улыбнулся — вообще он был шутник, мсье Вильде... И еще он мне сказал: «Что такое смерть? Переход через маленький мостик...»

Ирэн спросила Штока о последнем письме Бориса. Может быть, он передаст ей это письмо? Шток шокирован: «Но это категорически запрещается, неужели вы не понимаете? Письмо в цензуре, вам его перешлют через несколько дней».

Ирэн упоминает обо всех петициях, о наших надеждах. Он удивлен: как вы могли питать такие иллюзии? Вильде отлично знал, на что он шел. «Но ведь ничего нельзя было доказать против него, кроме распространения листовок»,— говорю я ему. Но Шток одним жестом отметает эту опасную тему: «Ведь он был у них главарем, не так ли?» Не знаю зачем, но мне хочется вырвать у этого человека хоть слово сожаления, увидеть хоть тень жалости, волнения. «А Сенешаль, маленький Сенешаль, ведь ему и восемнадцати не было?» «Ах да,— говорит он,— он был очень молод. Но ведь и он наделал... наделал...» Я не уверена, что он сказал «глупостей», но смысл был такой. И вдруг я вспоминаю, что передо мной немец, нацист. А я-то все время думала, что разговариваю со священником. Ирэн холодно говорит ему: «Monsieur l'abbé[1], для вас, как видно, все это — дело привычное». Он разводит руками и улыбается: «Да, я насмотрелся... Французы вообще неплохо умирают, но так умирать, как эти семеро... Ничего подобного я еще не видал...»

Он встает. «Меня ждут другие»,— говорит он. Однако я замечаю, что нам он уделил куда меньше времени, чем остальным. Несомненно, он спешил окончить разговор, который был ему неприятен и несмотря ни на что смущал его. И, пожимая руку Ирэн, он говорит: «Вы потеряли мужа, сударыня, но...» Тут шли какие-то банальные слова утешения — я их не запомнила, да, по-моему, он и не договорил... не знал, как окончить начатую фразу...

Без нас домой приходил наш врач и оставил нам четыре таблетки снотворного. Я легла с Ирэн... Она заснула довольно быстро, а я всю ночь не спала. На рассвете я долго смотрела в ее лицо: она спала тихо, не шевелясь. И вдруг она сказала: «Да!» — тихим, решительным голосом. И сама не знаю почему, я вспомнила, как она сказала это слово в день их свадьбы.

Через несколько дней родным выдали тела расстрелянных, их вещи, их записки...

[1] Господин аббат *(франц.)*.

Вот последнее письмо, которое Борис написал перед отъездом из тюрьмы к месту казни. Оно обошло всю Францию, и во многих школах дети заучивали его наизусть. По-русски печатается впервые полностью. Перевод сделан по фотокопии подлинника (Р. Р.).

[...] [1] Простите, что я обманул Вас: когда я спустился снова, чтобы еще раз обнять Вас, я уже знал, что это будет сегодня. По правде говоря, я горжусь своей ложью: Вы могли убедиться, что я не дрожал, а улыбался, как всегда. И я иду на смерть с улыбкой, как на новое приключение, может быть — с некоторым сожалением, но ни угрызений совести, ни страха во мне нет.

Честно говоря, я так давно вступил на путь смерти, что возвращение в жизнь мне кажется во всех отношениях слишком трудным, пожалуй, даже невозможным.

Моя дорогая, думайте обо мне как о живом, а не как о мертвом...

За Вас я не боюсь. Придет день, когда Вы уже сможете жить без меня, без моих писем, без воспоминаний обо мне. В этот день мы соединимся с Вами в вечности, в истинной любви.

А до этого дня мой духовный образ — единственно реальный! — всегда и везде будет с Вами.

Вы знаете, как я люблю Ваших родителей, ставших и моими. Благодаря таким французам, как они, я узнал и полюбил Францию — мою Францию. Пусть мой конец будет для них не горем, а гордостью.

Я очень люблю Эвелину и верю, что она сумеет жить и работать для новой Франции.

С братским чувством я думаю о семье Манн.

Не надо, чтобы моя смерть стала поводом для ненависти к Германии. Я боролся за Францию, но не против немецкого народа. Они выполняли свой долг, как мы — свой.

Пусть после войны нашей памяти воздадут должное — этого достаточно.

Знаю, наши товарищи по «Музею человека» нас не забудут. Моя любимая, я уношу с собой воспоминания о Вашей улыбке. Постарайтесь улыбаться, читая эти строки, как улыбаюсь я, дописывая их.

(Только что посмотрел в зеркало и увидал себя таким же, как всегда.) Вспомнил четверостишие — я его сочинил несколько недель тому назад:

По-прежнему буду бесстрастен
И понапрасну смел,
Когда двенадцать винтовок
Возьмут меня на прицел.[2]

Да и вправду, нет в этой смелости никакой заслуги. Для меня смерть — только завершение большой любви, переход в истин-

[1] Разрешив опубликовать это письмо, Ирэн Вильде заменила обращение к ней многоточием.
[2] Перевод М. Н. Ковалевой.

ную Реальность. На земле эту реальность для меня воплощали Вы. Гордитесь этим!

Храните мое обручальное кольцо — последнюю память. Я поцеловал его, прежде чем снять.

Хорошо умереть в полной силе, с ясным умом, владея всеми своими способностями... Такой конец для меня безусловно — самый подходящий. Лучше умереть так, чем неожиданно пасть на поле боя или мучительно гибнуть от неизлечимой болезни.

Кажется, я сказал все. Уже пора идти. Я видел некоторых своих товарищей. Они все держатся отлично. Меня это очень радует.

[...] бесконечная нежность к Вам подымается из глубины моей души...

Не будем жалеть о нашем бедном счастье, оно так ничтожно перед нашей радостью. Как мне светло... Вечное солнце встает из смертельной бездны. Я готов, я иду.

Я расстаюсь с Вами, чтобы вновь обрести Вас в вечности.

Благословляю жизнь за все ее щедрые дары!

Публикация, комментарии и перевод с французского РИТЫ РАЙТ

ПИСЬМА ИЗ МОАБИТА

Совсем немного не дожила Крыстына Витусская до того незабываемого майского дня 1945 года, когда советские солдаты в поверженном Берлине широко распахнули двери нацистских тюрем и казематов и тысячи борцов-антифашистов, истощенные, истерзанные пытками, обрели, наконец, долгожданную свободу.

Жизнь этой польской девушки оборвалась несколькими месяцами раньше — 26 июня 1944 года ее гильотинировали по приговору имперского военного суда, который признал ее виновной в подрывной деятельности — сборе сведений, могущих нанести ущерб вооруженным силам третьего рейха.

До этого дня Крыстына около двух лет провела в берлинских тюрьмах. Александрплац, Моабит и Галле (самым длительным было пребывание в Моабите), где томились антифашисты почти из всех оккупированных гитлеровцами стран Европы, в том числе из Польши, Советского Союза. В Моабите содержался и Муса Джалиль.

Муса Джалиль попал в Моабит уже сложившимся поэтом, зрелым воином, прошедшим трудные фронтовые дороги. За тюремными стенами он продолжал бороться, продолжал писать пламенные стихи. Крыстына Витусская оказалась в фашистской тюрьме в начале своего жизненного пути: она и ее подруги только начинали борьбу с захватчиками.

Юность всех этих трех варшавянок — Крыстыны Витусской, Марии Кацпшик и Ванды Каминской — совпала с трагическим этапом в жизни Польши — гитлеровским нашествием, страшной и тягостной ночью оккупации. И хотя «оккупационные университеты» у всех трех были недолгими, складывались по-разному, в главном их судьбы совпали: Крыстына, Мария и Ванда жаждали начать борьбу и упорно искали связи с антифашистским подпольем, которая, наконец, и была установлена.

Первые задания, полученные «тройкой» от Сопротивления, касались сбора сведений о дислокации немецких частей в Варшаве и носили, скорее всего, предварительный характер: надо было выяснить, как, насколько оперативно справляются девушки с порученным делом.

Польский историк Ванда Кеджинская, много занимавшаяся биографией Крыстыны и подготовившая к печати ее письма, считает, что ее арест не мог быть прямым следствием «подрывной деятельности» всей «тройки» против вермахта. Неожиданная «честь», оказанная начинающим подпольщицам (производить обыск в варшавской квартире Крыстыны явились чины берлинского гестапо), кажется действительно странноватой. Кеджинская полагает, что арест был вызван другими обстоятельствами.

Друг детства Крыстыны Збигнев Вальц, считавшийся ее женихом, во время сентябрьской кампании 1939 года попал в плен и был вывезен нацистами на территорию рейха. Сначала он содержался в шталаге; позже, когда Германия начала испытывать острую нехватку рабочих рук, его заставили трудиться в хозяйстве какого-то немецкого бауера. Збигнев Вальц завязал активную переписку с друзьями на родине, связанными с Сопротивлением, и начал снабжать их информацией о жизни поляков, угнанных в фашистское рабство. Гестаповцы схватили Вальца и бросили его в фашистскую тюрьму на Александрплац (позже Крыстына даже сидела с ним какое-то время в одном блоке). Адреса в его записной книжке решено было проверить: не удалось ли полякам раскинуть единую, широко разветвленную разведывательную сеть? Так, по мнению Кеджинской, Крыстына и ее подруги попали в руки гестапо, тем более что в момент обыска у Витусской оказалось вполне достаточно «отягчающих» материалов, чтобы арестовать не только ее, но и Марию, и Ванду.

Однако некоторые историки и журналисты, писавшие о Крыстыне Витусской, считают, что она в ходе следствия могла сознательно преуменьшать масштабы своей подпольной деятельности. Возможно, что она в какой-то степени была причастна к начинаниям Збигнева Вальца, и может быть, материалы, изъятые у нее в момент обы-

ска, действительно насторожили представителей берлинского гестапо. Во всяком случае, они взялись за дело этой «тройки» всерьез.

В результате после длительного следствия их дело рассматривал имперский военный суд. Формально это представляло девушкам право на защиту, на помощь адвоката, правда, адвоката, который состоял на жалованье у тех же гитлеровских органов «правосудия». Вот почему Крыстына без всяких иллюзий отнеслась к предоставленному ей «праву». Она сразу призналась, что вела деятельность разведывательного характера, приняв основную вину на себя, чтобы как-то выгородить подруг, которые, как она считала, попали в тюрьму по ее оплошности. Так как Мария и Ванда свою вину отрицали, а вещественных доказательств против них было мало, адвокату удалось убедить суд, что его подопечные не могли нанести ощутимый урон военной мощи Германии, ибо еще не успели передать дальше собранные сведения.

К смертной казни приговорили одну Крыстыну, ее подруги получили разные сроки заключения в концлагерях. Однако даже эта «победа» адвоката вызвала гнев прокурора, и в отношении Марии Кацпшик суд даже пытался пересматривать первоначальное свое решение, о чем с тревогой пишет Крыстына родным.

...Крыстына попала за стены берлинской тюрьмы неопытной, наивной, несколько экзальтированной девушкой, которая, по собственному ее признанию, примкнула к Сопротивлению, не до конца понимая его цели, движимая скорее жаждой романтического подвига. Однако ее пребывание на Александрплац и в Моабите постепенно сформировало из нее убежденного борца. Недаром в одном из последних писем она признается, что «даже теперь», то есть после вынесения ей смертного приговора, она «не сожалеет ни об одном шаге, который сделала в этом направлении», другими словами, не отказывается от своего участия в Сопротивлении.

В берлинских тюрьмах Крыстыне суждено было столкнуться со многими молодыми антифашистами из разных стран Европы и в ожидании своей участи быть свидетельницей их судеб, бед, трагедий, мужества и отваги. Крыстына сидела в старых «добротных» немецких казематах, так сказать, в относительно «нормальных» условиях, особенно если вспомнить, что в эти же годы тысячи ее соотечественников гибли на родине от голода и болезней в страшных бараках Майданека, Освенцима и Треблинки. Но, пожалуй, этот узаконенный порядок гитлеровской системы, откровенно демонстрировавший себя здесь, был в чем-то еще страшнее. В самом деле, вполне «европейская» тюрьма, с душевой и библиотекой, из которой только два выхода — в концлагеря с газовыми камерами и крематориями и на гильотину.

И этими двумя дорогами перед глазами Крыстыны за порог ее камеры уходили десятки женщин. Прошла совсем юная французская антифашистка, дожидавшаяся своей очереди на гильотину, покуда она не достигнет совершеннолетия. Прошла молодая немка, ждущая ребенка. Гитлеровский «закон» был настолько «гуманен», что ей позволили разрешиться от бремени, после чего приговор привели в исполнение. Это откровенно людоедское естество нацистского «нового порядка» только укрепило чуткую, глубоко и остро реагировавшую на всякую несправедливость Крыстыну в ее антифашистской позиции.

Но, безусловно, решающими здесь оказались ее непосредственные контакты с бойцами европейского Сопротивления, в первую очередь с коммунистками. Крыстына успела по-настоящему привязаться к веселой, неунывающей болгарской коммунистке Танке, которую казнили раньше ее. Но самой близкой ее подругой на Александрплац была немецкая коммунистка Розмари Тервил (недаром до самого смертного часа Крыстына с восхищением и нежностью вспоминает о своей «малютке Мими»). Мими научила ее не только с презрением относиться к смерти (сама она, отправляясь на казнь, насвистывала своей польской подруге мелодию «Еще Польска не сгинела...»), но превратила Крыстыну в сознательного борца-антифашиста, знающего, какие идеалы он отстаивает.

«Венец жизни — подвиг...» — так определил некогда Ф. Энгельс активное человеческое деяние, проявившееся в героическом поступке наперекор страху и смерти. Короткая, но яркая подпольная страничка биографии Крыстыны Витусской, ее мужественное поведение в тюрьме и сама ее смерть под ножом гильотины были подвигом. А рассказом о том, как она шла к этому подвигу, могут служить ее тюремные письма.

Впервые изданные в Польше три с половиной года назад, эти письма произвели сенсацию. В статьях, рецензиях, появившихся в газетах и журналах, отмечалась поразительная эмоциональная сила, удивительная яркость этих «писем из-под гильотины», которые, как отмечал один из критиков, сделались подлинным «литературным событием».

Главный редактор «Политики» Мечислав Ф. Раковский, выражая надежду, что письма Крыстыны Витусской будут включены в «обязательный круг школьного чтения», утверждал справедливо: «Эта скромная книжка несомненно войдет в число тех литературных произведений, которые на протяжении долгих десятилетий останутся на книжных полках как свидетельство мужества, силы и отваги человека. Чтение писем Крыстыны Витусской — это огромной силы переживание, оставляющее глубокий след в душе. Почти каждое письмо открывает нам новую грань в характере этой замечательной девушки... В ее письмах нет ни единой фальшивой ноты, ни одного слова напоказ, ничего от ложного пафоса».

В своих письмах к родным Крыстына нередко рассуждает о смерти, вернее, о том, как она встретит тот миг, когда окажется перед гильотиной. Преодолевая естественное чувство растерянности, страха, грусти, она в своем тюремном послании, помеченном днем казни, пишет: «Моя последняя обязанность перед Польшей и вами — умереть мужественно!» Для нее это было важно: умереть, сохранив человеческое достоинство. Уничтожая ее, палачи хотели при этом сломить в ней человека. Только тогда их победа была бы полной. Ведь ее отправляли на казнь не только за конкретную «вину» перед коричневым режимом, но и за то, что Крыстына не смирилась. И Крыстына этот свой нравственный поединок с нацизмом выиграла, доказав, что человек способен остаться человеком до конца.

Точно так же нравственную победу одерживают сейчас и ее письма, невольно противостоя той проповеди антигероизма, тому развенчанию человека, неверию в его силы, которые имеют место в целом ряде произведений современного западного искусства.

Но какими бы громкими словами ни обставлялись всякого рода капитулянтские концепции, сколько бы ни теоретизировали насчет бессмысленности человеческого героизма в наш век глобальных процессов, герои не исчезнут, покуда существует человеческий род. Потому и тюремные письма Крыстыны Витусской неизменно будут находить живой отклик в людских сердцах.

С. ЛАРИН

Альт-Моабит,
25 апреля 1943 года.

Дорогие родители! Вас, вероятно, уже несколько дней назад поставил в известность наш защитник, что я 19 апреля была приговорена к смертной казни за разведывательную деятельность и подготовку государственной измены. Я не утратила мужества и не отступила. В течение долгих месяцев тюремного одиночества я постепенно освоилась с мыслью, что должна буду когда-то умереть. У меня только страшно ноет сердце, когда я подумаю о ваших страданиях.

Вы не должны, однако, терять надежду, я беседовала через два дня после вынесения приговора с моим адвокатом, который меня успокаивает, утверждая, что мое положение вовсе не безнадежное и всегда, наконец, можно надеяться на помилование. У нас еще около трех месяцев до того времени, покуда приговор будет утвержден, за это время я успею написать вам не одно пространное письмо.

Я буду просить, чтобы мне разрешили отослать вам все мои вещи, которые мне уже не понадобятся. Я страшно рада, что по отношению к другим девушкам приговор суда был менее суровым. Я люблю их обеих, словно родных сестер. Люди со стороны думают, что каждый приговоренный к смерти теряет рассудок от страха и отчаяния. В действительности же все обстоит иначе. Может быть, потому, что это просто невозможно понять. Я не могла уснуть только первую ночь и даже немного поплакала, однако только из-за тебя, моя дорогая и любимая мамуля. Я вовсе не помышляю о самоубийстве: такой грех я не хочу брать на душу.

Я теперь уже не одна в камере, и эта перемена кажется мне просто сказочной. Мы вдвоем с одной полькой из Варшавы, она совершила вместе со мной поездку в Берлин, также долго находилась в Алексе, а в настоящее время делит со мною мою грустную участь. Она, эта добрая, благородная девушка, моя ровесница. Мы беседуем с нею целыми днями, так как нам есть о чем поговорить: о том, что каждая из нас пережила и перечувствовала в одиночестве. Мы даже отыскали общих знакомых в Польше; наша страна столь невелика, что все друг друга знают. Сегодня пасха, день воскресения, и именно сегодня я вынуждена писать вам обо всех этих грустных вещах.

Я уже получила разрешение посетить тюремный костел, и сегодня утром мы пели в часовне: «Исчезли ужасы могилы, мы взываем: Смерти, в которой явилась твоя победа!» Я хочу верить, что мы все снова увидимся, что даже теперь я не буду одинокой там, куда уйду, ведь столько юных друзей будет вместе со мной: Лоля, Стась, Томек, Збышек. Смерть — это избавление для всех людей, и на этом свете я верю только в ту истину, которая часто запечатлена бывает на стенах тюремных темниц: «Все проходит». Я не испытываю ужаса перед смертью, во всяком случае, страх этот не сильнее того, который ощущаешь перед какой-либо малоприятной операцией; ведь это длится так недолго! Какое-нибудь мгновение — и все кончено!

Будь только мужественной, дорогая мамочка, всегда высоко держи голову и прости меня, что я доставила тебе столько огорчений. Может быть... может быть, все закончится благополучно. Для грусти у тебя будет еще достаточно времени.

Я переживаю также за Збышека, может быть, было бы лучше ему пока не писать о том, что произошло. Парень и так в страшно угнетенном состоянии. Я убеждена, что он быстро утешится, ибо я была для него всего-навсего прекрасной мечтой. Я подготавливала его исподволь уже на Алексе к самому неблагоприятному исходу, и он поклялся мне, что не совершит никакого безумства.

Я получила от вас большую посылку и от восхищения чуть было не забыла о том, что приговорена к смертной казни; столько великолепных вещей сразу я давно уже не

видела. Внешне я не выгляжу хуже, нежели прежде, только аппетит уже не тот, и я с трудом ем то, чем нас кормят...

У нас здесь весна в полном разгаре, цветет сирень, каштаны и магнолии. Наконец я увидела кусочек Берлина по дороге в здание военного суда. Мы проезжали мимо зоологического сада. Когда видишь, как все вокруг пробуждается к жизни, невозможно думать о смерти.

Дорогой Кароль! Вот и наша дружба близится к концу, а мне всегда так хотелось знать, как сложится твоя дальнейшая судьба. Знаешь, на стене моей тюремной камеры в Алексе крупными буквами было нацарапано следующее изречение: «А все это ради истинной любви». И я подумала тогда, что я вовсе не одинока...

Еще раз молю вас — не вешайте головы и почаще пишите мне. Целую вас крепко и постоянно о вас думаю. Лекарства я не получила, подобные вещи передавать нам запрещено.

Ваша Тина.

Любимая, дорогая мамуля, не очень отчаивайся!

Берлин, Альт-Моабит,
9 мая 1943 года.

Дорогие родители!

Надеюсь, что цензура не будет возражать, чтобы эти несколько последних писем домой я написала по-польски. Я хотела бы, дорогая моя мамочка, чтобы и ты правильно меня поняла. Я уже получила ваши драгоценные и вдохновенные послания. Разумеется, я над ними немного поплакала, потому что мне по-прежнему страшно жалко вас и я постоянно упрекаю себя за то, что вы никогда не знали со мной спокойной жизни, всегда одни сплошные волнения. Я, однако, вздохнула с облегчением, когда поняла, что вы не впали в отчаяние и не утратили надежды.

Страшно вас благодарю за все слова утешения и уверения, что вы не перестали обо мне думать. Я чувствую себя прекрасно, так весела, что подчас сама себя упрекаю за то, что вы там за меня волнуетесь и воображаете бог знает что, а я тут столь беззаботно забавляюсь. Нас теперь уже трое в камере, и все мы опечалены по тому же самому поводу. Ольга из Варшавы, она моя ровесница, а Моника из Торуни — двадцати пяти лет. Ольга очень красива, и обе они очень милые девушки. Вы даже не представляете себе, что это за радость — после нескольких месяцев полного одиночества снова оказаться в молодой компании и снова иметь возможность разговаривать сколько душе угодно. Я стараюсь почти не думать о том, что меня ждет, у меня на это попросту не остается времени, мы целыми днями поем, шутим и производим впечатление расшалившихся институток. У нас часто бывает такое настроение, какое бывает в школе либо в пансионе, потому что и тут многие вещи запрещены, и мы боимся, как бы не получить нагоняй. У всех троих

Крыстына Витусская.

у нас—швейные машинки: у Моники — для прометывания петель, у меня — для мережки, а Ольга на своей машинке шьет очень симпатичные платья. На ночь мы должны выставлять машинки в коридор, чтобы высвободить себе место для сна. Я сплю на кровати, а они на матрацах на полу, однако они вовсе не обижены судьбою, потому что моя кровать точно так же тверда, как и пол нашей камеры. Несмотря на это, спим мы великолепно. Теперь уже май, и по вечерам мы поем песни, обращенные к богоматери, а днем — народные мелодии и шлягеры, какие знаем. Моника поет очень здорово. Знаешь, Алина, что у нас тут так же весело, как бывало когда-то у тебя в лавке.

Дорогие родители, передо мною еще одна трудная задача: сохранить мужество до конца. Молись за меня, дорогая мамуля, чтобы это мне вполне удалось, если я не буду помилована и в один прекрасный день меня доставят на место казни. Я только сегодня написала свое ходатайство о помиловании, так как адвокат обещал прийти и помочь мне, но вплоть до последнего дня так и не явился. Благодарю вас от всего сердца за ваши усилия. Я ежедневно молюсь, чтобы бог меня спас не для меня самой, но ради вас. Голову человеку отрубают за одну короткую секунду, а после этого он уже навсегда освобождается от всех страхов и волнений, вы же никогда не могли бы забыть о моей смерти.

Дорогая мамочка, что касается свидания с тобой, то я уже написала по этому поводу Wunschzettel[1] в военный суд. Подумай, однако, как следует над тем, не получится ли так, что это десятиминутное свидание еще сильнее разбередит тебе душу? Не вернешься ли ты в Варшаву в еще большем отчаянии, поскольку сейчас ты уже немного свыклась с моим отсутствием.

Папа, дорогой, единственный! Твое короткое письмо наглядно показало мне, сколько ты думаешь обо мне и как ты взволнован этим известием. Я знаю, что вы не совсем ясно представляете себе, насколько серьезно мое положение, а у меня сердце разрывалось на куски, когда я должна была вам об этом написать. С радостью получила все ваши посылки. Этот кролик, которого ты мне прислала, мамочка, настолько великолепен, что я не могу им натешиться и ношу его постоянно с собой в кармане фартука. Спасибо тебе также за этот брелок с «сюрпризами», я тотчас разделила его на части и угостила своих подружек.

Дорогую пани Ванду и всех добрых тетушек я благодарю за волнующее письмо из Брвинова, я верю, что, если столько добрых духов опекает меня, со мной ничего плохого не произойдет. И тебя, Кароль, я благодарю за прекрасное письмо. Не кажется ли тебе теперь, что я была права, когда мечтала многое узнать и пережить? Может быть, это было предчувствие, что мне немного времени отпущено. Наконец, получила от Галинки фотографии маленького Коли, я просто в восторге от него: какой чудесный, очаровательный бэби! Обе фотографии стоят у нас на столике. Оля окантовала их. Я понимаю теперь, почему Галина ни о чем на свете и знать больше не хочет, имея такого сыночка; она шлет мне такие письма, как будто я пребываю на отдыхе у моря, а вовсе не в тюрьме. Вам уже, вероятно, отослали мои часы и золотую цепочку с двумя брелоками. Изображение этой маленькой собачки, мамочка, постарайся сохранить, я получила его от очень дорогого мне человека, который, по всей вероятности, уже мертв. Я обещала вручить эту вещицу его матери, но, как видно, мне уже не суждено вернуться в Польшу. Я теперь очень счастлива, потому что моя любимая подруга из предыдущей тюрьмы также находится здесь. Правда, мы не можем находиться в одной камере, как это было прежде, однако мы ежедневно встречаемся на Freistundzie[2] и можем улыбнуться друг другу. С нею вы тоже никогда не сможете познакомиться, дорогие мои, и это очень досадно, потому что она девушка необыкновенная.

Я получила также разрешение отослать домой все вещи которые мне не понадобятся, однако мне сказали, что если только я решусь на это, должна буду отослать все, за исключением того, что осталось на мне. Поэтому я еще подожду, пока не получу уведомления, что приговор утвержден или что я помилована.

Наш тюремный день теперь очень удлинился, потому что до девяти часов еще светло и мы желаем друг другу спокойной ночи не раньше десяти. Я поднимаюсь около шести утра и всегда, встав с постели, мы какое-то время занимаемся гимнастикой. Пессимистка Ольга иногда утверждает, что заниматься этим не стоит, однако я решила до самого последнего дня делать все именно так, как делала и прежде! Потом мы обтираемся холодной водой с головы до ног и часто в шутку перерутиваемся между собой, так как каждая из нас отстаивает право первой получить миску для завтрака. Убрав постели, освежаем пол мокрой тряпкой. Потом я готовлю все для завтрака, ибо исполняю в камере функции хозяйки, а они за это моют посуду — как раз то, что я всегда делала с большой неохотой. В промежутках между этими занятиями мы с Ольгой подшучиваем друг над другом и смеемся так громко, что нашу камеру считают самой веселой.

Подчас я мечтаю о том, чтобы вы, дорогие мои, хотя бы на миг смогли меня увидеть. У вас наверняка сразу бы стало легче на душе. Гораздо приятнее теперь на прогулке: сделалось тепло, и четыре дерева во дворе покрылись густой листвой. На клумбе зацвели незабудки, ландыши и прочие чудеса. Если ты, мамочка, все-таки приедешь на свидание со мной, то сможешь увидеть этот двор, по которому я ежедневно прогуливаюсь с высоко поднятой головой. Раз в две недели мы получаем чистые полотенца, вытиралки для посуды и рубашки. В этих рубашках мы выглядим ужасно забавно, потому что они грубые, длинные и настолько широкие, что я могу в такую рубашку завернуться и совершенно в ней утопаю, что дает Ольге лишний повод для смеха. В такие минуты я думаю о том прекрасном шелковом белье, которое я получила в подарок от папы, о, ирония судьбы! Я хожу теперь в темно-синей юбке и голубой трикотажной блузке, которую получила в подарок от папы; в нашей камере довольно холодно, так как тюремные стены страшно толстые, а солнце заглядывает сюда ненадолго, только по утрам...

Выше голову, любимая мамочка, и будь за меня спокоен, дорогой и единственный папа, недаром ведь я — ваша дочь: все горести и беды я сумею достойно выдержать.

Целую вас тысячу раз и всех тех, кого я люблю. Янушу, братику, большое спасибо за приписку к письму.

(Без подписи)

Берлин, 40,
Альт-Моабит, 12а.
13 июня 1943 года.

Дорогие родители!

11 июня мы пережили наибольшую радость с самого начала нашего пребывания в тюрьме. Оленька помилована; смертную казнь фюрер заменил ей пятью годами содержания в лагере строгого режима. Все мы трое буквально обезумели от радости, я особенно, потому что мы очень любим друг друга, я же к Ольге особенно привязалась.

[1] Здесь: прошение *(нем.)*.
[2] Здесь: во время прогулки *(искаж. нем.)*.

Если бы я еще могла быть спокойна и за судьбу моей малютки Мими, я бы считала себя самым счастливым человеком в Моабите. В пятницу утром Олю вызвали к начальнице, мы с Моникой перепугались, догадываясь, что это в связи с утверждением приговора. Мы как раз стояли в коридоре в ожидании выхода на прогулку, когда сверху спустилась Оля с раскрасневшейся физиономией. В первый день она еще не в состоянии была оценить всю полноту своего счастья, потому что трудно снова привыкнуть к мысли о жизни, когда в течение трех месяцев осваиваешься с мыслью о смерти. Мне только грустно, что мы вынуждены будем расстаться, потому что через месяц ее уже не будет здесь, однако такова уж эта тюремная жизнь, что приходится внезапно расставаться с теми, кого успеваешь полюбить, расставаться, подчас даже не успев попрощаться...

Марыся и Ванда хорошо выглядят. Ванда также может нас покинуть в любой день, потому что приговор, вынесенный ей, окончательно утвержден. Тяжело нам будет расставаться с ней, ведь она — наше «дорогое сердечко». Мне же особенно грустно, когда кто-то из них уезжает, так как я должна сказать себе, что наверняка с ними больше уже не увижусь. Хорошее настроение никогда нас не покидает, особенно теперь, когда Оленька так счастлива. Если я могла бы на кого-то посетовать, так это на вас, дорогие родители. Папа совсем мне не пишет, мама же шлет только открытки. Если бы вы знали, с каким нетерпением ждем мы от вас писем, как беспокоимся о вас, о Варшаве. За посылки я очень вам благодарна, однако уже в последнем письме я просила, чтобы вы не посылали мне съестного. Мне необходимо только мыло, порошки для стирки и мытья волос. Я буду теперь чаще вам писать, так как получила на это разрешение от суда. Я очень сожалею, что у меня еще ни разу не было свидания. Моника виделась со своей сестрой, а Оленька — с одним из своих друзей. В нашей камере теперь сделалось душно, потому что на улице жара, а окна невозможно по-настоящему открыть, тем не менее мы радуемся, когда солнце заглядывает к нам. Збышеку я отправила открытку.

Дорогие родители, и я бы очень хотела доставить вам эту огромную радость и написать вам однажды, что я помилована. Однако я должна быть готова ко всему, в этом и проявляется истинная сила человека, если даже самое худшее не может его сразить. Правильно выразился наш адвокат, что надежда — это поразительное средство.

От всей души вас целую и прошу вас, будьте искренни так же, как и я, и пишите мне. Целую всех наших друзей.

Ваша Тина.

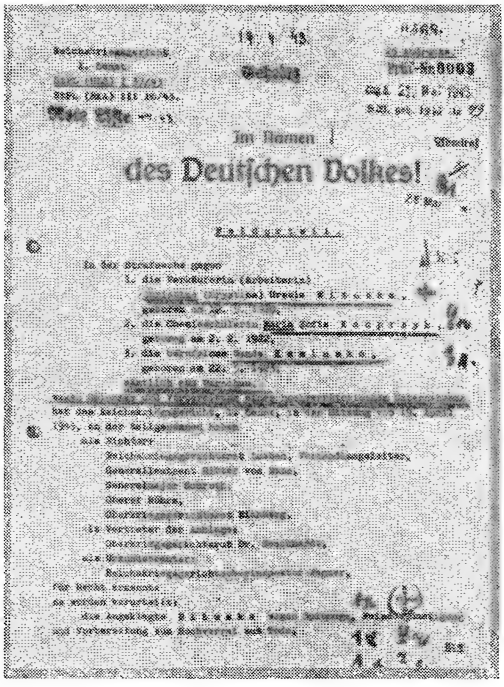
Берлин, 40,
27 июня 1943 года.

Дорогие родители!

Я уже получила открытку, в которой мама сообщает мне о выезде папы в Берлин. Я не очень верю в то, что смогу его увидеть, и стараюсь даже об этом не думать, чтобы потом не испытывать горького разочарования. Впрочем, я совершенно не в состоянии представить, как бы это выглядело, если бы здесь неожиданно появился кто-нибудь из дому.

В последнюю неделю нам суждено было вынести тяжелое испытание: Моника и еще одна из молодых полек навсегда оставили нас. Мы с Оленькой до сих пор как бы оглушены всем этим и никак не можем свыкнуться с мыслью, что та Моника, которая еще три дня назад находилась тут, рядом с нами, смеялась и шутила, что она никогда уже не вернется! Она была такой доброй и милой, всегда думала только о том, чтобы нам помочь, как сделать кому-нибудь из нас что-либо приятное, и так верила, что все мы выживем. Я все время вижу ее живые карие глаза. Обе девушки держались достойно до самого конца. Я никогда не забуду тот последний вечер, который мы провели все вместе, я не могу достаточно верно воспроизвести то состояние ужаса, в котором мы пребывали: он достаточно отчетливо читался в наших глазах. Вместе с тем у нас еще хватило сил попытаться развеселиться и шутить, уславливаться о встрече в Варшаве, хотя каждая из нас понимала, что на это нет никаких надежд...

Дорогие родители, я пишу вам об этом,



Первая страница смертного приговора Крыстыне Витусской.

хотя понимаю, что только наполняю ваши сердца новой тревогой, однако я предпочитаю, чтобы вы были готовы даже к самому худшему известию, ибо вам легче будет его пережить. Боже, как бы я хотела уберечь вас от такого несчастья, как я хотела бы еще утешить вас. В нашей камере, которая прежде была самой веселой во всем нашем блоке, воцарились теперь печаль и тишина. Не слышно уже ни песен, ни смеха. Моника составляла основу нашего трио, у нее был сильный, глубокий голос. В последний вечер, уступая нашим просьбам, она исполнила любимую всеми нами «Ave Maria» Шуберта.

Все эти переживания еще сильнее соединили меня с Оленькой, мы утешаемся как можем, и я с грустью думаю о приближающейся разлуке. Мы с самого начала сделались очень близки друг другу. Оленьку арестовали на день позже меня. Мы были в Павяке [1], потом нас одновременно привезли сюда.

Знаешь, мамочка, я читала твое письмо и Марысе, и Ванде, а также письма Марысиной матери, которых много и которые так волнуют, что мы ревели вовсю. Вспоминаешь ли ты в своих молитвах Мими, мамочка? Большое тебе спасибо за посылочку с шампунем, получила ее в полной сохранности.

У меня к тебе, папочка, большая просьба: пришли мне, пожалуйста, пачку сигарет и спички, правда, тут курить не разрешается, однако в случае чего, если бы я ехала на место казни, мне было бы весьма приятно закурить последний раз в жизни. Это будет как бы утешением и наградой за предстоящее...

Передаю вам поцелуи от моей темноволосой Оленьки.

(Без подписи)

Берлин, Альт-Моабит,
11 июля 1943 г.

Дорогие родители!

Минуту назад я рассталась с Оленькой, которая ушла наверх в транспортное отделение, откуда сегодня же ночью она уедет в Виттен-Аннен [2], в Вестфалию. Я снова оказалась совершенно одна в своей камере, и от этого мне непривычно горько и грустно. Прощания бывают гораздо менее тягостными для того, кто отправляется навстречу новым людям и впечатлениям, но для того, кто остается в тех же стенах, где еще совсем недавно находились дорогие ему люди, все это очень и очень тяжело. Вчера мы устроили последний традиционный вечер с исполнением всех песен, которые мы пели еще раньше вместе с Моникой, с тустепом и полькой-бабочкой, и нам еще было довольно весело, только сегодня с утра мы начали с грустью поглядывать друг на друга, и даже воскресный бобовый суп не очень нам понравился. Одна только мысль меня утешает, что Оленька поедет туда, где находится маленькая Ванда, и если они встретятся, то не будут чувствовать себя очень одинокими. Мне же эти несколько дней одиночества (ибо я надеюсь, что вскоре у меня появится соседка по камере) пригодятся, чтобы задуматься над тем, что близится день, когда и меня вызовут к начальнице, дабы объявить, что со мною станет и что необходимо приготовиться ко всему. У меня еще столько иных забот; возможно, вы уже знаете, что дело Марыси будет заново пересматриваться. Это меня ужасно беспокоит. Боже мой! Я была так счастлива, что мои девочки спасены!

Збышек прислал мне взволнованное письмо, и он опасается сурового приговора. Он уверен, что мое дело уже закончено разбирательством, и всячески просит меня сообщить ему правду. Я сама еще не знаю, как мне поступить, я боюсь, как бы это известие не лишило его равновесия, которое ему столь необходимо при разборе собственного дела. Мамочка, сообщи пани Ванде, что Збышек хорошо себя чувствует и что он спокоен, сам он сообщить об этом не может, так как право на посылку очередного письма использовал, написав мне. Я еще ужасно переживаю за свою маленькую Мими, у нее на руке началось заражение крови, она страшно страдает и по ночам из-за болей не может заснуть. На прогулках я вынуждена взирать на ее темные от недосыпания круги под глазами, однако помочь ей ничем не могу, только посылаю издали воздушные поцелуи.

Дорогая моя мамуленька, я надеюсь, что это письмо дойдет до тебя накануне твоих именин, я хотела бы поздравить тебя и послать эту маленькую салфеточку. Она такая крохотная и ни на что не годится, однако я готовила ее, думая только о тебе. Эти три цветка имеют символический смысл: желтый — это Оленька, алый — Моника, а голубой — я сама. Ни о чем не надо волноваться, дорогая мамочка, и я крепко тебя целую за то, что ты так часто мне пишешь!.. Католическое богослужение проводится каждое второе воскресенье в тюремной часовне, которая расположена на четвертом этаже.

Дорогой папочка! Ты и представить себе не можешь, какой энтузиазм вызывают у меня твои письма, каждое из них обеспечивает мне великолепное настроение, по крайней мере, на два дня! Это последнее письмо доставило мне не меньшую радость, и я заранее ликую в ожидании обещанной посылочки! Постараюсь послать тебе открытку в середине недели. Направляю вам фрагменты стихотворения, сочиненного в нашу честь неизвестной поэтессой:

Es leben drei Polen Kinder... [1]

Пусть этот стишок явится для вас неопровержимым свидетельством того, что мы сохраняем хорошее настроение и душевное спокойствие несмотря на удары судьбы! Напиши мне, папочка, какие виды на уро-

[1] Тюрьма в Варшаве.
[2] Название концлагеря.

[1] Жили себе три польские девушки, всегда веселые и довольные, в камере под номером 18, в берлинской тюрьме Альт-Моабит. Судьба свела их вместе далеко от родной земли и родного

жай в этом году не только в Брвинове, но и вообще. Мне так бы хотелось пройти с тобой по полям, а тут даже голову за решетку не высунешь, потому что отверстие слишком узко!

От всей души вас целую; мамочке шлю особые, именинные поцелуи, а всем друзьям передаю приветы.

Ваша Тина.

Пришли мне, мамочка, новые чулки, которые остались в шкафу, когда я уезжала.

Берлин, Моабит,
24 июля 1943 года.

Моя единственная, любимая мамочка!

Сегодня день моих именин, и ты, вероятно, немало думала о своей далекой дочери. Утром, когда я еще спала, Ленка положила мне под подушку, возле головы, твою фотографию, и мне потом целый день казалось, что ты со мной. Сразу же после обеда я получила твою посылку, очень и очень благодарю тебя, мамочка, за столько милых сюрпризов...

Однако самым великолепным именинным подарком для меня явилось благополучное завершение дела Марыси. Уже в течение нескольких недель, с момента когда мы узнали о вторичной отсрочке ее дела, я пребывала в постоянной тревоге. Только в день судебного разбирательства, утром я узнала, что меня тоже повезут в суд в качестве свидетеля. Мы, разумеется, были от этого в восторге: во-первых, всегда приятнее ехать вдвоем, ну, а кроме того, я радовалась, что мне не придется долго ждать исхода дела. Я не присутствовала на всем процессе, была только в самом начале его, и, кроме того, меня вызвали после на несколько минут, чтобы я дала показания. Остальное время я провела в так называемой арестантской комнате, где под охраной солдат находятся узники. Можешь себе представить, как я волновалась, мне казалось, что этому никогда не будет конца, в действительности же все это продолжалось три с половиной часа. В окно я увидела, как Марыся возвращается через двор с улыбкой на лице, так что я сразу догадалась, что все обошлось благополучно! У нас обеих были настолько радостные физиономии, что солдаты из охраны принялись расспрашивать нас, неужели мы оправданы. Они очень удивились, узнав, что мне вот уже три месяца, как вынесен смертный приговор. Я же в самом деле очень счастлива, и мне легче привыкнуть к мысли о том, какое наказание ждет меня, когда я знаю, что мои девчонки возвратятся домой.

Мамочка, постарайся увидеться с бабушкой или сестрой Оленьки, узнай у них, получили ли они какую-нибудь весточку от нее из лагеря, и, если им разрешено писать, попроси их передать ей мои поцелуи, а также и то, что дело Марыси закончилось благополучно. Пусть они напишут также, что нас теперь в восемнадцатой камере снова трое, что нам не так уж плохо, только Крыся очень по ней скучает. Ты, вероятно, еще не знаешь, кто такая Лена и что за знакомую обнаружила я здесь, в тюрьме. Лена несколько месяцев жила в Ломянках, в семье Макульских, там же была арестована прошлым летом; мы совершенно случайно разговорились с ней на эту тему. Она ужасно милая и добрая девушка. Теперь мы обе ждем, какой ответ последует на наши прошения о помиловании. Лена ждет этого почти полгода.

Приедет ли, наконец, ко мне этот папа? Спрашиваю потому, что сегодня к Марысе явился адвокат и сообщил, что ее отец уже получил разрешение на свидание и вскоре ее навестит, мне стало очень завидно, тем более что Марыся, вероятно, еще вернется к своему папе. У меня было столько радостей в последнее воскресенье: я получила письма от пани Ванды, тетки Бронки и от Алины, все письма очень задушевные, но больше всего я обрадовалась тому, что ты, мамуля, настолько удивительно смелая женщина. Благодарю тебя за это, мамочка моя единственная!..

Пани Ванда писала, что думала о том, как все эти переживания повлияют на мой нрав и характер. Пока что обо всем этом еще трудно говорить, так как мы живем в совершенно ненормальных условиях, только после моего предполагаемого возвращения можно будет заметить какие-то перемены. Мы тоже часто рассуждаем о том, способны ли мы будем после всего этого жить как нормальные люди, мы беспощадно будем взирать на все происходящее иными глазами, ибо многие вещи здесь, перед лицом смерти, показались нам ничтожными, мелкими. И знаешь, мы всегда говорим себе, что мы будем более требовательны к мужчинам и за первого попавшегося уже не выскочим замуж, потому что немного найдется таких, которые смогут нам импонировать, которые столько же пережили и столько же поняли, сколько и мы.

Знаешь, мамочка, тут это общеизвестная истина, что женщины несравненно мужественнее воспринимают известие о вынесении им смертного приговора, что они сохраняют большую выдержку в любой, самой трудной ситуации. В результате я даже немного заважничала, правда, не очень! Збышеку неделю назад я послала письмо, в котором сообщила всю правду о себе, и несколько утешилась открыткой, полученной от пани Ванды, в которой она мне сообщает, что

гнезда, никто никогда не слышал, однако, чтобы они сетовали на свою жизнь, они полны были мужества. Они служили своей отчизне, отдавая ей все, что имели. Всех их схватили, арестовали, а теперь собираются лишить их жизни! Ольгу помиловали, радость всех трех была безграничной, они благодарили бога за проявленное милосердие. Но одной из них предстояло умереть — маленькой Монике, которая больше всех остальных верила в то, что свобода близка. И так тихо сделалось там, где раньше звенел смех, где танцевали польку с радостью и песней на устах. Скоро и Ольга покинет камеру, и тогда Крыстына останется в полном одиночестве! Боже милостивый, даруй ей жизнь, и я буду вечно благодарить тебя! *(Подстрочный перевод с немецкого.)*

возникает какая-то надежда на благополучный исход дела для него.

25 июля 1943 года.

Я снова принялась за продолжение письма. Сегодня страшно скучное воскресенье, потому что мы не идем ни в часовню, ни на прогулку, одним словом, целый день сидим в камере, нет никакого передвижения, связанного с работой. За окном великолепнейшая погода и жара — в камере также горячо и душно, самый восхитительный миг — это когда можно с головы до ног окатить себя ледяной водой и немного охладиться.

У меня маленькая надежда на то, что сегодня я получу от тебя письмо, приуроченное к моим именинам, потому что за всю неделю я получила от тебя только коротенькую открытку. Напиши мне, мамуля, что поделывает Яцек, по-прежнему ли он столь пессимистически смотрит на мир и его будущее? А что теперь с маленькой Эвой? Передай привет Касе и пожелай ей скорее выздороветь. Я очень рада, что у тебя такие хорошие подруги, которые в состоянии тебя утешить.

А теперь я хочу особо поблагодарить тебя от имени моей малютки Мими за то, что ты за нее молишься. Собственно говоря, эта Мими лет на десять меня старше, однако она страшно миниатюрная особа и выглядит прямо как девочка. Ее мама ничего не знает о том, что она арестована и приговорена к смерти: поскольку у нее тяжелое сердечное заболевание, братья и сестры Мими поддерживают в ней убеждение, что Мими удалось бежать в Швейцарию. Поэтому Мими никогда не получает писем от своей мамы, которую она очень любит. Я гораздо счастливее ее и, естественно, очень ей сочувствую. С моими новыми девушками мне хорошо, однако к Оленьке я привязалась больше, чем ко всем остальным полькам, встреченным здесь. Кто знает, как долго мы пробудем все вместе, с Леной мы постоянно задаем себе этот вопрос. Марыся встречалась неоднократно с нашим адвокатом, который снова обнадеживал нас, но добавил при этом, что судьба все время строит злые шутки. Однако ты не переживай, дорогая мамочка, и не вешай голову, так же, как это делаю я. На волнения в случае чего всегда будет время, так я всегда говорю себе и стараюсь по возможности веселее прожить то время, которое мне еще осталось.

Целую тебя от всего сердца, моя единственная мамуся, и еще раз благодарю тебя за твои посылки и письма.

Твоя Тина.

Берлин, Моабит,
22 августа 1943 г.

Дорогая пани Ванда!

Когда-то Вы поинтересовались, какое воздействие окажет на мой нрав и характер пребывание в тюрьме. Удивительно, что именно сейчас у меня появилось желание написать Вам обо всем том, о чем я сейчас думаю. Может быть, потому, что мне кажется, что Вы меня поймете самым лучшим образом и отнесетесь к этому беспристрастно, не так, как моя мамуся, ослепленная безумной ко мне любовью. Я хотела бы написать искренне. Теперь, когда Ваши тревоги по поводу Ника[1] позади, я не буду опасаться, что нагоню на Вас еще большую грусть своим письмом. Может быть, это и совершенно не нужно, но я хотела бы, чтобы кто-то знал обо мне немного больше, хотя в конце концов все это не имеет никакого значения! Мне трудно писать, так как трудно и почти невозможно выразить словами столько самых противоречивых чувств и мыслей. Каждый раз, когда я вспоминаю Ника, я благодарю судьбу за то, что он спасен. Я не думаю, чтобы моя смерть могла оказать какое-то серьезное воздействие на его дальнейшую жизнь, ведь он еще так молод! Я теперь по собственному опыту знаю, как человек быстро ко всему привыкает и способен пережить даже те вещи, которые ему казались вначале совершенно непереносимыми. Мысль об отчаянии моей мамуси гораздо тяжелее, чем понимание того, что необходимо распрощаться со всеми планами на будущее, однако тут я не в состоянии чем-либо ей помочь. Я знаю, что это не сломит ее, что она найдет утешение в вере, в любви к Галинке и к внуку. Ей будет страшно тяжело, ведь она так безгранично меня любит.

Я не хотела бы незаслуженно пользоваться славой патриотки, погибающей из-за любви к родине. Мои поступки были, увы, в первую очередь продиктованы жаждой приключений и любопытством и только потом уже чисто патриотическими стремлениями. Несмотря на все это, я не сожалею ни об одном шаге, который сделала в этом направлении, даже теперь. Однако я вовсе не превратилась здесь в националистку, совсем наоборот. Крайне ярый национализм я считаю своего рода ограниченностью и всегда в первую очередь чувствую себя сначала просто человеком и только потом уже полькой. И я предпочла бы в день казни заявить, что я гибну за дело свободы и за справедливость, нежели утверждать, что гибну за Польшу. Сознание, что погибаешь за общечеловеческие идеалы, будет для меня гораздо более успокоительно. Не поймите меня дурно: это вовсе не потому, что я не люблю свою Родину, однако вместе с тем я отреклась бы от ее идеалов, если бы считала, что они наносят ущерб счастью всей Европы или всему человечеству. Я не чувствую себя несчастной от сознания, что вынуждена умереть, ведь понимание этого свойственно всем людям, с той только разницей, что остальные не знают, когда наступит их смертный час. Смерть столь же естественная вещь, как и жизнь, и к ней следует относиться точно так же. Кто хорошо понял смысл жизни, тот и умереть сумеет так, как подобает человеку. Самая главная вещь — суметь сохранить мужество

[1] Речь идет о сыне адресатки Збигневе Вальце.

до конца, не позволить себе в последнюю минуту отдаться во власть какому-нибудь чисто звериному, низменному инстинкту, не испугаться этой секунды физической боли. Однако на это нас, вероятно, хватит, на это нам достанет сил. Мы погибаем свободными, да, свободными! Потому что тюремное заключение помогло нам избавиться от всего того мелкого, рабами чего подчас остаются люди по ту сторону тюремных стен. Человеческую душу никто не в состоянии обуздать, если только сам человек не запрет ее в четырех стенах тесных понятий и предрассудков. В тюрьме я сделалась — о ужас!—страшной некатоличкой. Этот симптом скорее удивительный. Однако я не дорожу той религиозностью, которая взросла на тюремной почве только потому, что человек не видит иного выхода. Я сама сочла бы это своего рода мелочностью — вымаливать у бога, чтобы он даровал мне жизнь, жизнь, которая так мало значит во вселенной. С какой стати я имела бы большее право на жизнь, нежели миллионы тех, которые уже погибли в этой войне? Того, что наступит потом, я не в состоянии предвидеть и даже не пытаюсь это делать. Я только верю, что не погибнет все то, что в нас было хорошего и благородного, что с помощью этого мы приближаемся к какой-то великой цели, к какому-то идеалу. Радостно было бы сознавать, что по ту сторону я смогу встретить всех, кого любила, и разве же это возможно, чтобы вот просто так разлетелось прахом столь великое чувство, как любовь? Однако, чтобы чувствовать себя абсолютно свободным, следовало бы любить не тех или иных одиночных людей, но посвящать свою жизнь каким-то большим, общечеловеческим целям. На это могут решиться только действительно выдающиеся личности, во всяком случае, не такие, как я. Ибо и я была ограничена в своей любви к одной Мими, и потому теперь я так невыносимо страдаю. Малютку Мими я не в состоянии забыть, не могу переболеть ее смерть, хотя я видела после этого столько других смертей!

Я перечитала теперь мое письмо, и все, к чему пришла после долгих месяцев раздумий, показалось мне пустым набором фраз. Видно, необходимо было выработать для себя какую-то философию на каждый день. Ведь все должно вести к одной цели, нельзя позволить себя согнуть, нельзя терять присутствия духа, даже в самые трагические моменты, надо уметь при этом еще утешать и других, насколько это возможно. Если же говорить о самой смерти, то какой сказочно утешительной кажется мысль, что вместе с нашим уходом из этого мира ничто в нем не кончится, не изменится, солнце не перестанет сиять, цветы будут все так же цвести, на смену лету придет осень, все будет так же, как и прежде. Что значит единственная человеческая жизнь? По нынешним временам это, пожалуй, самая незначительная ценность!

Дорогая пани Ванда, поверьте мне, что я без страха приемлю свою судьбу. Я совершенно здорова, а визит моего отца и свидание с ним были для меня совершенно невероятным счастьем. Поцелуйте за меня всех обожаемых тетушек, мой привет Вашему мужу, пану Люциану, и ребятам, а почти неведомой для меня Руже я желаю скорейшего выздоровления и возвращения в Варшаву. Целую Вас крепко.

Тина.

Берлин, Альт-Моабит,
18 сентября 1943 года.

Дорогие родители!

Это письмо вы получите после моей смерти[1]. Вам перешлет его особа, которой мы должны быть безмерно благодарны. Она была здешней нашей приятельницей и опекуншей. Подвергая риску самое себя, она старалась облегчить, как могла, наши тяжкие судьбы, делилась с нами всем, что имела, совершенно бескорыстно. Мы называли ее нашим «солнечным лучиком», потому что с ее появлением в нашу камеру являлись радость и улыбка. С ее дочерью мы очень сдружились. Ты ее, папочка, даже видел однажды, помнишь?

Я так жалею, что уже не в состоянии буду отблагодарить ее за все, что она для нас сделала, за ее доброту и ее истинно золотое сердце. Меня она особенно любила, и я полюбила ее так, как можно любить кого-то, кто протягивает нам руку в несчастье и делает это как что-то совершенно естественное. Не забудьте о ней, заклинаю вас!

Дорогие родители! В тот момент, когда я пишу вам это письмо, я, естественно, еще ничего не знаю о судьбе моего прошения о помиловании, но верьте мне, что к смерти я совершенно готова и не питаю никаких напрасных надежд. Эти несколько месяцев разлуки только углубили мою любовь к вам, и мне жаль будет покидать вас, пребывающих в такой печали. Верьте, однако, что я сумею встретить смерть с высоко поднятой головой, без страха. Это мой последний долг перед вами и моей страной. Тюрьма явилась для меня хорошей, подчас тяжелой школой жизни, но были и свои радостные, солнечные дни. Никогда не забываемым, чудесным воспоми-

[1] Письмо это было доставлено родителям Крыстыны неофициальным путем. Надзирательница женского отделения в Моабите немка Хедвиг Гримпе, принудительно мобилизованная нацистами и направленная ими работать в тюрьму, симпатизировала польским девушкам-смертницам из камеры № 18. Она предложила им написать прощальные письма домой, которые она бралась сберечь до лучших времен, с тем чтобы потом послать их в Польшу. Крыстына воспользовалась этой возможностью.

Позже, уже после войны, дочь Хедвиг Гримпе, Хельга, от ее имени написала письмо матери Крыстыны — Марии Витусской. Письмо приводится в конце публикации.

нанием останется для меня дружба с Ми-ми. Она научила меня не падать духом, научила смеяться назло «им», научила умирать с достоинством. Мы гибнем в канун победы, с сознанием того, что наша борьба с несправедливостью и насилием не была напрасной.

Не отчаивайтесь, дорогие родители. Мамулечка, будь мужественной. Помни, что я всегда смотрю на тебя и что мне терзает сердце каждая твоя слеза. Я улыбаюсь тебе в ответ на твою улыбку.

Пусть господь вознаградит вас за ту любовь и заботу, какими вы меня окружили. Прощаюсь с вами, дорогие родители, и с тобой, Галинка.

Ваша Тина.

Галле,
26 июня 1944.

Дорогие родители!

Как тяжело мне начинать это последнее письмо! Но верьте мне — не ужас смерти, не скорбь, что расстаюсь с жизнью, а мысль о том, в какое горе я вас повергну, гнетет меня в эти последние часы. Я хотела бы еще раз поблагодарить вас за вашу любовь и заботу, за твою беспредельную самоотверженность, дорогая мамочка! Мне не суждено будет отблагодарить вас за все, что вы для меня сделали, за мое радостное, беззаботное детство!

Не плачь, мамочка, пусть бог тебя утешит! Я знаю, что ты давно простила мне все беспокойства и хлопоты, которые я тебе доставила. Я ищу слова, какими способна была бы успокоить вас, и вспоминаю лишь одну-единственную фразу, которой пани Ванда утешилась после потери Лелека: «Любимые богом гибнут молодыми».

Я абсолютно спокойна, верьте мне, что не утрачу спокойствия до предсмертного мгновения. Моя последняя обязанность перед Польшей и вами — умереть мужественно!

Дорогой папочка, дорогая мамуля, вы сегодня здесь, со мною, и сегодня я понимаю, как я вас люблю! О вас мои последние мысли. Будьте же мужественны! Прощайте.

Ваша Тина.

Письмо Хельги Гримпе Марии Витусской. Берлин, 12 декабря 1946 года.

Уважаемая пани Витусская!

Не будет преувеличением, если я Вас заверю, что я счастлива. Счастлива от первых же слов, какие Вы ко мне адресовали. Вы сняли с моей души огромную тяжесть. Сколько раз принималась я Вам писать! Однако все мои письма ожидала одна и та же участь: они были сожжены или изодраны в мелкие клочки мною самой в болезненном убеждении, что в Ваших глазах они могли бы показаться ложью и лицемерием перед лицом того ужасного факта, что ведь это Германия обрекла Крыстыну на эти муки и затравила ее насмерть. Я немка и в связи с этим чувствую свою долю ответственности за все поступки и преступления моих соотечественников. Поэтому смерть Крыси так же, как и гибель многих других, будет служить для меня вечным и страшным укором! Прошу вас, не благодарите меня! За что? Что я, собственно говоря, могла сделать для Вашей Тины, вернее, что я такого для нее сделала?

Вашей дочери я должна быть гораздо больше благодарна, нежели она мне. Мужественное поведение ее и ее подруг заставило меня восхищаться вашим народом, всеми поляками!

Я чувствую, что должна отправиться в Галле[1] для того, чтобы попытаться узнать еще какие-нибудь подробности о Тине. Как только правила, касающиеся различных зон и пропусков в Берлине, будут урегулированы, я поеду туда и, разумеется, сразу же сообщу вам все, что сумею узнать.

Хотела бы вас заверить, что я сделаю в с е, дабы заслужить ваше уважение и, если возможно, вашу доброжелательность. Я дерзнула бы выполнить и вовсе невозможные вещи, лишь бы тем самым воскресить в вас веру в иную — лучшую Германию.

С надеждой на это шлю вам свой привет, всегда Ваша.

Хельга Гримпе

[1] Название тюрьмы, в которой гильотинировали Крыстыну.

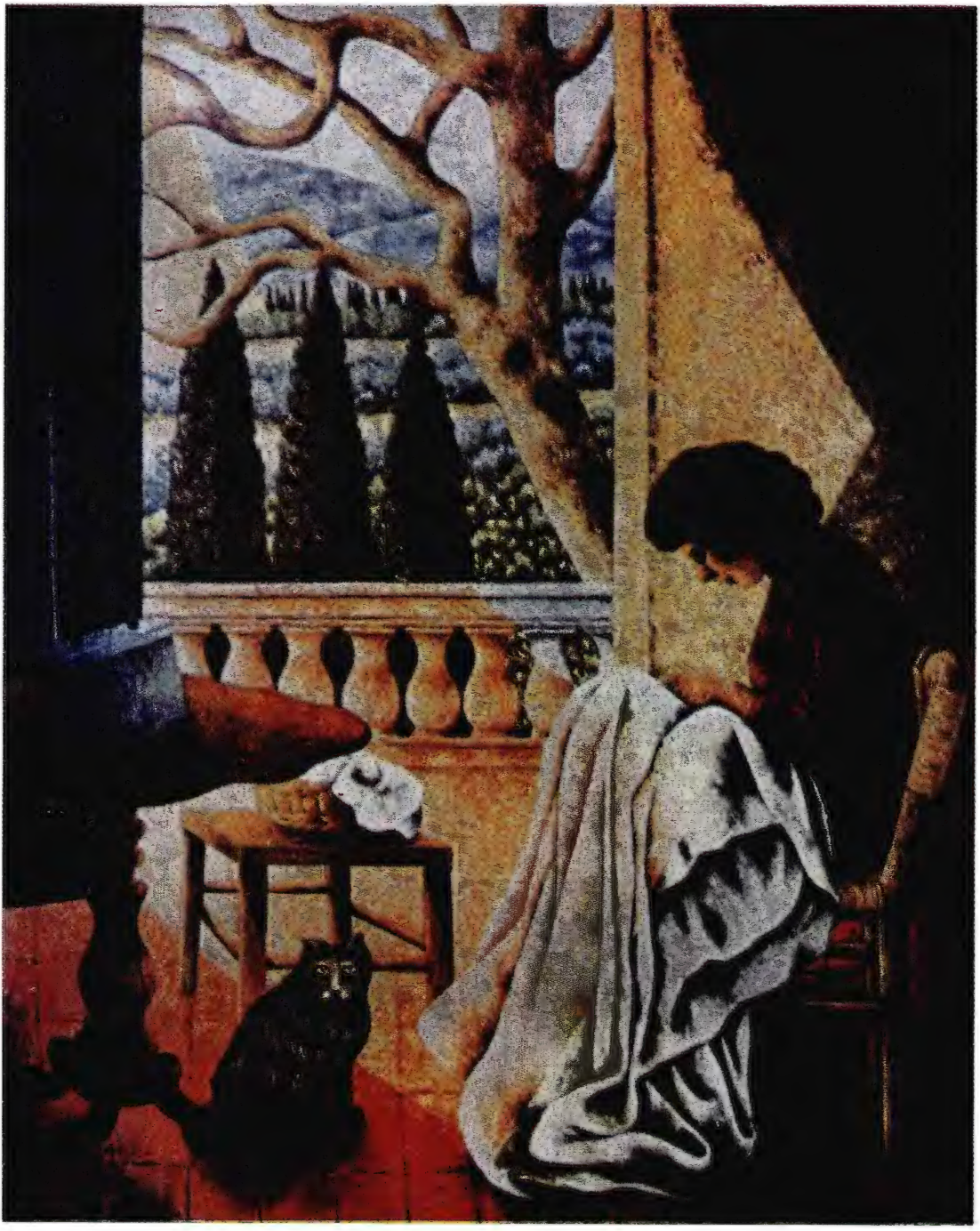
Перевод с польского С. ЛАРИНА

Из работ Жоржа Бокье

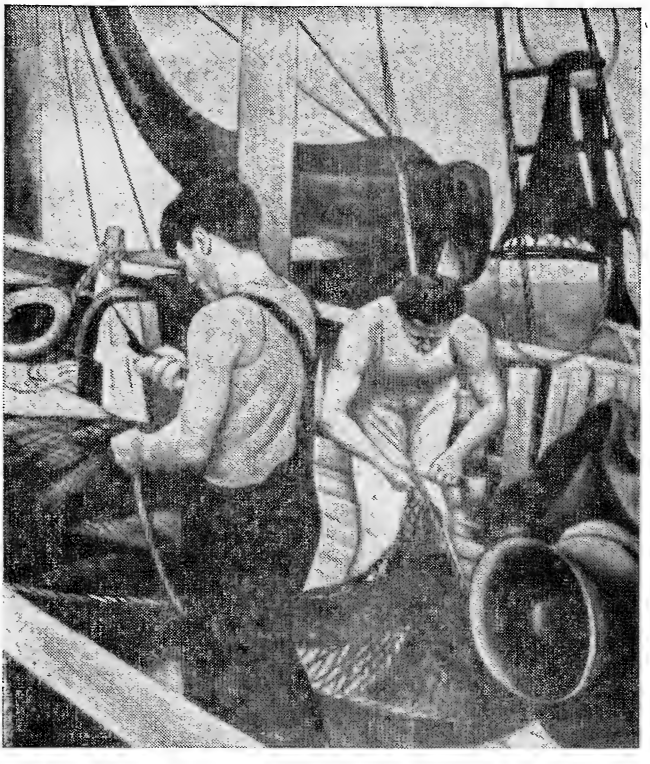
Кальян. 1967 г.

Гитара и шляпа. 1958 г.

Человек с газетой. 1967 г.



Швея. 1970 г.

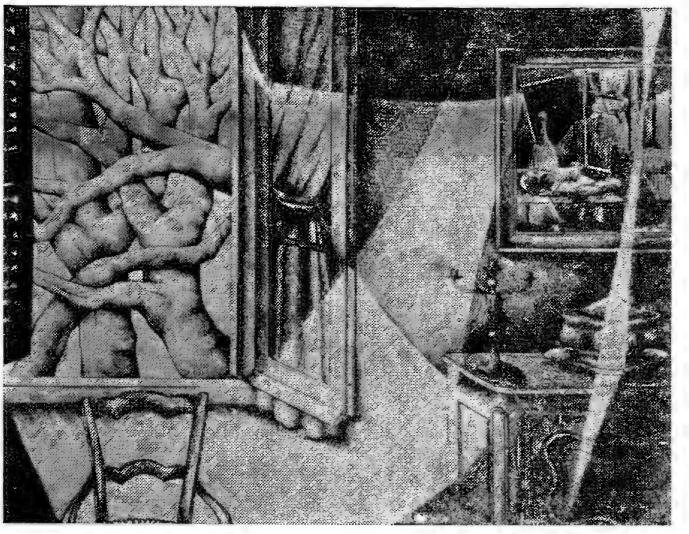


Люди на корабле. 1952 г.

СЕРГЕЙ ЮТКЕВИЧ

ХУДОЖНИК С ПРИСТАЛЬНОЙ КИСТЬЮ

Известно, что в Париже количество галерей, где художники выставляют свои картины, исчисляется уже не десятками, а сотнями. Экспозиции в них меняются часто, и, таким образом, за какой-нибудь один месяц вы можете ознакомиться с обширной панорамой современного изобразительного искусства. Правда, некоторые критики уверяют, что за последние годы



Интерьер. 1965 г.

центр художественной жизни переместился из столицы Франции в Нью-Йорк, но все же Париж по-прежнему остается притягательным пунктом для живописцев всех национальностей, стекающихся на берега Сены, как верующие индусы для омовения в священных водах Ганга.

Итак, если вы решили познакомиться с последними новинками, совершите экскурсию на левый берег реки, где сосредоточено множество галерей, выйдите хотя бы на широкую магистраль Сен-Жермен-де-Пре и, не доходя до прославленного кафе «Флора», загляните в первую же попавшуюся на пути выставку, расположенную, как обычно, в помещении магазинного типа. Вход туда так же, как и во все галереи, бесплатный, и ваша реакция на выставленные там экспонаты не вызовет ни у кого никакого внимания.

А реакция ваша неизбежно может оказаться сильной, так как вы увидите совсем не то, чего ожидали. Несколько растерянно вы будете оглядываться вокруг в поисках того, что вы привыкли считать изобразительным искусством. Хотя психологически вы были уже подготовлены к тому, что на картинах (если их еще можно так назвать) вы не найдете ничего похожего на отражение реальной жизни, а лишь сплетения абстрактных форм, в которые вы сами должны будете вкладывать какие-то ассоциации, вы все же будете удивлены.

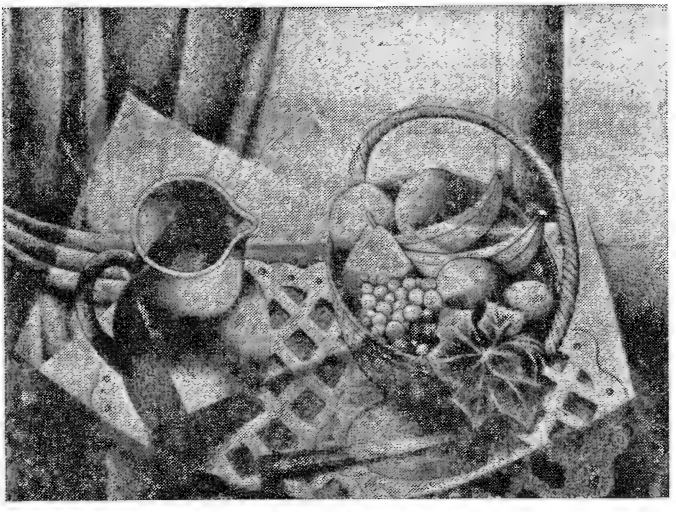
Французский критик Жан Лескюр писал про такие произведения: «В семидесятых годах двадцатого столетия странным образом появились картины, в которых их авторы задались целью доказать, что они не существуют, что они ничто.

Однако картины продолжают висеть на стенах, а некоторые художники не перестают заниматься живописью».

Очевидно, таких чудаков осталось уже совсем мало. Неподалеку на улице Сены, где художественные галереи сгрудились тесно, как маленькие лавчонки, еще можно застать следы деятельности людей, пробующих выражать свои мысли и чувства устарелым способом наложения красок на холст, здесь же давно не пользуются привычной терминологией.

Слово «живопись» окончательно вышло из моды, перед вами мелькают названия: «хромоскопы», «трансохромы», «антропоморфические механизмы», «антиформы», «электроники куба». Заинтересовавшись бесформенным осколком чего-то черного, вы можете узнать из помещенного в каталоге пояснения критика Жан-Жака Левека, что «искусство Сондерборга — это игра следов, оставляемых материалами, приспособленными для передвижения в пространстве. Так, например, он открывает красоту следов от шин на асфальте, этот почерк быстроты, опасности, катастрофы и смерти».

Войдя в следующую галерею, вы поворачиваете обратно, так как вам кажется, что ошиблись адресом,— в обстановке, напоминающей приемный покой, стоят разных размеров глиняные горшки и стеклянные предметы, похожие на клизмы. В продающемся здесь же журнале вы можете прочесть, что произведения некоего Рейно «родились под знаком Танатоса, символа смерти...» Тема смерти выражается у Рейно в асептической атмосфере белых госпитальных стен, в символике костылей или клинических аппаратов, предназначенных для



Натюрморт с кувшином. 1962 г.

фиксации последних проявлений жизни или, быть может, для консервации человеческих органов, а также в ужасающей фотографии мертвого мальчика, проходящей как лейтмотив через все его произведения. Тема смерти выражена в форме красных цветочных горшков, заполненных до краев цементом и лишенных признака какого-либо растения.

Чтобы понять подлинно катастрофическое положение, в котором очутилось на Западе то, что раньше называлось изобразительным искусством, надо обернуться назад. Известно, что знаменитый французский живописец Фернан Леже призывал своих учеников никого не копировать. «Пошлите к черту Леже и Пикассо»,— говорил он, но в противоположность Малевичу, горделиво заявившему после своего «Квадрата»: «Я убил живопись», Леже заявлял: «Я спас живопись благодаря предмету».

Действительно, с тех пор появился термин «предметная живопись», в отличие от нее наши российские супрематисты называли себя «беспредметниками». Но понимание предмета, вещи было совершенно различным у Леже, Пикассо или Брака, которые даже в самых крайних своих экспериментах все же опирались на традиции Сезанна, и у изобретателей дадаизма и сюрреализма. Они в своем стремлении эпатировать зрителей заполонили мир странными изделиями, назначение которых было лишь еще раз утвердить абсурдность всего сущего.

На выставках и в галереях, которые уже стало бессмысленным называть художественными, появились искореженные вилки, очки без стекол или для одного глаза, утюги с шипами, кофейники без дна, стулья без ножек, зонтики из меха, урыльники из сплошных дырок или впоследствии у адептов поп-арта — просто серийное воспроизведение консервных банок и муляжей с витрин продуктовых магазинов.

После таких экспозиций начинаешь понимать справедливость мыслей, высказанных Шарлем Сент-Бёвом еще в 1843 году в статье «Несколько истин о положении в литературе»: «Наглый разгул все продолжается и ширится, уличная грязь и сточные воды нередко подступают к самому нашему балкону, и большие таланты тоже не являют собой высоких примеров... В подобных условиях все, в чем оказывается хоть капля чего-то естественного и возвышенного, простого и нравственного, а тем самым чего-то нового, приобретает значительный шанс на успех, способно вызвать интерес и даже увлечь».

Насколько далеко сегодня зашла здесь боязнь простого и естественного, по определению Сент-Бёва, я могу судить по спорам, возникшим у меня лично с некоторыми художниками, искренне считающими себя прогрессивными и близкими к идеям революционного искусства. Мощная машина торговцев предметами искусства, так называемых «маршанов», эта система, существующая издавна во Франции сначала в виде кустарного промысла, разрослась до размеров коммерческих контор и трестов, соперничающих друг с другом и борющихся за влияние со своими заокеанскими конкурентами. Для такой своеобразной новой отрасли торговли, где жажда наживы давно перевесила интересы искусства, характерна прежде все-

го спекулятивная лихорадка взвинчивания цен на продукцию своих «питомцев». Подобная атмосфера чисто капиталистической формации наложила свой отпечаток на всю художественную жизнь, заразив даже наиболее независимых художников боязнью оказаться вне моды, страхом прослыть отсталыми, и, таким образом, вирус снобизма оказался не менее заразным, чем гонконгский грипп. Если термин «фигуративная живопись», то есть искусство, где присутствует человек, предмет, считается подозрительным и даже бранным, то слово «сюжет» вызывает резкое отрицание.

На этом фоне столь весомо прозвучали слова поэта Блеза Сандрара, писавшего в предисловии к выставке живописца, которого я хочу вам представить:

«После пластических свобод, преобладающих в нашей эпохе, особенно интересно изучить такого художника, как Жорж Бокье. Он бесстрашно пренебрег этими свободами, чтобы вернуться к сюжету. Я повторяю — это было бесстрашно, это героично. Ведь рано или поздно нужно вернуться к сюжету, несмотря на весь риск, который с этим связан».

Кто же этот храбрец, дерзнувший бросить вызов своим коллегам и «маршанам», рискнувший выставить портреты, похожие на свои оригиналы, и картины, написанные маслом, на которых изображены не просто человеческие фигуры, но люди, занятые трудом? У Жоржа Бокье нашлось достаточно мужества для обращения к живописи вообще, и не просто живописи, а предметной, и не просто предметной, а тематической, и не только тематической, но посвященной рабочей теме. Такой поступок оказался органичным для художника, вышедшего из недр мастерской Фернана Леже,— не забудем при этом, что мастер был живописцем настолько сильной индивидуальности, что немногим из его учеников удалось освободиться от подражания его методике.

Жорж Бокье, как мне кажется, остался действительно лучшим последователем Леже, взяв у него не внешнюю стилистику, не ассортимент приемов, а то самое главное и существенное, что составляло силу его учителя.

Родился Бокье в 1910 году на юге Франции возле города Нима в семье железнодорожника. С детства он пристрастился к карандашу, но ничто не предвещало рождения большого художника, слишком робки были его попытки посвятить себя целиком искусству, а главное -- не хватало веры в свои способности и силы. В 1932 году он встретился в Париже с молодой художницей Надеждой Петровной Ходасевич, ученицей, а впоследствии и женой Фернана Леже.

Надежда Петровна сама прошла трудный путь, прежде чем завоевала право

Пикассо. 1951 г.

заниматься любимым искусством. Ее пример вдохновил начинающего художника, к тому же она была первой, кто поверил в его талант, и эта поддержка оказалась для него решающей. Бокье не только поступил в мастерскую Леже, но и завоевал расположение мастера, и затем, нисколько не подражая ему, а постепенно вырабатывая свою стилистику, стал верным хранителем его заветов. Поэтому не случайно после смерти учителя столько энергии, времени и сил вложил он вместе с Надеждой Леже в реализацию ее замысла по созданию музея Фернана Леже в Бьо, где Бокье занял место директора.

Стремление постоянно учиться у жизни, стараясь не копировать ее натуралистически, а воссоздавать творчески, умение устоять перед соблазнами моды и чувствовать, что твое искусство только тогда обретает смысл, когда не теряет связи с широкими массами тех, кто тянется к прекрасному, способность отдавать должное великим художникам прошлого — все это объединяло учителя и ученика и позволило последнему в конце концов обрести свое место в современной французской живописи.

Путь был нелегким. Надо было держать экзамен не только перед законами живописного мастерства, но и перед самой жизнью. Мирные занятия в мастерской Леже кончились с войной. Ученик ушел в армию, учитель уехал в Амери-

ку. Оккупация для одних стала бременем унижения, у других вызывала мужество. Движение Сопротивления притягивало к себе всех честных и отважных. Жорж Бокье становится его рядовым бойцом. Сопротивление сблизило его с Коммунистической партией Франции.

Морис Торез писал о творчестве Леже: «Эстетические размышления заставили его выдвинуть на первый план значение предмета, что привело, даже в плане формальных поисков, к материалистическому восприятию мира... Он не только придает своим произведениям социальное значение, он хочет, чтобы его полотна своими красками доставляли людям радость». «Надо,— заявлял Леже,— чтобы цвет вторгался в жизнь людей, цвет приносит радость. Я люблю яркие краски, бурные контрасты. Пусть они горят на стене».

В своих полотнах Жорж Бокье пронес завет своего учителя — доставлять людям радость, но ему понадобилось еще несколько лет для того качественного скачка, который отделяет подмастерье от мастера.

На полотнах и в рисунках Бокье появляется уже не только предмет, но и человек, предстающий не в таких обобщенных формах, какие мы привыкли видеть на холстах Леже. И в тематике Бокье можно отметить своеобразие — он гораздо менее «индустриальный» художник, чем его учитель. Герои полотен Бокье — рыбаки, ремесленники, крестьяне. Свое творческое кредо он формулирует четко и недвусмысленно: «Каковы бы ни были спекуляции вокруг искусства и его независимости, какие бы ни выдвигались теории «искусства для искусства», отрицания сюжета, утверждения искусства познавательного или еще какого-либо — я не могу забыть, что в начале всего был человек, и все зависит от него, и это он, в конечном счете, решает все».

Так появляются на листах Бокье портреты его современников, художников и поэтов, впечатляющие своим проникновением в характер. А на картинах возникают люди, в одинаковой степени поглощенные трудом,— живописец перед мольбертом, швея за вышивкой, рыбачка за починкой сетей. Одновременно художник ставит перед собой и новые живописные задачи. Традиционный натюрморт становится ареной углубленных опытов по передаче не только цвета, как учил Леже, но и света. «Моя задача,— говорит Бокье,— материализовать свет». Натуру на его полотнах уж совсем нельзя назвать натюрмортом, то есть мертвой. Цвет, который Леже часто отделял от контура предмета, вновь возвращается, но теперь уже не как декоративное пятно, а как свойство вещи. Свет, на полотнах импрессионистов поглощавший, растворявший в себе вселенную, становится равноправной частью материального мира, уловленной пристальной кистью Бокье, и, сливаясь со средой, придает ей особую поэзию. Здесь Бокье как будто подслушал мысли художницы Елизаветы Тураевой, изложенные писателем В. Кавериным в его повести «Перед зеркалом»: «Все одушевленно, любой предмет, который ты пишешь,— все равно, человек это или корыто,— и надо писать так, чтобы ему некуда было деваться, чтобы он почувствовал, что подмечен глазом художника и, стало быть, открыт для него».

Поэзией пристальности одушевлены, казалось, столь знакомые предметы обихода: бутылка вина, плоды, хлеб, цветы — трапеза и радость жизни трудового человека. В картине «Швея» пейзаж как бы осторожно освобождается от добровольного аскетизма, наполняется цветением...

Активный коммунист, пропагандист идей партии, руководивший одной из городских партийных ячеек в Париже, а теперь муниципальный советник в Провансе, директор государственного музея Фернана Леже, Бокье-художник — весь тоже в динамике, в поисках, в опытах.

Когда его попросили сформулировать основную задачу, которую он ставит перед собой как живописец, он ответил: «Искусство не может оставаться в стороне от исторических и научных изменений нашей цивилизации, и нужно найти тот пластический язык, который был бы способен выразить, например, космический старт «Востока».

Так далеко и глубоко заглядывает вперед художник, и я верю, что с его талантом и настойчивостью, принципиальностью и честностью он найдет в себе силы сделать следующий шаг и приблизиться к достижению той новой цели, которую ставит он перед собой как один из передовых художников французского народа.

Среди книг

Издано в СССР

ГЛАШАТАИ ГРЯДУЩЕГО

Поступь времени. Махдум Махиуддин, Али Сардар Джафри, Саджад Захир. Стихи. Перевод с урду Сергея Северцева. Предисловие Мирзо Турсун-заде. Составитель А. С. Сухочев. Москва, «Известия», 1971. 288 стр.

В этой небольшой, но удивительно емкой книге собраны стихи трех талантливых поэтов и стойких борцов за свободу Индии.

Советский читатель уже имел возможность познакомиться с творчеством этих выдающихся представителей поэзии на языке урду (по сборникам «Поэты Индии», «Избранное» и «Расплавленный сапфир» Саджада Захира, по книге Н. Глебова и А. Сухочева «Литература урду», а также по публикациям в журналах и газетах).

Много общего объединяет Махдума Махиуддина, Али Сардара Джафри и Саджада Захира: длительная личная дружба, активное участие в национально-освободительной борьбе, понимание роли писателя как творца и глашатая светлого будущего.

Саджад Захир (род. в 1905 г.), происходивший из знатной семьи, за годы обучения в Англии познакомился с английскими поэтами-коммунистами, которые помогли ему глубже понять учение Маркса. В 1932 году Саджад Захир вступает в ряды Коммунистической партии Индии и затем становится ее руководящим деятелем.

Большую роль в объединении передовых писательских сил страны сыграла Ассоциация прогрессивных писателей Индии, созданная в 1935 году при участии Саджада Захира, который сейчас является ее генеральным секретарем.

Махдум Махиуддин (1908—1969) — активный участник национально-освободительной борьбы — был одним из тех, кто возглавил крестьянское восстание в 1946 году в Телингане.

Али Сардар Джафри (род. в 1913 г.), еще в студенческие годы начавший революционную деятельность, выступает не только как автор многих сборников стихов и поэм, но и как публицист, критик и драматург. Большой популярностью пользовалась его пьеса «Чья кровь» (1945), направленная против злодеяний фашизма. Али Сардар Джафри был одним из основателей Ассоциации индийских народных театров.

Поэты-коммунисты начали свою деятельность в тридцатые годы, когда Индия стала ареной сложной и напряженной политической борьбы, и их поэзия ознаменовала собой переход поэзии урду к социальным и гражданским проблемам современности. В своих стихах, публицистических статьях, речах на митингах, сопровождавших демонстрации и стачки, они стремились познакомить народ с идеями социализма, поднять его на борьбу. Свергнуть мир нищеты и

бесправия, стать хозяевами родной земли призывали в своих стихах молодые поэты.

— Идем! Капканы разорвем
стальных решеток и оков
И стяг свободы водрузим
на глыбах рухнувших веков! —

обращался к соотечественникам Махдум Махиуддин в стихотворении «Старый дворец».

В великой победе индийского народа, который ценой многих жертв, лишений и настойчивой борьбы добился независимости, немалую роль сыграли пылающие строки их стихов и песен.

В твердыни бесправья, нужды и обмана
кирками железными гряньте,
рабы Хиндустана,
восстаньте, владыками станьте,
рабы Хиндустана!

(Али Сардар Джафри. «Голос эпохи»)

И сейчас, спустя двадцать пять лет после достижения Индией независимости, поэты верят в счастливое будущее человечества, хотят приблизить его.

Близится,
Близится,
Близится...
Победоносное, к солнцу зовущее
Наше Грядущее! - -

провозглашает мастер темпераментного, чеканного ритма Махдум Махиуддин в стихотворении «Поступь времени», давшего название всему сборнику.

Зримый образ грядущего встает и со строк Али Сардара Джафри («Голос эпохи»), Саджада Захира («Ночная гостья») и других стихов, вошедших в сборник. И это будущее неразрывно связывается в их представлении с победой миролюбивого трудового народа всех стран над силами войны и эксплуатации.

Одни и те же темы — вера в счастье последующих поколений, протест против ужасов бессмысленных и несправедливых войн, симпатия и уважение к Советской стране (Сардар Джафри и Махдум Махиуддин удостоены премии имени Джавахарлала Неру за произведения, способствующие укреплению дружбы между нашими народами),— одни и те же темы, волнующие этих поэтов, воплощены ими по-разному, создавая три оригинальных, неповторимых, самоцветных поэтических мира.

В своем творчестве Саджад Захир отбросил жесткие правила нормативной поэтики урду, отказался от ее традиционных форм (рубаи, газели, мансави). Для выражения своих идей поэт избрал свободный, нерифмованный стих, который, по его мнению, наиболее точно передает ритмы «поступи времени».

Али Сардар и Махдум Махиуддин также выступили новаторами в области поэтической формы. Наряду с рифмованным они используют свободный стих и новые для поэзии урду размеры.

В стихах Махдума Махиуддина преобладают пламенные ораторские строки, точно выражающие чувства ненависти, любви, уверенности в победе добра над силами зла.

Опять вырывается песнь разрушенья
Из огненных глоток орудий.
Охвачен пламенем сад вселенной,
И в ужасе мечутся люди.
...Но верю я: к миру вернутся люди,
Пресытясь проклятой бойней,
Защитники есть и у нашей планеты,
Жестокой и беспокойной.

(«Война»)

Поэзия Али Сардара Джафри и Саджада Захира более лирична. При этом Саджад Захир, наблюдательный писатель и умудренный жизнью мыслитель, склонен к сочетанию нежного лиризма с глубокой философской насыщенностью стиха, что как бы отражает его раздумья над жизнью.

На крохотной планете
Сумеют как-нибудь ужиться люди,
Чтоб сообща достигнуть процветанья,
Иль жгучий вихрь
И ядовитый пепел
Согнут и похоронят всех и вся?
Вот в чем вопрос!

Поэт заканчивает стихотворение с уверенностью в том, что

Жизнь победит!
И лишь тогда
Несметные цветы — цветы весны
всемирной —
В одну живую ароматную гирлянду
Мы сможем наконец сплести...

(«Быть или не быть?»)

Так, чутко уловив и образно выразив в своей поэзии ритмы и мотивы современной эпохи, несут людям свет правды достойные сыны Индии: вечно живой в своих стихах Махдум Махиуддин, неутомимые, многогранные деятели культурной и политической жизни страны — Саджад Захир и Али Сардар Джафри.

Ю. ЛЕБЕДЕВА

ИСТОРИЯ АВСТРАЛИЙСКИХ ФОРСАЙТОВ

Вэнс Палмер. Семья Суэйн. Роман. Перевод с английского Н. Будавей и Е. Коротковой. Москва, «Художественная литература», 1971. 270 стр.

Творчество Вэнса Палмера, как и творчество Катарины Сусанны Причард, точно мост, связало два основных этапа австралийского реализма. Палмер начинал, когда еще писали те, кто закладывал его фундамент, ветераны 90-х годов,— Лоусон, Ферфи, Радд, Дайсон; его послед-

ний роман, «Важная персона», вышел в 1959 году. Он был одной из самых заметных фигур на австралийской литературной сцене — разносторонне одаренный, широко образованный, стойкий в своих демократических убеждениях и очень добрый человек, которому были обязаны многим начинающие и бедствующие писатели, эмигранты-антифашисты. Палмер наиболее силен как прозаик — новеллист и романист. Но что бы ни выходило из-под его пера — критическая статья, очерк, портрет исторического деятеля, чему бы он ни отдавался — борьбе за создание национального театра или воскрешению забытых страниц, во всем проявляется глубокое понимание национальных проблем, кровная забота о родной литературе, лишенная всякой примеси провинциальной самонадеянности и ограниченности.

В 1958 году, за год до смерти Палмера, у нас был опубликован тоненький сборник его рассказов под названием «Серебристый дуб». Эта книжка, куда вошла лишь небольшая часть новеллистики писателя, пленила тонкостью психологической нюансировки, прозрачной ясностью письма, способностью увидеть, как меняется восприятие мира в зависимости от настроения. Приходилось, однако, слышать и мнение, что Палмер пишет в английской традиции, что нет у него той сочности колорита, напора разговорной стихии, лукавой размашистости, которые издавна присущи австралийской прозе, замешанной на народной были. Такой подход обедняет представление о своеобразной австралийской литературе и таит в себе однозначность, негативизм в оценке влияния литературы английской. И не только английской.

Вершинами, по которым ориентировался и искал свой путь молодой Палмер, были Толстой и Чехов. В 1907 году он возвращался из Англии в Австралию через Россию, чтобы повидать Толстого, но встреча, к сожалению, не состоялась. «...Я видел окружающее большей частью сквозь призму литературы,— вспоминал он о днях молодости,— и деревенские жители из романов Гарди не были так близки мне, как крестьяне Толстого». Выступая в Мельбурнском университете по поводу 50-летия со дня смерти Чехова, Палмер говорил о непередаваемом впечатлении, которое рассказы Чехова произвели на писателей его поколения: «Этот человек легчайшим штрихом мог придать знакомым вещам новый облик. Нас восхищала его прямота, отсутствие позы, то, как он брал обычный случай и обнаруживал скрытую в нем горечь... Мы чувствовали, что он — один из величайших писателей нашего времени, сумевший высказать истины, которых прежде не признавали.

Чехов открыл нам необозримые пространства нового, внутреннего пейзажа, показав, как беспристрастный свет искусства может осветить душевную жизнь самых обычных людей».

И манера Палмера — сдержанность, никакой аффектированности, спокойно ткется ткань повседневного. Не ищите бравурных описаний страстей, даже если герои снедаемы непреодолимым влечением. Но иногда такая пронзительная, щемящая боль поднимается из глубин повествования, а течение семейных дел вызывает моральные проблемы и конфликты, тянущие за собой цепь экономической, социальной, классовой причинности. В статье, посвященной Кэтрин Мэнсфилд, Палмер писал, что изображать в подробностях, как функционирует политический или промышленный механизм, необязательно, но сознание того, что эти факторы существуют, сознание социально-экономических связей людей необходимо: «Представление писателя о социальном бытии незаметно проникнет в его произведение, расширит его горизонты». Это подтверждает и «Семья Суэйн» (1934), первый из одиннадцати романов Палмера, переведенный на русский язык.

Суэйны принадлежат к мельбурнской «верхней корочке». Финансисты, политики, юристы, землевладельцы — они могли бы быть австралийской ветвью Форсайтов. И впрямь, Дигби Суэйн, замкнутый, суховатый, свято соблюдающий регламент своей среды, напоминает Сомса. И «паршивой овцой», отбившейся от стада, оказывается художник, человек творческой профессии. Неудивительно, что Суэйны походят на Форсайтов — из десятилетия в десятилетие они усердно копировали семейный уклад, быт, общественное поведение английской буржуазии, они ощущали себя ее частью, ее представителями на далеких окраинах империи. Суть романа Палмера, однако,— не в изобличении собственничества. В семейной драме Суэйнов — разрыве родственных связей — увидено знамение времени: крах всего мира собственников.

Роман был написан в годы экономического кризиса, который поныне люди старшего поколения вспоминают в Австралии как жестокое лихолетье. Австралийский роман 30-х годов, уходил ли он в историю или держался современной почвы, взошел на дрожжах острого социального неблагополучия. Героев Палмера депрессия, правда, не ввергла в пучину нужды. Но и они почувствовали на себе ее тяжелую руку. В атмосфере всеобщей неустойчивости, ненадежности, угрозы фашизма проблема отцов и детей рассматривается как проблема смысла жизни, открытия ее ценностей, приложения сил.

У Дигби — четверо детей, и никто из них не оправдал его надежд. Старший сын, пятый, сложил голову на полях Фландрии, и его гибель оставила незаживающую рану в душе отца: политик Суэйн ратовал за то, чтобы вести войну до победного конца. Дороти сделала удачную, по светским понятиям, партию, выйдя замуж за настоящего «английского джентльмена», но скоро почувствовала всю формальность своего брака. Джордж не добился положения преуспевающего адвоката. Любимица Кэтлин ушла из семьи, соединив свою судьбу с фермером скромного достатка. Эрнест стал профессиональным карикатуристом. Нет, не удалось Дигби основать династию влиятельных, ре-

спектабельных хозяев жизни. Последний из могикан викторианства, он видит, как рушится здание, казавшееся ему крепостью. Бывший министр консервативен и старомоден со своими претензиями на порядочность в политике, кастовой чопорностью и боязнью «толпы». Дигби не подходит для игры в демократизм и маскировки под «народного деятеля», которая удается его брату Вилли — владельцу типографии, муниципальному советнику, шефу футбольных клубов, «маленькому королю на своей собственной демократической навозной куче» — и в еще большей степени удается сыну Вилли, Барни, получившему портфель министра юстиции в лейбористском правительстве. Демагог Барни проповедует единство всех классов. В злой карикатуре Эрнест изобличает его опустошенность, недоступность страстям, подавленным всепоглощающим конформизмом, недоверием ко всему, что не преследует меркантильных целей.

...Сквозь деревья городских аллей доносится приглушенный звон трамваев, над морем в янтарном воздухе парят чайки, холмы отливают медовой желтизной, пьянит аромат яблок — в пейзаже прорывается затаенный лиризм Палмера. Природа — целительница, опора, источник обновления. Ферма, где нужно вставать с птицами, чинить изгороди, клеймить ягнят, милее Джорджу, чем юридическая контора. Свенсон, за которого выходит замуж Кэтлин, утверждает, что «наша так называемая цивилизация может лопнуть в любой момент и единственно надежное занятие — это выращивать яблоки и картофель». Но вряд ли Палмер верил, что рецепт спасения — в том, чтобы «возделывать свой сад», когда вокруг разорялись сотни фермеров. Если говорить о поисках выхода, то наиболее примечателен образ Эрнеста.

Для младшего сына Дигби неприемлема деятельность, которая в кругу Суэйнов почитается достойной,— например, служба в акционерном обществе, спекулирующем земельными участками. Но и в кружке дилетантов, любителей чистого искусства, ему душно. «Сбросить старую кожу» Эрнесту помогает дружба с рабочим Коннором, борющимся против эксплуататорской системы. Эрнест вступается за безработных, которых разгоняет полиция, его избивают, арестовывают, судят. Он готов отказаться от уплаты штрафа и сесть в тюрьму вместе с товарищами. Потом вместе с Коннором он отправляется в буш на заработки: «Потолкаться среди простых людей, которые сами добывают себе хлеб насущный, и узнать, чем живет мой народ!» Эрнест сделал выбор между двумя лагерями, и оценка его содержится в словах Кэтлин: «Если кому-то из Суэйнов предстоит зря прожить жизнь, то не Эрнесту».

В романе нет главного героя, нет партии для солиста в сопровождении оркестра. Каждый из голосов ансамбля почти так же важен, как остальные. Они сливаются, расходятся, затухают. Но мелодия Эрнеста — самая жизнерадостная и мятежная.

А. ПЕТРИКОВСКАЯ

ПИСЬМА ПОЭТА

Шелли. Письма. Статьи. Фрагменты. Издание подготовили З. Е. Александрова, А. А. Елистратова, Ю. М. Кондратьев. «Литературные памятники». Москва, «Наука», 1972. 532 стр.

Что может быть более любопытно, чем письма поэта? Ведь творческий гений живет не только в своих произведениях — он свободно проявляется во всем: в словах, движениях души, чувствах, в общении с людьми. Прочитать письма и дневники поэта — это значит подойти к нему совсем близко, увидеть его в минуты, когда он остается наедине с собой или с теми, кто ему мил и дорог. Спора нет, ни в чем мы не можем узнать поэта лучше, чем в его стихах, но интимные, необработанные его записи — это тоже он, тоже частица его духа. Когда же в роли автора выступает тот, кто, как Шелли, известен под именем «сердце сердец» — так гласит надпись на его безвременной могиле,— волнение и сопереживание читателей неизбежно очень велики.

В книге «Письма. Статьи. Фрагменты» перед нами проходят письма поэта от 1810 до 1822 года, от школьных лет до последних недель его полной тяжелых испытаний жизни. Поразительно, как быстро развивался и зрел его ум, как не по дням, а по часам росли его образованность, понимание вещей, охват событий. Но при необычайной стремительности его эволюции он всегда остается самим собой. В мысли Шелли с философской точки зрения легко обнаружить противоречия, но в ней — и своя внутренняя последовательность: еще в юности он поклялся отдать все для того, чтобы интеллектуальная красота просветила мир и освободила его от мрачного рабства,— с этим стремлением он и прошел по всему своему пути; с детских лет чужие страдания — стоны обездоленных и истязуемых, духовные муки угнетенных — ранили его больше, чем собственные страдания,— таким он остался до конца; школьником он исступленно предавался чтению и занятиям, забывая о сне и еде,— так и прожил он до того дня, когда отправился в свое роковое плавание; в отроческие годы он заботился о голодной девочке, об избиваемом осле — в зрелые годы стал защитником человечества. Ирландия, Италия, Греция, преследуемые английским правительством демократы, поборники священного «права читать и писать», воспетого еще Бернсом,— вот объекты пылкого заступничества Шелли.

Читатель писем видит, как совершался процесс изживания юношеской наивности. Если в начале все и вся представляется юному поэту в розовом свете, то позднее его взгляд становится более трезвым и требовательным. Он отдает себе отчет в слабо-

стях человеческой природы, но сохраняет веру в возможность ее совершенствования при ином, более справедливом строе.

Благородный, высокий облик поэта, его пытливый, вечно ищущий ум, подкупающая искренность и душевная чистота, готовность жертвовать собой во имя свободы и счастья людей вырисовываются в его переписке со всей отчетливостью и выразительностью.

Подбор писем в новом издании дает представление обо всех сторонах личности и биографии Шелли, о его творческих замыслах. Этому способствуют и отрывки из путевых журналов и записок поэта, посвященных Франции, Швейцарии, Италии. Можно пожалеть лишь о том, что включено сравнительно мало писем последних двух лет. Нередко, исполненные щемящей грусти, они очень важны для понимания трагических мотивов поздней лирики Шелли; они важны также потому, что разрушают традиционный образ «серафического» поэта, чуждого обычным человеческим чувствам.

Из статей Шелли в сборник вошли прелестные маленькие эссе «О жизни» и «О любви». Каждая строчка этих прозаических сочинений поэтична, раскрывает восхищение и изумление автора перед лицом великого чуда бытия, перед загадками страсти.

Рядом с этими эссе хотелось бы видеть эссе «О литературе, искусстве и правах афинян» и «Размышления о морали». Они, по-видимому, не включены из-за ограниченного объема сборника. Это очень жаль, ибо здесь особенно очевиден свойственный мышлению Шелли историзм.

Из политических статей поэта в книгу вошли «Обращение к народу по случаю смерти принцессы Шарлотты» и «Предложение поставить реформу на всенародное голосование», где нашли замечательное воплощение общественные эмоции Шелли и вместе с тем его способность противостоять принятым мнениям.

Даже Байрон счел необходимым отозваться на гибель принцессы прочувственными строфами «Чайльд-Гарольда», крайне преувеличивая, в принятом тогда официальном стиле, скорбь народа по поводу этого события. В обстановке официального траура, когда правительственная печать изо всех сил старалась изобразить кончину принцессы как главное бедствие, постигшее отечество, возвысился бесстрашный звонкий голос. Он объяснял англичанам, что как ни печальна смерть совсем молодой, ни в чем не повинной женщины, они понесли гораздо большую потерю, позволив похоронить свою свободу. Разве могут страдания Шарлотты сравниться со страданиями трудового народа ее страны? Прозаическое воззвание перекликается с более поздним стихотворением «Новый национальный гимн», в котором Шелли с притворным смирением молит всевышнего спасти королеву. Только королева эта — Свобода!

Первый из названных памфлетов отличается не столько эмоциональностью, сколько логической, рациональной убедительностью. Это глубокий анализ тогдашнего положения в Англии.

Чрезвычайно интересны включенные в сборник заметки Шелли о скульптуре Рима и Флоренции. Свидетельствуя о художественном вкусе и тонкости суждения, каждый из этих миниатюрных фрагментов позволяет взглянуть глазами влюбленного в красоту поэта на творения ваятелей древности и Возрождения. Больше всех запоминается описание Ниобеи: отчаяние, покорность, страстная любовь матери, то, как она, вопреки рассудку, силится уберечь от разгневанных богов свое последнее дитя,— все это передано в немногих строках.

В этих отрывках Шелли предстает перед нами еще одной, сравнительно мало известной своей стороной. А впрочем, что ни страница, то новый поворот мысли, новый оттенок чувства. Отмечу, например, великолепные предисловия поэта к его крупнейшим произведениям — «Восстание Ислама», «Освобожденный Прометей», «Ченчи», «Эллада». Любое из них соединяет насыщенность идеей с поэтической приподнятостью и лиризмом. Все они бесконечно много дают для толкования поэм, представляющего, как известно, немало трудностей.

Любопытный и тоже нетрадиционный взгляд на Шелли открывает его эссе «О Дьяволе и дьяволах». Здесь, больше чем обычно, проявляется юмор поэта. Напомню, например, рассказ его о гадаринских свиньях, которые, согласно евангельской легенде, будучи одержимы бесами, низверглись прямо в пропасть. Торжественно-серьезные рассуждения Шелли об ипохондрии и меланхолии парнокопытных самоубийц очень забавны и в то же время обнаруживают тесную связь рассказчика с вольнодумством французских просветителей.

Сборник «Письма. Статьи. Фрагменты» завершается достаточно обстоятельным комментарием и послесловием А. Елистратовой, написанным горячо, взволнованно, увлеченно. Сравнивая поэта с Дон Кихотом, героическим воином безнадежных сражений, А. Елистратова пишет о том, как часто ему приходилось разочаровываться в людях, что, однако, не привело его к разочарованию в человечестве. Автор статьи очень верно говорит о стилистическом блеске переписки поэта, имеющей самостоятельное значение и эстетическую ценность, а некоторые его эссе называет стихотворениями в прозе. Шелли не удалось, отмечает Елистратова, создать ни одного из задуманных им прозаических художественных произведений, но его письма читаются как своего рода эпистолярный роман: жена поэта Мери даже использовала их при работе над одной из собственных повестей.

Интересны соображения исследователя об отношении Шелли к Байрону. Не преувеличивая близости поэтов (во многих наших историко-литературных трудах они рассматриваются как Кастор и Поллукс или Орест и Пилад!), А. Елистратова подчеркивает широту взгляда Шелли на творчество старшего собрата по перу.

Едва ли не лучшие страницы статьи посвящены самой вдохновенной из теоретических работ Шелли — «Защите поэзии». По

справедливому замечанию автора послесловия, трактат Шелли знаменует преодоление механического материализма просветителей. Такое преодоление в то время было возможно только на основе идеалистического мировоззрения. А. Елистратова решительно отвергает неловкие и внеисторические попытки «защитить» поэта от якобы компрометирующих его обвинений в идеализме.

Понимание поэзии как зеркального отражения жизни диалектически сочетается у Шелли с верой в ее активную преобразующую силу, ее способность видоизменять и даже формировать действительность. Неуклонное стремление к такому преобразующему воздействию на людей и мир поставило поэта вне закона, стало причиной его скитаний, неприкаянности, вечного пребывания в «зоне бурь», по образному выражению А. Елистратовой. Шелли, пишет она, «был поистине последний рыцарь просветительского гуманизма, которому пришлось пережить на собственном личном и общественном опыте историческую трагедию крушения просветительских иллюзий, на обломках которых и возник европейский романтизм».

Письма и статьи Шелли вышли в переводе на русский язык к стопятидесятилетию со дня его смерти. Пусть же внимание к ним читателей станет данью уважения светлой памяти поэта.

Н. ДЬЯКОНОВА

НОВОЕ ИЗДАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ЛУ СИНЯ

Лу Синь. Повести и рассказы. Перевод с китайского. Вступительная статья Л. Эйдлина. Составление и общая редакция тома Н. Федоренко. Москва, «Художественная литература», 1971. 429 стр.

У известного китайского художника Чэнь Янь-цяо есть гравюра, на которой изображены дружески беседующие Горький и Лу Синь. На самом деле великие писатели никогда не встречались, но относились друг к другу с глубоким уважением, и гравюра имеет чисто символический смысл. Оживленная беседа основоположников советской и новейшей китайской литературы подчеркивает мысль о традиционной дружбе литератур двух великих народов.

Произведения Горького, как, впрочем, и всех советских писателей, уже давно находятся в Китае под строжайшим запретом. Из творческого наследия великого пролетарского писателя пекинские пропагандисты выхватили всего лишь одну фразу и несколько лет манипулировали ею: «Если враг не сдается — его уничтожают». Вскоре, однако, было наложено вето и на эту фразу.

В свое время Мао Цзэ-дун так писал о Лу Сине: «Лу Синь был самым безупречным, самым отважным, самым решительным, самым преданным, самым пламенным, невиданным доселе национальным героем, который, представляя большинство народа, штурмовал позиции врага на фронте культуры. Направление Лу Синя — это направление новой культуры китайского народа». И вот произведения «национального героя», представляющего «большинство народа», не издаются на его родине.

Некоторые китайские и западные литературоведы делали попытки объявить Лу Синя ярым националистом, противником всего «заморского». Однако на самом деле Лу Синь был подлинным интернационалистом, верным другом Советского Союза, неутомимым пропагандистом советской литературы и искусства. Он переводил Гоголя и Чехова, Горького и Леонида Андреева, Плеханова и Луначарского, Фадеева и Фурманова, Федина и Шолохова и многих других наших писателей, он редактировал и издавал, иногда на свои скудные средства, Достоевского, Блока, Серафимовича, Неверова, Гладкова — всего не перечислить. И надо помнить, что работал Лу Синь тогда в тяжелейших условиях гоминьдановской цензуры, часто рискуя головой. Его другом был слепой русский писатель Василий Ерошенко, человек удивительной судьбы. Об этой дружбе можно прочесть в хорошей книге Р. Белоусова «В тысяче иероглифов». В. Ерошенко посвящен рассказ «Утиная комедия», неоднократно печатавшийся в сборниках Лу Синя.

Разумеется, в сегодняшнем Китае, когда официальная пропаганда нагнетает антисоветскую истерию, Лу Синь — фигура, явно неподходящая для пропагандистских целей. Потому-то для китайского читателя, особенно для молодежи, творчество Лу Синя — за семью печатями.

В нашей стране переводы произведений Лу Синя начали появляться еще при жизни писателя — с 1929 года. С тех пор его книги издавались и переиздавались на русском языке и языках народов СССР много раз и огромными тиражами.

Недавно в серии «Библиотека всемирной литературы» вышло еще одно издание произведений Лу Синя, куда включены все его художественные произведения.

Этот солидный том — результат долгого труда большого коллектива высококвалифицированных китаеведов — Л. Эйдлина, В. Сорокина, О. Фишман, В. Петрова, В. Сухорукова, С. Тихвинского, Вл. Рогова, В. Семанова и других.

Отрадно, что в этом издании некоторые переводы произведений Лу Синя выполнены заново. Отметим в первую очередь «Старые легенды в новой редакции», переводы В. Сорокина и В. Сухорукова неизмеримо лучше старых.

Известны трудности, которые возникают перед переводчиками Лу Синя. Об этом верно говорится в статье «От составителя и редактора»: «При переводе произведений Лу Синя очень важна устремленность к самой сердцевине переводимого произведения, к потаенной сути иероглифического текста, к внутреннему авторскому замыслу, который порой расшифровывается с немалым трудом. Именно в подобном критическом анализе мы видим задачу, стоящую перед переводчиком и истолкователем китайского текста. Все это, разумеется, должно сочетаться с тончайшими наблюдениями над деталями, интонациями, лексикой, стилистическим почерком писателя, которые у Лу Синя всегда останавливают, заставляют думать, искать аутентичных выразительных средств. И тогда перевод становится поэзией. Раскрываются мысли, чувства, волнения подлинника».

Этим строгим, но совершенно справедливым требованиям отвечают еще не все переводы, и коллектив, работавший над книгой, это хорошо понимает. И хочется надеяться, что при последующих переизданиях произведений Лу Синя — а они, конечно, будут — переводчики самым тщательным образом пересмотрят свои тексты.

Вступительная статья к сборнику «О сюжетной прозе Лу Синя», написанная Л. Эйдлиным, отличается тонкой наблюдательностью, ясным и точным литературным языком. Кстати, Л. Эйдлин выступает и в качестве переводчика, и его работы — едва ли не самые хорошие в сборнике.

Только специалист может в полной мере оценить огромную и кропотливую работу, проделанную В. Петровым — автором примечаний. Читатель обычно не обращает внимания на характер и качество примечаний, и их автор незаслуженно остается в тени. В. Петров исполнил свою работу столь же добросовестно, сколь и профессионально. Мелкие недочеты и неточности никак не могут повлиять на общую положительную оценку работы В. Петрова.

Необходимо сказать несколько слов о художественном оформлении книги. Для сборника подобраны работы китайских художников на лусиневские темы — и это прекрасно. Но отбор и размещение иллюстраций в томе могли быть сделаны более продуманно. Маловыразителен портрет Лу Синя работы Янь Ханя (имя автора портрета нигде не значится). Янь Хань, конечно, выдающийся гравер, но эта работа не принадлежит к числу его наиболее удачных произведений. На наш взгляд, гораздо выразительнее малоизвестный портрет Лу Синя, гравированный Жэнь Фэном.

Иллюстрации расположены неудачно. Так, иллюстрации к «Подлинной истории А-кью» вклиниваются в другие рассказы, иногда за сто — двести страниц от текста повести; прекрасная работа Гу Юаня «Тетушка Сянлинь» к рассказу «Моление о счастье» помещена после 416 страницы, а рассказ — между 171 и 185 страницами.

Некоторое удивление вызывает следующее обстоятельство. К сборнику «Блуждания» Лу Синь взял в качестве эпиграфа восемь строк из поэмы Цюй Юаня «Лисао» (стр. 169), которая была переведена А. Ахматовой. Однако, если сравнить текст, помещенный в настоящем сборнике, с текстом из «Антологии китайской поэзии» (т.1, стр. 156), вышедшей при жизни переводчицы, то можно обнаружить в нем по крайней мере семь несоответствий, в том числе и со знаками препинания. Но ведь тот или иной знак в стихотворной строке поэт не ставит случайно.

Все эти огрехи мелкие, но досадные. И тем не менее советский читатель получил прекрасный подарок (изданный к тому же тиражом 300 тысяч экземпляров). Пока это издание произведений великого китайского писателя — лучшее из всех выходивших до сих пор в нашей стране, еще одна ступень в освоении советскими исследователями творческого наследия Лу Синя.

А. ТИШКОВ

Издано за рубежом

СЧАСТЬЕ ОТКРЫТИЯ

Férjhez mennek az angyalok, Mai szovjet líra. Budapest, Európa könyvkiadó, 1972.

В Будапеште в издательстве «Европа» вышла очередная антология советской поэзии. Ее составитель, автор переводов и послесловия — известная венгерская поэтесса-переводчица, лауреат литературной премии Аттилы Йожефа и кавалер советского ордена «Знак Почета» Жужа Раб.

Настоящий сборник, в заглавие которого вынесено название стихотворения Михаила Квливидзе «Замуж выходят ангелы»,— не первая авторская поэтическая антология Жужи Раб. За ее плечами — перевод свыше ста произведений русской и советской про-

зы, около десяти поэтических сборников и антологий и большое количество стихов, опубликованных в периодической печати.

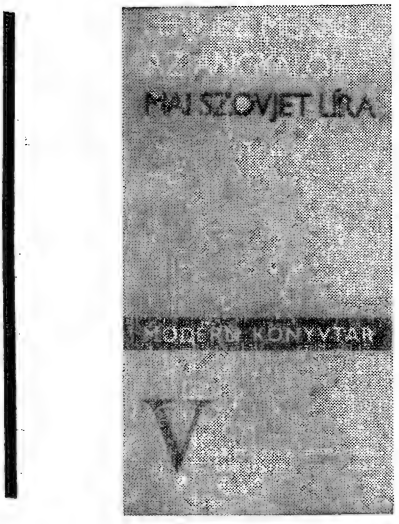
Как родилась у Жужи Раб страсть к очень трудной, требующей огромной душевной отдачи и сил работе переводчика? Сама Жужа так вспоминает об этом: «...сразу после освобождения у нас в доме жили советские офицеры и солдаты. Я слушала и запоминала самые простые слова, но этого было достаточно, чтобы загореться интересом к языку Толстого и Чехова. В 1946 году я поступила на русско-венгерское отделение Будапештского университета. А настоящая моя любовь к русской литературе началась с Есенина. В 1946 году я нашла в библиотеке томик поэта, утащила его под пальто домой и с трудом, пользуясь словарем, читала его стихи и пыталась переводить их самой себе. Спустя десять лет я переводила стихи Есенина по поручению издательства. Это было самое счастливое время в моей жизни».

Счастливое время, я счастлива — эти слова постоянно слышишь от Жужи, когда речь заходит о ее работе.

В недавний свой приезд в Советский Союз летом 1971 года она уже «вовсю» работала над антологией «Замуж выходят ангелы», задумав ее как антологию поэтов народов СССР.

В сборнике представлены 34 поэта 84 стихотворениями: чуваш и эстонец, казах и узбек, грузины, украинцы, армяне, русские. В новый сборник Жужа Раб включила и поэтов «военного поколения», и совсем молодых, с которыми венгерский читатель знакомится впервые. Сами же стихотворения подчеркивают духовную причастность Жужи Раб и к теме войны, к теме повседневных буден, к теме искусства — ко всему, что волнует сегодня людей.

Несомненно, что сборник несет на себе печать авторской индивидуальности: Раб отобрала произведения, которые близки ей по духу, по мысли, по способу художественного выражения.



Ей удалось проникнуть в сокровенные уголки души лирической героини Сильвы Капутикян («Запоздавшие слова», «Полустанок») и в будничную, напряженную атмосферу стихов Риммы Казаковой с ее постоянными раздумьями о нравственном совершенстве («Тишина», «Оправдание»).

Поэтическому складу Жужи Раб глубоко созвучны добрая мечтательность Новеллы Матвеевой («Художники», «Водосточные трубы») и глубокая аналитичность Паруйра Севака, его размышления о природе и человеческом разуме («Лучевая болезнь»).

Венгерский читатель прочтет в этой книжке стихи Беллы Ахмадулиной, в числе которых такое «свое» для Жужи Раб стихотворение, как «Немота», передающее состояние творческого воодушевления, состояние непокоя, муки немоты, и сложные по своему метафорическому строю стихи Андрея Вознесенского «Маяковский в Париже», «Суздальская богоматерь», «Все возвращается на круги свои». Ей дороги молодые поэты Отар и Тамаз Чиладзе: первый — драматичностью своей лирики, полнотой мыслей и чувств, от чего ломаются стилистические каноны в его стихах, второй — полетом философской мысли, мягким прозрачным лиризмом.

Так много поэтов «хороших и разных» в переводе одного человека? Не стали ли они похожи друг на друга в венгерской антологии? Нет. Каждый остался самим собой... Жужа Раб обладает редким даром перевоплощения в переводимого поэта. «Тайна» ее мастерства заключается в интуиции. Но интуиция в свою очередь зиждется на глубоком знании не только поэзии, но и страны поэзии. Мало того, что она по многу раз бывала в наших республиках, знания постоянно черпаются ею из сокровищниц русской и национальных культур нашей страны — литературы, изобразительного искусства, музыки, театра, кино.

Переводы Жужи Раб в смысловом отношении максимально близки оригиналу. Она умеет уловить интонационный характер стиха, передать его музыку. Разумеется, каждый перевод Жужи Раб является отражением того, как она понимает текст подлинника, что ей в нем ближе всего, что она подчеркивает. Вот, например, стихотворение Майи Борисовой «Немой рояль» с такой сокровенной для Жужи Раб темой творческого мастерства. По своему интонационному строю оно словно передает вихрь стремительных пассажей пианиста, отрабатывающего технику игры:

Садись.
И разминай сухие пальцы.
Припомни ритм стремительных пассажей.
Гармонию несозданных мелодий
И смело бей
по клавишам моим.

Что делает Жужа Раб? Она, учитывая, что в венгерском языке ударение падает на первый слог, воспроизводит силлабо-тонический русский стих Борисовой и сохра-

няет точное количество слогов каждой строки (11, 11, 11, 10), в которых ударным и неударным слогам русского языка соответствуют долгие и краткие слоги венгерского языка. Не нарушает она и графического рисунка. И лишь в одном месте усиливает интонацию восклицательным знаком и смысловым повтором. (У Борисовой: «И смело бей...» У Раб: «Ударяй, бей!»)

Új mellém.
Csapjon rám le száraz ujjad.
Pergesd rajtam a gyors tételt viharzón.
a sosemvolt dallam harmóniájat.
Üss, verj!
Ne kíméld billentyűimet!

Так родилось стихотворение, написанное по-венгерски, но с неуловимым русским звучанием интонации.

Жужа Раб умеет извлечь из родного языка такие стилистические возможности, которые позволяют воссоздавать сложные нравственные коллизии поэзии Винокурова («Одиночество», «Русские мальчики», «Будни», «Пророк»), напряженные размышления о смысле жизни, об ответственности перед своим временем поэтического героя Юрия Левитанского («Утро-вечер, утро-вечер...», «Сон об уходящем поезде», «Воспоминания об оранжевых абажурах»), национальный колорит стихов чувашского поэта Геннадия Айги («Война», «Заморская птица»), азербайджанца Расула Рзы («Два сына Марии», «Палетка»).

Блестяще передала Жужа Раб восходящее по своей форме к песне-сказанию стихотворение Джубана Мулдагалиева «Топот коней», в котором рассказывается об истории казахского народа, о его характере и темпераменте, о счастье новой жизни. Вот строфа, заключающая стихотворение и словно подытоживающая весь его смысл:

За табуны рискуя головою,
Вспоенный с ними той же синевою,
Я, сын степи,
Дождавшись новых дней,
Горжусь страны невиданным размахом
И словно слышу
Стук сердец казахов,
Когда я внемлю топоту коней,
волнующему гулу.

Поэтессе удалось сохранить не только ритм стихотворения, построенного на динамике движения, но и его синтаксическую основу, прежде всего причастные обороты, создающие звуковой фон стихотворения, найти емкие, такие же образные и яркие метафоры на венгерском языке:

En is ettől az egtől ittasultam,
a lóval élni-halni
itt tanultam,
ébredtem bűszkén új kor regeltén
pusztai nap
önt el mindent ragyogva.
Mintha
kazah népem szive dobogna,
valahányszor caak ló dobog felém.
viharzo vagta

Секрет удач Жужи Раб не только в ее неизмеримой трудоспособности, не только в ее большом поэтическом даровании, но и в том, что, испытывая горячую привязанность к нашей стране, воспринимая нашу литературу и культуру как свое родное и близкое, она, каждый раз представляя венгерскому читателю новое литературное имя или новое произведение, испытывает счастье открытия.

М. УЛЬРИХ

ЗНАКОМСТВО С ПИСАТЕЛЕМ — ЗНАКОМСТВО С КРИТИКОМ

Gerhard Wolf. Beschreibung eines Zimmers. 15 Kapital über Iohannes Bobrowski. Berlin, Union Verlag, 1971.

Книга Герхарда Вольфа «Описание одной комнаты. 15 глав об Иоганнесе Бобровском» [1] — это и рассказ о личности писателя, и проникновение в его творчество.

Иоганнес Бобровский принадлежит к тем художественным индивидуальностям, любое прикосновение к которым связано с немалыми трудностями. Его повествовательная манера завораживает, интонация вызывает на подражание. В известном смысле именно это и произошло с автором рецензируемой книги.

Перед нами весьма своеобразное лирическое эссе — ибо не представляется возможным назвать каким-либо более или менее определенным термином эти пятнадцать глав об Иоганнесе Бобровском,— эссе, в котором через описание одной комнаты в доме Иоганнеса Бобровского просматривается время и личность писателя в этом времени. Это не только время, которое писатель провел в своем рабочем кабинете на Ахорналлее в Берлине (Фридрихсхаген) с 1939 по 1965 год, то есть до самой смерти. Это также не только время отдельной человеческой жизни. Это еще и отношение Иоганнеса Бобровского к этому времени как к исторической и одновременно философской категории.

От Герхарда Вольфа мы узнаем о страничке, вырванной из карманного атласа, четко обозначившей «территорию» Иоганнеса Бобровского. Рукой писателя эта территория поделена на зоны: 1) Восточная Пруссия, родина Бобровского, земля пруссов, почти полностью уничтоженных тевтонами; 2) прибалтийские земли на север, вплоть до Финляндии, где прошли детство и юность писателя; 3) Россия от Урала и на юг, до Черного и Каспийского морей; Польша; 4) Германия и Бальтийское море. Земли, которые расположены восточнее Вислы, в хрониках эпохи Древнего Рима именуются Сарматией. Балтийское море — это Сарматский океан.

Однако в сознании Бобровского Сарматия занимает более обширные территории, чем это было обозначено римскими историками. Сарматия была для него *понятием*, обозначающим страну *гуманности*, страну, кото-

[1] Роман И. Бобровского «Литовские клавиры» печатался в журнале «Иностранная литература» № 4, 1969 г.; его стихи были опубликованы в № 5, 1968 г. и № 8, 1970 г.

рую время от времени топтали грубые сапожища ландскнехтов.

Отдельные предметы обстановки, картины, книги — все, что находится в комнате, наталкивает автора эссе на мысли об обитателе ее. Постепенно проявляется облик писателя и человека. Возникает та Сарматия, где во времена его детства жили поляки, литовцы, цыгане, немцы, евреи, русские. В Сарматии Бобровского обитали также еще и сарматы — древние пруссы, которые некогда вместе с другими балтийскими племенами пришли с берегов Черного моря к Сарматскому океану, где затем были покорены, онемечены и уничтожены рыцарскими полчищами. Точно так же, как потомки этих рыцарей ко времени Бобровского попытаются уничтожить поляков, литовцев, русских, евреев, латышей и многие другие народы.

Но Г. Вольф показывает, что Бобровский встречает «сарматов» не только в пространстве между Вислой и Неманом, а также и на Волге, и на Ильмень-озере, где он принужден был сражаться на стороне потомков тех немецких рыцарских полчищ («волков», как он их именует), где он оказался свидетелем того, какие формы принимало подавление людей и целых народов, как происходило их физическое и моральное уничтожение.

Ради «сарматов» (и ради «Сарматии») стал Бобровский писателем. Он пытался спасти их, дать им голос в своем творчестве. Его творчество корнями уходит в Сарматию, в водные пространства Вислы, Немана, Даугавы, Волги. Оно поднимается из крови погибших, из языка живых и из языка тех, кто уже никогда не вернется к жизни.

Писатель поставил памятник «надежде на время без страха».

Обо всем том, как воздвигался этот памятник, как был отыскан, выбран, обработан подходящий материал, и рассказывает Герхард Вольф в своих пятнадцати главах.

Жизнь писателя открывается не только в конкретном облике, который можно воспринять, рассматривая картины, гербы, карты, семейные портреты и документальные свидетельства в рабочем кабинете, на стенах, на полках, в столах, в ящиках. Жизнь — это путь его мысли. Путь этот был долгим.

Тильзит (Советск), где Бобровский родился в 1917 году. Детство, когда вокруг Бобровского звучала литовская и польская речь, звенели литовские и польские песни. В комнате писателя они представлены старыми и новыми их изданиями, научными работами, словарями.

Следующий этап — гимназические годы в Кёнигсберге (Калининград). Отсюда ведут пути духовного самоопределения писателя; здесь, по словам Г. Вольфа, «редкостным образом сконцентрировалась история духовного и культурного развития северо-восточной Европы».

Русский язык пришел к нему уже на следующем этапе его жизни, в то время, когда Иоганнес Бобровский начал писать. Это было «волчье время», когда он принужден был стать солдатом вермахта и носить униформу «волков», время, когда он при виде руин Новгорода и Пскова, разграбленных и разрушенных церквей, при виде терзаемых «волками» людей захотел вернуть «сарматам» их утраченный голос. Об этом времени говорят три маленькие иконы в комнате и стихи о России.

Так постепенно в книге раскрывается глубина и выстраданного поэтом гуманизма, глубина незаживающей раны от чувства вины перед другими народами.

Комнату на Ахорналлее населяют Гердер, Клопшток, Гаманн, Гёльдерлин; населяют ее и Лерке, Тракль, Р. Вальзер, Н. Закс. Не менее близки Бобровскому Вийон, Гонгора и А. Киви. И, наконец, русские писатели, начиная от Гоголя, Герцена, Достоевского вплоть до Федина, Шолохова.

На стенах и в книжных шкафах — живопись, графика, репродукции и великое множество пожелтевших от времени литографий и проспектов — все это вехи, также позволяющие обозначить путь писателя. Все это — «дорожные знаки» или просто «знаки», как любил их называть Бобровский («...я оставил здесь знак — значит, я здесь прошел...»).

Последние главы книги Герхарда Вольфа воссоздают образ писателя — общественного деятеля. Из воспоминаний, из высказываний множества друзей воссоздается и портрет Бобровского, встает образ человека, который был похож скорее на крестьянина, чем на писателя.

В «Описании одной комнаты» критик проникает в творческий (и человеческий) мир Бобровского — вроде бы отклоняясь от темы, от предметов, в «одной комнате» находящихся, заглядывая вперед, оборачиваясь, останавливаясь, цитируя самого автора, разговаривая с читателем, воспроизводя разговоры, которые могли когда-то прозвучать в этой комнате. Нам неизвестно, присутствовал ли Г. Вольф сам при них, знал ли он Бобровского лично. Да не это здесь главное. Главное то, что Г. Вольф превосходно знает *писателя* Иоганнеса Бобровского, любит его и понимает его творчество. И умеет научить этой любви и этому пониманию также и своего читателя.

Д. КАЛНЫНЯ

СНОВА ОТЦЫ И ДЕТИ

Nathalie Sarraute. Vous les entendez? Paris, Gallimard, 1972.

Тому, кто знаком с творчеством Натали Саррот (на русский язык переведены «Золотые плоды» и отрывок из романа «Планетарий»), нетрудно было заметить, что в основе ее романов обычно лежит некая вполне реальная ситуация, обыч-

но довольно незначительная, которая служит стержнем для построения всего произведения. В «Золотых плодах» это — появление романа «Золотые плоды», в «Планетарии» — прием гостей, в книге «Между жизнью и смертью» — писатель, комкающий и бросающий листок рукописи.

Исходной ситуацией в романе «Вы их слышите?» можно считать следующую сцену: загородный дом интеллигентного французского буржуа, спокойная, хорошо обставленная комната, мебель, обтянутая перкалем, бронзовые канделябры, камин... В комнате группа людей: хозяин, его дети-подростки, гость. Гость, пожилой человек, как и хозяин,— любитель искусства, замечает на камине старинную индейскую статуэтку из грубого камня, берет ее и переносит на стол. Гость и хозяин благоговейно созерцают каменную фигурку животного, изредка обмениваясь скупыми фразами: «Великолепная вещь, где вы ее разыскали?.. Она перешла ко мне от отца... Я не коллекционер...» Дети, очевидно не разделяющие благородной страсти старших к искусству, вежливо молчат. Затем одна из девочек замечает: «Это, должно быть, критская статуэтка?» Невежество и самоуверенный тон девочки несколько коробят отца. Дети чинно прощаются и уходят к себе наверх...

Больше ничего не случается. Все остальное происходит лишь в воображении хозяина дома, отца детей.

В романе «Вы их слышите?» Натали Саррот остается верной школе «нового романа» и собственной «психологической» линии в русле этой школы. В книге нет развивающегося действия, персонажи ее безымянны и в соответствии с поэтикой школы почти лишены каких-либо индивидуальных черт (читателю даже не удается узнать, сколько детей у хозяина и сколько среди них мальчиков и девочек). Ткань произведения, его структуру составляет поток сознания, внутренние монологи отца, пересекающиеся время от времени с монологами детей, совсем редко — гостя.

Смех детей наверху — гость не обращает на него ни малейшего внимания — вызывает у отца очень болезненную реакцию, очевидно пробуждая таящиеся где-то в глубине подсознания горечь, разочарование, недовольство детьми, которые, взрослея, ускользают от него, разрывая связи, совсем недавно казавшиеся столь прочными и нерушимыми. Без конца он мысленно возвращается к только что происшедшей сцене, и всякий раз эпизод с каменной статуэткой предстает в ином свете в зависимости от эмоций, которые вызывает у отца смех, доносящийся с верхнего этажа (смех «невинный», смех «притворный», «варварский», «убийственный» и т. д.). Нескончаемое, безостановочное движение текста вокруг темы смеха, с тончайшими, едва уловимыми переходами от ощущения к мысли, от одной воображаемой сцены к другой, от вымышленной ситуации к реальной придает прозе Саррот своеобразный, музыкальный ритм.

Читателю довольно трудно пробраться сквозь бесконечную смену психологических нюансов и игру настроений, проследить за прихотливым течением внутреннего монолога. Но тот, кто не закроет книгу на первых страницах и прочтет роман до конца, не только оценит незаурядное стилистическое мастерство автора, но и обнаружит новые элементы в конструкции романа, не существовавшие в прежних работах Натали Саррот.

В романе «Вы их слышите?» сохранены три измерения, характерные для предыдущих произведений Саррот: подсознательная психологическая субстанция — поток сознания — внешняя ситуация. Однако есть в последней книге писательницы некая четвертая реальность, реальность, рожденная воображением главного персонажа, которая играет немаловажную роль в романе.

Если в «Планетарии» и в «Золотых плодах» внутренний монолог — лишь словесное выражение и уснащенная метафорами интерпретация подспудных ощущений, движений, побуждений, всего того, что Натали Саррот в свое время окрестила «тропизмами» и провозгласила главным и чуть ли не единственным предметом творчества, то в романе «Вы их слышите?» поток сознания рождает картины, экспрессия и динамизм которых во многом восполняют неподвижность внешней фабулы. Драматические сцены объяснений, ссор, примирений и даже судебных разбирательств сменяют друг друга, как кадры кинофильма. Бесчисленное множество раз в воображении своем, возможно один-два раза на самом деле (утверждать что-либо более определенное по этому поводу не решается даже привыкшая к самым неожиданным странностям новейших литературных течений французская критика), поднимается отец к детям, чтобы утихомирить, убедить, пристыдить их. Он укоряет, грозит, обличает этих невежд, нигилистов, варваров, способных пририсовать Джоконде усы. Он доказывает, просит, умоляет своих милых, умных, добрых детей, он готов ради них отказаться от всего — от искусства, от самого себя и даже... от каменной статуэтки, которую он в порыве великодушия дарит детям. Правда, тут же устрашенный картиной поругания шедевра, которую рисует ему услужливое воображение (дети ставят на спину каменной фигурки пепельницу и сбрасывают в нее пепел), он меняет решение и принимает предложение детей сдать ее в музей.

Все драмы, переживаемые отцом, почти не сказываются на внешней канве произведения. Редкие фразы, которыми обмениваются гость и хозяин на протяжении всей книги, не передают и сотой доли тех бурь, которые разыгрываются в душе хозяина. (Типичное для Натали Саррот соотношение между подтекстом разговора и разговором: sousconversation—conversation.)

Последняя картина в калейдоскопе воображения — сцена в музее, куда пришли ставшие взрослыми мальчики и девочки со своими друзьями. «...Там, в одном из небольших залов... направо... статуэтка. Она принадлежала когда-то нашему семейству... Они приближаются и стоят в благоговейном

молчании. Их друзья наклоняются и почтительно читают надпись...»

Интересно, что тема, занимающая писательницу — извечный конфликт отцов и детей, показанный ею изнутри,— перерастает в романе в конфликт между молодежью и современной буржуазной цивилизацией, блага и фетиши которой столь же непривлекательны для молодого поколения, сколь и торжественная тишина музейных залов.

Когда-то на заре «нового романа» его представители — Ален Роб-Грийе, Мишель Бютор и Натали Саррот — единодушно отдали животрепещущие проблемы современности на откуп журналистике. Но судя по роману «Вы их слышите?», такому не равнодушному к событиям и явлениям современности человеку, как Натали Саррот (известны ее выступления против действий ОАС во время войны в Алжире и активный интерес к молодежному движению 1968 года), так же трудно отрешиться в творчестве от свойств собственной личности, как читателю от привычки, а может быть, от свойства человеческой натуры искать в художественном произведении материал для сопереживания, образ, мысль, проблему.

В романе «Вы их слышите?» проблема молодежи дана в ракурсе отношения к искусству, а через него и к образу жизни старшего поколения, поколения «коллекционеров», потребителей, накопителей. «Я не коллекционер,— мысленно обращается отец к детям, пытаясь перепрыгнуть пропасть, разверзшуюся между ними.— Я не коллекционер и никогда им не был... Эй вы, там наверху... Понимаете вы это или нет?.. Я не имею ничего общего с теми, кто везде рыщет, повсюду сует свой нос, все хватает, тащит к себе, сортирует, собирает, хранит и ревниво оберегает, чтобы самому наслаждаться своею собственностью». Однако в глубине души он понимает, что он, который, по его собственному признанию, «ничто так не любит, как есть с руки, питаться из кормушки, наполненной другими надежным кормом, которому все в жизни нравится получать готовеньким, грациозно поднесенным», трудно будет перейти рубеж, отделяющий его от детей...

Итак, в конце книги отец приходит как будто к компромиссному решению расстаться со старинной статуэткой и сдать ее в музей. «Голоса детей сливаются в смутный шум, слабеют, удаляются... Словно двери там, наверху, закрываются... Больше ничего...» Так кончается роман Натали Саррот.

Символизирует ли финал возможность примирения поколений? (Принято компромиссное решение, умолкает столь мучительный для отца смех.) А может быть, наоборот, последняя фраза говорит о том, что дети уходят и двери за ними закрываются, быть может, навсегда: ведь неизвестно, возвращаются ли к родному очагу современные блудные сыновья. Да и нужно ли им возвращаться на все «готовенькое», в тесный мир муслиновых занавесок, мебели с перкалевой обивкой и готовых идей из чужих рук? Скорее всего, нет. Но к искусству все-таки хочется, чтобы они вернулись, и в этом отношении можно лишь сочувствовать позиции отца. Нужно сказать, что этот персонаж романа, лишенный волей автора имени, внешности, возраста, профессии, обрел вопреки всему личность на страницах романа — он страдает, негодует, любит, живет в книге, вызывая жалость, раздражение, смех, а иногда и сострадание читателя. Однако вряд ли кто-нибудь станет упрекать писательницу за некоторое нарушение теоретических принципов, провозглашенных ею пятнадцать с лишним лет назад. Напротив, может быть, именно это преодоление догмы теории творческой индивидуальностью писательницы, вернувшее герою признаки личности, а роману атмосферу действия и актуальную проблематику, позволяет отнести последнее произведение Натали Саррот к числу наиболее значительных ее книг.

М. КАНТОРОВИЧ

Из месяца в месяц

АЛЖИР

НЕЗАКОНЧЕННЫЙ РОМАН МУЛУДА ФЕРАУНА

Прошло более десяти лет с тех пор, как был убит оасовцами выдающийся алжирский писатель Мулуд Фераун. Смерть застала Фераупа в тот момент, когда он работал над своим новым романом. Писатель успел написать четыре главы. Сейчас его неоконченное произведение увидело свет. Его выпустило французское издательство «Сёй».

Этот роман был первым произведением, которое Фераун посвящает тяжелым и кровавым годам борьбы за освобождение. Для Фераупа они были особенно тяжелы. Он горячо любил свою родину и поэтому, как пишет журнал «Жён Африк», «не мог не чувствовать противоречивости своего положения человека, пишущего на французском языке, почитателя Франции, страны, действия которой не совпадали с принципами ее конституции». Можно предположить, что в романе «Годовщина» Фераун отразил бы свою напряженную духовную жизнь последних лет.

Помимо четырех глав неоконченного романа в книгу вошло несколько статей Фераупа, собранных из различных журналов (одна из них — об алжирской литературе), воспоминания юности, путевые заметки, а также три главы из первого издания романа «Сын бедняка».

АНГЛИЯ

«ДНЕВНИК» ВАЛЬТЕРА СКОТТА

Недавно в Англии вышло новое издание «Дневника» Вальтера Скотта; эта книга, по мнению еженедельника «Таймс литерари саплмент», является одним из крупнейших литературных автопортретов. Скотт начал вести «Дневник» на 54-м году жизни и обращался к нему ежедневно в течение семи лет до конца своих дней. К этому времени писатель был на вершине славы, позади осталась жизнь, полная событий. Теперь, на покое, он решил описывать события мирной сельской жизни, званые обеды и вспоминать литературные анекдоты. Но судьба готовила ему иной удел. В скором времени его издатели потерпели банкротство, а за ними разорился и он сам. Вместо спокойного существования хозяина обширного и комфортабельного поместья его ждала нищета и необходимость работать.

Итак, «Дневник», начатый как свидетельство благополучной жизни писателя, стал отчетом о жизненных невзгодах и борьбе с ними. По мнению рецензента, он и сегодня читается с большим интересом.

Большой интерес театральной общественности Англии вызвала постановка известной пьесы Ибсена «Гедда Габлер», осуществленная театром «Роял Корт». Этот интерес вызван сейчас не столько любовью к классическому драматургическому наследию, сколько тем, что пьеса переработана известным английским драматургом Джоном Осборном.

Джилл Беннет — в роли Гедды и Денхольм Эллиот — в роли Брака. Рабочий момент репетиции перед премьерой спектакля.

(Еженедельник «Санди таймс»)

БОЛГАРИЯ

ПИСАТЕЛИ — ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИЙ

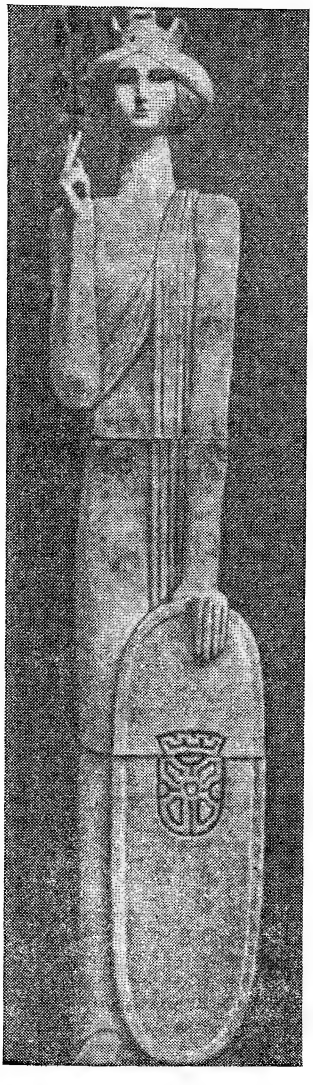
Димитровские премии — высшая награда в области литературы и искусства в Болгарии. Быть отмеченным этой наградой в год празднования 90-летия со дня рождения Георгия Димитрова, как подчеркивает газета «Литературен фронт»,— особая честь.

Этой чести удостоены прозаик Ивайло Петров за повесть «До того, как я родился, и после этого», поэт Любомир Левчев за сборник стихов «Стрельбище» и поэму «Звездопад», критик Ефрем Каранфилов за книгу очерков-эссе «Болгары».

Впервые премия была присуждена зарубежному автору — советскому литературоведу, члену-корреспонденту Академии наук СССР, доктору филологических наук Д. Ф. Маркову за книгу «Генезис социалистического реализма. Из опыта южнославянских и западнославянских литератур».

Были присуждены также премии Центрального совета Болгарских профсоюзов за лучшие произведения, посвященные Георгию Димитрову: Любену Станеву за роман «Обледенелый мост», Доре Габе за повесть «Мать Парашкева», Благе Димитровой за сборник стихов «Имя», Божидару Божилову за поэму «Железное сердце», Ивану Радоеву за пьесу «Красное и коричневое».

Декоративно - монументальная фигура «София» Стояна Николова.



ВЕНГРИЯ

ЮБИЛЕЙНОЕ ИЗДАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ЭНДРЕ ИЛЛЕША

Известный венгерский прозаик, драматург, критик, переводчик, лауреат Государственной премии имени Кошута Эндре Иллеш отметил в этом году свое 70-летие. За заслуги в области венгерской литературы, за активную деятельность на посту директора издательства «Сепиродалми» и в связи с юбилеем Эндре Иллеш награжден орденом Красного Знамени Труда.

Издательство «Магвете» выпустило в свет трехтомник избранных произведений писателя. В первый том вошли его драматические произведения, во второй — критические работы, в третий — рассказы.

Венгерская литературная общественность с интересом встретила это юбилейное издание. Большую статью посвятил ему на страницах газеты «Непсабадшаг» критик Золтан Гера. Он подчеркивает, что «составителем этого издания является сам Э. Иллеш, и это придает ему особую ценность: автор нарисовал в нем как бы свой автопортрет, может быть, несколько эскизно, что всегда бывает в таких случаях, но тем не менее очень точно».

Как драматург Э. Иллеш широко известен не только в Венгрии, но и за ее пределами. Такие его произведения, как пьеса «Нетерпеливые влюбленные», «Песочные часы», «Беспорядочное раскаяние», рассказывают о формировании, о становлении человека нового, социалистического общества и преодолении индивидуалистических пережитков прошлого, об утверждении новых нравственных норм. Эту тему продолжает и развивает Э. Иллеш и в своей новой пьесе «Раскрашенные небеса», также вошедшей в этот трехтомник.

«В драматургии Э. Иллеша,— подчеркивает З. Гера,— проявился (как, впрочем, и во всех его произведениях) большой жизненный опыт писателя, это позволяет ему создавать очень полнокровные, чрезвычайно типичные образы».

В области критики и литературоведения Э. Иллешем создано много значительных работ по проблемам как классической, так и современной венгерской литературы. Они собраны в книге статей «Рисунки пастелью».

В сборник «Избранное» включена его новая работа — монография о Стендале. Являясь превосходным переводчиком Стендаля на венгерский язык (так же как и Мопассана, Моравиа, Стиля), Иллеш, по утверждению Золтана Геры, «создал образцовую книгу в жанре эссе, показал себя как критик, для которого анализируемое произведение не холодный предмет исследования, а повод для глубоких раздумий, открытий, выводов... Книга о Стендале — вершина всего, что сделал Э. Иллеш в области критики и литературоведения».

Но, пожалуй, наиболее популярен Э. Иллеш как мастер новеллы, рассказа. В «Избранное» он включил 16

произведений этого жанра. Тематика их разнообразна, хотя сосредоточена вокруг двух ведущих вопросов — быта и морали в их широком общественном звучании.

Врач-психиатр по профессии, он обладает умением глубоко проникать в суть человеческого характера, поставить диагноз и очень трезво, с гуманизмом, присущим врачевателю, заставить читателя задуматься над явлением, которое он изображает.

В своих рассказах он ведет борьбу с безучастностью, равнодушием, властолюбием, показухой.

Именно в рассказе, отмечает Золтан Гера, виден талант Э. Иллеша-стилиста. Язык его точен, прост, музыкально ритмичен; сравнения и метафоры полны неожиданности и свежести, словарное богатство неистощимо.

ДРВ

Опера — не традиционный жанр для вьетнамской музыкальной культуры. Однако новое произведение известного композитора Демократической Республики Вьетнам До Юана опера «Ваятель» вызвала, по словам рецензента журнала «Вьетнам», интерес в литературных и артистических кругах страны. Тема оперы «Ваятель» — борьба вьетнамского народа против американских интервентов, в центре — фигура старого скульптора Тха Сона, отдающего всю силу таланта делу освобождения своего народа.
На снимке — сцена из оперы «Ваятель».

(Журнал «Вьетнам»)

ГДР

НОВЫЙ РОМАН МАРГАРИТЫ НОЙМАН

Издательство «Ауфбау» готовит к выпуску новый роман Маргариты Нойман «Зеленый салон». Известная немецкому читателю своими романами «Путь через поле» («ИЛ» № 1, 1956), «Могильщик», «Любящие», сборниками рассказов, книгами для детей, писательница была награждена премиями имени Генриха Манна и имени Фрица Ройтера.

В новом романе Нойман возвращается к теме, с которой началась ее литературная известность, — жизнь людей в деревне. Простым, но очень поэтичным языком она рассказала о двух семьях крестьян-переселенцев, проследив их жизнь с 1945 года до настоящего времени.

— Вы одна из немногих в нашей литературе рассказываете о деревне, охватывая большой период — с «нулевого пункта» до наших дней. Что заставило вас снова вернуться к старой теме? — задал писательнице вопрос корреспондент еженедельника «Зонтаг».

— В новом романе мне захотелось как бы обобщить все, что написано о деревне. Сейчас мы стоим на новой ступени развития сельского хозяйства. Происходит индустриализация, стираются грани между городом и деревней, и соответственно меняется жизнь и психология людей. Я не выбирала себе одного какого-нибудь героя, моя цель была показать целую группу людей. От лица молодого учителя Адама рассказывается обо всем, что произошло и что происходит с моими героями.

— Вы много внимания в романе уделяете картинам природы. Она играет большую роль во взаимоотношениях людей. Не столкнется ли в дальнейшем, во второй части романа, природа с цивилизацией, не возникнет ли между ними конфликт, о котором уже тоже неоднократно писали?

— Да, такой конфликт неизбежен. Именно вопросу его преодоления я и хочу посвятить многие страницы второй части романа. Я хочу показать, что люди, радовавшиеся кустам, деревьям, цветам и птицам, учатся ценить не только это, но и плоды человеческого труда, начинают понимать пользу машин, видят красоту стекла, железа, угля.

— Вы сами были когда-то переселенкой, многое, о чем вы пишете, носит автобиографический характер. Но с 1952 года вы занимаетесь только писательским трудом и непосредственно с деревенской жизнью не соприкасались. Как вам удалось так хорошо изучить материал, который лег в основу вашей книги?

— Собственно, я никогда не теряла связи с деревней. Я часто ездила в Мекленбург, в места, с которыми сроднилась, к людям, которых я полюбила и которых я хорошо научилась понимать. Кроме того, я посещала лекции для руководящих

сельскохозяйственных работников и лекции по новейшей сельскохозяйственной технике. Я счастлива, что двое моих детей пошли работать в сельское хозяйство. Кстати, и это обстоятельство мне тоже во многом помогло.

— Каковы ваши дальнейшие планы? — спросил в заключение корреспондент. — Будет ли исчерпана «деревенская» тема с окончанием романа «Зеленый салон»?

— Думаю, что до конца эту тему я никогда не исчерпаю. Заранее сказать трудно, но, может быть, через некоторое время я снова найду свой сюжет в тех интереснейших явлениях и конфликтах, которые еще только намечаются в нашей сельской жизни.

«КИППЕР» — ПЬЕСА ФОЛЬКЕРА БРАУНА

Молодой талантливый поэт Фолькер Браун, лауреат премии Генриха Гейне 1971 года, сейчас вновь привлек к себе внимание литературной общественности ГДР в связи с премьерой его пьесы «Киппер» на сцене двух театров — Лейпцигского и Магдебургского городского театра имени Максима Горького.

Фолькеру Брауну — тридцать три года. В прошлом рабочий, затем студент философского факультета, он приобрел известность несколькими интересными поэтическими сборниками («То, что меня волнует» — 1965 г., «Объявление войны» — 1967 г., «Мы, а не они» — 1970 г.).

Пьеса Фолькера Брауна «Киппер» посвящена важнейшей теме — проблеме формирования личности в социалистическом обществе.

Действие пьесы происходит в 50-е годы. Ее герои — горняки, экскаваторщики, занятые на открытых разработках бурого угля. По свидетельству самого Фолькера Брауна, в основу пьесы положен материал, жизненный опыт, накопленный автором в период его работы на комбинате «Шварце Пумпе», связь с коллективом которого он сохраняет и по сей день. Главный герой пьесы — рядовой рабочий, впоследствии бригадир Пауль Баух — в порыве трудового энтузиазма увлекает за собой товарищей и добивается значительных трудовых успехов, но неумение мыслить в широком общественном плане вскоре начинает сковывать его, предопределяет его последующее отставание от передовых рабочих. «Фолькеру Брауну удалось наглядно отобразить процесс становления нашего общества»,— пишет об этой пьесе газета «Нойес Дойчланд».

ФРГ

НОВАЯ КНИГА МАКСА ФОН ДЕР ГРЮНА

В дюссельдорфском издательстве «Эремитенпрессе» вышла повесть Макса фон дер Грюна «В Трезене гаснут огни». Известный писатель и на этот раз остался верен шахтерской теме, теме рабочего класса.

Он описывает старый горняцкий поселок со сложившимися привычками и традициями, который постепенно превращается в безликий городок нового, индустриального типа. «Однако Макс фон дер Грюн отчетливо показывает — и это, может быть, самый важный аспект его повести,— пишет газета «Франкфуртер альгемайне»,— что новые времена не обязательно несут с собой лучшее, более человечное будущее... Оно скорей оказывается еще менее гуманным: новые отношения — как человеческие, так и трудовые — становятся более абстрактными, нивелированными, отчужденными».

Сцена из спектакля «Киппер» Лейпцигского государственного театра.

(Журнал «Театер дер цайт»)

Журнал «Иностранная литература» уже писал о пьесе Рольфа Хохгута «Повитуха» («ИЛ» № 4, 1972 г.). На снимке — сцена из спектакля, поставленного в «Мюнхнер камершпиле». В роли повитухи — Мария Беккер, в роли Розентретера — Гуго Линдингер.

(Газета «Франкфуртер альгемайне цайтунг»)

«Многие,— замечает далее газета, — могут упрекнуть эту повесть (ее с полным правом можно назвать и очерком) в том, что она недостаточно беспристрастна. Действительно, авторские симпатии здесь отчетливо заметны. Макс фон дер Грюн не боится выразить свое сочувствие и даже сострадание к людям из горняцкого поселка в Рурской области. Но это не значит, что он пишет трогательную историю».

Рецензент отмечает стилистическую строгость повествования. «Свободное от прикрас, оно, однако, не безлико и прежде всего подчинено сюжету».

ЕГИПЕТ

КОНЧИНА АБД АЛЬ-ЛАТЫФА АН-НАШШАРА

Журнал «Аль-Адиб» сообщает, что в Александрии в возрасте 77 лет скончался поэт Абд аль-Латыф ан-Нашшар — автор поэтических диванов «Огонь Моисея» и «Рай фараона». Ан-Нашшаром много сделано в области перевода на арабский язык произведений мировой литературы. Первое место среди его переводов занимают «Хижина дяди Тома» Бичер-Стоу и «Хаджи-баба из Исфагана» Мориета. Оба эти романа были в свое время опубликованы в египетском журнале «Ар-Ривая».

«ЛЕТАЮЩИЙ МЕЖДУ ОКЕАНАМИ»

В Каире вышла книга «Летающий между океанами», представляющая собой сборник очерков известного египетского писателя и общественного деятеля Юсуфа ас-Сибаи.

Ас-Сибаи является генеральным секретарем Организации афро-азиатских писателей, и ему приходится много ездить по странам мира, участвовать в различных конференциях. Обо всем этом он живо и интересно рассказывает в своей новой книге.

Критик Ала-ад-Дин Вахид в рецензии, помещенной журналом «Аль-Адиб», высоко оценивает путевые очерки ас-Сибаи, отмечая их боевой публицистический и вместе с тем глубоко личный характер.

ИНДИЯ

«МОРЕ И ВОЛНЫ» ШИВНАРАЯНА ШРИВАСТАВЫ

«Море и волны» — так называется третий роман Шивнарояна Шриваставы, опубликованный недавно издательством «Атмарам и сыновья». Как и первые две книги — «Дым, огонь и человек» («ИЛ» № 11, 1959 г.) и «Утреннее солнце» («ИЛ» № 11, 1970 г.), новое произведение автобиографично по своему содержанию, сообщает рецензент журнала «Линк» Гириджи Кумар Синха. Прототипом главного героя снова является сам писатель. Развитие сюжета повторяет путь, пройденный автором от крестьянского паренька из бедной семьи до рабочего текстильной фабрики, вскоре ставшего активным участником борьбы текстильщиков за лучшую жизнь, а позднее — активным организатором рабочего движения, профсоюзным деятелем и политически закаленным руководителем своего класса.

Перечисляя задачи, стоящие ныне перед индийскими писателями, известный прозаик Кришан Чандар сказал: «В пору интенсивного процесса индустриализации, который претерпевает в настоящее время Индия, для прогрессивного писателя крайне важно хорошо знать рабочих... Немало перемен и в жизни индийского крестьянства... Необходимо внимательно изучать условия их сегодняшнего существования». Шивнараян Шривастава прекрасно знает жизнь тех и других из собственного опыта. Правда, он не получил официального образования, его университетом была сама жизнь. Сейчас писателю 71 год.

Книги Шриваставы подкупают искренностью, правдивостью и отличным знанием обстановки как на селе, так и на фабрике в тяжелые годы британского правления. Хотя во всех трех романах главный герой проходит примерно один и тот же

жизненный путь, каждому произведению присущ свой аромат, свежесть повествования, свои отличительные краски, свидетельствует рецензент. Новый роман, где чуть ли не половина событий происходит в деревне, оставляет особенно глубокое впечатление реалистически созданной картиной сельской жизни.

КЛАССИЧЕСКИЕ ЯЗЫКИ И СОВРЕМЕННОСТЬ

На первой Международной конференции по проблемам изучения санскрита и литературы на нем, проходившей в Дели, участвовало около полутора тысяч индийских ученых и 74 делегата из других стран. Конференция явилась первой из серии конференций, проводимых ЮНЕСКО по проблеме «Классические языки и современность».

На конференции было заслушано более 400 докладов, охватывавших широкий круг вопросов, связанных с национальным и международным значением санскрита, а также о взаимосвязях санскрита и других языков Индии и литератур на них с другими языками и литературами мира. Конференция отметила расширение понимания самого санскрита не просто как языка, а как некоторой культурной общности, созданной совместно творческой деятельностью всех народов Индии и представляющей их совместный вклад в сокровищницу мировой культуры.

В работе конференции приняла участие делегация советских индологов.

Среди документов конференции — резолюция о создании международной ассоциации специалистов по классической индологии, что несомненно будет способствовать расширению международного научного сотрудничества.

ПАМЯТИ ХУДОЖНИКА

Умер Джамини Рой — один из крупнейших художников современной Индии, действительный член Национальной академии искусств. «Не принадлежа ни к одной школе, не подражая ни зарубежным, ни отечественным мастерам прошлого или настоящего, он шел своим путем»,— пишет в некрологе критик журнала «Линк».

Полная лишений юность заставляла Роя приниматься за самый разный труд. Был он ретушером, рисовальщиком поздравительных открыток, ему приходилось делать еще многое другое в этом же роде. «Но никогда он не поступался независимостью, ставя истину и искренность в искусстве превыше всего. Не заработка, а удовлетворения искал художник в живописи, неизменно черпая вдохновение из окружающей жизни», — утверждает критик.

Хотя Джамини Рой учился у народных умельцев и его произведения изобилуют фольклорными элементами, критик не относит его живопись к чисто фольклорной, отмечая, что главным для него является искусство орнамента, который в индийском искусстве сам по себе является ценностью, и это утверждал всем своим творчеством художник.

Открытая Джамини Роем техника фольклорного орнамента нашла сегодня немало последователей среди современных индийских художников. Его манера письма оказала сильное влияние на развитие творчества Хеббара, Саньяла и других.

Картина Джамини Роя «Три пярини» (жрицы).

(Журнал «Линк»)

ИСПАНИЯ

ТОРЕРО — ГЕРОЙ РОМАНА

Недавно литературная премия «Надаль» была присуждена писателю Хосе Мария Рекена за роман «Сгусток крови». До этого Рекена был известен как поэт и журналист. Он — заместитель директора газеты «Коррео де Андалусия», автор сборников стихов и повести «Люди и быки».

В беседе с корреспондентом «Эль либро эспаньол» писатель рассказал о своем романе.

— «Сгусток крови» — не роман о тавромахии, хотя его центральный герой — профессиональный тореро по имени Гойо. Я избрал этого героя, потому что он позволил мне отобразить те разительные контрасты, которые существуют в Испании между жизнью города и жизнью деревни. Тореро в Испании — это человек, который быстрее, чем кто-либо другой, способен сделать скачок от крестьянской нищеты к недолговечной роскоши в городе. В своем романе я стремился к раскрытию психологии человека, выброшенного из своей среды и попадающего в чуждое ему окружение. Он как бы утрачивает корни и на всю жизнь остается неприкаянным. Я показал трагедию одиночки, лишенного чувства коллективизма и потому обреченного на нравственные страдания и отчаяние.

ИТАЛИЯ

«СТАЛИНГРАДСКАЯ ПУГОВИЦА»

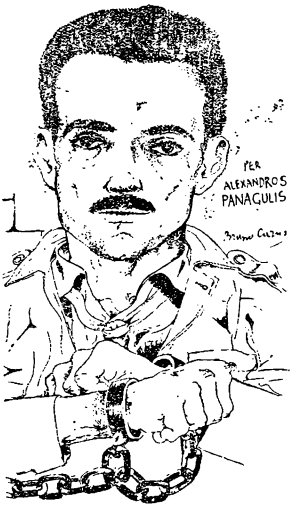
Так называется новая книга Романо Биленки, вышед-

шая после продолжительного молчания писателя. Одновременно опубликовано другое его — давнее — произведение, повесть «Начальник фабрики». Ожидается переиздание романа, вышедшего в 1940 году и ныне ставшего библиографической редкостью, — «Консерватория св. Терезы». Одной из последних работ мало пишущего в последние годы Биленки была книжка, посвященная жизни и творчеству художника - флорентийца Розаи, в которой писатель показал жизнь флорентийской интеллигенции в трудные годы фашизма.

Роман «Сталинградская пуговица» по существу также посвящен анализу позиции флорентийской творческой интеллигенции, и прежде всего самого автора, по отношению к фашизму, войне, а затем — освободительной борьбе, к рабочему классу и коммунистической партии. Биленки был активным участником движения Сопротивления, редактировал левые газеты и журналы, был одним из основателей журнала «Сочьета», а в середине 50-х годов соредактором журнала «Контемпоранео».

Роман состоит их трех частей — каждая из них представляет самостоятельную новеллу и каждая повествует об одном из важных этапов борьбы итальянских трудящихся во главе с коммунистами. В первой рассказывается о классовых боях в Тоскане в период фашистского «похода на Рим», закончившегося захватом власти кликой Муссолини; во второй — о трагических днях капитуляции Италии, оккупации ее гитлеровцами и подъеме движения Сопротивления; в третьей — о годах антирабочей реакции, когда у власти стоял погромщик Шельба.

Центральный персонаж романа — Марко, сперва мальчик, потом юноша и зрелый мужчина. Марко — персонаж многих произведений Биленки, его лирический герой. Пуговица со звездочкой из Сталинграда, попавшая в руки итальянских патриотов и бережно хранимая ими, символизирует отношение демократических сил Италии к подвигу советского народа под Сталинградом. Роман-хроника Биленки получил высокую оценку на страницах прогрессивной печати, в частности в рецензии Бруто Шакерля в газете «Унита».



В Италии ширится движение в защиту греческого поэта-демократа Александроса Панагулиса, брошенного за решетку афинским режимом. В газете «Унита» сообщается о выходе в итальянском переводе сборника стихов Панагулиса, написанных им в тюрьме. Рисунок художника-коммуниста Бруно Карузо для сборника Панагулиса.

(Газета «Унита»)

КУБА

НАЦИОНАЛЬНОЕ ЧЕСТВОВАНИЕ НИКОЛАСА ГИЛЬЕНА

В связи с 70-летием лауреата Международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами» Николаса Гильена на Кубе было проведено национальное чествование поэта.

Юбилейные торжества открылись, как сообщила кубинская печать, в родном городе Гильена — Камагуэе, где доклад о жизни и творчестве поэта сделал известный литературовед, директор Института литературы и лингвистики Академии наук Кубы доктор Хосе Антонио Портуондо.

«Политбюро нашей партии поручило нам провести этот торжественный акт в честь товарища Николаса Гильена в день его семидесятилетия. По этому поводу наша партия хочет высказать должную признательность тому, кто, вне всякого сомнения, является лучшим представителем кубинской поэзии нынешнего века и одним из наиболее выдающихся писателей всей нашей литературы»,— заявил член ЦК КП Кубы, министр просвещения Революционного правительства Белярмино Кастилья Мас на торжественном заседании в Гаване, устроенном Центральным Комитетом Коммунистической партии Кубы. На заседании присутствовали второй секретарь ЦК КП, министр Революционных вооруженных сил Рауль Кастро, многие члены ЦК, деятели культуры и науки, представители политических и общественных организаций.

От Союза советских писателей юбиляра приветствовали поэт Е. Долматовский и литературовед Ю. Дашкевич.

Творчеству Николаса Гильена были посвящены выставки в Союзе писателей и деятелей искусств, в «Доме Америк», в Институте литературы и лингвистики, в Национальной библиотеке имени Хосе Марти. Проводились творческие вечера, на которых исполнялись стихи поэта, песни на его слова. Во многих рабочих литературных кружках прошла «Неделя поэзии Гильена».

Национальный синдикат рабочих сахарной промышленности вручил медаль автору известной и советским читателям «Элегии Хесусу Менендесу», посвященной памяти коммуниста, руководителя этого профсоюза, предательски убитого в 1948 году реакционерами.

Вечер встречи с национальным поэтом Кубы Николасом Гильеном устроило

министерство Революционных вооруженных сил. Гильен читал уже давно написанные им «Песни для солдат», одну строку из которых — «Ведь с тобою мы одно: я — ты» — он затем увидел запечатленной на модели танка «Т-55», врученной ему Раулем Кастро от имени защитников острова Свободы. По сообщению газеты «Гранма», Центр трудящихся Кубы от имени рабочего класса наградил Николаса Гильена орденом «Первое мая».

Указом Президиума Верховного Совета СССР Николас Гильен награжден орденом Трудового Красного Знамени. Государственный совет Болгарской Народной Республики наградил поэта орденом Кирилла и Мефодия первой степени. Незадолго до юбилея Николасу Гильену в Италии была вручена международная поэтическая премия «Виареджо — 1972» в знак признания его заслуг перед мировой поэзией.

Юбилей Николаса Гильена стал праздником культуры социалистической Кубы.

УСПЕХ РОМАНА МАНУЭЛЯ КОФИНЬО ЛОПЕСА

«Семь лет назад в предисловии к «Крушению» Хосе Солера Пуига («ИЛ» № 10, 1967) мы затрагивали вопрос о недостаточном количестве романов, вдохновленных борьбой за построение социализма на нашей родине...» — пишет Хосе Антонио Портуондо в журнале «Каса де лас Америкас».

Ныне, как отмечает видный кубинский литературовед, «эпосу социалистического строительства принадлежит роман Мануэля Кофиньо Лопеса «Последняя женщина и близкий бой», получивший премию «Дома Америк» в 1971 году.

Произведения Мануэля Кофиньо Лопеса, по словам Хосе Антонио Портуондо, «представляют собой революционный роман, если понимать под этим такую форму повествования, в которой творческое воображение находится на службе ясного, четко определенного политического замысла, где отражается диалектика процесса рождения социалистического сознания».

В романе «Последняя женщина и близкий бой», по мнению Портуондо, удачно сочетается реалистический показ жизни и труда кубинского народа в наши дни с тем «магическим реализмом», который был начат Алехо Карпентьером.

«Оригинальная ценность книги «Последняя женщина и близкий бой»,— подчеркивает Портуондо,— ставит нас на правильный путь революционного романа».

МАЛЬТА

ПАМЯТНИК НАЦИОНАЛЬНОМУ ПОЭТУ

По решению мальтийского правительства на родине национального мальтийского поэта Дун Карма в Зеббудже воздвигнут памятник. Как сообщает издающийся в Ла-Валлетте журнал «Мальта тудей», памятник Дун Карму был открыт заместителем премьер-министра Мальты доктором Антоном Буттиджиеджем, который сам является одним из видных мальтийских поэтов.

Кармело Псайла, более известный под своим литературным псевдонимом Дун Карм, родился 18 октября 1871 года в местечке Зеббудж на о. Мальта в семье моряка. В двадцатилетнем возрасте принял сан священника. Первый сборник стихов Кармело Псайла на итальянском языке «Листья лавра» был опубликован в 1896 году. Под влиянием своего друга выдающегося мальтийского писателя Джузе Муската-Аццопарди К. Псайла написал в 1912 году свою первую поэму на мальтийском «Перед образом мадонны», а вскоре вышел его первый сборник стихов на этом языке «Собрание стихотворений, написанных мною на мальтийском».

С течением времени поэт, который стал подписывать свои стихи — Дун Карм, выдвинулся на первое место в мальтийской поэзии и был признан национальным поэтом Мальты. В произведениях Дун Карма отразился национальный характер мальтийского народа — его глубокая вера в духовные ценности, горячий патриотизм, что ярко проявилось в написанном поэтом «Мальтийском гимне», который позже был признан национальным гимном страны.

В 1961 году вышел сборник избранных стихотворений Дун Карма на английском языке в переводе востоковеда Арберри. (См. рецензию на этот сборник в «ИЛ» № 3, 1963.) В том же году 13 октября Дун Карм умер.

НИГЕРИЯ

ВОЛЕ ШОЙИНКА В ПАРИЖСКОМ ТЕАТРЕ НАЦИЙ

Парижский Театр наций, которым руководит известный французский режиссер и актер Жан-Луи Барро, после четырехлетнего перерыва возобновил свою деятельность. Назначение этого театра — показывать наиболее интересные спектакли разных стран мира.

Жан-Луи Барро всегда с интересом относился к драматическому искусству Африки, считая, что «африканский театр сумел сохранить магические связи с природой». В 1968 году в Театре наций тунисская труппа играла пьесу «Мурад III» Али Бен Айеда. В этом году гостями французских любителей театра стали артисты из Нигерии. Известный поэт, романист и драматург Воле Шойинка показал со своей труппой фрагменты пьесы «Танец в лесу».

Драматургическое творчество Шойинки многообразно как по форме, так и по содержанию: от политической сатиры — до трагедии, от комедии нравов — до мифологической драмы. Пьеса «Танец в лесу» посвящена историческому прошлому Африки. Она была написана специально

для празднования независимости Нигерии в 1960 году.

Обозреватель журнала «Жён Африк» отмечает, что пьесы Шойинки представляют собой «интересное сочетание фольклорных традиций народности йоруба, к которой принадлежит Шойинка, и современного театра».

ПОЛЬША

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРЕМИИ 1972 ГОДА

В еженедельнике «Культура» опубликовано постановление о присуждении писателям Государственных премий в честь годовщины Возрождения Польши.

Первой степени удостоился писатель Теодор Парницкий за творчество в области исторического романа.

Такая же премия присуждена историку литературы и критику, члену польской Академии наук, профессору Казимежу Выке за творчество в целом, в котором особенно выделены книги «Странствуя по темам» и «Танат и Польша, или О Яцеке Малишевском».

Премии второй степени были присуждены Роману Братному за романы и рассказы, посвященные проблемам борьбы с оккупантами, а также за романы, посвященные современности. Вильгельму Шевчику за романы, посвященные современности, а также за публицистику, Рышарду Войне — за книгу «Рейн течет спокойно» и за публицистику.

НОВЫЙ ПОЭТИЧЕСКИЙ СБОРНИК ВИСЛАВЫ ШИМБОРСКОЙ

В издательстве «Чытельник» вышел новый сборник стихов Виславы Шимборской «Всякий случай».

«Каждое появление томика Виславы Шимборской,— пишет рецензент еженедельника «Жице литерацке»,— является крупным литературным событием. Надо сказать, что в последнее время поэзия гораздо лучше справляется с современной проблематикой, нежели проза. То, о чем говорит поэзия Шимборской, не в состоянии «ухватить» и передать ни репортаж, ни телевидение, ни фильм и никакой другой «язык» современной цивилизации».

Далее рецензент пишет, что стихи Шимборской позволяют читателю открывать для себя мир заново и в этом огромная значимость ее поэзии.

РУМЫНИЯ

НА РУМЫНСКОЙ СЦЕНЕ

В Бухаресте с успехом идут пьесы «В добрый час» В. Розова и «Старшая сестра» А. Володина.

Пьеса «В добрый час», шедшая на сценах румынских театров несколько лет назад, а сейчас вновь поставленная в Театре имени Иона Василеску, как и прежде, пользуется большим успехом у зрителей. Пресса отмечает, что исполнители ролей сумели передать очарование этого произведения, его тонкость и вместе с тем его доходчивость, что покоряет зрителя с первой минуты.

Интерес зрителей и критики вызвала пьеса А. Володина «Старшая сестра», идущая в Театре имени К. И. Ноттара в постановке режиссера Иона Олтяну. В роли старшей сестры выступает Джильда Маринеску, которая, по словам рецензента еженедельника «Контемпоранул», является «мастером тонких психологических нюансов».

В Арадском государственном театре идет пьеса А. П. Чехова «Дядя Ваня». Критика отмечает интересное прочтение пьесы молодым режиссером Алексом Висарионом и работу художника Витторио Холтиера, точно передавшего в оформлении спектакля режиссерский замысел. Отмечена также игра исполнителей главных ролей Константина Адамовича (дядя Ваня) и Ларисы Стассе Мурешан (Елена Андреевна).

ЮБИЛЕЙ ЗАХАРИЯ СТАНКУ

5 октября нынешнего года литературная общественность Румынии отмечает семидесятилетие старейшины румынской литературы, крупного прозаика, поэта, журналиста, видного общественного и политического деятеля, академика, пред-

Сцена из спектакля «Старшая сестра».

(Еженедельник «Контемпоранул»)

седателя Союза писателей Румынии Захария Станку.

Литературную деятельность Захария Станку начал в период между двумя мировыми войнами, выступая как публицист и очеркист, позднее утвердившись как известный поэт, автор многочисленных книг стихов («Простые поэмы», «Золотой колокол», «Красное дерево», «Трава зверей», «Дымные годы»).

После второй мировой войны Захария Станку выступает преимущественно как романист. В 1948 году он опубликовал один из лучших своих романов — «Босой». Написанный сочно, ярко, в суровой реалистической манере, роман этот, повествующий о тяжелой доле крестьянского парня, известен во многих странах мира. Переведен он и в нашей стране.

В последние годы вышли книги писателя — «Игра со смертью», «Безумный лес», «Цыганский табор», «Как я тебя любил» и трехтомный роман-эпопея «Ветер и дождь», повествующий о подпольной борьбе румынских коммунистов и победе нового строя в Румынии.

Необычным событием в литературной жизни Румынии в последнее время явился сборник стихов З. Станку «Нашептанная песнь». После двадцатилетнего перерыва Захария Станку опубликовал поэтический сборник, тепло встреченный критикой и читателями.

Книги Захария Станку переведены на многочисленные языки мира. В Советском Союзе изданы его романы «Босой», «Безумный лес» и повесть «Как я тебя любил» — прекрасная повесть-исповедь, которую напутствовал перед первой ее встречей с советскими читателями Леонид Леонов.

Захария Станку является первым переводчиком стихов Сергея Есенина в Румынии, опубликованных им в 1934 году; его перу принадлежит книга очерков «Путешествие по СССР» (1950) и предисловие к роману Александра Фадеева «Молодая гвардия».

США

РОМАН «ЗАГОВОР» ДЖОНА ХЕРСИ

После пятилетнего молчания вышел новый роман «Заговор» известного американского писателя Джона Херси, в основу которого лег знаменитый эпизод римской истории. Время действия романа — эпоха правления Нерона.

Как известно, то было время перехода от аристократической республики к империи с неограниченной диктатурой. Императоры зорко следили за проявлением оппозиционных настроений. Был принят закон об оскорблении императора, тема «против тиранов» была запрещена. Подозреваемых сбрасывали со стены Капитолия. Императоры ущемили права аристократии, к кругу которой принадлежали писатели, и те составили оппозицию режиму. Под видом борьбы за республиканские свободы «революционеры-беллетристы» боролись за интересы аристократии. Атмосфера морального разложения, цинизма и модного стоицизма, оправдывавшего бездействие перед лицом тирании, в полной мере охватила и саму литературную оппозицию, которая, говоря словами Сенеки, понимала, что «живут иначе, чем наставляют».

Сам Нерон в начале своего правления попытался приручить писателей, но постепенно в силу политических и личных причин стал врагом наиболее талантливых литераторов своего времени: Сенеки, Петрония и Лукана. Постепенно он подпал под влияние префекта претория Тигеллина, считавшего, что у писателей не должно быть никакой ответственности за судьбы общества, ибо ответственность эта в компетенции властей.

Сюжетный узел романа составляют столкновения политических интересов Тигеллина и Сенеки. Между ними особняком стоит поэт Лукан, он сознает меру общественной коррупции и считает своим долгом бороться с ней. Он возглавляет заговор. Значительная часть романа — переписка заговорщиков, каждый из которых блестящий стилист, и Тигеллина с главой тайной полиции. Ромаи заканчивается раскрытием заговора и гибелью его участников.

«Херси написал яркий, необычайно занимательный роман... Читать книгу — одно наслаждение»,— писала газета «Интериэшнл геральд трибюн», признавая литературные достоинства романа. Газета, однако, сомневалась, насколько верен исторической правде сам писатель, на чьей стороне его симпатии. Определеннее высказался английский еженедельник «Таймс литерари сапплмент», который писал о том, что, очевидно, намекая на параллель между Римом времеи Нерона и современным Западом, Херси недостаточно четко поставил столь актуальную проблему роли и личной ответственности писателя в напряженной политической ситуации своего времени. За блеском литературных споров и этических рассуждений, в пестром круговороте жизни легендарного Рима читателю трудно разглядеть, какую же позицию занимает по этому важному вопросу сам Джон Херси.

ДЖОЙС КЭРОЛ ОУТС — КРИТИК

Американская критика с интересом встретила сборник статей Джойс Кэрол Оутс «Грань невозможного. Трагические формы в литературе». В последнее десятилетие самобытный талант, редкая продуктивность и жанровое многообразие творчества этой писательницы обеспечили ей заметное место в современной американской литературе. Оутс тридцать с небольшим лет, она— профессор английского языка и литературы в Виндзорском университете Канады. Вскоре должен выйти учебник малых литературных форм для филологических фа-

культетов колледжей под ее редакцией.

В сборник «Трагические формы в литературе» вошли девять статей, опубликованных ранее в разных американских журналах. Трагическая тема неизменно присутствует в творчестве самой писательницы, стремящейся рассмотреть характерные черты современной ей эпохи. В книге собраны статьи, в которых Оутс делает попытку проследить общую нить трагического у таких разных писателей, как Шекспир, Томас Манн, Мелвилл, Ионеско, Достоевский, Чехов и др. Она ставит своей задачей показать те изменения в понимании трагического, которые произошли в западной литературе XX столетия.

Американская газета «Интернэшнл геральд трибюн» пишет, что в своем подходе к проблеме трагического писательница «продемонстрировала смелость, присущую и ее книгам, а глубокое проникновение в эту проблему несомненно повлияло и на ее собственное творчество». Отмечая оригинальность анализа трагедии В. Шекспира «Троил и Крессида», «Доктора Фаустуса» Томаса Манна, «Братьев Карамазовых» Ф. Достоевского и других произведений, рецензент газеты пишет о том, что порой писательница, увлекшись аналогиями, уделяет недостаточно внимания серьезным различиям между этими писателями. Так, например, прослеживая связь творчества Чехова и Ионеско через концепцию абсурда, она забывает о гуманистическом пафосе драматургии Чехова, о том, что его герои, даже самые «маленькие люди», остаются людьми, тогда как герои Ионеско — схемы.

Еще более серьезные претензии предъявляет Оутс еженедельник «Сатердей ревью». Мысль об изменении трагического видения принадлежит, как указывает рецензент, Т. С. Элиоту. Она была высказана им еще в 1920 году. По мнению рецензента, Оутс не удалось привести оригинальные доводы в пользу этой ставшей хрестоматийной концепции, а ее собственные критические построения представляются ему мало аргументированными. По широте диапазона литературного творчества, пишет журнал, в современной американской литературе Джойс Кэрол Оутс можно сравнить лишь с Робертом Пенном Уорреном, однако, «к сожалению, как критик она значительно уступает ему в ясности и глубине анализа».

«Он тоже хочет перемен». Рисунок Томаса Наста. 1876 г. *(Газета «Дейли уорлд»)*

ИСТОРИЯ РАБСТВА В ГРАФИКЕ

В Нью-Йорке на Бродвее в галерее «Прэтт графикс сентер» открылась большая экспозиция «История негров в графике», включающая 60 гравюр, эстампов, литографий, ксилографий и т. д. Здесь собраны произведения как безвестных, так и хорошо известных американских авторов, которые посвящали свое искусство жизни американских негров на протяжении последних 225 лет.

По свидетельству обозревателя газеты «Дейли уорлд» Филипа Боноски, среди выставленных работ обращает на себя внимание творчество Томаса Наста, который во второй половине прошлого столетия создал значительное количество острых политических рисунков на тему об освобождении негров.

Многие негритянские художники, посвятившие свое творчество этой теме,

остались неизвестными, пишет далее Боноски. Тем не менее история донесла до нас имена Джошуа Джонсона, Генри О. Теннера, Патрика Ризона и других. Помимо работ современных негритянских художников Чарльза Уайта, Элизабет Кэтлетт, Джекоба Лоуренса, Ромера Биэрдона на выставке представлены также работы белых художников Мориса Беккера, Хьюго Геллерта, Джона Слоуна, Уильяма Гроппера, Антонио Фраскони и многих других.

«На этой выставке,— пишет в заключение Филип Боноски,— вы как бы единым взором окидываете часть американской истории, которая включает и историю протеста художников против угнетения негров. Экспозиция еще раз показывает — если такое доказательство вообще требуется,— что в борьбе за освобождение негров всегда участвовали многие гениальные художники прошлого, точно так же как они участвуют в этом сейчас. Многие негритянские художники перестали быть безвестными и продемонстрировали свое мастерство, что с успехом доказывают их произведения, экспонируемые на этой выставке».

ТУНИС

ФЕСТИВАЛИ ИСКУССТВ

Уже в девятый раз Тунис приглашает деятелей искусства разных стран на ставшие традиционными фестивали в Карфагене и Хаммамете. В этом году параллельные фестивали, которые проходили в июле и августе, имели в своей программе выступления певцов, танцоров, музыкантов и драматических артистов.

В реставрированном античном театре Карфагена, вмещающем теперь четыре тысячи зрителей, фестиваль открылся пьесой Стриндберга «Эрик XIV». Пьеса была переведена на арабский язык и поставлена тунисской театральной труппой. Фестиваль в Хаммамете начали хозяева. Они показали новую пьесу молодого тунисского драматурга Эззеддина Мадани «Эз-Занк». Как всегда, широко было представлено драматическое искусство Франции. Лионский «Котурн театр» показал «Капитана Фракасса» Теофиля Готье в постановке Марселя Марешаля, а Французская ассоциация артистического движения — «Протея» Поля Клоделя (режиссер — Доминик Удар).

Пресса отмечает выступление балетной труппы московского Театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.

УРУГВАЙ

КРИЗИС ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНКУРСОВ

Существующая в Уругвае система литературных конкурсов, заявила в интервью кубинской газете «Хувентуд ребельде» уругвайская писательница Сильвия Лаго, переживает серьезный кризис: все меньшее число известных в стране литераторов принимает участие в официальных конкурсах, организуемых министерством образования и Национальным советом по культуре. Зато значительно возрос престиж литературных премий, присуждаемых отдельными газетами и журналами. Так, еженедельник «Марча» регулярно проводит конкурсы прозы, которые привлекают не только уругвайских писателей, но и писателей других стран Латинской Америки и Испании.

Заслуженным авторитетом пользуется конкурс на лучший очерк, проводимый органом Коммунистической партии Уругвая газетой «Эль популар». Популярен конкурс, организуемый — хотя и нерегулярно — издательством «Арка». Его цель — стимулировать творчество молодых авторов.

ФРАНЦИЯ

ИЗДАНИЯ КЛАССИКОВ

Международный год книги отмечен во Франции новыми изданиями классиков.

В издательстве «Дельта» вышел четвертый и последний том переписки Бальзака с Эвелиной Ганской. В рецензии, опубликованной в «Фигаро литтерер», Робер Кантерс расценивает завершение полной публикации писем Бальзака к Ганской как крупное событие в литературной жизни Франции. До сих пор существовало лишь далеко не полное издание писем Бальзака, вышедшее под названием «Письма к незнакомке». Теперь читатели, интересующиеся жизнью Бальзака, могут ознакомиться с четырьмя большими томами, в которых содержится 444 письма, написанных за период с 1832 по 1848 г. Письма эти, зачастую весьма пространные, носят характер дневников и позволяют читателю, по словам Кантерса, «постоянно находиться в центре бальзаковского творчества», ибо писатель сообщает Ганской не только о событиях своей жизни, но и о перипетиях своей литературной деятельности.

Бальзак рассказывает в своих письмах также о жизни парижского общества и общественных событиях Франции. Так, например, в письмах 1848 года «мы видим Бальзака,— пишет Кантерс,— перед лицом событий революции 1848 года, когда он пробирается со своими письмами на почту по улицам, запруженным восставшими. Он предчувствует социальные войны, грозящие миру, в котором он прожил всю свою жизнь и описал почти во всех своих произведениях».

Из писем последнего тома видно, как постепенно приближается к концу жизнь великого писателя, преждевременно растратившего свои жизненные силы. Пи-

сатель сам видел это, по словам рецензента, «с патетической ясностью».

Кантерс высоко оценивает труд издателя писем Бальзака Рожера Пьерро, подготовившего публикацию с большой тщательностью и снабдившего ее солидным справочным материалом. Он выражает, однако, сожаление по поводу того, что образ Эвелины Ганской по-прежнему остается недостаточно ясным, ибо все ее письма Бальзаку были утеряны.

Полное собрание сочинений Флобера в 16 томах тиражом всего 4500 экземпляров выходит в издании Общества французских литературных исследований под редакцией Мориса Бардеша. Три тома уже увидели свет. В них вошли «Мадам Бовари», «Саламбо» и «Воспитание чувств». В четвертый том войдут роман «Искушение святого Антония» и записные книжки Флобера, которые впервые будут опубликованы полностью. К этому изданию прилагается уже вышедший из печати альбом с иконографией Флобера, собранной и прокомментированной Жаном Бруно и Жаном Дюкдио.

В интервью «Фигаро» Морис Бардеш рассказал о своих исследованиях в библиотеках Парижа и Руана рукописей Флобера, оставшихся до сих пор неизданными и малоизученными. Он считает, что эти исследования дали ему возможность понять самые основы творчества Флобера. Занимаясь расшифровкой рукописей Флобера, он установил, что существовало не менее пяти-шести последовательных вариантов планов не только книг, но и глав, отдельных эпизодов.

Записные книжки Флобера, более половины которых оставалось до сих пор неизданными, раскрывают и систему работы писателя, и круг его интересов, который был поистине энциклопедическим.

Полное собрание сочинений Мопассана в 17 томах, с предисловием и примечаниями Паскаля Пиа, хронологией и библиографией Жильбера Сиго, вышедшее в издании «Лё серкль дю библиофил», пресса называет лучшим и наиболее полным собранием сочинений писателя. В него вошли многие не издававшиеся до сих пор стихотворные произведения Мопассана, два тома занимают неизданные статьи, собранные впервые из различных журналов. В них отражены мнения Мопассана о литературе, политике, социальной жизни, его разносторонние интересы.

Новое издание произведений Анатоля Франса, вышедшее недавно из печати в 29 томах под редакцией Жака Сюффеля, заканчивается четырьмя томами, объединенными под общим заголовком «30 лет общественной жизни».

В эти четыре тома вошли речи А. Франса, его журнальные статьи, в том числе о деле Дрейфуса, о русской революции, коллективные манифесты, под которыми писатель ставил свою подпись, телеграммы протеста против произвола властей и поздравления левым с успехом на выборах. Эти материалы ранее публиковались только частично. Причем публикации были разбросаны по журналам или сохранились в виде вырезок в альбомах друзей писателя. Теперь литератором Клодом Авеликном они собраны воедино. Значительное место в томах отведено примечаниям и комментариям, имеющим очень важное значение для понимания исторических обстоятельств, в которых протекала общественная деятельность Анатоля Франса.

В публицистических текстах А. Франс прославляет развитие наук, народных университетов, профсоюзов, развитие международного социализма. В 1917 году он приветствует русскую революцию.

Пьер-Анри Симон в «Моид» подчеркивает, что в текстах, собранных в последних четырех томах, подтверждается прочность социалистических убеждений писателя.

КНИГА СТИХОВ ЭРВЕ БАЗЕНА

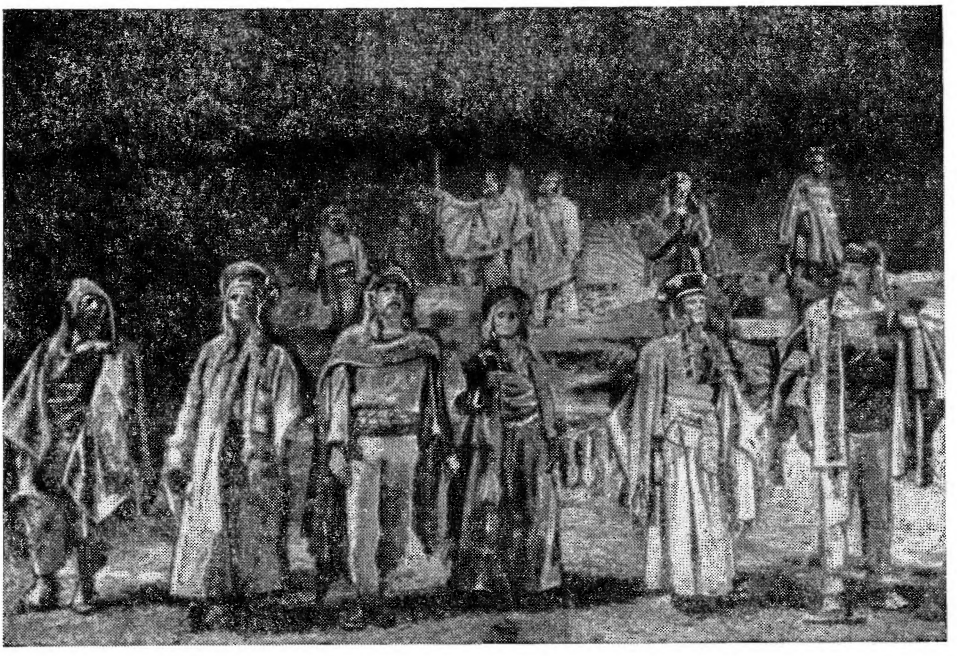
Эрве Базен издал сборник стихов «День» (издательство «Сёй»). Эрве Базен начинал литературную деятельность как поэт. Его первый сборник стихов был опубликован еще до того, как писатель завоевал известность романом «Гадюка в кулаке» (1948). Некоторые из поэтических произведений Эрве Базена были изданы на русском языке («ИЛ» № 1, 1962).

В новый сборник вошли и некоторые из ранних стихов писателя. Критик «Монд» Ален Боске пишет, что лучшие стихотворения отвечают нашему представлению о мире образов писателя, созданных им в романах и новеллах. Одним из мотивов его поэзии стало мироощущение крестьянина, что для современной французской поэзии очень необычно... В эпоху упадка языка, вычурных новшеств этот социальный лиризм имеет значение манифеста.

ПЬЕСА ПАБЛО НЕРУДЫ НА ФРАНЦУЗСКОЙ СЦЕНЕ

Национальный театр Страсбурга поставил пьесу Пабло Неруды «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» (см. «ИЛ» № 2 за 1968 г.). Хоакин Мурьета — этот чилийский Робин Гуд, славный разбойник — становится в пьесе Неруды непокорным вожаком бедняков. Он не появляется на сцене — зритель только слышит его голос.

Спектакль Национального театра Страсбурга — это и опера, и мелодрама, и пантомима. Режиссер Альберто Роди в своем интервью «Леттр франсэз» рассказал, что спектакль построен как народный праздник, посвященный памяти Мурьеты: крестьяне совершают торжественную церемонию — символическое захоронение головы Мурьеты вместе с ружьем. Главная задача спектакля — передать дыхание человеческого коллектива. «Мы не измеияли текст пьесы, играя его таким, каков он есть, но перестроили



Сцена из спектакля «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты».

(Еженедельник «Леттр франсэз»)

ее композицию. Пьеса допускает это, так как в ней нет классической структуры — это большая поэма».

По мнению Мориса Реньо, спектакль Национального театра Страсбурга сохраняет глубокую верность духу произведения Пабло Неруды, который видит в своей пьесе «ораторию восстания».

ШВЕЦИЯ

РОМАН, НАПИСАННЫЙ ФАБРИЧНОЙ РАБОТНИЦЕЙ

Молодая шведская журналистка Марит Паульсен дебютировала романом-хроникой «Ты человек?», посвятив его фабричным работницам. Совсем недавно она сама работала на фабрике и была одной из тех, о ком теперь написала книгу. Показан всего лишь один трудовой день женщины-работницы, но читателю ясно, что все остальные дни этой труженицы похожи друг на друга. Вот женщина приходит с ночной смены домой. Половина пятого утра. Муж уже ушел на работу, оставив в кофейнике немного теплого кофе. Впереди у женщины «отдых» — поэтому она может позволить себе потратить полчаса на еду и умывание. Умыться — это главное. Потому что на фабрике в рабочее время перекрывают горячую воду. Поспать ей удается всего лишь два часа. А потом ее будит сын, которому пора в школу. Женщина встает, меняет пеленки самому маленькому и, выпив крепкого кофе, чтобы окончательно проснуться, принимается за дела.

«Фабрика для этой женщины — непрерывная борьба. Фабрика крадет у ее детей мать и отца. Фабрика ежедневно «пожирает» здоровую жизнерадостную женщину и потом «извергает» полумертвое от усталости тело»,— пишет Марит Паульсен. Много места в романе уделяется обстановке на фабрике, рабочему месту работницы, которое словно создано враждебной человеку силой. С нежностью, смешанной с сожалением, пишет журналистка о молодых работницах — почти девочках, которые еще недавно на фабрике и поэтому не перестали наряжаться и краситься перед работой, хотя через полчаса лица их почернеют от пота и грязи.

Марит Паульсен написала свою книгу буквально «одним духом» — в течение 36 часов. «Я написала эту книгу для тех, кто не работает на фабрике, чтобы они получили хотя бы представление о том, что это такое. Но я пишу и для тех, кто работает там, чтобы они знали, что я такая же, как они, что я солидарна с ними»,— сказала Паульсен в интервью корреспонденту «Дагенс нюхетер».

В заключительной части книги автор пытается вскрыть социальные причины тех явлений, которые заставили ее взяться за перо.

Авторы этого номера

АНДРЕЙ ПЛАВКА — ANDREJ PLAVKA (род. в 1907 г.).

Известный чехословацкий поэт и прозаик, Народный художник ЧССР, председатель Союза словацких писателей; был участником Словацкого национального восстания 1944 года.

Стихи Андрея Плавки составили несколько сборников, наиболее известны из них — первый, «От ночи к утру» («Z noci i rána»), вышедший в 1928, «Три липтовских прутика» («Tri prúty Liptova», 1942), «Родина моя» («Domovina moja», 1953), «Липтовская свирель» («Liptovská píšťala», 1959), за который поэт был удостоен премии имени Клемента Готвальда, «Прощай, моя любовь» («Z bohom, lásky moje»), «Огни на горах» («Ohne na horách», 1964) и другие.

А. Плавка — автор также ряда прозаических произведений, в том числе романа «Обращение Павла» («Obrátenie Pávla», 1962) и автобиографической книги «Влюбленный в жизнь» («Smädný milenec»), которую мы начинаем публиковать в этом номере в журнальном варианте. За эту книгу Андрею Плавке вторично была присуждена в 1972 году премия имени Клемента Готвальда.

■

МАРК-ЖИЛЬБЕР СОВАЖОН — MARC-GILBERT SAUVAJON (род. в 1909 г.).

Французский драматург, сценарист, режиссер. Его перу принадлежит ряд оригинальных пьес и адаптаций, снискавших в разные годы популярность у французского зрителя, в том числе «Маленькое счастье» («Au petit bonheur»), «Тринадцать за столом» («Treize à table»), «Любовь четырех полковников» («L'Amour des quatre colonels»), «Спросите у Викки» («Demandez Vicky»), «Пучок крапивы» («Une poine dôrtim») и др.

М.-Ж Соважон — автор сценариев и постановщик фильмов «Дочь дьявола» («La Fille du diable»), «Непременный мосье Дюбуа» («L'Inévitable Monsieur Dubois»), «Не виновен» («Non coupable») и др.

Пьеса «Чао!» («Tchao!»), предлагаемая читателю в этом номере, была поставлена парижским театром «Сен-Жорж» в 1969 году.

■

СИМОНА ТЕРИ — SIMONE TÉRY (1897—1967).

Французская писательница, публицист. Окончила Парижское Высшее педагогическое училище. Преподавала литературу. В 1935 году вступила в Коммунистическую партию Франции. В течение многих лет была корреспондентом газеты «Юманите». В 1928 году вышли ее книги очерков об Ирландии («En Irlande») и революционном Китае — «Мятущийся Китай» («La Chine convulsée)». Результатом поездки в Испанию во время борьбы испанского народа за республику стала книга очерков «Фронт свободы. Испания 1936—1938» («Front de la liberté. Espagne 1936—1938»).

На русский язык переведены книги «Они сражаются при Фермопилах» о борьбе греческого народа за свою независимость, роман «Пуэрта дель Соль» («Это началось в Испании»), повесть «Сердце, полное солнца» беллетризованная биография Даниель Казанова, рассказы.

Побывав в нашей стране в 1951 году, Симона Тери рассказала о своих впечатлениях в книге «Француженка в Советском Союзе» («Une Française en Union Soviétique», 1952), отрывки из которой мы публикуем в этом номере.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
О. С. ВАСИЛЬЕВ (первый зам. главного редактора), **С. А. ГЕРАСИМОВ, Л. П. ГРАЧЕВ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, В. Д. ЗОЛОТАВКИН** (отв. секретарь), **Е. Ф. КНИПОВИЧ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, М. И. РУДОМИНО, А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, Б. Л. СУЧКОВ, П. М. ТОПЕР, С. П. ЧЕРНИКОВА, К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ.**

Художественный редактор **Л. Б. Филиппова.** Технический редактор **Л. Д. Фарафонтова**

Адрес редакции: Москва 109017, Пятницкая ул., д. 41. Телефон 233-51-47.

Сдано в набор 7/VIII 1972 г. А 11515. Подписано к печати 12/IX 1972 г.
Бумага 70×108 1/16=9 бум. л.=18 п. л. (25,2)+1 вкл. Уч.-изд. л. 30,22. Зак. 2609.
Журнал выходит один раз в месяц.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 80 коп. ИНДЕКС 70394

К читателям

В 1973 ГОДУ РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА» ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ:

МИГЕЛЬ ДЕЛИБЕС (Испания)
Пять часов с Марио (роман).

ФРИДРИХ ДЮРРЕНМАТТ (Швейцария)
Играем Стриндберга (пьеса).

ЯСУНАРИ КАВАБАТА (Япония)
Голос гор (роман).

ГЕРМАН КАНТ (ГДР)
Импрессум (роман).

ЦИРИЛ КОСМАЧ (Югославия)
Рассказы.

МАНУЭЛЬ КОФИНЬО ЛОПЕС (Куба)
Последняя женщина и близкий бой (роман).

ПЬЕР РУАНЕ (Франция)
Кастелль (роман).

ДЖЕЙМС ОЛДРИДЖ (Англия).
Прощай, мой друг! (роман).

МАНУЭЛЬ СКОРСА (Перу)
Бьют барабаны над Ранкас (роман).

РОБЕРТ ПЕНН УОРРЕН (США)
Встречай меня в долине Глен зеленой (роман).

УИЛЬЯМ ФОЛКНЕР (США)
Шум и ярость (роман).

ФРЕДЕРИК ФОРСАЙТ (Англия)
День Шакала (роман).

ПАУЛЬ ШАЛЛЮК (ФРГ)
Дон Кихот из Кёльна (роман).